

В. ДРУЖИНИН

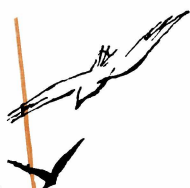
КОРВЕТ
«БРИЛЬ»



В. ДРУЖИНИН

КОРВЕТ
„БРИЛЬ“

и другие повести



ЛЕНИЗДАТ • 1965

Дорогой читатель!

Познакомьтесь с моими героями. Я люблю их — это люди храбрые и честные, их доля — поиск, острейшие столкновения и приключения.

Капитан Алимпиев — в трудном плавании к берегам Индии. В его жизни неожиданную роль сыграл корвет «Бриль» — модель старинного парусника...

Нелегко вести судно и лоцману Данилину. Фарватер опасен, и не только из-за отмелей, течений и хамсина — африканской песчаной бури...

Леонид Ширяев, военный разведчик, поведет вас на розыски знаменитой Янтарной комнаты, похищенной гитлеровцами из Екатерининского дворца в Пушкине, и по следам Кати Мищенко, отважной девушки, работавшей в тылу врага.

Подполковник Чаушев — командир пограничников, несущих службу в торговом порту. Что означает таинственный сигнал — два и две семерки, — перехваченный часовым? Это не единственная загадка, над которой ломает голову Чаушев, герой трех повестей, включенных в данный сборник.

Буду рад узнать ваше мнение о моей книге.

Автор.



до свідання, Джезирэ!



Данилин открыл глаза.

Он с усилием разжал челюсти, освобождаясь от какого-то цепкого, жаркого сна. Клочок этого сна взлетел кверху и развернулся парусом.

Но нет, там вовсе не парус. Ткань противомоскитной сетки — вот что там такое. Сетки, которая прослужила уже два года и успела пожелтеть от сухого зноя, от летучих песков, штурмующих дом.

В мозгу еще не умолк настойчивый, резкий звонок. Это тоже остаток сновидения. Телефон молчит.

Через минуту Данилин сообразит, что звонка и быть не могло. И можно лежать сколько угодно: диспетчер не поднимет с постели. Но сейчас Данилин еще тянется к телефону, тычет пальцами в равнодушный металл.

Потом он ищет взглядом часы. На их месте на стене маленькая прямоугольная тень. Взгляд шарит по выцветшим обоям и снова проваливается в тень — большую, тяжелую, квадратную, — след платяного шкафа.

Данилин вскакивает и бежит в ванную. Он старается не смотреть на опустевшую комнату. После того как вынесли вещи, она стала чужой. Долго она давала приют ему, и Вере, и Марьяшке, а сейчас словно выгоняет их. Ну, теперь уже скоро...

Стоя под струйками душа, он представил себе кабину самолета, краны искусственного климата. Домой! Послезавтра домой!

Не вытираясь, он ложится на кровать. Хочется побережь эти несколько минут свежести.

Небо за окном спелое, налившееся дневной синевой. Небо и старая, жухлая пальма цвета мочалки — все будто на цветной фотографии. Пальма плоская и неподвиж-

ная. Птица, пиликающая на ней по утрам,— он так и не собрался узнать, как именуется эта голосистая птица,— уже кончила свою болтовню. Вера прозвала ее будильником. Птица затихает, как только начинает припекать.

Окно открыто, но сетка над кроватью не колыхнется. И вдруг Данилин глотает комок настоящей прохлады. Вспомнилась другая сетка, в рубленой сосновой избе. Лесные комары — рыжие искорки в белой ночи — бьются о марлеву преграду. Сквозь нее видны вымытые дресвой лавки, половики на пахучих досках, натертых можжевельником.

Таким острым, таким родным холодом потянуло отсюда, что защемило сердце.

Пять часов в воздухе, всего пять, и — Москва, — думает Данилин. И если в тот же день вылететь не домой, а туда, к отцу...

Он медленно одевается. Горка одежды громоздится на табуретке. Он достает рубашку и замечает складку на воротнике. Хмураясь, гладит ее ладонью.

Э, бесполезно! Он берет другую рубашку. Эта тоже помята, но ничего, сойдет. Утюг, конечно, уложен. Все уложено...

Он поднимает с пола телефон и ставит на табуретку. Правда, аппарат не нужен больше. Все равно, для порядка...

Телефон, кровать, одна табуретка — вот все, что осталось в комнате. Квартира готова принять кого угодно! Странное чувство появилось у Данилина. Это ревность. Да, ревность к тому неизвестному, который войдет сюда, опустит свой чемодан, а затем будет тут устраивать все по-своему.

Это он снимет трубку, когда позвонят с лоцманской станции. Квартира недолго будет свободна. Скоро, скоро тут появится новый хозяин. Через два или три дня, самое большое через неделю, здесь будет все по-другому. Если не считать одной малости — вон той вмятины в стене...

Метка еще цела.

Ну, ему-то, будущему жильцу, она ничего не скажет. Дело прошлое...

Вчера, когда вынесли мебель, щербина обозначилась отчетливее. Она стала как бы центром пустоты. Должно быть, она-то и подняла сумятицу непрошенных мыслей.

Данилин досадует на себя. Ему хотелось просто радоваться. Срок службы окончен, претензий нет — чего же еще? Ему казалось, что это будет очень легко — сказать прости-прощай городу Джезирэ, и каналу, и караванам судов, застывших у шлюза. Они дождутся лоцманов, беспокоиться нечего. Так что же происходит? Дата отъезда известна давно, она жирно подчеркнута в календаре красным карандашом. И все-таки вчера грузовик с рабочими застал Данилина врасплох. Он чуть не отослал их обратно...

Пустая, совсем пустая квартира. Только на кухне еще пахнет жильем. Данилин режет хлеб, ставит на стол три чашки. Хоть какое-нибудь занятие...

Вера и Марьяшка на базаре. Сейчас они придут, притащат еды на завтрак. И фруктов на дорогу.

Чашки битые, в трещинах. Их незачем брать с собой. Чашки останутся. И вот странно: знакомые вещи, давно знакомые, выглядят теперь как-то по-особенному. Как будто они затаили что-то или недосказали...

Что останется здесь надолго, так это вмятина в стене над шкафом, — след пули. Данилин то и дело видит его или чувствует его немое присутствие, бродя по гулким комнатам.

Крохотная ямка, почти незаметная для чужого глаза. Данилин смутно сознает: она-то и прячет ответ на то, что его тревожит.

1

Данилин толкнул дверь и выбежал. Темнота уже сомкнулась, грохот выстрела растаял в ней.

— Антон! Ты с ума сошел!

Это Вера крикнула ему вдогонку. Когда ударило, Данилин заставил ее сесть на пол. Она хотела подняться, побежать за ним, оттащить от двери, но не смогла. Как-то сразу обессилела. Но утюг она не выпустила, сидела на полу и машинально водила утюгом по паркету. Прерванная работа еще не замерла в ее руке.

— Ни черта! — сказал Данилин. — Темно!

Было нелепо сразу же, очертя голову, искать кого-то. Он сообразил это, и тотчас, как запоздавшее эхо, его настиг страх. Пригнувшись, он шагнул к торшеру, включил свет. Темнота влилась в дом.

Потом Данилин помог Вере встать. Он отнял у жены уют, обнял ее. Голые плечи Веры вздрагивали.

Они стояли, прислушиваясь к тишине, не доверяя ей. Угрожающе громко шелкали стенные часы.

— Ничего страшного,— с усилием сказал Данилин.— Какой-то головорез... Сумасшедший... Ошибся адресом, только и всего.

Однако сам он подавлял в себе нервную дрожь ожидания. Чего? Может быть, следующего выстрела...

В соседней комнате заворочалась в постели Марьяшка, что-то забормотала. Вера хотела броситься к ней.

— Не надо, Веро́шка! — Данилин ловил ее ускользающие плечи.

— Пусти!

— Еще больше напугаешь ее. Пусть спит.

Марьяша затихла — набегалась, ничем не разбудишь. Но Вера опять встрепенулась:

— Пусти!

Данилин еще крепче прижал к себе Веру.

Тишина, оцепившая дом, порвалась. Сквозь нее сочилась перебранка, сначала лениво, потом все громче и злее. Один голос, должно быть стариковский, укорял кого-то, а другой нехотя сумрачно оправдывался. Протяжно взывала сирена.

— Полицейская машина,— сказал Данилин.

Пробудились еще голоса, и все они слились в сплошной трезвон. Вой сирены перекрыл их. Машина промчалась мимо коттеджа, блеснув фарами.

Голоса растаяли. Тишина вернулась, теперь уже безопасная, прочная; Данилин зажег свет и бодро сказал:

— Отбой тревоги!

Вера смотрела на него молча. На ее каштановых волосах белели крупинки штукатурки. Он смахнул их, потом откинул продырявленную штору.

— Антон! Что ты делаешь?

Вера тормошила его, тянула назад. Он не двинулся с места. Расставив ноги,— крепкие ноги бывшего футболиста,— он разглядывал отверстие в стекле Трещины от пробойны расползлись до самой рамы. Морозно-белые, они четко выделялись на фоне безгласной темени.

— Все, девочка, все. Взяли голубчика. Ты же слышала.

— А если не его?

— Нас же охраняют все-таки.— Он небрежно, как можно более небрежно, задернул штору.

Озноб страха еще не отпустил Веру.

— Африка, Верошка! Народ темпераментный.

Это был первый выстрел, услышанный Данилиным в Джезирэ. Первый за весь год.

— И часто они?

— Что?

— Палят тут...

— Да брось ты, девочка, перестань. С какой стати нас убивать! Лоцман, морской извозчик,— подумаешь, фигура.

Он взобрался на стул. Над платяным шкафом в стене чернела ямка, которой раньше не было. Данилин нащупал пальцем пулю и вытащил.

Потом он сел к телефону, набрал номер и услышал хрипловатый, с одышкой, бас капитана Азиза, начальника полиции. Азиз переспрашивал, и Данилину пришлось раздельно повторять все. Он ерзал на табуретке. Как по-английски «пуля»? Только что произнес это слово и сразу забыл. Вера подсказывала. Азиз записывал очень долго, оглушительно дышал в трубку.

Данилину хотелось спросить прямо: взяли стрелка, увезли, или он еще гуляет на свободе? Но вопросы задавал Азиз, и приходилось терпеть. Данилин мысленно видел на другом конце провода прилежного, тучного, очень уставшего человека. Капитан Азиз внушал симпатию, смешанную с состраданием. Нелегко ведь такому толстяку, да еще в жару.

— Карош, мистер Даниель,— сказал Азиз.— В котором часу это случилось?

— В начале восьмого.

— Тогда ясно, мистер Даниель. Вам больше нечего опасаться. Мы задержали преступника.

В голосе капитана не было ни радости, ни торжества — только усталость.

— Блестяще, господин капитан!

— Да, карош,— согласился Азиз.— Время и место совпадают, так что сомнений нет никаких. Не волнуйтесь. Мы не спускаем глаз с вашего квартала.

— Спасибо, капитан. Кто же он?

— Разбираемся. Вы знаете, мистер Даниель, тут есть опасные фанатики.

Данилин оглянулся: не доносится ли до Веры бас начальника полиции?

— Мистер Даниель, я пришлю к вам людей. Ничего не трогайте пока.

— Я уже тронул. Я вытащил...

— Пулю,— подсказала Вера.

— Да, пулю, капитан.

— Ну ничего. К вам приедут мои люди. А потом вы звоните мне. Карош.

Полицейских явилось двое: пожилой, с ястребиным носом, и молоденький, совсем еще мальчишка. По-английски они не умели, зато бойко объяснялись жестами. Старший жестами спросил: кто был в комнате в момент выстрела. Данилин пальцами показал: оба. Горел ли торшер? Да, горел. Значит, мишенью для стрелка могла быть тень на светло-желтой шторе. Младший вышел на улицу, а старший встал против окна, затем попросил встать Данилина и Веру, в тех же позах, как тогда. Тени слились, полицейский масляно улыбнулся.

Понятно, объяснил он жестами. Госпожа гладила белье. Господин подошел, обнял свою ханум. Так? У него красивая ханум.

Вера вынесла коньяк и рюмки. Старший отказался, помянув в длинной витиеватой фразе аллаха. Он одобритительно оглядывал стройную, девичью фигуру Веры. Юнец ухмыльнулся, опрокинул рюмку и цокнул языком.

Данилин проводил их.

Вера выключила утюг, расправила наволочку на доске. Страх уже не так донимал ее. Полицейские как бы сняли большую часть ее страха и унесли.

— Видишь, Антон,— сказала она.— Шторы надо было повесить темные.

— Э, не суть важно.— Он выдавил улыбку. И только теперь заметил новое выражение на лице Веры.

— Антошник, милый, прошу тебя,— произнесла она твердо.— Не дури мне голову. Ну, пожалуйста!

— А я разве...

Однако он понял Веру и смутился. Не надо меня утешать, говорил ее взгляд.

— Девочка, послушай меня. Ты слышала, что сказал Азиз: наш квартал днем и ночью берегут. Одним словом, инцидент исчерпан.

Вера не отвела взгляда.

Всего-навсего неделя прошла с того дня, как они прилетели — Вера и Марьяшка.

Поток приземлившихся втиснул их в стеклянный короб зала. Вера — веселая, жадно любопытная, в облачке родной русской прохлады — налетела на мужа, охнула, выронила сумку и нырнула в его объятия. Потом провела рукой по его выгоревшим волосам, по впалой щеке и спросила: что с ним, почему так похудел?

Он сослался на переутомление.

— По сути, я сейчас один тут. Горохов и Коломиец заняты на курсах. В другом городе. Готовят судоводителей, местные кадры, понимаешь?

Данилин мог бы сказать правду: я измучился без тебя. Дома всегда пусто — слушаю, как в мусорной корзине шуршит сороконожка да трещат рамы и двери. Черт их ведает, почему они трещат. От жары, что ли...

Но Данилин не сказал этого. Он писал Вере, что скучать некогда, работы много. Вообще слово «скука» — неприличное слово в семье моряка. Он томился без Веры, томился целый год, все-таки откладывал вызов. Сообщал ей, что жилье не готово, что обстановка не благоприятствует. Ждал встречи, мечтал о встрече — и побаивался: сможет ли, захочет ли Вера тут жить?

Таможенники ослепительно улыбались. Пустыня за стеклянными стенами казалась Вере намалеванной, ненастоящей. В зале журчали фонтаны, в бассейне среди лотосов плавали полосатые рыбки. Марьяшка как заметила их, так и застыла на месте.

Мимо Веры прошел огромный, будто покрытый черным лаком, нубиец, задрапированный в белое, в пышном белоснежном тюрбане. За ним легким и точным шагом канатоходца следовала женщина в черном. Большой узел на ее голове был неподвижен. На тонкой, с браслетом из зеленых бус, руке женщины — ремешок радиоприемника. Из него хлестал джаз.

— Походка Улановой, — прошептала Вера.

Казалось, она вот-вот захлопает в ладоши. «Подожди, — подумал Данилин. — Подожди восхищаться». Ему неотвязно виделось другое — обдаваемый песками котедж на окраине Джезирэ, сонная улица, старый кинотеатрик на углу, засоренный шелухой тыквенных семе-

чек. И сороконожки, и фаланги — пакость, лезущая в дом сквозь все щели...

Марьяшка следила за рыбками. Что-то незнакомое появилось в ней, должно быть оттого, что повзрослела: двенадцать лет! Однако за воротами аэропорта, в машине, среди желтой, горячей беспредельности, Марьяшка спросила совсем по-детски:

— Па-а! Это место и называется пустыней?

Пустыня заставила Веру еще крепче придвинуться к мужу. Песчаный океан поразил ее своей беспощадностью. Наверно, ему ничего не стоит поглотить и машину, и шоссе — жалкую, тоненькую полоску гудрона, затерянную в барханах.

— Я в Африке! — сказала Вера. — Вера Пекарская в Африке! Где это записать?

— Негде! — Данилин усмехнулся. — На песке разве...

Пока Вера не увидит глинобитное Джезирэ, она не поймет, что такое Африка. Шоссе через пустыню — это еще не вся Африка. «Я собираюсь к тебе и напеваю: «Джезирэ, Джезирэ», — писала Вера. — Джезирэ... Будто имя восточной красавицы». Вот полюбуешься на эту красоту...

— Верошка, как там наши динамовцы?

— Проиграли позорно. Терентьев мазал, как... как лунатик.

Они нагнали грузовик, раскрашенный зелеными и белыми полосами. По ним бежали желтые, усатые, загадочные арабские буквы.

Данилин видел: в глазах Веры не гасла жадность, нетерпеливая жадность к жизни, к ее краскам, к новым местам. Но ведь прелесть новизны недолговечна...

Рука его, гладившая волосы Веры, соскользнула. Он не в гости звал ее сюда. И не в музей... У них здесь дом. Да, свой дом.

Что было у них до сих пор? Вереница свиданий, праздников. Он чуть ли не гостем входил в свою квартиру: с ворохом безделушек для Веры, с открытками, монетами, этикетками для бесчисленных Марьяшкиных коллекций. Телефонные звонки, вечеринки, театры. Неделя, от силы две недели дома — и снова в рейс... Эти рейсы, разлучавшие их, как бы скрадывали непохожесть характеров: Данилин сдержан, любит помолчать, быстро устает от суматохи на суше, в большом городе. Бывало,

вернувшись на судно, он отдыхал, оставаясь с глазу на глаз с морем. Должно быть, это от предков — степенных архангельских поморов. Вера — другая. Общительна, гостеприимна, не терпит уединения. Истинная горожанка...

И вот они надолго вместе: он, Вера, Марьяшка. И где? В Африке, у края пустыни...

Машину подбрасывало на выбоинах. Вера, держась за локоть мужа, силилась увидеть все: каждый камень, каждую сухую былинку. Равнодушие Антона огорчало Веру. Он устал, подумала она, он просто зверски устал.

Сослуживцы мужа, приезжавшие в отпуск, были немногословны: «Работа серьезная», «Весь мир смотрит». Об условиях жизни тоже не распространялись: «Приедете, сами узнаете, почему фунт фиников». Только Коломиец — он зашел к Вере месяц назад — рассказал больше. Положение на канале трудное. Один из иностранных лоцманов, канадец Росби, здорово замутил воду. Мужчина в летах, седой, представительной внешности, — не подумаешь, что провокатор. Ведь что затеял! Вызвался быть ходатаем по всяким бытовым делам, выхлопотал новую мебель для лоцманской станции, аптечку новую. А потом заявил, что республика плохо ценит труд лоцманов, и стал подбивать, ни много ни мало, на забастовку...

Вера слушала с гордостью. Антон, ее муж, резко выступил на собрании против Росби. Провокатор получил по заслугам! «Ваш Антон не теряется, — сказал Коломиец. — А так — тихий, лишнего слова не проронит».

План у Росби, у его дружков, был такой: враждовать с республикой, тормозить работу на канале.

Канадцу пришлось убраться. Открылись его связи с бывшими владельцами канала. Но их агентура еще имеется. Республика молода и не успела выполоть всех врагов. «Словом, — заключил Коломиец, — и сейчас далеко не все гладко».

С округлой макушки холма, где не утихает игра песка и ветра, вдруг открылась голубая дорожка, прямая, словно нанесенная по линейке кистью маляра. Неужели это он и есть — канал, соединяющий два моря, прорезавший неоглядные дали пустыни! Вера ждала чего-то грандиозного. Шоссе сбежало вниз, канал скрылся из виду, будто поглощенный песками. И казалось: длинный

танкер с вензелем на черной трубе идет посуху, вспахивая пустыню острым, высоко поднятым носом.

Странно, зачем лоцман? Ведь путь и так ясен и прям! Но Вера вспомнила, Антон объяснял ей: в канале сильные течения, отмели, вести судно труднее, чем в открытом море. К тому же на трассе канала есть озера...

Джезирэ возник внезапно, словно вырос из песка.

Узкая асфальтовая дорожка, вся в трещинах, вела к коттеджу. Антон открыл калитку, и Вера не удержалась, потрогала калитку, давно потерявшую цвет, когда-то голубую. Ведь и калитка — африканская. Ее свирепо стерегли два кактуса, два громадных колючих дикаря, ненавидящих Данилину: он изодрал тут рукав лучшего своего пиджака.

— Роскошные кактусы, — сказала Вера.

Она вошла в дом, и Данилина охватило давно забытое чувство, будто он сдает экзамен. Он сам обставил коттедж. Прежний обитатель, служащий фирмы, владевшей каналом, вывез все, отвинтил даже дверные ручки. Данилин сам подобрал обои, шторы, скатерти. Он ждал, что скажет Вера. Нет, ничто не омрачило ее открытия Африки. Все было великолепно: и кресла, и кровати — прямо-таки королевские кровати под марлевыми балдахинами. И полумертвая пальма за окном, в тощем садике. И вопли муэдзина, усиленные мегафоном.

Прошла ночь, настало утро — и случилась неприятность: когда Вера ставила тарелки в буфет, оттуда высочила фаланга. Вера испугалась до смерти.

И какая фаланга! Данилин чуть ли не каждый день воевал со всякими гадами, но такая крупная, мерзкая тварь не попадалась еще ни разу.

Повезло Вере...

Данилин ушел на вахту, вернулся на другой день. Вера осунулась, но бодрилась. Потом все-таки сказала мужу: ей жутко без него в коттедже. Старый Хасан — приходящий повар-араб — перед вечером, как водится, покинул дом, и они, Вера и Марьяшка, остались одни, как на островке, заброшенном в темень, в песчаную бурю.

Вначале намерение у Веры было такое: Марьяшку отправить в конце лета домой, к бабушке, а самой обосноваться насовсем. Потом она стала избегать разговора на эту тему.

И вдруг — выстрел в окно.

Перед тем как лечь, Данилин позвонил Азизу. Голос капитана звучал веселее. Ночь освободила толстяка от жары.

— Мистер Даниель, у меня есть вопрос. Вы знаете Сурхана Фаиза?

— Нет.

— Это имя вам ничего не говорит?

— Решительно ничего.

— Карош! Спасибо, мистер Даниель. Мы ведь могли предполагать месть или что-нибудь в этом роде.

Стало быть, стрелял Сурхан Фаиз. Пышное имя, впоору королю или шейху.

— Кто он такой, капитан?

— Фанатик,— сказал Азиз.— Чрезвычайно закоренелый фанатик.

Азиз больше ничего не объяснит. Большого от него не добьешься. Фанатик — вот и все. Наверно, один из тех, которые ненавидят всех европейцев, всех без разбора. Что ж, понять можно, если вспомнить, что они тут творили при монархии. И все-таки хочется знать больше. Посмотреть бы на этого фанатика! Побывать бы на допросе, что ли... Нельзя. Скажут — вмешательство во внутренние дела. Хотя какие они к черту внутренние...

Данилин вежливо излагает свою просьбу. Азиз шумно дышит.

— Я не имею права, мистер Даниель,— говорит он.— Я пошлю запрос...

Длинная история!

— Спасибо, капитан,— сказал Данилин.

Странно, он как будто обрадовался, что русский не знает этого Сурхана. Впрочем, ничего удивительного: личные мотивы исключены, следователям меньше хлопот.

Данилин передал Вере разговор с Азизом, потом принял душ и растянулся на постели, рядом с ней. Вера, подложив под голову руки, чуть тронутые загаром, смотрела вверх. Ему показалось, что она сейчас где-то далеко, очень далеко от него. Он представил себе проспекты и площади Ленинграда, ощутил свежесть ленинградской весны, увидел белые папахи черемухи, растущей у них во дворе. Какая там благодать! А он ото-

рвал Веру от Ленинграда, от дома, от библиотеки, где она проработала восемь лет.

Как раз перед его вызовом она начала осваивать механизированный поиск. Видно было по письмам: это очень увлекало ее. Машина-библиограф, машина, выдающая карточки с названиями книг по любой отрасли. Вера собиралась на конференцию в Таллин, где такие машины уже работают, выдают справки — стоит только нажать клавиши...

Это здорово, конечно!

Он оторвал Веру от матери, которой надо помогать. Оторвал от Веньки — непутевого младшего брата. С ним постоянно какие-нибудь истории: то декану нагрубит, то заглядится в автобусе на девушку и оставит там учебник или чертеж. Недавно от Веньки из Новосибирска, с практики, пришел сигнал бедствия: «Братцы, я женился!» Мать узнала от его приятелей и помчалась туда на самолете...

Все это пронеслось, как на экране, вереницей кадров, пронеслось под тот же лейтмотив: да, оторвал Веру от всего родного, привычного, от всех милых забот, вытащил сюда, под выстрел Сурхана Фаиза. Зачем такое испытание для Веры, для Марьяшки?

От этих размышлений ему опять стало душно. Он вскочил и выбежал в ванную. Там, под дождиком, Данилин окончательно решился, и ему показалось, что вместе с прохладой он ощутил странное облегчение. Надо сказать сейчас же, не откладывая.

— Видишь ли, Верошка... Если тут в самом деле заваривается такое со стрельбой... тогда тебе лучше уехать. Как, по-твоему, а?

Вера не шевельнулась.

— Да, я вижу, — сказала она.

В ней медленно нарастал гнев. У себя дома она натянула бы одеяло и отвернулась. Но тут никакого одеяла нет. Было душно, нестерпимо душно. Ее руки и ноги стали, кажется, еще тяжелее от гнева.

4

Два смуглых красавца, шагавших навстречу Вере, переглянулись, а один скорчил потешно-скорбную физиономию и покачал курчавой головой. «Должно быть,

я ужасно выгляжу», — подумала Вера. Она вынула из кармашка хозяйственной сумки зеркальце и едва не оступилась — асфальт как решето, весь в выбоинах. А толпа все густела в тесной, извилистой улочке и несла Веру, не давая ей остановиться.

Э, неважно! Вера спрятала зеркальце. Однако какие глаза у африканцев! Они как будто смотрят тебе в душу...

Вера не спешит наполнить свою сумку фруктами, зеленью, бараниной и вернуться в коттедж. На людях ей легче.

Вчера, когда Антон предложил ей уехать, она так обиделась, что готова была согласиться. Потом ему позвонили с лоцманской станции, он собрался очень быстро и ушел. Поцеловал ее как ни в чем не бывало и ушел. Обида снова ожила.

На мостовую выплеснулся гомон кофейни. Старые арабы сидят за чашечками кофе, за кальяном, не замечая суеты базара. Толпа осторожно, уважительно обтекает их. Вера придерживает шаг. Она боится задеть кальян — пузатый медный сосуд с фантастическим узором.

— Мадам! Мадам!

Толстяк в пиджаке, в красной феске протягивает ей мундштук, хочет дать попробовать.

— Не курю, спасибо, — говорит Вера по-русски.

Толстяк улыбается ей, хорошо улыбается, как дочери. Отказ не погасил эту улыбку.

А где же те, кто стреляет? Как их тут различить? Они тоже сидят в кофейнях, курят кальян, пьют кофе и запиивают холодной водой, как все? Слитный гул несется из глубины кофейни, в ней черно от припомаженных мужских шевелюр. Может, там зреет заговор и завтра разбудит всех пальбой, пожарами...

— Мадам! Мадам!

Теперь ее задержал горбун — бродячий дрессировщик с обезьяной. Есть что-то игрушечное в обезьяне. Шерсть у нее бежевая, короткая, с плюшевым блеском. Вера опустила в кружку медную монету и пошла было дальше, но укоризненный взгляд горбуна не пустил ее. Тотчас на голове обезьяны появился цилиндр, а в глазу монокль. Обезьяна пошла, выпятив живот. Короткая шерсть ее топорщилась от натуги: она изображала

колониилиста, напыщенного и дряхлого. Кругом смеялись, хлопали.

— Араби, руси, ас салям! — крикнул кто-то.

Вера обернулась. Коренастый широколицый араб — наверно, он и кричал — сплел пальцы обеих рук и кивнул Вере.

«Откуда он знает, кто я? — удивилась Вера. — Я еще ни с кем не знакома тут, а меня уже приметили...»

В человеческой гуще прокладывают себе путь губастые ослики с поклажей, продавцы лимонада с огромными, окованными медью кувшинами, официанты с подносами, фокусники, нищие. Магазины словно выпотрошены: груды шерсти, рулоны ситца и шелка лежат на столах и прямо на мостовой. Все цветы, все краски мира горят на тканях. Гроздь бананов желтеют на расписных тележках. Утренний ветерок, замирающий перед полуденной жарой, чуть шевелит развешанные вдоль стен скатерти, шали, ленты. Неподвижно висят тяжелые пучки двухметровых свадебных свечей, клетки с попугаями, сбруя.

Вере нравится базар. Здесь знакомый издавна уголок Африки, живописной, немного игрушечной Африки из книжек с картинками. Вера все дальше продвигается по этой кипящей, горластой улице.

Вот уже площадь. Это центр Джезирэ, здесь он впрямь похож на город. Стекло и бетон нового кинотеатра, игривая, увенчанная куполами и башенками резиденция городских властей, витрины магазинов.

Базар льется дальше, через площадь, скупо затененную кое-где древними, серыми от пыли пальмами. Вдруг — Вера вздрогнула от неожиданности — кто-то нежно обхватил ее пальцы. Она увидела маленького черного мальчика.

— Мадам, ком, — сказал он робко.

В его кудряшках запуталась оса. Вера выгнала осу. Мальчик лопотал что-то.

— Пойдем, милый, — сказала Вера.

В следующую минуту она удивилась тому, что идет неизвестно куда, доверившись крохотному проводнику. Пахло зловонием, открылся узкий переулок в тисках каменной нищеты. Входы без дверей, окна без рам, затянутые дырявыми тряпками.

Вера оказалась в небольшом глинобитном дворике. У стены за верстаком сидел старик — босой, в длинной галабии из грубого холста. Его крупная, наголо обритая голова сверкала, как шлем. Черты лица показались Вере недружелюбными. Она все еще не понимала, зачем ее привели, и от смущения забыла поздороваться.

На верстаке — долота, сверла, стамески.

Старик оторвался от своей работы. Он не улыбнулся Вере, нет, только две зоркие, умные искорки зажглись в его глазах и осветили лицо. Вера не могла слова вымолвить — так резко преобразилось лицо мастера.

Потом она поймала себя на том, что следит за его движениями как околдованная. Он поднял с верстака тонкую палочку и клейким концом ее взял что-то из жестяной банки. При этом горбатый нос старика дернулся книзу, словно клюнул. Нечто едва приметное, прилипшее к палочке, опустилось на фигурную дощечку. Вера нагнулась. Она напрягла зрение, но едва сумела разглядеть крохотный ромбик из кости. Он присоединился к другим ромбикам, к тысячам ромбиков, которые уже покрыли почти всю дощечку волшебством арабской инкрустации.

— Сердце мадам доступно для красоты, — тихо проговорил мастер по-английски, не поднимая головы. — Это хорошо. Тот, кому неведома красота, мертв.

— Что это такое? — спросила Вера почти шепотом и коснулась края дощечки.

— Полка, мадам. Полка для книг. Прикажете, и я сделаю вам такую.

— Да, конечно...

Она ответила машинально и спохватилась. Ведь это стоит, наверное, огромных денег...

— Я стар, мне немного нужно, — сказал мастер, угадав ее мысли. — Мои дети сами добывают хлеб. У мадам есть дети?

— Одна дочь.

— Мало. Знает ли мадам: у женщины столько жизней, сколько у нее детей?

Вера промолчала.

— Это вечное дерево, — сказал мастер и постучал по дощечке. — Оно будет служить вашим внукам и правнукам. Пусть мадам не опасается, полка обойдется недорого.

Он назвал цену, и Вера чуть не вскрикнула. Недорого? Ничтожно дешево! Она сказала, что такая тонкая работа стоит больше, и мастер сдержанно поклонился:

— У мадам доброе сердце. У многих людей доброе сердце, но не все слушаются его. Мадам должна простить безумца.

— Какого безумца?

— Беднягу Сурхана. Аллах отпустил ему мало разума. Но Сурхан никого не хотел убивать.

Вера отшатнулась и отступила на шаг. Только что было все просто: черный мальчик привел ее в мастерскую. Множество мальчиков — черных, коричневых, смуглых — зазывают прохожих в магазины, в мастерские. Мастер делает полку. Но нет, все-таки не все просто в Африке. Опять началась сказка. Ее не оборвало пульей...

— Мой сын служит в порту,— слышит Вера.— Он знает вашего мужа...

Она медленно приходит в себя.

— У нас маленький город, мадам...

Глаза у старика смеются. Поразительные у него глаза. У европейцев нет таких.

Старый мастер и впрямь волшебник. Сейчас он не смотрит на нее. Еще один кусочек слоновой кости опущен на дощечку. Вера чувствует, как душу ее освежающим потоком наполняет что-то хорошее, мудрое, смысляет мелкое, второстепенное, ничтожное.

Нет, она, конечно, не уедет отсюда. Что бы Антон ни говорил. Нет!

5

В часы отлива море уходило далеко-далеко и теряло на песке частицы своей синевы — теплые, ласковые лужицы. Ребята шлепали по ним и вылавливали креветок. Невзирая на родительский запрет, их ели сырыми. Марьяшка с ожесточением жевала жесткое мясо, упругое как резинка. В нем был вкус приключения.

Разболтанный, пропылившийся ветеран-автобус привозил сюда лоцманских детей на целый день. Старый араб, нанятый, чтобы наблюдать за ними, дремал где-нибудь в тени, и ватага наслаждалась полной свободой. Хочешь — плавай или собирай морскую живность, ка-

мешки, красивые зубчатые раковины. Хочешь — копайся в трюме затонувшей фелюги, ищи золото пиратов.

Фелюга служила не пиратам, а строителям, пока годы не доконали ее, не погрузили на дно вместе с грузом камней. Марьяшка знала это, но все-таки придумала корсаров с их сокровищами, добытыми ценой крови. В конце концов она сама поверила в них. Было очень увлекательно лезть внутрь, в облепленный улитками кубрик. И немного страшно. Ведь фелюга лежит у последнего предела отлива, обнажается ненадолго, и надо успеть добежать до нее, обследовать и внутренность развалины и песок вокруг. Море вечно передвигает пески: сокровища — драгоценные кубки, усыпанные самоцветами кинжалы — могут заблестеть на поверхности не сегодня-завтра.

Как-то раз ребята принялись фантазировать. Вдруг отыщется клад! А дальше что? Как им распорядиться? Француз Кики заявил, что он открыл бы кондитерский магазин. Марьяша возмутилась.

— Конечно в музей! — заявила она.

Грек Демосфен колебался между музеем и собственной мастерской по ремонту велосипедов. Осуждающий взгляд Марьяшки заставил его пойти на жертвы.

— Музейон, — сказал Демосфен.

Марьяшке нравилось и помолчать у моря. Сесть и смотреть сквозь щелочки прижмуренных глаз и воображать разное, что придет в голову. Находить в облаках фигуры людей, слонов или верблюдов.

Черта горизонта ровная-ровная. Слева тонут в дымке плоские крыши Джезирэ. Кое-где между ними — пятнышки зелени. Правее, там, где море вдается в сушу и начинается канал, застыли суда, ожидающие лоцманов. Может, тот желтый пароход с огромной зеленой трубой ждет папу?.. До чего смешная труба!

За спиной похлопывают на ветру тенты маленького курорта Эль Куфр, закрытого на время летней жары. Как хорошо сидеть так, под сикомором, и думать, и воображать! Тело чуточку зудит от солнца, от морской соли. Если постараться, можно точно угадать, в каком месте вскочит новый прыщик. Вначале Марьяшка пугалась сыпи, выступившей на коже, да и мама тоже. Да, будет что рассказать осенью в школе! Прыщики, конечно, ерунда! И фелюга и бег наперегонки с отли-

вом — все чепуха после того, что произошло вчера вечером.

Сегодня Марьяшка устала не только от беготни, от солнцепека, но и от успеха. Она охрипла, повторяя эту историю и добавляя все новые подробности.

— Ж-жик! Бах-бах! Окно вдребезги, весь пол в осколках,— вдохновенно сочиняла Марьяшка.— Мне чуть ухо не сшибло. Пуля вот так пролетела.— И она приставляла к уху сперва ребро ладони, а потом два пальца.

Когда не хватало слов английских, арабских или греческих, Марьяшка вставляла русские. Ничего, поймут! И ее в самом деле понимают. Здорово!

Марьяшке привиделись айсберги и вулкан Килиманджаро на стене в классе и она сама в кругу потрясенных школьных подруг. Глаза ее слипались... И вдруг легкая рука коснулась спутанных, выдубленных морем волос Марьяшки, перепорхнула на ее плечо.

— Зульфия! Почему так поздно?

Некогда было! Зульфия стирала, потом зашивала рубашку младшему брату, потом... Нет конца домашним заботам — ведь больше некому помогать матери.

Марьяшка всегда любит Зульфией. У всех арабов походка, как на сцене. Мама права. Как будто сотни зрителей следят за ними. А Зульфия, тоненькая Зульфия с милым пятнышком-родинкой над бровью, идет почти не касаясь земли. Зульфии уже четырнадцать, в нее уже влюбляются взрослые парни — тем дороже Марьяшке ее дружба.

— Мери-Энн, это правда? Я слышала...

Марьяшке нравится, как зовет ее Зульфия — Мери-Энн. По-английски она говорит медленно, с гулкими горловыми звуками,— это очень красиво. Марьяшке вообще все нравится в Зульфии.

— Правда, Зульфия. В нас стреляли.

— Вчера вечером?

— Да. Ты уже знаешь?

— Конечно. Это из-за меня.

Марьяшка откинулась назад и больно стукнулась спиной о корявый ствол сикомора. Зульфия ладонью растирала ушибленное место. Она ловко разгоняла боль и что-то приговаривала по-арабски.

— Сурхан стрелял,— сказала она наконец.

— Твой брат?

— Да. Глупый Сурхан, плохой Сурхан.— Зульфия свела брови.— Тебя чуть не убило, да?

Марьяшка схватила подругу за руку и усадила рядом. Сурхан с ума сошел, что ли? Она видела Сурхана однажды — он угостил ее тыквенными семечками. Он, кажется, вовсе не злой.

— Он глупый,— упрямо повторила Зульфия,— он стрелял, чтобы прогнать Спиро.

— Спиро?

И вдруг Зульфия заплакала. Это было непостижимо: Зульфия — такая большая — и плачет, закрыв лицо. Что случилось? Ведь все обошлось: никого же не задела пуля Сурхана!

На шоссе за тентами проревел автобус. Старый Фахид проснулся. Он влез на скамейку и замахал:

— Су-да-а! Су-да-а!

Русское «сюда», подхваченное где-то, явно нравилось Фахиду. Марьяшка затормозила подругу: рассказывай скорее, уже пора уезжать, все сбегутся и помешают.

— Сурхан... У нас отца нет... Он старший мужчина... Он не любит Спиро, ведь Спиро...

Слезы мешали ей говорить. Марьяшка рассердилась: дурочка, реветь из-за этого Спиро!

— Тебе нравится Спиро, да?

Зульфия всхлипывала, водя рукой по песку. Ей попалась веточка сикомора, Зульфия переломила ее, слезы как-то разом высохли:

— Не надо! Не надо мне никого!...

Тогда отчего же она плачет? Только в автобусе, на тряске заднем сиденье, Марьяшка поняла: Сурхан решил отдать сестру замуж. Он сам выбирает жениха побогаче...

Домой Марьяшка прибежала потрясенная. Никто из ее подруг еще не выходил замуж — Зульфия первая... Но ее заставляют выходить! Отдали бы за Спиро, не стала бы, наверно, плакать. Он все-таки нравится ей. А кого выберет ей Сурхан? Мало ли, какого-нибудь уродину — и грязного, и старого... А Зульфия хочет учиться. Плохой муж ей не позволит, заставит сидеть дома, стирать...

— Что с тобой, Марианна? — спросила мать.

— Ничего, так, — сказала Марьяшка мрачно.

За обедом она проливали суп на скатерть, влезла локтем в салатницу. Вера сперва бранила ее, потом встревожилась. Но Марьяшка была нема как рыба. Лишь вечером она почувствовала, что груз новостей слишком давит ее и нести его одной не под силу.

— Мама, — начала Марьяшка, — мама, ты не знаешь, какая Зульфия несчастная.

И она рассказала все. По временам она умолкала, борясь с невольной назойливой горечью, набухавшей в глазах. О том, что стрелял Сурхан, мать, оказывается, слышала, об этом весь город говорит. Тем лучше, сейчас самое-самое важное — что будет с Зульфией.

— Мама, — сказала Марьяшка твердо. — Ее надо спасти.

— Малышка, — вздохнула Вера. — Мы же не у себя... Что мы можем сделать? Мы в чужой стране.

— Все равно, — сказала Марьяшка и сжала кулачки.

— У них свои законы, свои обычаи.

— Значит, мы должны смотреть?

В этот вечер Марьяшка легла спать на целых два часа позднее обычного. Два часа они думали, гадали: кто может заступиться за Зульфию? Спиро? Он старше, ему восемнадцать лет. Но ведь и он тут бессилен...

— Спиро, — сообщала Марьяшка, — христ... ну... как это... Он грек, мама. Сурхан потому и гоняет его. А Зульфия хочет сначала учиться, а потом замуж. Учиться... Нет, не на водопроводчика... Ну, который воду пускает, чтобы рис посеять. Она меня все спрашивает, как у нас девочки учатся и кем я буду.

У Марьяшки намерение окончательное, твердое: стать ботаником, ездить в экспедиции, чтобы искать целебные травы. Самые лучшие, самые полезные травы — против всех-всех болезней! Конечно, с такими делами ей некогда будет выходить замуж.

Как же спасти Зульфию?

6

У Данилина рабочий день начался как обычно. Ветхая пропыленная машина — она подвозит тех, кому заступать на вахту, — и получасовая гонка через весь го-

род. Гонка бешеная, так как шоферы порта — ребята отчаянные.

Двинуть бы не в порт, а в сторону, в пустыню, и побыть там одному, проветриться... Увидят его товарищи, скажут: паникует советский лоцман. Вчерашнее происшествие небось известно. Не выкладывать же им, что гнетет его пуще всего...

На площади, у кондитерской, шофер затормозил. Если инспектора Касема нет дома, значит, он здесь, пьет манговый сок.

Низенький, прихрамывающий Касем выбежал с пакетом леденцов, сел рядом с Данилиным.

— Прошу вас. — Он открыл пакет.

Данилин взял леденец, сунул в рот, но вкуса не ощутил.

— Очень, очень неприятно, — сказал Касем. — Ваша семья пережила ужасные минуты.

Данилин молчал.

— И все ведь из-за чепухи... Вы разве не знаете? Летучая мышь села на Сурхана, на его белую рубашку. Их же тянет на белое. Он целил вверх, в воздух. Ну вздрогнул, опустил ружье, попал в ваше окно. Бывает же! А к его сестре один парень привязался...

Данилин верил Касему. Человек серьезный. Располагало к Касему и то, что в дни революции он участвовал в штурме королевского дворца — недалеко от Джезирэ. Тогда и получил пулю в ногу. Нет, Касем не станет врать или передавать пустые слухи.

— По крайней мере, Сурхан так уверял, — прибавил Касем. — Люди слышали. Народ не верит, что он стрелял в вас.

— Азиз другое говорит.

— Вы позвоните Азизу сейчас, — предложил Касем. — Вот будка. Я подожду.

Касем ждал, грыз леденцы.

— Ну что? — спросил он Данилина.

— Смеется! — махнул рукой Данилин. — Говорит, летучая мышь... выдумка. А парень, влюбленный в его сестру... Действительно, есть такой. В тот вечер его видели в городе. Удобная версия для Сурхана.

Касем с хрустом разгрыз леденец:

— Вам нравится Азиз?

— У меня впечатление неплохое...

— Толстый человек, на здоровье жалуется, — подхватил Касем. — Толстые вызывают сочувствие, да? Они кажутся безобидными, добродушными. Может быть, Азиз честный... аллах один видит... Азиз был богат, у него земли много было, акций канала на много тысяч.

— А кто такой Сурхан?

— Матросом плавал, — сказал Касем. — Он недавно тут. Его выгнали с парохода за драку.

«Азиз все-таки прав, пожалуй, — подумал Данилин. Очень уж сомнительная история с летучей мышью».

Осудят Сурхана или оправдают — Вере все равно надо уехать. Тут ей не житье. Ошибкой было вызывать ее. Один год отработал, вытерпел бы еще год. А ей хватило бы Африки в книжках Ганзелки и Зикмунда.

И все же... Вчера Данилин вообразил, что ему сразу станет легче, если он предложит ей уехать. Но облегчения он так и не ощутил, его сразу же захлестнуло острой болью.

Раскачиваясь на ухабах, Данилин старается не давать воли чувству горечи, он твердит себе: ну что ж, еще год... А потом будет опять как бывало раньше: расставания и встречи, веселые, горячие встречи. Да, как раньше! Как все эти тринадцать лет.

Машина оставила за собой портовые пакгаузы, масляный блеск подъездных путей и подкатила к холму. Вершину его приплюснула серая бетонная башня с густой порослью антенн.

Данилин поднялся в лоцманскую. Радист Валентин — первый шеголь в Джезирэ — стоял перед зеркалом и подстригал себе бакенбарды. Он пружинисто поклонился и сообщил, что суда задерживаются, в океане шторм.

К океану через пески доверчиво тянулась ярко-синяя дорожка канала. В тихую погоду за окном виднелись и суда на заливе, их нетерпеливые дымы, пятнающие небосвод. Сейчас злая муть закрывала горизонт.

В комнате отдыха, которую Данилин называл парилкой, он застал двух лоцманов. Душан устроился на койке, свесив длинные ноги, и листал иллюстрированный журнал. Эльдероде, раскрыв на столе дорожную шахматную доску, составлял этюд.

— Салют счастливцу! — Узкое, с острой бородкой лицо Эльдероде повернулось к Данилину.

— Нам-то что за толк! — откликнулся Душан. — К нему приехала красавица жена, а ему и в голову не придет позвать товарищей в гости.

Данилин смутился.

— Ему недо нас, — сказал Эльдероде, смеясь. — Ему какой-то сумасшедший дом разгромил.

— Это правда, Антоний?

— Две дырочки, — сказал Данилин. — В окне и в стенке.

— Хорошо, что не тут. — Эльдероде щелкнул себя по лбу. — Ты знаменит, Антон. Во всей Европе. Сегодня включаю приемник, — радиостанция «Рейн»: антикоммунистическое движение на канале растет, советские помощники терпят провал, — ну, обычный репертуар. И вдруг — покушение на лоцмана Антона Данилина, стрелявший арестован, идет следствие.

— Фу, сволочи! — Данилин брезгливо поморщился.

— Завтра ты и в газеты попадешь, — деловито сказал Эльдероде и смешал фигуры.

Душан в это время наткнулся на портрет юной белградской киноартистки.

— Ты звезда Джезирэ — рассмеялся он, отбросив журнал. — Гонорар требуй! Разопьем вместе!

Данилин с трудом выдавил улыбку. О вещах серьезных он мог говорить только серьезно. Экая пустосмешка Душан!

Эльдероде затеял новый этюд. Данилин подошел, стал смотреть через его плечо.

Данилину многое нравилось в нем: солидный человек, на работе — образец аккуратности. И привязанности солидные, внушающие уважение: шахматы и художественная фотография, цветные снимки, требующие кропотливого труда. Он здорово поддержал его тогда, против Росби. Эльдероде, правда, не сразу высказался. Сначала он спокойно слушал демагога, приглядывался, зато уж потом занял твердую позицию. На митинге, что называется, раздел его...

Здесь, на лоцманской станции, куда ни глянь — вспомнишь авантюру Росби. Новенький аптечный шкафчик, новые покрывала на койках, радиоприемник последней марки — все это козыри Росби. Он крикливо уверял, будто добыл все с боем, не щадил нервов, наседа на администрацию. Подлец, провокатор!

— Как ваша жена? — спросил Эльдероде, медленно передвинув фигуру. — Тяжелый сюрприз для нее...

— Да, неприятно.

— В Ленинграде сейчас прекрасная пора. — Эльдероде задумчиво откинулся в кресле. — Белые ночи, ночи Достоевского.

— Да.

— Прекрасный город. Я был в Ленинграде. Давно, когда плавал штурманом. Кажется, у меня сохранился снимок... Соберетесь ко мне с женой как-нибудь, я покажу вам.

— Спасибо, — сказал Данилин.

Он отошел, сел в стороне. «Соберетесь с женой...» Мысли Данилина опять умчались к Вере.

И на катере, на пути к ожидаемому судну, он был с ней. Видел ее испуганную, с крупинками штукатурки в волосах после выстрела...

Залив вскипал белыми гребешками. Данилин всегда испытывал чувство приподнятости, вырываясь из тесноты канала на приволье залива.

Катер подбрасывало. Грузенный купец с сигнальным флагом на мачте — «вызываю лоцмана» — стоял почти неподвижно, глубоко зарывшись в суматошную пляшущую волну. Жаркий ветер быстро закрыл берега бурой песчаной мглой. Ширилась, разворачивалась надпись на корме «Тронхейм», словно крик издалека, словно тоска по норвежским фиордам, по студеным горным водопадам.

Трап уже спустили, с него спрыгнул инспектор Касем. Он бормотал проклятия.

— Норвежца можете вести, — сказал он. — А ту старую колоду я отправил обратно.

Он показал на большой обшарпанный лесовоз, бросивший якорь недалеко от «Тронхейма».

Летучий песок заволакивал лесовоз, не позволяя определить, чей он.

— Гонконг, — сказал Касем. — А капитан португалец. Черт их разберет... Факт тот, что это столетняя рухлядь. Бутылок передо мной наставили... Черта с два я их пропущу! Осадка у них... Клянусь аллахом, мистер Антони, такая развалина на канале — это верная авария.

— Не первый случай, — сказал Данилин.

— Вот именно! — вскричал Касем. — Что-то к нам часто лезут такие гробы. Будто нарочно...

— Не исключено, — сказал Данилин.

Он занес ногу на трап.

— У норвежца все в порядке! — крикнул ему вдогонку Касем. — Там моряки, а не шантрапа.

7

К ночи шторм утих. Береговые огни вызвездились яркие, свежие, как обычно после ненастья. Машины на «Тронхейме» превосходные, чуткие, команда вышколенная, — словом, все обеспечивает выполнение графика.

К запахам краски, технического масла примешивается еще один: палубу в ходовой рубке щедро натерли мастикой. Все судно дышит льдистой, самоуверенной скандинавской чистотой. Вежливый капитан в белоснежной накрахмаленной рубашке предложил Данилину кофе, хрустящие булочки, сыр со слезой. Соблазнил Данилина и просторный «капитанский» душ.

Мыться можно было не спеша — «Тронхейм» стоял на озере. У входа в канал образовался затор. Впереди маячили два танкера. «Тронхейму» пришлось занять место в очереди и ждать.

Данилину отвели каюту для отдыха. Белокурая горничная взбила подушку. Отчего бы и не вздремнуть? Но в дверь постучали.

— Господин лоцман, я очень сожалею. — У капитана был действительно огорченный вид. — Вас желают видеть.

— Меня?

Данилин взял из пухлых пальцев капитана визитную карточку.

— Энергичный молодой человек, — говорил капитан, теперь уже добродушно посмеиваясь. — Ночью, в рыбацкой лодке... Вы, наверное, очень нужны ему.

Бенджамен Баркли, сообщала карточка. Газета «Тудэй». Репортер! Данилин чуть не выругался.

— Он в салоне, — сказал капитан. Голубые глаза его от любопытства сузились.

Когда Бенджамен Баркли встал с дивана и вытянулся во весь рост, Данилину показалось, что репортер уперся головой в потолок.

— Я очень, очень рад...

Он резко встряхивал руку Данилина. Еще бы, разумеется рад, подумал Данилин. Он вспомнил предсказание Эльдероде: завтра будет в газетах...

— А я ничуть не рад,— вырвалось у него. Тотчас он пожалел об этом и смутился: следовало ответить иначе, более дипломатично.

Но уж теперь не воротишь.

— Отлично! — расхохотался Баркли. — Спасибо за откровенность, мистер Данилин. Мы ведь поставщики пошлых сенсаций, не правда ли?

— Это у вас бывает, — хмуро ответил Данилин.

Репортер опять хохотнул. Он ничуть не обиделся, и это еще больше разозлило Данилина.

Капитан вышел на цыпочках и тихо прикрыл за собой дверь. Данилин сел.

— Сказать вам откровенно, — Баркли вытащил из кармана холщовых брюк блокнот, — мой редактор предпсчел бы, чтобы вы были убиты. Но раз вы живы...

— Считайте, что я для вас покойник, — ответил Данилин и сам тоже усмехнулся.

Перо Баркли уже работало.

— Нет, этого не пишите, — встревожился Данилин. — Незачем такую чушь... Seriously, господин Баркли, брать у меня интервью бесполезно. Не я веду следствие. Обратитесь лучше к здешним властям.

— Я был у них.

— Разве недостаточно?

— Боже мой, мистер Данилин! Вы живой человек! Неужели у вас нет простого желания — сказать Африке «прощай»? Ведь вы без места не останетесь, насколько я понимаю.

— Верно, — кивнул Данилин, — вы правду сказали. Я на родине хорошо устроен.

— А, догадываюсь! Вы романтик. Пробуждение Востока, коммунистическая сказка Шехерезады, красные калифы...

— Я не любитель сказок, — бросил Данилин в сердцах. — А Восток действительно пробуждается. Хотя вашему редактору, да и вам это не по вкусу...

— Обо мне нет речи, мистер Данилин. Лично я политикой не занимаюсь. Партий для меня не существует. Только люди, добрые или дурные.

Это еще что за поворот? Ответа Данилин сразу не нашел и счел за благо кончить беседу.

— Извините. — Он встал. — Мне пора на мостик.

Очутившись на палубе, он с удовольствием подставил лицо ветру. Пустыня уже отдала дневной жар и дышала прохладой. Мимо Данилина на нос прошел враскачку на ногах-коротышках боцман. «Тронхейм» готовился выбрать якорь.

Данилин перебирал в памяти все сказанное. Он порицал себя: вот, все-таки дал интервью. И кому? Газете «Тудэй», беспардонной сплетнице. Да, допущена ошибка... Конечно, радости им это интервью не может доставить. Но ведь они не церемонятся, возьмут да и переиначат по-своему...

Однако что-то смягчало досаду Данилина. Что? Может быть, веселая прямота Баркли, его искренний смех?

8

Сурхана водили на допрос каждый день. Совершая в своей камере намаз, он молил аллаха пощадить его.

Для намаза Сурхан получил тряпку, которая когда-то была ковром. Солнце в камеру не заглядывало, но крик муэдзина проникал через узкое решетчатое окошечко наверху. Поэтому Сурхан не боялся потревожить аллаха молитвой не вовремя.

Да, милость аллаха очень нужна Сурхану. Он уж который раз повторяет капитану Азизу: стрелять в советского лощмана и не думал, вышел попугать шалопая грека. Вздумал волочиться за сестрой! Аллах видел — ружье было направлено в воздух. Но подлый враг аллаха принял облик летучей мыши...

Белая рубашка Сурхана, соблазнившая гнусную тварь, давно стала черной, — а это была его самая лучшая рубашка. Из нейлона, купленная в Измире. В тюрьме она испачкалась, порвалась на худой железной койке, едва прикрытой куском войлока. Ни днем ни ночью эта койка не дает сомкнуть глаза. Кормят сухой, недоваренной фасолью. Да и ту надзиратель иногда забывает принести. Он мстит Сурхану, так как не получает от него бакшиша.

И не получит! Сурхан готов сосать собственный палец, но денег, если бы они и появились у него, вымогателю не даст!

Не раз бывало — Сурхан сидел на допросе голодный. Почтенный Азиз — аллах одарил его ученостью — исписал уже листов пятьдесят своим мелким и красивым почерком. Все, решительно все известно капитану Азизу про Сурхана. И на каких судах плавал, и в каких портах бывал. И кто его друзья, и кто недруги. И по какой причине набуянил на иностранном судне.

Аллах видит: Сурхан не мог снести обиду.

— Кто же тебя обидел? — спрашивает капитан.

— Механик по имени Пьетро, — отвечает Сурхан. — Он сказал, что мы потому не едим свинину, что сами свиньи.

— И ты осмелился ударить механика?

— Да, мой господин! Аллах простил меня.

— Вероятно, — соглашается капитан. — Значит, ты сильно ненавидишь европейцев?

— Неверного я не назову братом. Господин начальник, — Сурхан выпрямляется, — кто ответит за кровь моего отца?

Капитан не откликается, он опять пишет, опять выводит буквы своим тонким, быстрым пером. На щеку ему села муха, он даже не морщится, торопится исписать еще один лист.

А ведь ему известно про отца, убитого английской бомбой в Порт-Хараде.

— А кто такой Спиро?

— Грек, неверный.

— У него, однако, есть деньги. А в будущем будет еще больше. Он получит в наследство лавку.

Начальник и так все знает. Для чего задавать вопросы, для чего писать? Но произнести эти дерзкие слова вслух Сурхан не решает.

— Спиро, быть может, хочет жениться на твоей сестре. Он вытащил бы ее из бедности, да и тебе кое-что перепало бы.

— Он обманет ее.

— Как ты можешь утверждать?

— Все равно, господин, — волнуется Сурхан, — я не отдам Зульфию за неверного. Пусть оставит при себе свои деньги.

— Ладно, Сурхан, — кивает почтенный Азиз. — Нас не касается. Сознаешь ли ты, что тебе грозит?

Аллах милостив! Разве правда не ясна, как день? Разве не записал ее почтенный Азиз?

Сурхан молчит. Если капитан не верит ему, тогда самое лучшее молчать. Язык Сурхана словно окостенел.

— Но у советского лощмана другое мнение, — слышит Сурхан. — Он считает, что у тебя был умысел. Он требует, чтобы мы казнили тебя за покушение.

Сурхан растерянно моргает, — почтенный Азиз выхватил из ящика стола бумагу и машет ею, почти касается лба Сурхана, его давно нечесанных, свалявшихся волос.

— Я пытаюсь тебе помочь, но... — капитан прячет бумагу обратно в стол и со вздохом задвигает ящик. — Судьба твоя не стоит гнилого финика. Летучую мышь на твоём плече никто не видел. Тебе следовало поймать ее. Спиро видели, но полчаса спустя, у автобусной остановки.

У Сурхана кружится голова.

— Ты что, — кричит начальник, — дар речи потерял, ослиное ухо?!

Сурхана увели.

Аллах еще не сжалился над ним, еще несколько дней испытывал его ужасом, неизвестностью. «Тебе следовало поймать ее», — сказал начальник. О если бы можно было положить это поганое создание, эту проклятую жительницу тьмы на стол почтенному Азизу! Сурхан ощутил когти летучей мыши, вцепившейся в его рубашку, ее тяжесть на плече и сделал судорожное движение, чтобы сбросить порождение ада. Ночью, в беспокойном полусне, к нему слетались стаи летучих мышей. Они садились на него, ползали по его телу, царапали...

Видения посещали его все чаще. Когда стражники снова втолкнули Сурхана в кабинет начальника, он поклонился и потом сразу же дернулся, отбиваясь от летучей мыши, видимой ему одному.

Что-то изменилось в кабинете. Да, перед капитаном на столе нет бумаг. Стол чист, на нем нет ничего, кроме пачки сигарет и зажигалки в виде сидящего дервиша.

Такие зажигалки Сурхан видел — их продают в столице туристам. Теперь дервиш сидит совсем близко, от

его полосатого одеяния рябит в глазах; из кривого, беззубого рта вырывается пламя.

Начальник всовывает в губы Сурхана сигарету. Что происходит, великий аллах!

— Ты родился под счастливой звездой, — говорит начальник. — Вчера уже был приказ о твоей казни. Кури, кури, глупец! Благодарю аллаха и меня.

У Сурхана слабеют ноги, он опускается на пол.

— Аллаха и меня, — повторяет капитан. — Твое дело разбирали в столице. По моему настоянию тебя приставили. Просьбу советского лощмана большие чиновники разорвали вот так...

Начальник поворачивается к шкафу, достает лист бумаги, рвет и швыряет на пол. Это большое усилие для почтенного Азиза, — некоторое время он сипло дышит, открыв рот.

Сурхан смотрит на него с сочувствием. Как странно: почтенный Азиз столь учен, но знания не избавляют его от болезни, от телесных тягот. Почему аллах не поможет ему, не вознаградит за ученость, за доброту?

— Кури, дурень! — говорит капитан.

Сурхан не затянулся, сигарета его погасла. Он жуёт сигарету, и ему вдруг становится страшно. Очень уж явственно привиделась петля, стягивающая шею.

— Вот чего надо было русскому! — слышит Сурхан. — Он желал твоей смерти. И значит, в угоду ему мы должны были повесить невинного!

Про русского еще никто не говорил плохого. Дочка русского дружит с Зульфией. Один раз, издали, Сурхан видел его самого. Нет, Сурхан тогда не почувствовал в нем врага. Вообще зла на русских у людей нет. Напротив... Но, конечно, у многих людей нет и крупницы того разума, которым наделен почтенный Азиз. Он грамотен, ему открыт весь мир. Может ли сравниться с ним, скажем, двоюродный брат Али, умеющий лишь носить на голове корзину с солеными хлебцами, или дядя Мансур, брадобрей!

— Мы однажды выгнали европейцев. Потом впустили других, надеялись, что эти будут лучше. Э, черный стервятник или серый — все равно стервятник.

Сурхан смущенно вникает почтенному Азизу, своему благодетелю.

— Настанет день, — Азиз запрокидывает голову, как

будто зовет в свидетели небо, — мы избавимся от всех неверных. Песок занесет их следы.

Маленький лукавый дервиш на столе раскрывает рот — острый кривой полумесяц. Он беззвучно молится. Он тоже рад тому, что песок засыплет навсегда следы неверных.

— Ступай домой, — слышит Сурхан. — Твое ружье мы тебе не отдадим, а то, пожалуй, опять наскандалишь. А летучую мышь поймать трудно. Я не шучу. Я больше не намерен выручать тебя.

Начальник бесконечно добр. Сурхан не верит своим глазам: почтенный Азиз не только отпускает его на свободу, но готов дать займы денег, до первого заработка.

Выходя из ворот тюрьмы, Сурхан крепко сжал в кармане эти монеты, избегая просящих взглядов надзирателя и привратника.

Солнце ослепило Сурхана. Он шатался, силы покидали его, — он едва смог отбежать в сторону, чтобы не угодить под машину. Она с воем промчалась мимо. За ее стеклами мелькнула грузная фигура капитана Азиза.

9

— Опять звонил Азиз, — сказала Вера.

— Есть новости?

— Он желает говорить только с тобой. Меня он не удостоил доверия.

Данилин только что вернулся с вахты. Пока он набирал номер, Вера следила за ним с улыбкой, полуспрятанной в уголок губ.

— Карош! — услышал Данилин. Азиз умел придать множество оттенков этому неизменному «карош». На этот раз «карош» звучало в самом прямом и наилучшем смысле. Новость, стало быть, приятная.

Сурхан, оказывается, невиновен. Все подозрения отпали. Да, ружье в его руках дрогнуло. Да, да, летучая мышь. Она виновата. Сурхан хотел послать пулю в воздух.

Начальник полиции выложил все в необычно быстром темпе, единым духом, явно стремясь ошеломить Данилина своим открытием. Именно это и заставило Данилина напомнить;

— Раньше у вас было другое мнение.

— Да, вы правы, мистер Даниель. Наши мудрецы говорили: истина бывает скрыта под семью покрывами. Мы не могли взять на веру его показания.

Конечно, Азиз не преминул намекнуть на свое усердие.

— Он задал нам работы... Мы тщательно проверили все, мистер Даниель. Видите ли, опасные элементы у нас имеются, но... против наших дорогих, — Азиз произнес «дорогих» вставляя и глотнул воздух, — советских друзей он ничего не имеет.

— Он дома сейчас?

— Нет, — поспешно ответил Азиз. — Ушел в плавание.

— Жаль. Я бы хотел взглянуть на него... Значит, все обвинения отпали?

— Да. Он просто скандальный субъект. Теперь у нас будет тихо.

— Отлично, — сказал Данилин.

— Карош, — закончил Азиз.

Данилин мечтал о таком исходе, даже допускал его одно время, но сейчас растерялся. Давно ли Азиз без тени сомнения уверял в обратном!

Тотчас пришло на память то, что сказал про Азиза инспектор Касем.

Однако какой расчет Азизу... Данилин терпеть не мог долго барахтаться среди догадок — он нетерпеливо искал ясности. В самом деле, с какой стати Азизу лгать?

Вера была на кухне. Она не выказала никакого любопытства к телефонному разговору. Данилин понял это по-своему: Вера все еще сердится за то, что он предложил ей уехать. Да-а... уехать... Но теперь, после сообщения Азиза... Стоит ли теперь настаивать? Слова начальника полиции все-таки успокоили Данилина: что-то начало оттаивать у него в груди.

Вера вошла в столовую и рассмеялась: ее Антон, ее большой, сильный Антонище стоял перед ней смущенный и так забавно отводил глаза...

— Ну и паникер же ты. — Она обхватила его шею и пригнула к себе.

Подтягиваясь на носках, она целовала его лоб, щеки, нос, говорила, что никуда не уедет от своего Антона, все

равно не уедет, что бы ни случилось, пусть он выбросит это из головы.

Пристыженный, он молча обнимал ее. Вера растрепала ему волосы, спросила:

— Так что же Азиз?

Он заговорил, и она перебила его.

— Знаю, — услышал Данилин. — Я знаю даже, как зовут сестру Сурхана. Зульфия — вот как ее зовут. Ты понял?

— Нет.

— Зульфия, подруга Марьяшки. Много ли ты знаешь вообще? Ты живешь как бирюк...

Обнявшись, они сели в кресло — великанское кресло-мастодонт, как прозвала его Вера.

— Марьяшка чуть не плачет, — говорит Вера. — Ужасно переживает за подружку. Зульфию хотят за другого отдать. В сущности, по здешним обычаям, продать... Кошмар, правда? Представляешь, как это на Марьяшку действует? Она еще младенец, и вдруг у подружки такая история...

Данилину хорошо сидеть, прижав к себе Веру, сидеть и слушать. Дело фанатика Сурхана, дело со странными подробностями вроде летучей мыши, — это дело теперь словно отделялось от капитана Азиза, от его «карош», чуточку назойливого, слегка угодливого. Неведомая сестра обрела имя и оказалась подружкой Марьяшки. Все становилось простым, почти домашним, а потому вполне заслуживающим доверия.

Затем Данилин снова услышал, что он живет как бирюк. Первый раз он не обратил внимания на эти слова.

— Ну ясно — бирюк, — усмехнулся он. — Давно известно.

Бывало, он жаловался Вере: хоть бы недельку прожить без гостей. Удрать бы на Белое море, к родным. В ответ он получал беспощадное «бирюк». Ох, не вздумалось бы Вере и тут, в Джезирэ, жить так же, как в Ленинграде: двери настежь для всех...

А Вера не унималась:

— Вообще, друзья у тебя есть?

— Есть, представь себе, Верошка, — отбивался он.

— Почему ты ни одного не показал мне? Вот и пригласи их! Сейчас особенно уместно: пусть видят, что

семья советского лоцмана и после этого несчастного выстрела ничуть не боится жить в Африке.

Данилин взял ладонями ее голову, повернул к себе.

— Давай, — сказал он. — Понимаешь, когда я был один... Без хозяйки дом — не дом. Не до приемов. А раз имеется хозяйка...

— То-то же!

Поистине день новостей сегодня у Данилина. Совсем еще недавно Вера была просто туристкой, очарованным новичком в Африке. В Африке-музее. А сейчас Вера — хозяйка в их африканском жилище. Разумеется, ей надо собирать гостей. Что ж, дело известное. Он на все согласен.

— Ты заинтриговала наших лоцманов, Верошка: «К тебе, — говорят, — красавица жена приехала».

Сам Данилин не мог бы сказать, красавица его Вера или нет. Красавица — это что-то книжное и, пожалуй, звучит как титул.

— Ладно. — Вера приняла титул как должное. — Сколько же будет у нас народу? Боюсь, — она окинула взглядом комнату, — больше двадцати тут не посадить.

— Ты смеешься, Верошка! Двадцать!

Потом он называл тех, кого бы позвать. Вера записывала: Душан, болгарин Станоев, инспектор Касем... А из западных...

— Позовем Эльдероде, — он решительно загнул палец. — Из западных он первый поддержал нас тогда против того канадца. Человек воспитанный, — прибавил Данилин с уважением.

— Зови воспитанного, — кивнула Вера.

Приготовления начались на другой же день. Хасан, приходящий повар, пообещал приготовить знаменитое арабское блюдо — шашлык из печени. Данилин предложил сделать холодный борщ. Правильно, накормить в Африке гостей русским борщом! По-русски, до отвала!

Вера надела вечернее платье, которого Данилин еще не видел у нее. Сам он потел в черном костюме и очень волновался: все ли как положено?..

Седой, выдубленный солнцем Станоев смотрел на Данилина и Веру отечески ласково. Он привел жену — сухощавую, бойкую старушку, которая дала Вере рецепт варенья, переходящий у Станоевых из рода в род.

Душан, нарочно мешая сербские и русские слова, ве-

селил всех анекдотами. Вера устала смеяться. Инспектор Касем, церемонный, в белоснежной галабии, хвалил английское произношение Веры, чем польстил ей чрезвычайно.

Эльдероде понравился Вера меньше других. Да, манеры отличные, отработанные манеры, но что же кроме них? В обильных комплиментах ее кулинарному искусству, ее храбрости, — шутка ли, вести дом и семью в Африке! — Вера не ощутила сердечного тепла. Но в общем-то с ним тоже интересно. Он хорошо рассказывал об Индонезии. Райская страна, только вот змеи... Бр-р! Ручной удав! Уж ни за что, ни за какие блага не стала бы держать в доме этакое чудовище. Вере казалось, что она прикасается к гадкому телу удава, — до того выразительно извивались руки Эльдероде во время рассказа. Тонкие, с длинными пальцами, и белые, несмотря на африканское солнце...

На прощание Эльдероде взял с Данилиных слово, что они навещат его скромное холостяцкое жилье, посмотрят снимки.

Проводив гостей, Данилин со стоном облегчения сбросил пиджак. Уф-ф! Все, кажется, сошло благополучно.

Одна Марьяшка осталась недовольна.

— Ужасно мне было интересно! — молвила она скептически, наморщив облезший от загара нос. — Только и слышишь: «Ах, ваша дочь? Очень приятно!» И все! Неужели я существую на свете лишь в качестве дочери? Надо было мне Зульфию затащить...

Они все трое мыли посуду на кухне, и Вера сказала мужу:

— У меня тут есть один знакомый. Ты знаешь его.

— Понятия не имею.

— Угадай! Нет, не ломай голову. Баркли, репортер. Что? Ты сердишься?

10

Просторный коричневый «шевроле» — почти все, что сохранилось от бывшего комфорта Азиза Шубран-бея, — вынесся на шоссе, ведущее в столицу.

Вместе с «шевроле» Азиз уберег одну из самых дорогих сердцу радостей — держать руль, повелевать про-

странством. Набирая скорость, он выражал свое ликование громкими гудками. Иногда он принимался выбивать на клаксоне дробь, как музыкант на бубне. Крестьяне, едущие верхом на осликах, продавцы на груженных повозках шарахались в испуге. Азиз смеялся, глядя, как падают на асфальт, под колеса машины, гроздь бананов, стебли сахарного тростника или ошалевшие от страха цыплята.

Часто Азиз нарочно прижимал бедных, одетых в рубище людей к обочине, к самому кювету и наслаждался их смятением. В такие минуты он сводил счеты с судьбой, мстил за унижение, нанесенное его высокому имени. Пусть не воображает эта голытьба, бывшие его рабы, все эти сыновья, внуки, правнуки челяди, служившей Шубран-беям, что они выше его.

Эх, проклятье! Объезд! Впереди пыhtят, уминая асфальт, паровые катки, дымят котлы. Дорога, отпрянувшая от большака, извилиста и длинна. Она огибает корпус нового завода, потом петляет среди коттеджей, свежая белизна которых режет Азизу глаза. Едва он выбрался на автостраду, как его задержала колонна грузовиков, до отказа набитых строительным материалом.

С полчаса он наслаждался быстрой ездой — до первого светофора. Ох, эти столичные светофоры! Они вызывают у Азиза дремучую злость. Любой дурак, наряженный в форму и приставленный к этим модным фонарям, болтающимся на проводах, имеет право приказывать ему, Шубран-бею... Светофоры загоняют его машину в поток других, она плетется позади какого-то чиновника из этих новых, из безродных выскочек...

«Шевроле» затих в переулке, примыкающем к широкому, обсаженному пальмами проспекту. Мальчуган, стерегущий машины, кинулся к Азизу. Шубран-бей брезгливо отстранился от него и швырнул монету. Она покатилась по тротуару, мальчик догнал ее, наступил бо-сой ногой и поднял.

В ночном клубе «Сахара-сити» было еще пусто. Азиз приехал раньше назначенного времени. Официант — черный суданец в халате — предложил ему столик у самой эстрады. Азиз отказался — он сел в дальнем, слабо освещенном углу, за колонной, и заказал манговый сок. Он охотно выпил бы чего-нибудь покрепче, но

боялся, что не сможет ограничить себя одним-двумя бокалами. А впереди — дорога домой, в Джезирэ, ночная дорога.

Вскоре у эстрады полукольцом расположились французские туристы. Азиз критически наблюдал за дебилой, широкобедрой девицей в узких брюках.

Он проворно, насколько позволяла ему тучность, поднялся, когда подошел Эльдероде.

На эстраде загревели стульями музыканты, потом ударили в бубны. В сиянии невидимых прожекторов вбежала, взбивая коленями короткую красную юбку, эфиопка, названная в программе «Черной молнией».

Эльдероде сидел к ней спиной. Азиз бросил на эстраду один беглый взгляд. Как раз теперь можно заняться делом: все впились глазами в танцовщицу.

К столику приблизился с карточкой вин официант-суданец в мягких туфлях. Однако и он не заметил, как Эльдероде извлек из портфеля пачку кредиток и быстро, рывком подал Азизу.

— За летучую мышь. — Эльдероде откинулся на спинку кресла, скосил глаза на официанта.

Суданец слышал только конец фразы. Странно: господам совсем не интересно представление, они полушепотом беседуют о какой-то мыши...

«Черная молния» скрылась. Туристы нетерпеливо ерзали: ожидался коронный номер, танец живота.

Танцовщица Лейла появилась, затянута в черное одеяние со скромным декольте. Туристы были разочарованы. Азиз на минуту удостоил Лейлу внимания, затем горько усмехнулся:

— Каково, господин Винцент! Республике, по всей вероятности, нечего делать, если она взялась закутывать ресторанных девок. Нет других забот, а?

Лейла прошла по сцене. Зрители встретили ее дружным гулом. Ударили бубны. Лейла выпрямилась, тут же перегнулась назад. Тело ее упруго забилося. Азиз снова глянул на сцену:

— Э, ничего похожего на прежнее...

Лейла раздражала его. А ведь еще недавно он приезжал сюда подышать воздухом прошлого... Да, все не то! Танцовщицы не ищут его среди публики, не ловят его благосклонных жестов. Для кого они стараются!

Эльдереде подался к Азизу:

— Вы звонили русскому?

— Да. Я сказал ему, что мы выпустили Сурхана.

— Хорошо. Выстрел свое дело сделал, эхо прокатилось по радио, в печати. Вы отправили Летучую Мышь или нет?

— Да, как вы распорядились...

— Он уже в Порт-Хараде?

— Да.

— Судно придет туда в пятницу. Дайте знать Летучей Мыши. Запомните название судна...

Суданец принес лимонад. Господа продолжали загадочный разговор о мышах. Впрочем, теперь он уловил, что речь идет о летучей мыши.

— Джентльмены, — суданец лучезарно улыбался, — прошу меня извинить. Вы напрасно беспокоитесь. Летучие мыши к нам не могут попасть: у нас искусственный климат, окна заперты.

Азиз съежился и прошептал ругательство. Эльдереде выдержал взгляд суданца хладнокровно:

— Верно, милейший, верно.

— Идиот, — бросил Азиз тихо, уже вдогонку официанту.

— Неизвестно, — отозвался Эльдереде. — На всякий случай надо быть осторожнее.

Он дал Азизу знак повернуться лицом к эстраде. Они сидели до окончания концерта, как обычные посетители. Эльдереде аплодировал танцовщице, кричал «браво», и Азиз мрачно, нехотя вторил ему. Эльдереде держал перед собой часы. Уже двадцать пять минут продолжается танец Лейлы. Да, это — искусство. Удивительный ритм: мощь легендарной валькирии! Он извлек из портфеля фотоаппарат.

— Сколько стоит? — полюбопытствовал Азиз и провел ногтем по серебристому, рифленому боку камеры. Такой камеры он не видел еще: маленькая, с длинным объективом, похожая на пистолет.

— Дорого, — сказал Эльдереде. — Последняя японская модель.

«Сколько же все-таки?» — подумал Азиз. Его тянуло к чему-нибудь прицениться: пачка кредиток, полученная от Эльдереде, ощутимо оттягивала внутренний карман пиджака.

— Что тут снимать! — проворчал Азиз сквозь зубы. Нет, даже здесь, в «Сахара-сити», он уже не может найти отрады.

II

Вера познакомилась с Баркли в мастерской старого волшебника Гуссейна. Она зашла туда узнать, как подвигается ее заказ, а главное — снова полюбоваться замечательным трудом художника. Гуссейн шлифовал кусок темного, очень твердого дерева и почти не поднимал глаз. Но и руки мастера — загорелые, в сплетениях вен — излучали волшебство. Они словно рождали мелодию. Вера стояла молча, стараясь не пропустить ни одного движения этих рук.

— Поэзия! — раздалось вдруг над самым ухом Веры на чистом английском языке.

К ней обращался высокий, очень высокий и насмешливый парень в брезентовой куртке, с пухлыми, слишком яркими для северянина губами.

— Прошу прощения, миссис, — с добродушной развязностью засмеялся парень. — Мой злополучный рост... Пугаю женщин и детей.

Старик выпрямился, лицо его стало вежливо-настороженным.

— Благословен аллах! — бросил ему парень весело. — Вы мистер Гуссейн, не так ли? Я принес вам поклон от мистера Махмуда Халиба, из столицы. Вы знаете его?

— Махмуд Халиб большой мастер, — медленно ответил Гуссейн, изучая пришельца. — Я недостойн снять туфли с его ног.

— Полноте, — сказал парень. — Разве не чудо, миссис? Смотрите! Сюда стоит приехать ради одного этого!

Он подбежал к резному поставцу, прикрепленному к стене, ожидающему покупателя. Поставец напоминал — в миниатюре — старинные балконы, сохранившиеся кое-где на вековых зданиях Джезирэ, — точеные пилястры, тонкий выпуклый орнамент, напоминающий пчелиные соты в разрезе.

— А что вы себе выбрали, миссис? Вы же не уйдете отсюда без сувенира.

Его развязность не отталкивала, в ней было что-то

мальчишеское. А ведь он уже далеко не юн. Лет тридцать, не меньше.

Вера сказала, что мастер Гуссейн делает ей полку для книг.

— О, так вы не туристка! Вы тут живете?

— Да.

Она простилась с мастером и вышла из двора. Через минуту незнакомец нагнал ее. Он спросил, во сколько обойдется полка с инкрустацией. Вера ответила.

— Он просил гораздо меньше,—прибавила она.— Его обижают, бедного.

— И вы...— Он удивленно поднял брови.— Кто вы такая? Богатая госпожа, которая сорит деньгами?

Вера улыбнулась.

— Нет, вижу, что не то... Так что же вы? Откуда вы взялись?— Он внимательно смотрел на нее.— Ладно, начнем с национальности. Вы не испанка, не гречанка, не итальянка. Верно? Лицо у вас скорее славянское. Позвольте!— Парень хлопнул в ладоши.— Вы не русская? Ура!— возгласил он, и две женщины в черных покрывалах, шедшие навстречу, отскочили в сторону.— Вы, значит, единственная русская в Джезирэ, русская красавица! Да, да, уж такая у вас слава, не спорьте, пожалуйста!

Потом он сказал, что знает русского лоцмана, мистера Данилина, и имел с ним беседу на борту судна — беседу очень интересную, хотя и не очень дружескую.

— Вы — Баркли, из газеты «Тудэй»,— догадалась Вера.— Еще бы, я слышала... Да, мой муж не любит репортеров.

— Он их ненавидит,— сказал Баркли.— А кто любит нашего брата? Между нами, любят, главным образом, хвастунишки и позыры. Нет, клянусь аллахом, вы, советские, у меня вот где! — Он ткнул себя в грудь.— Вы, например... Вам что, приказали платить Гуссейну тройную цену?

— Боже, какая чушь.

— Ну признайтесь! Тогда все будет ясно... Извините меня! Когда я вижу вас, советских, мое понимание человечества кончается.

— Вы не были в нашей стране?

— Нет. Чертову пропасть мест изъездил, а у вас не был. Надеюсь как-нибудь побывать. А пока разрешите

мне говорить с вами, хотя бы изредка. Вы часто бываете у Гуссейна?

— Да.

Он проводил Веру до самого дома.

Несколько минут спустя на кухне, разгружая сумку, она спохватилась: уж не подумал ли парень, что она назначила ему свидание? Ну, глупости какие! Разумеется, Антон вышел бы из себя: опять репортер! Но вряд ли опасен для нас этот прямодушный весельчак.

Гуссейна она навестила через три дня. Опять знакомая толчея базара, опять маленький черный зазывала, который кинулся к ней в толпе, и нищий переулок, и Гуссейн среди своих сокровищ, и мелодия, идущая от его неустоимых рук, слышная только ей, Вере.

Она беседовала с мастером о городе, о пустыне, спросила, чем спастись от жары. Наверное, надо меньше есть и уж во всяком случае не пить кофе?

— Да, мадам, европейцы привыкли согреть себя. Утром я пью чай. Кофе согревает надолго, а чай — на короткое время.

В следующий раз она застала у Гуссейна репортера. Старик, отдыхая, сидел у калитки. В глубине двора, спиной к Вере, стоял Баркли: он любовался стенным поставцом.

— Аллах добр к таким людям, — тихо сказал Гуссейн о Баркли. — Он не ищет ни богатства, ни власти.

— Чего же он ищет?

— Он как ребенок...

Мастер сложил руки, потом обвел ими широкий круг: ребенку, мол, нужен весь мир.

Баркли повернулся к калитке, увидел Веру, высоко поднял руку, приветствуя ее.

— Соблазнительная штука, — вздохнул он и показал глазами на поставец. — Но газета пока не слишком тратится на меня. А брат, — прибавил он по-детски доверительно, — не дает ни гроша. Он считает, что я вполне обеспечен...

Потом они вместе вышли на площадь. На углу сидел продавец попугаев. Клетки висели над ним, как небоскребы, птицы сварливо задирали прохожих.

— Тоже не любят репортеров, — сказал Баркли. — Миссис Вера, кстати, передайте вашему мужу, я поступил честно. Но мой редактор... Покушение на советского

лоцмана они поместили на первой странице, а вот результат следствия... Очевидно, швырнули в корзину. Наша газета не желает сообщать, что вся история оказалась блефом...

Баркли прибавил: ему не безразлично, какого мнения о нем Данилин. Хорошо бы еще раз встретиться с мистером Данилиным, если возможно.

Тут, на площади, Вера и пригласила журналиста в гости.

Данилин встретил новость неодобрительно.

— Н-да,— буркнул он.— Ты все-таки забываешь, где мы находимся.

— Антон, послушай! Баркли написал для газеты правду. Он написал, что покушения никакого не было. Он не виноват, что не напечатали.

— Это он тебе сказал?

— Он не врет, Антон, я чувствую, что не врет. А если человек хочет нас узнать поближе... Разве это не интересно? В общем, он завтра придет. Не прогонять же нам его.

Данилин крикнул:

— Да уж, ничего не попишешь...

Баркли явился в своей брезентовой куртке, хотя и отглаженной. Другому Данилин поставил бы плюс — его утомляла нарочитость вечерних нарядов. Но этот... Кто его ведает, не выламывается ли? Я, мол, тоже простой работяга!

И букет, поднесенный гостем Вере, был скромненький, — собственно даже не букет, а пучок веточек с маленькими невзрачными жесткими листьями.

— Понюхайте,— сказал Баркли.— Хна, дерево древних царей.

Запах Вере понравился, и Данилину тоже. Вера спросила, где растет хна.

— Да рядом с вами! — воскликнул Баркли.— Арабы говорят, что хна живет тысячу лет.

Вера внесла коктейли.

— О-о! — удивленно протянул Баркли.

— Кажется, вы разочарованы,— заметила Вера.— К сожалению, русского кваса нет.

— Покатать вас на тройке тоже не удастся,— промолвил Данилин, вдруг повеселевший. Скованность покинула его.

Баркли заерзал в кресле.

— А недурно бы! — он хлопнул ладонями по мягким подлокотникам. — По крайней мере, ближе к матери-природе. Нет, вас тоже затянула цивилизация!

— Она вам не по душе? — спросил Данилин.

— Я не преклоняюсь перед ракетным двигателем. Да, мы дьявольски много знаем и умеем! — Он помешал соломинкой рубиновую жидкость в бокале. — Но вы научились делать квас, а мы — наш старинный имбирный эль. Разве они хуже?

— Я отниму у вас коктейль, — сказала Вера.

— О нет, нет! — Он обеими руками схватил бокал. — Бесплезно, мы уже испорчены. Что она такое, цивилизация? Она непрерывно выдумывает для нас, рекламирует новые потребности. И утоляет их массой суррогатов.

— Э, да вы пессимист, — сказал Данилин.

— Может быть. — Баркли помрачнел. — Немцы достигли высокой техники. Но при Гитлере... Я не был на войне, но мой старший брат дрался в Арденнах. Он рассказывал, как немцы расстреливали в затылок заложников. Ни в чем не повинных бельгийцев... А концлагери, печи, от которых несло горелым человеческим мясом! Разве когда-нибудь воевали так подло, так жестоко? Хотя бы на один волос мы становились лучше, добрее, окончив колледжи или университеты! Так нет же!

— Вы говорите о фашистах, — сказал Данилин. — И говорите верно. Значит, дело не в самой технике, а в людях. Вы никогда не думали, что было бы с Европой, если бы фашисты не столкнулись с нашей техникой, с нашими советскими самолетами, с нашими двигателями?

— Ради бога, — взмолился Баркли, — не недо политики, мистер Данилин. Ненавижу политику! Вы не представляете, до чего мне интересно с вами просто так, без политики.

— Отлично, — кивнул Данилин. — Но вот как вы умудряетесь работать без нее в газете?

— Пытаюсь, — усмехнулся Баркли. — Впрочем, я не всегда был журналистом.

— Мистер Баркли много путешествовал, — сказала Вера.

Перемена темы обрадовала Баркли. Да, он побывал во всех частях света. Ездил с научными экспедициями,

с охотниками, с кинооператорами, пока не вмешался Патрик, старший брат. Патрик после войны получил наследство. Из командира роты превратился в заправского коммерсанта.

— С ним стало очень трудно. Понимаете, он считает, что я должен сделать карьеру! Он дает мне деньги в долг, под мое будущее... И потом, у него связи... Это его я должен благодарить за место в газете.

— Профессия неплохая,— сказала Вера.— Я сама мечтала о журналистике.

Данилин подхватил: да, работа увлекательная, репортеру все двери открыты. А если где висит замок, то газетчик и взломать не постесняется.

— Ну, не так просто,— вздохнул Баркли.— У меня была охота выставить одну дверь, в здешней тюрьме. Глава ихней полиции, толстяк, бывший князь, уперся, заважничал,— беда! Только в окошечко разрешил поглядеть на местную знаменитость, на Сурхана. А я пришел поговорить с ним.

«Я тоже хотел поговорить с Сурханом»,— подумал Данилин. Странно, почему Азиз так прятал Сурхана от всех?

— Летучая мышь! — произнес Баркли.— Название-то какое! И редактор не оценил, даже выругал меня по телеграфу.

Больше он не упоминал о деле Сурхана.

Ушел журналист поздно, около полуночи.

— Мужик забавный,— сказал Данилин.

Вера ответила, что Баркли — открытая душа, по-настоящему открытая.

— Увидим,— сдержанно отозвался Данилин.

12

На лоцманскую станцию Данилин приехал вместе с Душаном. Серб рассказывал, как он провел выходной день в столице. Забрел в глубь старого города, шатался по базарам. Квартал пряностей там — нечто неопишное! Запахи гвоздики, ванили, перца, корицы и бог знает каких еще специй доносятся за полкилометра, а подойдешь поближе... Нигде нет ничего подобного!

Зато вечером Душану не повезло: толкнулся было

в «Сахара-сити» на выступление знаменитой танцовщицы, и — увь — ни одного места свободного.

— Кстати, Эльдероде дружит с начальником полиции. Вхожу, а они уже сидят: Эльдероде и Азиз. Сидят и шепчутся. Что у них за секреты?

Слова Душана, может быть, и не закрепились бы в памяти Данилина, если бы не сам Эльдероде...

Тот по обыкновению решал шахматную задачу на всегдашнем своем месте, за столиком у окна. Душан окликнул его, как только переступил порог:

— Алло, Винцент! Как Лейла?

Эльдероде не обернулся. Он даже не поздоровался с вошедшими.

Рука его с пешкой остановилась в воздухе. Эльдероде слишком старательно прятал смущение.

Через минуту он уже превозносил искусство Лейлы, ее выносливость, уверял, что арабы — только дать им срок — побьют все европейские спортивные рекорды. Здоровенная нация!

Данилина ждали на «Тасмании» — громоздком, неопрятном грузовике. Стоя на якоре у входа в канал, он тяжело переваливался с боку на бок на крупной зыби. Штурмтрап с инспектором Касемом качался, как маятник. Данилин поймал Касема за руку, помог сойти.

Отдышавшись, Касем назвал «Тасманию» ветхой тачкой с мусором, а ее экипаж — пьяными лодырями, родственниками ослов и гиен.

Осуждение, как и похвалу, Касем выдает сполна, умеренная середина ему незнакома. Мало того, что в трюмах грязь, как в конюшне. За это доступа в канал не лишают. Но ведь у них шалил указатель положения руля.

— Я, конечно, заставил их разобрать прибор, проверить все контакты.

— Правильно, — сказал Данилин.

На мостике его встретил капитан — обрюзгший дегтина неопределенного возраста. От него пахло спиртным.

— Мюллер, — представился он Данилину. — Мюллер, который никогда не жил в Германии.

Он родился в Румынии. У отца была ферма. Данилин выслушал это и приготовился к расспросам. Откровенностью обычно вызывают на откровенность.

Естественно, капитану не безразлично, что за лоцман ему достался, кто поведет судно. Но Данилина корбило,— немец выпытывал с неприятной назойливостью: где учился советский лоцман, откуда он родом, давно ли служит в торговом флоте...

Данилин отвечал односложно, едва скрывая досаду. Мюллер уловил ее и поспешил сгладить неловкость. Он попросил господина лоцмана пожаловать в салон — туда сейчас принесут кофе.

— А я вздремну часок,— сказал капитан.— Командуйте, мы в вашей власти.

И такое слышал Данилин. Разные встречаются капитаны: один торчит на мостике безотлучно рядом с тобой, прямо тянет из твоего рта команду, а другой до того преисполнен доверия к лоцману, что отдает ему судно в полное распоряжение...

В салон принесли не только кофе, но еще и увесистую четырехгранную бутылку с коньяком, лимон и жареную рыбу. Белую рыбу тропических морей, похожую на судака, которую на каждом судне называют по-своему. Данилин полюбил эту рыбу и ел с удовольствием. К коньяку он не притронулся.

На палубе дышалось легко. Ласково веял теплый, словно процеженный воздух. Ветер утих, он уже устал таскать груз песчинок. Он сбросил их почти все и теперь носит только самые мелкие, еле доступные зрению,— те, что оседают на медных частях судна матовой пленкой, подобной дыханию росы.

Шумно пробудилась якорная лебедка. Болезненная дрожь побежала по телу «Тасмании».

— Право десять!

Вахтенный штурман — он подскочил и по-военному рьяно вытянулся перед Данилиным — повторил слова команды рулевому.

Данилин мог бы пропустить рыбацьи парусники, шедшие на промысел, и потом развернуться на просторе. Но он нарочно усложнил маневр: хотелось почувствовать судно, постигнуть его нрав.

За спиной Данилина сдвинулось штурвальное колесо. Серый залатанный парус вырос, закрыв половину стекла ходовой рубки, и унесся птицей. Данилин поднял глаза: стрелка на квадратном циферблате исправно отсчитала десять делений.

— Право пятнадцать!

Проскользнул еще один парус, последний в рыбацкой флотилии. Ладьи подсакивали на зыби, как щепки.

— Полный вперед!

Путь свободен. «Тасмания» нацелилась в устье канала. Там радушно теплятся сигнальные огни.

Течение прижимает судно к близкому берегу, но не сильно. Данилин время от времени короткими движениями руля возвращал «Тасманию» на курс. Штурвал позади сухо пощелкивал. Рукоятки его сжимал жилистыми, цепкими руками молодой матрос с худым, неспокойным лицом, по-видимому араб.

Что-то заставляло Данилина оборачиваться. И странно, рулевой словно ждал этого. Его упрямое лицо маячило в сумраке, и Данилин видел белки его глаз, две белые точки, горячечно яркие.

Ошибиться было нельзя. Да, то немая речь, обращенная к нему, Данилину. Немая потому, что сказать вслух нет возможности. Может быть, рулевой только и знает по-английски, что слова команды. Или мешает что-то другое?

Первым побуждением Данилина было заговорить с матросом. Но нет, спешить не стоит. На мостике постоянно ощущается присутствие еще одного человека. Это старший штурман. Он внимателен, он даже подобострастен и, конечно, не преминет подхватить команду лоцмана и повторить рулевому.

Так и следует делать по морским правилам. Рулевой подчиняется лишь своему начальнику. Но бывают отклонения от правил. Здесь, на запущенной «Тасмании», усердие штурмана кажется нарочитым.

Штурман ловит слова команды на лету, а лицо — неподвижно, как бы застывшее. Очень белое лицо. «Тасмания» давно странствует по южным морям, она уже не раз показывалась на канале. А штурман, верно, новичок на судне.

Впереди, по гладкой воде, по берегам канала, облицованным плитками, катится прибой света от судовых прожекторов. Птицы бьются в нем, точно в силках. Они в ужасе колотятся, пытаясь прорвать незримую сеть. Громада надвигается на них. Стрелки приборов в рубке шевелятся, докладывая Данилину: все на судне в порядке. Все мышцы его, все его электрические сосуды живут.

Глубокой ночью «Тасмания» достигла озера и бросила якорь. Штурман проводил Данилина в каюту, указал койку. Данилин вынул из кармана платок, разостлал его на грязной подушке.

Лежа с открытыми глазами, он прислушивался к лопотанью вялой, сонной волны, к пульсу судна, к его голосам и вздохам.

Вера сказала бы, что это пиратское судно... А ведь похоже! Подвыпивший капитан, громадная бутылка дешевого коньяка с залихватски пестрой этикеткой, а сейчас — засаленная подушка под головой. И матрос за штурвалом, с немой речью...

К этому матросу снова и снова возвращаются мысли Данилина. Он роется в памяти, но ничего не находит в ней. «А вот матрос... он словно узнал меня, — сказал себе Данилин. — Странно вел себя штурман. Можно подумать, он отгораживал от меня рулевого...»

«Сурхан» — ожило в памяти имя. Оно и не исчезало, — очень уж легко закончилось дело Сурхана. Закончилось у Азиза, а в действительности... Данилина все время смущала летучая мышь, слетевшая к Сурхану так невероятно кстати, в качестве удобнейшего оправдания.

С Азизом якшается Эльдероде и явно хочет сохранить это в тайне.

Азиз, Эльдероде... Данилин ворочается на койке, его томит злость. Злость оттого, что он бессилен понять. И оттого, что ему очень тяжело менять свое мнение о людях. Оценки, которые он дает, бессрочные, и когда поступки человека внезапно начинают их опровергать, Данилин считает себя обманутым, оскорбленным.

Опять возникает перед ним фигура рулевого, смутная в полумраке. Там, где он стоит, у штурвала, сгрудились тени, напуганные прожекторами. Данилину запомнились только лихорадочно-яркие белки глаз.

Таким мог быть Сурхан. Да, фанатик Сурхан, человек с темной, мятущейся душой.

13

Марьяшка и Зульфия со всех ног, задыхаясь, взлетели на пустырь.

Луна озаряет белесые шапки колючего кустарника

и глинобитную стену — остаток брошенной лачуги. Поодаль возвышается купол мавзолея Искандер-баба, жившего много лет назад. Зульфия рассказывала про него. Он посетил Мекку, священный город, девяносто девять раз — столько, сколько имен у аллаха.

Ветка дерева царапнула щеку Марьяшки. Девочки сели. Дальше бежать опасно: у мавзолея постоянно бывают люди. Запоздалые путники разгружают у вечного дома Искандер-баба осликов и устраиваются на ночлег.

Зульфия осторожно отстранила, примяла колючки. Марьяшка подобралась к подруге.

Дерево укрыло их своей тенью. За чертой тени лунное серебро заливало купол мавзолея и плоские крыши Джезирэ. Где-то гулками толчками, очень быстро дышала мельница-крупорушка. Ее тонкая труба как бы растворилась в накупившемся небе. Марьяшке казалось, мотор крупорушки стучит совсем близко, чуть ли не над самым ухом.

— Сюда не придут, — сказала Марьяшка.

Зульфия дрожала. Марьяшка гладила ее спину. Ладонь Марьяшки скользила по горячему шелку.

Мать Зульфии заставила ее надеть самое нарядное платье ради уважаемого гостя.

Дядя Солиман совсем не требовал, чтобы Зульфия вышла к нему, закутанная в черную мелайю, как принято во многих семьях. Нет, дядя Солиман человек просвещенный, передовой. По крайней мере, так он сам величает себя. Мать Зульфии со смирением передала дочери волю дяди Солимана, самого уважаемого человека в ее роде, — одеться по-европейски, по новейшему фасону. Мелайя не годится, мелайя скрадывает достоинства тела. А дядя Солиман должен их оценить. И потом решить, годится ли Зульфия в жены его сыну Исмаилу.

Мать только вздыхает и молится. Она вовсе не поуждает Зульфию выходить замуж. У Зульфии хорошая, добрая мама, и Марьяшке ее жаль, — очень уж она тихая и покорная. Но иначе ей нельзя: Солиман Бободур — глава в кругу родни, а в семье приказывает Сурхан, единственный мужчина. Сурхан, уходя в плавание, велел строго-настрого: показать Зульфию дяде Солиману. Авось ей выпадет счастье войти в его дом.

Зульфии, однако, это вовсе не кажется счастьем.

Сегодня утром она прибежала к Марьяшке в слезах. На море Марьяшка не поехала, подружки совещались весь день. Спрятаться! Другого выхода нет.

И вот они обе на пустыре под деревом. Зульфия смотрит на купол мавзолея. Ей, наверно, чудится святой Искандер-баба.

— Не смейся,— шепчет Зульфия.— Вдруг он рассердится, накажет меня, и я никогда не выйду замуж.

— Дурочка ты,— отвечает ей Марьяшка.— «Накажет»... Да ну тебя, Зю, не глупи!

Мотор крупорушки не прекращает своей шумной, чересчур шумной работы. Тук-тук-тук! Выключили бы его, хоть ненадолго! Марьяшка злится: противный мотор, мешает слушать...

Дом Зульфии близко. Может быть, дядя Солиман перестал ждать и уже вышел на улицу, к коляске, и прощается с матерью Зульфии. Может быть, уже поехал к себе несолоно хлебавши. Ничего, ну ничегошеньки не слышно из-за мотора!

— Сурхан меня убьет,— шепчет Зульфия. Марьяшке становится страшно.

— Не убьет,— говорит она, поеживаясь.— Да его не пустят туда...

— Ты думаешь?

Что это с Зульфией? Ведь все же ясно: она не станет ссориться с братом, она просто возьмет да и поступит в школу-интернат в другом городе. Понятно же, Сурхана туда не пустят. Такого сумасшедшего...

— А дяди Солимана я не боюсь,— говорит Зульфия.— Он поворчит немного и забудет.

Смешной этот дядя Солиман! Марьяшка не видела его, но ей известно очень многое про дядю Солимана со слов подруги. Для иностранцев он мистер Боб. Он всю жизнь работал гидом, водил экскурсии, и очень гордится этим. Сейчас у него одно занятие: найти невест для своих трех сыновей. Он передовой человек, дядя Солиман, но его сыновья не смеют жениться по собственной воле.

Ищет он давно, но он капризный, дядя Солиман, этот смешной мистер Боб. Марьяшке он представляется маленьким и толстым, с одним зубом, торчащим изо рта.

Нет, Зульфия ему не подойдет. Поглядеть на Зуль-

фию в шелковом платье он не прочь — еще бы, такая красивая... А в его доме все по обычаям: женщины ходят в черном, живут на своей половине, за перегородкой.

Мотор наконец умолк. Тихо, совсем тихо. На лоцманской улице у кого-то играет радио. Бьют часы. Это тоже радио передает, но неизвестно откуда.

Марьяшка явилась домой около одиннадцати — ей уже давно полагалось спать.

— Натворили вы! — сказала Вера.

Она снимала колючки, приставшие к волосам дочери, к ее курточке, выгоревшей добела. Марьяшка чувствовала, что руки у матери не сердитые, и удивлялась: мать как-то проведала! Но каким образом?

— Мы с Зульфией...

Лучше не объяснять все же, чем была занята с Зульфией. Была с Зульфией, и точка, пока...

— Да, для меня не новость, Марианна. Радуйся, что отца нет дома.

Вере хотелось вложить в эти слова упрек, негодование, но не получилось... Ее разбирал смех. Перед ней маячил мистер Боб, недавний посетитель. Мистер Боб, слезающий с коляски в своей длиннющей галабии. Мистер Боб поклонился сперва по-восточному, приложил руку ко лбу, а затем шаркнул маленькой ножкой в модной остроносой туфельке.

То, что он мистер Боб, и то, что он сорок восемь лет проработал в туристской фирме «Левант», Вера узнала сразу, в первую же минуту.

Потом мистер Боб произнес несколько пространных извинений и спросил, не здесь ли находится его родственница Зульфия. Он слышал, что дочь уважаемой миссис — ее подруга.

— Нет, — сказала Вера, — они были тут... Они где-то гуляют.

Вероятно, ей не следовало говорить «гуляют». Это прозвучало слишком легкомысленно. К тому же время для прогулок было позднее.

— О, ушли обе?..

И тут церемонная вежливость покинула мистера Боба, он впал в раздражение. Кадык на тонкой шее запрыгал, пальцы, унизанные кольцами, сжали резную рукоятку посоха. Мистер Боб забылся до того, что дробно застучал посохом об пол.

— Миссис очень неосторожна,— сказал он.— Миссис не у себя в Европе... Девушкам не подобает гулять одним...

— Они еще дети, мистер Боб.

— Нет, миссис... Миссис ошибается...

Он лишь слегка наклонил голову и влез в коляску, высоко подобрав полы галабии. До Веры долго доносился глухой, деревянный стук бубенца,— словно колотушка старого, ворчливого ночного сторожа.

Нет, нельзя сердиться на Марьяшку!

14

До того как Сурхан попал на «Тасманию», капитан Азиз оказал ему честь — отвез его на своей машине к себе и удостоил беседой. В то время Сурхан внимал капитану Азизу почтительно. Каждый звук из уст благодетеля принимал как золотую монету. Больше того — как слиток высшей мудрости.

Беседа в доме капитана, на веранде, выходящей в сад, услаждалась еще заморским вином, сладким, как финик. Сурхан в рот не брал вина, но почтенный Азиз убедил его нарушить заповедь. «Аллах в темноте не увидит,— сказал капитан Азиз.— Аллах тоже отдыхает, как и все мы...»

Посасывая вино с кусочком льда, Азиз бранил европейцев. Немцы, англичане или русские — все они одинаковы, все являются сюда лишь ради своей выгоды. Русские особенно опасны, так как клянутся в дружбе и уже успели кое-кому замутить рассудок.

Сурхан соглашался, громко бранил европейцев и спрашивал, долго ли правоверным терпеть от них.

Азиз увел Сурхана во внутренние покои, усадил на тахту и только тогда ответил. Нет, терпеть осталось недолго. Истинные патриоты республики решили прибегнуть к суровым мерам. Европейцев надо отвадить, раз и навсегда отвадить. И прежде всего закрыть для них канал.

В голове Сурхана шумело, лукавые духи, заключенные в заморском вине, лихо отплясывали в черепной коробке и размахивали кулаком. Да, почтенный Азиз прав, надо проучить проклятых иноземцев.

— Но взяться надо с умом,— сказал почтенный

Азиз.— Так и быть, я тебе объясню замысел наших патриотов, но сперва ты должен поклясться мне: никому ни слова!

Сурхан клялся, стоя на коленях. Он просил аллаха покарать его — в случае измены клятве — всеми болезнями, выпустить по капле кровь, высушить тело, отдать на съедение гиенам.

— Достаточно,— сказал Азиз.

Оказывается, необходимо топить в канале иностранные суда. Топить так, чтобы задерживать движение и в конце концов сделать канал непроходимым. Нужна, конечно, ловкость. На себя вины не брать, отвечать должны чужие лоцманы, чужие капитаны. Ведь в открытую с европейцами бороться трудно. Что ж, аллах одобрит хитрость, против неверных все средства, все уловки хороши.

Сурхан ликовал. Да, так и надо с ними... Духи заморского вина буянили в его мозгу, и задача казалась простой. А когда Азиз упомянул о награде, ожидающей смелого мусульманина, Сурхан снова опустился на колени и поцеловал ноги благодетеля.

Духи улетучились из головы Сурхана лишь утром. Но доверие к благодетелю не поколебалось. Первое сомнение посеяла сестра Зульфия.

Да, сестра, девчонка! Сурхан не привык расценивать всерьез слова женщины, и уж меньше всего он был склонен слушать четырнадцатилетнюю Зульфию. Но она произносила не свои слова. Она читала вслух, разложив на столе газету. И то, что услышал Сурхан, ничуть не совпадало с тем, что говорил ему почтенный Азиз.

Если верить газете, которую печатают по воле республики, канал должен служить всему миру, всем народам, по справедливости. Канал приносит большой доход республике. В последнее время иноземные агенты пытались устраивать аварии на канале. Это враги арабов, враги, заслуживающие строгого наказания.

Сурхан не мог прочесть газету и проверить Зульфию. Но, очевидно, сестра не смогла бы сама придумать это. Слишком быстро и складно она говорила, глядя на бумагу, покрытую буквами.

В глубине души Сурхан почувствовал себя жалким, беспомощным человеком. Но признаться в этом себе он не мог. В последний день перед отъездом в Порт-Харад

он был груб с сестрой и матерью. Он ругал сестру за то, что она завела себе чужеродную, русскую подругу, и повторял свое распоряжение старшего в семье — встретить дядю Солимана как можно лучше, постараться ему понравиться.

В Порт-Хараде Сурхан дождался «Тасмании» и явился к капитану Мюллеру. Азиз велел сказать немцу только одно: «Я Летучая Мышь».

— Ага, Мышь,— кивнул капитан.— Ты мне как раз и нужен.

Зачем нужен, выяснилось в тот же день. Штурман, господин Биверли, объявил Сурхану, что он зачислен рулевым. Обязанности обычные, только... Может быть, ему придется послушаться приказа на мостике. Такой случай, вероятнее всего, произойдет на канале... Командовать будет лоцман, и если штурман или кто другой из начальников подмигнет, повторяя команду, то, значит, делать надо наоборот, крутить руль, скажем, не вправо, а влево.

Сурхан похолодел. То, что казалось ему в доме Азиза, за бутылкой вина, мстью во славу аллаха, и к тому же совсем нетрудной, теперь стало куда сложнее.

Но назад пути нет! Даже в жаркий полдень на Сурхана накатывался холод страха. И если сестра прочитала ему правду, его будут судить за аварию и не помянут... От кого тогда ждать защиты?..

Странные на «Тасмании» люди, на таком судне Сурхан еще не бывал. Не насчитаешь, пожалуй, и трех земляков! И каждый сам по себе — сторонится своих товарищей.

Сурхан готов был заплясать от радости, когда услышал родную арабскую речь. Правда, рослый, почти черный парень, сидевший рядом, за бобовой похлебкой, говорил очень смешно — не так, как в Джезирэ. Но Сурхан обрадовался, будто нашел родного.

Юсуф — так зовут парня — родился далеко, в английских владениях, но воспитан в правой вере. Сурхан мигом подружился с единоверцем. Во время плавания в Индийском океане они все свободное время проводили вместе.

— Здесь банда штрафных, — сказал Юсуф. — Мюллер всяких бродяг принимает на судно.

— И ты штрафной? — спросил Сурхан.

— Грехи есть и за мной, — рассмеялся Юсуф, но не сказал, какие он совершил грехи.

Выложить свою тайну приятелю Сурхан опасался, ведь он дал клятву. Одна мысль о небесных карах, уготованных за измену клятве, сковывала язык.

— Говорят, — сказал Юсуф, — такую банду набирают, когда судно идет на гибель.

Сурхан заерзал на кнехте. Они сидели под синим покровом неба, у штабелей леса.

— «Тасмания» хорошо застрахована, — сказал Юсуф. — Хозяева ничего не потеряют.

Уста Сурхана все-таки оставались закрытыми еще много дней, пока на судне не появился русский лоцман.

Сурхан сразу узнал его. На мостике, в трех шагах, — лоцман Данилин, русский лоцман, лютый враг...

Тюрьма, голод и жажда, пытки неизвестностью, угроза смертной казни — все из-за него, из-за русского! Сколько раз днем и ночью виделась виселица, намыленная петля! Сколько раз она стягивала шею, отнимая дыхание!

Да, все беды из-за него, если верить почтенному Азизу...

И мысли Сурхана снова путались. Между капитаном Азизом и русским лоцманом стоит капитан Мюллер, немец. Матросы говорят, что Мюллер презирает всех, у кого темные глаза и черные волосы, а уж про темнокожих и говорить нечего... Но если верить почтенному Азизу, то надо подчиняться Мюллеру.

«Тасмания» уже давно кажется Сурхану огромной ловушкой. Как спастись? Но ведь не убежишь?

Матросы говорят — Мюллер раньше воевал против русских...

Дай, аллах, разума! Нет, все равно не понять всего. Неужели русский хотел смерти невинного? У Сурхана голова раскалывается от нескончаемых вопросов. Он гонит их прочь. Самое главное — стать опять Сурхану вольным человеком, а не Летучей Мышью. Проклятая дочь ада! Мало он вытерпел — надо еще носить ее имя!

А что если открыть все русскому лоцману...

Сурхан пугается этой мысли, гонит ее, но она почему-то возвращается.

Русский лоцман не знает того, что задумано здесь, и если узнает...

Вечером Сурхан затащил Юсуфа в закоулок, наполненный гулом машины, и открылся во всем.

— Попал ты на крючок, — вздохнул Юсуф. — Не приложу ума, как тебя выручить. Может, лоцмана посвятить в эту историю! А?

— Вот и я думаю, — воспрянул духом Сурхан. — Хуже не будет. Русский, может, не выдаст меня капитану. А? Ведь не выдаст?

— Нет, наверно.

— Ну вот. Ох, Юсуф, лишь бы не заметили...

— Ничего. Скоро бросим якорь, и тогда... Лоцман уйдет с мостика, отдыхать ляжет. Я покажу тебе его каюту.

И хорошо, разговор не для чужих людей. Но с чего начать?

Загремела якорная цепь и помогла Сурхану решиться. Юсуф вышел на разведку. Минула вечность, пока он ходил....

— Идем! — шепнул Юсуф.

Он обнял Сурхана и подтолкнул его. В коридоре тускло мерцали редкие, запыленные лампочки.

— Эй, — раздалось вдруг. — Что вам тут надо?

Впереди, в нескольких шагах, блеснул козырек чьей-то фуражки.

Козырек наполовину закрывал лицо человека, который выскочил из-за поворота и встал перед матросами, широко расставив ноги.

Он больше ничего не сказал, только движением руки указал матросам путь: к трапу и наверх. «Пропали!» — подумал Сурхан.

Ноги его одеревенели, и он с трудом переступил порог капитанской каюты.

Капитан встал из-за стола.

— Куда ходил? — Он вплотную подошел к Сурхану и прижал ботинком пальцы его ног.

Сурхан вскрикнул.

— Молчишь, скотина! — тихо сказал Мюллер. — Молчишь! К Ивану ходил, к советскому, жаловаться! — Капитан брызгал слюной. — Жаловаться? Тебя из тюрьмы вытащили, из вонючей тюрьмы, из верблюжьего навоза!

Он неловко размахнулся, и Сурхан отпрянул, — пальцы Мюллера скользнули по его груди.

— Струсил, арабская образина! Ладно, обойдемся без тебя. — Капитан тяжело дышал. — Молчишь? Хорошо, Юсуф скажет.

— Да, ваша честь, — произнес Юсуф.

Сурхан не поверил своим ушам. Юсуф стоял, вытянувшись перед капитаном, как солдат.

Юсуф заговорил, и Сурхан уже не мог больше сомневаться. Нет, он не ослышался, Юсуф предал его, подло предал... Подлец подавится своей гнусной речью. Вот тебе, сын собаки!

Сурхан пришел в себя в каюте — голой, без койки, с тусклым иллюминатором, заделанным железной решеткой. Он всхлипывал от обиды и от боли: Сурхану выворачивали руки, когда отрывали его от Юсуфа.

Превозмогая боль, Сурхан заколотил в обитую металлом дверь. Он бил кулаками и кричал, что аллах накажет злодеев, что судно собираются потопить и надо непременно дать знать лоцману, русскому лоцману...

15

Данилин приподнялся на койке, — шумы и голоса на судне приблизились к самой двери каюты и тотчас замерли. Данилин не успел ничего толком расслышать. Похоже, кого-то остановили...

Э, нервы бунтуют!

Платок на подушке сдвинулся, обнажив сальное пятно. Данилин поправил платок.

Он сидел на койке и, задумавшись, аккуратно, методично разглаживал платок ладонью. Рулевой предстал опять — в дрожащих тенях рубки, за штурвалом, под пристальными глазами приборов.

Да, странный матрос! Вот-вот начнет дергаться и вопить, как дервиш. Как вертящийся дервиш из секты... Фу, вылетело название! Похоже, ему стоит больших трудов стоять на месте. Один раз он качнулся вперед, надавил грудью на колесо, и рукой будто сорвал что-то с плеча или согнал...

Однако не пора ли сниматься с якоря? Что-то долго не дают добро на вход в канал.

Данилин подошел к иллюминатору — глотнуть ветерка. Пепельница на столике — фарфоровая пепельница с надписью на ободке: «Накамура и сыновья, Гонолулу» — потемнела, ее запорошило песком. Барханчик песка вырос на скатерти, под самым иллюминатором.

«Тасмания» не поддается мелкой озерной волне. Но ветер как будто крепчает...

Полным ходом, зажженной праздничной люстрой пронесся мимо пассажирский пароход. Ишь ты! Зеленая улица этому пижону! Еще минут пять — Данилин прикинул положенный интервал между судами, — и «Тасмания» двинется... Но теснота каюты стала невыносимой. Он взял с подушки платок, хотел было сунуть в карман, но поморщился и бросил на пол.

На палубе ветер налетал порывами, вытряхивал подобраный в пустыне песок. Он не колот лицо, не сыпался за ворот, как бывает при хамсине, песчаной буре, но оседал тихо и почти не приметно.

На мостике, над рулонами морских карт, выводил свою нескончаемую строчку барограф. Он не сказал ничего определенного Данилину. Стрелка взмывала и круто падала. Поединок двух начал — бури и покоя — продолжался в атмосфере.

По пятам за Данилиным взошел на мостик помощник капитана. А Мюллера опять не видно, подумал Данилин. Капитан не утруждает себя службой.

У помощника широкие, массивные скулы, тяжелые надбровные дуги, прячущие взгляд. Кожа блестящая, смуглой желтизны. Наверно, филиппинец.

Данилин спросил, чтобы проверить догадку, а больше оттого, что его тяготили молчание вахтенного помощника и непроницаемость неподвижного лица.

— Да, Филиппины, Люсон, — ответил тот равнодушно, без единого признака оживления, обычно вызываемого мыслью о родине.

К штурвалу встал новый рулевой — низенький, коренастый и желтокожий. Помощник капитана обменялся с ним двумя фразами на непонятном Данилину, клекочущем языке.

Когда выбрали якорь и Данилин подал команду, слуха его коснулась та же речь. Помощник не повторил команду, как положено, а перевел ее матросу. Такое

уже бывало на судах, и Данилин редко мирился с отклонением от правила. Теперь же он меньше всего склонен был уступать.

— Матрос очень слаб в английском, — сказал помощник спокойно и без выражения. — Хороший матрос, очень хороший рулевой, но по-английски...

— Я все-таки настаиваю, — перебил его Данилин, глядя на припوماженные волосы помощника, плотные, как броня.

— Как угодно.

Помощник не поднял головы — только шлем его волос чернел перед Данилиным.

Он скомандовал, и помощник повторил, громко, раздельно, отчеканивая каждый звук.

Стрелка указателя пошла вправо. Она подтверждала: рулевой понял команду.

— Вот видите, — произнес Данилин мягче. — Вы недооцениваете своих матросов.

Громадная в узкости канала «Тасмания» будто вспарывала пустыню. В свете прожекторов колыхались серые волны летучего песка.

Вскоре ветер утих, атаки песка прекратились. Вот-вот должен быть мост. Бахорский мост — самое опасное место на канале.

Именно здесь десяток лет назад итальянский танкер врезался в створку и застрял, словно насаженный на нож. Танкер шел с грузом бензина, нечего было и пытаться освободить судно с помощью автогенной или электрической сварки. Канал плотно закупорило на две недели.

Данилин приказал убавить ход. Лучи прожекторов ощупывали берег, вылезавший как бы из лохмотьев тьмы, ощупывали причалы и обрывы холмов, подступивших к берегу, и белые палатки какой-то экспедиции, и верблюда, одуревшего от света.

На середине канала ясно обозначился мост — плечистый турникет из бетона и стали. Плечи его с отрезком железнодорожного пути отделились от берегов и открыли два протока.

— Право пять!

Данилин повел «Тасманию» в судоходный правый проток.

— Одерживай!

Надо сковать размах поворота, не давать ему большой воли, — ведь фарватер узок, страшно узок, и малейший просчет вынесет судно на берег.

— Лево пять!

Судно тянет к берегу — там глубина. Оно сегодня, кажется, особенно настойчиво — это проклятое притяжение. Единственный выход — взять влево, еще немного влево, пойти прямо на створку моста, торчащую впереди, и несколько секунд выдерживать это сближение с опасностью. Важно рассчитать как следует, точнейшим образом рассчитать эти секунды, держать их в горсти и выпускать по одной, командовать не только людьми на мостике, — временем...

Мост уже близко. Он растет, он гигантски растет и уже возвышается над фальшбортом «Тасмании». Теперь нос судна мешает измерять на глаз расстояние, — вода исчезла, вода ушла вниз, легла под киль, — впереди только нос «Тасмании» и сухой, похожий на скелет, вырост моста с двумя тычками. Это рельсы, они угрожающе двигаются на «Тасманию».

Секунды в горсти, в потной, крепко сжатой руке, — ни одна не выпадет, не пропадет зря...

— Право руля!

Взгляд Данилина еще цепляется за острия рельс, за стальные сухожилия моста, словно сжавшиеся для удара. Но время, отмеренное для маневра, кончилось, а мост растет, наступает...

Мост надвигается...

Что же руль?.. Данилин только что слышал за спиной стрекот колеса, а стрелка... Стрелка указателя сошла влево, не вправо, а влево! Рельсы на мосту стали двумя тусклыми точками и словно уперлись в грудь.

— Прямо руль... Право руля...

Рулевой отшатнулся, — Данилин, не помня себя, угрожающе шагнул к нему. Колесо послушно отщелкало, руль вернулся на исходное положение, руль пошел вправо, но как мало времени, как ничтожно мало!

Нос «Тасмании» уже в протоке. Но все еще по инерции идет влево, — импульсы гложут в неуклюжем, утомленном скитаниями, избитом штормами судне. Вперед и влево гонит «Тасманию» ее собственная непово-

ротливая тяжесть. Но руль берет свое, смертельное движение влево встречает упругий невидимый барьер, замедляется...

Поздно! Данилин едва не закричал — такая боль настигла его, резнула диким ревом раздираемого металла.

Он сделал огромное усилие, чтобы не подчиниться этой боли — неизбежной боли моряка, командира, сросшегося с судном. Среди грохота, суматохи он ощутил смутную, скользкую надежду: «Тасмания» ударилась плашмя, и рана, может быть, не очень серьезна. Ведь инерция была уже на исходе...

Помощник капитана ползал по полу, усеянному осколками стекла, рулонами карт. Данилин сам крикнул в машинное отделение приказ — полный назад! Ему не ответили, и он повторил приказ, — только тогда раздался нарастающий гул двигателя.

«Тасмания» сотрясалась, все мышцы ее напряглись. Винт беспомощно, вхолостую взбивал воду.

«Кончено!» — подумал Данилин. Ему представилась вереница безжизненных судов, растянувшаяся позади «Тасмании» на много километров. Но в этот момент мост заскрипел и оттолкнул от себя «Тасманию», Данилин попятился и чуть не упал, наткнувшись на помощника капитана.

Он что, ушибся? Нет, не похоже... Так какого черта он возится на полу? Или ему неважно, что стало с судном?..

Право руля, еще немного вправо... Теперь одерживать, коридор узок. Ох, как неповоротлива эта посуда!

Рулевой истово повинует, в его облике сейчас что-то виноватое, жалкое. Данилин командует прямо рулевому, так как помощник все еще на полу, что-то собирает или ищет...

Мост — чудовище, лишенное добычи, — скользнул мимо левого борта. Мелькнули помятые, измочаленные брусья, а один из них, потерявший всю краску, оголенный, сверкнул как лезвие.

Теперь лево руля и — на середину канала... Данилин снял фуражку и бросил ее; по лбу, по щекам, по затылку струился пот.

Пронзительный, режущий трезвон ломится в уши.

Кто-то зовет хозяина судна, — верно, из трюма, где, может быть, хлещет вода.

— Возьмите трубку! — крикнул Данилин.

Вбежал капитан Мюллер, красный, взлохмаченный. Вбежал и исчез из поля зрения Данилина, — кажется, принялся ругать кого-то. Право руля, право... Судно хуже слушается руля. Теперь левее... На мостике появляются еще люди. Данилин едва замечает их. Канал, нос «Тасмании», стрелка прибора, рулевой за штурвалом — вот все, что существует сейчас. В трюме течь, и надо успеть проскочить...

В трюме течь, — кто-то сообщил это Данилину, или, может быть, он уловил по отрывочным восклицаниям, выхватил из голосов, не умолкающих вокруг. В трюме течь, насосы откачивают воду, но с перебоями, так как в сетки набивается грязь.

Место здесь мелкое, но киль покамест не скребет по дну. «Тасмания» все-таки движется. Сейчас нервы Данилина, его мозг, его кровь — одно целое с организмом судна. Нет, киль не трогает дна. А впереди — глубины больше. Данилину рисуется карта: канал, раструб залива, простор озера — второго озера на трассе канала, и цифры глубин. Сейчас Данилин видит их все. Да, они все отпечатались в памяти, как на бумаге. Чем дальше, тем фарватер глубже.

Неужели не проскочим?!

Голова капитана Мюллера, неприбранная, с розовой лысой макушкой, опять в поле зрения Данилина. Капитан грозит кому-то кулаком.

— Выродки! — доносится до слуха Данилина. — Подвели все-таки, мерзавцы!

Капитан топчется перед Данилиным: уж не надеется ли, что тот разделит его гнев? Немец очень много и долго говорит, будто ему некуда девать время. Твердит что-то про рулевого, который даже команду не понимает толком.

— Желтая обезьяна! — слышит Данилин. — Погоди, тебя возьмут за воротник!

Данилин не отвечает. Ему некогда отвечать. Где-то на краешке сознания бьется раздражение: что это за капитан, который в такой момент болтает невзвесть что, мешает рулевому! Только на секунду, на полсекунды отрывается Данилин от стрелки прибора, и тут будто

ожгло его, такую ненависть прочел он, взглянув на Мюллера.

Это ощущение тотчас же оттеснено: «Тасмания» еще не вышла из канала, все тянутся, бесконечно тянутся две серые ленты — набережные, проплывают мазанки, овцы, сбившиеся в черное пятно, лагерь воинской части...

Уже недолго! Все помыслы Данилина поглощены одной целью — проскочить канал, выбраться на озеро. И там довести «Тасманию» до причала или посадить на грунт, в стороне от трассы, от большой дороги судов.

Прожекторы «Тасмании» гаснут. Уже утро.

В желтом зареве утра плывут навстречу плоские крыши городка, придвинутого к каналу холмами. Вершины холмов тают на ветру, исходят песком. Приближаются пакгаузы, вырастает сухая рощица антенн на вышке. За ними — бетонные ворота канала, а за воротами провал, мутная пустота. Это потому, что песчаная вьюга все-таки разгулялась и сбрасывает песок с холмов, с улиц городка в озеро...

Ворота все ближе. Во всей моряцкой жизни Данилина не было более желанных ворот.

Только теперь Данилин в состоянии собрать по частям, уразуметь картину происшедшего. От ненависти, мелькнувшей на лице капитана, остался очень ясный, почти физически ощутимый след, и ни осторожность, ни доброта уже не препятствуют Данилину утвердиться на суровом выводе.

Сейчас Мюллер — сама любезность. Он поднимает фуражку Данилина, закатившуюся в угол, сдувает с нее пыль. Он все еще толкует о том, что его подвели, что хороших матросов не сыскать — одна шваль в южных портах...

Конечно, он будет петь ту же песню, когда сюда явятся власти.

Правда, есть очень простые способы потопить судно. Например, можно было бы открыть кингстоны. Мюллер охотно приказал бы открыть кингстоны. Но он выдал бы себя. Ему нужны послушные руки. Желательно — руки араба. Вину надобно переложить на рулевого и на советского лоцмана. Уж Мюллер постарается... Если это ему удастся, тогда бывшие хозяева канала завопят на весь мир: «На канале аварии! Республика не справ-

ляется с каналом! Угроза международному судоходству!»

Только нет, не удастся!

Все это Данилин сказал в тот же день корреспондентам газет. Весть об аварии у моста взбудоражила редакции. И, конечно, Бенджамен Баркли, представитель «Тудэй», подоспел в числе первых.

Газетчики собрались в здании таможни. За окнами виднелись мачты «Тасмании», благополучно притулившейся к стенке, и ее труба, опоясанная белыми и голубыми полосками.

— Счастье, что судно было в балласте, то есть без груза, — сказал Данилин. — Иначе мы бы сели на дно еще там, в канале, как пить дать...

16

Журналисты спрашивали, как чувствовал себя лоцман Данилин на мостике. Он ведь понял, что авария устроена намеренно.

— Безусловно, — ответил Данилин.

— И вы не боялись? — подал голос Баркли. — Этот капитан выглядит форменным фашистом. И вообще... Они же могли черт знает что сделать с вами.

Данилин засмеялся:

— Признаться, я как-то не думал об этом... В те минуты, во всяком случае, нет.

Два журналиста в переднем ряду недоверчиво переглянулись.

— Если не верите — дело ваше, — сказал Данилин с досадой, и газетчики засмеялись.

— Интересно, — подал голос Баркли, — что все-таки заставляло вас? Отвечает за судно капитан. Вы имели возможность попросту выйти из неприятной компании. А вы еще сунулись в озеро...

— Ерунда, — усмехнулся Данилин. — Моряк в озере не утонет.

Газетчики дружно заскрипели перьями. Баркли — его настойчивость будоражила Данилина все время — не успокоился:

— Но вы нам не объяснили... Что вас все-таки заставляло?

— Ах, вот вы о чем...

От усталости ему было нелегко склеивать английские фразы, да и наивен был вопрос, сердил своей наивностью.

— А я, знаете, захватил канал в свою собственность. Пакет акций! Получаю миллионы...

В зале грохнули. Баркли захолопал.

— Ну, видите, вы же поняли шутку... Тогда поймите и другое, нешуточное...

Когда Данилин кончил, вопросы хлынули снова.

— Вы давно в Африке?

— Сколько вам платят?

Один журналист — юноша араб, застенчивый, — тихо спросил, нравится ли Данилину канал.

— Ну, по мне... воды маловато. Я ведь привык к морю.

Данилин ловил ободряющие улыбки, дружеский смех от всего сердца. Он говорил, удивляясь собственной непринужденности. Надо же, целая пресс-конференция!

Баркли, на правах знакомого, задержался.

— Спасибо вам, — сказал он. — Здорово, что есть такие люди, как вы!

— Ничего особенного, — бросил Данилин.

— Редактора моего вы, конечно, не устраиваете. Это факт. А Патрик — его величество старший брат, — он сказал бы, что я вас выдумал. Кстати, Сурхан должен быть здесь, на «Тасмании».

— Кто? — вздрогнул Данилин.

— Человек, который в вас стрелял. Меня заинтриговала эта история. Сурхана видели в Порт-Хараде, и...

— Слушайте... — Данилин задохнулся от неожиданности. — Надо немедленно...

Перед ним, словно в блеске молнии, осветился рулевой араб, белки его глаз, его немая речь, то яростная, то просящая... Что если это он, Сурхан!

Прыгая через скамьи. Данилин кинулся на улицу. «Тасмания» стояла у причала как вкопанная, тусклая и понурая в хоровах песка. Хамсин, кажется, разошелся по-настоящему. На причале былолюдно. Данилин узнал чиновников из комиссии, изучающей последствия аварии. Были и военные, в форме пограничников. У трапа

Данилина остановил офицер с медным полумесяцем на фуражке.

Данилин назвал себя.

— Да, я знаю вас, мистер Данилин. — Офицер расцвел. — Вам что-нибудь нужно?

— На судне есть один матрос... Его зовут Сурхан.

Данилин смешался: надо же объяснить, что ему нужно от Сурхана, от человека, который стрелял. Впервые, видеть его, а затем... Понять, что он за человек. Понять, в чем же дело...

Офицер кликнул товарища. Данилин, сжигаемый нетерпением, ждал, пока они советовались по-арабски — нестерпимо долго, длинными, старательными фразами.

Наконец второй офицер щелкнул каблуками и представился:

— Майор Саллах. Мне очень приятно. Мы друзья, да? — Он обнажил в улыбке зубы. — Сурхана Фаиза на судне нет.

— Но... он был?

— Да, был. Капитан сказал: Сурхан сошел на берег. Но это невозможно. Мы смотрели... Мистер лоцман, вы видели его на «Тасмании»?

— Я... право не уверен, он был на мостике... если это действительно он...

Майор отстегнул кожаную сумку и протянул Данилину маленькую, в паутинке трещин, фотографию. Майор неловко держал ее крупными пальцами, темными от табака.

— Узнаете? — спросил майор.

— Да.

— Простите, мистер Данилин, еще один вопрос... Вы очень нас обяжете...

— Пожалуйста.

— Когда вы были с ним на мостике последний раз?

— Вчера... Да, на полуденной вахте, с двенадцати... Я думал, что он заступит еще раз, вечером. Но вместо него вышел другой.

— Спасибо, мистер Данилин.

— Не за что. Желаю вам, — он улыбнулся, глядя в простое, крестьянское, с массивными чертами лицо майора, — желаю вам разыскать его.

— Воля аллаха! — ответил пограничник.

В тот день Данилин ничего больше не узнал о судьбе Сурхана — человека, который стрелял.

Спросить майора, по какой причине ищут Сурхана, Данилин постеснялся.

В Джезирэ его ждали новости: ночью арестовали капитана Азиза. Эльдероде скрылся, бросив почти все свое добро.

Прошли недели, месяцы. Сурхан не вернулся домой: человек, который стрелял, пропал бесследно.

* * *

Самолет повис над синей бездной. Берег выскользнул из-под крыла, исчез в дымке и превратился в длинное облако. Вере показалось, что ИЛ-18 покинул земную планету и летит прямо к солнцу.

— Средиземное море, — объявила стюардесса.

У самого окна сидит Марьяшка. На голых загорелых коленках она держит пучок веток. Это хна, дерево древних царей. Ветки торчат из гербария, лежащего на столике, из мохнатого пальто Марьяшки, готового для встречи с русским сентябрем.

— И где он наломал столько! — смеется Вера. — По всему Джезирэ, наверно.

Ветки принес Баркли — большую, душистую охапку. «Миссис Вере на прощание, африканский аромат, самый ее любимый».

Вера перебирает маленькие беловатые цветочки. Они чем-то напоминают ландыши.

Баркли не обделил и Данилина, сунул ему ветки в нагрудный карман пиджака. Данилин смутился, — он не привык получать цветы.

Берег Африки уже почти растаял позади, длинное облако стало едва видимой черточкой. Однако Данилин все еще в Джезирэ. Ему странно слушать стюардессу. В Москве ранние холода, десять градусов. Нет, не верится, — есть только жара, солнце. И непонятно, зачем вылезли из гардеробов и висят в самолете демисезонные пальто и куртки.

Еще не улеглись волнения последних дней в Джезирэ — Данилин сейчас опять переживает их.

Из комнат вынесли всю мебель, больно было смотреть на голые стены коттеджа, как на друга, ставшего

равнодушным. Зияла вмятина на стене, след пули, и будила прошлое.

Это неожиданное чувство незавершенности... Он спрашивал себя: откуда оно? Ведь срок службы закончен, работа выполнена, в личное дело подшиты благодарности за спасение «Тасмании». Есть даже награда от правительства республики. Советский лоцман Данилин, в труднейших условиях, не растерявшись...

Так чего же еще? Можно спокойно лететь домой. Вернуться на родную Балтику...

В последние дни все события, все лица предстали с необыкновенной отчетливостью, как в зеркале. Но какова же судьба Сурхана? Что натворили Азиз и Эльдероде? Спросить бы у Баркли. Но в те дни его не было. После первого визита Баркли часто заходил, пригнулся у очага. Данилин уже не стеснялся спорить, стал обращаться с Баркли попросту, без церемоний.

Баркли изливал душу: в редакции им недовольны, диверсию на «Тасмании» замолчали, а чем не сенсация! Ждать увольнения Баркли не стал, распрощался первый и уехал искать удачи...

...Самолет погрузился в синюю беспредельность. Уже нет верха и низа, юга и севера. Где наша планета — неизвестно.

Иногда из-под крыла выползает крохотный пароход, детская игрушка, потерянная в бездне.

Вера подносит к лицу ветки. Цветы пахнут. У арабов есть поверье: хна теряет аромат за пределами своей страны.

Данилин вспоминает Баркли, нагруженного ветками. Он явился неожиданно вчера, перед самым отъездом на аэродром, прижимая к себе охапку обеими руками.

То, что рассказал Баркли, очень-очень важно. Имеются новые данные о деле Азиза. Заговор раскрыт полностью. Надо бы посадить на скамью подсудимых Эльдероде и Мюллера, капитана «Тасмании». Но удастся ли — пока неизвестно. Мюллер виновен еще и в гибели Сурхана. Летучую Мышь побоялись оставить в живых...

Потом Баркли сообщил о себе:

— Побывал я дома. С братом мы разругались окончательно, ну и... пустился я опять шататься по свету.

Договорился со здешней кинофабрикой. Взяли помощником режиссера.

— Вы и это умеете? — спросила Вера.

— Случалось. А люди тут нужны до зарезу. Собираюсь в экспедицию, снимать видовой фильм. Пустяки, цветные картинки для привлечения туристов. Но это для начала...

— Значит, породнились с Африкой, — сказал Данилин.

— Выходит, так. — Баркли неловко развел длинными руками. — Знаете, это, пожалуй, из-за вас. Ей-богу, вы помогли мне оттолкнуться... А сами улетаете, нехорошие вы какие!

Лицо у него стало обиженным, совсем мальчишеским.

— Па-ап! — зовет Марьяшка и тычет в нос ветку. — Правда же, пахнут?

Марьяшка решила проверить: теряют ли запах цветы? А если теряют, то когда, на каком расстоянии. Поверх гербария лежит замусоленная записная книжечка — Марьяшка делает пометки.

У Марьяшки тоже есть новости. Позавчера она съездила к Зульфий, в школу-интернат. У подруги все в порядке. Школа — за окраиной Джезирэ, во дворце вельможи, сбежавшего вместе с королем. Зульфия учится, никто не мешает ей.

Данилин гладит волосы Марьяшки. Выросла девочка! Два года, два больших жарких года. Нет, не напрасно они потрачены. Нет, не все следы заносит песком...

Как жаль, не удалось помочь Сурхану. На «Тасмании» он был близко, в двух шагах, за штурвальным колесом. Сурхана убили, потом бросили в море. Данилин вздрагивает от гнева. Он допрашивает себя, вспоминает все подробности рейса на «Тасмании». Надо было догадаться сразу, что-то предпринять. Что именно — Данилину неясно. Но он не может думать о Сурхане без горечи.

Синюю пучину затянуло облаками. Теперь земля вновь открыта, в разрывах расплываются сухие горы Турции. Тень самолета ныряет в провалы, потом опять несется по облакам. Вот еще провал, и за белой кромкой — Черное море.

Как стремительно время в полете!

В пути, рано или поздно, пересекаешь грань, отделявшую покинутое, оставленное позади, от цели. Сейчас в самолет властно вторгается воздух родины. Это он льется из кранов искусственного климата, шевелит волосы Марьяшки, листок ее записной книжки, поникшие цветы.

— Пахнут, пахнут! — ликует Марьяшка.

Она сжимает ветки, греет их, чтобы продлить им жизнь.

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА



Трое нас было... Уцелел я один. Сержант Симко погиб в Померании, старшина Алиев — под Берлином.

Как я выжил — сам удивляюсь! Вон он, на стенке, — тогдашний Леонид Ширяев. Не узнали? Да, тот молодой парень. Пилотку-то как заломил лихо! Лейтенантские погоны, как видите, совершенно новые, только что получены. Гордится он ими — страсть! Даже снялся вот, по случаю присвоения офицерского звания. Карточку сделала Вера, дивизионный фотограф, — «чудо-фотограф», как прозвали ее у нас.

Но речь не о ней.

Итак, трое нас вышли в разведку. Был 1945 год, апрель. Сырой, прохладный вечер.

Местность впереди открытая: поле, уже свободное от снега, небольшая рощица, а за ней — холм.

Задача наша — занять на холме наблюдательный пост. Провести там ночь, приглядываясь к тому, что творится на шоссе и в предместье Кенигсберга, а если представится возможность, то и взять языка.

Где-то справа подает голос наша батарея. Выпустит заряд, умолкнет, и тогда слышно, как бьют по сапогам головки прошлогоднего нескошенного клевера. Они обмерзли и колотятся громко, словно град.

Запал мне в память клевер. И туман. Он ждал нас в роще, где местами еще дотаивал снег. За рощей он немного поредел, а потом стал гуще, — мы спустились в ложбину.

Если бы не туман, не батарея, затихавшая только для того, чтобы перезарядить орудия и изменить прицел,

операция наша закончилась бы, должно быть, совсем по-другому. Да что операция! Вся жизнь моя пошла бы иначе. Короче говоря, стряслось конфузное для разведчика происшествие. Мы наскочили на немецкую траншею.

Прямо против меня стоял молоденький тощий солдат. В одной руке — саперная лопата, в другой — дохлая мышь. Должно быть, прикончил ее лопаткой и хотел выкинуть. А перед этим он долбил землю, и я, помнится, слышал смутный шум, но снаряды нашей батареи, завывавшие над головой, не дали мне как следует прислушаться. И вот теперь мы столкнулись лицом к лицу и оба оторопели.

В струйках тумана — еще немцы. И все с лопатками. Застыли, смотрят на трех русских, выросших вдруг у самого бруствера. Туман ползет, вьется, и немцы точно плывут, и всё вообще — наподобие миража.

Что нам остается? Стрелять, убить как можно больше фрицев, а последнюю пулю — себе. Не дань живыми...

Рука моя уже отстегнула кобуру. И чую, кожей чую, — спутники мои тоже напряглись, приготовились к последней схватке. Много дорог мы прошли вместе, сроднились. Сплавились, можно сказать, воедино.

Немец с мышью не шевелился. Испуг пригвоздил его. В него первого я и должен был выстрелить.

Но я не вынул пистолет. Счастье, что этот немец — отощавший, окаменевший от ужаса — маячил как раз передо мной. Он помог мне увидеть другой выход.

— Где ваш офицер? — крикнул я и шагнул на бруствер. — Мы советские парламентареры!

Крикнул, а сам соображаю, — на парламентаров мы ведь явно не похожи. Ни белого флага, ни белых повязок на руках. И молоды слишком. Особенно — я.

В ту пору я еще стеснялся своего возраста. И внешности своей не доверял. Толстогубая, щекастая физиономия... Словом, в роль парламентаря я входил не очень-то уверенно. Сейчас, думаю, бросят они лопатки, поднимут винтовки, автоматы...

И, чтобы не дать немцам опомниться, я опять заговорил. Слов немецких у меня не очень много, от волнения я путаю их, безбожно путаю, запинаюсь, но чувствую, молчать нельзя. Надо как можно лучше объяс-

нить им самое главное. Войну они проиграли. Кенигсберг окружен. Порт Пиллау отрезан, помощи ждать не откуда. Не будет ее ни с моря, ни с суши.

— Складывайте оружие! Сдавайтесь в плен. Мы гарантируем вам безопасность!

Бывало, отправляясь в тыл противника, мы брали с собой листовки с этими призывами и там разбрасывали их. Для практики в языке я читал листовки и многое невольно заучил.

— Советская армия обеспечит вам жизнь, возвращение на родину после войны!

Надо бы иначе, по-своему, а я барабаню по-печатному, как урок! Эхма! Вот уже израсходован запас — весь, до самого дна. Я судорожно стараюсь припомнить еще какие-нибудь слова, но нет! Пусто! И я умолк.

Что теперь? Траншея безмолвствует. Солдата с мышью уже нет, на его месте — офицер, лейтенант. Высокий, в очках, весьма штатского вида. Что он ответит? Или ничего не ответит, а скамандует, и они откроют огонь...

— Ja... So... — протянул наконец лейтенант. Потом лицо его задергалось. Он выдавил несколько длинных, сбивчивых фраз. Я понял только, что вести переговоры он не вправе. Надо доложить командиру батальона.

— Веди, — говорю, — нас к командиру.

Сам думаю: «Неужели я еще жив! Чудеса!» — но уже начинаю осваиваться.

Немцы посторонились; мы перешагнули через траншею, и лейтенант повел нас по тропе, выбитой солдатскими ботинками, сквозь кустарник, одевший скат холма, на вершину. В сумерках забелел столб с облупившейся штукатуркой. Скрипит, стонет на ветру железная калитка, свернутая воздушной волной. За горелыми стволами сада — здание. Вернее, обломок здания.

На безглавой башне еще лепится кое-где выпуклый орнамент — крупные гипсовые раковины. Над входом, в узорчатой рамке, надпись: «Санкт-Маурициус». Кроме башни да стены с пустыми окнами, ничего не сохранилось от виллы.

Лейтенант ухнул вниз, в темный провал, мы — за ним. Неяркий луч метнулся из открывшейся двери. Мы вошли в помещение, освещенное круглой походной лампочкой. Она висела на толстом проводе, подтянутом

к потолку от аккумулятора. Меня кольнуло. Трофейный аккумулятор, нашей марки! За столом — немец в форме майора, седой, желтый от старости.

На впалой груди майора мерцали ордена. Их было много. Кроме гитлеровских наград я различил и другие, полученные, верно, в армии кайзера.

Майор с трудом приподнялся и снова сел. Ордена глухо стукнулись. Диковинно выглядел этот дряхлый командир батальона, нацепивший все свои регалии, точно для парада. Похоже, актер, играющий в каком-то зловещем спектакле.

Лейтенант доложил. Старик громко задышал, а затем стал быстро-быстро выпаливать слова. Сгустки слов. Я уразумел лишь «Deutschland», повторенное очень много раз.

— Имеется переводчица, — сказал лейтенант. Это было как раз к стати.

Между тем в подвал набирались люди. Они топтались позади, но я не оглядывался. Я не выпускал из вида командира и лейтенанта. Дверь опять хлопнула. К столу приблизилась девочка в зеленоватой куртке, в берете с галолитовой брошкой — кленовым листком. Да, именно девочкой показалась она мне с первого взгляда... Детское курносое личико, пятнышко пудры на пухлой щеке.

«Немка? Или из наших? Верно, русская, — подумал я с досадой. — Связалась с ними...»

Не знаю, точно ли передаю тогдашние свои впечатления, — мне и досадно было, и больно за нее. Ей бы еще в школу ходить, играть на переменах в жмурки, собирать открытки с портретами артистов, писать на ладошках, перед экзаменом, — «Килиманджаро», «Баб-эль-Мандебский пролив», как это делает моя сестренка Вика, эвакуированная из Калуги на Урал. Эта — ненамного старше Вики, а ростом такая же.

Майор все говорил, не глядя на нас, как бы про себя. Переводчица прижалась к резной спинке кресла, опустила веки, прислушалась, потом одернула курточку и сказала чисто, певуче, с мягким украинским «г»:

— Господин майор учитывает ситуацию на фронте. Он принимает ваше предложение.

— Прекрасно! — вырвалось у меня.

Конечно, парламентару не полагалось давать волю

своим переживаниям. Надо было реагировать по-другому — сдержанно, с достоинством.

Не ожидал я, что все сойдет так гладко. Ведь майор, матерый служака, наверняка догадался, кто мы такие. Почему же он не захотел даже проверить наши полномочия? Но тут же я понял, что происходит. Никого мы не обманули. Всем немцам ясно — не парламентареры мы, а разведчики, налетевшие на позиции батальона в тумане, случайно. Пусть у нас нет белых повязок, нет отпечатанного текста капитуляции — это сейчас неважно. Вся суть в том, что Кенигсберг обречен, что войну они проиграли, что их солдаты, голодные тотальники, драться не умеют и не хотят.

Лейтенант наклонился к майору и что-то тихо проговорил. Наступила заминка.

— Просьба есть одна, — сказала переводчица. — Тут два обер-ефрейтора... Им, наверно, дали следующее звание и... Майор просит позволения позвонить в штаб дивизии, узнать. Он считает, они должны пойти в плен унтер-офицерами.

Слова она произносила не детские, из языка войны, строгие, мужские и от этого становилась как бы старше. И сходство с Викой исчезло.

— Гадюка! — прошептал сержант Симко и поправил на плече автомат. — С Украины она, факт, товарищ лейтенант.

Однако как же быть? По мне что ж, и унтерам найдется место в плену. Я их понимаю. Сам недавно получил звание. Но вот звонок в штаб отсюда — это, пожалуй, рискованно. Нет ли тут подвоха?

Я заколебался. Между тем лейтенант уже потянулся к телефону. Переводчица открыла сумочку; в руке ее блеснули ножницы — маленькие, отливавшие никелем и эмалью ножницы. В одно мгновение она оттеснила лейтенанта и... перерезала телефонный шнур.

Ловко!

Тут я поймал себя на том, что думаю о ней без гнева, скорее с любопытством.

— Господин майор не настаивает, — услышал я. — В данной обстановке... Вопрос не имеет большого значения.

Майор, к моему удивлению, кивнул. А ведь она на этот раз не переводила, сказала от себя. Лейтенант,

которого она только что оттолкнула от телефона, тоже не противился. Он отошел в сторону и почтительно слушал ее. Э, да она не простая переводчица! Никак она теперь распоряжается тут?

Майор встал, звякнул орденами и выронил на зеленое сукно стола револьвер. Рука старика дрожала.

Тогда мне было не до него.

Затем к моим ногам упал тяжелый автоматический пистолет лейтенанта. Еще пистолет. В тесном подвале поднялся оглушительный грохот. Офицеры сдавали оружие. Некоторые бросали его прямо в кобурах, вместе с ремнями.

Что чувствовал я? И ликовал, и дивился удаче. И глазам своим не верил. Неужели мы трое взяли в плен батальон фрицев?!

— Старшина!— повернулся я к Алиеву.— Расстели плащ-палатку и собери всё.

Руки Алиева,— смуглые, с тонкими пальцами, проворные, прилежные руки,— укладывали оружие, завязывали узел. Еще сегодня утром он так же спокойно, старательно собирал у нас в разведроте зимнее обмундирование: теплые шапки, рукавицы, байковые портянки. А сейчас вот — оружие. Немецкое оружие. Это не сон,— мы действительно взяли в плен батальон фрицев. До чего же здорово!

Капитуляцию солдат мы принимали у траншеи. Винтовки я велел сложить в окоп и засыпать. Лейтенант выстроил солдат; старый майор подозвал двух обер-ефрейторов, вручил им лычки, погоны и поздравил.

Бедняги истово благодарили, и в глубине души я одобрил поступок майора. Парень я был не злой, хоть и стремился, по молодости лет, казаться человеком, ожесточившимся на войне, не ведающим жалости.

Я пересчитал солдат. Всего тридцать семь,— не густо! Видать, батальон хватил огонька! Переводчица подала мне списки личного состава. Все это время, пока мы были у траншеи, она суежилась, совалась всюду и даже покрикивала на немцев.

— Из кожи лезет,— жестко молвил мне сержант Симко.— Прищемили хвост, вот и выслуживается.

Выслуживается? Нет, это мне не приходило в голову. Почему-то не приходило. Сержант продолжал в том же тоне, а я не знал, что сказать ему. Странное дело, одно

только любопытство у меня было к ней, и ничего больше.
— Разберутся,— бросил я.

На перекличке одного солдата не хватило. Лейтенант повторил имя:

— Кайус Фойгт!

Шеренга сумрачно молчала. В эту минуту подбежала переводчица, и лейтенант спросил ее, где Кайус Фойгт. «Она-то при чем?» — подумал я. Оказывается, Фойгт — шофер. Он привез ее сюда и находится у своей машины. Числится в батальоне, а служит в другой части.

— Там, где фрейлейн Катя,— пояснил мне лейтенант.— Вы возьмете машину?

— Не возьмут они ее,— вставила переводчица.— Дырявая, как решето. Вы гляньте.

Я помедлил.

— Тут близко.— И она шагнула ко мне.— Идемте, прошу вас.

Она споткнулась о брошенный кем-то ранец, на миг уцепилась за меня. Что-то новое вдруг появилось в ее тоне, во всем ее облике.

— Товарищ лейтенант,— услышал я быстрый шепот,— идемте. Вы должны мне помочь.

2

Она так горячо, так искренне произнесла это «товарищ лейтенант», что я не сделал ни одного протестующего движения и не перебил ее.

— Идемте! Идемте скорее! Там, на вилле... Надо показать вам...

— Что?

— Там ценности,— сказала она.— Вещи. Вещи из советских музеев.

Вещи! Только и всего! К вещам я относился с истинно солдатским пренебрежением. Музеи остались где-то далеко в мирной жизни, почти забытой. Посещал я их не часто. На фронт я ушел восемнадцати лет. Как многие юноши, увлекался техникой. С искусством я был мало знаком. Не дорос еще. Не успел. И слышать о музеях здесь, у траншеи, среди раскиданных на земле ранцев, обшитых ворсистой шкуркой, среди алюминиевых фляжек, тесаков, было как-то непривычно и странно.

Однако мне все равно следовало провести ночь на высотке. Вести наблюдение до утра — таков был приказ.

— Пленных поведет старшина, — сказал я, вернувшись к своим. — Симко будет со мной.

Алиеву я дал инструкции. Передал свой разговор с переводчицей и велел доложить Астафьеву обо всем, не упуская ни одной мелочи.

Симко хмурился. Переводчица раздражала его до крайности. Пока мы лезли на холм, он угрюмо молчал, сопел и бросал на нее свирепые взгляды.

С холма открывалось шоссе, стальное от лунного света, и фабричные трубы предместья. В полусотне шагов от виллы за садом, под крутым откосом стоял высокобортый, крытый брезентом, тупоносый грузовик. Немытые белые полосы зимней маскировки покрывали кузов. Долговязый немец расхаживал взад и вперед по асфальту, подпрыгивал от холода и бил себя по бедрам.

— Это Кай, — сказала переводчица.

— Давай туда, — приказал я сержанту и указал ограду, нависшую над шоссе. — Заодно и на него поглядывай.

— Это русские, Кай, — сказала девушка по-немецки и так, словно речь шла о самом естественном. — Ты в плену. Тебе известно уже?

— Jawohl, — коротко отозвался Кай.

Все же я отобрал у Кая автомат и заглянул на всякий случай под брезент.

— Так вы Катя? — спросил я переводчицу, когда мы отыскивали вход в подвал.

— Катя. Катя Мищенко.

Понятно, мне хотелось знать о ней больше. Так и подмывало. Но я сдерживал себя. «Мало ли что она может сочинить, — строго внушал я себе. — Доставлю ее нашим — там разберутся».

Между тем в душе я доверился ей. И это смущало меня. Поэтому я напустил на себя строгость, говорил с ней односложно, резко. Именно так, казалось мне, повел бы себя на моем месте Астафьев, командир нашей роты. Он был суровый человек, неразговорчивый. Я любил его и нередко подражал ему.

Круглый стеклянный пузырь на толстом проводе все еще светил в подвале. За креслом, где сидел старый

майор, темнела глубокая, узкая ниша. В ней — фигура какого-то святого. Курьезная фигура — с черной негритянской головой, с черными руками.

Из соседней комнаты железная винтовая лестница вела вниз. Я зажег фонарь. Мы спустились.

В луче фонаря возникли дощатые ящики. И другие ящики, необычного вида, широкие и плоские. Заблестели рассыпанные на полу гвозди. А посреди помещения возвышалась фигура женщины с луком в руке.

— Вот, — сказала Катя, — видите, готово все. — Она прошла среди ящиков, потрогала их, пощупала тюки, потом смерила взглядом статую. — Я должна была вам показать... Чтобы вы по крайней мере знали место.

— Ясно, — сказал я.

— В коробках фарфор. Дворцовые сервизы. Кидать нельзя, запомните. Ладно?

Я спросил, что в плоских ящиках. Оказывается, картины. Вот не думал! До сих пор я встречал картины только в рамах.

Должен заметить, хоть я и воображал себя непроницаемо строгим, мои настроения все же отпечатывались на моей нескладной физиономии весьма отчетливо.

— Я тоже вот, — она засмеялась, — как пришла первый раз в музей, в хранилище, мне жалко их было, жалко картин. Море плещет, деревья шумят, люди как живые написаны, — да как же можно это трогать, из рам вынимать... и в темницу...

Я ничего не ответил. Я сжался весь еще сильнее оттого, что она так внезапно и непрошенно заглянула мне внутрь. А она как ни в чем не бывало порхала по комнате, сыпала именами. Я уже не помню сейчас всех художников, которых она назвала тогда. Я не знал их, кроме Айвазовского.

И тут меня прорвало. Мне вдруг взбрело на ум показать, что и я не лыком шит.

— Девятый вал, — сказал я.

У нас дома, в Калуге, висела репродукция «Девятого вала».

Катя улыбнулась. Веселые, лукавые искорки плясали в ее глазах. Я насупил.

— Что вы, этой картины нет! — услышал я. — Она в Москве, в Третьяковской галерее. Тут полотна из минской галереи, из нашей киевской. — Тон ее стал опять

деловитым, как вначале.— Грузить будете — стоймя ставьте, как здесь. А вот с Дианой, — она обернулась к статуе, — сложнее обстоит. Ящик сколотите. Только сосна не годится. Сосна не выдержит. Дуб только. И потом...

— Я не плотник, — вставил я.

— Это всех касается! Всех! Вы знаете, где она стояла раньше? В Петергофском парке! Ой, лышеньки, да зачем вы молчите так! Да вы ж не представляете, какое это богатство! А тут малая часть. Он же массу всего вывез...

— Кто? — не выдержал я.

— Фон Шехт. Хозяин виллы. Мой начальник. Вы слышали про эйнзатцштаб?

— Никак нет.

— Эйнзатцштаб — это... — начала она и запнулась. — А вы поверите мне? Нет, — она покачала головой, — лучше спросите про штаб... И про меня... У Бакулина.

У Бакулина?

Я знал его. Майор Бакулин, офицер разведотдела армии, часто бывал у нас в роте. Я насторожился. Мало ли почему он мог быть известен в этом, как его, эйнзатцштабе! Если она связана с Бакулиным, работает на нас, то почему он не ориентировал Астафьева, меня? Не предупредил о возможной встрече? Бакулин с его редкой памятью, рассудительный, внимательный. Бакулин не упустил бы...

Я терялся в сомнениях. В душе доверие к ней, вопреки логике моих размышлений, еще жило, но я решительно заглушал его.

— Вы поможете мне, правда? — спросила она и, подтянувшись на носках, глянула мне прямо в лицо. — Правда? Вы отпустите меня?

— Куда?

Еще больше насторожился я, когда она объяснила. Обратно, к немцам, в Кенигсберг, — вот куда ей нужно, оказывается! Большая часть музейных вещей там. Гитлеровцы сейчас прячут их, и ей надо быть в курсе. Иначе их не найти потом.

— Это же для нас... Лышеньки! Там на миллионы, на миллиарды... Из Петергофа вещи, из Пушкина...

— Не могу, — сказал я.

Ни в Пушкине, ни в Петергофе я не был. Я не имел

о них почти никакого понятия. Возможно, все это так, как она говорит. Но я не могу, не имею права отпустить ее. Я отвел луч фонаря вниз, к истоптанному, в трещинах, бетонному полу. Не видя ее, мне легче было противиться ей.

— Хорошо,— вздохнула она.— Тогда вы сообщите Бакулину.

— Что?

— Это самое и доложите,— произнесла она жестко.— Что я вас просила, а вы...

— Душно здесь,— сказал я.— Пошли.

Мы выбрались из подвала и остановились у портика с надписью «Санкт-Маурициус». Луна зашла за облака. Стемнело. Где-то гремел на ветру лист железа, словно подражал орудиям, рокотавшим вдали. Теперь уже не одна, несколько батарей, наших и немецких, ввязались в спор. Мраморная Диана, картины в ящиках, дворцовый фарфор— все это показалось мне до странности чуждым войне. Как будто я только что прослушал сказку о спрятанных сокровищах.

Катя нахохлилась. Галолитовый листок на ее берегу блеснул ниже моего плеча.

— Если вы такой... Ведите меня туда, к нашим! Мне же скорее надо обратно!

— Подождет ваше дело,— сказал я.

Сняться с холма я предполагал на рассвете. Но получилось иначе, командование сочло нужным занять обнажившийся участок, улучшить свои позиции.

Удивительно быстро обосновываются солдаты на новом месте. Возникли окопы, огневые точки, замаскированные плетнями из ивовых прутьев. На склонах выросли шалаши. Запахло махоркой, срезанным можжевельником, оружейным маслом.

В подвале расположился командный пункт стрелкового полка. Я зашел туда, поручив Катю сержанту Симко.

— А я тебя ищу,— раздался голос Астафьева.— Где твоя переводчица? Давай ее!

Не только он, и Бакулин приехал, чтобы свидеться с ней. Им отвели шалаш, и я привел туда Катю, задыхаясь от нетерпения. Седой майор шагнул к Кате, взял за плечи и поцеловал в лоб.

— Девочка хорошая! — сказал он.

Я буквально прирос к полу. Все смешалось в моей голове. Почему же, почему нас-то не предупредил Бакулин? Но не мне было задавать вопросы майору. Астафьев покосился на меня и дернул свой ус движением, означавшим, что мое присутствие излишне.

Сержант Симко караулил машину. Шофер Кайус Фойгт мирно похрапывал в кабинке.

— Наша она! Наша! — шепнул я сержанту. Радость распирала меня, я не мог не поделиться ею.

Катя пробыла с офицерами не дольше получаса. Потом вызвали меня. Майор дописал что-то, промокнул и отставил пресс-папье. Он хмурился. Астафьев дергал свои чапаевские усы.

— Проводить надо товарища, — произнес он. — Мимо боевого охранения... В общем, на ту сторону. Саперы уже, поди, заложили свои гостинцы на шоссе, так ты первым делом ступай к ним. Пусть укажут объезд.

Меня точно резнуло...

Зачем? Разве так необходимо? Идти обратно, в осажденный город, ради вещей! Ведь не сегодня-завтра Кенигсберг будет в наших руках. И все, что там есть. Выходит, я напрасно задержал ее. Только отнял у нее время и, может быть, повредил ей. Ну, конечно! Возвращаться — так сразу, а сейчас это опасно вдвойне... Привычное «слушаюсь» не шло с губ, его стало вдруг очень трудно выговорить. Трудно, как никогда.

— Товарищ майор, — начал я, — разрешите... Я готов и дальше с ней... Если найдете целесообразным.

Наверно, это выглядело нелепо, по-мальчишески. Но молчать я был не в силах.

— Не нахожу, — отрезал Бакулин. — И ее под топор подведете, и вам несдобровать. Нечего! — Он сердито откашлялся и добавил мягко: — Вы правильно поступили, лейтенант. Верно, Астафьев?

Как раз такие слова мне очень нужны были в ту минуту. Но стыд, чувство вины перед ней не проходили.

— И немца с ней? — спросил я.

— Да, и немца. — Лицо Бакулина теплело. — Не все они фашисты, Ширяев. Не все.

Ох, до чего же опять нелегко повиноваться! Немец все-таки! Правда, при мне наши политработники отпускали пленных в распоряжение врага с листовками: аги-

тировать, разъяснять правду о Гитлере. Я сам сопровождал однажды пленного через наш передний край. Но Кайус Фойгт!.. Ведь, коли он побывал у нас с Катей, жизнь ее зависит от него. Что, если выдаст?

— Действуйте, лейтенант,— кивнул Бакулин и задержал на мне ласковый взгляд.— Прошейте им кузов из автомата да у минометчиков попросите огонька. Легенда такая: заблудились, наткнулись в темноте на красных, едва улизили.

— Ясно,— выдавил я.

Я сам посадил очередь в задний угол кузова. Несколько мин лопнуло впереди, на шоссе, затем Катя села в кабину, я втиснулся рядом. Кайус Фойгт дал газ, и мы не спеша, на тормозах скатились с холма. Катя зябко ежилась.

— Ой, звездочка упала! — воскликнула она.— Я загадала. Значит, все будет хорошо.

Она улыбалась мне, ободряла меня. От этого становилось еще тяжелее. Мы объехали минное поле, я вылез и пожал маленькую холодную руку.

— Простите меня,— только и сумел я сказать.

Начинало светать, и машина не сразу скрылась из вида. Я стоял и смотрел. Вот она превратилась в бесформенный комок и растворилась в сумерках. Некоторое время еще слышалось жужжание мотора, потом его заглушил отдаленный гомон зениток. Край неба вспыхнул, там занимался пожар. Где-то переговаривались дальнобойные. Озаряемое сполохами, лежало каменной целиной предместье вражеского города, и к нему, в неизвестное, двигалась маленькая бесстрашная девушка...

3

Вы поймете, как нетерпеливо ждал я вестей от Кати, когда мы вошли в Кенигсберг.

Дышалось по-весеннему. На Университетской площади, где генерал Ляш со своим штабом сложил знамена, дерзко пробивалась в обгоревшем сквере молодая зелень. В тот год весна несла самый драгоценный дар — победу, мир. И хотя в городе то и дело рвались мины, возникали пожары, а пленные немцы рассказывали о каком-то «тайном оружии», будто бы имеющемся

у Гитлера, мы все знали: дни фашистской Германии сочтены.

Неужели Катя не дожила?..

Она не встретила нас. Явки, которые она дала Бакулину, не состоялись.

Значит, случилась беда. Чувство вины перед ней и раньше дожимало меня, а теперь оно стало невыносимым. Я рисовал себе ее в застенке, в руках палачей. «Если она погибла,— думал я,— то из-за меня. Да, из-за меня».

Бакулин предпринял розыски. Я понадобился ему, так как видел Катю и шофера. От Бакулина я и узнал ее историю.

Жила Катя сперва в Майкопе, потом в Киеве. Окончила там семилетку, поступила в музей, на техническую должность. Полюбила музей. Когда Киев захватили немцы и стали вывозить сокровища, Катя вызвалась сопровождать эшелон в Германию. То было поручение комсомольского подполья — не выпускать из вида музейное добро.

Юная девушка, наивная, почти ребенок,— кто заподозрит, что у нее секретное задание! Ограблением музеев ведал эйнзатцштаб Альфреда Розенберга. Катя устроилась в штабе переводчицей. Немецкому языку ее обучали еще в детстве. В музее Катя успела прослать ходячим каталогом. Она держала в памяти тысячи имен, дат.

Последнее время Катя была в Польше. В Кенигсберге она очутилась недавно. Вот почему Бакулин не предупредил нас. Он сам не рассчитывал встретить Катю на нашем участке.

— Миссия ее, в сущности, почти закончена,— сказал Бакулин.— Много сведений уже получено от нее, кое-что она сама мне сообщила. Но... Она, понимаешь, считает, что рано ставить точку. Аргументы у нее серьезные.

Луч солнца, пробившийся сквозь цветное стекло узкого окна, освещал лицо Бакулина, доброе и немного грустное. Разведотдел занял помещение духовной школы.

— Вещи! — воскликнул я с досадой.— Да куда они денутся, товарищ майор!

— Могут и пропасть. Вопрос не такой простой, Ширяев. Но мы убедили ее не увлекаться по крайней мере.

Ограничить цель. В Кенигсберге, видишь ли, находится знаменитая Янтарная комната.

— Комната?— спросил я.

— Отделка комнаты, точнее говоря. Не слыхал? Видел я ее. Богатый в Пушкине дворец, всего не запомнишь, а это забыть невозможно. Комната в огне будто. В золотом огне. Он тлеет, тихонько тлеет, а тебе сдается, вот-вот вспыхнет пламенем. Даже жутко. Раздобудем ее в Кенигсберге, и ты увидишь.

— Не влечет, товарищ майор,— сказал я.— Что в ней? По сравнению с жизнью человека...

Для меня она была далека, как все мирное,— Янтарная комната; как дома «Девятый вал» в рамке, выпиленной лобзиком; как мои школьные учебники, закапанные чернилами; как плеск весел на Оке...

— Согласен,— молвил майр.— Человек дороже всего. Но ты ответь, можно запретить человеку идти на подвиг?

В тот день Бакулин долго не отпускал меня. И я изливал ему свою душу.

Астафьев — тот восхищал меня храбростью, хладнокровием в бою, но отдалял от себя суровостью. Причину он не скрывал. Война отняла у него всех близких. «Сердце из меня вынуто»,— бросил он как-то, хватив трофейного шнапса. Бакулина я знал еще мало, чуточку робел перед ним, но тянулся к нему. Вырос я без отца и, должно быть, знакомясь со старшими, бессознательно искал отеческое...

Сегодня впервые Бакулин говорил мне «ты». Катя словно сблизила нас.

— Располагайте мной, товарищ майор,— сказал я.— Раз я допустил ошибку...

— Опять ты за свое...— Он покачал головой.

— Судить меня не за что. Верно,— отозвался я.— устав я не нарушил. А все-таки есть моя вина!

В чем она состоит, я не мог как следует объяснить. Чувствовал я себя как бы уличенным в трусости. От смерти в бою не бегал, а довериться человеку в решительную минуту смелости не достало.

— Ну-с, ближе к делу! — отрезал Бакулин.

Я выслушал инструкцию. В Кенигсберг Катя приехала с двумя офицерами эйнзатцштаба — подполковником фон Шехтом и обер-лейтенантом Бинеманом.

Известен еще шофер — Кайус Фойгт. Их и надо обнаружить прежде всего,

Я вышел.

Наводить справки, отыскивать кого-нибудь в чужом городе, только что занятом, — задача нелегкая. Я убедился в этом очень скоро. Фойгт как в воду канул. Не было никаких сведений ни об эйнзатцштабе, ни о его офицерах. В комендатуре пожимали плечами. Немцы — пленные и штатские — не знали или отмалчивались. Наконец на третий день мне принесли пакет со штампом немецкого лазарета.

«Подполковник Теодор фон Шехт скончался 10 апреля от сердечного удара», — прочел я.

Среди несметного количества смертей, изобретенных людьми, естественная, невоенная причина казалась неправдоподобной. К тому же речь шла о фон Шехте — грабителе фон Шехте. Требовалась проверка.

Бакулин дал мне «виллис», и я поехал. Сперва машина колесила по центральным улицам, разгромленным бомбовыми налетами англичан, огибала завалы, воронки, противотанковые надолбы, поваленные деревья. Я держал на коленях план Кенигсберга. Двигаться среди руин было трудно. Потом мы вырвались в западную часть города, почти не тронутую бомбами. «Виллис» остановился у серого особняка. У подъезда, под тяжелым узорчатым железным фонарем, советский офицер-медик — потный, в расстегнутом кителе — растолковывал что-то немкам-санитаркам.

— Фон Шехт? — Медик поднял брови. — Совершенно верно, умер.

— Tot, tot, — закивали санитарки.

— Удар? — спросил я.

— Точно, точно, — подтвердил медик. — Я сам очевидец.

Одна из санитарок принесла небольшой желтый чемоданчик. Медик достал из кармана ключ.

— Документы умерших, — сказал он.

Синий сафьяновый бумажник с инициалами фон Шехта мне бросился в глаза сразу. Он словно аристократ, чванный, пузатый, раздвигал потрепанные паспорта и солдатские книжки. Вывалилось офицерское удостоверение, пропуск штаба гарнизона, два орденских свидетельства: одно — к железному кресту, другое —

к кресту с дубовым венком. На фотоснимках — узкое лицо, словно рассеченное широким, плотно сжатым ртом, вдавленные виски, высокий, без морщин лоб. Год рождения 1898-й, сообщали документы. Но ему можно было бы дать и тридцать лет, и все пятьдесят. Лицо без возраста... Вот пачка визитных карточек. «Фон Шехт» — стояло на них крупно, затейливой старинной вязью. Вспомнилась вилла «Санкт-Маурициус» — башенка, униженная гипсовыми раковинами. И еще одна подробность возникла в памяти при взгляде на карточки. На каждой, в левом верхнем углу, красовалось изображение святого с черной негритянской головой. Того самого, что стоял в подвале виллы, в нише.

— Святой Маурициус, — произнесла санитарка постарше, и остальные опять закивали.

Уголок сложенной вчетверо бумажки торчал из бумажника. Я развернул.

«К ногам могучей немецкой империи складывает покоренная Россия сокровища, накопленные царями и блиставшие в их дворцах. Немец! Посмотри на эти трофеи! Они по праву принадлежат расе господ».

Бумажка перетерлась на сгибах, потеряла глянец, — фон Шехт, очевидно, давно хранил этот рекламный листок. Как сообщалось далее, выставка вещей из дворцового убранства открыта в Орденском замке, и в числе экспонатов — Янтарная комната из Екатерининского дворца в городе Пушкине.

Вот и все содержимое бумажника. «Пожалуй, только реклама выставки и представляет интерес», — думал я, трясаясь в «виллисе». Теперь установлено по крайней мере, где показывали Янтарную комнату — предмет особых забот Кати.

— В замок! — приказал я водителю.

Орденский замок — в самом центре города. Первый раз я увидел его в день штурма. Багровое пламя вырывалось из окон угловой башни. Он стоял в клубах дыма, над пустырями, над грудями битого камня. Жилые кварталы окрест рухнули, а замок стоял. Ловкие мастера воздвигли когда-то это здание вышиной с восьмизэтажный дом. Бомбы, пожары сильно повредили его; стены местами обвалились, но он все же выдержал.

«От замка на зюйд», «Мимо замка и вправо», — так говорили тогда у нас, уточняя направление. Он виден из

далека. Но только теперь, поднимаясь по ступеням лестницы, ведущей к воротам, я почувствовал всю мощь древней твердыни. Замок словно придвинулся и навис надо мной. Угрожающе клонилась башня, мохнатая от опаленного, порванного плюща. Струйки дыма сочились из амбразуры,— внутри что-то еще горело.

От этого замка и пошел Кенигсберг. Оплот Тевтонского ордена, немецких псов-рыцарей был его началом, его сердцевинкой. Потом замок стал резиденцией прусских королей. Один из них — Фридрих-Вильгельм — принимал здесь русское посольство во главе с Петром Первым... Но это все я узнал позднее.

Холодом, извечной сыростью камня, духом гнили пахнуло на меня во дворе. Есть ли тут где-нибудь жизнь? Мы миновали арку, вошли в следующий двор. Гудит мяч,— люди в голубоватых, застиранных халатах играют в волейбол; несет йодоформом. Санчасть. Рядом, в углу, у маленькой кирпичной пристройки толчется часовая. Верно, кладовая. На двери с замком дощечка: «Мин нет». А справа, в глубине двора, они, может, еще есть,— там ходят саперы, тычут в землю свои шупы. И какой-то штатский, коротенький, в помятой зеленой шляпе, увязался за офицерами, жестикулирует, зовет.

Я подошел.

— Его зовут Моргензанг,— сказал, смеясь, лейтенант, мой ровесник.— Утренняя песня, следовательно. Он хозяин кабачка.

— Какого кабачка?

— Вот же,— лейтенант задрал голову.— кровавый суд! Придумал же!

«Blutgericht!» — блестели стальные буквы, прибитые прямо к стене.

— Тут в старину был зал суда,— продолжал лейтенант, и в голубых глазах его светилось насмешливое удивление.— И камера пыток. Давно, еще при рыцарях. Чудак же! Спрашивает, нельзя ли ему опять открыть свое заведение. Для наших офицеров. Конкурент Военторгу! — Лейтенант расхохотался, довольный своей шуткой.— Он говорит, многие высокопоставленные лица посещали кабачок. Топоры, клещи там, железные прутья развешаны, кольца, куда пленников заковывали. Все подлинное. Очень, говорит, редкий локаль. Вот, хочет продемонстрировать.

Немец подбежал к нам:

— Нет мин, господа, уверяю вас! Я же был тут. Ой, вы бы видели маскарад! Фолькштурмовцы сперва храбрились, а потом сорвали с себя мундиры и драла. В музейных костюмах! В камзолах, в плащах времен Лютера. Бог мой! А я и не подумал уходить. Зачем? Я вывесил скатерть, белую скатерть, и встретил русских здесь. Да, да, может ли капитан покинуть свой корабль? Нет, господа! Так и я!

— Порядок! Гут! — раздалось за стеной, внутри. Солдат-сапер spryгнул с подоконника к нам. Моргензанг тотчас ринулся вперед.

В кабачке все побелело от осыпавшейся штукатурки — прилавок, круглые столики, пыточное кольцо, вбитое в стену. На полу валялись бутылки с этикетками французских, греческих вин. Моргензанг носился по залу, рылся в кладовых, гремя пустой посудой, и скорбно вздыхал.

— Ах, господа офицеры, ничего нет, абсолютно ничего! Пустыня Сахара! — горевал он, вздымая руки. — Проклятые эсэсовцы! Все сожрали!

Войдя в азарт, он перечислял вина, которыми хотел бы нас угостить, токайское полувековой давности, старый рейнвейн. Прищелкивая языком, Моргензанг рассказывал, какие блюда составляли гордость его предприятия. Прежде всего — фаршированный цыпленок! Тут Моргензанг молитвенно затих.

— Объеденье! Чудо! — воскликнул он. — Цыплят я получал из Литвы, очаровательных цыплят.

Он поперхнулся и заговорил о датских сырах. Затем он перешел к отечественной кухне.

— Сырой фарш с луком вы ели? — спрашивал он. — У вас в России это не принято, кажется. Напрасно. В Германии модно! Некоторые даже требовали фарш с кровью, по древнегерманскому обычаю...

Лейтенанта это откровенно забавляло. Он был сильнее меня в немецком, то и дело принимался переводить, смеялся от души.

— Ох, потешный частник! — приговаривал он. — Гастрономическая песня. У меня уже живот подводит.

С трудом я прервал излияния Моргензанга, припер к уголку и дал ему листок с рекламой выставки. Он вытер

руки о плащ, осторожно взял листок за уголки и пошевелил белесыми бровями.

— Да, выставка была. На втором этаже, в бывших королевских покоях. Роскошно! Великолепно!

Он прибавил, что пускали туда не всех, и он, Моргензанг, ни за что бы не попал, если бы не клиенты. Они устроили ему протекцию.

Я спросил, куда делась выставка. Оказывается, в сентябре, во время налета англичан, туда угодила зажигательная бомба. Часть вещей пострадала.

— Только часть, и не самая ценная, если верить слухам. После налета вещи упаковали и стащили вниз, в подвал. Своды там знаете какие! Лучшего убежища не найти. Тевтонские рыцари, они, верно, предвидели авиацию, бомбы! Х-ха!

Накануне штурма города Моргензанг увидел во дворе замка ящики, груды ящиков. В них была отделка Янтарной комнаты — зеркала с прикрепленными к ним камнями. Как он узнал? Очень просто, ящики были помечены буквами «В» и «Z». Эсэсовцы подтвердили: да, это царская Янтарная комната. Ящики лежали прямо на асфальте, под дождем, и Моргензанг спросил себя, что же будет с царскими сокровищами дальше. Цари, вероятно, и вообразить не могли такое. Эсэсовцы успокоили его. Дождь не страшен, у ящиков двойные стенки с прокладками.

— Слава богу! Значит, все в сохранности. Сейчас ведь не делают таких изумительных вещей. Вообще все прекрасное — в прошлом. Увы, это так! Что дал нам прогресс? Бомбы! Бомбы!

— Э, да вы философ, — заметил лейтенант-сапер.

— О, да, господа! Кенигсберг — город Канта. Мне передавали, ваши военные положили цветы на могилу Канта. О, это благородно! Здесь всегда была интеллектуальная атмосфера, пока не явились нацисты. Ах, вы бы видели, что творили эсэсовцы здесь, в моем кабачке! Варвары, настоящие варвары!

— Какие эсэсовцы? — спросил я.

Имен он не знает. Да разве упомнишь всех! Кабачок обслуживал военных. Он был открыт до последнего дня, несмотря на пожары, на бомбежки. Тут Моргензанг горделиво выпятил грудь. А эти эсэсовцы были последними посетителями. Выпили, съели все самое лучшее, потом

переколотили бутылки, консервы забрали, сыр и масло облили керосином. Такой был чудесный круг сыра из Дании! И ничего не заплатили. И это наводило на размышления. Ведь жителей Кенигсберга уверяли, что город никогда не будет сдан, что Берлин посылает на выручку осажденным парашютные дивизии. Пока клиенты платили, еще можно было поверить.

— Шумели тут эсэсовцы, безобразничали и поглядывали в окна. Ждали машину. Вечером — уже стемнело — во двор вкатился грузовик с русскими пленными. С ними был обер-лейтенант, очень толстый, и переводчица. Русская фрейлейн, молодая, маленького роста.

— Катя! — вырвалось у меня.

Я стиснул плечо лейтенанта. Моргензанг начал старательно вспоминать, как выглядела русская фрейлейн. Да, синий берет, кожаная зеленоватая куртка.

— Катя! Катя!

Как только появилась машина, все эсэсовцы высыпали во двор. Моргензанг вышел. Ему любопытно было, что же происходит? Пленные погрузили ящики. Моргензанг спросил одного офицера, куда их везут, тот ответил: «Туда, где их сам дьявол не отыщет». И они уехали.

— И переводчица тоже? — спросил я.

— Да, маленькая русская фрейлейн села в кабину вместе с обер-лейтенантом.

Моргензанг заметил и волнистые белые полосы на кузове — несмытую зимнюю маскировку. И шофера запомнил. Высокий, с тонкой шеей. Он очень уважал русскую фрейлейн.

— Да, глядел на нее, как мальчик на свою мать. Забавно! Он — верзила, а она — такая миниатюрная фрейлейн. Шофер помогал грузить, — все они очень спешили; и фрейлейн волновалась, все напоминала: «Осторожно, там стекло». Боялась, как бы не разбили.

Больше Моргензанг ничего не мог сказать нам. Он проводил меня до ворот и напоследок снова выразил свое самое заветное, самое искреннее желание — открыть кабачок «Кровавый суд» для русских офицеров.

Итак, накануне штурма Катя была жива. Что же случилось с ней потом?

Найти бы кого-нибудь из тех пленных! На окраинах Кенигсберга, как грибы, разрослись бараки, обнесенные

колючей проволокой. Узников гоняли на фабрики, на оборонные работы.

Вечером Бакулин выслушал мой доклад.

— Мы на верном пути,— сказал он.— Ты прав, надо поискать среди пленных. Они еще здесь. Идет процедура учета, репатриации. Терять времени нельзя.

Минул день, другой. След Кати снова оборвался. В одном лагере ее видели,— она приехала с обер-лейтенантом; им дали группу пленных. Они не вернулись в лагерь. Это было накануне штурма.

Итак, Катя была тогда жива. Взяв пленных, «оппель» Кайуса Фойгта прибыл в замок за янтарем. Оттуда Катя уехала. С Фойгтом, с обер-лейтенантом,— возможно, Бинеманом, помощником фон Шехта.

Куда?

4

На доклад к Бакулину я являлся каждый вечер.

— Как вы-то думаете, товарищ майор? — спрашивал я его с тревогой.— Жива она? Есть надежда?

— Данных нет,— отвечал он.— Надежду не теряй, Ширяев. Составил я вчера бумагу для начальства. О ней. Знаешь, рука не поднимается написать — «пропала без вести». Ну, никак... Достанем вести! Верно?

Однажды я застал у него незнакомого полковника — краснолицего, с острой бородкой, белой как снег. Оба рассматривали что-то, скрытое от меня бронзовым письменным прибором.

— Товарищ полковник,— сказал я,— разрешите обратиться к майору?

— Ради бога, голубчик,— протянул тот.— Зачем вы спрашиваете? Обращайтесь сколько вам угодно.

Я опешил.

— В армии спрашивают,— пояснил гостю Бакулин и улыбнулся мне.— Уставное правило. Ну, что у тебя?

Штатские манеры полковника смутили меня. Я молчал.

— Познакомьтесь,— сказал майор и обернулся к гостю.— Это Ширяев. Тот самый...

Я едва устоял на ногах — с таким жаром бросился ко мне этот диковинный полковник, схватил за плечи, отпустил, снова схватил и стал трясти.

— Ширяев? Нуте-ка, дайте полюбоваться на вас. Орел! Орел! Вы наградили его, товарищ Бакулин? Эх, дали бы мне право, я бы вам высший орден... Ну, молодец! Батальон в плен взял! Глазом не моргнул!

— Остатки батальона,— поправил я, не зная, куда деться от столь неумеренных похвал.

— А я Стóрицын,— заявил он.— Стóрицын. Ударение на первом слого.

— Очень приятно,— промямлил я.

— Профессор Сторицын,— продолжал он.— И вот полковник, без году неделя. Командировали сюда, одели. Все честь отдают, а я не умею. Кланяюсь, знаете, как самый паршивый штафирка. Зрелище мерзкое. А?

— Звание присвоил министр,— веско произнес Бакулин.— Ну, что у тебя, Ширяев? Не стесняйся. Полковнику тоже интересно.

Сторицын сел. Пока я говорил, он кивал, вздыхал, и я почувствовал — история Кати Мищенко ему уже известна.

— Значит, нового ничего,— подвел итог Бакулин.— Теперь насчет дальнейшего.

Он подозвал меня, и я увидел то, что они разглядывали, когда я вошел. На столе лежал портрет. Портрет женщины в платке, написанный масляными красками на небольшом холсте, потемневший, местами в паутинке трещин. Что-то заставило меня еще раз посмотреть на него.

— Венецианов,— сказал Бакулин.— Подлинный Венецианов из Минской галереи.

Я не слышал о таком художнике.

— О дальнейшем, Ширяев. Порфирий Степанович прибыл к нам по распоряжению правительства, за музейным имуществом. Будешь ему помогать.

А как же розыск? Я испугался. Первая моя мысль была, не решил ли Бакулин снять меня с задания. Дни идут, а результатов никаких. Чего я добился? Вот сейчас он скажет, что я не справился, и дело поручат другому, а меня — под начало к этому профессору. Рыскать за спрятанными картинами, за всяким музейным добром!

— Ясно,— выдавил я.

Бакулин засмеялся.

— Что тебе ясно? Ну!

— Не сумел я... Отстраняете меня, выходит... Сожалею, товарищ майор.

— Ах так? — Он нахмурился. — Ничего ты не понял. Не разобрался ты, для чего находилась у немцев Катя Мищенко. Миссия ее тебе безразлична, а если так, то, может быть, тебя действительно следует сейчас же отстранить.

— Полноте! — всполошился Сторицын. — Такого молодца, и вдруг...

Недоставало мне его участия! Я помрачнел еще больше. Но лицо Бакулина уже потеплело.

— Отвык ты от мирной жизни, Ширяев, — начал он. — Забыл ее, что ли. Огрубел. Я до войны был следователем. Бывало, измучаешься дьявольски, вся душа, как бы выразиться, в мозолях от соприкосновения с разной слякотью. Выберешь свободный вечер — и в филармонию. Послушаешь Чайковского, и вроде вокруг тебя светлее стало. Вера в человека поднимается. Вот ты читал в газетах: гитлеровцы разорили домик Чайковского в Клину, новгородский Кремль разрушили. А ты задумывался, почему? Да ведь они русскую нацию хотели убить. Что мы такое без русской национальной культуры, без книг Пушкина, без картин Репина, Сурикова! Без Венецианова, — он показал на портрет. — Или взять Янтарную комнату. Я повторяю, впечатление незабываемое. Стены в огне. Два века назад зажгли этот янтарный огонь, костер этот, а он все горел, светил нам... Такие вещи цены не имеют, они дороже денег. Это культура наша. Она и в нас, понял?

— Bravo, bravo! — Сторицын захлопал мягкими ладонями. — Да что вы напустились на него! Понимает он, отлично понимает.

— Умом — может быть, а сердцем — еще нет. Катя Мищенко тоже Родину защищала. Не хуже нас с тобой. Так вот, надо завершать ее миссию. Искать то, что фон Шехт и прочие увезли в Германию, в Кенигсберг. Раскрыть все махинации, всю подноготную этого эйнзатцштаба. Без этого мы и о Кате вряд ли узнаем что-нибудь. Ясно тебе, Ширяев? Ясно, почему задание у тебя и у полковника, по существу, одно? Нам без него не обойтись, а ему — без нас.

Сейчас мне странно вспоминать, до чего же простые истины надо было мне втолковывать!

— Утром поедешь с полковником на высотку... На виллу фон Шехта, — закончил Бакулин. — Покажешь там все. А теперь ступай. Подумай как следует.

5

Как только мы двинулись к высотке, Сторицын начал проверять мои познания.

— Полный профан, — признался я. — Одного Айвазовского помню: «Девятый вал».

— А «Черное море»? Неужели не знаете? — изумился он. — Да ведь у нас никто, понимаете, ни один художник еще не сумел так выразить... огромность моря, силищу его... Вот Англия — остров, морская держава, а ведь и там никто не мог так... А труженик какой! Сколько картин написал! Сам он счет потерял. А когда подсчитали, уже после него, около шести тысяч получилось в итоге.

Я узнал, что Айвазовский писал не только пейзажи. У него есть и исторические картины. Славные сражения русского флота, Колумб на палубе своей каравеллы, серия картин о Пушкине...

Об Айвазовском я слушал с интересом. Потом Сторицын стал называть других художников. Жили они давным-давно, но Сторицын говорил о них, как о современниках. Так, будто он только что видел их.

— А Федотов, Федотов! Ну что за молодец, ей-богу! Служит в полку при Аракчееве, кругом рукоприкладство, муштра, а он примечает — и бац! Вот гляди, фанфарон, тупой экзекутор, какой ты есть! Полюбуйся на свой портрет! Или, скажем, «Смерть Фидельки». У барыни собачка сдохла, Фиделька. Переполох поднялся! Дворня, приживалки не знают, как и утешить барыню, носятся вокруг... И видишь эту барыню насквозь. Видишь ее самодурство, капризы, видишь, как она дворовых лупит, хоть и не показано это на рисунке. Вы, милый, можете уйму книг прочесть о крепостничестве, о николаевской эпохе, и все-таки, чтобы наглядно себе все представить, вам понадобится Федотов.

Ну, а взять Перова, Василия Григорьевича. «Суд Пугачева» тоже незнаком вам? Нет? Ну, когда увидите, поймете, сколько надо было мужества иметь — изобра-

зять так Пугачева, бунтовщика... В царское-то время! Перов народного героя написал. А «Похороны крестьянина», «Тройка»! Трое ребят везут сани, а на них тяжеленная бочка с водой. Зима, гололедица... У Перова каждая картина обвиняла, жгла угнетателей народа. И Венецианова не знаете?

— Нет, — вздохнул я, вспомнив картину в кабинете Бакулина.

— Тоже подвиг. Жизненный подвиг. Мог бы ведь вельмож писать, дворян, иметь большие деньги, а он с мольбертом — перед крепостной крестьянкой. Красоту простого человека передать стремился... И картин Шевченко не знаете?

Я пожал плечами.

Конечно, представить себе картины мне было трудно. Они, наверно, очень хорошие, думал я. И те, в подвале виллы, не хуже, должно быть. Спасла их Катя. Сторицын не говорил о ней, но я находил в его словах и похвалу Кате. Вот бы она слышала...

На холме в вилле расположились связисты. Сторицын произвел сенсацию. Держал он себя препотешно: поднося ладонь к козырьку, добродушно кивал, путал звания, одного младшего лейтенанта величал майором. Солдаты фыркали в кулак.

Мне было совсем не смешно. Хотелось поскорее оставить его одного с картинами и уехать.

Однако, когда мы распечатали дверь и вошли в низкий подвал, я помедлил. Здесь все так напоминало о Кате!

С луком в руке спешила за невидимым зверем Диана. Две поджарые борзые лизали ее голые икры. Так же пахло сыростью и красками. Я скользил лучом фонаря по ящикам. Они словно хранили секрет, касавшийся Кати...

Бойцы приволокли аккумулятор, наладили освещение, затем принялись распаковывать. Заскрипели доски. В открытом коробе сверкнул фарфор. Мы бережно вынимали позолоченные тарелки, блюда и ставили на плащ-палатку — это поистине универсальное одеяние солдата, которое может стать и жильем, и постелью, и мешком, и ковром.

— Севр! — восклицал Сторицын. — Видите марку? Изделие севрского завода во Франции. А это наше,

Императорский завод. Теперь — имени Ломоносова в Ленинграде. Золотые сетки, гирлянды, завитки, фестончики — стиль рококо. Восемнадцатый век, время Екатерины. — Он взял обеими руками миску. — Суп для ее величества. Черепашовый суп или из фазана.

Он говорил без умолку. Он прочел нам лекцию о фарфоре, изображая в лицах то слугу, подающего на стол, то царицу, то сановного гостя.

Другой короб был набит фарфоровыми трубками. Трубки с портретами царей, королей, вельмож, трубки с пейзажами, со сценками сельской жизни, трубки с видами городов... Сторицын тотчас показал, как барин курил, развалившись в кресле, держа длинный чубук. Чашечка, вмещавшая до полуфунта табака, опиралась о пол.

В третьем коробе лежали обернутые соломой бокалы с гербами и вензелями. Сторицын рассказал о петровских ассамблеях, о кубке Большого Орла, который вручали опоздавшему. Нелегко ему приходилось. Извольте-ка выпить тысячу двести граммов вина, и к тому же крепкого!

Чего он только не знал, Сторицын!

Рассказывая, он успевал делать заметки, сообщал имена мастеров, происхождение вещей. Дворец в Петергофе, дворец в Пушкине, Ораниенбаум, Павловск...

Он увлек нас. Мы работали с жаром. Нам всем стало очень радостно. Удивительные вещи, возвращенные нам, отбитые у врага!

Сторицын велел уложить все и закрыть короба. Настала очередь картин.

Айвазовский, Федотов, Перов — возникали в памяти имена, слышанные от Сторицына. Мне вдруг захотелось увидеть на картине море. «Девятый вал» тому причиной или другое что, но в детстве я мечтал о море. За сочинение о море я получил пятерку. А увидеть море довелось только год назад, в Латвии. Оно было суровое, тусклое, совсем не такое, как на очень знакомой репродукции.

С сухим треском открылся фанерный щит. Сторицын вскрикнул. Мы все с недоумением уставились на картину.

Ничего похожего на эту картину — если ее вообще можно так назвать — мне не встречалось. На сером

фоне, заляпанном бурыми пятнами, различалось нечто, напоминавшее дерево. Оно росло из земли, образовав внизу бугристый, желтовато-коричневый ствол, а дальше раскидывалось не ветвями, нет, — человеческими внутренностями.

— Фу, мерзость! — бросил один из солдат.

— Это уж не наше, — молвил Сторицын. — Ихнее. Модная манера на Западе. И возиться с такой живописью не будем. На свалку — и всё! Дальше!

На следующем холсте ничего нельзя было понять, — изломанные геометрические фигуры, плавающие не то в облаках, не то в волнах.

Да, таких картин не могло быть в наших музеях. Должно быть, фон Шехт и добыл их где-нибудь на Западе. Одно за другим возникали перед нами создания художников, наверное спятивших с ума.

Где же наши картины? Настоящие!

Их я так и не дождался. Бакулин приказал мне не задерживаться на вилле.

Час спустя я выкладывал майору новости.

— Дикая мазня, говоришь? — спросил он. — Ого, и ты сделаешься, пожалуй, знатоком в искусстве, — усмехнулся он. — Но странно! Катя не предупредила? Нет? Не все знала, возможно. А Сторицын там надолго засел? Отлично! А тебе я дам другое направление, дорогой мой Ширяев.

Я оживился.

— Побеседуешь с одним человеком. Помнишь венециановский портрет? Так вот, это он доставил нам. Художник, из пленных. Фамилия у него славянская — Крач, а по подданству бельгиец. Сперва-то он к коменданту города толкнулся, с портретом. И с какими-то данными о фон Шехте. Ну, там и без того дела по горло. Разыскал я этого художника на эвакопункте...

— Разрешите ехать? — выпалил я.

— Куда? — Бакулин поднял брови. — Он здесь, в соседней комнате.

Я чуть не выбежал из кабинета. Бакулин погрузился в бумаги, у него было немало других дел.

В приемной, где сидел Крач, было еще несколько посетителей, но его я выделил сразу. Очень крупный, рыхлый, большелобый и совсем не похожий на пленного. Балахон лагерника, лопнувший на плече, он на-

дел, видимо, недавно. У пленного не могло быть таких розовых щек, таких белых рук, явно не знакомых с физическим трудом.

— З очи в очи,— вымолвил он, и я не сразу понял его.

Он желал говорить с глазу на глаз. Я повел его во двор, к штабному автобусу, захваченному у немцев. Алоиз Крач с трудом втиснул туда свое большое, рыхлое, ослабевшее тело. Он несмело улыбнулся, опустил водянистые сонные глаза и сказал:

— Подполковник фон Шехт есть злочинец. Вы простите меня, я по-русски вельми плохо...

— Фон Шехт умер, — вставил я.

— Шкода! — Он выпрямился, сжал пухлые пальцы в кулак. — Шкода!

То, что фон Шехт избежал суда и казни, до крайности огорчило Алоиза.

Начав свою повесть, он успокоился, заговорил по-русски чище.

Родился он в Прешове. Отец — австриец, мать — словачка. Окончил русскую гимназию. В Прешовском крае давно, еще с прошлого века, стараниями просветителей-интеллигентов распространялась среди украинского и словацкого населения русская речь, русская культура.

Незадолго до войны отец умер и оставил Алоизу в наследство два обувных магазина. Но торговля не влекла его. С дипломом Венской художественной школы Алоиз бродил по свету, был в Италии, в Греции, во Франции. В Париже он женился на натурщице-бельгийке и осел в Брюсселе. Был призван в армию, угодил к немцам в плен. Долго мыкался по лагерям, потом его взял к себе подполковник фон Шехт.

Это было в 1944 году, летом. Из лагеря под Гамбург-ом Алоиза доставили в легковой машине в Берлин. Там, в районе Панков, в унылом казарменном здании, он встретился с коллегами — художниками разных национальностей, собранными из концлагерей. Им объявили, что они могут заслужить милость и благоволение великой Германии. Потом их рассортировали. Алоиз Крач и его сосед по койке датчанин Ялмар Бэрк достались фон Шехту. Он отвез их в Пруссию, на виллу «Санкт-Маурицус».

Их хорошо одели, сытно накормили, отвели просторное, светлое ателье в мансарде, дали краски, кисти. Что ж, недурно! Правда, держали их на положении узников, за ворота виллы не выпускали, но с этим Алоиз примирился. Главное — уцелеть, пережить войну! А она шла к концу, успехи Советской Армии радовали Крача, хотя ему было решительно безразлично, кто победит, какой мир получит Европа. Лишь бы мир! Алоиз Крач сторонился политики, считал себя обитателем особой сферы, далекой от земной злобы дня. «Я на планете Искусства», — говорил он о себе. Нацисты, социалисты, коммунисты, — какое дело до них художнику! Картины его были беспредметны. Другие пытались изображать в неожиданных, вывернутых ракурсах явления и формы жизни, но он — Крач — не соглашался с ними. Нет, полное освобождение от земных пут, ничего реального, разумного! Истина для художника — его собственные видения! «Левее меня нет никого», — сказал он гордо журналисту перед открытием своей выставки в Париже. Она вызвала шум. С ним спорили. «Я так вижу», — отвечал он. Особенно поражало посетителей полотно, названное «Сад».

Тут Алоиз попросил у меня карандаш и на клочке бумаги вывел три треугольника: большой — острием вверх, поменьше — острием в сторону и еще маленький, равнобедренный треугольничек.

Я засмеялся. И это — сад? Не шутит ли художник? Тут мне вспомнились нелепые картины в подвале виллы фон Шехта.

— О, у вас, в Советском Союзе, отмечают... отрицают, так? Но я видел ваше искусство. Подобно фотографии, да, да! Когда жил Рембрандт, не было фото. Нет! Теперь у нас аппараты: чик — готово. Художник должен тоже так? Нет!

Спорить я не решился, да и время не позволяло. Я спросил Алоиза, кто изобразил дерево с человеческими внутренностями вместо ветвей.

— То Ялмар. Он был немочный... больной человек. Он ничего иного не мог, — трупы, руины, руины, только руины. Я писал абстрактно.

— Это и требовал фон Шехт?

— Да. Я скажу...

В первый же день фон Шехт обошел с художниками

комнаты виллы. Она вся была забита скульптурами, картинами, дорогим музейным фарфором. На многих вещах были инвентарные номера, таблички с надписями по-русски, по-польски, по-французски. Больше всего трофеев фон Шехт добыл в России.

Затем он усадил обоих в гостиной. Слуга принес кофе и ликеры. Фон Шехт разъяснил, чего ждет Германия от Крача и Бэрка.

Ценности, находящиеся на вилле, не принадлежат фон Шехту лично. Нет! Они — достояние Германии. Это дань слабым, низшим народов немцам, нации господ. Он — фон Шехт — из патриотических побуждений превратил свою виллу в хранилище для некоторых, особо примечательных, произведений искусства и в мастерскую. Отдельные картины пострадали в военной обстановке и нуждаются в реставрации. Но это не всё.

Художникам поручается маскировка. Нет, не здания. Картин. Увы, война диктует свои законы. Ему — фон Шехту — претит самая мысль — замазывать шедевры знаменитых мастеров. К счастью, существуют краски специального состава, разработанные на предприятиях «Фарбениндустри», находка немецкого научного гения. Эти краски надежны, смыть их легко. И подлинник не потерпит никакого ущерба, — когда нужно будет, он вновь заблещет. Он возникнет подобно птице Феникс из пепла.

— Фон Шехт был образованный человек, — зло усмехнулся Крач. — Он имел в памяти античность. Греция, Рим...

Не сразу понял я, что Алоиз Крач, заблудившийся художник, обвинял не только фон Шехта, а судил еще и самого себя. Исповедовался, подводил итог прожитым годам душевного одиночества.

— Никогда я не ставил вопрос, почему фон Шехт взял к себе именно пленных...

Вначале Крач наслаждался хорошей едой, чистой постелью, теплом, ванной — благами цивилизации, которых он был так долго лишен. Да, он замазывал старые картины. Но совесть его не тревожила. Он всегда верил, что абстрактное искусство вытеснит прежнее, классическое. И вот теперь он ниспровергает «кумиры из школьных хрестоматий», «гипноз банальности», «раскрашенные фотографии».

Фон Шехт подтрунивал над Алоизом. На рынке, бросил он как-то вскользь, Рембрандт стоит в сотни тысяч раз больше, чем упражнение абстракциониста. Однако бунтарство Крача нравилось хозяину. Нет, он не имел ничего против диковинных фигур без плоти, без смысла и цели, заслонявших творения живописцев прошлого. Фон Шехт требовал даже, чтобы художники ставили свои подписи. Плоха маскировка, если нарочитость ее обнаруживается с первого взгляда. Пусть работают с азартом, пусть утверждают самих себя!

Я слушал Крача затаив дыхание. Много, когда он говорил о живописи, мне нелегко было усвоить, но я силился запечатлеть в уме каждое слово.

Так, значит, картины, распакованные там, в подвале, надо просто отмыть! Почему же Катя не сказала мне? Да, выходит, не знала. Ей, следовательно, доверяли не всё...

Алоиз продолжал.

Иногда он испытывал злорадное торжество. Да, он должен в этом сознаться! Ощущение могущества, призрачного, замкнутого пределами мансарды, но все же острого. Без сострадания расправлялся он с амурами, с французскими маркизами, утопающими в пурпуре бархата и шелках, с напомаженными генералами, с напыщенными отпрысками королевских фамилий. Но одно полотно...

Это был женский портрет. Написал его столетие назад русский художник Венецианов. Алоиз никогда не слышал о нем. И не из тех это полотно, что запоминаются с первого взгляда... Портрет напомнил Алоизу его мать. Нет, не внешним сходством, чем-то другим, что заставило задрожать руку. Быть может, славянская кровь роднила его мать с женщиной на потемневшем полотне. Рисунок сжатых губ или выражение доброго, немного печального лица, озаренного справа неярким желтоватым светом, наверное свечой.

Алоиз снял портрет с мольберта, поставил к стене, за другие картины. Загрунтовал молодого лорда-охотника с поджарым легавым псом. Неделию спустя русская крестьянка, неведомая Алоизу и в то же время странно близкая, открылась снова.

И... на этот раз он тоже не смог положить мертвящие белила на это живое лицо. Он отставил портрет. Теперь

он стоял, не загороженный ничем, постоянно на виду у Алоиза. Губы ее словно шевелились. Вот-вот заговорит! Наваждение какое-то исходило от портрета. Глядя на него, Алоиз не мог не думать о своей матери, о родном Прешове. Оживал в памяти ее голос. Бывало, Алоиз уверял себя и других, что для избранных на «планете Искусства» не имеют значения понятия «родина», «свой народ». А тут ему страстно захотелось в Словакию. Вернется ли он когда-нибудь на родину? Ведь могущество его — лишь воображаемое. На самом деле он узник, хоть не в арестантском рубище, а в костюме, и не за колючей проволокой, в бараке, а в комфортабельном загородном доме. Он пытался убедить себя, что ему дали свободу, — теперь иллюзия рассеивалась. И все это сделала с ним пожилая женщина на полотне русского мастера.

Фронт между тем приближался. Красные двигались к Одеру. Все чаще грохотали зенитки, багровело небо над городом. «У Германа, видать, нет больше самолетов», — говаривал садовник Ян, старик из онемеченного литовского племени куришей, обитающего на побережье. Германом называли в народе маршала Геринга. Фон Шехт торопил художников. А Крачу все тяжелее давалась работа. Что из того, что состав, изготовленный «Фарбениндустри», легко смывается! Наступает развязка войны, трагическая для Германии развязка, и может статься, некому будет снять камуфляж, восстановить картины. Теперь даже на амуров, на маркиз, на юных лордов не поднималась рука. Алоиза томил страх. Ему чудилось, он хоронит их навсегда. Им уже вовек не увидеть божьего дня.

— Але тен образ... Портрет я тот захранил.

Он вынул его из рамки, свернул, положил в укромное место. Фон Шехт не узнал. Когда к Кенигсбергу подступили русские, он редко показывался на вилле. Хозяйничал его помощник, обер-лейтенант Бинеман. Толстый, как Геринг. По его приказу вещи упаковали, приготовили к эвакуации. Но русские придвинулись еще ближе, виллу пришлось оставить. Там расположился немецкий батальон.

Крача и Берка поместили в лагерь для военнопленных. В особом бараке, со смертниками. Да, Алоиз и его товарищи по заключению были обречены. Они ведь имели

дело с ценностями, грузили их, закапывали. Слишком много знали эти люди, чтобы их можно было оставить в живых.

Бедняга Ялмар — тот погиб на другой же день в сквере возле Академии художеств. Там рыли котлован. Разорвался снаряд...

Алоиз сжал пальцы и замолчал.

— У фон Шехта была переводчица, украинка, — сказал я. — Катя Мищенко.

— Слечна¹ Катя!

Да, маленького роста, в зеленоватой кожаной куртке. Он видел ее всего два раза. Фон Шехт привез ее как-то осенью, показывал ей картины; она читала ему надписи. Алоиз заговорил было с ней по-русски, но фон Шехту это не понравилось, он под каким-то предлогом отослал его. Нет, Катя вряд ли знала о маскировке трофейных картин. В мансарде у художников она не была.

А вторая встреча с ней... О, она произошла при совершенно других обстоятельствах. Очень печальных. Накануне штурма Бинеман и слечна Катя приехали, как обычно, к воротам лагеря на грузовике.

— «Оппель» с белыми полосами на кузове? — спросил я.

Да, с белыми. На этот раз пленных повезли в Орденский замок за Янтарной комнатой. Алоиз слышал о ней раньше от фон Шехта, но никогда не видел. Ящики, помеченные буквами В и Z, лежали во дворе. Катя очень волновалась за эти ящики, напоминала: «Осторожно, там стекло». Янтарь ведь прикреплен к зеркалам.

«Да, все это так, — думал я. — Ту же сцену наблюдал Моргензанг, хозяин кабачка».

Когда покинули замок, начало темнеть. Катя и Бинеман сидели в кабине. Ехали долго, не меньше часа. Сбились с дороги. Алоиз слышал, как шофер открыл дверцу и окликнул прохожего: «Где улица Мольтке?» Бинеман выругал шофера. Нельзя, мол, так громко! Кто-то из эсэсовцев засмеялся и бросил: «Мертвые не болтают». У Алоиза мороз подрал по коже от этих слов.

Машина остановилась во дворе. Его с четырех сторон замыкали стены полуразрушенного нежилого дома.

¹ Слечна — барышня (чешск., словацк.).

Бинеман развернул бумагу. У него был подробный план тайников.

Вырыли котлован. Слечна Катя сказала, что ящики надо опускать туда. Только осторожно! Работали в молчании. Один пленный подмигнул Алоизу, подзывая к себе, но едва открыл рот, как получил удар прикладом. «Мертвые не болтают», — отдавалось в мозгу Алоиза. К кому это относится — понять нетрудно.

Неужели конец? Очень хотелось Алоизу заговорить со слечной Катей. Ей-то наверняка известны намерения немцев! Улучив момент, тихо поздоровался, назвал себя. Она отпрянула. Не узнала или боялась чего-то...

Через минуту она опять была рядом. Протянула руку, чтобы поддержать ящик. «Так, так. Не бросайте!» — услышал Алоиз и вдруг ощутил в кармане что-то тяжелое. Когда Бинеман отвернулся, сунул руку. Пистолет! Русская слечна дала ему оружие.

— Я стыдился, господин офицер. Вельми! Слечна, такая статечная... Храбрая, да? А я, представьте себе, даже не умею стрелять.

С винтовкой он бы еще управился. А пистолета он и не держал ни разу. Очень, очень было стыдно. Не решился Алоиз и передать оружие товарищу.

Ящики засыпали землей, битым кирпичом, всяким хламом. Мотор «оппеля» затарахтел; пленные двинулись было к машине, но эсэсовцы загородили им путь. Бинеман и Катя уехали. Алоиз больше не видел слечну Катю.

Эсэсовцы построили пленных и повели под арку, в изрытый переулок, через сад, мимо покосившихся сторожек, смутно черневших в полумраке; через поваленные проволочные заборы, по аллее, на пустырь; мимо зениток, задравших к небу свои стволы; сквозь жесткий кустарник, куда-то за черту города, в глухую темень. «Теперь конец!» — подумал Алоиз. И его — художника, творца — расстреляют вместе с остальными. Вместе с каким-нибудь мужиком, башмачником, углекопом! Ноги его слабели, он отставал. В спину больно упиралось дуло автомата.

Конечно, его убили бы. Смерть шла позади, по пятам. Если бы не русские...

На пустыре стали рваться снаряды. Русские снаряды. Советская артиллерия открыла огонь по городу. Не молчала она и днем, а сейчас залпы слились в сплошной

гул. Тот эсэсовец, который подталкивал Алоиза, залег, схватил его за балахон и потянул вниз. Алоиз вырвался. «Бежим!» — крикнул ему кто-то в самое ухо, и в тот же миг застрочил немецкий автомат. Кусты спасли его. Он наткнулся на завал из обрушившихся бетонных глыб, замер. Полоснул луч фонаря, визжа, защелкали над головой пули, посыпалась за ворот щебенка. Обозначилась щель между глыбами. Алоиз юркнул туда. Автоматы все еще беспорядочно строчили, потом все затопило оглушительным взрывом. Алоиз отдышался и побрел по узкому зигзагообразному проходу, натываясь на выступы, на торчащие концы порванной железной арматуры.

Ночь он провел в заброшенной прачечной. Утром в чьей-то квартире с выбитыми рамами нашел корку хлеба и пакет эрзац-чая из травы. Вспомнил про пистолет, выбросил, — плохо будет, если поймают с оружием. Прятался три дня, избегал людей, пока не увидел красный флаг на фабричной трубе.

Так закончил свой рассказ Алоиз Крач. Потом смело поднял на меня глаза, спросил:

— А Катя, господин офицер? Она жива? Она с вами? Я опустил глаза.

— Она жива? — повторил он. — Господин офицер, они имели цель, значит... уничтожить всех, кто знал...

— Она, наверное, жива, — ответил я. — Она должна быть жива. Мы найдем ее!

Не мог я сказать иначе.

6

Тревога за Катю после беседы с Алоизом Крачем усилилась.

«Девочка! Наивная девочка!» — твердил я про себя. Отдала свой пистолет, осталась без оружия. Понятно, пожалела обреченных, пыталась помочь, но ведь она же совсем не знала Крача. Под носом у эсэсовцев сунула ему пистолет в карман. И без всякой пользы! Стоило так рисковать из-за этого хлюпика, труса!

А между тем ей-то следовало быть крайне осторожной. Фон Шехт не все доверял ей. Маскировку картин от нее скрывали.

Фон Шехт испугался, когда она заговорила с худож-

ником. Почему? Разумеется, лишние свидетели ему нежелательны, будь то русские или немцы. Но фон Шехт мог иметь еще иные основания не доверять Кате. Она так неопытна в конспирации, что гитлеровцы дознались, кто она. Фон Шехт, Бинеман приглядывались к ней, играли, как кошка с мышью...

И опять на память пришел Кайус Фойгт, шофер. Нет, не мог я преодолеть инстинктивной, невольной враждебности к нему. Умом-то я сознавал — не все немцы фашисты. Но до сих пор для меня, фронтовика, все немцы были врагами. С какой стати я должен делать исключение для Кайуса Фойгта! Он был с ней на вилле при мне. Он получил самое наглядное доказательство связи переводчицы Мищенко с нами и не преминул выслужиться перед нацистами.

Фойгт выдал ее! Выдал!

Все это я высказал Бакулину. Он разубеждал меня. По его мнению, я сужу чересчур поспешно. Фон Шехт вряд ли разгадал ее. Нет! Не поехала бы она тогда на улицу Мольтке, к котловану. Не допустили бы Катю к тайнику. А что касается пистолета... Трудно упрекать ее. Поставим себя на ее место. Пленные закапывают ящики с ценностями. Надо запомнить место, передать нашим. Хорошо, если удастся дожить, встретить советские войска в Кенигсберге. А если нет? Кто укажет место? Пленных собираются расстрелять. Не попытаться ли спасти хоть одного? Авось он отобьется, убежит!

— Иной раз без оружия лучше,— сказал майор.— Риска меньше.

Трезвая логика Бакулина обычно покоряла меня. Но сейчас мне чудилось что-то нарочитое в его тоне. Не взялся ли утешать меня?

— Риска меньше? — отозвался я.— Значит, ей, грозила опасность. Не отрицаете?

Нет, этого он не отрицал. Крач прав: тех, кто зарывал, прятал награбленные ценности, гитлеровцы уничтожали; пленных и даже своих солдат. Факты установлены. Но похоже, Катя была очень уверена в себе. Очень!

Это «очень» несколько ободрило меня. Надежда была нужна мне, как воздух, как хлеб. И снова, в который уж раз, я говорил себе, что отчаиваться рано, что в Кенигсберге мы недавно; что Катя, может быть, ранена,

находится где-нибудь у местных жителей, у друзей и почему-либо не может дать знать о себе. Или ведет поиск, сложный, тайный поиск, и нельзя ей открыть себя. Не пришло еще время!

Бакулин между тем обдумывал вслух показания Крача.

— Для нас он находка. Ах какой урок ему жизнь дала! Замечательно! Мы же из его рук Янтарную комнату получим. Удача, Ширяев, большая удача. Что с тобой?

Наверное, я побледнел. «На свалку»,— вдруг вспомнились мне слова Сторицына.

— Товарищ майор,— пролепетал я.— Он же ничего не знает там... Он...

— Кто?

— Сторицын. Он выкинуть хотел картины...

— Что же ты молчал? Эх, голова!— Он подвинул мне полевой телефон.— Вызывай «Напильник», потом «Яхонт» проси...

Связисты на вилле не числились в нашей армии. Они прибыли из резерва главного командования, и дозвониться до них было мучительно трудно.

Я бросил трубку.

— Тише! — улыбнулся Бакулин.— Поезжай-ка, это всего вернее. Вряд ли там выбросили картины, но...

«Что, если выбросили!» — волновался я. Накрапывал дождь. Мне представились картины, валяющиеся на свалке, мокнувшие, испорченные.

Всю дорогу я торопил водителя. У моста через канал, как назло, сгустилась пробка. За городом, на перекрестке, пропускали колонну машин с лодками и бронетранспортеры, набитые моряками-десантниками. Часа два отняла эта поездка.

Не чуя под собой ног я влетел в подвал к Сторицыну и остановился, почти ослепленный.

Помещение сверкало огнями, как станция метро. Связисты подтянули десяток лампочек разных калибров и вдобавок повесили огромный, больничного типа, рефлектор. Сторицын буквально царил здесь. Вокруг него сустились солдаты, что-то сколачивали, что-то подавали. Сторицын сидел в знакомом резном кресле. Рядом, на полу, раскрытый чемоданчик профессора с «колдовскими снадобьями», как он говорил мне, смеясь, утром. Перед ним на столе — одно из творений Алоиза Крача, зубча-

тые, паукообразные трещины разбегались по тусклым, смещенным поверхностям. В углу полотна белеет прижатый стеклом квадратик материи.

Вот солдат по знаку профессора сдвинул стекло, остальные настороженно загудели. Сторицын поднял материю кончиками пальцев — и словно свет дня прорезал сумрак. Открылась яркая голубизна солнечного летнего неба!

Секунду я глядел как замороженный в это внезапно открывшееся оконце, которое только что закрывал кусок фланели. Солдаты умолкли. Потом я заметил рядом с профессором, на табуретке, открытый чемоданчик, а в нем склянки, сталь инструментов.

— Ну что, орел? — Сторицын откинулся в кресле и потер глаза, как будто и его поразила эта яркая, чистая, освобожденная голубизна.

Мне нечего было сказать.

Так вот какие «колдовские снадобья» хранились в его чемоданчике! Значит, он предвидел!

Сторицын взял свежий квадратик фланели, смочил бесцветной жидкостью из пузырька и опустил на самую середину полотна. Солдат, истово помогавший ему, отрезал ножницами еще лоскут, еще... Теперь компрессы легли цепочкой через все полотно, по диагонали.

Что же скрыто под маскировкой? Все затаили дыхание, когда Сторицын взглянул на часы и торжественно, словно священнодействуя, начал снимать компрессы. В одном окошечке — листва дерева, серебрящаяся на ветру. В другом — большеухая голова ягненка. В третьем — зелень травы, желтоватый цветок с четырьмя лепестками вразлет.

— Пейзаж французской школы, — сказал Сторицын. — Автор пока неизвестен. — Он улыбнулся, окинув взглядом свою притихшую аудиторию. — Верхний слой недавний, сходит легко. На редкость легко. Верно, специальный состав какой-нибудь. В прежние времена контрабандисты тоже вот так замазывали картины.

И опять посыпались из него разные истории. Вспомнил живопись древнерусского художника Рублева: ее восстанавливали, преодолевая пять-шесть слоев краски. Тут не злой умысел, — старания иконописцев, которые силились обновить, омолодить творение славного мастера. Делали это часто неумело...

— Товарищ полковник,— проговорил я, когда он умолк, чтобы отдышаться.— Это все,— я показал на картины,— только начало. Мы и Янтарную комнату добудем.

И я рассказал ему про Алоиза Крача. Сторицын просял.

— Да вы счастливый! — Он стиснул мои руки.— Браво! Везет мне с вами. Ну, с Янтарной подождем несколько деньков, все равно сейчас с транспортом сложно... Спасибо вам, спасибо, милый.— Он обнял меня, затем обернулся к солдатам.— Янтарная комната, друзья, находилась в Пушкине, под Ленинградом...

Он говорил, а передо мной, как на экране, пронеслась история Янтарной комнаты. Оказывается, янтари для нее были собраны давным-давно, на берегу Балтийского моря, литовцами и латышами. Не для себя, для ливонских псов-рыцарей, владевших Прибалтикой. Янтарь высоко ценился. Это древняя застывшая смола, наследство дремучих субтропических лесов, росших здесь десятки миллионов лет назад. Янтарь называли «солнечным камнем», «морским золотом».

Прусский король Фридрих I, взбалмошный, тщеславный, мечтавший состязаться в роскоши с королем Франции, любил все французское. К себе в Потсдам он выдвинул мастера — Готфрида Туссо — и поручил сделать для дворца янтарный кабинет.

Несколько лет трудился Туссо. Руководил работой видный немецкий архитектор Шлюттер. В 1709 году они закончили кабинет — пятьдесят пять квадратных метров мозаичных панно. Серебряная фольга, подложенная под камни, усиливала их блеск. Панно укрепили, но, видимо, не рассчитали тяжести. Они обрушились. Король так разгневался, что велел запереть мастера Туссо в тюрьму, а Шлюттера выслал из Пруссии.

В 1716 году в Пруссию прибыло русское посольство во главе с императором Петром. Фридрих принял русских с большими почестями. Еще бы! Ведь Россия разгромила шведов, давних врагов Пруссии. И вот Фридрих показывает Петру свой дворец. Янтарного кабинета уже нет, он сложен в ящики. Фридрих может только привести гостя в комнату, где были панно, но надо же похвастаться! Петр заинтересовался. Создателя кунсткамеры занимали всяческие редкости. И тут Фридрих совершил

поступок, который до сих пор историки как следует не разгадали.

Он подарил янтари Петру.

Дело в том, что Фридрих был страшно скуп. Он никому не делал таких дорогих подарков. Значит, Петр очаровал его, или... По некоторым данным можно предполагать, что у Фридриха из-за кабинета были неприятности. Он слишком погорячился со Шлюттером, с Туссо. Кроме них, некому было восстановить кабинет. Да и средств не хватало в казне...

В Санкт-Петербург кабинет был доставлен в 1717 году, на подводах. Но Петр не собрался установить его во дворце. Надо же было отыскать мастеров! Погруженный в государственные заботы, Петр как будто забыл о прусском подарке. Вспомнила о нем много лет спустя императрица Елизавета.

Вот шагают по дороге из Петербурга гвардейцы, шагают, обливаясь потом, стиснув зубы от боли в затекших руках. У каждого — зеркало с янтарной мозаикой. Дорога булыжная, с колдобинами — не то что нынешнее шоссе, — и в телеге сокровище не довезти. До Царского Села двадцать пять верст. Там, во дворце, отведено помещение для Янтарного кабинета. Оно больше прежней комнаты, в Потсдаме. Как же быть? Янтарей не хватит! Но у зодчего Растрелли, направляющего перестройку дворца, уже есть проект Янтарной комнаты. Не только янтари будут украшать ее, но и зеркальные пилястры, мозаика из уральских камней, живопись на потолке. Великолепный замысел! У Растрелли хорошие помощники, русские умельцы Иван Копылов, Василий Кириков, Иван Богачев.

Разумеется, я не мог запомнить тогда все факты, все имена в рассказе Сторицына. Эти строки я пишу сейчас, порывшись в библиотеке. Но вот что засело в памяти: Янтарная комната — это наше русское достояние! И какое прекрасное! Кабинет прусского короля послужил только материалом для гениального Растрелли, — он создал совершенно новое произведение искусства.

Сторицын словно ввел нас в Янтарную комнату. Некоторые солдаты жмурились, до того выразительно описывал профессор блеск янтарей, их медовый огонь в сочетании с холодным сверканием зеркал, с сочными красками уральских камней...

Дослушав Сторицына, я уехал. Профессор решил остаться у связистов на два-три дня, проверить еще несколько картин и затем отправить все собрание полотен в Москву, для полной реставрации.

Я спешил в город. Поиск продолжался.

7

За северной окраиной Кенигсберга простиралось гладкое поле, кое-где поросшее можжевельником. Туда свезли захваченные у гитлеровцев автомашины.

Отсвечивая на солнце, длинными рядами стояли грузовики: «оппель» и «даймлер-бенц», верткие легковые «бе-эм-ве» мышиного или синеватого цвета, машины французских, итальянских марок, машины-радиостанции и машины-рестораны, автобусы. Тысячи автомашин. Они колесили по дорогам многих стран Европы, возили на себе надменных завоевателей. И вот отъездились, кончили свою службу в гитлеровском вермахте, встали на мертво, упершись в ограду кладбища. Символическое зрелище!

У входа в караульню я застал черноволосого офицера, яростно чистившего пуговицы.

— Вы до старшины Лыткина дойдите, он у нас голова,— посоветовал он.

Тропинка вилась по берегу ручья к домику, который был когда-то, вероятно, целиком каменным. Снарядом снесло верх, зданьице надстроили досками, фанерой, листами железа. К домику примыкает загородка, составленная из всякого лома: тут и доски от кузова, дверца кабины, пружинный матрац и нечто вроде парниковой крышки. Там кудахчут куры, белесый, наголо обритый человек швыряет им зерно.

— Приблудные,— сказал он мне.— Зачахли без хозяина, бедняги. Слушаю вас.

«Оппель» с бедыми разводами тут не один. Номер записан, как же! Однако проще всего прогуляться по автопарку.

Курочка взлетела ему на плечо; он погладил ее, сбросил, и мы пошли.

— Ох, драндулет! — восклицал старшина.— Может, сам Гитлер катался! А эта таратайка? Вон колеса покорябаны! На мину наехала.

Их немало тут — раненых машин, наскочивших на мину, побитых осколками, продырявленных пулей партизана. Эмблемы на бортах — слоны, носороги, змеи, волки — напоминали о разгромленных немецких дивизиях. Лыткин развеселился; он посмеивался, постукивал палкой по радиаторам, по стеклам, сыпал прибаутками.

— Система Монти, день работает — два в ремонте. Хлипкие эти «бе-эм-вейки» последних выпусков, нитками сшиты. А эта! Бывшая роскошь. Марка «мерседес», а точнее — «Гитлер капут!». Поди, генералов возил, не ниже. Да-а-а, пропадай моя телега, все четыре колеса! Вон американец! Хау ду ю ду! В немецком плену побывал, никак...

Действительно, среди малолитражек высился громадный крытый «студебеккер». Немного подальше подъемный кран на колесах опустил свой журавлиный клюв над кузовом грузовика. Волнистые разводья...

Я бросился вперед. Да, сомнений нет, — «оппель»! Номер, пунктир пробойн на заднем борту... Я провел по ним рукой; крохотные лучинки впивались в кожу. Тот самый «оппель»! Он словно ждал меня здесь!

Меня отнесло в прошлое, в тот вечер, когда я провожал Катю за передний край. Так же подалась рукоятка дверцы, так же щелкнула... И матерчатая куколка в красных штанах, в клоунском колпачке была знакома мне. Ее, верно, повесил Кайус Фойгт, — на счастье, как принято у немцев.

Пустая кабина дохнула холодком, запахами кожи и машинного масла.

— «Оппель» грузовой у них — не ахти что, — тараторил Лыткин. — Вот «оппель-капитан», легковушка, — другой коленкор. Картинка!

Я не слушал его. Я смотрел на бурые пятна, расплывшиеся на темной обивке: одно — на спинке, другое — на сиденье. Потом я разглядел еще пятна — на резиновом рубчатом коврикe, у рычагов.

Скованный ощущением невзгоды, я не двигался. Я не мог оторвать взгляда от этих пятен. Кровь! Я слишком часто видел ее, чтобы ошибиться.

— Нашлась машина?

Солнце било старшине в лицо, он шурился, сетка морщин дрожала у висков.

— Откуда здесь кровь? — спросил я.

— Немец тут лежал,— ответил он.— Мертвый. Его кто-то тесаком, говорят...

Морщинки застыли, улыбка на миг сползла с его лица. Должно быть, мой вид встревожил его.

— Кто вам сказал?

— Хлопцы.— Он попытался обрести прежний тон.— Хлопцы, которые машину на буксир зацепили. Говорят, здорового фрица из кабины выбросили, пудов на семь. Обер-лейтенанта... Хлопцы едва грыжу не заработали...

Я прервал его болтовню. Какие хлопцы, какой части?

Лыткин покрутил головой. Мало ли войск проходило тогда! Немцы только что сдали город. Кое-где еще постреливали. Пожары, взрывы, как в котле все кипело. Хлопцы хотели себе взять машину, а старшина с командой собирал брошенную автотехнику и наткнулся на них.

— Отдай, не грехи, значит. Не положено! «Опель» не старый еще, поедит. Кровью запачкан только. Не красиво. Я велел моему фрицу подобрать...

Какому фрицу?

Меня интересовало все, каждая подробность, касающаяся этой машины.

— Каин,— старшина засмеялся.— По-ихнему Кайус, а по-нашему-то Каин. Каин Авеля убил.

— А фамилия?

— Да как его... фамилия, фамилия... — Он почесал темя. — Запомню. Пройдете ко мне, записано ведь где-то... А вам зачем?

Последние слова он произнес после паузы, тихо и не очень решительно.

— Я из разведки,— сказал я.

Из разведки,— значит задание специальное, секретное. Это он понимал. Любопытство разбирало его; он притворился, стал меньше говорить, но больше ни о чем не спрашивал меня.

Я шагнул, взволнованный догадками, нетерпением. Кто убитый обер-лейтенант? Бинеман? Да, толстяк Бинеман! Он и Фойгт были с Катей накануне штурма. Странно, что немец, работающий здесь, в автопарке, тоже Кайус. Совпадение, конечно. Зачем я спросил его фамилию? Наверняка она ничего не скажет мне.

Кто же убил Бинемана? Катя не могла бы ударить тесаком. Шофер Кайус? Одно ясно — была схватка...

Домик старшины, внешне такой жалкий, внутри поразил меня чистотой и уютом. Тикали ходики с кукушкой. Широкая белоснежная скатерть покрывала маленький столик; углы ее с шуршащей накрахмаленной бахромой свешивались до самого пола. За окном кудахтали куры, и казалось, глянешь туда и увидишь мирную сельскую улицу, «порядок» крепких, смолистых, бревенчатых изб.

Лыткин зашел за занавеску, вынес планшетку, высыпал из нее на стол бумаги, письма.

— Он здешний, фриц,— приговаривал он, развертывая мятый лоскуток.— Вот адрес. Предместье Розенштадт, Шведенштрассе, то есть Шведская улица, восемнадцать, Кайус Фойгт.

— Фойгт!

Я, должно быть, вскрикнул. Лыткин испуганно уставился на меня. Невероятно! Кайус Фойгт здесь! Вот уж кого я меньше всего ожидал встретить! Кайус Фойгт! Неужели тот самый?! Не веря глазам, я схватил лоскуток и перечитал.

— Старшина! — выговорил я.— Он мне нужен. Немедленно.

«Он же шофер «оппеля»,— чуть не прибавил я.— Того «оппеля». Он должен знать все: о Кате, об убитом Бинемане,— словом,— все!» Но я сдержался.

— Извините,— сказал Лыткин.— Он дома сегодня.

Последние дни на автобазе проверяли инвентарь. Готовили отчет для начальства, днем и ночью корпели. Кайус Фойгт — прилежный, аккуратный немец, он вполне заслужил отдых.

Что ж, не беда. Пожалуй, там, в Розенштадте, еще удобнее будет беседовать с ним.

— Уезжаете? — протянул старшина огорченно.— Покушали бы сперва. А? Товарищ лейтенант, я мигом вам... Разносолов нет, однако яичницу,— шнель фертиг. И стопочку. А?

— Спасибо,— сказал я.— В другой раз, непременно.

Я долго тряс его руку, преисполненный благодарности и симпатии к толковому и радушному старшине.

Нет, я не мог терять и секунды.

«Кайус Фойгт, Кайус Фойгт»,— стучало в мозг, пока я бежал к «виллису». Водитель дал газ; прохладный ветер освежил меня. «Однофамилец, тезка»,— сказал я

себе. Я не решался верить удаче и все-таки радовался, торопил водителя.

Городом роз это предместье называли, по-видимому, в насмешку. Ветер с моря свободно гулял по унылым улицам поселка, кое-где шевелил дырявые рыбацьи сети, развешанные для просушки. Ни клумбы, ни деревца. Низенькие, с черными толевыми крышами домики жалась к огромному десятиэтажному фабричному корпусу, словно искали защиты от непогоды. Трубы фабрики не дымили, в проломах молчали станки.

У заколоченной пивной крутил шарманку старик в шинели с чужого плеча. Я спросил дорогу. Он пожевал губами.

— Вам кого там?

Я сказал.

— Фрау Лизе вы застанете.— Старик повернул рукоятку, потом вздохнул.— Несчастная Лизе. У нее было пятеро детей, самая большая семья в Розенштадте. Бог мой, все пошло прахом. Подождите, господин офицер.

Шарманка скрипнула и вдруг лихо, в ритме кадрили, затянула песню о Стеньке Разине. Старик бешено крутил ручку, подмигивая мне, и притопывал.

По Шведской улице мы доехали до набережной Прегеля, еще студеного, брызгавшего штормовой пеной. Ветер дул с моря, навстречу реке. Низко, у самых окон дома Фойгтов, кружились, пищали чайки. Балтика много лет обдавала этот дом ветрами, дышала сыростью, свела с него все краски. Даже черепица на крыше, когда-то красная, стала желтоватой. Я позвонил; мне открыла пожилая женщина.

— Кайус сейчас будет,— сказала она, вытирая о передник жилистые руки.— Посидите.

Медленной, усталой походкой она прошла через кухню, открыла дверь в столовую.

Я сел. Со стены глядел на меня, улыбаясь, бородатый мужчина в сапогах выше колен, в кожаной фуражке. Что-то знакомое было в этой фуражке с витым ремешком, торчавшим вперед козырьком, острым, как лезвие. Моряк опирался грудью о штурвальное колесо. «Должно быть, муж фрау Лизе»,— подумал я.

Я подумал еще, что в свой дом он, верно, входил согнувшись,— так тут тесно. Однако хозяева, рассчитав каждый дюйм, поместили здесь все самое нужное, без

чего не обходится немецкая семья. Между буфетом и поставцом с посудой втиснулась ножная швейная машина под кисейным покрывалом. На кухне — неизменная шеренга баночек на полке с надписями: «мука», «сахар», «соль», «тмин».

И конечно — таблички с афоризмами. Опрятные, в черных рамочках под стеклом. Узорчатые строки готического письма напоминают о том, что утренние часы самые лучшие, — грех залеживаться в постели, что бережливость — мать богатства. Таблички советуют есть побольше капусты — это полезно для здоровья. Ни с кем не ссориться, никому не завидовать.

Вошла фрау Лизе с мокрой тряпкой, обтерла буфет, таблички.

— Кай уехал ловить рыбу, — сказала она. — Он должен сейчас вернуться.

Как тянуло меня расспросить ее о сыне! «Нет, не надо спешить», — приказал я себе.

— Раньше мы все были рыбаками, — молвила фрау Лизе. — Мой Курт тоже, — она показала на портрет. — Потом построили верфь. Розенштадт стал рабочим поселком. А сейчас все замерло, работы нет, люди вытаскивают старые снасти...

Рассказывала она без выражения, безучастно. И голос у нее был усталый, глухой.

— У вас была большая семья?

— Да. — Она не удивилась, не спросила, откуда мне это известно.

Два сына погибли на фронте. Один в Греции, другой в России. Моника, дочь, служила в ателье мод. В здание попала английская бомба, все разнесла. Остались два мальчика — Кай и Венцель. Венцеля, пожалуй, и считать нечего — не человек он.

Фрау Лизе подошла к двери, толкнула ее, поманила меня пальцем.

Я увидел обои в голубых цветочках, неприбранную койку. Над ней нагнулся плечистый, всклокоченный юноша. Он не заметил нас. Руки его, большие, с длинными белыми пальцами, были в непрерывном, судорожном движении. На койке лежал ранец. Венцель укладывал в него вещи — мыльницу, зубную щетку, носовые платки, пачки сигарет. Потом он пробормотал что-то, опрокинул ранец и высыпал все на одеяло.

— Теперь опять будет укладывать,— произнесла фрау Лизе с какой-то тупой отрешенностью.

Она закрыла дверь.

В прошлом году весной Венцель приехал в отпуск. Вначале был весел, всем сообщал, как ему повезло,— рота попала под огонь «катюши», уцелело только шесть человек. Только об этом и говорил.

— А в последний день побывки стал надевать форму и... это и случилось. Ему кажется, он что-то забыл или потерял...

— Война кончается,— сказал я.

— Его трудно вылечить. Врач сказал, «катюши» ударили внезапно. И Венцель впервые столкнулся с ними, в том-то и дело. Да, в том-то все дело,— повторила фрау Лизе.— Это сильно действует на психику. Вот как повезло ему.

«Скоро мир,— подумал я.— Разрушенный город оживет, задымят заводы, а бедняга Венцель будет вот так каждый день собираться на фронт».

— Ваш Гитлер виноват,— сказал я со злостью.— Ему поклонитесь за это.

— Мы-то не звали Гитлера,— ответила она.— Партийным бонзам, которые отсиживались в тылу, тем он нравился.— Голос фрау Лизе стал громче.— А мы простые рабочие. Честные рабочие. Мой Курт был с Тельманом.

Теперь я понял, почему такой знакомой показалась мне фуражка Курта — кожаная, угловатая, с витым ремешком. Тельман носил такую же!

Фрау Лизе вышла за водой. За окном пищали чайки, их тени носились по комнате.

Еще битый час сидел я в ожидании Кая, томимый нетерпением. Я хоть и решил не задавать вопросов, они все сами соскальзывали с языка, и я кое-что узнал о Кая. Ему двадцать пять лет. Шел по стопам отца,— плавал матросом на портовом буксире. Если бы не война, был бы теперь, наверно, рулевым. Увлекался радио, строил приемники. Слушал передачи из Москвы, вместе с отцом. В армии Кай служил шофером. Да, шофером на грузовике.

Слыхала ли фрау Лизе о фон Шехте? Нет. Может быть, Кай и называл его, она плохо помнит имена. Не-ладно с памятью.

«Он или не он? — гадал я. — Неужели тот самый Кайус Фойгт!» Я все еще не верил удаче. И, однако, я не очень удивился, когда передо мной выросла долговязая фигура в зеленом солдатском кителе. Он, он, и собственной персоной! Кай опустил корзину с уловом, выпрямился, едва не ударившись головой о притолоку, и узнал меня.

— Господин лейтенант! — воскликнул он, и лицо его осветилось радостью.

Разглядывая его, я чувствовал себя избранником Случая, счастливого Случая, сведшего меня со старшиной Лыткиным и теперь — с Кайусом Фойгтом, шофером «оппеля». Но я ошибся. Фойгт вовсе не случайно оказался под началом старшины на базе трофейных автомашин.

8

Когда ящики с янтарем, опущенные в котлован, засыпали, а землю заровняли, обер-лейтенант Бинеман поставил на своем плане синим карандашом птичку.

Пленных увели. Бинеман и Катя сели в кабину «оппеля» рядом с Каем. Стрелка бензоуказателя угрожающе кренилась. Машина пошла на заправку.

Бинеман сперва жадно курил, потом обратился к фрейлейн.

— Ловко вы ускользнули от красных, Кэтхен, — сказал он. — Судя по пробоинам в кузове, вас расстреливали чуть ли не в упор.

Кай насторожился. Не заподозрил ли Бинеман правду? Тогда беда! Но нет, слава богу! Обер-лейтенант говорил как будто без всякой задней мысли. И, пожалуй, он был даже особенно вежлив с фрейлейн. «Кэтхен», — повторял он.

Бинеман давно был равнодушен к фрейлейн Катарине, и он — Кайус — к этому привык. Фрейлейн, — о, она умно играла свою роль! Бинеману она давала понять, что подполковник фон Шехт ухаживает за ней. И так она держала на расстоянии обоих. О, советские — удивительная нация! Сколько находчивости! Какая смелость у молоденькой девушки!

— Воображаю, как вы перепугались тогда, Кэтхен, — разглагольствовал Бинеман. — Вряд ли вы мечтаете о свидании с соотечественниками, ха-ха!

Фрейлейн ответила что-то ему в тон. Обер-лейтенант придвинулся к ней.

— Вы беспечны, Кэтхен. На вашем месте я бы не задержался в Кенигсберге. Да, да, уж принял бы меры. Хорошенькая девушка всего может добиться. Вы же видите, Кэтхен, как складываются дела. Русские не сегодня-завтра будут здесь.

Кайус опять наострил уши. Явно неспроста завел Бинеман такую речь.

Фрейлейн Катарина вскинула на него глаза,— о, она поразительно умела это делать. Получалось совершенно по-детски.

— Я бы сию же минуту,— вздохнула она.— Но как? Из Кенигсберга и кошка не выскочит.

Бинеман засмеялся. Он как-то очень противно засмеялся, и Фойгт охотно заехал бы ему в жирную физиономию. Обер-лейтенант смеялся нагло, победоносно, выпятив живот, словно вот сейчас он скажет что-то такое, что покорит русскую фрейлейн и даст ему власть над ней.

— Кэтхен,— выдохнул Бинеман и взял ее руку.— Если вы доверитесь мне, я вам гарантирую...

— Что? — спросила она.

— Спасение. Сегодня же. Медлить нельзя, Кэтхен. Соглашайтесь.

При этом он мял ее руку, дышал ей в лицо. Он стал упрашивать фрейлейн Катарину бежать с ним, поселиться на Западе, там, где сейчас американцы и англичане. Каков! Он снял золотое кольцо и начал надевать ей, но куда там! Два таких пальчика, как у фрейлейн Катарина, могли войти в кольцо.

Но фрейлейн даже не улыбнулась, она кусала губы. Понятно, положение ее было не из легких. Просто взять да и отвергнуть план побега она не могла. Ей следовало вести свою роль до конца.

Наконец она освободила руку и сказала, что не верит Бинеману. Бежать невысказанно.

— Вы не знаете, Кэтхен.— Он ударил себя кулаком в грудь.— О, вы ничего не знаете! Невысказанно для воинской части, да, верно. Ее увидят с воздуха. Но два человека! Путь есть, клянусь вам!

И Бинеман стал объяснять. Кайус, слушая его, поглядывал на фрейлейн и почесал ухо, что означало на

языке жестов, выработанном ими,— «весьма сомнительно». Бинеман расписывал подземелья Кенигсберга. Правда, о них известно любому ребенку. В любом путеводителе можно прочесть, что еще в средние века подземные ходы соединяли Орденский замок с внешними укреплениями. Впоследствии сеть туннелей расширилась. Под городом возникли заводы вооружения, склады, квартиры. Есть постройки, уходящие в глубину на шесть-семь этажей. Но чтобы можно было подземными коридорами выбраться за черту города,— нет, об этом Кайус неслыхал!

— Мы и Фойгта захватим.— И Бинеман фамильярно хлопнул Кая по колену.— Фойгт хороший парень, он пригодится нам.

Затем Бинеман понизил голос. Кайус выключил мотор; машина катилась некоторое время по инерции, но все равно он разобрать ничего не смог, так как Бинеман перешел на шепот.

Фрейлейн Катарина вдруг свела брови. Обер-лейтенант, по-видимому, сообщил нечто важное для нее.

— Вы уверены? — спросила она резко.

— Клянусь вам,— повторил Бинеман и снова зашептал.

Проклятье! Не уловить ни звука!

Весь остаток дороги до заправочной они беседовали шепотом, и до Кайуса долетали только отдельные слова. Раза два упоминался фон Шехт. Бинеман бранил фон Шехта. «Жулик», «обманщик» — вот выражения, слетавшие с уст обер-лейтенанта, и относились они, насколько Кайус мог догадаться, к покойному начальнику. Похоже, Бинеман проведal о каком-то преступлении фон Шехта.

Когда накачивали бензин, Бинеман взял фрейлейн за локоть. Щеки его пошли пятнами. Теперь он не шептал, но Кайус в это время стоял у колонки, слишком далеко. Потом Кайус вернулся на свое место, к рулю, как раз в тот момент, когда фрейлейн сказала обер-лейтенанту:

— Я согласна.

И руки не отняла...

Кайус Фойгт едва не лопнул от любопытства. Что же затеяла фрейлейн? Бинеман повеселел, иногда покровительственно трепал фрейлейн по плечу, и Фойгту сделалось страшно за нее.

Он выкатил «оппель» за ворота. Бинеман велел ехать на квартиру фон Шехта, и Кай переспросил:

— Куда?

Подполковник держал две квартиры в городе и, кроме того, холостяцкую комнату.

— На Кайзер-аллее,— сказал Бинеман.

Дом на Кайзер-аллее был известен Фойгту давно. В нем была кондитерская «Любимый марципан». По воскресеньям отец водил Кая в зоологический сад; они шли по Кайзер-аллее, и Кай получал марципан. Рядом с кондитерской свешивалась вывеска, очень занимавшая Кая. На длинной жестяной хоругви намалеван сказочный старик, темнокожий, с курчавой бородой и со шпагой, в золотом одеянии. «Клуб Черноголовых» — гласила надпись. Собственно, клуб помещался в соседнем доме, очень старом, узком, словно сплюсненном между двумя большими зданиями. Кай спросил отца, кто такие Черноголовые. «Гнездо фашистов», — ответил отец. Гитлер тогда шел к власти; в клубе, как узнал Кай впоследствии, вооружались погромщики. Туда затаскивали честных людей, противившихся фашистской чуме, мучили их.

Еще в ту пору во главе клуба стоял Теодор фон Шехт. Он и жилье себе устроил в том же здании.

Фойгт остановил машину у подъезда. Катя и Бинеман сошли. Обер-лейтенант велел Кайусу ждать, и фрейлейн кивком подтвердила приказ. Такая досада! Фойгт беспокоился. Его тянуло пробраться следом, подслушать, а в случае нужды помочь фрейлейн.

Прошло минут двадцать. Кайус притопывал в кабине, чтобы согреться. Тревога его все росла. И вдруг...

Фронт загрохотал. Только что была глубочайшая тишина, казалось, война уснула и не пробудится долго-долго. И Кай уже успел привыкнуть к тишине. Может быть, поэтому ожившая канонада прозвучала так грозно. Но нет, ярость ее была и впрямь необычной. Русские явно пустили в ход все свои батареи, выстрелы слились в сплошной воющий гул. И «катюши» проснулись. Они то и дело вставляли в гомон орудий свое слово...

Начался штурм.

Где-то близко, за домами, взлетали бурные дымки разрывов. Что же не идут? Кайус уже собрался пойти на розыски, как вдруг из подъезда выбежал Бинеман. Да, именно выбежал. Без фуражки, задыхающийся,

В это время было совсем светло, и Фойгт увидел блестящий от пота лоб Бинемана, его блуждающие, злые глаза.

— Где фрейлейн? — спросил Фойгт, он сразу заподозрил недоброе.

Бинеман не ответил. Он рывком открыл дверцу, и его огромное тело вдавилось в сиденье. Правой рукой, скрытой от Кайуса, он шарил где-то. Чувства Фойгта обострились, он понял: Бинеман додает пистолет. Инстинктивно Кайус схватился за тесак. В ту же секунду в глаза блеснула сталь пистолета. Фойгт изловчился, сжал левой рукой запястье обер-лейтенанта, отвел, а правой выхватил тесак и ударил...

Солдат убил своего офицера. Немецкий солдат! Кай перестал даже слышать канонаду — так поразило его то, что произошло. Он ненавидел нацистов, он дружил с русской фрейлейн, но он никогда не думал, что сможет применить оружие против другого немца. Да еще офицера!

Несколько минут Кай стоял у кабины, возле мертвого Бинемана, в полнейшем смятении. Что же теперь будет? Надо бежать! Немедленно бежать!

А фрейлейн? Кай бросился в ворота, пересек пустынный двор, поднялся на третий этаж. Дверь была распахнута настежь. Никого! Кай обошел все комнаты, осмотрел все закоулки. Пусто! Похоже, и не было тут людей сейчас. Ни один стул не сдвинут, на всем слой пыли. В камине давно остывшая зола. Кай в отчаянии бродил по квартире, звал фрейлейн. В холодных, запущенных комнатах звенело эхо.

Что же с фрейлейн? Кай отправился к машине, потом вернулся в квартиру. Он решил ждать фрейлейн. Отсиживаться здесь, прятаться от своих — и ждать, сколько бы ни пришлось.

Канонада между тем приблизилась. Днем она утихла и точно разломилась, в паузы втиснулась, рассыпалась пулеметная очередь. Русские в городе! Значит, он спасен теперь — солдат, убивший офицера. Скрываться больше незачем... Да, от немцев уже ни к чему. Теперь каждый заботится о своей шкуре. Кай подошел к окну. Во двор вбежали два немецких офицера-танкиста. Они сорвали с себя кители, запахали в чан с мусором и кинулись в подъезд.

Однако ведь и ему, Каю, не стоит попадаться на глаза русским. Еще в плен угодишь. Домой, домой! Снял в гардеробной штатский костюм, переоделся. Брюки не закрывали щиколоток, пиджак был тесен, под мышками трещало, — неважная маскировка! Еще день и ночь провел Кай в кабинете фон Шехта. Невдалеке, на набережной заиграла музыка, потом басовитый голос, усиленный репродуктором, заговорил с акцентом:

— Внимание, внимание! Передатчик Советской Армии! Немцы! Мы несем вам мир!

У Кая все запело внутри. Он распахнул окно. Голос властно заполнил комнату.

— Мы несем вам мир! — повторил он. — Падение Кенигсберга — это начало падения Берлина.

Кай надел плащ фон Шехта. Пока длились бои в городе, Кай прятался в заброшенных квартирах и среди развалин. Потом осторожно, дворами, переулками двинулся на окраину города, в Розенштадт, к себе. У калитки он столкнулся с братом.

— Кончено, — сказал Кай. — Русские здесь.

Брат не понял его.

— Эшелон уходит, — пробормотал он, глядя куда-то мимо Кая. — А я вот... позабыл документы. Нельзя же без документов.

Кай влетел в дом. Кончено! Уж для него, во всяком случае, война прекратилась.

Все было бы хорошо, если бы не беда с фрейлейн. Когда он думал о ней, ему виделся Бинеман, выбегающий из ворот, растерзанный, почти безумный. С фрейлейн, наверное, случилась беда. Но, возможно, она спаслась от Бинемана и теперь в безопасности, среди своих. Спросить бы у русских! К первому встречному с таким делом не обратишься. Зайти разве к советскому коменданту? Но и тот вряд ли в курсе... Еще не так поймет Кайуса, будут неприятности.

Наконец пришло простое решение: если фрейлейн Катарина не пришла к своим, исчезла, то ее непременно будут разыскивать и постараются выследить и машину, и его — шофера Кайуса Фойгта. Надо пойти навстречу русским! Кайус явился в парк трофейных немецких автомобилей и предложил свои услуги старшине Лыткину. Очень обрадовался, увидев свой «оппель».

...Вот все, что я узнал от Кайуса Фойгта.

За точность изложения я не ручаюсь,— лет минуло много, некоторые детали, вероятно, забыты.

Все сказанное им слилось в одно — с Катей беда. Бинеман убил ее. Гитлеровцы уничтожили сотни пленных, закапывавших похищенные ценности. И Катя была опасна для банды фон Шехта, опасна как свидетельница. Бинеман убил ее и хотел убрать Фойгта.

Я почувствовал боль и слабость. Ужасающую слабость. «Катя погибла,— сказал я себе,— и дальше искать бесполезно». Кай молча смотрел на меня.

— Значит, ее нет у вас? — проговорил он печально.

Однако признаков борьбы в квартире он не заметил. И Бинеман ведь не имел намерения убивать Катю,— напротив, он дорогой предлагал ей обручальное кольцо. Он открыл ей что-то, касавшееся фон Шехта. По всей видимости, она надеялась найти нечто важное там, в квартире фон Шехта.

— Она не пришла к нам, Кай,— сказал я.— Она была без оружия, вот что ужасно.

— Без оружия? — Он наморщил лоб.— Нет, почему вы считаете?..

— Она же отдала свой «манлихер» Алоизу Крачу! Трусу, белоручке!

— У нас был еще пистолет,— сказал Кайус.— Такой же, «манлихер». Я поднял его под Варшавой на поле боя. Он не числился за мной, понимаете; я никому не докладывал... Он лежал в машине, под сиденьем. И я дал ей.

И она не воспользовалась? Мысли мои смешались.

— Я могу вам показать квартиру,— услышал я.— Вы посмотрите сами как следует. Могло стать, я не догадал тогда... Пожалуйста, господин лейтенант.

— Нет,— сказал я.— Не господин. Товарищ лейтенант! Товарищ!

Я крепко пожал обе руки Кайусу Фойгту. Немцу, другу Кати, который действительно вышел ко мне навстречу. Настоящему товарищу.

9

— Здесь,— сказал Фойгт.

Серый пятиэтажный дом, опоясанный балконами. Бомбы почти не задели его. На балконах — в горшках и

лотках — зеленеет салат. «Любимый марципан» — написано над пустыми окнами нижнего этажа. А вот клуб Черноголовых. Золотой нимб святого Маврикия пробит пульей. Лепные фигуры всадников в шлемах украшают фасад. Над входом дата — 1562. Здание изъедено трещинами. Если бы не дома, подпирающие его с боков, оно, верно, рассыпалось бы в прах.

Напротив, за бульваром, превращенным в бурелом, — россыпи кирпича, опаленные стены. Чудом уцелевший квартал кругом охвачен «городом развалин», как прозвали немцы разрушенные центральные районы Кенигсберга. Где-то поет пила — режет дрова для железной печурки, затопленной в подвале, или мастерят подпорки для временного пристанища среди руин. Толстый старик едет на трехколесном велосипеде, везет остатки скарба — подушку, ночные туфли, расписанный незабудками кофейник.

Мостовая усеяна битыми пузырьками, картонными коробочками, имуществом аптеки, взлетевшей на воздух. Мы идем, с хрустом топчя стекло. Железные ворота, ведущие во двор, перечеркнуты пулеметной очередью.

Фойгт в нерешительности остановился. Перед нами — лагерь беженцев. Шкафы, умывальники с фарфоровыми тазами, ширмы, гирлянды сохнувшего белья. На складной кровати зашевелился человек с забинтованной шеей. Кай направился к нему. Больной сипло закашлял. Нет, он не знает фон Шехта. Только сегодня въехал сюда.

— Ich bin total ausgebombt,¹ — простонал он и закрылся одеялом.

Тягучее, заунывное пиликанье губной гармошки несло сверху, из окна. Музыка оборвалась, басовитый голос крикнул:

— Фон Шехт в шестнадцатой. Только нет его, давно нет. Сбежал, негодяй.

На нас смотрел, улыбаясь, плечистый мужчина в рабочей куртке. От гармошки, блестевшей на солнце, бежали по асфальту, по шкафам, по посуде веселые зайчики.

Конечно, не следовало так громко спрашивать до-

¹ Я полностью разбомблен (нем.).

рогу и называть во всеуслышание это проклятое имя. Кай должен был сам как-нибудь вспомнить. Я должен был предостеречь его... Словом, я совершил оплошность...

Мы не сделали и десятка шагов к парадной, загороженной огромной вешалкой красного дерева, с оленьими рогами, как раздался негромкий, глухой звук. Не выстрел, скорее щелчок. Кай зашатался и упал навзничь. Я кинулся к нему, расстегнул куртку, увидел кровь.

Это было так неожиданно — кровь, нападение во дворе жилого дома, в покоренном и уже притихшем городе, что я с минуту топтался возле Кая, беспомощно озираясь.

Сбегались люди. Что-то блеснуло, ко мне сквозь толпу протолкался немец с губной гармошкой. Он вложил ее в карман; мы подхватили Кая и понесли к воротам. Водитель-сержант завидел нас из «виллиса» и поспешил на помощь.

— Везти нельзя, — сказал немец. — Надо скорее... Тут есть врач.

— Вы не видели, кто стрелял? — спросил я.

— Нет. Я ничего не слышал даже... Вижу — он упал. Проклятье! Неужели еще мало всего этого? — Он задыхался от гнева. — Стрельбы, мучений...

Не доходя до ворот, мы повернули к крыльцу. Крутая, узкая лестница привела нас под самый чердак.

«Augendiagnostik», — прочел я на двери. Открыл человек в халате не первой чистоты, рыжий, поджарый, в оббитом, словно обкусанном пенсне.

Кая уложили на кушетке. Кабинет был до странности пуст. Несколько пакетов с лекарствами в поставце. Никаких инструментов, если не считать лупы на столике у кресла, небольшой, цилиндрической лупы ботаника или часовщика. И еще удивило меня огромное, в красках, изображение человеческого глаза, прибитое к стене и наполовину задернутое марлевой занавеской. Признаюсь, я с некоторым недоверием следил, как Иеронимус Кимбл ощупывал Фойгта.

Раненый дернулся и провел пальцами по лицу, словно согнал что-то.

— Кимбл хороший врач, — промолвил немец, помогавший мне. — Он поглядит вам в глаза и сразу скажет, что у вас. Тут, по этому рисунку, — он потянулся к пла-

кату и показал радужную оболочку, испещренную клеточками и точками,— все можно определить. Тут все отражается.

«Хиромант какой-то»,— подумал я. Немец говорил раздельно, как на уроке.

— Кимбл учился в Бразилии,— прибавил он.— Глазных диагностиков всего одиннадцать. Во всем мире.

Кай запрокинул голову, скрипнул зубами и еще раз согнал что-то с лица.

— Он немец? — спросил Кимбл.

— Да,— ответил я.

Раненый затих. Кимбл сунул стетоскоп в карман и запахнул халат.

— Русский, немец, поляк — теперь это все равно,— проговорил он в сердцах.— Мертвые не имеют национальности. Они равны.

Кай лежал вытянувшись. Мой спутник тронул меня за рукав.

— Кимбл честный врач,— сказал он по слогам.— Клянусь, господин офицер.

— Кто его? — спросил врач.

— Соотечественник.— Немец скривил губы.— Тоже сын Германии. Вроде фон Шехта. Боже мой, когда же это кончится!

Он не отводил от меня прямого, скорбного взгляда. Кай умер? Я не хотел верить этому. Я ждал, что Кимбл тряхнет своей рыжей гривой и бросит, улыбаясь: «Отлежится», «Через недельку встанет» — или что-нибудь в таком роде. И вдруг — умер! Убит вражеской пулей. И не вернется в свой Розенштадт. Убит в весну победы. Убит, когда все кругом взывает: довольно смертей! Когда земля, кажется, уже полна мертвецов. Не может принять их больше.

«Мертвые равны»,— вспомнилось мне. Неправда! Фон Шехта тоже нет, но он умер иначе. Трупный яд останется после таких. А другие сгорают чистым огнем, освещая дорогу живым.

Тут я с болью, с ужасом поймал себя на том, что думаю так не только о Фойгте, но и о Кате. До сих пор я берег ее в своих мыслях живую, только живую. Янтарная комната, картины, экспонаты из музеев — все это было для меня как бы вне войны. Смерть Кая словно толкнула меня обратно на передний край.

Точно в тумане замелькали передо мной санитары, натянувшийся холст носилок и наш эскулап, склонившийся над телом. «Ранение смертельное», — услышал я. Кая вынесли. Я спустился во двор.

Двор шумел. Немцы, собравшись в кучки, обсуждали происшедшее. Гельмут Шенеке — так звали моего нового знакомого — шагал рядом со мной, сунув жилистые руки в карманы комбинезона.

— Вы не знаете Черноголовых? — басил он. — Шайка разбойников! Их надо выловить, господин офицер, всех до одного. Они погубили моего брата. Он сгинул, исчез там, в их логове. Да, люди пропадали бесследно. Это не легенда, господин офицер, это голая правда.

Вокруг нас тотчас образовалась толпа. Шенеке заговорил громче, он обращался теперь ко всем. Я почувствовал, что и мне надо что-то сказать.

— Убит честный немец. Кайус Фойгт, — сказал я. — Тот, кто убил его, — наш общий враг. И мы, советское командование, разыщем убийцу. Я буду рад, если вы окажете содействие.

Толпа одобрительно заволновалась.

Я кликнул автоматчиков, мы начали прочесывать дом.

10

Большой дом, перенаселенный, до отказа набитый беженцами. Чего только нет в нем! Две лавки — кондитерская, пивная, танцкласс, мастерские кустарей — портных, гравера, скорняка, модистки. Один портной, Назим-оглы, вывесил из окна флаг с полумесяцем; лет тридцать назад он эмигрировал из Турции, но подданство сохранил и нынче счел за благо отмежеваться от немцев. Дребезжит расстроенный рояль, стучит молоко, — кто-то чинит раму, поврежденную воздушной волной. В доме убаюкивают детей, жарят салаку, штопают носки.

Кто же стрелял в Кая Фойгта?

Я попытался представить себе, как бы поступил следователь. Бакулин, например. Прежде надо, очевидно, определить, откуда был произведен выстрел. Взять в расчет характер раны, место во дворе, где находился в тот момент бедняга Фойгт.

Вот-вот Бакулин явится сам. Но можно ли терять время! По моим соображениям, получалось, стреляли из окна третьего этажа. И возможно, из крайнего окна, у стыка с домом Черноголовых.

Прихватив автоматчика, я понесся туда. «Теодор фон Шехт»,— стояло на табличке. Дверь была незаперта.

Квартира фон Шехта! Все пути поиска свелись теперь к ней; здесь, в утро штурма, была Катя. А сегодня сюда прокрался убийца...

Из передней мы вошли в обширную столовую. Дневной свет свободно проникал в окна. Маскировочные шторы — скатанные, слипшиеся — были подняты очень давно. В них, значит, не было нужды. Никто не ночевал здесь. Пыль густо запорошила гигантский буфет с мрамором, с бронзовыми крылатыми львами, рояль в углу, этажерку для нот.

Запущение, холод, затхлый, нежилой дух... В спальне под картиной — котята, играющие с клубком ниток; черные котята, верно на счастье,— полосатые матрацы двух кроватей, пустые тумбочки.

Узкая дверь под цвет розовых обоев ведет в гардеробную. Здесь Кайус Фойгт в утро штурма взял костюм фон Шехта и его плащ, переоделся. Да, вон в углу его солдатский китель, брюки. С тех пор, похоже, никто не тревожил гардеробную. На вешалках — вещи мужские и женские, поношенные, покинутые за ненадобностью.

Конечно, мы перевернули матрацы, обшарили все углы в спальне и в других комнатах. Никого! Преступник если и был здесь, то не оставил следа!

Фон Шехт забросил эту квартиру давно, задолго до своей смерти, скорее всего перед войной. В кабинете, в ящиках стола,— ни единой бумажки. На столе телефонная книга 1939 года, медная коробка с крупинками трубочного табака. Я понюхал их. Они почти утратили запах.

В камине — слежавшаяся зола...

Кабинет примыкал к библиотеке. Дверь в нее была заперта: пришлось взломать ее. От стеллажей с книгами тянуло плесенью. Я снял одну книгу в переплете из свиной кожи. Руководство для шахматной игры, напечатанное в Амстердаме, в семнадцатом веке.

— Товарищ лейтенант! — услышал я.

Молодой автоматчик, разбурявшийся от усердия, протягивал мне какой-то предмет.

Берет. Обыкновенный синий берет. Я взял его. В глаза бросилась брошка, знакомая галалитовая брошка в виде листка. Кленовый листок!

— В спальне, товарищ лейтенант, — объяснял автоматчик. — Под зеркалом...

Впопыхах я и не заметил там зеркала. Берет лежал на полочке; в слое пыли отпечатался кружок. Но и под беретом тоже была пыль, — столько же пыли, и, значит, берет положен недавно. Ну, разумеется, — две недели назад, перед штурмом.

Катин берет!

— Я смотрю, женская вещь, — доносился до меня бойкий басок автоматчика. — Мужчине на голову не налезет...

Катин берет!

Стремительные шаги звучали из парадной, на лестнице. Я вдруг сообразил — это Катя! Она вбегает сюда, живая, веселая, в своей зеленой курточке... Шаги пронесли мимо. И вместе с ними мгновенно улетучилось видение.

Немного спустя лестница загудела, грохот кованых сапог вторгся в переднюю. Вошел Бакулин.

Наконец-то! Торопясь, глотая слова, я выложил ему все: сведения, данные Фойгтом, обстоятельства его гибели, результаты моих поисков. Бакулин спросил меня, откуда, по моему мнению, стрелял убийца.

— Из библиотеки, — сказал я.

— Показывайте. Ага, откуда? — Он выглянул в окно. — И я так прикидываю, третий этаж. Высота сомнений не вызывает. Но ты все же не очень наблюдателен, Ширяев. Видишь, простыни висят? Попробуй прицелиться!

— Но может быть...

— Висят с утра, — усмехнулся Бакулин. — Эх, разведчик! Водой, что ли, освежись.

Значит, Бакулин уже действует. Уже опросил немцев во дворе. Тем лучше.

— Вот из окна левее, — продолжал он, — можно было... А откуда стрелявший не мог вас видеть за простынями. А? Не так ли?

Жизнь во дворе между тем вернулась в свою колею. В кастрюлях булькали супы. Портной-турок, распахнув забитые фанерой окна, звал своих детей — Ганса и Мухамеда — обедать.

— Левее дом Черноголовых, — сказал я. — Заколотый. Но надо заглянуть.

— Успеет. Я поставил солдата наблюдать. Кто взломал дверь?

— Мы.

— А парадная была отперта?

— Да. Еще Фойгт заходил...

— Понятно. Парадная — настежь, а библиотека — на замке. Достойно внимания...

— Ценные книги, — сказал я.

— Резонно. Допускаем.

Потом он долго осматривал спальню и зеркало с полочкой, где Катя оставила свой берет.

— Не видел зеркала? Пролетел мимо? Нет, следователя из тебя не выйдет. А вот она нашла зеркало. Волосы поправляла, наверное. О чем это говорит?

Зеркало — старинное, в овальной рамке красного дерева, с подставками для свечей по бокам — прибито над тумбочкой. Его затеняет бельевой шкаф, стоящий ближе к окну.

— Заметь, Ширяев, стекло протерто. И не наспех, посередине, а вся поверхность. Зеркало чистое. Стало быть, Мищенко была спокойна тогда. Опасности не ощущала. Фойгт ведь не обнаружил признаков борьбы? Он был прав.

— Так что же случилось с ней?

— Если бы я мог ответить, Ширяев! — вздохнул Бакулин. — В том-то и загвоздка.

Входная дверь скрипнула. Вошел лейтенант Чубатов из контрразведки — года на два моложе меня, белобровый, крепкозубый. Я недолюбливал его. Мне казалось, что Чубатов важничает.

Как я теперь понимаю, ему просто хотелось быть старше своего возраста. Тем более в тот день. Ему дали задание, которое, наверно, досталось бы офицеру более опытному, не будь мы в Кенигсберге, где чекисты и без того были заняты по горло.

Чубатов очень мало знал о Кате. Я заговорил о ней и, должно быть, увлекся.

— В каких вы отношениях с Мищенко? — спросил он.

Я смешался, и Бакулин ответил за меня:

— В служебных.

— Разрешите, товарищ майор, — тихо сказал Чубатов, — пусть лейтенант сам даст оценку.

— Майор вам сказал, — буркнул я.

Бакулин улыбался. Он видел то, чего я не мог заметить. Чубатов очень боялся ударить лицом в грязь. Бакулина он немного стеснялся. Оттого и слова произносил вымученные, казенные.

— Ширяев, мне думается, лицо не беспристрастное, — услышал я.

— Он справляется с делом, — возразил Бакулин добродушно, с усмешкой.

«Что, выкусил?» — Я с торжеством взглянул на Чубатова.

Потом оба они вооружились лупами и принялись изучать пол. С полчаса длилось это. Бакулин выпрямился и опустил на письменный стол бумажку. Белые кристаллы блестели на ней.

— Сода, — объявил он.

— С улицы нанесли, — вспомнил я. — Напротив же аптека была...

— Знаю, знаю, — улыбнулся Бакулин. — Сходи, Ширяев, достань нам соды с мостовой. В темпе! Одна нога здесь, другая там.

Я стремглав кинулся выполнять приказание. Но увы, — как ни старался, как ни искал, — соды обнаружить не мог. Под каблуками моими трещали битые пузырьки, картонные и жестяные коробки, остатки колб, пробирок, градусников. В ямке застоялась лужица: вода в ней была малиновая. Точно так же выглядел раствор марганцовки, которым я полоскал рот в медсанбате, после того как мне выдернули зуб.

Сода тоже растворяется в воде, сообразил я. Позавчера был сильный дождь, соду смыло. Значит, не мы принесли соду на ногах в квартиру, а Катя, Бинеман или Кай. Бакулин это и хотел установить. Но для чего?

— Ни крупинки? — бросил Бакулин, завидев меня. — Так я и думал.

— Товарищ майор, — спросил я, — в библиотеке тоже сода на полу?

— Э, да он делает успехи.— Бакулин откинулся в кресле.— Ты понимаешь, Ширяев, Бинеман запер за собой дверь библиотеки. А парадную оставил открытой. Бинеману надо было создать впечатление, что он не был в библиотеке с Катей. Что его влекло сюда? Не книги же! Ну-ка, покажи нам, Ширяев, какие ты брал книги!

Я показал.

— Остальные стоят, как стояли месяцы, может, годы. Вон пыжища на полках! А, кроме книг, что тут ценного? Ничего! Бинеман и Катя были здесь, мирно беседовали, а затем...

«Катя и Бинеман были здесь,— думал я.— Они мирно беседовали, а затем... Да, все к одному, библиотека где-то общается с домом Черноголовых».

Где?

Мы сняли книги с полок, потом отцепили стеллажи, Чубатов начал выстукивать стену, Бакулин закатал ковер, вынул лупу и опустился на колени.

Работали мы часа полтора. Бакулину пришла мысль, что след в библиотеку — ложный, подстроенный Бинеманом нарочно. Однако искомый ход, потайной выход оказался именно там. И не в стене, а в паркетном полу, под ковром. Только с помощью лупы удалось найти очертания люка.

Кликнули солдат с топорами; они выломали пол. Под ним оказались железные ступени.

Первыми сошли на лестницу два автоматчика, потом Бакулин, Чубатов и я. Ступени вели круто вниз, по узкому коридору. Он пробивал толщу могучей старинной стены.

Свет сочился из круглого проема — амбразуры. Майор выпрямился, на ладони его блеснула маленькая медная гильза.

Да, убийца стрелял отсюда. Он, очевидно, тотчас ушел потом через комнаты фон Шехта.

Лучи фонарей скользили по гранитной кладке. Гранит был темно-серый, отесанный грубо, ударами тяжелого ручника. Белыми жилками выделялись пазы, и Бакулину вспомнилось давно читанное: в старину в раствор, скреплявший камни, добавляли для прочности яичный белок.

Кое-где рука средневекового камнетеса высекла

крест или треугольник в лучах — символ божьего ока. А в одном месте луч выхватил надпись: «Gott mit uns», ныне в вермахте повторенную на солдатских пряжках.

Снизу, из самых недр дома Черноголовых, несясь неясный гул. По мере спуска он звучал громче.

— Вода,— произнес один из автоматчиков. Лучи фонарей, впереди тонувшие в крошечной черноте, коснулись вскоре пенистой поверхности потока. Он несясь в подземных гранитных берегах, плескался, обмывал ступени.

Моя ладонь легла на перильце. Оно вибрировало. От напора воды мелкая дрожь расходилась по металлу, отзывалась болью во всем моем существе.

Широкая каменная арка с крестом на вершине — вход в туннель — неустанно, с свистящим шумом втягивала буйную, непроницаемо-темную воду.

II

Вода реки Прегель затопила подземелье Кенигсберга через несколько минут после того, как залпы наших орудий и «катюш» возвестили начало штурма. Приказ открыть шлюзы был составлен немецким командованием заранее. Он преследовал две цели — лишить наступающие советские войска подземных путей и скрыть, вывести из строя многочисленные сооружения: военные предприятия, жилые помещения, склады оружия и боеприпасов.

Я знал об этом, когда стоял над стремниной, сжимая перильце. Оно отдавало свой холодок, сделалось горячим, намокло от пота,— я все смотрел в пенистые водовороты.

Дорога поиска оборвалась, потонула...

Вызвать водолазов! Я представил себе людей в скафандрах, спускающихся в поток, разыскивающих труп Кати. Я нагнулся, погрузил руку,— вода схватила ее словно ледяными зубами, отбросила. Нет, водолазы ни к чему. Я размял пальцы, онемевшие от холода. Если Катя попала сюда, ее отнесло течением далеко отсюда, бог весть куда.

Подавленные шли мы наверх. Низкий каменный свод словно ложился на плечи...

— Завтра осмотрим все подробнее,—сказал Бакулин, когда мы снова очутились в кабинете фон Шехта.

Но он не отпустил нас. Он размышлял вслух, взволнованный открытием. Когда же немцы затопили подземелье? В восемь часов пятнадцать минут, то есть четверть часа спустя после начала нашего артиллерийского наступления.

В это время Катя и Бинеман были в квартире фон Шехта, а Кайус Фойгт ждал их на улице в своем «оппеле». Люк в полу, возможно, был открыт, Бинеман уловил шум хлынувшей в подвалы воды. Впрочем, он, как и многие офицеры штаба, наверняка знал о приказе.

Конечно, с началом штурма многое в положении всех троих — Бинемана, Фойгта и Кати — изменилось.

План побега из Кенигсберга рухнул. Что оставалось Бинеману — хищнику Бинеману, грабившему вместе с фон Шехтом и присными оккупированные земли? Прятаться от возмездия, быстрее сменить личину, скрыться в городе.

Теперь Катя для него — враг. Она, советская девушка, служившая немцам, выдаст его, выдаст, чтобы облегчить собственную участь!

Катя тоже слышит канонаду. Чтобы скрыть радость, она идет в спальню, к зеркалу, снимает берет, поправляет перед зеркалом волосы. Привычные движения помогают прийти в себя. Бинеман зовет ее. Они оба спускаются в люк. Крови на лестнице нет. Катя сошла вниз, Бинеман немного отстал и...

Возможно, Катя сама, почувствовав угрозу со стороны Бинемана, ускорила шаг, решила оставить его позади. И вода, хлынувшая внезапно, унесла ее. Или Бинеман все же выстрелил в Катю,— там внизу, и вода смыла следы...

Бинеман поднимается, закрывает за собой люк, кладет на место ковер, запирает библиотеку. Одного свидетеля он устранил, но есть еще другой — Фойгт. И Бинеман возвращается к машине, чтобы расправиться с ним.

Знать бы, куда делось тело Бинемана! Верно, немцы или наши бросили в яму, забросали землей, битым кирпичом. Много таких могил.

Пистолет Бинемана мог бы открыть еще кое-какие

подробности. Но вот что гораздо важнее — бумаги Бинемана.

У него был план! План тайников, куда гитлеровцы свозили музейные сокровища.

«Лежит, верно, вместе со своим хозяином», — подумал я, слушая Бакулина. Кто тогда, в разгар боев, стал бы обыскивать убитого, рыться в документах!

Потом Бакулин заговорил о новом поиске, в связи с гибелью Фойгта. Я почти не слышал. Я думал только о Кате.

Что же, считать погибшей? Неужели Бакулин напишет эти страшные слова, как итог наших стараний, наших надежд?

Нет! А если она все-таки спаслась? На войне я видел не только смерть, не раз при мне в самом пекле боя, на земле, сплошь перепаханной рваным железом, держалась жизнь. Чудом ограждала она своих избранников. Я сам бывал у смерти в когтях. А взять семерку, знаменитую семерку разведчиков, о которой слава шла по всему фронту; всего семь человек, вооруженных гранатами, против железобетонного форта, считавшегося — как и все кольцо защиты Кенигсберга — неприступным. Огонь крепости, по логике вещей, должен был стереть в порошок храбрецов. Однако они нашли «мертвое» пространство, забрались на купол, и гранаты, связки гранат, брошенные в вентиляционные колодцы, вывели из строя немецкий гарнизон, ни много ни мало — девяносто штыков...

Раздумья мои прервал старшина из разведки. Он принес пулю, вынутую из тела Фойгта. Бакулин достал из кармана гимнастерки гильзу. Так и есть! Убийца стоял под люком, целил из амбразуры.

— Стрелок он отличный, — сказал майор. — На тридцать шагов, и наверняка насмерть. Из такого оружия к тому же... Маленький «манлихер» — это же старая система, невоенная даже...

— Товарищ майор, — вставил я. — Я не докладывал вам? У Мищенко, — при Чубатове мне почему-то трудно было сказать «Катя», — был как раз такой. Фойгт говорил...

— Вот как! Любопытно.

Тут Чубатов, до сих пор хранивший молчание, поднялся с кресла.

— Неясность, товарищ майор. Эх,— он вздохнул и потер лоб.— Поведение Мищенко, понимаете...

Что он еще надумал! Слово «поведение» кольнуло меня. А Чубатов тер лоб, как школьник, которого вот-вот вызовет педагог. И надо, стало быть, вспомнить все, что знаешь. Напускная солидность слетела с него.

— Поведение Кати ясное,— сказал я. Теперь я могу назвать ее по имени, мне стало легче с Чубатовым.

— Данных мало... Меня вот что смущает... Вы как условились с Мищенко? Проследить за имуществом, так? Которое самое ценное, верно? За Янтарной комнатой. И всё. Потом беречь себя и ждать наших. Верно, товарищ майор?

Чубатов перестал стесняться и заговорил проще. Куда же он клонит?

— На улице Мольтке она была; значит, задача выполнена. Местонахождение янтаря известно. Сама же присутствовала, когда зарывали ящики.

— Правильно,— кивнул Бакулин. Чубатов явно нравился ему, а я весь напрягся.— Ну, дальше-то что?

— Я из фактов исхожу,— сказал Чубатов и вопросительно поглядел на майора.— Дело свое она сделала. Так нет, вместо того чтобы отвязаться от своих начальников, она... Она дает себя увлечь сюда.

Никак он обвиняет Катю! В чем? Пусть выскажется до конца.

— Ну, и в этой же связи... — он опять потер лоб, — мы искали признаков борьбы, насилия. Их же нет...

Ах, вот в чем дело!

— Так, так,— выговорил я.— Дает себя увлечь, говорят... Складно у вас получается...

От ярости у меня онемели губы.

— Спокойнее, Ширяев,— сказал майор.

— Я спокойно... Глупость, вот что... Он считает, Мищенко убила Фойгта и сама с ними... Не смеет он так о Кате...

— Личные ваши чувства... — начал Чубатов, и тут я окончательно взорвался.

— Ложь! — крикнул я.— При чем тут личные?.. Ложь!

Я вскочил. Право, не знаю, зачем я вскочил с кресла. Должно быть, хотел убежать в другую комнату, не слышать Чубатова.

— Куда? — окликнул меня Бакулин и поднялся. — Стоять смирно! Черт знает что такое! Мальчишка! — Он перевел дух. — Сутки домашнего ареста!

12

Представляете себе, каково мне было! В самый разгар поиска меня обрekli на безделье, на горчайшее одиночество. Можно ли придумать более суровое наказание!

Теперь все кончено для меня. В глазах Бакулина я упал. Больше я ему, верно, не нужен. Какой от меня толк! «Эх, разведчик, водой, что ли, освежись!» — ожило в памяти. За мной и без того масса упущений, а тут еще нелепая стычка с Чубатовым. Скверно!

После убийства Фойгта поиск стал сложнее. Словом, мне уже нет места.

В то же время я не переставал думать о Кате. Мысли мои о Чубатове, о Бакулине, о собственной жалкой судьбе вращались вокруг нее, как по орбите. Невзирая ни на что, я видел ее живой. Да, я верил в чудо.

Времени для размышлений у меня было достаточно. Читать разрешалось, но книга валилась из рук. С тоской я смотрел на улицу из своего номера в гостинице средней руки, где офицерам отвели жилье. Не раз, впав в отчаяние, я порывался бежать к Бакулину, умолять его о снисхождении. Нет, нельзя! Я убеждал себя снести кару безропотно и даже усилил ее — запретил себе курить: пачку сигарет смял и выбросил.

На улице возле булочной собирались немки, судачили о домашних своих делах. Не спеша, вразвалочку прошагали под окном два солдата. Один насвистывал. А ведь самое главное сейчас — это узнать, что с Катей. Эти солдаты, эти немки в коричневых пальто с взбитыми, гвардейскими плечами понятия не имеют, что где-то, может быть очень близко, Катя. Лежит в бреду, у чужих, или томится в каменных стенах, ждет помощи.

Нет, надежду я берег. Я цеплялся за нее вопреки всему. Да, Фойгт, весьма вероятно, убит из Катиного «манлихера», отнятого у нее... Все равно это не значит, что она погибла.

А если она попала в воду? Тогда конец.

И всё-таки — нет, видел я ее живой.

Пока я томился под арестом, в доме на Кайзер-аллее происходили важные события.

Обследование дома Черноголовых с утра возобновилось. Квартира фон Шехта стала командным пунктом операции. В полдень, когда Бакулин и Чубатов сидели в кабинете, отдыхали и курили, послышался страшный гвалт.

На самой середине двора бился человеческий сгусток. Он разрастался; к нему со всех концов, обрывая веревки с бельем, опрокидывая ведра, кувшины с водой, керосинки, сбегались немцы. Понять что-нибудь было невозможно. Чубатов выбежал на лестницу, уже гудевшую от топота.

Впереди поднимались трое: наш знакомый Шенеке и еще один мужчина в кителе железнодорожника вели под руки юнца лет семнадцати в кургузом рыжем пиджаке.

— Шенок! — раздавалось в толпе. — Теперь не уйдет.

— Мало им крови!

— Негодяи! Когда конец этому?

Бакулин поднял руку. Немцы утихли. Шенеке, держа перед собой в обеих руках фуражку, степенно выступил вперед.

— Он стрелял вчера, господа офицеры, — сказал Шенеке. — Он! Сам не отрицает.

— Немец в немца! — отозвался кто-то. — Бог мой, этого нам и недоставало. Только этого...

— Мир сошел с ума.

— Тихо! — произнес Шенеке командным тоном. — Дело было так, господа офицеры. Утром после завтрака, да, сразу после завтрака, мне говорят, что объявился какой-то молодчик, шныряет по квартирам и сеет панику. Будто в доме заложены мины замедленного действия и все мы должны в шесть часов вечера — да, точно в шесть часов — взлететь на воздух. Значит, через час. Ну, мы — я и Курт, — он указал на приземистого мужчину с квадратным подбородком, по виду тоже рабочего, — решили, что молодчик сам замешан в этой истории, коли болтает такое.

— So, so, — подтвердил Курт.

Юнец стоял перед Бакулиным нагло, выпятив жи-

вот, но видно было, что поза давалась ему нелегко,— он дергался, кривил губы; на лбу под жесткой белокурой кудряшкой блестел пот.

— Вы стреляли? — спросил его Бакулин.

— Я.— Он рывком откинул назад голову.— Я стрелял! Я... Я... Я не боюсь вас...

Толпа зашумела.

— Немец в немца,— повторил кто-то со скорбью.— О, боже!

— Он не немец! — выкрикнул юнец.— Предатели! Слышите вы? Вы тоже... Вы...

Он рванулся. Шенеке и еще двое схватили его. Он забарахтался и обмяк.

«Гитлеровский выкормыш,— подумал Бакулин.— Истерик. Отравлен с детства. А был бы красивым, здоровым парнем, если бы не нацисты».

— Ваше имя? — спросил майор.

Молодчик не ответил. Он шатался как пьяный; его держали под мышки.

— Вернер Хаут,— сказал Шенеке.— Сынок хозяина аптеки. Разбитой аптеки в доме напротив. В бывшем доме,— добавил он методично.— Говори, Хаут! — Он тряхнул молодчика за плечо.— Говори, раз ты не боишься, ну! Он состоял в фольксштурме, господа офицеры; он из самых отпетых. Тут у него тетя, в тридцать седьмой квартире. Шарлотта Гармиш. У нее мы и взяли его.

Шум во дворе между тем не утихал. Высокий женский голос поднялся над гомоном и зазвенел:

— Ты можешь идти, Эрвин! Я никуда не пойду! Я устала, устала...

Скрипела передвигаемая мебель. Заплакал ребенок. Портной турок громко возглашал:

— Проклятье! Посчитались бы хоть с нами! В доме живут иностранцы!

В кабинет протолкался младший лейтенант, командир автоматчиков, красный, возбужденный:

— Товарищ майор! Немцам кто-то мозги задурил... Оцепление рвут... Бегут, барахло тащат..

— Спокойно! — сказал Бакулин. — Спокойно!

Он приказал офицеру вернуться, наладить проверку выселяющихся. Нет, держать людей силой нельзя. Но контроль не ослаблять!

Младший лейтенант ушел. К нему присоединился Чубатов. Бакулин оглядел немцев.

Что сказать им?

Лучше любого из них Бакулин знал, сколько смертей еще таит город. Что ни день, рвутся мины, вспыхивают пожары, как будто злобные невидимки задались целью довершить разрушение. Что, если Хаут прав? И этот дом тоже обречен?..

Бакулин раздумывал минуты две.

Это были трудные минуты. «Нет,— сказал он себе.— Никаких мин нет. Надо остановить панику. Во что бы то ни стало!»

— Мы никого не держим,— сказал Бакулин.— Но бежать из дома глупо. Я лично раньше шести не уйду отсюда.

Он вынул часы и положил на стол.

— Я остаюсь с вами, господин майор,— отчеканил Шенеке и неторопливо, по-прежнему держа перед собой фуражку, сел в кресло рядом с Бакулиным.

— Отлично,— молвил майор.— Отлично. Мы побеседуем с Вернером Хаутом.

«Истерик,— еще раз подумал Бакулин, разглядывая молодчика.— Вздвинчен, словно принял дозу наркотика. Вот он каков — убийца Фойгта! Для того и сочинил небылицу насчет мин, чтобы под шумок, пользуясь кутерьмой, выскользнуть из оцепленного дома. Хитрый, смелый ход,— даже, пожалуй, слишком смелый для него. Надо проверить, но не сейчас».

— Итак, ваше имя — Вернер Хаут? — спросил Бакулин.— Хорошо. Так и запишем. Член союза гитлеровской молодежи? Так?

— Хайль Гитлер! — выкрикнул Хаут.— Хайль!

Шенеке схватил его за полу пиджака и силой усадил. Бакулин усмехнулся.

— Ясно. Вы утверждаете, что дом минирован. Это ваши слова?

— Да. Вы... Вы все...

— Погибнем? В шесть часов? Хорошо, проверим. Нам спешить некуда.

— Я живу здесь все время,— вставил Шенеке.— Я знаю дом, как свою ладонь. Мин нет. Все старожилы скажут то же самое. А этот негодяй...

— Подождем,— сказал Бакулин.

Он следил за Хаутом. Предложил закурить. Пальцы Хаута дрожали, когда он зажигал спичку.

Часы фон Шехта — старинные часы — сыграли несколько тактов марша и гулко пробили шесть. Хаута, обмякшего, оступевшего, увели автоматчики.

Допросили его в тот же вечер в контрразведке, в присутствии Бакулина.

Хаут оправился, держал себя развязно. Да, состоял в союзе гитлеровской молодежи. Да, и в фольксштурме. Был там командиром. Чубатов спрашивал не спеша, записывал аккуратно, четким, каллиграфическим почерком.

— Убил я! — вымолвил Хаут. — Что вам еще нужно? Можете расстрелять меня.

Тут он словно испугался собственного голоса и сжался. Это не укрылось от Бакулина.

— С вашего разрешения, капитан, — сказал он, — я задам вопрос. Скажите, Хаут, вам известно, кого вы убили? Кто он, как его звали?

— Я... Я... Он предатель...

— Его имя?..

— Не... Не помню...

— Не знаете?

Хаут молчал.

— Я понял вас, товарищ майор, — тихо сказал Чубатов и обмакнул перо. — Итак, Хаут, вы проникли в квартиру фон Шехта, в библиотеку, и выстрелили из окна.

— Да, из окна, — отозвался Хаут.

— Так, — перо Чубатова задержалось. — Однако стреляная гильза, евежая стреляная гильза лежала в доме Черноголовых, под амбразурой.

— Неважно. — Хаут опустил голову. — Я убил! — выдохнул он с усилием. — Я!

В эту минуту в памяти Бакулина возник другой юнец — испитой, бледный до синевы, с пятном волчанки, залившей щеки. Из шайки грабителей попался он один, остальные, в том числе старший, матерый рецидивист, скрылись. Арестованный не отпирался, напротив. Больной телесно и душевно, озлобленный против всего здорового, он со странным упрямством, вопреки всякой очевидности, брал всю вину на себя.

Вот и Вернер Хаут... Он исступленно твердит: «Я убийца», но доказательств еще нет. Убить. Фойгта

мог только очень хороший стрелок, а этот... Слишком издерган. Сомнение появилось у Бакулина с самого начала, при первом взгляде на Хаута. Теперь оно росло.

— Где ваше оружие?

Хаут смешался. Оружие? Оно у тети Гармиш, в тридцать седьмой квартире. В комод.

Допрос прервали. Чубатов поехал к Шарлотте Гармиш. Оружие отыскиали, но не в комод под бельем, куда положил его Хаут. Шарлотта, желая помочь племяннику, переложила револьвер — старый, тяжелый маузер. Из него давно никто не стрелял. Тем временем лаборатория закончила исследование гильзы, найденной под амбразурой, подтвердила марку пистолета — «манлихер» старого образца.

Вечером допрос возобновился.

Хаут еще упорствовал. Но постепенно истина выходила наружу.

Отряд, в котором он состоял, разбежался в первый же день штурма Кенигсберга. Хаут решил действовать в одиночку, стать террористом, «вервольфом» — волком-оборотнем. Но не хватало выдержки, умения. Пока Хаут прятался, пока обдумывал, как ему быть, во дворе произошло убийство. Застрелили немца, пришедшего вместе с советским офицером, помогавшего ему, — значит, «красного» немца. На Хаута снизошло откровение. Да, с ним бывает такое. Как у фюрера. Хаут почувствовал, — его час пробил. Он должен помочь неизвестному убийце: выжить русских, ведущих следствие, вызвать панику в доме, напугать.

Он колебался. Как бы самому не попасться! Рассказал выдуманную новость тетке Гармиш, та передала соседям. Слух растекся по дому, дошел до Шенеке. Он припер Хаута к стене. Хаут впал в ярость, нагрубил Шенеке, — и тут посетило Хаута второе откровение. О, он доведет дело до конца! Все равно теперь ему нечего терять. Он спасет убийцу, жертвуя собой. Германия ждет такого примера, он всколыхнет людей, разбудит силы для отпора большевикам. И он, Вернер Хаут, станет героем, как Хорст Вессель, отдавший жизнь за фюрера.

«Звереныш! — думал Бакулин. — Он не убивал, но ведь воспитан он для убийства. Другой совершил то, что он мечтал сделать сам. Нет, он не просто играл роль. Выпусти его — он завтра, пожалуй, убьет».

...Вот какие события случились, пока я отбывал срок наказания в номере гостиницы, сетовал, проклинал себя, думал о Кате.

Бакулина я увидел лишь наутро. Начал он с того, что прочел мне нотацию.

— Чубатов хороший офицер, умный, упорный. Правда, опыта еще не хватает. Он хотел разобраться получше... Он вовсе не обвиняет Катю. Он взвешивает все. А ты — сразу в бутылку. Глупо! Если я еще раз замечу...

Он постукал по столу.

— Слушаю,— гаркнул я.

«Спасибо», «рад слышать»,— вот что меня тянуло ответить. Ибо угроза Бакулина означала,— я еще встречу с Чубатовым. Поиск не закончен.

Потом майор рассказал про Хаута.

— Очень складно все получилось,— добавил он.— Все немцы в доме уверены — убийца пойман. Тем лучше. Скорее достанем настоящего преступника.

Кто же он? Неужели нет никакого следа? Бакулин покачал головой. Не след, но существенный вывод — таков итог этих двух дней. Оружие убийства — «манлихер». И у Кати был «манлихер»,— вероятно, тот же самый. Пистолет не очень совершенный. И вряд ли у убийцы не было другого оружия. Похоже, он нарочно воспользовался пистолетом Кати, чтобы бросить на нее тень. Какой еще вывод? До сих пор мы думали, что вместе с Катей в квартире был один Бинеман. Теперь нет такой уверенности. Вероятно, был кто-то третий. Этот третий завладел пистолетом Кати и убил Фойгта.

Бакулин разочаровал меня. Я ждал большего. Неведомый третий ведь не ждет нас. Ищи ветра в поле!

— Ну-с, ладно,— произнес Бакулин.— Приступай к делу. Профессора мы совсем забыли. Ступай к Сторицыну. Бери Алоиза Крача, поезжайте на улицу Мольтке. Пора откапывать царскосельский янтарь.

13

Сторицына я застал в гостинице. Он нежно обнял меня, расцеловал, потом заговорил о своих друзьях-связистах на вилле «Санкт-Маурициус». Один ефрейтор поразил профессора,— так рисует парень! Талант, несом-

ненный талант! Ему надо учиться и он — Сторицын — об этом позаботится. Что до картин, то они запакованы, готовы к отправке. И Диана, для нее связисты смастерили прочный ящик.

— Из дуба? — спросил я, вспомнив наставления Кати.

У эвакупункта, разместившегося в этажах замершей фабрики, к нам в «виллис» сел Алоиз Крач. Он расстался с балахоном лагерника; ему раздобыли синий в полоску костюм, шляпу, плащ. Вместе со свободой он обрел уверенность в себе. Теперь я легко представлял себе Крача на диспуте в кафе художников или на своей выставке, принимавшим гостей.

— Ну-с, милый мой, — обратился к нему Сторицын. — Скоро домой, да? Так как же, вы и в будущем намерены отстаивать хаос в живописи?

Он рвался спорить.

— О, нет, — Крач качал лохматой головой. — Я напишу валку... Войну. Два коня встали на дыбы. Черный и красный...

Сторицын поморщился.

— Символ. Вы отмечаете... Вы отрицаете символ? Почему? Я видел советские картины. Не все, jednak некоторые — фотография, цветная фотография.

И они заспорили. Сторицын пришел в ярость. Я никогда не слышал, чтобы с таким жаром говорили об искусстве, и испугался за Крача.

— Порфирий Степанович, — вмешался я, — вот вы все знаете...

— Смелое допущение. Ну!

— Почти все, — поправился я. — Фон Шехт состоял в странной организации...

— Черноголовые? — И Сторицын мгновенно забыл о начатом споре. — О Ганзейском союзе слышали? Учили в школе? Вот-вот! Какие города входили? Бремен, Новгород, Любек... Еще? Общество Черноголовых — немецкое. Принимались холостые купцы и служащие Ганзы, а проще сказать, головорезы, любители приключений...

— А святой Маврикий?..

— Патрон братства, африканец. Бог ему будто бы отломил кусок африканского материка, и Маврикий приплыл на нем в Европу, спасся от неверных. Словом, мореход.

Он добавил, что Черноголовые грабили суда, разоряли Прибалтику, воевали при Иване Грозном с Россией вместе с ливонскими рыцарями; что в Таллине, в Риге Черноголовые были в 1940 году распущены. Их дома были очагами фашизма.

Похоже, Сторицын и в самом деле все знал!

«Виллис» между тем оставил руины центра и катился мимо особняков, увешанных черными коврами плюща, под ветвями лип с набухшими почками.

Двор, где были преданы земле ящики с отделкой Янтарной комнаты, почти ничем не отличался от других дворов улицы Мольтке — прямой, длинный, застроенный в тридцатых годах унылыми, одинаковыми жилыми зданиями. К счастью, Алоиз Крач запомнил приметы: пролом в стене, повисшую пожарную лестницу, детский стульчик, выброшенный из дома силой взрыва.

Алоиз разгребал хлам, вымеривал котлован шагами. Я набрасывал в тетрадке план, а Сторицын, ликующий, раздумавшийся, расхаживал поодаль, на солнцепеке, постукивая тростью.

— Очень приятно, — донесся до меня его голос. — Сторицын! А вы? В погонах я нетверд, извините. Люди воевать кончают, а я вот только на днях стал военным...

— Старшина Лыткин, — раздалось в ответ.

Я обернулся. Да, Лыткин, старшина из автопарка, собственной персоной. Он одергивал гимнастерку и ел Сторицына глазами.

Я окликнул старшину. Он шелкнул каблуками и козырнул мне. На редкость лихо у него это получалось. Локоть он не поднял, а напротив, прижал к боку; рука двинулась прямо вверх, коснулась козырька фуражки и тотчас резко оторвалась, словно обжегшись.

— Мое хозяйство — вон оно, рядом, товарищ лейтенант, — сообщил он. — Тут гаражи должны быть, так я шурую. Нас запасные части лимитируют...

Сторицын, зачарованный, обошел бравого старшину кругом и хлопнул его по спине.

— Богатырь! Орел! — приговаривал он. — Полюбуйтесь на него, а? Хорош! Пойдите, товарищ Лыткин. Ваше имя и отчество? Савелий Федорович? Задержу вас на минутку, извините... Вы бродите тут, глаз у вас зоркий. Видите, Савелий Федорович... Не откажите при случае оказать нам содействие.

И Сторицын, ухватив Лыткина за пуговицу, стал объяснять ему, кто мы и чем заняты.

— Здесь,— он топнул и поднял облако пыли,— Янтарная комната. Ну, не в полном смысле... Янтари, Ксаверий... Савелий Федорович, простите. Пуды янтара из царского дворца. Немцы содрали...

— И гады же! — выдохнул Лыткин, не шелохнувшись, не меняя почтительной позы.

— Все стены в янтаре. Нигде в мире нет другой такой комнаты. Зеркала, а на них янтарь. Представляете, какой эффект?

— Так точно,— отозвался Лыткин.— Товарищ полковник, а мне бы прикомандироваться к вам, а? Я бы с великим удовольствием. Я десятником был на земляных работах. Пригодился бы.

Когда мы сели в «виллис» и отъехали и я оглянулся, он все еще стоял вытянувшись, в положении «смирно».

— Вам все внове,— сказал я Сторицыну,— и каждый человек в форме вам кажется героем. Но я бы поостерегся... Нужно ли делиться с посторонним?

— Бросьте, голубчик! — возмутился профессор.— Этакий детина! Вместо ваших модернистских закорючек. А что? — Он перестал смеяться и вздохнул.— Господин Крач, вы сами столько пережили... Неужели будете малевать символических коней или... сапоги всмятку, прошу прощения!

И они заспорили снова.

После обеда мы — я и Сторицын — отправились на улицу Мольтке во главе взвода солдат.

Нетерпение Сторицына передалось мне. Как хочется скорее раскопать этот унылый, замусоренный двор! Неужели сегодня мы добудем знаменитый янтарь? Я увижу его огонь!

Дома, замыкавшие двор, совсем недавно пострадали от пожара; это мешало Крачу отыскать место. Наконец заступы коснулись ящиков. Но янтара в них не оказалось. Буквами «В» и «Z» был помечен каждый, но внутри — ничего, кроме посуды, фарфоровых сервизов с царскими вензелями.

Янтара — ни кусочка!

Для Сторицына это было настоящим горем. Он посерел, осунулся — куда делась его обычная живость! И мне было чертовски досадно.

Мы схватили ложную приманку. Фон Шехт, грабитель фон Шехт, отвел нам глаза. Уж, верно, не во славу «великой Германии» он так старался! Он вел свою игру, маскируя картины, пряча янтарь. Эх, жаль, что нет в живых ни его, ни Бинемана!

А Катя узнала... Бинеман тогда, накануне штурма, раскрыл ей проделки фон Шехта. Конечно! Потому-то Катя и не считала свое дело завершенным, осталась с Бинеманом вместо того, чтобы покончить счеты с эйнзатцштабом и дожидаться нас.

И тогда... Теперь насчет Кати ни у кого не может быть сомнений. Да, ящики с царской посудой, помеченные буквами, и объясняют поведение Кати.

Прекрасная находка! Сокрушаться незачем, вовсе незачем! Тусклый, синеватый фарфор, расписанный блеклыми сиреневыми цветами,— грубоватое изделие середины прошлого века, как сказал Сторицын,— показался мне поразительно красивым.

Бакулин понял меня.

— Ты прав, для нее это важно,— сказал он с теплотой.— Очень важно.

Сторицын бушевал. До сих пор я видел его неизменно веселым, добродушным. Старик преобразился.

— Напутали вы, голубчики,— твердил он.— А я-то на вас положился! Вот что, не дурит ли вам головы этот ваш художник, автор сапог всмятку? А? Как хотите, я без Янтарной комнаты не уеду. Не уеду!

Со стены на нас — разгоряченных, готовых поссориться — спокойно смотрела женщина в платке, хорошая, понимающая. Она смотрела из своего далекого, давно ушедшего мира, где ее увидел и запечатлел Венецианов.

Вам знаком этот портрет? Простое русское лицо. Лямки сарафана поверх полотняной, в мелкую сборку, рубахи. Крестьянка, должно быть, крепостная, в полутемной избе, в отблеске свечи или лучины. Но лицо словно светится само...

Я вспомнил рассказ Алоиза. Он обманывает нас? Нет. Сторицын ошибается. И женщина на портрете словно соглашалась со мной. Она стала как бы покровительницей нашего поиска.

— Задача наша усложнилась,— сказал Бакулин.— Ну, дадим мы вам людей, взрывчатку,— обернулся он

к профессору, — где вы будете искать? В подземельях вода, надо откачивать. У нас нет даже плана подземного Кенигсберга. Уничтожен или увезен — черт его знает!

Сторицын подавленно молчал.

— Фон Шехт бестия, ловкая бестия. Вот, кстати, кое-какие данные о нем. — Майор раскрыл тетрадку. — Теодор фон Шехт, владелец антикварного магазина на улице Марии-Луизы, глава фирмы по покупке и продаже картин, скульптур и прочих произведений искусства. Фирма имела обширные связи с другими странами. Тут список клиентов: акционерное общество «Сфинкс» в Амстердаме, фирма «Чалмерс лимитед» в Нью-Йорке, магазин Туссье в Париже, магазин Ашхани в Каире... Кроме того, вот что любопытно, фон Шехт сам заядлый коллекционер. Главная страсть — янтарь. Его собрание янтарей занимало на вилле «Санкт-Маурициус» четыре комнаты, считалось самым богатым в мире.

— Фон Шехт, — произнес Сторицын. — Позвольте... Ну да, мне как-то до войны попался каталог его коллекции. Там был камень с ящерицей внутри. Янтарь — это же застывшая смола. Ящерица и угодила в нее...

Профессор отбушевал и сидел, тяжело дыша. Мне стало жаль его. Неудачу с Янтарной комнатой он переживал, как личное несчастье.

— Порфирий Степанович, — сказал я, — а книги вас интересуют? Есть библиотека фон Шехта...

Мне хотелось утешить его, и я попал в точку. Сторицын ожил. А когда я упомянул наставление к шахматной игре, обнаруженное мной там, он сжал мне локоть:

— Издание голландское? Какого года, не заметили? С гравюрами? Редкость! Иллюстрации там великолепные, школа Рембрандта, шахматные кони — как живые, не дерево — мясо, мускулы, понимаете?

Час спустя мы поднимались к знакомой квартире. Сторицын горел нетерпением. Новая тревога захватила его: целы ли книги? Вдруг пожар!

Нет, в доме на Кайзер-аллее все по-прежнему. Только табор беженцев во дворе сильно поредел, — многим отвели жилье. Из открытой двери с табличкой «Фон Шехт» пахло кухней, неся детский гомон.

В кабинете фон Шехта за письменным столом чинно, по ранжиру, сидели четверо детей и молча ели жидкий суп. Ложки поднимались все вдруг, как по команде.

Книга о шахматах не обманула ожиданий Сторицына. Да, очень редкое издание. Мы долго рылись в библиотеке. Мне запомнилась рукописная Библия в свиной коже с картинками. Лица у библейских персонажей были розовые и благополучные,— похоже, они только что выпили пива и вышли на воскресную прогулку.

Мелкая, бисерная запись кудрявилась на внутренней стороне переплета. Сторицын прочел вслух. Я уразумел лишь общий смысл текста на старогерманском языке: в 1431 году Отто Шехт во главе отряда Черноголовых прошел по берегу Балтийского моря, подавил строптивых и доставил в Кенигсберг добычу — коней, сбрую, женщин и три мешка янтаря.

Семейство с традициями! Бандитизм в крови!

За строками вязи, выцветшей, порывевшей, словно обрисовался внезапно свидетель. Литовец или латыш, разоренный захватчиками, обвиняющий и того Шехта — Отто — и нынешних его последователей.

Вошел пожилой немец с черной повязкой на глазу. Он мял носовой платок.

— Извините, господа, я не помешал вам?

— Нет, нет, что вы! — Сторицын усадил его. — И вообще... Это мы у вас в гостях.

— Я прошу совета, господа. Я вдовец. Я потерял все имущество. Неужели меня выселят с детьми?

— С какой стати? — удивился я.

— О, он воспитанный человек. Он даже не заикнулся. Но... надо же и ему жить. Он заявит свои права, и тогда... Тогда плохо.

Он вздохнул.

— Кто? — спросил я. — Кто заявит?

— Фон Шехт, — произнес немец, и я чуть не вскрикнул — так это было неожиданно.

Или я ослышался? Фон Шехт умер. Что за чепуха! Книжки, сложенные у стеллажей, окно во двор, турецкий флаг на той стороне, где квартира портного, — все как бы заволокло туманом.

— Фон Шехт, Людвиг фон Шехт, — донеслось до меня. — Брат покойного...

Ах вот оно что! Да, конечно же, есть еще фон Шехты. А я так много думал об одном фон Шехте, о Теодоре, что забыл об остальных. Мы справлялись, и никого из родственников Теодора в Кенигсберге не оказалось.

Где же обретался до сих пор этот Людвиг фон Шехт? Кто он такой? Что его интересует здесь?

— Он и адрес оставил,— продолжал немец.— Ну, чтобы мы могли сообщить, если с книгами что случится. Очень порядочный человек, профессор... Вам угодно адрес? Шлезвигерштрассе, семнадцать.

Мы простились с немцем. Дети, игравшие в углу, вытянулись, как солдатики, и проводили нас глазами.

14

— Да, Людвиг фон Шехт, профессор фон Шехт,— повторял Сторицын в машине.— Автор исследования о культе Тора и Одина у древних скандинавов. Я как-то не связывал его с грабителем, с Теодором. Выходит, из той же семейки? Что ж, бывает... Профессор, судя по книге, педант, книжный червяк. Солидный том, страниц много, скукота немислимая.

Шлезвигерштрассе терялась среди садов, огородов, уже черневших возделанными грядками. За решетчатыми оградами желтели уютные, почти не тронутые войной особняки. Шагая по подушкам прошлогодних листьев, мы прошли к застекленной террасе, постучали. Вышла высокая, плоская немка в халате.

— Я экономка господина профессора,— сказала она церемонно.— Очень сожалею, очень! Господина профессора нет дома.

Мы помчались к Бакулину.

Майор достал из сейфа папку — знакомую мне синюю папку, отведенную для материалов об эйнзатцштабе, о Теодоре фон Шехте, о Бинемане, их родных и друзьях. Еще недавно она была тонкой, эта папка. Быстро она набирает вес!

— Людвиг фон Шехт, профессор,— сказал майор.— Родился в тысяча восемьсот девяносто пятом году. Член Прусского общества древностей, член Прусской археологической экспедиции. Масса титулов, все прусские, прусские. Коренной пруссак, одним словом. Холостяк. А вот что существенно: в сентябре — октябре тысяча девятьсот сорок четвертого года был главным хранителем в Орденском замке. Два месяца только, но все же...

— Здрóрово! — вырвалось у меня.

— Весьма,— улыбнулся Бакулин.— И раз уж ты проявил такую прыть, бросился к нему, не согласовав со мной, так и быть, придется его вызвать.

Щеки мои стали горячими. Опять я сделал не то! Однако Бакулин не очень сердит. Распекает он всегда на «вы».

— Не беда, Ширяев,— услышал я.— Все равно пора побеседовать с ним.

Сторицын между тем прочел список трудов Людвига фон Шехта и хлопнул себя по колену.

— Склероз! — воскликнул он.— Склероз! Вот же, вертелось в башке! «Происхождение легенды о Нибе-лунгах» — тоже его! А вы обратили внимание? — Он повернулся к Бакулину.— Две книги о янтаре: «История янтарного промысла в Пруссии» и «Походы за янтarem».

— Дался им янтарь! — сказал я.

Кажется, я собирался выложить еще какие-то соображения о янтаре и фон Шехтах, но в дверь постучали.

Вошел Алоиз Крач.

Теперь уже недавнего пленного Алоиза Крача, узника на вилле «Санкт-Маурициус», трудно было себе представить. Крач подошел к нам размашистым, широким шагом. Он весь сиял.

— Домой? — И Бакулин протянул ему обе руки.— Ну, в добрый путь! Желаю вам счастья, успехов, больших, настоящих успехов.

«Домой!» Это волшебное слово на миг унесло меня далеко от Кенигсберга, дышавшего в окно гарью, дымом пожаров, далеко от войны. Наверное, не только я, мы все позавидовали Алоизу Крачу, уезжавшему в родной Прешов.

Алоиз жал нам руки. Потом он поднял голову, притих, глядя куда-то мимо нас. Я тоже посмотрел туда. На стене, над креслом Бакулина, по-прежнему висел портрет крестьянки. Из сумрака избы, из далекого века, живая, она взидала на Алоиза ласково, понимающе. Минуту-две Алоиз Крач не двигался и, казалось, не дышал,— он молча прощался с ней.

Затем дверь за ним мягко закрылась. Он ушел. Из моей жизни — навсегда.

— Задержать его нельзя было? — спросил я майора. Он поднял брови.

— Излишне,— ответил он,— пускай едет.

На следующий день к Бакулину явился Людвиг фон Шехт. Любопытство снедало меня, но увидеть его мне тогда не пришлось: я был занят со Сторицыным. Мне сдавалось, Бакулин хотел беседовать с профессором наедине.

Вечером майор дал мне его показания:

Прочитав их, я понял, как нужен нам, как необходимым для нашего поиска профессор Людвиг фон Шехт, член прусских научных обществ, автор исследований о культе Тора и Одина, о Нибелунгах, о янтаре.

Уроженец Кенигсберга, он жил здесь почти безвыездно. Даже надвигавшийся фронт не мог заставить его покинуть город. Слишком многое с ним связано! С 1936 года он читал лекции в университете — в родном университете, в котором когда-то учился сам вместе с братом Теодором. В юности они дружили. Общая корпорация, дуэли, пирушки, — о, эта студенческая романтика сохранялась в Кенигсберге, как нигде!

Впоследствии братья пошли разными путями. Теодор увлекся коммерцией. Людвиг златой телец никогда не привлекал, его тянуло к книгам.

В 1941 году, когда началась война с Россией, Теодор написал Людвигу из Парижа: «Пробил счастливый для Германии час». Людвиг был иного мнения. «Боюсь, что это роковой час, — ответил он. — Опьяненные успехами на Западе, мы забыли о предостережениях Бисмарка, двинулись на русского колосса, который погубил Наполеона». Теодор не получил эти строки. Людвиг разорвал начатое письмо и послал другое, без всяких крамольных мыслей, краткое, с пожеланиями здоровья.

Впрочем, он — Людвиг — не политик! Нет! Он человек науки, исследователь средневековья. В споры на политические темы он вообще не вдается, просто он верит Бисмарку больше, чем фельдфебелю Гитлеру.

Осенью 1941 года с Теодором случилась неприятность — у него выкрали секретные документы. Вызвали Теодора его друг, приближенный фюрера Альфред Розенберг. Благодаря ему Теодор избежал суда и очутился на новой должности, под начальством Розенберга, в его штабе.

Обо всем этом Людвиг узнал лишь летом 1943 года от помощника Теодора — Бинемана, доставившего в Кенигсберг Янтарную комнату и другие трофеи из приго-

родных дворцов Ленинграда. Он — Людвиг — столь же слаб в стратегии, как и в политике, но у него сложилось впечатление, что битва под Сталинградом ускорила отpravку царских сокровищ из России. Поражение подействовало угнетающе. Ожидались новые удары советских войск.

Бинеман не стеснялся перед Людвигом — бывшим своим учителем, и Людвигу открылась картина грабежа и всевозможных бесчинств оккупантов в России. Какое же страшное возмездие обрушится на Германию! Бинеман хвастался, как он в стенах древнего Софийского собора в Новгороде упражнялся в стрельбе из пистолета.

Сам Теодор появился в Кенигсберге летом 1944 года. Тогда Людвиг мало виделся с ним. Теодор находился большей частью на своей вилле. Стороной Людвигу стало известно, брат свез к себе в «Санкт-Маурициус» массу трофейного добра и держит там двух художников из военнопленных, бельгийца и датчанина, которые разбирают предметы искусства, реставрируют поврежденные картины и скульптуры.

Теодор — страстный коллекционер. Все доходы от магазина он, бывало, тратил на пополнение своей галереи, собраний фарфора и янтаря. К янтарю у него особая, фамильная любовь.

Правда, он поступался своими сокровищами. Кусок янтаря с ящерицей — гвоздь коллекции — он подарил Розенбергу в знак благодарности за выручку. Герману Герингу преподнес картины Сезанна, Гогена, Дега, добытые во Франции. О, Теодор ловко умел заслужить расположение влиятельных лиц!

Людвига бог спас от излишних страстей. Не заразился он от брата и болезнью собирательства. Янтарной коллекцией брата пользовался для научной работы, и только! Ученый должен быть аскетом, — да, таково убеждение Людвига. Аскетом, бесребреником, ибо наука требует мученической преданности.

Второй раз Теодор приехал в Кенигсберг в октябре 1944 года, после серии ужасающих налетов английской авиации. У него было предписание Розенберга ознакомиться с состоянием трофейных ценностей, находившихся в городе, вывезти их или обеспечить сохранность.

Незадолго до этого Людвиг фон Шехт был назначен главным хранителем музея в Королевском замке, на

место погибшего при бомбежке доктора Зигфрида Штаубена. В жизни Людвига наступили самые трудные дни. Он, соприкасавшийся только с книгами, манускриптами, оказался во главе обширного хозяйства, к тому же сильно пострадавшего от бомб. Было несколько прямых попаданий. Вскоре англичане напали снова. Второй этаж северной части замка выгорел, уникальная Янтарная комната, увы, погибла в огне. О, эта невозвратимая утрата лежит и на его — Людвиге — совести! Будь он опытнее в практических делах, он успел бы укрыть наиболее ценные предметы.

Печальную весть принес Теодор. Людвиг не был свидетелем несчастья, он в то время заболел и отлеживался в убежище.

«Что ты намерен предпринять? — спросил Теодор. — Не вздумай сообщать в Имперскую канцелярию». Людвиг ответил, что именно это он и обязан сделать.

«Ты сошел с ума, — сказал Теодор. — Снимут голову не только тебе, но и мне. Я ведь тоже в ответе, раз меня послали сюда».

Янтарной комнатой интересовался сам Гитлер. Он хотел иметь ее у себя — в Имперской канцелярии, рядом со своим рабочим кабинетом. Об этом Людвиг слышал еще от доктора Штаубена. Коренной пруссак Штаубен, однако, несмотря на запросы Гитлера, под разными предлогами оттягивал отправку Янтарной комнаты в Берлин. Как прусский патриот, Штаубен желал удержать ее в Кенигсберге.

Теодор сообщил в Имперскую канцелярию, что от бомбежки и пожара пострадала царская посуда и мебель, а Янтарная комната получила лишь небольшие повреждения. В настоящее время они исправляются, а затем янтарь будет отгружен.

В действительности посуда уцелела. Военнопленные запаковали ее в ящики, помеченные буквами «В» и «Z», и снесли в подвал замка. Работа производилась под руководством Теодора, тайно. Пленных потом, накануне прихода Советской Армии, расстреляли.

В ноябре Теодор уехал. Вернулся он в феврале 1945 года, когда фронт придвинулся к самому городу.

Службу в замке Людвиг прекратил в январе 1945 года по болезни. Бомбежки, лишения вконец подорвали его нервную систему. Последние месяцы братья по-

чти не виделись. Отношения между ними были натянутые, холодные. Сразу после взятия Кенигсберга советскими войсками Людвиг перебрался в Инстербург, к престарелой тетке.

В Кенигсберг Людвиг прибыл с целью выхлопотать усиленный паек, на что ему дают право ученые заслуги, а также разыскать ценные вещи, принадлежавшие брату, и передать их под охрану новой власти.

Он — Людвиг — никогда не сочувствовал грабежу и готов оказать содействие советской военной администрации в меру своих сил.

Так закончил свои показания профессор Людвиг фон Шехт.

Одно как-то не укладывалось в моем представлении. Янтарная комната сгорела?

Нет, не верилось!

— Катя знала бы, — сказал я. — Такое трудно скрыть.

Майор кивнул. Конечно, данные о судьбе Янтарной комнаты нуждаются в проверке. И вообще нужно изучить этого фон Шехта как следует. Понятно, от дела его не отстранять. Выдать усиленный паек, зачислить к Столицу в штат экспедиции, — пусть помогает нам.

— Покамест он дичится, — сказал Бакулин. — Опасается подручных своего братца. Познакомься с ним. Постарайся выведать побольше о связях Теодора. Были же у него тут люди, кроме Бинемана!

«Конечно были, — ответил я мысленно. — Тот третий, который был с Катей и Бинеманом, а потом убил Кайуса Фойгта...»

— Словом, Людвиг для нас находка, — говорил майор. — Надо подойти к нему, найти ключ.

В тот вечер Бакулин долго не отпускал меня — снабжал советами, вспоминал случаи из своей практики следователя.

Утро выдалось сырое, туманное. Едкий дым от складов фирмы «АГФА» — они все еще горели — стлался по земле. От него слезились глаза, схватывал кашель. Очертания Королевского замка смутно выделялись на фоне свинцового неба. Репродуктор, прибитый к башне, сообщил сводку Советского информбюро: наши воины завершали окружение Берлина.

С бьющимся сердцем поднимался я по крутой лестнице, выбитой посередине, пскрытой слоем сажи, обуг-

лившейся бумаги и соломы. На втором этаже гулял ветер, заносил в пустые окна брызги дождя, серую, смешанную с дымом муть. Обширное помещение, голое, пахнущее гарью, выглядело как огромная погасшая печь.

Там двигались два человека, медленно, словно по кладбищу: Сторицын — в фуражке, надвинутой на лоб, нахохлившийся, — и тот... Людвиг фон Шехт.

Высокий, сутулый, без шляпы. Волосы спадают тяжелой гривой, в них масляно проступает седина, и поэтому цвет у них какой-то неопределенный, грязный. Кургузый ватник туго сжимает плечи. Трость с набалдашником из слоновой кости и серебра, дорогая профессорская трость. Шагая, он высоко вскидывает руку с тростью.

Когда он повернулся ко мне, я увидел длинный, тонкогубый рот, словно рассекавший узкое лицо, — такой же как у Теодора.

Все это я увидел, вернее вобрал в себя, жадно вобрал, стремясь с юношеским нетерпением сразу понять — кто он, Людвиг фон Шехт, враг или друг. Нет, ничего подозрительного не мог я уловить в его облике, в манере говорить, сдержанной и медлительной, — но ведь он был Шехт!

Много лет прошло, а он и теперь передо мной, в ватнике, с тростью...

— Держите, Ширяев, — сказал Сторицын.

Он высыпал мне на ладонь горсть узорчатых пластинок. Они оплавились, огонь покоробил и свел как бы судорогой фигуры нимф и амуров, погнул гирлянды листьев, лишил блеска щиты, шлемы и мечи.

С Янтарной комнатой они не имеют ничего общего — эти медные накладки, украшавшие мебель, старинную дворцовую мебель, сгоревшую здесь.

Где же признаки Янтарной комнаты?

Янтарь сгорает целиком, без следа. Даже лабораторный анализ пепла не принесет пользы. Единственное, что остается от янтаря, погибшего в огне, — это запах, смолистый, церковный дух ладана. Но напрасно мы нюхаем пепел, запах давно выветрился. А скрепки, металлические скрепки от зеркальных панно — они-то должны были уцелеть! Почему же их нет?

Мы ворошим пепел. Сторицын рисует на листке

блокнота скрепку, широкий крючок, загибами прижимавший зеркало к стене. Найти хотя бы один!

— Придется просеять пепел,— говорит Сторицын.— Поставим тут сито. Как на раскопках.

— Вы правы, коллега,— отвечает Людвиг фон Шехт.— Вы совершенно правы.

Низкий, хрипловатый голос его звучит спокойно. Конечно, нужно тщательно проверить. Сам он не был при пожаре, а Теодор мог обмануть...

Так запомнилось мне то утро в замке. В тот же день Сторицын попросил у Бакулина двух солдат. Они где-то раздобыли кроличий вольер, соорудили сито и принялись за дело. Я был с ними безотлучно.

Пожар в замке не коснулся Янтарной комнаты. Ее уже не было в зале выставки, когда туда угодила зажигательная бомба. Теодор обманул брата, или Людвиг сам скрывает правду...

Но нет, у меня не было оснований не верить Людвигу. Он сокрушался вместе со Сторицыным, порицал Теодора. Об умерших не говорят дурное, но факты вынуждают... О, от Теодора всего можно было ожидать.

Где же Янтарная комната? Людвиг вспомнил: на Почтовой улице есть подвал, отведенный в свое время для музейных ценностей замка. В бытность Людвига главным хранителем туда успели свезти немного, но, как знать, не воспользовался ли бункером Теодор?

Мы кинулись туда. Был мгlistый вечер. Над входом в бункер мерцал Гамбринус, намалеванный свечами красками. Он протягивал над руинами, над битым кирпичом кружку пива. Ничего, кроме полуподвальной угловой пивной, не сохранилось от здания, зато вглубь лестница уходила на три этажа.

Баррикады ящиков с пивом преграждали нам путь. Мы лезли по ним, раздирая шинели, а потом принялись ломать железную дверь, запертую на замок. Она впустила нас в обширное помещение, душное, сырое. Где-то звенела капель, по бетонному полу разъехались лужи. Сторицын поскользнулся и едва не упал, я вовремя схватил его за рукав. Железные койки в два этажа. Подсумки, ремни, пузырьки с ружейным маслом — давно брошенное солдатское добро. Еще дверь, тоже железная. Вошли. Фонари осветили стеллаж с рулонами.

Картины!

Они несколько утешили нас. Сторицын ликовал, шумно благодарил Людвигу.

— Брюллов, Карл Брюллов, замечательный наш живописец,— объяснял мне Порфирий Степанович.— Сколько света, а! Гроздь винограда налита соком, солнцем,—сейчас брызнет из нее! Его «Итальянский полдень» знаете? Так это, очевидно, вариант. Впрочем, вы ведь полнейший неопит. «Последний день Помпеи» тоже небось не видели? Ох, Ширяев, попадите только ко мне после войны!..

Людвиг, снова поразмыслив, назвал еще один бункер. Но туда мы попали не сразу — вход завалило рухнувшей стеной кирпичи. Нам помогали саперы.

Замелькали горячие дни. Я и Сторицын — мы очутились во главе экспедиции. Да, целой экспедиции по розыскам Янтарной комнаты.

Энергичным помощником Сторицына стал... старшина Лыткин из автопарка. Добился-таки своего!

При переводе его к нам открылось прошлое старшины — отнюдь не безупречное. Два раза был осужден за растрату, в армию пошел из тюрьмы добровольно, чтобы смыть свою вину кровью.

Навыки десятника Лыткин приобрел в лагере, и онигодились,— никто другой не умел так расставить людей, так наладить труд, когда надо было разбирать обломки, взрывать завалы, прокладывать лопатами путь в какой-нибудь бункер. Командовал он зычно, весело, с прибаутками:

— А ну — плечиком! А ну — пузиком! Эх, зеленая! Идет-идет, сама пойдет! Эх, милашка — семь пудов!

Наведавшийся как-то к нам Чубатов озабоченно сказал мне:

— Лексикон прошлого столетия! Откуда у него эти бурлацкие словечки?

— Не играет роли,— сказал я сухо.

С Людвигом фон Шехтом я свылся. Работал он неплохо, держался просто, не заискивал. О научных своих работах говорил редко, а если спорил со Сторицыным, то очень деликатно.

— О, нет, я ничего не утверждаю,— говорил он.— Но социализм в Западной Европе? Это не умещается в наше сознание. Нет. Путь Америки нам ближе, по нашему складу, по духу. Мы слишком индивидуалистичны.

Мне он как-то сказал:

— У вас, русских, есть что-то от Востока. Коллективизм степей, полчищ Тамерлана и Чингисхана.

— Они, мне кажется, ближе к вашему Гитлеру,— сказал я.— А для нас всегда были врагами.

Сторицын был доволен. Его немецкий коллега, по-видимому, искренне переживал каждую нашу неудачу, вместе с нами ломал голову над загадкой Янтарной комнаты.

Как-то раз в одной из квартир Теодора фон Шехта мы обнаружили любопытные документы. Теодор вел дела с американской торговой фирмой.

Вот что ему писали:

«Ваше предложение заинтересовало нас. Но в силу того, что США являются союзниками России в этой войне, открытая закупка нами картин, названных Вами, в настоящее время затруднительна».

За точность текста не ручаюсь, но смысл был именно таков. Они, видите ли, стеснялись открыто принять картины, награбленные Теодором! И Теодор понял намек и привез к себе на виллу художников, замазывать картины. Их, стало быть, готовили к отправке за океан!

По совету Бакулина я рассказал Людвигу фон Шехту о событиях на Кайзер-аллее — о Кате Мищенко, пропавшей без вести, о Бинемане, об убийстве Кайуса Фойгта. Лицо Людвига выражало любопытство, даже некоторое недоверие.

— Несчастный Фойгт! — произнес он.— Да, я слышал кое-что, мне говорили. Это почти невероятно. Знаете, у нас издавали детективные романы, одна марка за книжку. Очень похоже!

Нет, тут он ничем не мог быть полезен.

В своих мечтах я представлял себе схватку,— да, смертельную схватку с врагом, с убийцей Фойгта, и непременно на пути к Янтарной комнате. Он стережет ее, он следит за нами исподтишка. Он постарается помешать нам, нанести удар, как только мы будем у цели. Но мы захватим его живьем, и тогда мы узнаем все. Разъяснится самое главное — судьба Кати.

Но Янтарная комната не давалась нам. Мы вламывались в подвалы, рыли землю, взрывали тонны кирпича, а она словно противилась нам и — будто заговоренный клад — все глубже уходила в недра.

Вскоре я начал еще один поиск. Свой, личный...

Однажды я ехал по «городу развалин». Машина сошла с израненного асфальта, зашуршала по дощатому настилу. Он навис над краем воронки, глубокой воронки от тяжелой бомбы. Внизу крутилась вода. Грязная, цвета ржавчины, с хлопьями нездоровой серой пены, она стремилась куда-то по подземному руслу. Взрыв обнажил его здесь.

Под кирпичной осыпью выступали бетонные берега потока. Из него, словно мачта потонувшего судна, торчала железная балка. Такой же поток там — под домом Черноголовых. Мне представилась арка, черное отверстие туннеля, поглощавшее воду. А что, если...

Машина оставила за собой настил, нас затрясло на выбоинах мостовой, но я не ощущал их. Догадка захватила меня. Дома вокруг того квартала на Кайзер-аллее снесены начисто. Воронок там много. Катю могло вынести в воронку.

Я не сказал никому — ни Сторицыну, ни Бакулину. Здание моей надежды было слишком зыбким.

Вечером я отправился на Кайзер-аллее. Долго я бродил среди руин, одолевал хребты битого камня, завалы железа, путаницу проволоки. Слушал, не шумит ли вода. Свистал ветер, перебирал смятые лоскуты кровли, рвал белую тряпку на шесте, воткнутом в блиндаж.

Дня два спустя я повторил попытку. На этот раз мне больше повезло: я набрел на воронку, залитую водой. Это мог быть тот самый поток, от дома Черноголовых. Рухнувшая кладка образовала рифы, вода пенилась, плескалась. Глухо стучала о кирпичи помятая каска, подхваченная течением.

Сумерки сгущались, вода темнела, но я не уходил. Стук словно прибывал меня к месту.

Неожиданно вплелся другой звук. Покатились, посыпались в воду обломки, потревоженные кем-то. Я вздрогнул, обернулся. На берегу, повыше того места, где я стоял, обрисовалась сгорбленная фигура.

— Русский офицер? Вы ищете что-нибудь?

Немец был очень стар. Голова его тряслась. Зачем он здесь, в «городе развалин»?

— Мы живем тут,— сказал он.— Хотите посмотреть? Пожалуйста!

Мы поднялись, вошли в траншею. Низенькая хромая старушка ковыляла у костра. В котелке что-то кипело.

— Каша,— сказал старик.— Ваша русская каша,— повторил он, выговаривая это слово старательно, с нежностью.

— Каша,— как эх, откликнулась старушка.— Эти санитарки такие хорошие! Ваши санитарки... И красивые. О, вам хорошо, у вас красивые женщины. Правда, Франц?

Вчера санитарки уехали. Они квартировали тут недалеко, в бункере. Жаль, что их уже нет. Они угощали картофельным супом, хлебом и кашей, а одна принесла даже масла,—много, почти полстакана. Перед отъездом санитарки пришли проститься и подарили десять пакетов каши. Она называется — кон-цен-трат. Вкусная, с жиром, очень питательная.

Старушка подняла с земли стакан, всхлипнула и показала, сколько в нем было масла.

— Не плачь, Герта,— сказал старик.— Вы простите ее. Она всегда плачет, о чем бы ни рассказывала. Плохое или хорошее — все равно плачет.

Давно ли они живут тут, в землянке? Оказывается, недели три. Да, они и во время штурма были тут. В первый же день сюда прорвались русские танки.

— Мы не высывали носа,— говорил старик.— Один танкист открыл нашу дверь и спросил... Что он спросил, Герта?

— Откуда течет вода в воронку,— молвила старушка, помешала душистую гречу и облизнулась.

— И что вы ответили?

— Вода из Прегеля, пить ее нельзя. Бог знает, по каким трубам она идет.

— Больше он ни о чем не спрашивал?

— Нет.

— Лицо у танкиста было красное. Герта,— старик хихикнул,— решила, что у ваших такая кожа. Вы же красные,— он опять смущенно хихикнул.— Но я сказал: «Герта, ты наивный ребенок. Парень разгорячен, ему так жарко в башне танка, вот и все». А она... Это смешно, правда?

— Да, — ответил я, думая о своем.

Правильно ли он понял танкиста?

Вряд ли танкист собирался пить из ямы. Ясно же, вода грязная. Он сам видел. Но, может быть, было темно? Нет, светло, коли он заприметил землянку. Танкисты подобрали Катю! Да, подняли ее, раненую, и хотели разузнать...

Старик подтвердил: было светло. Я задал ему еще вопрос.

— Странно.— Он переглянулся с Гертой.— Я не слышал ни о какой фрейлейн, но... Странно, странно.— Он опять посмотрел на Герту и пожевал губами.— У нас нет надобности лгать, бог свидетель! — Старик заволновался, вскочил с табуретки, снова сел.

Оба уставились на меня с недоумением, с укором. Я поспешил успокоить их.

— Я верю вам,— сказал я.

— Суший ад,— проговорил старик.— Дома здесь разнесло еще осенью, а тут, когда вы пошли штурмом, все перепахало сызнова. Боже мой! Фрейлейн, возможно, пряталась в воронке,— ведь в воронке безопаснее. Хотя куда там! Один кирпич десять раз перевернется, пока не успокоится,— вот как теперь воюют. Мы не станем врать. Мы не высывались, мы боялись. Я и тому господину так сказал.

— Какому господину?

Я шагнул к Францу и едва не опрокинул котелок с гречкой.

— Он не назвал себя. Когда он приходил последний раз, Герта? Позавчера? Нет,— он загнул пальцы,— три дня назад, во вторник. Зачем? Ах, вы не знаете его! Он спрашивал то же самое, насчет фрейлейн...

— Как он выглядел? — сыпал я вопросы.— Русский или немец?

— Немец,— сказал старик.— Он не дал нам своего имени и не велел зажигать коптилку. Было темно, как сейчас. Нет, еще темнее. Верно, Герта? Крупный мужчина, немец, вот все, что я могу вам...

— Каша! — вскричала Герта.

Старики бросились снимать котелок. Герта вытерла глаза тряпкой и кинула ее на табурет.

— Кон-цен-трат,— произнес старик.— О, она очень богата жиром, ваша русская каша!

— Куда он пошел от вас? — спросил я.

— Бог его ведает! — Старик достал носовой платок и обтер ложку.

Я простился.

Траншея вывела меня к воронке. Внизу, как черное чудовище, шевелилась, шипела вода. Я оглянулся. Если бы не отсвет догоревшего костра, я ни за что бы не нашел сейчас дорогу обратно, к землянке Франца и Герты.

Впереди по Кайзер-аллее катился грузовик, время от времени включая фары.

«Немец! — повторял я про себя. — Немец! Кого из немцев касается судьба Кати? Кайуса Фойгта нет в живых. Цель явно недобрая у этого немца, потому он и скрытничал. Кто же он? Это тот — третий! Убийца Фойгта! Катя опасна для него, потому-то он и явился ночью к старикам. Значит...»

Я чуть не закричал от радости. Значит, он сам не знает в точности, что с Катей. Он не видел ее мертвой. Она, верно, ускользнула от него...

Танкисты вытащили ее из воронки, в крови, без сознания, сдали в медсанбат. Оттуда Катю отправили в тыл, она долго не приходила в себя, но ее спасли. Конечно, спасли! Иначе быть не может!

Так я и скажу Бакулину: Катя спасена!

Майора я застал дома. Он читал. Лампа освещала заголовок: «Понятие виновности».

— Пора подзубрить, — сказал он, отодвигая книгу. — Скоро штатское надевать. Ну, что у тебя?

Я рассказал.

Мчась к нему, я рисовал себе, как он улыбнется, похвалит меня, скажет: «Весьма вероятно». Он любит это слово — «весьма». Наконец-то и я пригодился! Да, я сделал важное открытие, отрицать он не станет.

Слушал меня Бакулин внимательно. Но я не слышал от него «весьма вероятно». Он кивнул и точно забыл о моем существовании. Прикрыв глаза, он сидел некоторое время неподвижно, свет лампы падал на его усталое лицо.

— Что ж, так оно и выходит, — молвил он в ответ на какие-то свои мысли. — Весьма естественно. Дело идет к развязке.

Да, развязка близилась.

Сейчас мне кажется — я сам ощущал это в те дни. Утверждать не берусь. Но, разумеется, воображение рисовало мне картину последней схватки во всех подробностях. Погоня среди руин и в лабиринтах подземелья, ожесточенная перестрелка где-то в бункере, близ замурованной Янтарной комнаты, фигура врага, прижавшегося к стене, побежденного, с поднятыми руками...

Нет, не так все закончилось.

Видную роль в завершающие дни поиска неожиданно сыграл старшина Лыткин.

Я мало вам рассказывал о нем. Одно время он вызывал у меня чувство настороженности — очень уж он рвался к нам. Может, из корысти! Вскоре оно прошло. Сторицын — тот нахвалиться не мог Лыткиным: работа, прекрасный организатор.

Однажды во время перекура Лыткин подсел ко мне. Он долго, старательно свертывал сигарку.

— Наше, солдатское, — сказал он. — Сигареты что, никакого впечатления! Мираж, по сути дела. Эх! — Он с наслаждением затянулся. — На гражданке что будем курить? Вопрос!

Глаза его смеялись.

— Не пропадем, — бросил я.

— Махры-то хватит, — согласился он. — Трава! А ремешок армейский не сниму. Пригодится.

— Зачем?

— Живот подтянуть потуже.

Веселость в глазах исчезла, ее как будто и не было никогда. Угрюмая тень набежала на лицо, оно обтянулось, отвердело.

— Для вас, может, кринки в чулане стоят... Добро пожаловать! За ложку — и к сметане!

— С чего вы взяли, старшина! — отрезал я. — Какая кринка? Пойду на свой завод и учиться буду.

— На кого же?

— Пока одни предположения, — ответил я нехотя. — Думаю, на следователя.

Да, я хотел пойти по стопам Бакулина. Из любви к нему его профессия увлекала меня. Сейчас смешно вспомнить...

— Работа пыльная,— сказал Лыткин.— Вся на нервах. А ставка? На восемьсот бумаг сядете. Я имею понятие, что значит следователь. Сталкивался.

— Деньги не решают,— сказал я.

— Да? — Он поглядел на меня не то с удивлением, не то с радостью.— Не решают, говорите? Вопрос! Человек, он ведь, черт его знает, какая скотина,— произнес он жестко.— Сколько ни дай, все ему мало!

— Кончай курить! — крикнул Сторицын совсем повоенному. Он стоял на горке битого кирпича, красной, умытой дождем, и оглядывал свое войско, вооруженное лопатами, кирками,— прямо командующий на наблюдательном пункте.

Лыткин с сожалением поднялся. Он явно хотел сказать мне что-то еще. Помедлил, потом разом выпрямился, поправил гимнастерку, лихо, обеими руками приладил на лысой голове фуражку.

— Кончай курить! — гаркнул он.

Разговор этот с Лыткиным вспомнился мне дня два спустя. Был в нашей группе сержант Володя Сатраки, грек, бывший сочинский парикмахер. Озорной, всегда с шутками, с анекдотами, неподражаемый имитатор. Где хохот — там Сатраки.

— Худо, хлопцы, худо! — донесся до меня однажды голос Лыткина.— Встали на путь разгильдяйства. Распотыренно работаем, нет этой... сконцентрированности. Я персонально тыкать пальцем не намерен... но...

В кругу солдат, стонавших от восторга, похаживал Сатраки. Он в точности копировал старшину.

Я двинулся туда, чтобы одернуть сержанта. Высмеивать старшего по званию в армии не положено. Но, признать, сам не удержался, прыснул!

— Володя! — крикнул кто-то из солдат.— Ты покажи, как старшина с фрицем говорит!

Фрицем и еще, за вежливость, «гутен моргеном» звали Людвиг фон Шехта. Странно, однако! При мне Лыткин ни разу не говорил с Людвигом, если не считать неизменных, повторявшихся несчетно в течение дня «гутен морген», «гутен таг», которыми оба обменивались на ходу.

Когда Лыткину требовалась какая-нибудь справка от Людвига, старшина обычно обращался через Сторицына или через меня.

Сатраки между тем не заставил себя упрашивать. Немецкого он не знал, сыпал слова, лишь по звучанию напоминавшие немецкую речь, получалось бесподобно! Я не мог его остановить, не было сил.

Потом я отвел сержанта в сторону:

— Когда Лыткин говорил с немцем?

— Вчера. Похоже, они о чем-то условились. Старшина твердил: «Гут, гут».

Улучив момент, мы с сержантом осмотрели место встречи Лыткина и немца. Случай сохранил среди развалин клочок зелени — сгусток акаций, напоминание о погибшем здесь, под обломками, сквере.

Странно, очень странно! Что общего между ними! И тут ожили, разумеется, прежние мои подозрения. Слово за словом восстановил я в памяти недавнюю беседу мою с Лыткиным — о планах на будущее. «Человеку все мало», — повторялось в мозгу.

Вечером я явился к Бакулину.

Он и эту мою новость принял как должное. Нет, ничем его не удивишь!

— Ты что, серьезно следователем решил стать? Брось, брось! У тебя же, милый мой, все на лице написано. Выдержки никакой. Нет, нет, выкинь из головы!

Я молчал. До слез он расстроил меня. Взял, да и уничтожил одним махом Ширяева-следователя.

— А насчет Лыткина... Ну, беседовал с немцем! Это же не преступление! Что еще ты знаешь о нем? Ну, просился к Сторицыну. Тоже не грех. Русский человек любит поиск, ты заметил?

Майор раскрыл папку, полистал бумаги, потом закрыл, отодвинул.

— Три медали «За отвагу», один орден Красной Звезды. Бравый старшина! В тылах он недавно, после ранения, а так — всё на передовой. Положим, героем он не всегда был, как тебе известно.

Да, конечно, известно. Но это как-то не тревожило меня до сих пор. Все довоенное для меня как бы отрезано ножом войны. Начисто отрезано. К тому же натура моя попросту не ведала и не признавала жадности к деньгам, к приобретению добра. Ну, воровал он прежде! Но ведь воевал, через огонь прошел.

Сам я презирал и сейчас презираю всякую громоздкую собственность. Вы видите, как я живу? Жена го-

ворит: «Ты не от мира сего, Леонид! Вон сосед дачу строит. Что мы — хуже?» Но я думаю: я как раз от нашего мира. «Наше» — всеобщее наше — оно и богаче и веселее липкого «моего». Не гнетет, не лезет тебе в душу.

— Я сам Лыткина отхлопотал, взял к нам,— сказал Бакулин.— Меня предостерегали. Запятнанный, мол. Анкета, что она,— гарантия от ошибок? Да не нужны мне такие гарантии! Проще всего, убоявшись ошибок, бумагами от жизни отгородиться. Да что толку! Изучать людей надо, Ширяев! Без предвзятости, душевно. Тем более в данной обстановке. Люди прикасаются к ценностям. А люди... они разные, Ширяев.

— Ясно! — сказал я.

Оберегать ценности, доверять и в то же время не забывать о контроле — об этом Бакулин напоминал не раз. Мне опять стало не по себе. Вот к чему свел наш разговор Бакулин. Или он не все открывает мне?

Майор еще раз посоветовал быть внимательнее к людям, узнать их получше, и отпустил меня.

Дня три я приглядывался к Лыткину, заговаривал с ним. Он отвечал односложно, отчужденно, словно боялся меня. Я мучился, строил догадки. Ведь быть в стороне я не привык, не такой характер. Наконец вечером, после работы, Лыткин подошел ко мне.

— Дело есть, лейтенант,— сказал он.

Произнес он эти слова как бы вскользь, с той грубоватой фамильярностью, которую иногда позволяет себе в отношении к офицерам бывалый старшина.

— Слушаю,— сказал я.

— Ужо, как стемнеет,— молвил он тихо,— ко мне приходите. На автобазу. Прошу вас.

Тотчас возникла в памяти хибарка за кладбищем — из кусков кровли, из старых досок; загородка для кур, белая несучка на плече у Лыткина.

— Очень нужно... Придете?

— Хорошо,— ответил я.

Хибарку я едва нашел в темноте. Штора светомаскировки плотно закрывала единственное оконце.

Ничего не изменилось внутри — те же рекламные плакаты: лампочки «Осрам», автомашины «мерседес» — и среди них пестрядь дорожных знаков, пособие для водителя в Германии. Откупоренная бутылка шнапса кра-

совалась на столе. Старшина, видимо, уже хлебнул из нее. Он волновался. Со стуком положил вилки, взрезал банку со шпротами, неуклюже искромсав крышку.

— По маленькой, а? — Он поднял бутылку, поболтал. — Не желаете?

— После, — сказал я.

— Ладно, — он отодвинул все локтем, сел рядом, подался ко мне.

Я ждал.

— Молодой вы, — протянул он. — Молодо-ой. Не жили еще совсем, по сути. Вы простите.

— Пожалуйста, — сказал я.

— А я только вам хочу сказать. Вам первому. — Он утюжил кулаком клеенку на столе. — Почему? Сам не пойму. С вами вот легче как-то.

Некоторое время он молчал, словно поглощенный созерцанием узора на клеенке, потом встал, откинул занавеску, снял что-то с полки, звякнув посудой.

На столе заблестело кольцо. Гладкое, массивное кольцо, должно быть золотое. Мне хотелось слушать Лыткина, и я не мог понять, при чем тут кольцо.

Лыткин засмеялся, подбросил кольцо на ладони, поддал мне:

— На, лейтенант, поддержи!

Это еще что!

— Во сколько ценишь? — Он смеялся, совал мне кольцо. Кровь прилила к моим щекам. Я резко отвел его руку.

— Откуда у вас? — спросил я строго.

Он осекся.

— Простите, — выдавил он. — Вы решили — Лыткин вор. Да? Правильно? Нет, я не вор. Я был вором... Подождите, сейчас... Вот еще одна вещь.

Квадратная серая коробочка появилась на столе. Внутри на малиновом бархате переливался мелкими водянисто-светлыми камешками полумесяц. Голубые и желтые огоньки теплились в этих камешках.

— Тоже оттуда, — услышал я. — От Штабеля.

Несколько дней назад мы расчищали квартиру Штаубена, полуразрушенную, заваленную обломками. Штаубен — солдаты переименовали фамилию на «Штабель» — был одно время старшим хранителем музея в Орденском замке. Адрес нам дал Людвиг фон Шехт. Он

рассчитывал обнаружить трофейные ценности. Но мы напрасно трудились там, Штаубен жил скромно.

— Нет, Лыткин не вор,— повторил старшина.— Как вы прикажете, так и сделаю. Желаете, вам подарю, чтобы вам лучше устроиться на гражданке. А в чем дело!— Он повел плечом, увидев мой протестующий жест.— Вещи не наши, фрицевские, хозяин помре, как говорится... Находка, счастье! Не для меня только. Мне-то как раз и нельзя их иметь. Не поняли?

— Пока нет,— сказал я.

— Майор вам ничего обо мне?.. Хороший он мужик, Бакулин, а с вами легче мне. Не знаете, стало быть? Не знаете, как я в армию попал? Из тюрьмы! Я два раза сидел.— Он заговорил быстро, с гримасой, словно стараясь скорее выложить все, сбросить с языка эти нелегкие слова:— За растрату попал. В торговой сети я служил до войны, в Ростове. Была у меня фантазия — сто тысяч иметь. Вам смешно? Ни больше ни меньше — сто тысяч. Цифра очень веская. Сто тысяч. Дико для вас? Да?

— Да, пожалуй, дико. Я никогда не мечтал иметь сто тысяч. На что мне столько!

— На войне все это вроде сошло. Война — она как баня. Пар у нее горячий, до костей прошибает. На автобазе я ни в чем не замечен, начальство мое вам подтвердит, если нужно. И вот — вышел же случай!..

«У него план тайников! — подумал я.— План, который был у Бинемана. Артиллеристы — те, что наткнулись на «оппель» с мертвым Бинеманом,— взяли его бумаги и вручили старшине...» Такая мысль и прежде приходила мне в голову. Но нет, все оказалось проще.

— Помните, встретил я вас и Порфирия Степановича на этой, как ее... на улице Мольтке, что ли...

Лыткин не соврал тогда, он действительно ходил по дворам в поисках заброшенных гаражей, собирал запасные части. О сокровищах, скрытых в Кенигсберге, понятия не имел, пока не разговорился со Сторицыным. И тут неожиданно вернулась старая болезнь.

— Сосет и сосет, будто пьяницу к водке тянет. Миллионы лежат! Сам себя казню; есть же, размышляю, люди, которым это золото, допустим, или деньги — без вреда, занозой не впивается. Взять лейтенанта нашего!

Тогда я нарочно с вами речь затеял, увериться хотел. Видишь, говорю я себе, не все такие, как ты. Не все!

Я слушал старшину потрясенный. Никогда еще взрослый человек, старше меня годами, не открывал мне так свою душу, с такой жестокой, режущей прямо-
мотой.

— Вроде двое во мне. Один, ровно следовательно, допрашивает — ты что замыслил? На прежнюю дорожку? И ведь обманываю себя, будто из чистого интереса к вам иду работать, а золото — разве только потрогаю его... А тут — вот это добро. Сперва колечко — бог его ведает, откуда оно выкатилось прямо мне под ноги. А подвеска эта... Ишь, играет, а? Фриц наш, «гутен морген», мне «берите» говорит. Нихт руссиш — не русское, мол, законный твой трофей. Мы вас, мол, разорили, так надо же вам поправить свои дела. Умеет подойти, гад! У Штабеля на квартире, может заметили, чудной такой комод стоит. Красное дерево. Ящички маленькие, с костяными пуговками. Он, фриц, мне и посоветовал в ящиках пошарить. Хватъ — бриллианты! «Гутен морген» поглядел, говорит: «Вещь не музейная, возьмите себе. Я старый, мне не требуется». Принес я домой, люблюсь — какая благодать досталась! Слепило меня. А немного погодя, как поостыл, напало на меня сомнение. Дом-то в прошлом году разбомбило! Теперь обратите внимание, коробка обшита дермантином, иначе сказать — чертовой кожей. Так!

Лыткин совал мне коробку. Я подержал ее. При чем тут дермантин?

— Поскольку я товаровед, вопрос для меня знакомый. Материал прочный, однако от сырости на нем непременно вскочит плесень. Шагренъ — та гниет, а это от грибка страдает. Видите, царапины есть, запачкано, а плесень где? Хоть бы пятнышко! То-то и есть. Лежала вещь полгода в холоде, в сыром помещении? Нет!

Лыткин отшвырнул коробку. Теперь я понял. Людвиг подложил ему драгоценности.

— Так точно,— молвил старшина.— Подстроил. Иначе и быть не может. Потом я скумекал, ящички в комоде все заклинило, а этот один, с гостинцем для меня, как по маслу выехал. Значит, открывали недавно.

Какой-то частью сознания я все время ждал худого от Людвиг фон Шехта. Людвиг... И все-таки это было

неожиданно. Только вчера Людвиг отличился, помог найти иконы древнего письма, увезенные из Киева. Они лежали в порту, в пакгаузе, среди рулонов зеленого шинельного сукна. Одна — работы живописца Рублева. Людвиг фон Шехт, профессор, кабинетный ученый, буквояд и книжный червь, как его охарактеризовал Сторицын, тайком подкупает зачем-то Лыткина. И, быть может, чужим, краденым добром. Мне слышался ровный, спокойный голос Людвиг: «Человек Запада индивидуалистичен...»

Так вот к какой практике он перешел от своих теорий!

— Сулил к десяти, — сказал Лыткин. — Скоро уж... Я потому и позвал вас.

— Он придет?

— Обещался.

— Когда? Сегодня условились?

— Поймать хотите, — произнес он с укоризной. — Э-эх, товарищ лейтенант! Я, простите, вокруг пальца вас обвел бы. Простите, — повторил он мягче. — Третьего дня условились. Вас, ровно, не видать было.

— Имеются данные, — сказал я сухо, задетый его словами. Мне следовало бы оставить, сейчас же оставить этот напускной тон дознания, не свойственный мне, ненужный. Лыткин не скрывал от меня ничего. И я чувствовал это, но из нелепого упрямства начал форменный допрос.

— Какая цель у немца? На что он рассчитывает? Имеете представление?

— Никак нет.

— Не намекал он вам?

— Никак нет.

Лыткин замкнулся. Он потемнел, руки его мяли клеенку.

— Коли не верите мне... Не знаю, как тогда... Арестуйте! — выкрикнул он. — Арестуйте! Обратно его за решетку, Лыткина! Пускай отсидит остаток, четыре года! Так его...

— Брось, старшина, — сказал я.

Мне стало неловко.

— Что ж, может, и правда, — молвил он тихо, в раздумье. — Недостоин я лучшего. Я спрашиваю себя: «От кого ты берешь, Лыткин? Как же ты допускаешь такое?»

Люди с победой до дому, а ты под Гитлером окажешься! Людям праздник, салют из орудий, а тебе?»

Он судорожно раскрыл футляр, сунул туда кольцо, нажал. Внутри что-то хрустнуло.

— На, лейтенант! Освободи меня! На, сдай куда следует...

— Хорошо,— сказал я и положил футляр в карман. Я не посмотрел, что там сломалось.

Зашипели на стене ходики, из оконца выглянула кукушка, нелепая, в зеленых пятнах и с красной головой, пискливо прокуковала. Половина десятого, через полчаса он явится...

— Не желаете ли? — Лыткин пододвинул мне рюмку.— Нет? Верно, нам-то, пожалуй, и не стоит. А вот его не мешает угостить, чтобы язык развязал.

Время шло медленно. Мы поглядывали на часы, отщипывали хлеб, жевали. Мучительно долго тянулись эти полчаса.

17

Мы прождали еще полчаса. Наконец тиканье ходиков сделалось совершенно невыносимым.

— Неладно, лейтенант,— сказал Лыткин.— Где он живет, вы знаете?

Я встал, надел плащ. Старшина снял с вешалки португую с пистолетом, шинель.

— Вы оставайтесь,— сказал я.

Он смутился.

— Вдруг он еще придет,— объяснил я.— Тогда вы... Вам тогда задание...

Задание столь деликатного свойства я давал впервые. Конечно, я с радостью доложил бы Бакулину или Чубатову. Но телефона под рукой нет. Решать надо самому. Разумеется, Лыткин должен быть здесь. Другого выхода нет. И опасаться нечего. Если Людвиг фон Шехт придет, он примет его, угостит, заставит выложить карты.

— Не спугните только,— напомнил я.

— Полный порядок,— бойко отозвался Лыткин.— Не сомневайтесь.

Лицо его просветлело. И у меня исчезли последние сомнения. Я сознавал теперь: ему можно верить. Ему

обязательно необходимо верить, этому человеку, одолевшему врага в очень суровом сражении. Да, возможно, в самом трудном из всех, какие ему довелось пережить.

Я выбежал на шоссе. Попутная машина помчала меня на Шлезвигерштрассе.

«А что, если он скрылся!» Эта мысль мучила меня, торопила, не давала и минуты покоя. Да, заметил меня, понял, что дело проиграно, и исчез в Кенигсберге, в одном из его бесчисленных бункеров или среди руин «города развалин».

Было около полуночи, когда я поднялся на крыльцо особняка и позвонил. Мне открыл Чубатов. Я был слишком взволнован, чтобы чему-нибудь удивляться. Я готов был броситься на шею Чубатову, расцеловать его.

— Где Лыткин? — спросил он.

— У себя, — ответил я, переводя дух. — Ждет. Я велел ему...

— Сейчас это уже не суть важно.

«Не суть важно», «не суть важно», — повторялось во мне, пело во мне. Значит, Людвиг не ушел.

— Доложите майору, — сказал Чубатов.

Я вошел в комнату — высокую, пеструю от множества разных вещей, собранных здесь, как в магазине. За стеклами поставцов, на столиках, на тумбочках стояли вазы из фарфора и хрусталя. Одна ваза — на ней свирепо размахивал ятаганом японский самурай в золотой одежде — лежала на коленях у Бакулина. Он выгребал из нее письма, квитанции...

Бакулин улыбнулся, завидев меня. Лучше всяких слов говорила эта улыбка, что все обошлось благополучно. Я должен был доложить, встать как следует и доложить, но слова не шли, что-то сдавило мне горло.

— Ох, я так боялся, — выдавил я наконец. — Так боялся, что Людвиг сбежит.

— Теперь не сбежит, — произнес майор. — Как ты сказал? Людвиг? Нет, не Людвиг.

Много событий принес этот необыкновенный день, но оказалось, у него есть еще новость в запасе. Самая удивительная.

— Не Людвиг? — спросил я растерянно.

Какой-то предмет лежал на столе, обернутый клетчатым носовым платком Чубатова. Бакулин откинул уголок платка. Выглянул ствол пистолета.

— «Манлихер»,— сказал майор и бережно закутал.— У разных людей побывал, однако отпечатки могут пригодиться. Вот этим,— он опустил сверток на кожаный бьювар,— был убит Фойгт. Пистолет Кати, по-видимому. Нет, нет, Ширяев,— глаза Бакулина лучились,— профессор Людвиг фон Шехт не убивал. Он владел только пером. А главное, профессора давно нет в живых. Он умер на другой день после взятия Кенигсберга, в госпитале, от болезни сердца.

— Так кто же...

— Теодор,— услышал я.— Теодор фон Шехт.

У меня потемнело в глазах. Теодор! А Людвиг, значит, нет, Людвиг — только его личина... Или я не понял Бакулина? Он, верно, хотел сказать что-то другое...

В отношении человека, называвшего себя Людвигом фон Шехтом, меня никогда не покидала осторожность, но такого поворота событий я не ожидал. Хотя бы уже потому, что этот человек казался мне, юноше, стариком. Он — седой, с гривой маслянисто-серых волос — Теодор фон Шехт! Он — убийца! Возможно ли?

Не вдруг узнал я от Бакулина, как выплыла наружу уловка подполковника из эйнзатцштаба.

Первое подозрение заронил Сторицын. Да, Сторицын! Он как-то пожаловался Бакулину: фон Шехт избегает разговора на научные темы, отделяется общими фразами. Странный ученый! Бакулин затребовал из библиотеки города труды Людвиг фон Шехта. Отыскалась книжка, неизвестная Сторицыну, нацистская книжонка о германском национальном духе. Людвиг доказывал, что только германцы, высшая раса, могут создавать высшие ценности искусства. Может быть, фон Шехт просто боялся Сторицына, скрывал свое лицо фашиста?

Или...

Можно было бы отыскать людей, служивших при Людвиге в замке-музее. Но это было рискованно. Бакулин понимал, они могут предупредить фон Шехта, спугнуть. А сам фон Шехт отнюдь не стремился к таким встречам. Сторицын приметил и это.

Встречу с живым Теодором фон Шехтом Бакулин не исключал. «Кто убил Фойгта? — спрашивал он себя. — Кому он был опасен? Бинеман мертв. Точно ли умер фон Шехт? Не он ли — искомый третий?»

Оружие, гильза, найденная у амбразуры в доме

Черноголовых, пуля, вынутая из тела Фойгта,— все бесспорно...

За фон Шехтом установили наблюдение.

— А сыграть роль брата профессора ему было не так уж трудно,— сказал Бакулин.— Ученый-нацист и нацист-спекулянт, захватчик,— велика ли разница между ними? Две стороны одной сущности.

Притворно «помогая» нам, фон Шехт на деле хотел вымотать нас, заставить отказаться от розысков Янтарной комнаты, облюбленной им для своей коллекции.

— Понятно, он не надеялся, что его личина продержится долго. Намеревался бежать на Запад, к американцам. Упывал на то, что решать судьбы Германии — а в частности и Кенигсберга — будут наши союзники. Но ему нужен был здесь свой человек. Он избрал старшину Лыткина и обманулся.

Мне довелось быть на допросах фон Шехта. Он долго запырлялся. На вопросы о Кайусе Фойгте недоуменно пожимал плечами:

— Фойгт? Первый раз слышу.

— Ваш шофер.

— Недоразумение. Моего шофера звали Лютке, Альфонс Лютке.

— Марка машины?

— «Мерседес-бенц», легковая.

— А кто был на грузовой?

— У меня не было постоянной грузовой. Разные. И шоферы разные, имен я не помню.

— Имя Мищенко, Екатерины Мищенко вам знакомо?

— Нет.

— Ваша переводчица.

— Недоразумение. У меня переводчицей служила Клара Панке, немка из Поволжья.

Фон Шехта уличали свидетели, уличал «манлихер» с отпечатками его пальцев. Преступник изворачивался, запутывал следствие. Наконец он «вспомнил» Катю и Фойгта. Что с ними стало? Это ему неизвестно. Накануне штурма Кенигсберга он был нездоров, всеми делами ведал Бинеман.

Когда заходила речь о Янтарной комнате и других скрытых ценностях, фон Шехт отвечал либо односложными «не знаю», «не помню», либо молчал. Злобно молчал, сжав тонкие губы, вдавившись в кресло.

Однажды его прорвало.

— Не получите! — выкрикнул он. — Ни за что! В могилу я с собой не возьму... Но отдать вам? Знаете, чего я хотел превыше всех благ мира? Всегда хотел... Уничтожить вас. Вас и всех, кто с вами... О, я отдал бы все за это... За такое счастье... Все, до последнего пфеннига... Да, да, я убил Фойгта! Вот вам! Я убил!

— А что вы сделали с Мищенко? — спросил следователь. — Отвечайте!

Молодой следователь военного трибунала нервничал, курил папиросу за папирсой. Ему помогал, поддерживая спокойствием, опытом, Бакулин.

— Ее убил Бинеман, — выдавил фон Шехт. — Больше я ничего не скажу.

Суд приговорил Теодора фон Шехта к смертной казни. Его повесили.

Весть об этом догнала меня далеко к западу от Кенигсберга — в Бранденбурге. Там же я встретил и великий праздник Победы. С Бакулиным я расстался. Его назначили в другой немецкий город — в советскую комендатуру.

День Победы! Не было праздника радостнее для нас, переживших войну. Грохотом выстрелов огласился в тот день тихий немецкий пригород, где стояла наша воинская часть. Палили винтовки, пистолеты, палили вхолостую, в воздух, салютуя миру, сошедшему на землю. Земля пресытилась кровью, пресытилась железом, для мира надевала она свой весенний наряд.

Мои родные — отец, мать, сестренка, эвакуированные из Калуги на Урал, — остались живы. Но Катя! Надежды мои гасли, мне все труднее было верить в чудо.

И вдруг...

Было утро 12 мая. Забелели яблони, над ними гудели пчелы. Я сидел в саду с книгой, готовился к политзанятиям. За калиткой затормозил грузовик, с него соскочил незнакомый сержант и подал письмо.

— От лейтенанта Чубатова.

Я не спеша разорвал конверт. Что ему нужно от меня? Верно, справка какая-нибудь насчет Лыткина или... Не знаю, почему я подумал о Лыткине.

«Тов. лейтенант! Вам, наверно, будет интересно получить сведения о тов. Мищенко, и я воспользовался okazji, чтобы...»

Строки, написанные аккуратным чубатовским почерком, строго по линейке, затуманились, поплыли. Удержалась одна фраза на самой середине листка, подчеркнутая красным карандашом: «Врачи утверждают, что она будет жить».

Катя жива! Жива! Радость росла, распирала меня.

В конце письма Чубатов сообщил адрес госпиталя. В тот же вечер я принялся писать Кате.

Странные пути избирает юношеская любовь. Пока Катя была для меня где-то за гранью жизни и смерти, я не спрашивал себя, люблю ли я ее. Говоря с ней мысленно, я не произносил «люблю». Тогда она стояла выше этого земного чувства, зато теперь... какой-нибудь час раздумий и сомнений над листком бумаги — и я обнаружил, что влюблен в Катю бесповоротно!

Навсегда!

Я писал ей, писал полночи, рвал бумагу и снова брался за перо.

Катя ответила.

Я узнал наконец все. Катя рассказала мне, как Бинеман отвез ее на Кайзер-аллее, как открыл перед ней люк в библиотеке, показал путь к сокровищам, спрятанным фон Шехтом. Как появился перед ними фон Шехт, которого они — и Катя и Бинеман — считали умершим. А потом грянула канонада и привела обоих гитлеровцев в смятение, и фон Шехт, пошептавшись с обер-лейтенантом, отослал его, а сам предложил Кате спуститься в люк и пошел следом.

Когда лестница, пробитая в стене дома Черноголовых, осталась позади и Катя вошла в подземный коридор, воды еще не было. В какую сторону идти? Она оглянулась на фон Шехта, он держал пистолет. Катя выхватила свой, но фон Шехт выстрелил первый, попал ей в руку. Она выронила оружие, кинулась под свод коридора, побежала. Фон Шехт стрелял, ей обожгло плечо, бок. Ее фонарик выскользнул из пальцев, но не стук, а плеск донесся до ее слуха, — он упал в воду.

Фон Шехт отстал. Катя все бежала, теряя последние силы, а вода настигала ее, — и вдруг свет, ослепительный свет дня ударил ей в лицо. Это последнее, что запомнилось ей.

Несколько часов спустя ее подобрала танкисты. Она попыталась сказать им о себе, но не успела даже на-

звать свое имя,— потеряла сознание. В медсанбате у нее началось заражение крови. Ее отправили в тыл.

Много ли было известно о ней людям, которые спасли ее в день штурма, и тем, кто лечил ее, отнял у смерти? Ее юность, ее мягкий, ласковый говор кубанской казачки и раны, четыре раны на теле, нанесенные врагом.

В ответ на мои пылкие чувства Катя писала:

«Я должна огорчить вас, Леонид, так как лгать я не умею. Вы казались мне замечательным человеком, настоящим героем, когда вы так храбро захватили врасплох немцев, и я ждала от вас еще подвига,— подвига доверия ко мне».

Вот и все. Я уже говорил, что испытанное мною в Кенигсберге в конце войны повлияло на всю мою жизнь. Нет, я не стал ни следователем, ни работником музея. Я — мастер Калужского турбозавода. Катя далеко. Вспышка любви к ней так же ушла в прошлое, как и моя юность. Но слова ее, простые хорошие слова о доверии, о подвиге доверия,— они всегда со мной.

Катя в Калининграде, работает в музее. Она не теряет надежды отыскать Янтарную комнату. Недавно она писала мне, что, возможно, потребуется и моя помощь.

Что ж, я готов!

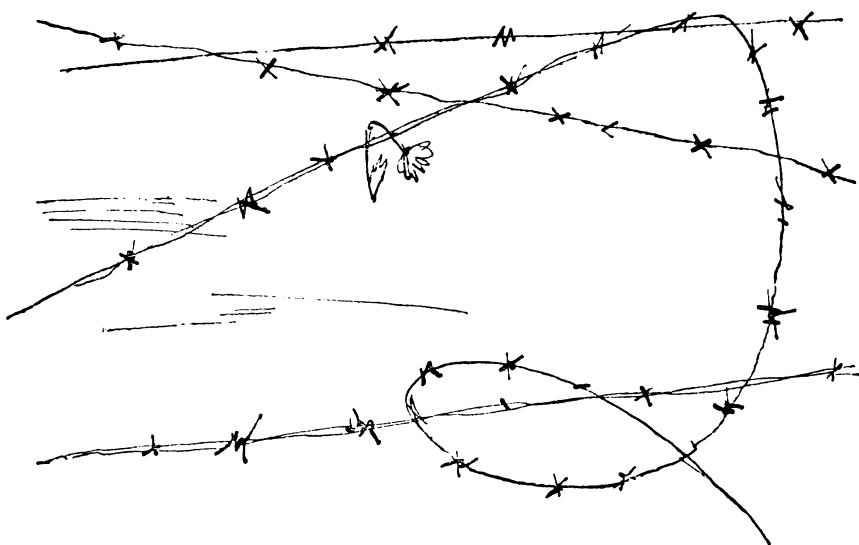
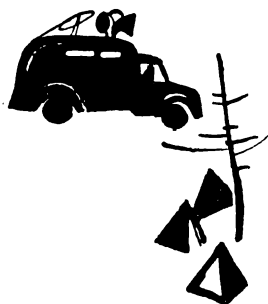
От автора

Кенигсберга — города-крепости, оплота прусской военщины — на карте больше нет. Есть советский город Калининград.

Поиски Янтарной комнаты продолжаются. Многие калининградцы — старые и молодые — мечтают разгадать тайну, вернуть Родине выдающийся шедевр искусства. Сильно препятствует вода, затопившая обширные подземелья. Откачать ее пока не удастся. Планы катакомб гитлеровцами увезены или уничтожены.

Янтарная комната и другие ценности, спрятанные там в годы войны, еще ждут открывателей.

**ЗАВТРА
БУДЕТ
ПОЗДНО**



На обочине, перед самым въездом на мост, лежит мертвый немец. Он промерз насквозь. Когда машина задевает труп, он звенит, как стеклянная кукла.

Должно быть, это один из тех, которые прикрывали отход. Свои не успели подобрать его, а нашим некогда убирать тела убитых врагов. «На Берлин!» — нацарапано мелом на борту грузовика, на броне самоходной пушки.

Машины идут и идут. Летит в небо ракета. Звонко, утренними голосами поют девушки-санитарки.

Я стою у дороги.

Все кругом в отвсетах полыхающих ракет. Только мертвый немец, обожженный струей огнемета, по-прежнему черный.

Вот наконец попутная! С мороза в кабине жарко, как в бане.

Наши там спят сейчас. Кончили работу и спят. Я застану их за чаем. А может быть, они уже позавтракали. Юлия Павловна взялась за карандаш, шофер Охупкин — он же повар — облизывая губы, вслух составляет меню обеда, а Шабуров... Шабурова мне трудно себе представить. То битый час сидит неподвижно и разглядывает свои руки, то с остервенением копается в своей технике.

С ним вообще не просто...

Я слез с грузовика на перекрестке, километрах в двух от передовой. «Саморядовка», — гласила надпись готическими буквами на поваленном столбе. Сразу за перекрестком начинался лес, и где-то в глубине его ухали разрывы.

Лес был искорежен танками, снег истоптан гусеницами. Звукостанцию я отыскал в ложбине, в гуще молодого сосняка.

Когда-то она была автобусом, наша звуковка, рядовым ленинградским автобусом. Может быть, и я тогда, в мирные дни, ездил в нем в университет, в театр. В то время кузов был красный, а выше окон — желтый. Теперь он сплошь покрашен в цвет, именуемый защитным.

В задней стенке — дверца. Под слоем свежей краски на ней проступают звездочки — следы пробоев. Нам выпали в дверцу и в правый борт.

Раньше внутри были диваны, обитые гранитом. Их сняли. Сколотили два ларя по бокам, достаточно широкие, чтобы спать на них. Третья постель — на полу, на листе фанеры. На крючках, на расстоянии протянутой руки, висят ватные куртки, автоматы.

Не вставая с постели, можно достать и верньер приемника. Окна затянуты плотными шторами. Впереди, у перегородки, отделяющей кабину водителя, — приборы. Мраморная доска с рубильниками, лампы, мерцающие во время работы синеватым светом. На крыше два больших рупора.

Сосняк почти скрывает звуковку. Она съехала немного с проселка, чтобы не мешать движению, и почти упирается радиатором в толстый, расщепленный снарядом пенек.

Дверца распахнута. На пороге, расставив ноги, в ватных штанах, в козьей безрукавке мехом внутрь стоит Юлия Павловна.

— А-а, Саша! — слышу я. — *Klamotten packen*,¹ насколько я понимаю.

Мы ездим на звуковке посменно — я и капитан Михальская. Так скоро она не ждала меня.

— Майор рвет и мечет, Юлия Павловна, — говорю я. — Где Шабуров?

— Шабуров? *Keine blasse ahnung!*²

Из приемника течет бархатный баритон генерала Дитмара, берлинского военного комментатора. Германская армия не отступает. О нет! В районе Ленинграда — эластическая оборона, выпрямление фронта.

¹ Складывать манатки (нем.).

² Не имею понятия! (нем.).

«Вас обманывают», — написано по-немецки на листке бумаги рукой Юлии Павловны. Ключки смятой бумаги на табуретке, служащей письменным столом, на полу, на ларе. Пепельница набита окурками. Михальская пишет листовку.

Сочиняя листовку, она накуривается до одури, ругается по-немецки и отвечает всем тоже по-немецки.

— Десять начал! Кошмар, Саша. Verflucht!¹ Михальская — абсолютная дура.

Она берет еще папиросу. Со смехом в узких карих глазах она смотрит, как я зажигаю спичку.

— Ой, не так, Саша!

Недавно я чуть не спалил ей брови. Я очень неловок со спичками, они ломаются у меня или гаснут. Со стороны это смешно, разумеется.

Я не курю. Коробок, который у меня в кармане вместе с пачкой «Беломорканала», для нее.

Михальская с нами недавно, месяца три. Когда майор Лобода предупредил нас, что в «хозяйстве» будет женщина, я ждал увидеть юное создание в гимнастерке, студентку с филологического, этакую круглую отличницу, гордую и наивную. Мы все, однако, готовились к ее приезду.

Я побрился, начистил пуговицы. Вошел невысокий танкист в ватнике, не по росту громоздких шароварах, приложил руку к огромному кожаному шлему и отрекомендовался капитаном Михальской.

У нее есть еще одно звание, невоенное, — кандидат филологических наук. Знает пять языков.

В танковой дивизии Михальская ездила в «звуковом» танке, у нас она летала: да, поднималась на самолете над немецким передним краем и кричала оттуда, с высоты, в микрофон.

Штабные машинистки прозвали ее «Юрием Павловичем». За шаровары и кирзовые сапоги. Им невдомек, что Михальская — наша гордость. Мы все гордимся ею, а я...

Нет, об этом не надо!

Сучки, комья мерзлой земли застучали по крыше звуковки. Ударило ближе.

— Всю ночь сыпет. Ну так что же вы молчите, Саша? Выкладывайте.

¹ Проклять! (нем.).

— А вы в курсе?

— Отнюдь.— Она улыбнулась.— Майору, очевидно, понадобилась поэтесса?

Поэтессой ее называет наш майор. Стихов она не пишет. Но в обращении к немцам любит вставить цитату из Гете или из Гейне. Что особенно удалось Юлии Павловне, так это новогодняя передача. Очень уж трогательно напоминала она о семьях, покинутых в Германии. В ту ночь крутили еще пластинки с праздничными немецкими песнями — их принес с собой саксонец-антифашист.

Саксонец сидел у проигрывателя, беззвучно плакал и ронял слезы на кружившуюся пластинку, на золотую дорожку от лампочки, дрожавшую на ней. Песня о елочке, о зеленой елочке с игрушками неслась через траншеи, через воронки, надолбы, неслась над позициями дальнобойных пушек, бивших по Ленинграду. В ту ночь они безмолвствовали. Голос Михальской призывал солдат и офицеров вспомнить своих жен и детей, переходить к нам ради их будущего.

Так она ничего не знает! Шабуров, значит, не сказал ей. Ему, положим, горя мало. Он заявит, что отвечает за технику, прочее его не касается. И прибавит свою любимую фразу, ставшую у него привычной в последнее время: «Одним фрицем меньше».

— Неприятная история, Юлия Павловна. К нам шел перебежчик... И не дошел....

— Фу, черт! Как же?..

Знал я немного. Наш разведчик наткнулся на немца, на раненого немца, и приволок его уже мертвого. А потом выяснилось: немец направлялся к нам. С нашей листовкой. Она была зажата в его мертвой руке.

— Да, печально.— Обжигаясь, я допивал чай.— Один-единственный перебежчик из Саморядовки...

В Саморядовке засело тысячи полторы немцев — остатки разбитой авиаполевой дивизии. Поток нашего наступления вот-вот охватит их. Им худо в Саморядовке, они без малого в котле. Но не уходят, вцепились намертво.

— Скверно, Саша! Майор, бедняга, в отчаянии? — Михальская выдохнула комочек дыма.— Честное слово, я ничего не знала.

— Шабуров невозможен.

— Да, тут я пас, Саша. Майор просил меня повлиять на него. Меня! Святая наивность!

— Теперь отдохнете,— сказал я.

— Вы комик, Саша! Я разве к тому?..— Она с силой воткнула окуроч в пепельницу.— Пустяки это, и не хочу я отдыхать.

— Придется, Юлия Павловна,— ответил я.— Донесение приказано послать с вами.

2

Командира разведроты я узнал издали: кубанка набекрень, белый войлочный башлык на спине, поверх полушубка. Кто еще, кроме разведчиков, с таким лихим озорством нарушает форму! Офицер, должно быть, только что проснулся. Он месил снег кривыми ногами кавалериста, нагибался, хватал его пригоршнями и растирал красное лицо.

— Солдата тягать нечего,— сказал он недружелюбно, выслушав меня.

— Да я вовсе не намерен тягать,— запротестовал я.

— Ну и все! — Он сбил с ладоней снег.— И башку ему нечего дурить. Не позволю!

— Товарищ...

Башлык закрыл его погоны. Он был старше меня по званию, я угадывал это по тону.

Он зашагал к землянке. И у самой двери вдруг словно вспомнил про меня.

— Эх, солдат-то какой, вы бы знали! — проговорил он совсем другим тоном.— Солдат, как бы выразиться... только мышей не ловит... Эх!

Я расхохотался.

— Заходите! — Он распахнул дверь и впустил меня в тепло землянки, врезанной в насыпь.

В полумраке перекликались голоса, кто-то храпел. Горели два трофейных фонаря в кожаных чехлах, лучи скрещивались, отсвечивая серебром на топчане, на столике, заставленном котелками, на рельсах, держащих бревенчатый накат.

Рельсы с этой же насыпи, с пути, разоренного немцами. Рельсы, по которым когда-то мчались поезда из Ленинграда в Одессу, везя отпускников к морю.

Котелки на столе тихонько позвякивают. Кругом в лесу беспорядочно рвутся снаряды. Я привык к этому и словно не слышал их, когда шел сюда. В землянку гул едва проникает, зато явственно отзываются алюминиевые солдатские котелки — певуче и задорно.

— Кураев! — крикнул офицер.

Обросший бородой солдат соскочил с топчана, и я вздрогнул от неожиданности.

Вот встреча!

Возникло в памяти Токсово, палатки запасного полка. Тогда и я был солдатом. В нашем отделении появился скуластый загорелый парень с очень тихим, ласковым тенорком. Но, странное дело, мы, новички, всегда хорошо слышали его, что бы он ни сказал. Взят он был сперва во флот и вскоре переведен в пехоту, носил тельняшку. Но, казалось, Кураев так и родился солдатом!

Все ему удавалось сразу, все он делал споро и весело: упражнения в противогазе, скатывание шинелей, сборку пулеметного затвора. Ох, и помучил он меня, проклятый затвор! Тугая пружина не хотела встать на место, грозила выскочить, щелкнуть по лбу.

Вспомнилось, как я стирал гимнастерку. Перед этим мы валили деревья, вымазались в смоле. Прибыть в таком виде в Ленинград нечего было и думать. Битый час я полоскал гимнастерку и мял ее, сидя на корточках у озера, — черные пятна не сходили. И тут выручил Кураев: посоветовал растянуть гимнастерку на доске, взять щетку, намылить.

Прощаясь, он сказал, что я не вернусь в полк, хотя никто из нас не мог знать, почему ротный приказал мне выйти на два шага из строя, зачем меня вызывают в Ленинград, в штаб фронта. Те два шага были началом нового, удивительного пути, который привел меня к майору Лободу, к звуковке, к новым друзьям.

— Кураев! Живой! — Я обнял его.

Да, живой. Это самое главное. Картины прошлого мелькнули и погасли, вызывать их снова незачем. На войне значительно лишь настоящее. Прошрое быстро отходит прочь.

— Жизнь, — отозвался Кураев, помолчав. — Она в горсти вся, жизнь-то...

Он щелкнул зажигалкой. Острый огонек освещал его ладонь.

— Куришь? — спросил он.

— Нет.

Мне стало чуточку стыдно и своих новеньких лейтенантских погон и даже того, что я по-прежнему не курю.

Он поднес огонек к губам. Теперь я мог разглядеть его. Оброс бородой, раздался в плечах, стал старше.

— Значит, живем, — сказал он.

Глаза Кураева смеялись. Кого он видит во мне? Тыловика, устроившегося в укромном месте?

— Я часто на передовой, а вот не виделся, — выговаривал я с нарочитой неуклюжестью. — Я на звуковой машине.

— Две трубы, — заметил кто-то.

— Ахтунг! Ахтунг!¹

— Так это вы по-немецки даете?..

Землянка оживилась. Командир постучал ложкой по чайнику.

— Кураев, — сказал он в наступившей тишине, — доложи лейтенанту насчет фрица.

— Ночью было, — начал Кураев. — Снег и кусты — всё вроде в тумане. Ракета чиркнет разок... Идем мы, я и Ваня Семенов, Ванюша наш.

— Семенова нет, — вставил офицер.

Он с таким нажимом, точно против воли отчеканил это «нет», что я понял: Семенова уже нет в живых.

— Ванюша наш, — повторил Кураев. — Идем мы, и вдруг фриц из куста — шашть! Стонет, тихонько этак стонет, будто ребенок... Мы думали — с перепугу. И шатается... Мы его прибрали, конечно... А потом, как притащили, смотрим: кончается. Вот тебе и «язык»!

Кураев встал, провалился куда-то за топчан, в полумрак, и возник с полущубком в руках. Кровь темнела на полущубке широким галуном.

— Спирту хотели дать из фляги. Где там!.. Смотрим, кровь...

— Короче, — вставил офицер.

— Виноват я, — бросил Кураев и вздохнул.

Командир хлопнул себя по колену.

— В чем ты виноват? Толкует немой с глухим! Я скажу вам. — Он повернулся ко мне. — Раненого они схватили. Смертельное ранение.

¹ Внимание! Внимание! (нем.).

— Точно,— подхватил Кураев.— Откуда же иначе кровь? Его кто-то ножом...

— Кто же полоснул перебежчика ножом?

— Свои ж прирезали,— сказал офицер.

На уголке газеты он нарисовал передний край. Дело было недалеко от немецкой траншеи, шагах в тридцати. Какой-нибудь заядлый фашист следил за этим перебежчиком, пополз вдогонку и пырнул тесаком. Обчистил карманы — и живо обратно... Ни солдатской книжки, ни бумажника с деньгами, с карточками родных на убитом не оказалось.

— А листовка где? — спросил я.

— Пропуск только,— молвил Кураев.— Не целиком листовка. Он отрезал конец...

— Тащи музей свой,— вставил кто-то.

И прямо музей был у Кураева. Из деревянного сундука он извлек банку из-под американской свиной тушенки, отогнул крышку.. На свет появились два железных креста, «Демянский щит», который давался немецким солдатам за сидение в демянском котле, осколки причудливой формы, немецкая пуговица, вырванная с куском зеленого шинельного сукна. И, наконец, то, что Кураев назвал пропуском.

«Эта листовка служит пропуском для перехода немецких солдат и офицеров в плен Красной Армии»,— значилось на узенькой полоске бумаги по-немецки и по-русски.

Таковыми словами заканчиваются все наши листовки. Перебежчик отрезал этот кусок, чтобы показать первому же советскому бойцу. Да, немец шел к нам сдаваться в плен.

— Досадно,— вздохнул я.

— Ничего,— молвил офицер,— он исправит упущение. В части «языка». Верно, Кураев?

— Как выйдет, товарищ капитан...

Кураев сгреб свои сувениры в банку. Я спросил, не было ли у немца еще чего-нибудь.

— Правильно,— спохватился капитан.— Сходите-ка за Милецким! Письмо есть.

Пришел переводчик Милецкий, шуплый, узкогрудый парень с большой головой и басовитым голосом. Он дал мне письмо, найденное в шинели под подкладкой.

Я прочел:

«Дорогой отец!

Прости за долгое молчание, но ты ведь сам требуешь, чтобы я писал только правду. Поэтому приходится ждать okazji, так как почти доверять рискованно. Креатуры Фюрста зарабатывают себе награды, от них нет житья. На меня они и так смотрят косо, особенно после того, как Броку попало на глаза твое письмо. Он родом из Эльзаса, и французская пословица, которую ты привел, его смутила. Характерно: чем хуже дела на фронте, тем креатуры Фюрста наглее.

Как ты знаешь из газет, наше движение к границам рейха продолжается. Мы знаем, что несладко и дома. Посылок с едой почти нет, вместо консервов и шоколада мы получаем отпечатанные в типографии воззвания. Всё еще толкуют о победе Германии! А нам опостылела война.

Если вести от меня прекратятся, не теряй надежды.

Спасибо за часы. Передай Кэтхен мои лучшие поздравления, хотя Эдди никогда не принадлежал к числу моих друзей. Однако не мне, а ей жить с ним!

Кончаю писать, так как мне еще надо вычистить толстому обжоре Броку башмаки. Он с минуту на минуту должен явиться за ними. Одно хорошо: холода немного смягчились.

Целую крепко тебя, Кэтхен, генерала всех шалунов Фикса и милую тетю Аделанду.

Твой Буб».

Буб — значит «малыш». Убитый намеренно не поставил имени. Я почти зримо видел Буба. Я снял копию с письма и протиснулся с разведчиками.

Стемнело. Я шагал по насыпи, прорезавшей лес. Вдали, словно в конце длинного белого коридора, вскидывались фонтаны света. Десятки огоньков медленно гасли, озаряя сугробы и пятна пожарищ там, в Саморядовке. Потом оттуда докатывался гул разрыва.

Села давно уже нет. Но осветительные снаряды летят и летят туда, завывая над головой. Артиллеристы нащупывают немцев, их мерзлые норы.

Я сошел с насыпи. Где-то глубоко в недрах темноты пробудился пулемет, дал длинную, тревожную очередь. Лес гулко вздохнул, дослушав ее до конца, и замер. И тотчас застучал дятел. Он словно отвечал пулемету, храбрец дятел, не пожелавший покинуть фронтовой лес.

Над звуковкой, притаившейся в ложбине, плясали искры. Михальская — по-прежнему одна — разжигала печурку.

— Юлия Павловна! — крикнул я, входя. — Вот, почитайте.

— Осторожно, Саша, чайник! — Она взяла письмо.

— Занятно... Он славный малый, должно быть. Мальчик из интеллигентной семьи, вероятно неуклюжий, зацелованный тетями и боннами. На фронте болел ангиной. Может, даже коклюшем.— Она с улыбкой сузила глаза и замахала рукой, чтобы разогнать дым.— Тощий, в очках... Жаль, мы не знаем его настоящего имени, а то...

Она мысленно уже составляла листовку. Эх, кабы еще имена!

— Немец на немца,— сказал я.— Это же... Им конец, Юлия Павловна.

— Не так еще скоро, Саша.

— Это выбьет их из Саморядовки, если как следует подать.

— Утопия, Саша. Выбьют их «катюши». Фюрст... Фюрст... Неужели тот самый?

Некий Фюрст, обер-лейтенант, находился у нас в плену. Его захватили в начале зимы, возле Колпина.

— Интересно, что за пословица,— сказал я.— Французская пословица...

Машины качнуло. Вошел, топоча и злясь на стужу, капитан Шабуров, коротким рывком пожал мне руку. Ни о чем не спрашивая, швырнул в угол шапку, сел и затих. Его мысли бродили где-то очень далеко.

Обритый наголо, плотный, с серебристой щетиной на щеках, он сидит ссутулившись, изучает свои толстые, беспокойно шевелящиеся пальцы. И мы говорим еще громче, чтобы рассеять тяжелую тишину, загустевшую вокруг него.

Не таков был Шабуров раньше, когда были живы его жена и пятнадцатилетняя дочь. До того дня, когда в его квартиру на Литейном попал снаряд.

К ужину явился и шофер Охупкин. Весело поздоровался со мной, мигом затопил погасшую печь. Жаря на сковороде картошку, с упоением толковал о докторше из медсанбата, которая якобы влюблена в него до безумия.

— Врешь ты,— равнодушно бросил Шабуров.— Врешь ты все, Николай.

— Я вру?

Юное лицо Коли с пушком на мягком подбородке выражает искреннюю обиду.

— Фантазирую когда... Щуть-щуть,— Коля лукаво

ухмыляется.— А врать не вру. Спросите: есть в медсанбате докторша Быстрова? Все тошно...

— Быстрова, может, и есть,— скучным голосом откликается Шабуров.— А ты все-таки заливаешь.

Что и говорить, на редкость разные люди собраны прихотью войны на нашей звуковке!

— Нынче вещать не будем,— объявил Шабуров, когда мы принялись за еду.— Танки дорогу перепахали.

Больше он ничего не сказал, пока мы ели картошку, пили чай с клюквенным экстрактом, горьковатым от сахара, и толковали о разных вещах. О штурме Саморядовки, который начнется не сегодня-завтра. О трофейном сухом спирте, подобранном Колей,— к его огорчению, этот проклятый фрицевский спирт нельзя пить. Но больше всего, конечно, мы говорили об убитом немце.

После ужина Михальская собралась в путь. Я вышел с ней.

— Шабуров доволен,— сказала она — С вами ему легче, Саша, я понимаю.

— Со мной? — удивился я.

— Сперва я думала, что он завидует мне. Ну, зрелище чужого благополучия...

Война не отняла у нее близких, вот что она имела в виду. Ее родные живы, перебрались из Киева в глубокий тыл, куда-то за Урал.

— Нет, Шабуров не злой человек,— продолжала она.— Не злой. Я сама виновата, Саша. Тормошила его, в душу лезла. Ругаю себя, а удержаться не могу.

В лесу во тьме передвигались танки, урчали, рылись. С треском, как сухая лучина, сломалось дерево.

— Жена у него, наверно, была тихая,— произнесла Юлия Павловна задумчиво.— В мягких тапочках, фланелевом халате, смирная, уютная северяночка.

Мы стояли на шоссе, на ветру. Михальская обминала в пальцах папиросу.

— Э, нет! — Она выхватила у меня спички.— Лучше уж я сама.

Попутный грузовик взял ее. Я не спеша шагал обратно. Под сенью леса остановился, нащупал в кармане коробок, он был еще теплый и, как мне показалось, от тепла ее рук.

Утром примчался майор Лобода.

Первым слышал начальника Охапкин. Он готовил завтрак на дымящей печурке, вытирал слезы засаленным рукавом ватной куртки — и вдруг застыл.

— Майор ругается! — произнес он шепотом, почти торжественно.

Снаружи трещало, лесным чудищем шел, ломая заросли, танк. Но Коля не ошибся. Через минуту мы все услышали голос майора.

Я открыл дверцу пошире. Лобода не ругался, он зычно здоровался с кем-то.

— Ну, все! — молвил Охапкин. — Влетит нам, товарищ капитан, за то, что не вешали.

Теперь Лобода двигался к нам. Невысокий, лысоватый, полный; походка вразвалочку; по виду он ничего не унаследовал от своих предков — запорожцев. Но голошище! Вероятно, с таким точно рыком скакал на коне его прапрадед, наводя ужас на панов.

— Здорово, хлопцы! — гроыхнул майор, влезая в машину. — Спали?

Наше «здравия желаю» получилось нестройным: Шабуров брился, я спросонок продираю глаза.

Звуковка не работала ночью, это было ясно без всяких слов. Мы потому и проснулись так рано. Охапкин подмигнул мне.

— Оладьи, товарищ майор! — заявил он. — Ваши любимые.

Он, сияя, смотрел на Лободу. Оладьи — конек Колиповара, его неизменный шедевр. Он искренне пытался отвести от нас грозу.

Шабуров сполоснул лицо, вытер его, надел портупею. Он проделывал все это медленно, даже, пожалуй, медленнее, чем обычно. Лобода наблюдал за ним некоторое время, потом вынул из планшетки сложенный лист бумаги.

— Вручаю, — сказал майор.

— Ясно, — хмуро молвил Шабуров, глянул и не спеша разорвал листок пополам.

— Вот так! — сказал майор с вызовом.

— Слушаюсь, — отозвался Шабуров.

Сцена была мне понятна: регулярно каждый месяц

Шабуров подавал рапорты. Ему опостылела звуковка, он не видит никакого смысла в нашем деле. Он старый артиллерист. Он хочет бить немцев. Рапорты неизменно возвращаются с пометкой «Отклонить». Шабуров — инженер, знаток нашей техники — усилительных ламп, мерцающих синеватым светом во время вещания, рупоров и прочего. Как же можно отпустить его!

— Почему не работали?

— Танки дорогу перепахали, — говорит Шабуров.

— Танки! — взрывается майор. — Я только сейчас вот тут толковал с танкистами...

Разве танкисты откажутся помочь звуковке? Никогда! Если нужно, разровняют сугроб, а то и на буксир возьмут. Есть же у Охапкина стальной трос? Есть! На что он, спрашивается, завязывать мешок с сухим пайком, что ли?

Коля фыркнул и пролил чай. Он восхищался майором. Лобода вошел в азарт. Ни одной ночи простоя! Одни лентяи утврждают, будто звуковка зимой выходит из строя. Чепуха! Мы покажем сегодня...

— Нет, нет, молчать мы не можем! — гремит майор. — Тем более имея такие новости! Мы такое закатим немцам! Верно, товарищ писатель?

Меня смущало это обращение. Перед войной я только начинал печататься: всего-навсего три рассказа в толстом журнале.

— Верно, — ответил я, зная, что звуковка наша одолеет теперь все препятствия. Когда в кабину рядом с Охапкиным садится майор, она становится вездеходом.

Но какие новости имеет в виду Лобода? Что он намерен закатить сегодня? Наверно, о перебежчике.

Майор откинулся к стенке и похвалил олады. Да, именно о перебежчике. Придет время, мы, может быть, узнаем больше об этой истории. Но ждать незачем. Нельзя ждать! Факты горячие.

— Вот, я помню, под Москвой...

Лобода любит вспоминать Москву. При этом в голосе его гудят нотки такого энтузиазма, что меня, ленинградца, точит невольная ревность.

— То Москва! — мечтательно вздохнул Охапкин. — Небо и земля.

Лобода усмехнулся.

— Правильно, Коля,— молвил он мягко.— Настоящий солдат так и должен рассуждать. Он не скажет: мне тяжелей всех. Нет! Товарищу еще труднее!

Но Коля таил в мыслях другое.

— Там бы я давно орден заимел,— вырвалось у него, да так простодушно, что мы расхохотались.

После завтрака майор и Шабуров ушли к танкистам. Охапкин, охваченный жаждой деятельности, проверял мотор. Я ломал голову над бумагой.

По мысли майора, передачу можно написать так, что немцы сами разоблачат убийцу и к тому же сообщат нам новые данные. Лобода ничего не советовал. Он предвкушал писательские находки.

Легко сказать!

Я писал, зачеркивал, выскакивал из машины, чтобы вобрать в легкие свежего воздуха. Дело не клеилось. Я с отвращением перечитывал сумбурные, вялые строки. Сухо! И, главное, причину неудачи я, как ни бился, уразуметь не мог.

Ну какой я писатель! Юлия Павловна сделала бы это гораздо лучше. По дружбе она оставила мне свои заветные тетрадки, вот они, на полке. Она заносит туда, опрашивая пленных, образцы окопного жаргона.

Что толку!

Иронически поглядывает на меня маленький бронзовый мавр, охвативший корзину для винограда. Она набита окурками, ее окурками. Юлия Павловна привезла эту пепельницу из своей киевской комнаты, выходявшей окном на Днепр. А может быть, из Испании.

Я еще сидел за партой в школе, а она уже была в горах Гвадаррамы, под огнем фашистов. Я слушал лекции в университете, а она уже преподавала.

Да, ничего я не умею...

Лобода вернулся к обеду.

— Все в порядке,— возгласил он.— Нашли позицию для машины, лучше нельзя. Всего двести метров от немцев. Ну, что создали, писатель?

Я показал.

— Так... Так... Неплохо... Ну, здесь лишнее. Рассуждений многовато. Да зачем вы в прятки-то играете? Не отрывок, все письмо им давайте! Без недомолвок! Его отцу это ничем не грозит, письмо и так известно этим... как их... креатурам Фюрста. Будет им пилюля!

Через несколько минут от моего наброска не уцелело почти ничего — две-три фразы.

— Не беда! — утешал он меня. — Вы думаете, Лев Толстой написал бы хорошую передачу? Неизвестно. Вряд ли.

Сели обедать. Охапкин опять отличился: приготовил голубцы и чувствовал себя именинником. За это он ожидал дани от Лободы — рассказа о Москве.

— Однажды под Воронежем, — начал майор, к огорчению Коли, — мы схлестнулись с итальянцами. Перебежчик у нас тепленький, прямо из боя, из пекла. Говорит: «Ангелы меня перенесли к вам. Бог решил спасти меня и послал их. Как раз в момент артподготовки». Я спрашиваю: «А могли бы вы это все объявить вашим товарищам? Насчет ангелов. Выступить у микрофона?» — «С удовольствием. Пусть знают!» Дня три он ездил со мной и разглагольствовал, как ему повезло. Как ему теперь спокойно в плену. Не расстрелян, живой, накормленный... Один буквоед из политотдела налетел на меня. «Позор! — кричит. — Пропаганда мракобесия!» — «Пожалуйста, — говорю, — жалуйтесь. Хоть военному министру». Ну, он скоро замолчал. Перебежчики валом повалили. И верующие и неверующие. Религия тут ни при чем. Они сами объясняли: большевикам про ангелов не придумать, значит, перебежчик-то выступал по радио наш, настоящий... Так же вот и с письмом. — Майор Лобода обернулся ко мне. — Конечно, в нем не все существенно. А привести лучше целиком. Гораздо убедительнее.

После обеда мы подготовили передачу. Потом я включил Берлин, прослушал Дитмара и составил комментарий с вестями из наших сводок.

Тронулись в полночь.

— Во, лупит по дороге! — бросил мне, подбоченившись, Охапкин.

Трактор вытянул звуковку из ложбины, Коля снял трос и сел за руль.

Мы миновали лес и остановились.

Впереди падали снаряды. Звуки доносились глухие, короткие, словно снаряды не рвались, а глохли в толще снега.

Как только замолкло там, Коля дал газ. Чаще всего по дороге била одна батарея. Машина ринулась вперед.

Оглушительно задребезжали железные тарелки в шкафчике. Быстрее, быстрее! Пока немцы перезаряжают, мы успеем проскочить. Должны успеть.

Это очень неприятно — сидеть в темном кузове. Всякое приходит в голову: не проскочим, завязнем в рытвине, а может, не одна батарея бьет?

Майор в кабине, а напротив меня, опустив голову, молча сидит Шабуров. Поле, наверно, залито луной, и машина на нем черная, как яблочко мишени, и нас легко накрыть, разнести вдребезги.

Я не вижу поля, не вижу луны: окна задраены, ни единой щелочки. Зажечь бы свет! Но зажигать не веле-но: надо экономить аккумуляторы. Звуковка несется на предельной скорости, все вокруг скрипит, звенит, кто-то падает и катится мне под ноги. Удар молнии, крохотная вечность тишины — и разрыв. Но уже позади! Воздушная волна бьет в дверь звуковки.

Проскочили! Если у них одна батарея...

Молодец Коля! Да, проскочили! Еще молния, еще разрыв, но уже далеко позади.

На переднем крае, в нежилой землянке, поврежденной бомбой, позиция, выбранная майором. Ветер задует снег в пролом. В рваной рамке обледенелых, покоренных досок — кусок берега, занятого врагом. Уродливые бугры, редкие, тощие сосенки, свинцовые вспышки пулеметов.

Здесь край нашего мира. Лысые холмы на том берегу потому и уродливы, а сосенки потому и кажутся такими чахлыми, больными, что там враг. Может быть, сосны неживые, без корней. Их срубили и воткнули перед огневыми точками, перед траншеями для камуфляжа.

На полу землянки — примятые ветки хвои. Днем здесь несет дозор снайпер. У пролома, на бревне, куда достает лунный свет, рядом лежат стреляные гильзы. Я невольно считаю их. Восемь гильз, и если каждая пуля попала в цель...

Пока я машинально отсчитываю гильзы и строю догадки, сколько может быть убитых врагов, руки мои успевают сделать множество движений. Передний край не велит медлить. Охапкин бросает мне плащ-палатку. В ответ на шальные пули, повизгивающие то и дело, Коля сопит и залихватски звонко шмыгает носом. Он хочет показать мне и в особенности майору, что прези-

рает опасность, презирает всей душой. Теплый, вздрагивающий борт звуковки подведен к самому входу в землянку, и Коля подает мне из машины микрофон. Следом за микрофоном вползает в землянку длинный, упругий резиновый шнур.

— Начинайте,— сказал майор.

На звуковке Шабуров пустил движок. Тотчас в маленькой стеклянной лампочке, соединенной с микрофоном, родились зернышки света, разгорелись, осветили тетрадку в моей руке и пятнистую плащ-палатку, накрывавшую меня.

— Achtung! Achtung! — произнес я.— Hier ist der Sender der Rote Armeel! ¹

Громовой голос вовсе не мой — могучий, богатырский голос несется на тот берег. Он топит перестук движка, глушит все вокруг и так плотно заполняет дырявую землянку, что в нем. кажется, можно захлебнуться.

Немцы могут направить против этого голоса огонь своих пушек, минометов. У них там много оружия. Хватит одного снаряда, чтобы разнести в щепы эту землянку. Или машину. Но об этом некогда думать. Да, некогда, пока читаешь.

Кажется странным, невероятно странным, что наш голос, голос нашего берега, невозбранно штурмует немецкие траншеи, врывается в их землянки, движется вглубь, достигает второй линии их обороны, осаждает командные пункты, пункты их батальонов, их батарей.

Я прочел немцам вести с фронта. Потом Шабуров поставил пластинку. Лампочка погасла. Я сбросил маскировку. Фигура майора маячила у пролома.

— Слушают,— молвил он удовлетворенно.— Эх, тут бы не вальс, а...

Где-то недалеко лопнула мина. Еще одна. Шабуров доиграл вальс. Майор шагнул ко мне.

— Отдыхайте. — Он взял у меня тетрадку. — Теперь я сам.

Главного сообщения он не уступит никому. Он оповестил об убийстве Буба, прочел его письмо к отцу, а затем, уже не по тексту, повинуюсь внезапному наитию, закричал:

¹ Внимание, внимание! Говорит передатчик Красной Армии! (нем.).

— Убитый — ваш товарищ! Вы знаете его? Если знаете, дайте трассирующую очередь!

Немцы притихли. Даже вспышки пулемета стали реже. Но ответа нет. Минута, другая — и вот уже алые прутья хлещут ночное небо.

У меня захватило дух. Нам ответили! Да, пули посланы прямо вверх. Вероятно, офицер спит в блиндаже, и солдат осмелился... Узнал по письму, о ком речь, уловил удобный момент и ответил.

Майор читал письмо снова, когда звуковка вдруг умолкла. Тишина словно обрушилась на нас, расплющила репродукторы.

Голос майора, по инерции произносивший фразу, донесся, как шепот.

Что случилось? Я шагнул к выходу и столкнулся с Шабуровым, вылезавшим из машины.

— Подвижные системы, — бросил он.

Эх, мать честная! Значит, надо лезть на крышу звуковки, налаживать эти проклятые подвижные системы. Но как лезть? Ведь горб землянки едва закрывает звуковку! Лезть нельзя...

Шабуров уже на крыше. И Коля поднимается туда же.

Шабуров управился бы и один. Но вдвоем быстрее, конечно. Оба нагнулись над рупорами, капитан орудует ключом. Дела на несколько минут, но как они тянутся, эти минуты!

Две фигуры отчетливо видны в лунном свете. Да, землянка не закрывает их целиком. Немцы, наверно, заметили их.

«Нагибайтесь же! — хочется мне крикнуть. — Ниже, ниже... Черт возьми, неужели так трудно нагнуться?»

Тот берег молчит. Не видят или... Даже шальные пули залетают как будто реже. Майор улыбается мне и что-то говорит, показывая в сторону врага. Да, это тишина ожидания.

Вот когда задело их! Хотят дослушать до конца письмо убитого. Офицеров, должно быть, разбудили. «Креатуры Фюрста», нацисты из самых отпетых, соглядатаи, тоже прислушались, ждут, им не терпится знать, что же затеяла красная пропаганда... Кто из них решится выдать себя, послать пулю или мину? Нет, затаились.

Наконец динамики в порядке, звуковка снова обретает голос. Майор дочитывает письмо.

— Вот до чего дошло у вас! — говорит он. — Убивают своих же солдат. Надеются с помощью террора удержать вас на месте. Удержать на обреченном рубеже, в безнадежно проигранной войне. Напрасно!

В тетрадке этих слов нет. Он отбросил ее, говорит свободно, горячо. Я люблюсь им, как ни жаль мне моих пропавших трудов. Немецкий язык он знает с детства — это певучий баварский говор села Люстдорф, что под Одессой.

— Напрасно! — грохочут трубы звуковки. — Красная Армия гонит оккупантов. Где были ваши траншеи, теперь там могилы. Там березовые кресты.

Одинокая вереница трассирующих пуль взметнулась над буграми. Что это, еще один запоздалый ответ? Или знак одобрения?

— Березовые кресты! — гремит наш берег. — Березовые кресты, поражение... Гитлер губит вас!

Отрывисто затявкали пулемет.

— Офицеры пугают вас советским пленом. Будто мы убиваем пленных! Тогда зачем же нацисты убили вашего товарища? Какой в этом смысл, если мы убиваем пленных? Значит, нацисты сами не верят тому, что твердят вам!

Гитлер проиграл войну. Креатуры Фюрста не смогут помешать вам, если вы примете единственно правильное решение...

Когда я уже смотал шнур микрофона, а Охапкин заводил мотор, на том берегу ударили минометы. Мины, не долетая, врезались в лед.

Обратно я ехал снова в кузове, вместе с невыносимо безмолвным Шабуровым.

— Здорово! — сказал я. — Здорово выдал им майор!

Мне сдается, я вижу: в темноте кривятся жесткие губы капитана.

— Из-за одного фрица столько шума, — зло выдавливает он.

«Ничем его не проймешь, — думаю я. — Упрям. Подаст еще один рапорт и так будет долбить в одну точку, пока не добьется своего».

На этот раз Охапкин как будто еще быстрее одолевает опасный перегон.

В ту же ночь наше боевое охранение задержало двух перебежчиков — солдата и ефрейтора. Я застал их в крестьянской избе. Русская печь обогревала комнату с изорванными обоями, устланную соломой.

Немецкий солдат, курносый, розовый коротышка, потирал руки и улыбался, радуясь теплу и тому, что остался невредим. Идти в плен было как-никак боязно. Если в лагере русские относятся к пленным так же благородно, тогда что же, жить можно...

— И там не обидят,— сказал я.

— Значит, выбрался из дерьма.— Солдат скорчил гримасу и почему-то подмигнул.

Ефрейтор — длинный, костлявый, бледный, с синевой под глазами — лежал на соломе. Он страдал от какого-то недуга или притворялся больным. Фамилия у него оказалась не простая, с приставкой «фон».

— О, да, именно благородно,— произнес он.— Ты, Гушти, совершенно прав.

При этом он косил глаза на солому, где лежал его серебряный портсигар с монограммой. Нет, именитый ефрейтор не мог поднять глаз на солдата. Не мог смотреть на него иначе, как сверху вниз.

— А вы имеете право мстить нам, о да! О боже мой, конечно, имеете!

Однако ефрейтор решил не дожидаться нашей мести. Обоих страшила перспектива нашей атаки со шквалом снарядов, с «катюшами». «Катюши» — ужасное оружие! Советские листовки не лгали: удары Красной Армии усиливаются. Да, они читали листовки, а однажды возле Колпина — ефрейтор произнес «Кольпино» — русские агитировали с самолета. Он летал над траншеями, и оттуда, с неба, говорила женщина. Да, женщина! Подумайте только...

Увы, ни тот, ни другой не могли сообщить мне ничего нового о преступлении «креатур» Фюрста. Дело было в соседней части. Что же касается самого Фюрста, то он известен в дивизии. О его смерти было объявлено в приказе.

— Фюрст сатана! — воскликнул солдат. Он встрепенулся, откинул голову, стал будто выше ростом, шире

в плечах. Сильно сгибая колени, он тяжелой медвежьей походкой пошел по соломе.

Теперь ефрейтор удостоил солдата взглядом. Поднял брови, потом задохнулся от смеха:

— Ферфлухтер! Да, да, Эрвин Фюрст, хоть и нехорошо смеяться над покойником.

Эрвин? Но ведь и тот Фюрст тоже Эрвин. Обер-лейтенант Эрвин Фюрст, командир третьей роты. Я запомнил его имя, так как часто читал у микрофона перечень офицеров, находящихся у нас в плену.

— Мы слышали,— сказал солдат.— Только у нас никто не верит.

— Почему?

— Фюрст в плену? Невозможно!

— Но почему же?

— Такой человек, как Фюрст,— с чувством проговорил ефрейтор,— не мог сдаться в плен.

Оказывается, нашлись свидетели, которые видели, как обер-лейтенант защищал свою честь. Он убил пятерых русских и последним выстрелом покончил с собой. В дивизии его чтят, как героя.

— Ну-ка, Гушти,— снисходительно молвил «фон»,— изобрази господину офицеру еще кого-нибудь.

— Рейхсмаршал Геринг,— бойко объявил Гушти, зашипел, выпятил живот и начал надуваться, словно резиновый шар.

— Хватит,— остановил я его.— У меня еще есть вопросы.

Гушти мне понравился. Надо побольше разузнать о нем, об этом весельчаке, сыплющем хлесткими солдатскими словечками, актере, живчике. Юлия Павловна будет в восторге. Да и майор тоже.

Немец выпустил изо рта воздух, обмяк и смотрел на меня с улыбкой.

Он был встревожен и все-таки улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Я спросил его, откуда он родом, в какой части служил.

— Я эльзасец,— ответил Гушти.— Трофейный немец! Второй сорт.— Он притворно вздохнул.

Стукнула дверь. Гушти согнал с лица улыбку и рывком, едва не подпрыгнув, встал по стойке «смирно». Вошел капитан Бомзе из разведотдела.

— Вольно, Гушти! — сказал он по-немецки, смеясь.

Немец выглядел уморительно — толстый, низенький, в нарочито бравой позе.

— Вы знакомы? — спросил я.

— Отчасти, — ответил Бомзе. — Полезный тип. Что он вам травит?

До войны Бомзе служил в торговом флоте, усвоил морские словечки. Даже стоя на месте, он чуть покачивался, словно на палубе в ветреную погоду. Во время боя его место на рации. Никто, как Бомзе, не умеет перехватить и расшифровать вражескую депешу, а вмешаться в разговор радистов, притворившись немцем, — на это способен один Бомзе.

— Я забираю Гушти, — заявил он. — Айда, подвезу вас до КП.

Выяснилось, что Гушти служил чертежником в тылу, около Пскова, в штабе армейской группы. На передовую попал совсем недавно, в наказание: осмелился передразнить майора. В плену на первом же допросе Гушти вызвался нарисовать план оборонительной линии немцев. Уверяет, что память у него великолепная, укажет все точно: окопы, доты и дзоты, минные поля.

То, что гитлеровцы предвидели наше наступление и загодя начали строить оборону в тылу, — для нас не новость. Разведка по крупницам собирает данные о рубежах врага, и каждая новая деталь, разумеется, драгоценна.

Что ж, пусть Гушти чертит. Он уже помог нам.

«Стало быть, о Фюрсте сочинили легенду, — думал я, трясаясь в «виллисе». — Новость важная, очень важная. Да, кисло немцам! Пришлось выдумать героя, чтобы поднять воинский дух. А Фюрст целехонек, сидит у нас в плену. Этот самый Фюрст».

Спешил я к майору.

Лобода беседовал в машине с Колей.

— Что выше, — спросил Коля, — Слава первой степени или Красная Звезда?

— Трудно сравнить, — посмеивался майор, отлично понимая, куда клонит Охалкин. — Орден Славы, видишь ли, солдатский...

— Короткову Славу дали, — произносит Коля в сторону и как бы невзначай.

— За что же? — притворно удивился майор, уже не раз слышавший про Короткова.

— Такой же шофер, как и я. В автороте. Снаряды возит на передок. Эх, пойти, что ли, шину накачать! — сказал Охапкин, но не двинулся с места.

Лобода рассмеялся. Ну можно ли сердиться на Колю! Он наивно выпрашивает себе награду, как мальчишка коньки или велосипед.

Я доложил майору. По-моему, медлить нечего, Фюрста надо взять в оборот. Он-то, наверно, знал убитого. И надо, чтобы Фюрст выступил у микрофона. Это ошеломит немцев. Легенда рассеется как дым.

Но странно, майор рассердился. Он крикнул, отбил пальцами звонкую дробь на ларе, потом стал выговаривать мне.

Легенда? Кстати, Фюрст дрался как черт, ранил троих наших бойцов, и взяли его полумертвого. Не дешёвая добыча! Пруссак, твердое дерево! Взять в оборот? Но есть же конвенция о военнопленных. Понуждать их к чему-либо запрещается.

— За-пре-ща-ется! — повторил Лобода. — Эх, писатель! Повоевали бы вы с таким Фюрстом, как это делал я...

Лобода часто наезжал в лагерь для пленных «повоевать», то есть поспорить с пленными.

— Предположим, он назовет вам фамилию убитого. Дальше что? — кипел майор, бросая на меня свирепые взгляды. — Всё одним махом хотите, да? И наломаете дров.

Он отвернулся к оконцу и вдруг запел.

— «На земле-е весь род людской», — проревел он так, что задребезжало стекло, и умолк, погрузившись в размышления. Дальше первой фразы арии он обычно не шел в таких случаях. Пение означало: Лободе надо побыть одному.

Я вышел из машины.

Коля накачивал шину. Чудно действует на меня его пухлое мальчишеское лицо: огорчения переносить как-то легче. Но сейчас он расстроен. Награждение Короткова, его сверстника и приятеля, мучает Колю.

— Товарищ лейтенант! — услышал я. — Васька-то Коротков, а?

— Орден, — кивнул я. — Знаю.

— У меня тоже свой нерв, — вздохнул Коля. — Меня в автороту зовут. Тут не езда. Капитан Шабуров гово-

рит: мы гастрольщики, артисты. Верно, нет? А таким дают в последнюю очередь. Чувствуете?

— Брось, Коля,— начал я и кинулся к машине: майор стучал мне в окно.

— Что он там насчет Шабурова? — спросил майор. Я объяснил.

— Вот, вот! Две башки надо иметь с вами.— Большие карие глаза под черную бровей искрились.— Поедешь в Славянку, в лагерь, где Фюрст. Но сперва...

Повеселевший, полный радости открывателя, он почти пропел мне свой план.

5

Я держал путь на Колпино, где наша база, а затем уже в Славянку.

Когда на равнине показался город, в мозгу возникло слово «Кольпино». Так называли его все пленные немцы. «Эмга» вместо Мга, «Кольпино»... Издали город кажется живым, нетронутым. Мираж длится недолго. Это не дома, одни стены в багровой оспе выбоин. Скорбный, черный от гари снег.

«Кольпино»... Они исковеркали город и его русское имя. Сыпали бомбы, обдавали шрапнелью. «Кольпино» — это звучит, как пуля в рикошете, как лязг мятого железа, как скрип двери, обыкновенной квартирной двери с голубым ящиком для почты, распахнувшейся там, наверху, на высоте четвертого этажа. Дверь скрипит над провалом, над грудami кирпичей, она как будто зовет жильцов, которые никогда не придут...

«Контора жакта» — написано на табличке у входа.

Волна табачного дыма накатила на меня, как только я открыл дверь. В тесной комнатенке, у окна, курит и стучит на трофейной «эрике» с латинским шрифтом Юлия Павловна.

— Вы потрясли немцев,— говорю я.— Небесная фрау! До сих пор вас не забыли. Только что видел двух перебежчиков.

И про Фюрста я рассказал ей, и про Гушти.

— Шура, вы золото — воскликнула она.— Kolossal! Прелестно! Machen Sie keine Sorgen,¹ он от нас не уйдет.

¹ Грандиозно! Будьте спокойны (нем.).

Она тянется за новой папиросой.

Из железного сундука с бумагами я извлекаю записи бесед с пленными. Ага, вот! Эрвин Фюрст, обер-лейтенант, командир третьей роты. Взят в плен во время разведки боем, отчаянно сопротивлялся. Да, троих ранил, сам получил несколько ранений, месяц лежал в госпитале. Возраст — тридцать два года, родился в Ин-стербурге. Отец — портной. Во время войны отец переехал в Дрезден, открыл собственную мастерскую. Там же, в Дрездене, на Кирхенгассе, двенадцать, живет жена обер-лейтенанта Гертруда с двумя дочерьми — Моникой и Лисси.

Как можно больше подробностей! О Фюрсте я должен знать больше того, что записано в офицерском удостоверении. То, чего не скажут и пленные однополчане.

Мы должны объявить немцам, что Фюрст, герой дивизии, жив и находится у нас в плену. Большой вопрос, согласится ли он сфотографироваться для листовки.

В Славянку, в лагерь военнопленных, со мной поехал армейский фотограф, маленький человек с крохотной головой, которой он непрерывно вертит, словно приглядываясь и принюхиваясь. Фамилия у него литературная — Метелица.

«Пикап» подскакивает на обледенелых рельсах. Мы в Славянке. В наступивших сумерках проносятся за оконцем понурые вагоны на запасных путях, мертвый паровоз. Им не было хода отсюда, со станции, замороженной блокадой.

Часовой у ворот лагеря вызывает дежурного, тот показывает нам офицерский барак.

Железные кровати в два этажа, густой табачный дух и еще какой-то запах, должно быть после дезинфекции. Метелица, завидя немецких офицеров в форме, вертит головой. Как бы прицеливаясь, он оглядывает железные кресты, демянские, крымские и прочие «щиты».

Прежде всего мне нужен Лео Вирт, тот самый саксонец, лейтенант, который вместе с Михальской работал на звуковке в новогоднюю ночь. И плакал, слушая пластинки.

У Вирта впалые бледные щеки, большой лоб, круглые очки в тонкой черной оправе. Садясь, он кладет на колено книгу. Книга для него дороже хлеба, табака, он читает с жадностью, недосыпает, необходимо наверстать

все упущенное по вине Гитлера. Книги Бебеля, Либкнехта, Тельмана... Сочинения Ленина... Вирт был слишком юн, когда эти книги были доступны в Германии. Плен открыл ему бездну неведомого.

— Старик Вильгельм, — он называет видного немецкого коммуниста-эмигранта, — прислал мне из Москвы целый ящик книг. Изумительно!

Я показал саксонцу письмо убитого перебежчика, рассказал легенду о Фюрсте-герое.

— О негодяи, проклятые наци! — Вирт вне себя от гнева. — Значит, Фюрст — герой дивизии? И вы думаете устроить им сюрприз?

— Да.

— Хорошо бы, — вздохнул Вирт. — Теперешний Фюрст — это уже далеко-не тот Фюрст, но... микрофона не возьмет. Нет, нет! Совершенно немыслимо.

Мы беседуем в клетушке, которая служит и библиотекой и канцелярией. «Ваш ход, господин барон», — раздается за стенкой. Там играют в карты.

— Я пытался вербовать Фюрста в комитет. Боже мой, как он ругался! Он прусский офицер, пруссак до корней волос. Имеете представление об этих типах?

В среде пленных набирает силы комитет «Свободная Германия». Создали его сами немцы, бывшие военнослужашие вермахта и эмигранты, люди разных убеждений, но жаждущие покончить с войной, создать Германию без Гитлера.

— В семье Фюрста молятся на Гитлера. Да, Фюрст — сын портного, простого трудящегося человека. В Германии есть и рабочие-нацисты... Для вас странно?

Он снял очки. На меня смотрят умные глаза, усталые от ночного чтения, немного печальные. Я сказал себе: вероятно, такими были первые немецкие социалисты, те, кто окружал Маркса.

— Ленин, — Вирт бережно погладил книгу, — предостерегает против догматизма. Нужно считаться с действительностью. Что ж, Гитлер дал портному работу — шить офицерские мундиры. Чем больше офицеров, тем больше мундиров. Логично?

Он жадно проник во все детали биографии Фюрста. Тот вырос среди мундиров, напаянных на манекены. От погон, от золотого шитья исходило сияние власти, силы. Папаша Фюрст мечтал, конечно, вывести сына в

люди. Сын стал офицером! До Гитлера это и не снилось. Сказочное время настало для старого портняжки, когда его Эрвин, офицер армии фюрера, красовался в Париже, потом в Осло, когда почта приносила посылки с диковинной заграничной снедью, с вином, с шелками.

В своей роте Фюрст свирепствовал почище иного барончика. Сам всюду совал нос. Поражения его только ожесточили.

— Да, он уже не верит в победу. Если вы ему скажете, что Гитлер не сдержал своих обещаний, он согласится. Где молниеносная война? Пшик! Где изоляция России? Тоже блеф. Да, но признать это вслух? Исключено! Присяга, офицерская честь и тому подобное. А хуже всего вот что: Фюрст считает, что вся Германия гибнет... Айн момент, я позову его.

Утлая перегородка затряслась. Вошел Эрвин Фюрст и встал навытяжку, выставив грудь, откинув крупную голову. Крепкая нижняя челюсть, нос с горбинкой, холодок голубых глаз, копна белокурых волос. Он напомнил мне арийских молодчиков в военной форме, изображениями которых пестрят немецкие журналы. «Здоров! — подумал я с неприязнью. — Отъелся на чужих хлебах».

Я коротко сказал, что мне нужно. Хотя мы оглашаем списки пленных, на той стороне его, Фюрста, все-таки считают мертвым и прославляют его. Мы хотим опровергнуть легенду. Для этого со мной прибыл фотограф.

Фюрст не изменил позы. Я напрасно пытался поймать его взгляд. Он смотрел куда-то поверх моего плеча, в одну точку. Я не ощутил в нем враждебности. Нет, скорее безразличие. Он как будто и не слышал меня.

— Вашей семье, я полагаю, не безразлично, живы вы или нет, — прибавил я.

Он шевельнулся.

— Вы слышите? — спросил я.

Метелица уже бегал вокруг Фюрста, целился, подталкивал плечом.

— Хорошо. Ради них, — произнес Фюрст глухо.

— Снимайте, — приказал я.

Метелица щелкнул фотоаппаратом.

— Еще не все, — сказал я. — Прочтите это.

Я дал Фюрсту письмо, подписанное «Буб». Он читал медленно, чуть двигая губами.

— Вас интересует его судьба? — произнес он недоверчиво и опять отвел взгляд. — Да, был такой. Мои креатуры?

Он повел плечом.

Я протянул руку, чтобы взять бумагу у Фюрста. Он еще не расстался с ней. Он читал снова, лицом к окну, как будто разглядывал листок на свет. Потом нехотя подал мне. Пальцы его дрожали.

— У меня есть копия, — сказал я и открыл планшетку. — Могу подарить на память.

Фюрст смешался. Он поблагодарил, нерешительно и даже с испугом. Собрался сказать что-то, но не смог и четко, истово откозырял.

В тот же вечер Михальская отстукала текст листовки о Фюрсте. Федя Рыжов, наш «первопечатник» (очень уж архаично выглядела его ручная «американка»), к утру сдал весь тираж.

А утром задребезжали стекла: наши ударили по Са-морядовке. Немцы бежали.

Поток наступления, задержавшийся там, хлынул дальше на запад, к зубчатому лесному горизонту, над которым вздымались черныеobelisks дыма. Черные, зловещиеobelisks над горящими деревьями.

По пятам ринулись танки, самоходные пушки. Летчик, взявший на борт связки листовок, с трудом нашел отступающие остатки немецкой авиаполевой дивизии. Медленно разжимая пальцы, он выпустил из пачки наши листовки одну за другой. Крутой воздух вырвал их, и они долго плыли, прежде чем опустились на землю.

Достигли ли они цели? Читают ли их немцы? Как подействовала на них новость? Эти вопросы я задавал себе уже в звуковке.

Теперь вся надежда на тебя, Коля! Давай газ, ищи, как выгадать время, обойти главные, запруженные машинами дороги. Дошла листовка до цели или нет, все равно надо нагнать солдат из авиаполевой гитлеровской дивизии.

6

— Ханá! — сказал Охупкин. — Приехали.

Волоча ноги, нахохлившись, он ходил вокруг звуковки, именно вокруг, хотя препятствие выросло впереди, шагах в пяти от радиатора.

Мы вышли из машины: майор, Шабуров и я. Коля продолжал свое круговое движение — признак крайней растерянности. Карта сулила нам здесь мост. Но то, что мы увидели, было скорее скелетом моста или его призраком. Под дырявым, как решето, перекрытием синели проталины. От мартовских оттепелей река размякла, было бы сумасшествием довериться льду.

Путь один — через мост. Но мыслимо ли?.. Какие-то смельчаки уже проехали. Внизу, на льду, валяются обломки настила, сбитого колесами. Наверно, каждый шофер, оглядываясь назад, называл себя счастливец.

Лобода подбежал к мосту. Брови его поднялись. Он круто повернулся.

— Решай! Ты хозяин.

Эти слова произвели поразительное действие. Коля подтянулся, поправил ушанку, застегнул куртку и, лихо подмигнув мне, ступил на мост. Прошелся, потрогал носком сапога полусгнившие доски, потом, не говоря ни слова, влез в кабину. Дверца захлопнулась. Майор открыл ее.

— Нет,— сказал Охупкин.— Без вас.

— Не дури,— ответил Лобода и занес ногу на ступеньку.

— Все.— Коля выскочил на дорогу.— Не пойдет дело, товарищ майор.

— Да ты что!..

— Раз я хозяин...

Лобода готов был рассердиться, но вдруг лицо его просветлело.

— Ладно,— кивнул он.— Езжай.

Шабуров шагнул к машине. Майор удержал его.

— Распоряжается водитель,— промолвил он раздельно и необычно тихо.

Сейчас Коля не храбрился, не подмигивал. Он шагнул в кабину и нажал стартер. Ноющий звук родился где-то в недрах машины. Она словно жаловалась нам, трясаясь от страха. Со стуком откинулась левая дверца.

Было немного стыдно стоять на дороге и провожать глазами машину. Опасность большая. Иначе Коля не оставил бы нас тут. Дверцу он открыл, чтобы можно было выпрыгнуть, если машина начнет падать. Но успеет ли он? И куда прыгать?

Ломались, проваливались, сыпали на лед труху

хлипкие доски, кроваво-рыжие на изломе. Обнажался переплет балок, тоже подточенных гнилью. Коля рассчитал точно: машина двинулась по ним, как по рельсам. Но вот путь все уже. Взрывом авиабомбы перекрытие выкушено до середины, надо податься влево, еще влево...

Прыгать некуда, разве что в реку. В полынью. С многометровой высоты. Перила снесены, звуковка идет по самому краю.

Мост отчаянно трещит. Кажется, наступил его конец. Сейчас немного отделяет машину и водителя от гибели — какой-нибудь дюйм. Правее, Коля, хоть чуточку правее! Я вижу, как задние колеса порываются уйти от карниза, но срываются, откатываются опять влево. Машина уже не двигается дальше. Левое колесо повисло над пропастью, оно судорожно вертится, и я с ужасом думаю о том, что будет, если оно перестанет вертеться...

На миг все ушло из глаз, кроме того отчаянно кружащегося, мокрого, отмытого талым снегом колеса. Машина напряглась, стонала. Вот-вот ее силы иссякнут, и тогда...

Я зажмурил глаза, и как раз в это мгновение колесо поднялось на балку. Снова с ледяным звоном захрустело дерево. Машина двинулась.

Минут пять спустя мы добрались до машины. Я стал приводить в порядок вещи, сдвинутые качкой на мосту и сброшенные на пол кузова. Чувство у меня было такое, словно я вернулся в родной дом.

«Мы целы, целы, черт побери!» — пело внутри, хотя опасности подвергался один Коля. Таково слияние судеб у друзей на войне. Даже тряска в родной машине была хороша. Радовало все: и печурка, помятая в одном месте осколком, и сияние приборов, и мешки с сухим пайком — хлебом, гречей, фасолью, мукой — на полочке под самым потолком.

Шабуров молча осматривал усилитель. Я не выдержал.

— Сегодня он заслужил орден, — сказал я. — Честное слово! Талант наш Колька!

— Парень золотой! — отозвался Шабуров. — И мог пропасть ни за что! Ни за грош, ни за денежку. Из-за гастролей этих... Из-за проклятой чепухи... Люди воют, а мы — тру-ля-ля... Фрицев потешаем...

Я смешался. И вдруг в памяти ожило недавнее: Шабуров порывается сесть в машину...

— Однако если бы не майор,— сказал я,— вы бы поехали вместе с Охепкиным.

— Ах, вот вы о чем!.. Так я ради него, чудака... Оказать помощь в случае чего... И вообще,— голос его стал резче,— не обо мне речь. Меня-то все равно, можно считать, нет.

Он опустил на ларь рядом со мной. Нас подбрасывало на выбоинах, сталкивало, он дышал мне табаком в лицо.

— Очень просто нет,— повторил он.— Оболочка одна... Вот как они...

Он смотрел в окно. Там, качаясь, проплывал редкий лес, и на талом снегу среди нетронутых, свежих бережок лежали убитые. Наши убитые.

— Наступление,— услышал я дальше.— А им уже все равно. Вот и я... Ну, доедем до Берлина! — крикнул Шабуров и сжал кулаки. — Мои-то не воскреснут...

Видение за окном уже исчезло. Лес пошел гуще, черным пологом задернул мертвых. Шабуров все смотрел туда.

— У каждого потери,— жестко перебил я, так как очень боялся, что Шабуров разрыдается.— У меня отец умер в блокаду. А мы все-таки существуем и должны существовать.

«Меня нет»,— повторялось в мозгу. Эти слова неприятно кололи. Потом протест сменился жалостью.

Жить на войне трудно. И надо, чтобы человеку было чем жить на войне. Шабурову нечем, и это страшно. Пожалуй, это самое страшное на войне. Он мог бы жить местью, если бы ему дали гранату, поставили к орудию...

— Ну, снова рапорт напишу. Что толку! Уперся майор, как... Ничего, я добьюсь!

Что-то новое шевельнулось во мне.

— Правильно! — сказал я.— И добивайтесь, коли так. Меня-то майор не слушает, а то...

Он схватил мои руки.

— Нет, нет!.. Не понимаете вы... Он всегда со смехом к вам: писатель, мол... А по сути — уважает вас.

— Ладно,— сказал я, отвечая на пожатие.— Ладно... Я все, что могу...

До сих пор я был на стороне Лободы. Сейчас я уверял себя, что Лобода несправедлив к Шабурову.

А Лобода тем временем беседовал в шоферской кабине с Охапкиным. Чаше доносился глуховатый, иногда срывающийся тенорок Коли, он что-то с воодушевлением рассказывал майору.

Окно темнело, близился час ужина. Я обдумывал, как лучше завести разговор с майором о Шабурове. Но все сложилось по-другому. Мы въехали в Титовку.

Эта лесная деревушка не упоминалась в сводке боевых действий. Известна она стала только тогда, когда наши вошли в нее и увидели догорающие костры на месте домов.

Теперь костры погасли. Они лишь дымили кое-где. Тянуло гарью, и к этому примешивался еще какой-то запах, тошнотворный, сладковатый. Я ощутил его, как только вышел из машины. Из мрака вынырнул коренастый белесый лейтенант в угловатом брезентовом плаще.

— Вижу, машина ваша...— сказал он, переведя дух.— Генерал Лободу ищет.

Он увел майора куда-то в темноту, наполненную скрипом оружейных колес, хлюпаньем шагов.

— Ряпушев, адъютант генерала,— сказал Шабуров.— Николай, рули-ка подальше.

Однако мы не могли отвязаться от сладковатого запаха. Он настигал всюду, вся сожженная Титовка дышала им.

Шабуров мрачнел. Мы догадывались, отчего такой запах. Коля, отпросившийся разузнать, сообщил: на краю деревни сгорел сарай с людьми. Фашисты заперли жителей Титовки, не успевших убежать в лес, и подпалили.

— Наш майор там,— сказал Охапкин.— Он в комиссии, акт пишут... Там одна женщина с ума сошла.— Глаза Коли округлились.— Сына сожгли.

Обычно Коля вечером, перед сном, читал, шевеля губами, затрепанный томик рассказов Чехова и поминутно спрашивал у меня значение загадочных слов: «горничная», «акции», «исправник». Сегодня ему не читалось. Он покопался в моторе, потом подсел ко мне.

— По-немецки хочу ушиться,— заявил он.— Товарищ лейтенант, поущите меня.

— Зачем тебе?

— А я бы им сказал, чтобы не смели... Найдем, кто это сделал, так плохо будет.

Я взглянул на Шабурова. Он желчно кривил губы.

— Мы предупреждали, Коля,— ответил я.

И объяснил ему: решено привлекать к ответу военных преступников — поджигателей, грабителей, палачей.

Майор вернулся ночью. Впопыхах выпил кружку чаю, от оладий, разогретых Колей, отказался. Некогда. Надо ехать в Вырицу, на новый КП, куда сейчас перебирается и наше хозяйство.

— Генерал приказал срочно дать листовку,— прибавил он.— Об этом... Ох, мерзавцы! — Он зажмурился.— Это все-таки нужно видеть, писатель. Ну, в добрый путь!

Он простился с нами и выбежал.

На ночлег мы стали на сухом, свободном от снега пригорке, среди елей. Ветер теребил их, на крышу звуковки падал дождь, минутный весенний дождь. А запах из Титовки все еще чудился мне. Он словно сочился в машину. И, закрыв глаза, лежа на своем ларе, я видел мысленно то, чего не успел увидеть в Титовке.

Среди ночи мы вскочили.

Что-то огромное, оглушающее разбило сон, машина качалась, большая еловая ветка мягко и грузно легла на крышу, потом соскользнула на землю, царапнув по стеклу.

Похоже, немцы из дальнобойных на ощупь обстреливали дорогу. Мы оделись, но взрывы уже заглохли, противник переносил огонь.

Утром Охапкин, прежде чем сесть за руль, развернул новую карту, еще чистую, не тронутую цветными карандашами. Ленинградская область вот-вот кончится, начнется Псковщина. Где-то там, в болотистых лесах, отступают солдаты и офицеры немецкой авиаполевой дивизии.

К обеду мы нагнали воинскую часть, которая только что завершила прочесывание леса. Бойцы отдыхали, сидя на пнях, на поваленных стволах у походных кухонь. За соснами чавкали топоры, вонзаясь в сочную древесину. Саперы чинили мост. Мы сыграли им несколько пластинок. Нам захлопали.

— Еще венки сплетут,— язвил Шабуров.— Офицерам патефонной службы.

Убрав пластинки, он достал из планшетки блокнот и старательно, крупным, ровным канцелярским почерком написал очередной рапорт Лободе.

К нам постучали. Вошел капитан в казачьем башлыке, откинута на спину, в кубанке, сдвинутой на затылок,— знакомый мне командир разведроты.

— Здравия желаю! — весело возгласил он.— Уши болят от вашей музыки. Ох, сила! У вас «Очи черные» есть?

— Никак нет,— сурово отрезал Шабуров.

— Жаль. Замечательная вещь! Добре, я Кураева сначала к вам направляю,— прибавил он неожиданно.— Может, почерпнете что-нибудь.

— Отлично,— ответил я, усвоив лишь то, что увижу сейчас Кураева.

— Штабной драндулет фрицевский,— сказал капитан.— В воронке застрял. Гитлер капут! — Он засмеялся.

Вскоре к звуковке приблизился конвой — три наших солдата во главе с сержантом Кураевым — и двое тощих пленных в зеленых шинелях. На одном шинель была длинная, чуть не до пят, у другого едва покрывала колени. Кураев поздоровался без тени удивления. Будто именно сегодня, в этот час он ждал встречи со мной.

Шофер и писарь сдались добровольно. Завидев наших пехотинцев, они вышли из машины и, крича «Гитлер капут!», подняли руки. В машине оказались бумаги. Кураев и солдаты набили ими вещевые мешки.

Я бегло опросил пленных. Они прибыли на передовую недавно, с пополнением. О «креатурах» Фюрста, об убитом перебежчике не имеют понятия. Но о Фюрсте, конечно, слышали. О «герое дивизии» им говорили еще в тылу.

Читали ли они нашу листовку о Фюрсте? Писарь, юный, косоглазый, похожий на озябшего кролика, ответил, переминаясь и стуча зубами:

— Нам показали вашу листовку перед строем. Фюрста у вас нет. Чистая пропаганда.

Как многие пленные, он произносит это имя с иронией.

— Но как же нет Фюрста? А фото?

— Нашли похожего, одели в форму, и вся игра! — сказал юнец с апломбом. — Пропаганда! — повторил он. — Мы тоже вас обманываем. На то война.

— А своим вы верите?

— Не всегда, господин офицер. Но Фюрст мертв, у командования точные сведения. Безусловно! Наш унтер-офицер — очевидец. Фюрст при нем покончил с собой. Приложил пистолет к виску и последней пулей...

— Пропаганда, господин офицер, — подал голос шофер. — Она не может быть правдой.

Бойцы выкладывали из мешков бумаги. Конторские книги, синие и зеленые папки с орлами рейха, со свастикой. Документы мы оставили у себя. Пленных увели.

Весь остаток дня, трясясь в машине, я разбирал немецкие бумаги. Нам повезло. В наши руки попали бумаги второго батальона авиаполевой дивизии, того самого, в котором служил Фюрст.

«Дорогой Буб!» — бросилось мне в глаза. В особом конверте хранилась пачка писем, все они были адресованы Бубу и заканчивались неизменно: «Твой старый папа». Во многих местах чей-то красный карандаш подчеркнул машинописные строки. Резкая жирная черта выделяла несколько слов по-французски.

«Aide toi et le ciel t'aidera», — прочел я. — «Помогай себе сам, тогда и небо тебе поможет».

Вот она наконец поговорка, так заинтриговавшая нас! Да, конечно, та самая. «Креатуры» недаром наводстрили уши. «Старый папа» довольно ясно указывал сыну выход из войны.

Сначала я читал только подчеркнутое, выискивал самое нужное для нас, а потом все подряд. Нет, не только служебная обязанность приковала меня к этим письмам. В них было что-то еще.

«Мой дорогой Буб!

Меня крайне обрадовало, что вы отошли от Ленинграда и избежали окружения, которое лишило бы нас возможности получать от тебя известия. В то же время меня чрезвычайно печалит гибель твоих товарищей. Кстати, сообщи мне имя и адрес земляка Шенгеля из Букенома, дабы я мог выразить соболезнование его старикам. Ведь он был твоим другом!

Ты пишешь, что провел ночь в яме, из чего я заключил, что вы уже не располагаете землянками. О, если бы это была худшая из папастей!

Вчера нас навестила тетя Аделаида. Ее Альф жив и здоров. Хорошо, что она обратилась в шведский Красный Крест. Чутье

не обмануло ее. Шведы разыскивали Альфа в английском лагере для военнопленных, куда он попал еще в прошлом году из Африки. В связи с этим Аделаида утратила ореол германской женщины, матери воина, и ее даже уволили из госпиталя. Это, разумеется, легче перенести, чем смерть сына. Ты, наверно, согласишься со мной.

О часах для тебя я помню. На моем столе лежит листок с пометкой «Часы». Чтобы не потерять, я придавил его лампой, той лампой с совой, которая, помнишь, так пугала тебя в детстве. Вообще в наших комнатах все так, как было при тебе, но вид из окна... Боже мой, что стало с нашим городом! Шпиль старого Мюнстера еще стоит, но в собор уже было два прямых попадания: одно — в башню над романскими хорами, другое — в левый придел. Стекла из окон все вылетели. Здесь разрушения еще поправимые, в отличие от дворца принцев Роган. Его, по-видимому, не восстановить. Позавчера я прошел по улицам Старого города и ужаснулся. Дорогой мой, это нельзя описать! Площадь Гутенберга, средневековый Рыбный рынок, историческая лавка на Вороньем мосту — все превращено американскими бомбами в битый кирпич. Спрашиваешь себя: чего добиваются янки, во имя чего эта бессмысленная жестокость?

Тревоги у нас чуть не каждый день. Я стал осторожнее и теперь при звуке сирены отправляюсь в «Погребок героев» — милое название для кабачка, переделанного в бомбоубежище. Ты можешь себе представить твоего отца, — он сидит среди женщин, штопающих носки, среди детских колясок и правит черновики своего трактата об архитектуре Возрождения. Чудак, не правда ли? Но это и твои письма — единственное, что поддерживает меня.

Я, тетя Аделаида, твоя сестра Кэтхен — мы все верим в твою смелость и находчивость. Верь и ты! Помогай себе сам, тогда и небо поможет тебе.

Твой старый папа».

«Страсбург» — стояло в верхнем углу каждого письма. И дата. А одно было на бланке «Доктор Гуго Ламберт».

Я не мог оторваться от писем, пока не прочел все. Они захватили меня, как книга, проникнутая сердечной теплотой. Или как знакомство с хорошим человеком. «Старый папа» бедняги Буба чем-то напомнил мне моего отца, умершего в первую блокадную зиму. Он тоже спускался в убежище с рукописью, работал до последнего дня.

Раньше я видел в своем воображении Буба, долгового, близорукого юношу. Теперь рядом с ним возник сухощавый, быстрый старик с добрыми глазами. Мысленно я входил в страсбургскую квартиру, в кабинет ученого, где на столе стоит лампа в виде совы, мудрой

ночной птицы. Книги в массивных шкафах за стеклом, запах книг, близкий мне с самых ранних лет.

«Старый папа» Буба, Гуго Ламберт, немецкий интеллигент с долей стойкого иронического иммунитета против фашистского бешенства — один из тех немцев, которые всегда хотели мира, разумной и свободной жизни. Он посылал своего сына к нам. Он доверял его нам.

Но «креатуры» Фюрста следили. Документы подтверждали это.

Я прочел:

«Господину командиру третьей роты
лейтенанту Отто Миттельбаху

ДОНЕСЕНИЕ

Настоящим имею честь сообщить, что солдат второго взвода Август Кадовски в разговоре с солдатом того же взвода Эмилем Цвеймюль поносил фюрера и выражал желание перейти к красным, на что и подбивал упомянутого Цвеймюля. Данный Цвеймюль о сем заявил мне.

Унтер-офицер *Курт Брок*».

Поперек донесения командир нацарапал, разбрызгивая зеленые чернила: «Расстрелять».

Я насчитал трех казненных за попытку сдачи в плен. «Моральное состояние личного состава упало», — доносили «креатуры» Фюрста. Их много, батальон кишит соглядатаями.

Из одной бумажки я узнал, что во взводах для укрепления духа офицеры рассказывали о Фюрсте и других «выдающихся воинах дивизии».

Неплохая находка эти бумаги! Теперь мы знаем гораздо больше о событиях в авиаполевой.

Итак, существуют два Фюрста: Фюрст-легенда и подлинный Фюрст, размышляющий в офицерском бараке о Германии и о себе! Должен ли знать пленный, как ведет себя на той стороне его тень? Непременно!

Пока чинят мост, звуковка не сдвинется. А что, если?..

Да, повернуть, и немедленно на КП! Доложить майору — и в лагерь к Фюрсту.

— Можете, — разрешил Шабуров. — Я останусь.

Озерко, круглое, как блюдо. На синем льду почти на самой середине, чернела, затягиваясь шугой, каска.

Нам отвели каменное строение на берегу, облупленное, изрешеченное осколками. Солдат-связист с мотком проволоки на плече срывал со стены доску с изображением слона — эмблему немецкой части. Из распахнутой двери на дорожку, в лужи летели банки из-под консервов, из-под немецкой сапожной мази, тряпки...

— Майор у генерала, — сказала Михальская. — Ну-ка, помогайте, Саша!

Мы втроем — я, Коля и печатник Рыжов, тихий силач рызалец, — с грохотом вытаскиваем на улицу немецкие койки. Кидаем в печь немецкие книжонки с анекдотами, плоскими, как стоптанная подошва. Выметаем огрызки плотного, темно-серого немецкого хлеба. Выбрасываем выжатые тубики с надписями: «Лосось», «Селедка» — хитроумный химический эрзац, пустые сигаретные коробки, бутылки из-под шнапса, из-под мозельвейна, из-под греческой мастики, болгарской ракии. Изгоняем дух немецкой казармы.

Михальская командует нами. Она показывает, как отмыть, как отскрести, где должен быть кабинет майора, куда поставить железный сундук с документами.

Помещение быстро преобразуется. Пучок сосновых веток в медной гильзе; кусок фанеры, прибитый к стене над кроватью; на столике — пестрая салфетка, чайник.

— Плохо, что нет майора, — говорю я Михальской. — Времени в обрез. Завтра обратно.

— Тогда спешите, Саша. — Лицо ее озабоченно. — С майором я улажу.

Я заколебался.

— Что это значит, Саша? Вы забываете, что я старше вас по званию, — говорит она с улыбкой, но твердо. — Поезжайте в лагерь. Я вам раздобуду транспорт. Так уж и быть.

Она берет трубку. Да, «виллис» в политотделе есть. Папироса у Юлии Павловны погасла, я зажигаю спичку, но она отводит мою руку.

— Нет, нет, я сердита на вас, — сказала она с шутивым упреком.

Дом затрясся. Бомба с «мессершмитта» угодила

в озеро, подняв фонтан воды и обломки льда. Я увидел это в окно. Каска на озере медленно перевернулась и утонула.

Зенитки неистовствовали. Фашист еще кружился в воздухе, и, пока я ждал «виллиса», зенитки возобновляли свою музыку несколько раз. Начало смеркаться. Вдруг в окно с силой плеснуло режущим желтым светом. Он тотчас погас, его словно задуло грохочущей воздушной волной. А потом снова возникла за окном колеблющаяся желтизна, залила крыши, снег.

Коля Охапкин в эту минуту приколачивал над койкой майора гвоздь.

— Машина горит! — заорал он, уронил молоток и бросился на улицу.

В сотне метров от дома, на пустыре, стоял дощатый сарайчик. Коля с немалым трудом завел туда звуковку, предвительно раздвинув в стороны немецкие канистры из-под бензина, — там помещался склад горючего. Из нашего окна сарай не был виден.

— Почудилось ему, — сказал я Михальской, но выбежал следом.

Сарай горел. Можно было только подивиться чутью Кольки: маленькая бомба с «мессершмитта» подожгла постройку, яркое пламя охватило стену и крышу. Коля исчез в клубах дыма, и я услышал, как он нетерпеливо нажимает стартер. Звуковка трогалась с места, порывалась выйти из пылающего сарая, но что-то мешало ей.

Я подбежал. У входа в сарай желваками вырос лед. В него-то и упирались передние колеса звуковки. Что я мог сделать? Звуковка едва различима в дыму, оттуда пышет жаром. Задохнется Колька!.. Надо немедленно помочь, но как? Лопату! Да, лопату, чтобы разбить лед. Я повернулся и увидел Михальскую. Она была в одной гимнастерке, бледная. Ветер откидывал со лба ее волосы.

Я что-то сказал ей. Мы кинулись к дому. Где лопата? Помнится, она попадалась мне на глаза, когда мы прибирались.

Коля все еще нажимал стартер. Или это только кажется мне? Я шарю в передней, в коридоре, опрокидываю какие-то ящики. Фу, дьявол поberi, лопаты нет! Задохнется Колька... Я отчетливо представлял его себе: вцепился в баранку намертво, а дым душит его.

В темноте за дверью натыкаюсь на гладкую, чуть изогнутую рукоятку. Топор! Держись, Коля! Сейчас! Потерпи еще немного, еще чуть-чуть! На пустыре все неистовей пляшут отсветы пожара, их ощущаешь почти физически. Мотор звуковки работает, фары ее зажжены, они режут дым, как два клинка... Значит, Колька еще дышит там. Но чем он дышит? Как можно дышать там, в костре?

Колька упрям. Я знаю, он не выпустит баранку. Задохнется, но не выпустит.

Меня нагоняет Рыжов. У него лопата. Сейчас мы живо взломаем лед. Еще минута... Нет, меньше — полминуты.

Только один раз ударил я, давась от дыма, по ненавистному панцирю льда. Клаксон звуковки взревел, и мы отпрянули. Разбежавшись, насколько позволяло тесное пространство, машина одолела порог, свет фар стал ярче, еще ярче и, наконец, ослепил нас, глянул нам прямо в лицо, в упор.

Вероятно, от жары лед обтаял и выпустил звуковку из плена. Но это мы сообразили после. Лишь одна мысль жила во мне, когда звуковка вышла из огня: Колька выдержал. И машина спасена.

Коля вылез, хотел что-то сказать, но закашлялся и припал к радиатору.

Он кашлял долго, очень долго, и мы ждали. На пожар сбежались еще люди, и все смотрели на Колю и ждали.

Наконец он выпрямился.

— Порядок,— сказал он тихо, обошел машину кругом и сел на ступеньку.

У сарая хлопотали солдаты. Но они сбежались слишком поздно, чтобы отстоять хлипкое, на время сколоченное сооружение. Крыша уже обвалилась, стену проело огнем насквозь.

Мы отвели Колю в дом.

— Лежи,— сказал я.

— А кто же вас в Славянку повезет? — Он порывался встать и надсадно кашлял.— Нельзя лежать. Вам же ехать, товарищ лейтенант.

— Есть «виллис»,— сказал я.

— Плохо,— сетовал Коля.— Нет, я встану.

Гонять звуковку так далеко все равно не имело

смысла, но Коля не хотел этого понять, ему было обидно, что я поеду в другой машине, в «чужой».

Зенитки будто взбесились. Под их неистовый перестук, невольно пригибаясь, я побежал к «виллису».

Часа три спустя я слез у ворот лагеря.

Обер-лейтенант Эрвин Фюрст внешне не изменился, он производил все то же впечатление: манекен в форме. Ворот кителя туго стягивал плотную шею.

Листая письма, он тяжело дышал.

— Да, Ламберт,— сказал он сипло.— Солдат Клаус Ламберт из Страсбурга.

— Вы знали убитого?

— О да, знал. Странно, почему вы, советский офицер, интересуетесь судьбой немца?..

Я ответил:

— Не все немцы — наши враги.

За перегородкой, как и в тот раз, играли в карты. «Ваш ход, господин полковник!» — донеслось оттуда. «Все те же», — подумал я.

Время неодинаково для всех. Есть время победителей, стремительное, как танковый удар, и время побежденных. Мы много испытали, мы знаем, как тяжело время в отступлении, как томит время в окопах и блиндажах обороны, но не нам досталось время побежденных, эта пытка временем.

Невольно я сказал это вслух. Понял ли меня Фюрст? Его пальцы поднялись к шее, расстегнули ворот.

— Русские — удивительная нация,— с трудом произнес он и умолк, словно прислушиваясь. Мне показалось, он боится привлечь внимание своих товарищей, глушащих там, за перегородкой, лагерную тоску картами.

— Вам дьявольски везет, господин дивизионный пастор,— слышался оттуда густой покровительственный бас.

— Пастор! — бросил мне Фюрст.— У вас нет пасторов в армии, верно? Какой же бог у вас? Какой бог вам помогает, хотел бы я понять!

Он сжал большими руками виски, перевел дух, заговорил спокойнее.

— Слушайте... В декабре на передовую возле Колпина,— он, как и все немцы, сказал «Кольпино»,— ваши выслали самолет. Маленький, легкий самолет, его так легко сбить. Боже мой, как солдаты были потрясены!

Оттуда говорила женщина... Она кричала нам, чтобы мы сдавались в плен. Ну, у нас не было охоты сдаваться, мы еще спали в тепле, и дела у нас шли еще не так плохо. Но женщина... Из осажденного Ленинграда...

Ого, и он запомнил «небесную фрау»! Нашу Юлию Павловну!

— Из осажденного Ленинграда,— повторил Фюрст.— Вот что удивительно! Фюрер говорил: Ленинград упадет нам в руки, как спелый плод. Голодный город, измученный, и вдруг женский голос оттуда призывает сдаваться в плен. После этого я среди солдат слышал такие речи: «Э, господин обер-лейтенант, Ленинград нелегко будет взять! Они там и не думают поднимать руки». И я спрашивал себя: откуда у русских столько уверенности? Если бы мы были в таком положении, в блокаде, нашлась бы у нас такая... «небесная фрау»? Но дело не в ней. Там у нас есть отчаянные. Не в том дело... Моральная сила сопротивления, понимаете...

— Понимаю,— сказал я.

А Михальская и не предполагала, что ее полеты вызовут сенсацию. Возвращалась она тогда расстроенная: то зенитки помешали, то аппаратура закапризничала.

Как же говорить с Фюрстом дальше? У меня не было определенного плана.

— Ваша семья, если не ошибаюсь, в Дрездене? — спросил я.

— Да.

— На Дрезден были налеты,— сказал я.— Ваших родных ободрила бы весть от вас. Живая весть... По радио...

Фюрст помрачнел и опустил голову. Я почувствовал, что он отдаляется от меня.

— Видите,— продолжал я,— мы разбросали листовки с вашим портретом, но нам не поверили. Я беседовал с одним пленным. Говорят: пропаганда. Твердят нам: Фюрст покончил с собой. Некоторые будто бы своими глазами видели.

Может быть, и не следовало сообщать ему об этом. Я уже упрекал себя в излишней откровенности, когда Фюрст вдруг поднял голову и я уловил на его лице выражение любопытства и удивления. Впоследствии я понял: доверие завоевывается только доверием.

Он вдруг откинулся на стуле и отрывисто заговорил:

— Да, да, господин лейтенант. Я знаю, чего вы хотите, чтобы я, как Вирт... Моя семья! — он сплел крепкие пальцы. — Семье будет хуже, если я воскресну, вы понимаете? Но дело не в этом. Вы сказали, что у побежденных и у победителей даже время разное. Да, да, боже мой, как это верно! — Он подался ко мне. — У нас все разное, все! У нас не может быть общего языка.

— Почему? — спросил я.

— Нет! Не было такого примера в истории. Вы оказались сильнее и растопчете нас. Это же ясно! Что же вы предлагаете мне? Идти вместе с вами?..

— Бейте, Вилли! — раздалось за перегородкой. — Бейте рейхсмаршала!

— Они играют, — произнес Фюрст и поник. — Они ни о чем не думают, господин лейтенант, и в этом их счастье. А я не могу не думать, такая уж проклятая у меня голова.

— Желая успеха, — сказал я, вставая. — Но мы не намерены топтать немецкий народ. Мы не нацисты.

Теперь лучше оставить его. Наедине с его мыслями. У него есть о чем подумать сегодня, после того как он узнал о Фюрсте-легенде. И о своих подручных. Но одна невысказанная мысль не давала мне уйти.

— Вы признаете себя побежденным, господин Фюрст. Зачем же вы заставляете драться своих бывших подчиненных? Ради чего вели слежку, применили расстрелы?

Он удивленно вскинул брови.

Как я узнал потом, Фюрст действительно немало размышлял в тот день. Помогали ему не только саксонско-антифашист и начальство лагеря. Нет, невольно помогли офицеры-нацисты, товарищи по плену.

За карточным столом Фюрст сидел рядом с лейтенантом Нагером, фатоватым сыном прусского юнкера. Офицеры располагались по старшинству. Фюрст, сын портного и, по общему мнению, выскочка, должен был считать за честь играть в компании потомственных родовитых вояк.

Игру придумал Нагер, карточный виртуоз. На квадратах плотной бумаги он написал: рейхсмаршал Геринг, рейхсмаршал фон Браухич, генерал Гудериан, генерал Шернер. Вместо королей, валетов, дам — гитлеровский генералитет, высшее офицерство. Нагер предложил и

правила игры. В основе они были просты: «старший» бил «младшего». Но даже равные по званию отличались знатностью фамилий, должностями, степенью близости к фюреру, и поэтому за столом нередко возникали споры, а временами и стычки.

После моего отъезда Фюрст вернулся к играющим. Но стул его исчез.

— А, господин обер-лейтенант! — прошепелявил Нагер.— Вы уверены, что ваше место здесь?

Фюрст не любил Нагера. Бездарность, трус, осевший благодаря протекции в штабе.

— Уверен,— ответил Фюрст.

— Вы ошибаетесь, милейший, — просипел седой, сморщенный полковник Бахофен.— Мы вам совершенно не нужны, насколько я разбираюсь в положении.

— Любимчик большевиков! — бледнея, выкрикнул Нагер.

Фюрст поднял кулак. Он мог бы убить Нагера одним ударом, и в эту минуту ему страшно хотелось сделать это. Фюрста схватили, оттащили от стола.

Он лег на нары. Его колотила лихорадка.

Чья-то ладонь легла на его горячий лоб. Он увидел гауптмана Вахмейстера Луциуса, или Луца, как его называли в военной школе. Фюрст и Вахмейстер вместе учились и были выпущены офицерами в один день.

— Я с тобой, Винни.— Так звал он Эрвина Фюрста со времен учения.— Я не буду с ними играть.

— Нагера я изобью,— пригрозил Фюрст и поднялся.

Луц взял его за плечи и снова уложил.

— Спокойно! — сказал он.— Без драки! Они все против тебя. Видишь ли, Бахофен сказал им...

Старый интендантский полковник, барон, владел поместьем в Вестфалии, Бахофен попал в плен недавно: наши танкисты прошли по тылам врага и захватили обоз. Когда я беседовал с Фюрстом, Бахофен вспомнил листовку с его портретом и всем поведал об этом.

Значит, Фюрст позволил себя снять для советской листовки! Недаром сюда приезжал фотограф! А сегодня явился русский офицер, тот самый, что привозил фотографа. И заперся с Фюрстом...

Нацистские бонзы, «фоны» отлучили его, объявили предателем.

Фюрст и не жалел об этом. Размышления его полу-

чили новую пищу. Впрочем, ни с антифашистом Виртом, ни даже с однокашником Луцем не делился Фюрст своими сокровенными мыслями. Они стали известны мне гораздо позднее.

Не буду, однако, забегать вперед.

В Вырицу я въехал ночью. Зенитки молчали, в небе невидимо гудели наши истребители.

Наши не спали. Стучала «эрика» Михальской, печатник Рыжов смазывал машину. Коля латал покрышку. Лобода ходил по комнатам, напевая тягучую, пасмурную песню без слов. Его вызывали к генералу, и разговор предстоял не из приятных.

8

Генерал Мухелишвили встретил Лободу невеселым кивком. Перед ним лежал рапорт. Почерк показался Лободе знакомым.

До войны Мухелишвили заведовал кафедрой в педузе. «Не убьет, так рассмешит»,— говорили о нем студенты. Он не позволял себе повышать голос, «убивал» метким словом, ядовитым сарказмом.

Генерал подвинул к себе рапорт. Несколько минут длилось молчание. Слышались только тихие шаги Ряпущева, адъютанта. Он заваривал чай, нежно звеня ложечкой и поглядывая на Лободу с добрым сожалением.

Угнетала мрачность обстановки. При немцах здесь был отдельный кабинет казино. Его отделали в «старо-германском» вкусе: голые, некрашенные деревянные стены с черными ожогами, такого же стиля люстра из толстых, обожженных дубовых брусков. Лишь в одном месте унылый орнамент прерывался на стене рисунком. Садовая скамейка, на ней парочка. Военный облапил хрупкую, с осиной талией девушку. Внизу кудрявились пошлые готические вирши.

— Ну, антифрицы,— сказал наконец генерал.— Нет, даже не антифрицы...

— Слушаю вас,— спокойно проговорил Лобода. Кличка «антифрицы» давно укрепилась за нами.

— Может быть, мы похороним вашего немца с воинскими почестями, а? Возложим венки? С оркестром похороним, а? Может быть, дадим залп?

— Разрешите доложить,— сказал Лобода, поняв, что речь идет об убитом перебежчике.

— Мне уже доложили тут,— генерал подвинул к майору бумагу.— Ваш офицер будит разведчиков, устраивает форменное следствие. А потом вы с прискорбием извещаете немцев. Было это, товарищ Лобода?

— Не совсем так,— ответил майор.

— Пишет же человек. И другие подтверждают. Ознакомьтесь, секрета нет.

Писал Шабуров. Майор лишь в первую минуту почувствовал удивление. Он представил себе Шабурова, хмурого, мрачно выдавливающего слова. Именно так, лаконично, с плохо скрытым раздражением был составлен рапорт. Майор Лобода позорит звание советского офицера, утверждал капитан. Оплакивает убитого немца. Судьба фрица для Лободы на первом плане.

— Разрешите теперь мне доложить вам,— сказал Лобода, кладя бумагу.— Смысл передачи был иной.

— Текст с вами?

— Нет, товарищ генерал.

— Прошу доставить.

— Запись есть, но я менял на ходу... Я говорил без шпаргалки.

«Ну, держись»,— подумал майор. Но генерал взглянул на него с любопытством. Лобода рассказал все подробно.

— Все-таки вы перехлестываете,— сказал Мухелишвили, дослушав.— Сбиваетесь с тона. Вообще эта история с перебежчиком больше касается самих немцев. Существует комитет «Свободная Германия», есть немецкие антифашисты — вот и на здоровье. Они редко выступают у вас. Почему? Эффект от вашей работы пока что слабый, товарищ Лобода.

— Хвалиться нечем,— признался Лобода.

— Я не знаток, но смотрите, как на других фронтах проявили себя немцы-антифашисты! Сотни перебежчиков, коллективная сдача в плен...

— У нас немец еще не пуганый.

— Шабуров, по-моему, обижен,— сказал генерал, отмахнувшись.— Это он просится в артиллерию?

— Так точно.

— Взять его у вас?

— Воля ваша, товарищ генерал,— рассердился Ло-

бода и перешел в контратаку.— Мы же антифрицы всего-навсего. Нам и бензин в последнюю очередь. И специалиста у нас отнять ничего не стоит. Да что Шабуров! Шофера в автороту сманить тоже можно. Антифрицы! А вот простой солдат так не скажет. Я помню, под Москвой...

Он запнулся, сообразив, что ляпнул дерзость. Но генерал улыбнулся.

— Ну-ну, что под Москвой?

— Солдаты на передовой просили: «Разрешите дать понятие фрицу». В одной руке винтовка, в другой — рупор. Вот как было. Фашист тут гадил, — Лобода поднял глаза на рисунок с двустигмией, — и наш боец не прощает ничего. Нет! Но спрашивает: кто же он, фриц? Неужели каждый немец — враг? А нельзя ли иному дать понятие и противника превратить в друга? А?

— Скоблить времени нет, — сказал генерал и тоже посмотрел на рисунок. — Завтра дальше двигаемся. Обижаетесь на кличку? Хорошо, правильно, что обижаетесь. — Он усмехнулся. — А в части бензина, между прочим, команда дана.

Генерал смягчился. Лобода нравился ему: смело отстаивает свое дело и за Шабурова держится, несмотря ни на что. Тем яснее выпирало личное в рапорте Шабурова.

— Так Шабуров нужен вам?

— Обязательно, — твердо ответил майор. — Золотые руки.

— Добро, — весело сказал Мухелишвили. — Но объясните, что с ним? Инженер, служба по специальности. Начальник у него... Вежливый начальник.

— Личное горе, товарищ генерал. Потеря близких.

Лобода обдумывал упреки генерала и на вопросы о Шабурове отвечал нехотя, сухо.

— А вы беседовали с ним?

— Неоднократно.

— Ваша звуковая машина, ваши листовки тоже оружие. Почему он не сознает этого? Чем он дышит? Война не личное дело капитана Шабурова.

— Верно, товарищ генерал, — отозвался Лобода. Чем, однако, дышит Шабуров? Майор не мог ответить, он припомнил беседы с ним, короткие, колкие. Шабуров не раскрывал себя.

— Нехорошо,— произнес генерал.— Понять немца надо, это вы правильно сказали. Но своего подчиненного почему проглядели?

Лобода шагал из подтитотдела взволнованный. Сам того не замечая, он запел. Навстречу ему по талой, хлопьяющей дороге шла колонна пехотинцев. Солдаты с любопытством взирали на странного майора. Запрокинув голову, подставив лицо мокрым хлопьям снега, он возглашал «Реве та стогне» и никого не видел.

Все это Лобода рассказал мне и Михальской. Все, без утайки, с той дружеской откровенностью, которая так располагает к нему.

— Да, друзья, генерал прав. Мы не помогли Шабурову. Как это сделать? Как?

— Отпустите его,— сказал я.— Силой держать не надо. Он еще в гражданскую у Щорса в артиллерии был. Тяжело ему у нас, товарищ майор. До того что... «Победа,— говорит,— не вернет мне моих близких, все равно я конченый. Одно желание — побольше фашистов убить напоследок».

— Что? — воскликнул Лобода.— Победа не вернет?.. Он так сказал? И вы считаете, нужно отпустить его? С таким настроением? Эх, писатель! — майор смерил меня уничтожающим взглядом.

— Одной мезтью жить нельзя,— вставила Михальская.— Без света впереди, без веры в будущее... Это ужасно, Саша! Это моральное поражение.

— Да, мы тут проглядели,— продолжал майор.— На звуковке все рассыпались, нет настоящей спайки... Охапкин и тот в лес смотрит.

— У Коли семь пятниц на неделе,— сказал я.— Немецкий язык вздумал изучать.

Михальская засмеялась.

— Вы, писатель, удивительно наивны иногда.— Лицо майора уже потеплело.— Обойти пытаетесь все сложное, неприятное, хотите рубить узлы? Методом упрощения? Не выйдет. Побавался я, признаюсь вам, как бы вы с Фюрстом не испортили музыку. Нет, молодцом! — Лобода обернулся к Михальской.— Ваше мнение?

— На пять с плюсом,— ответила она.

Я обрадовался. О трофейных документах, о моей поездке в лагерь я доложил Лободе раньше, как только приехал. Теперь предстояло решать, как быть дальше.

— Генералу я обещал перебежчиков,— пошутил майор.— Нет, серьезно, успехи у нас не блестящие. За авиа-полевой, пожалуй, незачем гоняться. С листовкой осечка получилась. Их только сам Фюрст может убедить. Живой Фюрст, собственной персоной, у микрофона...

— Так и будет,— заявил я.

— Надеемся. А пока антифашиста для звуковки нет. Вирт занят в лагере, в комитете, да и неважная у него дикция. Насчет забавника того, вашего...

— Гушти,— подсказал я.

— Справлялся я. Все еще чертит. Спектакли дает разведчикам, Геринга, Геббельса изображает.

— Товарищ майор,— начала Михальская,— немцы давно не слышали голоса «небесной фfrau».

Она выпустила изо рта комочек дыма, он медленно таял в воздухе. Она рассекла его карандашом.

— Что ж, согласен,— кивнул Лобода.— Поезжайте с писателем. Работы хватит на двоих. И напомните немцам, что вы та самая...

9

Попутчиком нашим оказался майор Бомзе из разведки. Михальская явно нравилась ему. Он болтал всю дорогу, не умолкая.

— Ох, и травит Гушти! Мы хохотали до колик. Геринг, ну, как вылитый...

— А польза от Гушти есть? — спросил я.

— А то нет? Красиво рисует. Память редкая: траншеи, бетонные укрепления — чертова пропасть всего построено. Взяли мы его творчество, сверили с данными аэросъемки. В общем совпадает.

— Скоро он освободится у вас?

— Потерпите.

Мои расспросы досаждали майору Бомзе. Отвечая, он смотрел на Михальскую, обращался только к ней. Я умолк.

— Вчера Усть-Шехонский к нам заходил,— продолжал Бомзе.— Из-за Гушти. А повод, собственно, я сам подал. Как-то на прошлой неделе залез в эфир. Переговариваются два немецких радиста. «Как поживает Курт?» Второй радист отвечает: «Нет Курта». — «Что,

в отпуск уехал эльзасец?» — «Нет, в другую сторону». — «Куда же?» Тот радист смутился, промычал что-то невнятное, ну, словом, дал понять, что местопребывание Курта знать не следует. Черт его ведает, может, его к нам закинули? Ясно? Усть-Шехонский и прикатил. «Покажите,— говорит,— вашего фрица, надо с ним по-калякать». Гушти ведь из Эльзаса. Ничего, все обошлось благополучно. Теперь Гушти проверенный,— засмеялся Бомзе.— Не беспокойтесь.

Майора Усть-Шехонского из контрразведки я знал. Он навещал нас и по службе и в часы отдыха. Держался просто, без многозначительности, пел с Лободой украинские и русские песни.

«Разумеется, нельзя подозревать Гушти,— подумал я.— Мало ли эльзасцев! А главное, съемка подтверждает его чертежи, он не обманывает нас».

«Виллис» одолевал промоины, расплескивал лужи. Сзади доносилось:

— От мужа известие имеете?.. Ах, не замужем?.. Развелись до войны? И не скучно?

Он подсел к Михальской поближе. Она отодвинулась.

Шабурова мы застали в палатке связистов, в бору на берегу реки. Саперы закончили работу, обновленный мост белел, как сахарный. По нему, тяжело гроыхая, ползли танки.

Вид у него был кислый,—приезд Юлии Павловны совсем не радовал его.

— Авиаполеву отставить,— сообщила она ему.— Курс меняется.

Охапкин повеселел, увидев Михальскую. К обеду сменил воротничок, пригладил жесткие волосы. Глотая фасолевый суп, вопрошал, может ли женщина с высшим образованием полюбить шофера или, допустим, токаря. Каково мнение капитана Михальской? Всем было ясно: это только завязка — Коля заведет речь о враче Быстровой.

— В Ленинграде одна женщина-конструктор у меня была. На танцах познакомились. Костюм мне подарила. Верите, нет? Еще галстук.

И это не новость для нас. Великодушная девица дарила Коле то мировой шарф всех цветов радуги, то ботинки, то рубашку. Если верить Коле, щедротами девицы-конструктора можно одеться с головы до ног.

— Врешь ты все, Николай,— устало сказал Шабуров и бросил ложку в кастрюлю.

В кастрюлях пусто. Посуда вымыта, аккуратно поставлена в шкафчик. Пора в путь.

Я сел в кабину с Колей. Машина мягко съехала с пригорка, набухшего влагой, словно губка. Мартовское солнце грело по-весеннему. В талых водах колеса выводили гаммы: где поглубже — там звук пониже, где мельче — высокий, звенящий.

— Товарищ лейтенант,— сказал Охапкин,— у капитана Юлии Павловны есть кто-нибудь?

— Нет,— ответил я.

— Смешно,— бросил Коля.— Кто-нибудь должен быть.

«Она не такая, как все»,— отзывалось во мне. Она решила до конца войны быть «Юрием Павловичем», как ее прозвали машинистки штаба, капитаном в кирзовых сапогах, отвергающим мужские ухаживания.

— Весна, щепка к щепке и то лезет. А она же, как ни есть, баба, верно? Вот врач Быстрова, майор медицинской службы...

— Влюблена в тебя?

— Ага.

— А еще кто в тебя влюблен? Лейтенант Шахина из мыльного пузыря?

Таково было неофициальное наименование банно-прачечного отряда.

— Тоже,— выдавил Коля, глядя в сторону.— Только я ни в кого, товарищ лейтенант. Вот беда!

— Отчего же?

— Нельзя мне любить,— истово ответил Коля.— Если влюблюсь, тогда я себя берещь нашу, товарищ лейтенант. Нельзя ни в коем случае. Хана тогда!

Звуковка катилась по снежной равнине, залатанной бурыми проталинами.

На горизонте, где синел лес, невидимо ворочалось и гремело что-то огромное. Временами в этот гром врывался залп «катюш», будто тонны камней скатывались с железного лотка.

Фронт звал нас все громче. В деревушке, наполовину сожженной, бросились в глаза следы совсем недавнего боя. В кювете, вздыбившись, застыл подбитый немецкий танк, ствол его пушки навис над шоссе подоб-

но шлагбауму. Яростно треща, горел дом с наличниками на окнах, с резным крылечком. Некому тушить. К нижней ступеньке крыльца приткнулся солдат в валенках, обшитых красной кожей, в теплой куртке и ушанке. Казалось, он спит.

За деревней, на обтаявшем холмике — кучка немцев, взятых в плен. Я сошел с машины. Все долговязые парни, молодые, с оступелыми, странно одинаковыми лицами. Изодранные шинели. Сквозь прорехи белеют бинты.

— Сосунки,— сказал усатый военфельдшер, подходя к нам.— «Катюша» поцеловала слегка. Что, толковать с ними желаете? Бесполезно. Видите, обалдели, не мыслят.

Немцы стояли не двигаясь, молча.

— Сколько вам лет? — спросил я ближайшего.

Он не шевельнулся. «Живы ли они?» — мелькнула дикая мысль. Немец будто врос в землю, взгляд его водянистых глаз не выражал решительно ничего. Взгляд мертвеца.

«Ему не больше восемнадцати,— подумал я.— Верно, свеженький, из тыла и сразу под огонь «катюш». Надолго запомнит эту встречу».

В сумерки мы добрались до передовой части. Здесь снег еще не сошел: зарывшись в нем по ступицу, притаились маленькие, почти игрушечные, противотанковые пушки-«сорокапятки». С бугра просматривалось плоское поле, там маячили, тонули во мраке черные фигурки — уходящие гитлеровцы. «Сорокапятки» задорно глядели на них.

К нам подбежал длинноногий бородатый офицер в расстегнутой куртке. На груди серебрился орден Александра Невского.

— Чем черт не шутит,— сказал офицер.— Не ровен час, контратака.

— У них танки? — спросил я.

— Два.— Офицер жадно затянулся папиросой.— В сущности, полтора,— поправился он.— Один мы кокнули, ковыляет кое-как.

Подошла Михальская.

— Поработаем,— сказала она.

— Антифрицы.— Майор оглядел нас с интересом.— Учтите, у них шестиствольный миномет.

Охапкин уже разворачивал звуковку. С вечера ударил мороз, дорога поскрипывала.

— Стоп! — крикнул Шабуров. Он соскочил на дорогу и шел рядом с машиной, держась за крыло.

Теперь она повернулась рупорами к противнику. Укрыться негде. Рядом, за обочиной, заросли, но туда не сунешься — снег слишком глубокий.

— Я первая, — заявила Михальская и вошла в кузов. Затарактел движок.

Рупоры грянули военный марш. Потом раздался голос Михальской, оглушающий, совсем чужой.

— Вы, наверное, уже слышали меня, — начала она. — Вы называете меня «небесной фразой». Я говорила вам с самолета. Я предупреждала вас, что и под Ленинградом вас ждет разгром. Вы тогда не верили. И вот вы убедились.

Вся ночь наполнилась ее голосом. Немцев не видно, их поглотила темнота. А может быть, их и нет вовсе? Оттуда ни выстрела, ни ракеты.

Охапкин что-то говорит мне. Его губы шевелятся.

— Ударяют самосильно! — кричит он мне в самое ухо. — Не оглядываются.

— На что вы рассчитываете? — Звуковка грозно вопрошает молчащую ночь. — Бегство не спасет вас. Для вас нет спасительного рубежа.

Около меня приплясывает, дышит на руки Коля. Ноги его в новых сапогах скользят, он хватается меня за рукав.

— Блеск! — слышу я. — Видели у майора?.. А что, орден Кутузова выше или нет?

— Выше, — отвечаю я, не задумываясь.

— Холодно! — Коля отпустил мой рукав. — Зима опять... Пойду в кабину.

Рупоры умолкли. Машина стала как будто меньше. Потемнела, начала сливаться с ночью. Острый металлический щелчок дверцы — словно точка, звуковая точка после передачи.

— Бензином пахнет, — сказала Михальская. Она жадно вобрала в себя студеной воздух.

— До чего же тихо, — сказал я.

— Провалились они, что ли? — беспокойно откликнулся майор.

Его тянуло к нам. Словечко «антифризы» он произ-

носил без иронии. Он тревожился за нас, порывался помочь нам, подать совет.

Вдруг звуковка выделилась из мрака. Облака раздвинулись, показалась половинка луны с прозрачным, оттаявшим краешком. Отчетливее забелело снежное поле впереди, голое, враждебное. Гитлеровцев нет, они далеко.

— Вы сюда встаньте,— сказал майор Михальской.— В случае чего — в кювет.

— Тихо ведь,— ответил я, чтобы ободрить себя. На меня тоже действовала эта непонятная тишина. И ненужный свет луны. Сейчас моя очередь, движок уже остыл, кузов проветрен. Там, в крошечной тьме, копошится Шабуров.

— Включаю,— сказал он.

Я вошел и плотно захлопнул за собой дверцу. Движок встрепенулся, сонно разгорелась лампочка, соединенная с микрофоном.

Вещать из машины очень неудобно. Не только из-за паров бензина, выбрасываемых движком. Собственный голос не слышен, его топит рев репродукторов. Неудобно, а иногда жутко бывает здесь, в наглухо закупоренной машине, охваченной ночью, неизвестностью. С робким светлячком-лампочкой. А может быть, луна уже за тучей? Да, наверно, за тучей. Ведь просвет был небольшой. Если так, то хорошо. А если нет? У немцев шестиствольный миномет, и им нетрудно, в сущности, засечь нас по звуку.

— Внимание, внимание! — начал я.— Даем вести с фронта.

Я читаю сводку. Я чувствую, как движутся мои губы, ощущаю мускулы гортани, давление воздуха, но голоса, моего голоса, точно не существует. Грохочет другой голос. Он бьет в уши, он сжимает голову, как тяжелый шлем. Он разливается необъятным океаном, и я на дне этого океана.

Сводка закончена. Тихо, по-прежнему тихо. Лампочка меркнет, я отодвигаю штору. Да, луна спряталась. Теперь листовку о преступлениях фашистов. О сожженных заживо в Титовке, о пытках, об издевательствах над советскими людьми.

— Палачи не уйдут от расплаты! — грозит, сотрясаясь, звуковка.

Внезапно микрофон выпадает из пальцев, я уже не сижу на ларе, я на полу. Какая-то сила отчаянно трясет звуковку, словно налетел ураган. По инерции я еще произношу слова, отпечатавшиеся в памяти, но рупоры наверху молчат.

В ту же секунду я очутился на улице. Как это произошло, не знаю, очевидно меня вытолкнул Шабуров. Дорога безлюдна.

Где Михальская? Где майор?

Отвратительный вой заставил пригнуться, кинуться к кювету. Шабуров дернул меня за плечо, я упал и растянулся в кювете, на ломком снегу. Близко, в кустарнике, лопались мины.

Шестиствольный... «Это второй залп»,— сообразил я. От первого умолкла звуковка. Я поднялся, сплевывая снег. Рядом вырос майор, потом, опираясь на него, встала Михальская.

Она побежала к машине. Звуковка дрожала, мотор жил. Охапкин, вероятно, пустил его в ход, как только миномет начал стрелять. Ох, отчаянный Колька! Первая пачка мин разорвалась за другой обочиной шоссе, звуковка наша заслонила тех, кто стоял у кювета и возле «сорокапятков». Осколки достались ей. Но это выяснилось потом. Я не заметил пробойн в борту, не успел заметить, так как Михальская рванула дверцу кабины и крикнула:

— В машину! Живо!

Звуковка понеслась на предельной скорости. Я глядел в окно. Дорога повернула, опоясывая холм. Лязгнули тормоза.

Мы с Шабуровым вышли. Со мной столкнулась Михальская. Она задыхалась.

— Надо вынести его,— сказала она.

Коля лежал в кабине. Он сполз с сиденья, ноги его подогнулись, голова откинулась на спину. Крови почти не было. Мы не сразу разглядели ее—она тоненькой струйкой сочилась из ранки на виске, едва приметной. Мы вытащили Колю и внесли в кузов. Он застонал. Я развернул на полу матрац, и мы положили на него Колю.

— Вы с ним будете...— сказала мне Михальская. Она села за руль, за ней послушно пошел в кабину Шабуров.

Стало быть, Михальская вела машину. А мотор включил Коля, включил последним усилием, раненый...

Машину подбрасывало. Я придерживал голову Коли. Он опять застонал.

— Скоро, Коля, скоро,— сказал я, силясь увидеть в темноте его лицо.— Приедем в медсанбат, Быстрова тебе перевязку сделает...

Он не слышал меня. Нет, я не видел его лица, но знал, что мои слова раздаются в безучастной пустоте.

— Ерунда, Коля,— сказал я.— Царапина. Мы еще воевать будем, Коля. Нам до Берлина с тобой...

Он стонал и временами двигал руками, будто смахивал что-то с лица. Сквозь ушанку я ощущал живое тепло.

Палатки медсанбата, большие, мягкие, словно опустившиеся на землю облака, возникли у самого шоссе, в серой мгле. Подбежали две низенькие плечистые санитарки с носилками.

Мы ждали. Вышел седой прихрамывающий санитар с тазом, плеснул из него и заспешил обратно. Красноватое пятно осталось на снегу. За тонкой стенкой палатки кто-то, захлебываясь, кашлял. У соседней палатки разгружали машину с красным крестом, выносили раненых.

Вышла женщина в туго перетянutom халате, бледная, с вызывающе четкими черными бровями, с длинными ресницами.

— Привезли? — спросила она.— Как фамилия?

— Охапкин,— сказала Михальская.

— Возьмите его документы.— Женщина в халате строго оглядела нас и прибавила:— Смертельный исход неизбежен. Пробит череп. Мы нашли выходное отверстие.

Нашли... Как будто это может что-нибудь изменить! Мгла обступила меня.

— А когда...— Михальская отстранила Шабурова.— Когда наступит исход?

— Не возьмусь определить. Несколько часов, а возможно, и день.

— Мы приедем за ним,— сказала Михальская.— Чтобы похоронить.

— Капитан Быстрова! — позвал кто-то из палатки, и женщина в халате исчезла.

На обратном пути я сидел в кузове против Шабурова. Михальская гнала вовсю. За лесом вставало багровое солнце, освещало изуродованный осколками движок, пробоины в обшивке, в ларе, в железной печурке.

Я видел Колю, его живое тепло еще не остыло на моих ладонях.

— Быстрова! — с горечью проговорил Шабуров. — Она и не знает его.

— У него мать в Ленинграде, — сказал я. — Больше никого нет.

— Орден ей пошлем.

— Какой? — не понял я.

— Дадут посмертно! — отрезал Шабуров и стукнул по столу.

— Ему все равно теперь, — сказал я.

— Зато ей не все равно, — возразил Шабуров запальчиво. — Мы с майором добьемся.

«Он по-своему был привязан к Коле, — подумал я. — Ворчал на него, злился на его невинные выдумки и все же...» Сейчас он скажет, пожалуй, что Коля погиб напрасно, что мы патефонная служба, оседлает своего конька. Я не хотел этого и сказал:

— Видите, мы тоже в бою. На самом передке. В самом пекле.

Шабуров расстегнул китель и вытащил из внутреннего кармана сложенный лист бумаги. Руки его тряслись. Он медленно развернул бумагу, глянул и медленно разорвал вдоль. Затем сложил обе половинки и разорвал еще раз — поперек.

Обрывки упали на пол. Это был очередной рапорт Шабурова с просьбой отчислить его от нас и перевести в артиллерию.

II

В то же утро на батарею «сорокапятков» пришли три перебежчика и заявили, что их звала в плен «небесная фрау».

Мне не довелось увидеть их. Звуковка отправилась в Ленинград, в капитальный ремонт. Вел ее Чудинов,

степенный немолодой солдат, осторожно объезжавший каждую промоину. Я ехал с ним в качестве пассажира: меня командировали на фронтową радиостанцию.

Обратно Чудинов привез меня через два с лишним месяца, в разгар июня.

Звуковка резво бежала по добротному сухому проселку. Большой шмель жужжал в кузове, ударяясь о стекло. За окном проносились эстонские хутора. Они пестрели среди молодой зелени, напоминая разноцветные грибы сыроежки.

Со мной сидел Шабуров. Совсем другой Шабуров, чисто выбритый, бодрый, соскучившийся по друзьям, по действующей армии. По пути он приглашал в кабину и сажал на колени белоголовых эстонских ребятишек, угощая их пайковыми леденцами.

В звуковке пахло свежей краской, машина помолодела, но что-то ушло из нее вместе с Колей...

Наших мы нагнали в поселке, почти не тронутой войной. Они расположились в оранжевом доме с высокой, как башня, крышей. В доме было множество пустых ящиков, коробов, мешков, пачек плотной бумаги для обертки. Должно быть, хозяин — кулак, бежавший с немцами, — грузил свое добро второпях, навалом. В одной комнате осталась репродукция «Сикстинской мадонны», под которой Михальская пристроила свою койку. В комнате Лободы — вешалка из бычьих рогов, круглый стол и сейф, содержащий, как выяснилось при вскрытии, пару черных перчаток и цилиндр. Машина «первопечатника» Рыжова лязгала своими натруженными сочленениями на веранде, среди горшков с кактусами.

Без меня в хозяйстве Лободы появился еще один сотрудник — перебежчик Гушти. Я застал его на веранде, он отвечивал что-то на магазинных весах с красными чашками.

На кактусе белела бумажка. Гушти отмечал на ней вес своей порции масла, хлеба, сухарей. Ему полагался тот же солдатский паек, что и Рыжову. Получали они продукты разом, а потом делили. Операция эта, совершавшаяся нашими бойцами быстро, на глазок, у Гушти занимала добрый час.

Гушти стоял на коленях перед весами. Вид у него был такой серьезный, что я не сразу узнал его. Он ло-

лез в пакет за щепоткой фасоли и стал высыпать на чашку по зернышку, шевеля толстыми губами.

Я окликнул его.

— О господин лейтенант! — Гушти вскочил и вытянулся. — Все в порядке. Снабжение достаточное.

При этом он подмигнул и снова стал комиком Гушти. Он цитировал листовку. «Снабжение достаточное», — на это мы неизменно указывали, говоря гитлеровским солдатам о советском плене.

— Увы, нет шнапса и мармелада, — прибавил он.

— Ох здоров жрать! — буркнул Рыжов. — Эссен, эссен¹ — первая забота.

Гушти между тем, снова приняв молитвенную позу, вешал фасоль. Простоватая, маслянистая улыбка сошла с его круглого лица — это был уже другой Гушти, невеселый и жадный. Губы его шевелились. Похоже, он считал зерна.

— Э, вовсе он не простофиля, — сказал мне о Гушти майор. — Это кажется только... А в общем, полезный немец.

Михальская тоже была довольна работой Гушти. Ходячий словарь окопного жаргона! Записи Юлии Павловны сильно пополнились с появлением Гушти. Пришлось завести новую тетрадь.

— Взгляните, какие перлы! — восклицала она, листая ее. — Mit kaltem Arsch.² Значит, капут, гибель. А как немцы из рейха называют зарубежных немцев — чешских, румынских, польских? Bente deutsche.³ Правда, хлестко?

— Гушти развлекает вас, — заметил я.

— Сперва мы помирали с хохоту. Геринга он играл бесподобно. Но нельзя же без конца повторять одно и то же!

Она курила. Я подносил ей огонь, она, как всегда, с улыбкой отводила мою руку.

— Как Фюрст?

— Нового пока ничего.

Я не забыл Фюрста. Саксонец Вирт, выступавший у нас по радио, нередко приносил мне вести о нем. Хотя

¹ Есть, есть (нем.).

² С холодным задом (нем.).

³ Трофейный немец (нем.).

мне и не удалось за эти месяцы побывать в лагере военнопленных, я все же издали следил за житьем-бытьем обер-лейтенанта.

Его друг Луц еще в апреле примкнул к «Свободной Германии». В союзе с ним Вирт повел атаку на Фюрста, но обер-лейтенант уперся. Нет, он не выступит против Гитлера, не нарушит присяги! Пусть изменились его убеждения — он сохранит их при себе. Его бывшие подчиненные должны драться до конца.

— Другого выхода нет, — твердил Фюрст. — Германия рушится, к ней никто не придет на выручку. Русские — наши друзья? Красивые слова! — говорил он антифашистам. — Победители всегда одинаковы. Опять Версаль, голод, безработица... И русские, и англичане, и янки — все навалятся и скрутят нас по рукам и ногам.

Спорил он до изнеможения, до ссор и, разругавшись, ложился на койку. Возврата к карточному столу, к фон Нагеру, к фон Бахофену не было, да он и не стремился к ним.

Фюрст стал больше читать. Вначале он брал книги у Вирта с недоверием, с задором: погоди, мол, я разнесу твои авторитеты! Но вскоре увидел, что не в силах этого сделать. А бросить книги уже не мог.

Для компании, игравшей в карты, он перестал существовать. Его не замечали, с ним не здоровались. Фюрст не смотрел в их сторону, старался не слышать. Все же возгласы играющих доносились до него.

По правилам игры, из карточных генералов, рейхс-маршалов и нацистских бонз выделялись козыри. Фамилии козырных начинались на одну букву. Чаше всего «козырными» были «Г» — легче всего назвать Гиндербурга, Гаусгофера, Гимmlера. До последнего времени Гитлер не фигурировал в игре, но с высадкой англичан и американцев во Франции настроения среди лагерной знати переменились.

Труднее было с буквой «М», предложенной кем-то однажды. Назвали Манштейна, Мильха, Макензена. Кто же четвертый? И тогда лейтенант Нагер назвал маршала Монтгомери.

Фюрст подскочил на своей койке. Может быть, он ослышался? Нет! Германский офицер ставит в один ряд со своими маршалами англичанина, врага! Молоко-

сос Нагер сошел с ума! Его сейчас отведут к врачу, или...

— Он, пожалуй, прав, господа,— вдруг раздался голос полковника Бахофена. Внук последнего владельца Вестфалии, он считался старейшиной кружка. И вот, вместо того чтобы одернуть Нагера, Бахофен соглашается с ним! Фюрст ушам своим не верил.

— Браво, браво, граф! — воскликнул барон Ролло.— Я всегда ценил независимость ваших суждений. Нам-то с вами придется считаться с Монтгомери.

«Как мерзко! — думал Фюрст.— Эти вельможи еще недавно кичились своими заслугами перед нацистской партией, выдавали себя за патриотов Германии! Сейчас они готовы кланяться англичанам. Еще бы! Монтгомери с войсками в Нормандии, рано или поздно англичане и янки вступят в Баден-Баден, в Вестфалию, где этим чинушам принадлежат родовые замки, виноградники».

Предатели! Фюрст соскочил с койки. Нет сил терпеть! Он хватит кулаком по столу и выскажет им все, что о них думает. Но в эту минуту кто-то коснулся его плеча.

— Чудак ты, Винни,— сказал с усмешкой Луц.— Мяч не твой.

Так говаривал Луц еще в пору юности, когда учил Фюрста играть в футбол. «Не горячись, Винни, не бросайся, как бешеный, не твой это мяч».

— Они же не поймут тебя,— прибавил Луц, усаживая Фюрста.— Ты просто младенец, Винни. Неужели тебе не ясно? Они пекутся только о себе.

Однокашники тихо беседовали, сидя на продавленной койке Фюрста.

— Ты обрати внимание на Нагера,— говорил Луц.— Именинником ходит. Перед ним заискивают. А почему? Сестра Нагера в Америке, замужем за членом конгресса... Да, это факт, Винни. Что им Германия!

— Я вспоминаю своих солдат, Луц,— отвечал Фюрст.— Они славные парни и храбро выполняют свой долг. Знали бы они, о чем толкуют офицеры... Бахофен, надо думать, мечтает принять Монтгомери в своей усадьбе. Нет, нет, Луц, солдатам нельзя этого знать! Тогда конец, штыки в землю...

— Здесь ты как раз не прав,— настаивал Луц.— Именно им нужно знать. Да, штыки в землю, иначе русские истребят твоих славных парней и уж тогда Германия наверняка погибнет. И говорить-то по-немецки будет некому.

Слова Луца вызвали в уме Фюрста новый поток размышлений. Все чаще он стал думать о своих солдатах, умирающих на фронте. В самом деле, если их перебьют, что останется от Германии? Ведь поражение будет еще горше!

Шли дни. Радио приносило сенсационные известия. Советская Армия во многих местах достигла рубежа своей страны. Освобождены Крым и Одесса, финские дивизии изгнаны из Карелии, отпал еще один союзник Гитлера — Финляндия. Англичане и американцы крепко вцепились в Нормандию, теперь их уже не выбить оттуда. Бахофен, Нагер и прочие спохватились, что давно не практиковались в английском и французском.

— Худо ли им? — говорил Луц.— Семьи у них в безопасности. Под каждым замком, вероятно, глубокий и надежный бункер с ванной и паровым отоплением. А Бахофен каким-то образом умудрился отправить своих в Бразилию.

— Не им решать судьбу Германии,— вставлял саксонец Вирт.— Народ им не доверит своего будущего. Простые люди — вот кто теперь начал делать историю. Крот истории, как сказал Маркс...

Теперь Фюрст не гнал от себя Вирта. Простые люди? Да, такие, как его отец, как его солдаты... Эти господа Бахофен, Нагер и словом не обмолвились о солдатах! Считают будущие доходы, переводят их на франки, на доллары, на фунты.

В памяти Фюрста возникал Клаус Ламберт, убитый при попытке уйти к русским. Клаус, веселый юноша, любимец товарищей, нравился Фюрсту, хотя и проявлял иногда непозволительное вольнодумство. Ему, например, не хотелось чистить сапоги унтер-офицеру, он смеялся над поздравлениями, которые почта доставляла на передовую от окружных нацистских лейтеров. Лучше бы присылали шоколад! Отец Клауса — учитель истории в Страсбурге. «Ох, уж эти эльзасцы!» — сетовал тогда Фюрст. Все-таки они неполноценные немцы. Испорчен-

ная кровь, с примесью французской. Письма папаши Ламберта совсем не подтверждали любви эльзасцев к фюреру, их готовности к самопожертвованию. Фюрст ловил себя на том, что он мягок с Клаусом, непостижимо мягок. Покоряло обаяние этого жизнерадостного юнца. И странно, свойств истинно солдатских, столь ценимых Фюрстом, у Клауса не было совсем. Он был похож на хорошенькую, немного взбалмошную, шаловливую девушку.

Теперь Фюрст вспоминал Клауса уже без всякой досады, жалел его. Жалел и солдата Кадовски, полуполяка из Мекленбурга, расстрелянного за пораженчество. Молчаливый великан с большими грубыми руками крестьянина... Как мечтал Кадовски вернуться в свою деревню, обрабатывать свое поле!

Толстого, угодливого Брока Фюрст ставил в пример другим. Не то чтобы унтер-офицер возбуждал симпатию, нет, он часто раздражал Фюрста. Как заведет, бывало, речь о своих родственниках... Дядя у него, видите ли, из самого древнего рода в Тюрингии, дому и сенному сараю триста двадцать два года, а коровник, где мычат два десятка породистых симменталок, заложен сто десять лет тому назад. Какие сливки у дяди, какая домашняя ветчина!

Другой дядя — бургомистр в маленьком городишке, его сын — морской инженер, строил базу для подводных лодок в Свинемюнде. Перечень родичей не имел конца.

Брок жаден, на солдат смотрит свысока, но Фюрст поощрял его наградами, помогал продвигаться по службе. Брок был нужен. Теперь Фюрст спрашивал себя с болью: для чего нужен? А смерть Клауса Ламберта? Может быть, дело Брока?

Как-то раз Брок получил посылку из Тюрингии. Из того самого хваленного дядиногo хозяйства. Сыр, колбаса с тмином. Фюрст видел только корочки от сыра и кожуру от колбасы. Другие делились домашними дарами. Брок же не угостил даже своего обер-лейтенанта. Забил-ся в укромный угол и съел все один.

Брок действует и сейчас, заставляет солдат воевать. Действует и Фюрст, вернее его имя «героя дивизии»... Еще недавно это радовало Фюрста. Сейчас он не находил в легенде удовлетворения.

Так работала голова Фюрста. О его трудных раздумьях я узнал гораздо позднее, уже после того, как он принял решение, изменившее всю его жизнь.

Два события повлияли на Фюрста.

В лагерь прибыли новички. Один из них, капитан с длинной фамилией Кенигерайтерхаузен, сдался с остатками своего батальона. Правая бровь у капитана дергалась. Он примкнул было к компании Бахофена: баронская фамилия давала ему на это право. Но как-то сразу отошел от нее. Изо дня в день он рассказывал Фюрсту и Луцу о том, как батальон попал под огонь «катюш». Три залпа вывели из строя больше половины солдат. Снова и снова капитан спрашивал, правильно ли он поступил, сдавшись в плен.

— Нас бы истребили, понимаете? Как цыплят... Нас окружили. Мы ничего не могли поделать. Я должен был... Все-таки двадцать семь человек сохранили жизнь.

— Хорошо,— кивал Луц.— Эти жизни пригодятся Германии.

Фюрст смотрел на капитана, на его прыгающую бровь и неожиданно для самого себя выговорил:

— Вы правильно поступили, да, да!

Тем временем наступление наше продолжалось. Настал час последней битвы и для авиаполевой дивизии. Советские войска обошли ее с флангов и отрезали пути отхода. Майор Лобода, обрадованный, тотчас велел передать эту новость Фюрсту.

— Решай,— сказал Фюрсту Луц.— Ты ведь, в сущности, еще командуешь там.

И Фюрст решил.

— Передай русским,— сказал он Вирту, неловко переминаясь, охваченный внезапным смущением,— я согласен... То есть, видишь ли, мне нужно сказать несколько слов моим ребятам... Моей авиаполевой... Всего несколько слов.

Вирт тотчас же позвонил Лободе. Майор пригласил Фюрста приехать. В тот же день Фюрст, краснеющий, неуклюжий, не знающий, куда девать свои огромные руки, появился у Лободы. Я не был свидетелем этого события. В звуковке, с Гушти на борту, я мчался далеко от нашего КП в потоке наступления.

Гушти быстро освоился в звуковке. Примостившись у табуретки, он сочинял листовки и передачи, бросая плотоядные взгляды на мешки с пайком, разложенные на верхней полке, над кабиной водителя.

Писания Гушти были корявые. Еще на базе он начал составлять обращение к авиаполевой дивизии на случай встречи с ней. Солдата Клауса Ламберта он немного знал. Перед отправкой на фронт их обучали в одной части, и жили они в одной казарме, в Страсбурге. Потом Гушти потерял Клауса из виду. И вот недавно, уже у нас, открылась его печальная судьба.

— Ах, бедный Клаус,— вздыхал Гушти.

С Фюрстом он был знаком лишь понаслышке. Гушти чрезвычайно интересовался Фюрстом, нередко спрашивал меня и Михальскую, как поживает герой авиаполевой дивизии, что «варится в его котелке».

— Подручные Фюрста убили моего товарища Клауса,— декламировал Гушти, выводя карандашом колючие, неровные готические буквы.— Но я не побоялся их. Я добровольно сдался в плен русским. Они не обманули меня, я получил все, что обещано в советских листовках. На день мне отпускается хлеба восемьсот граммов, мяса...

Он не забывал указать и количество перца, соли. Отзывался с похвалой о гречневом концентрате.

— Листок из поваренной книги,— говорил я.— Поверьте, их занимает не только продовольствие.

— Да, о да, господин лейтенант! — Гушти хватался за карандаш и принимался за переделку.— Простите меня, сейчас я исправлю. Мигом! О, если бы я умел писать так, как вы! Нужен талант, не правда ли?

— И поменьше «я». Меньше хвастовства, Гушти.

Он вновь усердно погружался в работу. Однако глазами он то и дело косил на буханку хлеба, черневшую на полке.

Лобода приказал изучать Гушти, присматриваться к нему. Майор сказал это нам, мне и Шабурову, в день отъезда, а накануне вечером у него побывал майор Усть-Шехонский.

Наверняка речь у них шла о Гушти. Пищу для догадок мне дал Бомзе. Немцы забросили к нам агента,

некоего эльзасца. Понятно, нет прямых указаний на Гушти,— мало ли эльзасцев!

Как же, однако, изучить Гушти? Знаток людей из меня плохой. От Шабурова еще меньше толку: он не знает немецкого. И я по всякому поводу заводил с Гушти длинные пустопорожние разговоры, уставал от них, злился на себя и на него.

«Спокойнее,— твердил я себе.— Будь у контрразведчиков определенные подозрения, Гушти не сидел бы тут, в звуковке, направляющейся на передний край». Но воображение рисовало мне зловещие картины. Я не мог справиться с ними, и состояние мое было мучительным.

Тревоги мои и сомнения однажды на время утихли — после ночи вешания. Гушти читал у микрофона вятно, от текста не отступал, все прошло гладко.

За неделю странствований эта ночь, к сожалению, была единственной. Фронт двигался. Нам посчастливилось нащупать с помощью разведчиков группу гитлеровцев, засевших в лесу около железнодорожной станции. Они слушали нас, вяло постреливая. Ветви лип с цветами, сбитые пулями, падали на звуковку.

Утром немцев выбили. Бой был коротким. Он не оставил никаких видимых следов: брошенные палки от фауст-патронов, коробки из-под боеприпасов утонули в молодой зелени, в зарослях папоротника, малины. Вставал летний день, лучистый, теплый, душистый. Война словно замирала. Но в тот же день обстановка изменилась.

Мы миновали группу домиков, красных как маки, венчавшую холм. Дорога вела к глинистому откосу. Наверху дрожали юные березки — прозрачные зеленые облачка. Вдруг к откосу, обогнав нас, вынеслась откуда-то длинная машина, похожая на пожарную. Стальные фермы, возвышавшиеся на ней подобно сложенной лестнице, были усеяны рядами длинных хвостатых мин. Машина остановилась, едва не упершись радиатором в желтую стену глины. С подножек, из кабины брызнули бойцы, и раздирающий уши грохот потряс воздух. «Катюша» дала залп. Могучий ветер пригнул березки. Толкая друг друга, они суетливо выпрямились. Бойцы уже исчезли в машине. Она снялась, и лесная дорога поглотила ее. Позади рвануло, на месте одного из алых домиков взметнулся столб дыма.

Шабуров велел подвести звуковку под откос. Укры-

тие слабое, но другого поблизости не было. Машина накренилась, одна сторона ухнула в богатырскую колею «катюши». Снаряды рвались на холме и в лесу; потянуло гарью.

Мы вышли из машины. В откосе зияла ниша. Вырыли ее, вероятно, печники, бравшие здесь глину. Мы все четверо забились в нишу. Обстрел не прекращался, противник засек «катюшу» по звуку и пытался накрыть.

— Wieder los!¹ — прошептал Гушти. Розовое лицо его побледнело.

— Нас не заденет, — сказал Шабуров. — Ошибку в расчете допустили.

Эти слова, произнесенные деловитым тоном — «ошибка», «допустили», — пришлось очень кстати в эту минуту. Я крепче прижался к плечу Шабурова.

— Орлы! — раздалось рядом. — Эх занесло вас! Ну, позвольте-ка!

В пещеру, низко нагнувшись, влез рослый подполковник, за ним солдат в шоферском комбинезоне.

— Кто в тереме живет? — засмеялся подполковник. — А это? — Он обернулся к Гушти и засмеялся еще громче: вид у Гушти был потешный, он силился отдать офицеру честь по всем правилам, но голова его стукнулась о глиняный свод, рука никак не доставала до пилотки.

С подполковником я был знаком: это Лякишев, начальник политотдела дивизии, той самой дивизии, где служил разведчик Кураев.

— Дело затевается серьезное, — сказал Лякишев. — У немцев тут подготовленная оборона. — Он махнул рукой по направлению к лесу. — Калеван-линн, по-эстонски крепость Калева. Может, когда и была крепость...

Гушти дернулся. Я сидел между ним и Шабуровым и потому ясно почувствовал это.

— Калеван-линн, — произнес Гушти, встретив мой взгляд.

— Он был там? — спросил Лякишев.

— Нет, никогда, — затараторил Гушти. — Я был чертежником при штабе, я чертил... Да, я чертил эти укрепления, у меня они в памяти...

¹ Опять началось! (нем.).

— У него мировая память,— сказал я.— У нас он снова нарисовал все.

Гушти кивал, лицо его сияло.

— Гут,— кивнул Лякишев,— Калеван-линн,— повторил он и развернул карту.— Вот! Высота с хуторами, очень выгодная позиция. Брать нелегко, много крови будет стоять.

В ту же ночь звуковка нацелила свои рупоры на Калеван-линн.

Хрупкие, чуткие сумерки — такой была эта июньская ночь. На скате возвышенности, занятой немцами, отчетливо густеют кущи кустарников. Там и сям рождаются, пульсируют и умирают огоньки. Лес отвечает на выстрелы стонами, всхлипами, свистом. Это пули, посылаемые оттуда, из Калеван-линна. Немцев бесит наша звуковка. Они не нашли ее пока, мины тратить им жалко, они палят из винтовок, из пулеметов. Кажется, весь лес полон летающих заблудившихся пуль. Гушти сплоховал, раскашлялся у микрофона. Едва дочитал передачу.

— Горло схватило, сырость,— говорит он извиняющимся тоном, подавая мне плащ-палатку.

Пусть отдохнет. Я отсылаю его к Шабурову, помогать у движка. Звуковка передает музыку из кинофильма «Веселые ребята». Пальба затихает.

Тишина. Пока движок остывает, я ищу место посуше. Гушти угодил в мокрую канаву, оттого и потерял голос. Ноги утопают в мягких подушках мха. Лес возобновляет свою ночную жизнь, где-то трудится кукушка, суля нам годы, долгие годы бытия. Славная кукушка! Она обещает долголетие всем, даже тому, чья жизнь оборвется этой же ночью, и тому, кто погибнет завтра, на том скате, в час штурма...

За мной, как удав, шуршит в траве толстый резиновый шнур микрофона. Вот здесь как будто неплохо. Та же канава, но в ней два больших плоских валуна, как раскрытые ладони. Отлично, я устроюсь на них. Ледник не зря трудился тысячелетия назад: он притащил эти камни сюда для меня. Я снимаю ватную куртку, сажусь на нее, накрываюсь плащ-палаткой и слегка дергаю шнур. Так водолазы просят воздуха. Я требую звука.

Движок очнулся. В лампочке расширяется зрачок света. Она глаз, разбуженный среди ночи, встревоженный, старающийся увидеть как можно больше. Микро-

фон включен, он теперь налит звуком, вернее — запасом звука, который только ждет моего голоса.

Над головой тоненько, почти ласково свистят пули. Лес ловит их мохнатой лапой.

— Внимание! — начинаю я. — Мы предлагаем вам выбор: жизнь или смерть.

Голосом я богатырь. Я мог бы померяться с легендарным Калевом. Мой голосище вызывает во всех моих мышцах ощущение силы.

— Вспомните, сколько рубежей вы сменили, — гремит наш лес. — Всюду вы оставили убитых товарищей. Не сегодня-завтра падет и этот рубеж.

Что-то живое шевелится возле меня. Ящерица! Маленькая, юркая, искроглазая ящерица. Она прибежала на свет и с любопытством смотрит в микрофон. Ночной мотылек залетел под плащ-палатку, он порхает вокруг лампочки, садится на текст, который я держу перед собой. Лес принял меня, как своего. Ящерица скатилась под камень, но появился другой обитатель леса. Он сидит на моем колене — зеленоватый, пятнистый лягушонок.

Хлоп! Хлоп! Это мины, они упали близко, в какой-нибудь полусотне шагов. Валун защищает меня лишь с одного бока, да и то не целиком. Я пригибаюсь. Я продолжаю читать. Сбиться, замолчать, растерявшись, — значит помочь немецким минометчикам скорректировать прицел. Тогда пропал. Тогда они засыплют участок минами.

Еще мина. Я стискиваю микрофон, припадаю плечом к камню. Не подать виду!.. Еще мина, осколки вспороли дерн где-то рядом, шагах в пяти. Спокойнее! Не ускорять чтение, не повышать голос, читать как ни в чем не бывало. Как будто нет никаких мин.

Мотылек — тот не боится их. Он по-прежнему беззаботно кружится тут, садится на ободок моих очков. Ему наплевать на мины. Они рвутся слева, с той стороны, где мы не защищены, — ему это безразлично. Мы не уйдем. Мы — это я и мотылек, это лягушонок, это лес, все живое перед лицом воющей, лязгающей смерти.

Мой голос сейчас как будто отделился от меня, я двигаю губами, лежа на камне, почти касаясь микрофона горячим, потным лбом, а мой голос подхвачен лесом. Он бушует, он кричит гитлеровцам:

— Решайте сейчас! Завтра будет поздно!

Все! Конеч! Теперь Шабуров поставит пластинку.

Рубашка прилипла к телу, я мокрый, словно не ледник, а я сам укладывал эти валуны.

«Роса,— думаю я.— Скоро утро. Но мы дадим еще одну передачу. Не отсюда — здесь нас накроют: Шабуров сыграет им музыку, и мы уедем».

«Сердце, тебе не хочется покоя», — поет Утесов. Еще минута, еще... Они лопаются негромко, глухо, — должно быть, угодили в топкую низину. Движок стучит. И вдруг что-то сдавило горло певцу, он захрипел и замолк.

Что случилось? Движок стучит, но звука не стало. Продираясь сквозь малинник, я спешу к машине. Шнур микрофона, холодный, выкупавшийся в росе, наматывается на руку.

— Лампа! — крикнул Шабуров и выругался.

В углу кузова было до странности пусто и темно, синий огонь усиленной лампы погас. Под ногами захрустело стекло.

— Осколок залетел, — сказал Шабуров. Он искал отверстие в борту.

— Сволочь! — Шабуров осматривал прибор. — Как проскочил! А где Гушти?

— Гушти! — крикнул я.

Никто не ответил.

13

— Здравия желаю! — кричал Лобода, и трубка, казалось, вот-вот разлетится от его баса. — Алло! Да, я Долото, не прерывайте, девушка! Что? В Калеван-линне авиаполевая дивизия? Бомзе, милый, это же здорово! — Он положил трубку и обернулся к Михальской. — Вы слышали?

— Да, товарищ майор, — отозвалась она. — Наконец-то! Кстати, там ведь наша машина.

— Именно, — басил майор, ликуя. — Сегодня же Фюрста туда. Но с кем?.. Из русского лексикона у него: «давай», «хорош», и все... Нет, его нельзя одного отправлять. Поезжайте вы с ним.

Фюрст сидел на веранде около печатной машины. Согнувшись над крупным ломберным столиком, он вслух зубрил русские слова. Лоскутки бумаги со словами «ут-

ро», «вечер», «день», «месяц» висели, наколотые на кактусы. На листке размером побольше стояло «три стула, пять стульев, двадцать один стул». И, словно крик души, крохотное, в скобках, «почему?»

— Герр Фюрст,— сказала Михальская, входя.— Нам с вами надо ехать.

— Слушаю, фрау гауптман,— ответил он и встал.

— Мы столкнулись с авиаполевой. И вам наконец представится возможность...

— О! — протянул Фюрст.— Когда мы едем? Я готов, фрау гауптман.

Лобода смотрел в окно, как они садились в «виллис». Потом припал к гранкам, но ненадолго. Резко постучав, рванул дверь Усть-Шехонский.

— Где твой фриц?

— Который? — майор вскинул глаза.— У меня ведь два немца.

— Нет, не Фюрст,— отмахнулся контрразведчик.— Тот... эльзасец.

— Гушти,— напомнил майор.

— Ну да, Густав Эммерих по документам. Черт, из головы выскочило! Вот до чего...

— Да в чем дело?

— Изволь.— Усть-Шехонский выхватил из кармана два листка и разложил перед майором.

— Схемы какие-то,— произнес майор.— При чем тут Гушти?

— Вот это его художества.— Майор накрыл рукой один листок.— А те — оборона Калеван-линна как она есть. Понятно?

— Пока не совсем.

— Проще каши,— нетерпеливо сказал Усть-Шехонский.— Одно из двух: или гитлеровцы внесли изменения за это время, переместили точки, или...

— Или Гушти наврал,— заметил майор.

— То-то и оно! Пока ничего нельзя сказать наверное. Изменить они могли. Мало ли для этого причин! Хотя бы то, что их чертежник у нас в плену. Но... черт его знает! В оба надо глядеть за твоим Гушти.

— Да! — воскликнул майор в тревоге.— Конечно надо! Он же из Эльзаса, к тому же...

— За твоим Гушти нужен глаз,— повторил Усть-Шехонский.

— Гушти! — крикнул я еще раз.

Смутное эхо ответило мне. Где же Гушти?

— Его же не было в машине, — сказал Шабуров. — Я еще окликал его, когда пластинка играла. Я там был, в кустах, думал, не задело ли его. А тут еще парочку гостинцев оттуда прислали. И вся музыка...

Гушти сбежал?

Мы звали его, шарили в зарослях. Вероятно, немцы решили, что цель накрыта. Чужой холм молчал, подернутый грязноватым туманом.

Битый час мы бродили по лесу, оглядывая каждый куст, каждую ямку. Уже рассвело, на борту звуковки выступили капли росы. Самые худшие предположения теснились в моей голове. Гушти — враг, хитро замаскированный враг. Ему поручили войти к нам в доверие, он выполнял какие-нибудь задания. Наверняка выполнял! И вот сбежал к своим, сбежал безнаказанно...

В лесу затрещал валежник. Я выглянул из машины. К нам шли трое. Юлия Павловна, Фюрст и... Гушти. Он плелся сзади, понуро, с виноватым видом. Фюрст оглянулся на него, и в это мгновение Гушти торопливо выпрямился, расправил плечи и поднял на офицера подобострастный взгляд.

— Хорошенький номер, — сказала Михальская. — Нервы у него, видите ли...

Я понял не сразу. Что же случилось? Фигура пришибленного, едва плетущегося Гушти красноречиво говорила о том, что «нервы» — это относится к нему, конечно.

Оказывается, Гушти попутал страх. Из страха он в свое время перебежал от своих к нам, и приступ страха погнал его сейчас, во время обстрела. Он кинулся в чашу леса, подальше от звуковки, с одной только целью — уйти из-под обстрела, спастись. Дрожа он лежал под кустом, а затем, увидев Михальскую и Фюрста, вышел к ним навстречу. Бросился в ноги, умоляя не посылать больше на передовую.

— Я пообещала, — сказала Михальская. — Невольно не имеем права. — Но обер-лейтенант взял его в оборот.

Вещать было уже поздно, спать не хотелось. Мы осмотрели звуковку, нашли пробойну. Шабуров вставил запасную лампу. Фюрст, сидя в сторонке на пеньке, про-

должал беседу с Гушти. Тот стоял перед офицером навывтяжку и монотонно повторял:

— Яволь, господин обер-лейтенант!

Фюрст сердился, брал себя в руки, снова выходил из себя.

— Гушти — филистер, — обращаясь ко мне, произнес Фюрст. — Филистер, — повторил он. — Дурная порода. Он доставит нам еще много хлопот в Германии. — Он деловито наморщил лоб. — О, ему нравится быть при штабе, на привилегированном положении. Еще бы!

— Он трус, — сказал я.

— Да. Он хочет переждать войну, только и всего. Я ставлю перед ним вопрос прямо, господин лейтенант. Готов ли он бороться за новую Германию? Не знаю, с ним надо еще поработать.

И Фюрст насупился, давая понять, что работа предстоит нелегкая и будущее Гушти для него не ясно.

Я отдыхал от тревоги. Хорошо, что не сбежал. Трус — только и всего. Впоследствии подтвердилось: в чертежах он не наврал, фашисты переставили огневые точки.

Подходит Михальская с папиросой в руке. Фюрст чиркнул спичку. Я невольно слежу за ним. Фюрст держит спичку твердо, ловко. Мне совсем не до того сейчас, но я все-таки смотрю.

День прошел спокойно. Ночью звуковка снова наставила рупоры на холм, занятый немцами. Калеван-линн окружен. Единственное спасение — в капитуляции.

Немцы слушали тихо. Музыки мы им не дали на этот раз. Микрофон взял Фюрст.

Он очень волновался. Он путался в проводе, уронил микрофон и неуклюже искал его, топча папоротники. Я показал ему мои валуны в канаве и, когда он, сопя, уселся, накинул на него плащ-палатку.

— Вы помните меня, — начал Фюрст. — Я обер-лейтенант Фюрст, бывший командир второй роты. Я жив, я в русском плену...

Ночь была светлая. На фоне холодного фарфорового неба ясно выступали очертания высоты Калеван-линн, пологой, гладкой, словно укатанной. Я видел, как одна за другой гасли редкие вспышки, только один пулемет еще отбивал дробь.

— Вы узнаете меня? — спрашивал Фюрст... — Ты, лейтенант Блаумюль Эмми, мой партнер по шахматам! Ты,

наш чемпион бокса унтер-офицер Гаутмахер, Франц, рыжий Франц! Ты, обер-ефрейтор Габро, носатый Габро, прозванный аистом! Вы узнаете меня? Отвечайте же, черт вас возьми, когда с вами говорит ваш командир, хотя и бывший! Отвечайте, как можете,— ракетой, трассирующей очередь!

— Узнали,— облегченно вздохнул Шабуров, стоявший рядом со мной на опушке, в ольшанике. Рука Шабурова до боли стиснула мое плечо. Там, над траншеями немцев, плясали, растворялись в воздухе ярко-красные стрелы.

— Слушайте мой совет, кончайте с проклятой войной! — гремел голос Фюрста.— Это говорю вам я, Фюрст. Кончайте, пока вы живы!

Рассвело. Холм был в серой пелене тумана. Солнце пробивалось где-то в глубине леса, позади нас. Туман порозовел и начал таять. Чья-то фигура вдруг выросла перед нами в кустах. Это был капитан, командир роты разведчиков, в летней форме, в пилотке вместо кубанки,— я не сразу узнал его.

— Красота-а! — протянул капитан, засмеялся и сел на ступеньку машины.— Мои славяне за «языком» пошли, а привели полдюжины, целое боевое охранение. Немцы рубашки на себе разорвали, машут: «Гитлер капут!»

Смеясь, он рассказывал, каких отборных солдат послал в разведку. По всем статьям отличные солдаты. Обстановка серьезная. Место голое, риск. Мне понятна его радость. Он послал на опасное дело самых опытных, самых умелых. И тревожился за них. Я спросил его о Кураеве.

— Вот и он тоже ходил,— сказал капитан.— Как же! Где потруднее, там и Кураев. Из всех солдат солдат. А пленные немцы говорят, весь гарнизон сдается.

День разгорался, туман редел, сползал к подножию холма, в сырую низину. И тут мне открылось зрелище, которое навсегда врезалось в память. Скат обнажился, засеребрилась сочная, влажная трава... И, словно большие цветы, распустившиеся за ночь, забелели на колючей проволоке, на палках, воткнутой в землю, солдатские платки, полотенца...

Высоко над нами в чудесной, необыкновенной тишине звенел жаворонок.

ДВА

**И ДВЕ
СЕМЕРКИ**



Встают они в один и тот же час. Едва покажется внизу, у табачного ларька, зеленая фуражка Михаила Николаевича, Юрка хватает свой портфельчик — и на улицу. По лестнице он сбегает, прыгая через три ступеньки. Пока подполковник покупает пачку «Беломорканала» — неизменный дневной рацион, — Юрка стоит в воротах, ждет. А выходит оттуда шагом самым непринужденным.

— О-о-о!... Дядя Ми-иша! — тянет Юрка с поддельным удивлением и таращит глаза.

Юркину хитрость Михаил Николаевич разгадал давно, но делает вид, что тоже поражен неожиданной встречей.

— Юнга! Как дела?

— У меня, дядя Миша, пятерка по истории.

— И только? — спрашивает подполковник. — А по русскому тройка?

— Угу, — вздыхает Юрка. — А у вас как дела?

— Троек пока нет.

Дядя Миша сегодня веселый, и, значит, говорить с ним можно сколько угодно, хоть до самой школы. Впрочем, Юрка и помолчать умеет. Главное — это шагать рядом с дядей Мишей, шагать целых три квартала, на зависть всем ребятам. Шагать и гордо нести тайну...

Ребята часто его видят вместе с пограничником, а ни о чем не догадываются. Даже когда дядя Миша называет его Юнгой. Обыкновенное прозвище? Как бы не так!

В прошлом Юрка — нарушитель. Он лежал, сжавшись в комок, стуча зубами от холода, в шлюпке, под брезентом, на пароходе «Тимиразев». Брезент коробился, вздрагивал, и дядя Миша, осматривавший пароход перед отплытием, заметил это.

Тогда-то они и познакомились. Подполковник привел Юрку в свой кабинет и посадил у печки — горячей-прегорячей. И дал чаю. Юрка отогрелся и рассказал всю правду. Стать юнгой подумывал давно, но, схватив по русскому двойку, решил окончательно. Дома грозила взбучка. Прямо из школы отправился в порт. Перелез через ограду...

Юрка поведал и то, что отчим у него злой, чуть что — за ремень. А мать и заступилась бы, да боится. В тот же вечер подполковник зашел к отчиму и долго беседовал с ним, тихо, за дверью, — понятно, о Юркином воспитании.

Тогда Юрке было всего одиннадцать. До чего он был глуп! Вспомнить смешно! Ведь пограничники проверяют весь пароход насквозь, от них не спрячешься. Кроме того, в юнги больше не берут. Это когда-то было! При царе Горохе! Теперь Юрке уже все двенадцать. Но уговор остается — он должен прилежно учиться, иначе подполковник сообщит в школу... Конечно, сейчас это уже не так страшно, как вначале. Но все-таки неприятно — дразнить будут!

Уговор был такой — дружба. Ни за что не хотел бы Юрка потерять дружбу с дядей Мишей.

— Дома как обстановка, Юнга?

— У меня скоро сестренка будет. Я ведь говорил вам, дядя Миша? Да?

— Ты, конечно, рад?

— Не... куда ее! Дядя Миша, а я знаете какой значок достал? Австралийский! Выменял на нашего «Спутника», у матроса.

— В парке?

— Ага. Там много их, матросов... С пароходов.

— Не только матросы, Юрик, — поправил его Чаушев. — Всякая шантрапа толчется. Ребятам не место там, я так считаю. Ты на занятия налегай. Гулянки потом, летом!

У школы они простились. Чаушеву идти еще четырнадцать минут. Улица упирается в новое здание инсти-

тута. Колонны в свежей побелке, чуть синеватые, стынут на ветру. Поворот вправо — и разом из каменного ущелья открывается даль. Мачты, карусель чаек над ними.

До чего резко вдруг обрывается город с его теснотой, сумраком! Это нравится Чаушеву, он приближается к этому изгибу улицы, невольно ускоряя шаг, всегда с ожиданием чего-то хорошего...

Ветер только кажется холодным, — просто он дует вовсю, гудя в проводах из всех своих весенних сил. Спешит наполнить город, в котором еще темнеют наросты льда, еще застоялась в провалах дворов зимняя стужа.

В открытом море, наверно, шторм, «Франкония» задержится, но завтра она так или иначе придет, пускай к вечеру. На пути к порту еще три судна. Словом, начинается страдная пора. И тут бы ему, подполковнику Чаушеву, начальнику контрольно-пропускного пункта, думать о деле, как распределить силы, обеспечить все посты. А вместо этого в голове упорно звенит, не затихая, непрошенная строка:

Все флаги в гости будут к нам...

Разумеется, все флаги! Судов ожидается гораздо больше, чем в прошлую навигацию. А штаты подразделения те же... Но нет, ему никак не собраться с мыслями. Как человек, привыкший во всем спрашивать у себя отчет, он хорошо осознает причину. Виноват ветер. Виновата весна.

Для него нынешняя навигация, скорее всего, последняя. Но сегодня он еще не подумал об этом, и все следит за чайкой, купающейся в сиянии солнца, непривычно ярком.

Чаушев еще прибавляет шаг. Скорее к работе, к столу, в укрытие от неотвязной, прибоем хлещущей весны! В кабинете сумрачно, холодно. Печку уже не топят. На стене — панорама порта с птичьего полета, в красках. Выцветшая синева воды, пятна парковой зелени, ставшие от времени почти черными. Панораму повесили давным-давно, когда он стажировался здесь, — юноша с одним квадратиком на петлице, выпускник училища. После войны, отслужив долгие годы на Крайнем

Севере, он снова оказался в родном городе и застал ту же панораму на стене, уже изрядно устаревшую. Сколько раз он собирался заказать новую! Она ветшает, ее исправляли крестиками, флажками... Там, в самом устье реки, возникла лесопилка. Тут заново оборудован причал. На том берегу разросся рабочий поселок. Да и кварталы города, примыкающие к порту, во многом изменились. Вот новый институт, широкоэкранный кино-театр. На пустыре разбит парк.

Он-то, Чаушев, и без панорамы найдет дорогу. С завязанными глазами!

Входит лейтенант Стецких. Он провел ночь в кресле, у телефона, но уже умудрился побриться, от него вкусно пахнет лимонным одеколоном.

— Никаких происшествий нет, — докладывает Стецких, — кроме... Вот, прошу ознакомиться...

«С этого бы и начинал», — думает Чаушев, беря книгу с записями.

В двадцать три часа двадцать минут младший по наряду рядовой Тишков, находясь на третьем причале, у грузового парохода «Вильгельмина», заметил световые сигналы... «Э, такого еще не случилось!» Вспышки следовали с правого берега, со стороны лесного склада. Зафиксирован, по-видимому, лишь конец передачи — несколько цифр азбукой Морзе. Сигнальщик не обнаружен.

— Два, семь, семь... — Чаушев пересчитывает. — Только конец передачи? Почему?

Стецких пожимает плечами:

— Так доложил Бояринов. Я предложил разобраться и дать взыскание.

— Ах, уж и взыскание!

Впрочем, у Бояринова есть свой ум. Он не из тех, что спешат выполнить, не рассуждая, любой телефонный совет дежурного офицера.

— Еще что-нибудь было от Бояринова?

— Звонил. Разбуди, говорит, начальника... Знаете его... — Стецких чуть усмехнулся уголками красивых губ. — По всякому поводу давай ему самого начальника.

— Зря не разбудили. Что у него?

— Так, соображения. Я не счел нужным беспокоить вас. — Стецких с решимостью отчеканивает слова. — Соколов извещен, так что срочности никакой нет.

Нотка обиды дрожит в голосе лейтенанта. Чаушеву ясно, в чем дело. Задетое самолюбие. Ревность. Бояринов ниже его по службе, а делиться с ним соображениями не желает. Начальника требует.

— Нет срочности, по-вашему? Дали знать в город, и вся музыка! Так? А я бы на вашем месте... Вызовите Бояринова!

— Слушаю.

Стецких берет трубку.

Чаушев откидывает серебряную крышку настольного блокнота — подарок к пятидесятилетию — и рисует реку, острый овал «Вильгельмины», прижатый к левому берегу, а на правом, — склад леса, откуда сигнализировали ночью. По обе стороны склада, но ближе к воде — высокие жилые здания. Жирная черта пересекает реку, порт, тянется дальше.

— Занято, — докладывает Стецких.

— Вот направление сигналов, — говорит Чаушев. — И будь я на дежурстве, я бы...

Он смотрит в лицо Стецких, молодое, от ревности вдруг постаревшее.

2

Что за черт, Валька опять не ночевал дома! Вадим делал зарядку, широко раскидывал руки в комнате общежития, непривычно просторной сейчас, и недоумевал. Ведь обычно Валька возвращался от своей тетки в воскресенье вечером. А сегодня уже вторник. Вчера ему следовало быть в деканате из-за хвоста по металловедению. Он же знал это.

В дверь постучали.

— Нет его? — Голова комсорга Радия в квадратных очках просунулась, повертелась, брови полезли вверх.

— К тетке уехал, — протянул Вадим.

— Тетка, тетка, тетка! — застрочил Радий. — Что за тетка? Какая тетка? Ты ее видел? Никто не видел! Адрес есть? Нету. Плюс минус неизвестность. Диана, вышедшая из головы Юпитера.

— Минерва, — поправил Вадим.

— В общем, ты меня понимаешь, Непротыкаемый. Волнуйся! Заводись!

— Закрой дверь! — буркнул Вадим. — Дует.

— Ерунда! Ты толстокожий.

Он вошел все-таки. Нет, Вадим не боялся сквозняка. Он надеялся, что Радий отвяжется, уйдет, даст ему кончить зарядку. Они люди разных ритмов, Вадиму не нравится пулеметная трескотня Радия.

И прозвищ Вадим не терпит.

Как-то раз он вычитал, что есть непротыкаемые баллоны. Обрадовался, поведал ребятам в группе. Ведь он мотоциклист, правда, пока только в мечтах. Вот и подхватили словечко!

Радий оглядел схему мотоцикла над койкой Вадима, хмыкнул, потом бросил взгляд на столик Валентина, на его полочку с книгами — учебники вперемежку со стихами, — хмыкнул еще раз и повернулся на каблуках:

— В общем, поручается тебе. Договорились? Во-первых, друг Савичева; во-вторых, дружинник.

— Бывший, — уточнил Вадим.

Радий уже не слышал, за ним щелкнула дверь. Фу, что за манера исчезать так внезапно! Вадим нахмурился, отработал несколько прыжков и начал приседания.

Заладил же Радька! Разве не ясно было сказано: он, Вадим Коростелев, больше не дружинник.

Силой не заставят. Дело добровольное. И краснеть ему не приходится, — не из трусости же он так поступил и не из-за других каких-нибудь низких побуждений. Тут вопрос совести. На комсомольском собрании он выложил все начистоту.

Да, ушел из дружины! Головы дурные у них в штабе, потому и ушел. К одежде придираются! До чего докумекали: линейки выдали патрульным, брюки измерять. Норму установили — двадцать три сантиметра ширины. У кого уже — тащат в милицию. И ведь хороших парней тащат, не буянов, не пьянчуг. Только за то, что одеты не так. А кого касается? Ну, можно дать дружеский совет, если человек ходит, как чучело. Но хватать за шиворот...

Радька корил Вадима: уход-де самочинный, надо было сперва посоветоваться с комсомолом.

«Твою отставку мы еще должны утвердить, — кипятился комсорг. — Ишь министр непротыкаемых баллонов! Ну, дураки в штабе, ну, идиоты, правильно! А кто им будет вправлять мозги? Вольф Мессинг?»

Вольф Мессинг выступал в Доме культуры порта. Никакие он не вправлял мозги, а угадывал мысли. Нелепая привычка у Радьки — подхватит какое-нибудь имя — с афиши, из книги — и сует ни к селу ни к городу.

С тех пор прошло месяца два. На повестке дня другие вопросы, а Радька, переходя к очередной задаче, начисто забывал предыдущую. Вадим давно уже не слышал из его уст слово «дружинник».

Но что верно, то верно, Валентина искать надо. Эх, нет адреса тетки! Наталья... Наталья Ермолаевна, кажется. Или Епифановна?..

Разбалтывая в кипятке сгущенный кофе, он спрашивал себя: с чего же начать поиски? Что могло стрястись с Валькой? Он чувствовал себя осиротевшим. Вот сейчас, за завтраком, Валька раскрыл бы книжку и стал бы гонять его по правилам уличного движения. Устройство мотоцикла Вадим уже сдал, остались правила. Он взял книжку, полистал.

Дорожные знаки. Кружок, внутри две машины. Что это значит? Вадим закрывает текст рукой. Обгон запрещен.

Нет, без Вальки не то... С ним как-то яснее. Правда, в последнее время он помогал не очень-то охотно. Рассеянный какой-то, нервный. Ему отвечаешь, а он и не слышит. Кивает с самым бессмысленным видом. Влюблен бедняга! Вадим презрительно усмехается. Такая любовь, как у Вальки, — хуже болезни.

Вадим встает, смахивает со стола крошки, лезет под кровать. Поглядеть разве, что в том пакете...

Сейчас только вспомнил!..

Пакет появился в комнате в субботу. Валентин принес его откуда-то и сунул под кровать. Был хмурый, злой. Верно, повздорил со своей девушкой... А в воскресенье, прежде чем исчезнуть, Валька достал пакет, положил на колени и сидел, раздумывая. И, похоже, хотел что-то сказать. Потом затолкал обратно под койку и вышел, не попрощавшись.

Прижатый продавленной койкой, пакет застрял, Вадим выволок его, чертыхаясь.

Конечно, нехорошо рыться в чужих вещах. Но, может быть, сейчас что-то откроется. Что?.. Вадим не мог бы объяснить, чего он ждет, — просто ему вспомнился другой пакет. Этот — большой, в плотной, трескучей

оберточной бумаге, а тогда, с месяц назад, Валька спрятал под койку пакет поменьше, в газете. Перехватив взгляд Вадима, буркнул: «Для тети Наташи».

Подарок тете? Было бы на что! Вадим не требовал откровенности, он сам не выносил расспросов. Оба сдержанные, немногословные, они сближались исподволь.

Черт, ну и узелок! Разрезать веревку Вадим постеснялся. Фу, наконец-то!..

Вадим отдернул руку. Он словно обжегся. В луче солнца, упавшем на койку, огнисто полыхала ярко-красная ткань. Ворсистая материя вкрадчиво ласкалась. Женское... Мелькнул белый квадратик, пришитый к вороту. «Тип-топ», — прочел Вадим, а ниже, очень мелко, стояло — «Лондон».

Еще блузка. Тоже «Тип-топ», только голубая. Вадим разрыв пакет, обнаружились смятые в комки чулки. Все женское... Откуда у Вальки?

В памяти ожила тетка — Ермолаевна или Епифановна... На минуту Вадиму сдалось, что эти вещи, женские вещи, должны иметь какое-то отношение к ней. Но нет, тетка же наверняка седая, старая. А тут — «Тип-топ», игривое, как припев, разные шелка или как это еще называется...

Они раскинулись на узкой койке, на рыжем одеяле грубой шерсти, и было в них что-то бесстыдное, наглое и резко чуждое всей комнате — и плакату с мотоциклом, и Валькиной полочке с потрепанными томиками Есенина и Блока. Обыкновенно все женское казалось Вадиму очень хрупким и чуточку загадочным. Он если и прикасался, то осторожно, чтобы по незнанию не порвать, не испортить. Сейчас он торопливо, кое-как скатывал блузки, сорочки, чулки, шарфы, запихивал в бумагу. Надавил коленом и крепко перевязал.

Нерoven час ворвется Радька или еще кто...

Радька, в сущности, неплохой парень, но уж очень языкастый. Шумит, пыль поднимает.... Надо сперва понять самому.

Вещи дорогие, стало быть, купить их для себя Валентин не мог. Целой стипендии не хватит. Да что там, трех стипендий и то, наверное, мало.

Вот так история!

Однако пора в институт. На лекцию Вадим не опоздал, сидел и честно пытался уразуметь, о чем же гово-

рит громогласный великан-доцент, специалист по органической химии.

После звонка в коридор не пошел, застыл за партой, уставившись в обложку тетради с конспектами. Подсели девушки — долговязая, с длинным лицом, мечтательная Римма и черненькая, язвительная Тося.

— Ва-а-дь, — протянула Римма. — Давай с нами в кино на шестичасовой.

— Билеты мы купим, уж ладно, — добавила Тося.

— Не реагирует, — вздохнула Римма.

— Забыл что-то, — молвила Тося. — Что у вас разладилось, товарищ водитель? Зажигание? Ай-ай, скверно ведь без зажигания, а, Вадька?

— Погодите, девочки, — сказал Вадим. — Вот заведу драндулет, повезу вас в кино.

Он часто обещал им это. Повторил машинально, даже не глядя на них.

В час обеда в столовке к Вадиму протиснулся Радий. Он держал тарелку с винегретом, ворошил вилкой, ронял и на ходу жевал.

— Тетка материализовалась, — объявил он. — Тетка — свершившийся факт. Сама звонила сюда.

— Зачем?

— Справлялась, что с Валькой. У тебя ничего?

— Покуда ничего.

Где же тогда Валентин? Тотчас возник распотрошенный сверток на койке — и Вадим похолодел.

— В скорую помощь не звони. Слышишь! В милицию — тоже. Звонили.

Вадим опустил взгляд. Глаза Радьки, карие, бесцеремонные, досаждали ему. Радька как будто тоже увидел вещи на койке, вещи фирмы «Тип-топ», заграничный товар, неведомо как и откуда попавший к Валентину.

— Думай, дружинник!

В институте есть один человек, которого, пожалуй, стоит спросить. Как же его фамилия? Из глубин памяти вдруг взметнулся ныряльщик в ластах. Лапоногов! Ну да, Лапоногов, лаборант. Вадим постоял у витрины с расписанием, потом спустился в подвал, в лабораторию технологии дерева. Там жужжала пила, пахло смолой, под ногами, как рассыпанная крупа, перекатывались оранжевые, серые опилки.

Лапоногов стоял у циркульной пилы, плечистый, в синей спецовке. Крупная мясистая рука лежала на рычаге.

Одно время Вальке нужны были деньги. Вадим предлагал свои, отложенные в сберкассе на мотоцикл, но Валька отказался. Нет, с друзьями лучше не иметь финансовых дел. Тогда-то и завел компанию с Лапоноговым. Тот дал деньги. Раза два Вадим видел их вместе. Они шептались о чем-то. Заподозрить дурное в голову не пришло, — крепыш в низеньких «боцманских» сапожках, с трубкой в зубах показался Вадиму славным, бывалым моряком.

— Ко мне, что ли?

Лапоногов нажал рычаг. Зазвенела тишина. Черные, острые усики, концами книзу, шевельнулись в улыбке. Должно быть, узнал.

— На минутку, — сказал Вадим.

— Добре, — кивнул тот. — Обожди в коридоре.

Лицо продолжало улыбаться, а голос как будто другого человека, чем-то обеспокоенного. И Вадим, невольно поддавшись этой внезапной тревоге, тоже кивнул, — быстро, украдкой.

«Он знает», — сказал себе Вадим, выходя в коридор. Лапоногов снова включил пилу.

Вадим читал объявления, не понимая ни слова. Пила назойливо ныла за дверь. Наконец дверь скрипнула. Все та же улыбка у Лапоногова, словно приклеенная. Неторопливая походка вразвалочку.

— Где Савичев? — Он вынул изо рта трубку, обдал Вадима в упор медовым табачным духом.

У Вадима запершило в горле, он закашлялся и вместо ответа развел неловко руками.

— Его... спрашивал кто? — Лапоногов надвигался, прижимая Вадима к стене, душил приторно сладким дымом.

— В деканат вызывают. Насчет хвостов... Нигде его нет, мы даже в милиции справлялись.

— Найдется мальчик, — бросил Лапоногов с некоторым облегчением. — Верно, у девочки своей...

— Нет, — мотнул головой Вадим.

Лапоногов затрясся от тихого, сиплого смеха. Вадим смутился. С чего он так развеселился?

Надо сказать еще что-то. Он посмеется, да и уйдет.

Эта мысль испугала Вадима. До сих пор он не искал слов, они слетали как-то сами собой. Что-то надо придумать, чтобы удержать Лапоногова.

Он и в самом деле уходит. Он оглядывается на дверь лаборатории. Пила работает рывками, то затихает, то выпускает короткую надсадную жалобу.

— Салага! — проворчал Лапоногов. — Поломает мне инструмент. Будь здоров, браток.

Он выставил руку, но не протянул Вадиму, а тряхнул в воздухе, лихо щелкнув пальцами.

— Слушайте, — чуть не крикнул Вадим. — Там вещи...

До сих пор он не знал, нужно ли упоминать о них. Вырвалось в отчаянии.

— Вещи? Какие вещи?

Лапоногов снова шагнул к Вадиму.

— Всякие, — зашептал Вадим, обработанный произведенным на Лапоногова впечатлением. — Шелковое все. «Тип-топ», заграничное.

— Куда дел?

— Никуда я не дел. — Вадим поморщился, жесткие пальцы сжали ему плечо.

— Растрепал всем, салага?

— Не трепач. — Вадим высвободился, в нем поднималась злость.

— Тихо ты! Тихо, понял? Если ты ему друг...

— Я-то друг, — отрезал Вадим.

— И я тоже. А ты как считаешь? Ты не тарахти, понял? Мое дело тут сторона, меня это барахло не касается. Главное, Валюху не подвести.

«Врет, — подумал Вадим. — Касается!»

— Народ, знаешь, какой! Всех собак навешают, понял? И главное, по-глупому, зазря. Так ты не гуди, ладно? — Он обнял Вадима. — Мы смикитим с тобой, поглядим, что за барахло. Есть? Ты жди меня, жди в комнате, договорились? Я этак через полчаса к тебе...

— Приходите, — сказал Вадим.

Он не видел, как Лапоногов вбежал в лабораторию, скинул спецовку, надел плащ и осторожно, медленно, озираючись, двинулся следом за ним.

Вадим шел, ничего не видя вокруг. Он был ошеломлен, растерян. Он ежился, точно рука Лапоногова еще давила плечо. Противный он! Потом возникла обида на

Валентина. Правда, они не клялись в дружбе, но все-таки... Целую зиму Валька жил рядом, спал рядом на койке, и вот оказывается — жизнь-то у них не общая. Странно! Читал Блока, сокровенные свои мечты высказывал как будто...

Их комната стала чужой. В ней словно клубилось предчувствие беды, — до ужаса непонятной.

3

В порту, в здании КПП, — в кабинете второго этажа, выходящем окнами на причал, на последнюю льдинку, дотаивающую у черного борта плавучего крана, — подполковник Чаушев говорит по телефону.

— Правильно, — кивает он. — Правильно, Иван Афанасьевич. Зайди. — Потом Чаушев оборачивается к лейтенанту Стецких. Рисунок на листке блокнота закончен.

— А вы сразу — взыскание! — произносит Чаушев с укором.

Стрелка, пересекая реку, пароход и портовый причал с пакгаузами, уперлась в обширный квадрат. «Институт», — написал Чаушев внутри квадрата и подчеркнул два раза. Да, вероятно, таково направление сигналов, перехваченных рядовым Тишковым.

Стецких почтительно смотрел. Никогда нельзя было угадать, принял ли он к сердцу сказанное. Это раздражало Чаушева. Одно только вежливое, послушное внимание изображалось на красивом, чересчур красивом лице.

— Что мы можем требовать с солдата! — сказал Чаушев сердито. — Его задача...

Впрочем, этого еще недоставало! Растолковывать офицеру, прослужившему уже почти год, задачу младшего в наряде. Он же помогает старшему, то есть часовому, стоящему у трапа, и не должен отходить далеко. А пароход не прозрачный! Пора лейтенанту знать порт, — знать наизусть все причалы и посты. Где находится солдат, что он видеть обязан вблизи и что он может заметить лишь случайно...

— Спасибо, поймал хоть часть морзянки. Я вот хочу вас спросить, товарищ Стецких, долго ли вы будете у нас... прямо скажу, новичком?

Стецких покраснел.

— Вам не нравится, что Бояринов вас обходит, — продолжал подполковник. — Да, да, задело вас, я же не слепой. И хорошо, что задело! Вы в штабе, а он в подразделении, вы по службе выше его. А совета он у вас не просит...

— Я не фигура, — сдавленно проговорил Стецких и еще гуще залился краской.

— Вот как! А почему не фигура? Кто мешает стать фигурой? Недоумеваю, товарищ Стецких. У вас образование, культура. — Чаушев отодвинул блокнот, аккуратно вставил карандаш в вазочку. — Ваш внешний вид я ставлю в пример. Тому же Бояринову. Вот, говорю, лейтенант всегда подтянут, отлично выбрит... Чем это вы душились?

— Одеколон, — поспешно отозвался Стецких. — Наш, отечественный.

Он хорошо знал недоверие начальника ко всему заграничному, — давнее, ставшее инстинктом.

— Запах приятный, — улыбнулся Чаушев.

— Лимонный, — пояснил лейтенант.

— Представьте, я определил сам, — ответил Чаушев, не выдержал и рассмеялся.

Стецких иногда попросту забавен. Нет, его еще нельзя назвать карьеристом, это мрачное слово, звучащее как диагноз болезни, как-то не идет к нему, особенно сейчас. Наивное, мальчишеское честолюбие, бьющее через край. Но если разумно не направить...

— Еще огромный плюс, вы языками владеете. Все данные есть у человека.

Лейтенант напрягся. Чаушев тронул его больное место. Должность у Стецких временная, его назначили на место офицера, выбывшего в госпиталь. Офицер тот лежит третий месяц и, по-видимому, не вернется сюда. Будущее Стецких туманно.

— Все же разрешите полюбопытствовать... — начинает он. — Вы сказали, вы бы иначе поступили в данном случае, с сигналами... А конкретно, как?

— Не поняли?

— Никак нет.

Гулкие шаги раздаются в коридоре. Это Бояринов, его слышно издали. Он входит, стуча каблуками, плотный, очень широкий в плечах. Все на нем тяжелое, как

латы, — сапоги обильно смазанные гуталином, длинная темно-серая шинель.

Одна пуговица у Бояринова повисла. И хотя Стецких слушает доклад старшего лейтенанта с любопытством, он не может отделаться от лукавого ожидания. Ведь видит начальник пуговицу, несомненно видит: не отпустит без замечания...

Хорошо ли так радоваться? Лейтенант в глубине души посмеивается над собой. Есть как бы два Стецких, — один, постарше, точно держит за руку другого, поймав на озорстве.

Бояринов считает, что сигналы предназначались кому-то на пароходе «Вильгельмина». «Вполне допустимо, — думает Стецких. — Бояринов особой смекалкой не блеснул. А начальнику он нравится!» Чаушев одобрительно наклонил голову и подвинул старшему лейтенанту свой рисунок.

— Точно, — сказал Бояринов.

— Скрытно от наряда, — подхватил Чаушев.

— Именно, что скрытно, — вторит старший лейтенант, сильно нажимая на «о».

«Подумаешь, находка! — иронизирует Стецких про себя. — Ведь Соколов извещен. Пока здесь гадают, Соколов действует. Он давно действует, и теперь там, в комитете, знают, наверное, куда больше, чем мы».

Между тем бояриновское «о» не умолкает. Оно долбит и долбит барабанные перепонки Стецких. Старший лейтенант, оказывается, допускает и другие возможности. Часа два он не спал, бегал ночью по причалам, выяснял, где еще могла быть принята загадочная световая депеша. Был даже за воротами порта. В порту фронт видимости довольно широкий, ряды пакгаузов, в ту пору безлюдных, два парохода у стенки — «Вильгельмина» и «Щорс». А в городе только одно подходящее здание. Оно выше пакгаузов, выше деревьев парка, — это институт.

— С пятого этажа свободно, — говорит Бояринов. — Прямо в окна брызнуло.

— Там общежитие, — сказал Чаушев.

— Так точно.

«А дальше что? — откликается про себя Стецких. Да, видеть могли и на «Вильгельмине», и на наших судах, и у пакгаузов, и в общежитии. А кто принял сигнала

лы? Мы не в силах установить, да нам, пограничникам, и не положено...»

— Ты отдохнул? — спрашивает Чаушев. — А то домой ступай.

— Порядок, — отвечает Бояринов.

Чаушев подался вперед, схватил пуговицу на шинели Бояринова и слегка дернул:

— Потеряешь.

Ага, заметил! Стецких доволен, справедливость все же существует. А в другой раз Бояринову досталось бы... Он и так сконфужен. За небрежность ему уже влетело однажды.

Бояринов встает.

— Насчет Тишкова, — удерживает его начальник. — Как, Иван Афанасьич, не довольно ли ему в младших ходить?

— Хватит, товарищ подполковник. Он себя показал неплохо. Парень старательный.

— Пустим старшим.

Наконец Бояринов уходит. Стецких выпрямляется в кресле и встречает спокойный взгляд подполковника.

— Вам, стало быть, нечего обижаться на Бояринова, — слышит Стецких. — Что вы могли ему посоветовать? Он и действовал на свое усмотрение. Действовал правильно, в чем я, собственно говоря, и не очень уж сомневался.

Дошло ли до Стецких? Или он по-прежнему считает себя правым... Положим, он не нарушил буквы устава. Нет, в этом его не упрекнешь. Устав затвердил назубок. Но вот дух его, требования жизни... Неглупый, воспитанный, а буквоед. Молодой — и буквоед. Службу свою вымерил вон по той панораме на стене — до ограды порта и ни на шаг дальше.

— У меня к вам все, Стецких.

Слово «буквоед» просилось с языка. Но ведь обидится! Чаушева несколько минут не покидает впечатление контраста. Стецких и Бояринов...

Стецких, разумеется, считает Бояринова гораздо ниже себя. А он, Чаушев, в глазах Стецких небось придира, чудака, которому не усидеть в рамках устава. Да, старый чудака!

Эта мысль смешит Чаушева. Однако из-за буквы устава спорить иной раз приходится не только с лейте-

нантом Стецких, а с людьми куда старше по званию. Сколько разговоров вызвал комсомольский рейд! Где это видано, чтобы воинская служба проверялась не командиром, а силами общественности! Сержанты во главе с молодым офицером обходят посты, вырабатывают предложения... А дело-то полезное, замечательное дело, хоть и не предусмотрено уставом.

Уставы не каждый год пишутся. А жизнь не ждет. В чем беда Стецких — настоящего, не книжного понятия о жизни он еще не приобрел. А читает массу. В училище заласкан похвалой педагогов. Привык быть отличником. Другое дело — Бояринов, сын рыбака с Северной Двины, воевавший в минометном взводе.

Эх, соединить бы в одном лице умную, хозяйскую хватку Бояринова и культурный багаж Стецких, его аккуратность...

Телефонный звонок. Это капитан Соколов. Он должен срочно видеть подполковника.

— Жду вас, — говорит Чаушев.

Он смотрит на часы и открывает форточку. Пора проветрить. За окном, у борта плавучего крана, быстро дотаивает последняя льдина — теперь лишь серый комок на голубой весенней воде.

4

В общежитии института, в комнате со схемой мотоцикла на стене, — Вадим и Лапоногов.

Толстые пальцы Лапоногова тискают тонкую ткань, ищут и расправляют глянцевые, бархатистые этикетки с маркой «Тип-топ». Он сопит, издаст губами какие-то чавкающие звуки, словно пробует товар на вкус. Голубая блузка чуть ли не целиком исчезает в широких ладонях.

— Нейлон с начесом, — смачно произносит Лапоногов. — Барахлишко люкс, бабы с руками оторвут...

Отбросил блузку, скорчил гримасу, будто внезапно нашло отвращение.

— Игрушку свою купил? Тарахтелку? — Лапоногов смотрел на плакат.

«Мотоцикл! — сообразил Вадим. Откуда он знает? Наверно, Валька сказал...»

— Не так просто купить.
— Много не хватает тебе?
— Всего-то полторы сотни накопил. А он стоит пять-сот.

Вадим даже вздохнул. Он отвечал искренне. И была еще надежда, не вполне осознанная, завоевать любым путем откровенность Лапоногова.

А тот уже снова мял блузки. Потом вскочил, подошел к столу. Взял тетрадку Вадима, по физике, только начатую, полистал.

— Давай пиши! — пробасил Лапоногов и протянул Вадиму тетрадку.

— Что писать?!

— Товарища хочешь выручить? Пиши! Улица Кавалеристов, одиннадцать, квартира три, Абросимова.

Вадим, онемев от недоумения, записал.

— Может, Валюху самого там застукаешь. А нет — она скажет, она в курсе... Да барахло не забудь, захвати ей... Мигом язык развяжет, понял?

— Постойте! — крикнул Вадим.

Лапоногов шагнул к двери. Вполоборота, уже держась за скобу, крикнул:

— Все! Ничего я у тебя не видел, ничего тебе не говорил...

Дробный хруст, то Лапоногов, как тогда в институте, тряхнул рукой в знак прощанья. Шаги уже стихли, а резкий хруст костяшек все еще слышится Вадиму, завяз в ушах.

Вадим один в комнате, один с чужими, пугающими вещами на койке, с адресом в тетрадке, на первой странице, в самом низу, под формулой закона Паскаля.

«Тип-топ» — шелестят сорочки, блузки. Вадим завертывает их с судорожной поспешностью, он не в силах вынести назойливого присутствия этих кричаще ярких красок.

«Если хочешь выручить товарища?..» Эта фраза как-то примирила с Лапоноговым, примирила, несмотря на мерзкий хруст костяшек, несмотря ни на что... Может, винить его и не в чем. Он, может быть, друг Вальки и желает ему добра...

А в пакете, может, контрабанда!

С детских лет отпечатался в сознании черный человек, черный в ночной темноте, крадущийся через грани-

цу, почему-то в горах. И в широкополой шляпе — тоже неизвестно почему... О контрабандистах в родном Шадринске, удаленном от границы, не ведали. О них Вадим узнал лишь недавно, в институте, на собрании дружинников. Выступал подполковник с портового контрольного пункта. Иной шпарит прямо из газеты, ни уму ни сердцу... А у того подполковника слова обыкновенные, суховатые даже, — но свои слова. Ребята очень переживали...

Такому человеку все можно высказать. Он все поймет... Пойти разве сейчас, с пакетом... Ну, а толк какой? Вдруг не контрабанда вовсе. Глупо получится. Что он, Вадим, способен объяснить насчет Вальки, насчет Лапоногова или вот Абросимовой? Ноль целых, коли разобраться...

Валька — преступник? Нет! Нет! Валька — идеалист, у него все люди хорошие... Он не хотел... Теперь сам, наверно, не знает, что делать с вещами. А ведь это просто — надо прийти к подполковнику и сказать все честно.

Надо найти Вальку и заставить. Тогда его простят. Непременно простят...

На тротуаре, у входа в общежитие, пестрели книги на новеньком, пахнущем смолой лотке. Однорукий продавец бойко выкрикивал названия. Толстая женщина несла в авоське зеркало. Маленькие девочки играли на асфальте в классы. Вадиму чудилось: все, даже девочки, смотрят на его пакет.

Крепко прижав ношу к себе, Вадим спросил у милиционера, где улица Кавалеристов. Собственный голос показался ему чужим. В трамвае сидел как на угольях, опустив глаза, видел бесконечное мелькание ног: туфли, запыленные сапоги, остроносые башмаки без шнурков...

Улица Кавалеристов открылась широкая, голая — без зелени, без вывесок. Гладкие стены новых домов. Вадим попытался собрать разбежавшиеся мысли. Что он скажет, когда войдет? А что как в самом деле застанет там Вальку?

За дверью квартиры номер три в ответ на звонок слабый плачущий голос осведомился:

— Кто здесь?

— Мне к Абросимовой, — сказал Вадим.

Залязгали, загремели запоры, что-то зазвенело, как

упавшая монета. Закачался, скрипя и ударяясь обо что-то железное, откинутый крюк.

Тощий голосок жаловался на что-то, грохот заглушал его, и к Вадиму сочился лишь тоненький, на одной ноте, плач. Щуплая старушка в тусклом халатике толкнулась к нему, едва не уколов острым носом, и тотчас отпрянула.

— Валентин Прокофьич! Ой, нет, не Валентин Прокофьич!.. Кто же?

— От него, — сказал Вадим.

Он понял сразу: Вальки тут нет. Старушка между тем выпустила его в комнату — большую, в два окна, и все-таки сумрачную и как будто не принадлежавшую этому новому дому, этой просторной солнечной новой улице. Вадим словно ухнул в огромную корзину с тряпьем. В пятне дневного света выделялся стол, залитый волной темной материи, а остальное было как бы в дымке — занавеска слева, обвешанный платьями шкаф, кресла в чехлах.

— А Валентин Прокофьич? — протянула старушка. — Не заболел ли?

— Нет... Нездоров немного...

— Я сама больная, — застонала старушка. — Я не выхожу никуда, лежала бы, да не дают лежать. Пристали, всем надо к маю... У меня весь организм больной. Какая я швея, нитку не вижу. Да вы кладите, кладите... Сюда, на стол.

Вадим топтался, неловко обнимая пакет. Абросимова подвела его к столу и, продолжая стонать, с неожиданным проворствомхватила сверток и распластала на столе.

— И на что мне! — сетовала она. — Мне и сунуть некуда... Просят люди, ну просят ведь, господи!

Костлявые руки ее, жадно перебиравшие товар, говорят другое, но Вадим не замечает их. Он стыдит себя за промах. Явиться следовало от Лапоногова, а не от Вальки. Теперь и расспрашивать про Вальку неудобно. Дернуло же сочинить такое, — нездоров!

— Вы садитесь!

Сесть некуда, на одном кресле журналы с выкройками, обрезки, на другом уют. Вещи, принесенные Вадимом, уже исчезли со стола, а в руке Абросимовой появились деньги. Как они появились, неизвестно. Из

кармана халата, что ли? Возникли точно из воздуха, как у фокусника.

Абросимова перестает нить, она отсчитывает деньги, и Вадим сжался, — ведь деньги-то ему! Он как-то не подумал о деньгах, не приготовился к этому.

— Блазки по четыреста... Ох, вот не привыкну к этим, что хошь! По сорок, четыре штуки по сорок, сто шестьдесят, да белье...

Вадим взял, не считая.

— Поклон Валентину Прокофьевичу. Хорошо, долг отдаст... Ему тут четвертная на май, остальное лапоноговское. Да он знает.

— Знает, — выдавил Вадим.

На улице он остановился как вкопанный, солнце ударило прямо в лицо.

От пакета он освободился, но есть другой груз. Он, кажется, еще тяжелее, хотя это небольшая пачка денег. К счастью, ее никто не видит. Но она давит грудь, она точно впивается под кожу, в тело...

Нечестное это... Да, наверняка контрабанда, теперь Вадим уверен. Денег слишком много, он никогда в жизни не держал столько зараз.

Как быть с ними?

Он велит себе не спешить. Есть еще один человек, с которым необходимо встретиться. «Небось у милашки своей», — сказал Лапоногов. Вальки, конечно, и там нет. Не очень-то они ладят, и вообще... Однако попытаться нужно.

На площади, у справочного киоска, Вадим мнется, фамилию он скажет, а вот имя...

Девушка в окошке — сплошные локоны — занята. У нее интересная книга, и, кроме того, она отгоняет толстую, назойливую зимнюю муху. Вопрос не сразу доходит до нее. Гета? Почему же не может быть такого имени!

— Ее зовут Гета... А полностью... На «г» как-нибудь...

— Ой, умора! Вы ищите ее, познакомиться хотите? Почему же обязательно на «г». Маргарита если...

— Леснова, — сказал Вадим.

— Запишем — Маргарита. А вы думайте пока. Ой, надо же! Обожаю настойчивых,

Льдина на воде, у борта плавучего крана, растаяла вся, плавает только что-то желтое, похоже, спичечный коробок. Он колет глаза Чаушеву, словно это на его столе лежит неубранный мусор. Вода, бетон причала — все уже давно стало как бы частью обстановки кабинета начальника КПП.

Они оба смотрят на весеннюю воду — Чаушев и капитан Соколов, светловолосый, белокожий, с мелкими упрямыми морщинками у самого рта. Завтра там, за пакгаузом, где как струна серебрится и дрожит в мареве тонкий шпиль морского вокзала, встанет «Франкония», пароход с туристами из-за границы. Первый вопрос Соколова был:

— Что слышно с «Франконией»?

Они уже успели поспорить. Чаушев утверждал, что два и две семерки, перехваченная световая морзянка, шифром не является. Шифром пользуются агенты разведок. А передавать депеши вот так, в открытую, решаются лишь те шпионы, которые действуют в приключенческих книжках. Соколов не возражал, он только улыбался и чуть поводил плечом, — я, мол, наивностью не страдаю, но строить какие-либо прогнозы пока воздержусь. Чаушев научился понимать мимику невозмутимо молчаливого капитана, она не причиняла ему неудобств.

Теперь они вернулись к «Франконии», хотя связи между ней и загадочными сигналами ни один еще не усмотрел. Просто капитан, поиграв своими морщинками, выжал:

— Ждут «Франконию». В лягушатнике.

В молодом парке, недалеко от ворот порта, плещет фонтан — четыре скрещенные струи, извергаемые четырьмя бронзовыми лягушками. Там, на площадке, собирается «лягушатник» — сходятся любители наживы. Идет обмен марками, монетами, авторучками, на первый взгляд безобидный, но служащий нередко зачином сделок более крупных.

Пожевав губами, капитан добавил, что с приходом «Франконии» ожидается «большой бизнес».

— Все Нос выкладывает? — спросил Чаушев.

— Да.

Носитель этой клички, долговязый парень с длинным,

унылым носом, разряженный как павлин, погорел в прошлую субботу самым жалким образом. Он ходил по номерам гостиницы «Чайка» и купал у иностранцев нейлоновое белье, блузки, чулки, пока не наткнулся на немца-коммуниста. Тот схватил бизнесмена за шиворот и приволок к милиционеру. Выросла толпа, немец возмущался, цитировал Маркса.

Нос уже не раз выходил сухим из воды, — не находилось явных улик. И на этот раз он изловчился: в суматохе передал кому-то пакет с добычей. Однако при нем остался товар, предназначенный для сбыта, — золотые часы и золотой портсигар. «Не взяли! — сообщил он Соколову на допросе. — Заказали, а не взяли!» Обычно самоуверенный, наглый, фарцовщик скис. Стал разгрызвать простачка. Его втянули. Сам бы ни за что...

Сулили ему невесту какие блага. А на деле львиную долю барыша надо отдавать. Кому? Главаря, «Форда», Нос никогда не видел, с ним связаны скупщики, которым Нос отдавал товар...

Нос скулил, жаловался на судьбу, изображал перед Соколовым бурное раскаяние.

Имена он побоялся назвать. Да, в городе орудует шайка спекулянтов. Предводитель ее, «Форд», старательно прячется. Он часто в разъездах. «Франкония», надо полагать, привлечет его. Предвкушаемый «большой бизнес» — вот, пожалуй, самое существенное в показаниях Носа.

Все это капитан уже сообщил Чаушеву скупыми, но очень емкими словами, из которых каждое стоит нескольких фраз. И так же лаконично изложил свои намерения. Но ведь стянуть петлю надо так, чтобы в нее попал самый крупный зверь.

Чаушев сам видел фарцовщиков у гостиницы. Они до смешного неуклюже притворяются случайными прохожими. Заглядывал Чаушев и в «лягушатник». Никто не обязывал его. Но ведь он помнит этих лоботрясов малышами, славными малышами. Давно ли они пускали по весенним ручейкам самодельные кораблики! Чаушев знает и родителей. Отец Носа, к примеру, замечательный труженик, один из лучших разметчиков на судоремонтном заводе. Яблочко далеко укатилось от яблони. Почему? Ответить нелегко... Нет, эти юнцы, сбившиеся с пути, не безразличны для Чаушева.

Мысли Чаушева, его знание людей, города нужны Соколову. Нужны постоянно, хотя внешне это ничем неуловимо. Соглашается капитан или возражает, он делает это главным образом про себя.

Впрочем, сегодня у Соколова особая, срочная надобность. Что представляет собой «Франкония»? Какова ее репутация у пограничников-контролеров?

Что ж, репутация неплохая. Для Чаушева суда — как люди. У каждого индивидуальный характер. Понятно, есть посудины куда более беспокойные. Взять ту же «Вильгельмину» с ее вечно пьяной, драчливой командой, набранной в разных странах, с бору по сосенке. Или вот отчаливший третьего дня «Дуисбург». У тамошнего боцмана за спекуляцию пришлось отобрать пропуск на берег. Обозлившись, боцман швырнул в часового бутылкой с палубы... А «Франкония» — громадный туристский лайнер, команда вымуштрована, ведет себя прилично. С капитаном — румяным толстяком Борком — конфликтов не было. Вот среди туристов есть всякие... Прошлым летом одна леди пыталась увезти дюжину платиновых колец да десятка четыре золотых монет царской чеканки. Ссыпала все в банку с вареньем. А другая насовала золото в детские игрушки. Таможенникам такие уловки не внове.

Один господин возвращался на «Франконию» увешанным советскими фотоаппаратами. Тут же вмешался часовой у трапа. Как ни хорошо кормят у нас гостей, турист не мог так располнеть за один день. Пальто на нем буквально трещало.

Соколов молча слушал, иногда быстро, мелким почерком записывал что-то.

— А на команду я не в претензии, — повторил Чаушев. — Она-то по струнке ходит. «Франкония» — судно известное.

Оставшись один, Чаушев помахал рукой, — капитан сжал ее, прощаясь, словно стальными тисками. Ох и силаща!

Уже пора обедать. Чаушев прибрал на столе. Вышел без шинели. О бетон причала мягко шлепала теплая волна.

«Два и две семерки», — возникло в памяти. Весьма возможно, сигналы имеют прямое отношение к «большому бизнесу», к главарю фарцовщиков, столь упорно

окружившему свою личность ореолом тайны. Верно, сам еще молод, но ловко учел психологию своих безудных подручных...

У плавучего крана заботливо рокошет буксир, тычется кормой. Сейчас кран уберут отсюда, откроют и этот причал для начавшейся навигации.

6

— Прямо и направо,— услышал Вадим.

Девушка улыбалась ему, локоны сияли, весь справочный киоск наполнился солнцем. Как хорошо, что Гета Леснова и в самом деле — Маргарита. А главное — нашлась! И живет рядом... Эта Леснова небось гордячка и не оценила симпатичного молодого человека, не желает его видеть, но он настойчивый, он добьется своего. И, как знать, не принесет ли ему бумажка с адресом счастье навек.

Вадим и не подозревал, разумеется, что ему в киоске уже прочат свадьбу. Самое имя — Гета — вызывало досаду. Отчего не Рита? «Гета» звучало чуждо и вызывающе, почти как «Тип-топ» на этикетке лондонской блузки.

Видел он Валькину зазнобу всего один раз. Фифа! Правда, разглядывать было некогда. Они садились в машину у парикмахерской, на проспекте Мира, она и Валька. Машина — красота! Новая «волга» кофейного цвета. Вадим окликнул Вальку. Тот кивнул, держа приоткрытую дверцу, а девица — подумаешь, как некогда ей! — оглянулась, потом оттеснила Вальку и, прошуршав платьем, села за руль.

А Валька замешкался. Может быть, он все-таки сообразил, что надо познакомить друга... «Поехали!» — позвала она, и Валька, бедный Валька послушно юркнул за ней, и они уехали, обдав Вадима горькими клубами выхлопного газа. В памяти остались большие, словно нарисованные, глаза девицы, пышная прическа, властное «поехали!».

Наутро Валька сказал, что был на вечеринке. Спросил, как понравилась Гета. Вадим ответил мрачно: «Я больше на машину глядел. Ты же не знакомишь меня». Валька смутился. Да, машина мировая, соб-

ственная машина отца Геты, знаменитого хирурга. Вадим спросил, где учится Гета. «Поступает в институт», — сказал Валька. Вадим фыркнул, — на дворе зима, вовсе не сезон для приемных экзаменов. Не удержался, брякнул: «Который год поступает?» В то утро они чуть не поссорились.

При других обстоятельствах девушка за рулем автомашины возбудила бы уважение Вадима. Но это «поехали!»...

Несчастный Валька под башмаком. Точнее — под туфелькой, приколотый каблукочком-гвоздиком.

Вадим так и заявил Вальке, прямо в глаза, искренне жалея его.

Валька часто являлся под утро, — из гостей, из ресторана. Хоть бы раз пригласил друга! Для вида хоть бы... Поди, она запретила! Еще бы, ведь у него, Вадима, нет таких костюмов, какие шьет Вальке папаша, портной в Муроме. И хотя Валькин гардероб состоял всего из двух костюмов — черного и серого, — но, с точки зрения Вадима, Валька одевался ослепительно. Пять галстуков! Белые сорочки!

Сейчас Вадим идет, подхлестываемый злостью, к фифе, к задавке, расфуфыренной кукле. Он уверен, это из-за нее хороший, честный Валька попал в беду. Ну ясно, иначе откуда у него деньги на рестораны? Может, сама она тоже замешана в темных делах...

В парадной мерцал зеленым глазком лифт, но Вадим прошагал мимо, он презирал лифты.

«Профессор Виталий Андроникович Леснов», — прочел он на медной дощечке и нажал кнопку звонка. Пронзительно затыкала собачонка, ей вторило в пустоте звенящее эхо. «Квартира большущая, — сказал себе Вадим. — Ишь живут!»

— Зати-ихни! — раздался голос.

— Гету можно? — хмуро сказал Вадим полной пожилой женщине.

— А вы кто будете?

Она отпихивала пяткой противную, нестерпимо шумливую собачонку. И зачем только держат таких! Силась перекричать ее, Вадим бросил:

— Я — товарищ Валентина.

— Хорошо, хорошо... Цыц, психоватая! Вы проходите, садьте, она скоренько...

Очень скользкий, только что натертый паркет под ногами, блеск металла... За стеклами на полках — медно-красные и отливающие серебром кувшины, чаши, выстроившиеся словно шеренги рыцарей в латах. Крышки, похожие на шлемы, гербы, скрещенные шпаги. А на пространстве стены, свободном от темных, лезущих к самому потолку стеллажей, — толстые, круглые, тусклые блюда. На одном — замок на холме, на другом — пухлые, с застывшим зайчиком света щеки какого-то короля или графа, важного, в парике. «Иоганн-Август», — разбирал Вадим латинские буквы. «Фон Саксен», — очевидно, Саксонский. Тысяча шестьсот...

Две другие цифры были снесены как будто сабельным ударом. На миг Вадим забыл о своих заботах, — он почувствовал себя в музее, его окружали интригующие даты, имена, эмблемы.

В углу на круглом столике стоял сосуд с двумя ручками — непонятного Вадиму назначения. Скорее всего для фруктов. Он подошел, и навстречу ему шагнуло его отражение на полированной выпуклой поверхности. Смешной парень, страшно толстый, с крохотной головой, почти весь погруженный в необъятные лыжные штаны.

— Добрый день! — раздалось за спиной.

Застигнутый врасплох, он отозвался не сразу, а затем, подавляя неловкость, заговорил глухо и неприветливо. Девушка смотрела без улыбки, удивленная его тоном, но Вадим уже не мог ничего исправить.

— Вы должны знать, где Валя, — закончил он.

— Очень странно. — Она не шевельнулась, только брови ее чуть дрогнули. — Почему это — должна?

— Значит, не знаете?

— Извините, понятия не имею.

Он молчал, наливаясь яростью. Ах вот как! Да они сговорились, что ли?

Молчала и Гета. Будь Вадим любезнее, она сказала бы ему, что сама вот уже несколько дней не видела Валу. Позавчера праздновали ее день рождения, а он не соизволил прийти и даже не позвонил.

Причина, по мнению Геты, только одна — появилась другая девушка. Так она решила, непримиримо и бесповоротно. Недаром Валя в последнее время стал таким угрюмым и невнимательным. А что еще могло случить-

ся? Болезнь! Так он же хвастался, что даже гриппом не болел ни разу в жизни. Дал бы знать, если заболел. Поздравил бы по почте...

Последний вечер в ресторане он был сам не свой: то молчит, то отпускает какие-то туманные намеки — я, мол, могу в один прекрасный день бесследно исчезнуть. Что это — рисовка или предостережение? То и другое, наверно. Вообще странно. Валентин показался ей таким искренним и цельным человеком, когда они познакомились. А потом он точно стал отдаляться. Что-то скрывать... Ясно что! Новое увлечение! Вот и мама так считает.

И пусть! Убиваться из-за него? Ни за что! И уж во всяком случае она не обязана отдавать отчет этому невоспитанному, грубому мальчишке. Ах, видите, он товарищ Валентина! Наверно, не очень близкий товарищ, если Валя не счел нужным представить его тогда, у парикмахерской.

А Вадиму трудно было дышать от возмущения. Красная блузка Геты, бархатистая, обтягивающая красная блузка дразнила его. Тоже небось «Тип-топ»!

— Ладно! — буркнул он. — С вами поговорят в другом месте.

Две минуты спустя, на улице он уже корил себя, — дурак, зря залез в бутылку! Надо было поделикатней. Эх, не умеет он так с девчонками, как Валька! Хотя все равно, такая разве скажет правду! Ну, погоди же!..

Между тем Гета медленно приходила в себя. Злобные, непонятные слова грубого мальчишки оглушили ее. Не пьяный ли он? Нет, как будто трезв. Он пришел точно для того, чтобы ругаться, — такой у него был вид.

Она выскочила на площадку.

— Стойте! — крикнула она, чувствуя, что сейчас расплечется от обиды, от страха.

Ее голос ухнул в пустоту.

7

К причалу морского вокзала величественно прислонился туристский лайнер «Франкония».

Весь белый, расцвеченный полосатыми тентами, по палубам заставленный шезлонгами, столиками для

кофе, для коктейлей, он похож на южный нарядный курортный отель.

На причале прохаживается рядовой Тишков — невысокий, крепкоскулый, с черной родинкой, севшей у самого уголка рта, слева. Кажется, там у него смешливая ямочка.

В действительности Тишков сегодня серьезен, как никогда, — в его жизни начались крупные события.

Смешалось все — и плохое, и хорошее. Больше-то плохого! Конечно, происшедшее нисколько не похоже на те картины, которые он рисовал себе. Сколько раз он задерживал шпиона! Ловил его среди кубов теса на лесной бирже или на задворках пакгаузов, находил его, притаившегося за мешками, за катушкой с кабелем, — бледного от ненависти, с ножом или пистолетом наготове. И вот его — Тишкова — сам подполковник благодарит перед строем...

Вначале Тишкова буквально бросало в жар от этих воображаемых схваток. Он мял ремень автомата, озирался. Чужой недобрый взгляд. Откуда? Из темного иллюминатора, с мостика, из-за двери, ведущей в кубрик, — ее, разумеется, нарочно оставили полуоткрытой. Отовсюду следят за ним, советским часовым, следят во все глаза. Слыша незнакомую речь на борту, Тишков чувствовал, что говорят о нем, ищут способ убрать его с дороги, обмануть его бдительность. Но шли месяцы, а красивая, героическая схватка так и не выпадала на долю Тишкова.

Правда, не всегда обходилось гладко. Как-то раз пьяный механик поставил на поручень стакан с вином и жестами предлагал Тишкову выпить, а потом грубо обругал его, весьма точно произнося русские слова. Случалось, Тишков замечал пачку антисоветских листовок в щели ящика, опущенного на причал, или на крючке подъемной стрелы.

А вот вчера он мог бы сделать очень важное дело, если бы... Эх, если бы да кабы!.. На сердце у Тишкова камень. Пускай никто не винит его ни в чем. От этого не легче. Поймал-то он конец передачи, всего-навсего конец!

Правда, вести наблюдение за противоположным берегом он не обязан. Плохое утешение! Поймал конец, а мог бы застать всю сигнализацию.

У трапа стоял Мамеджанов, старший наряда, а Тишков шагал по причалу, взад-вперед. Другой берег открывался ему, когда он оставлял позади нос «Вильгельмины». И вот, если бы он не застрял в пути... Если бы не отвлекся... Вынес черт на палубу этого итальянца! Как всегда, он кивнул солдатам и крикнул: «О, товарищ!», а затем вынул из кармана гармошку да как заиграл! Тишков любит музыку. Итальянец играл «Гимн демократической молодежи», притопывая и дирижируя рукой. Тишков из вежливости остановился. Только на две-три минуты...

В прошлом месяце Тишков подал рапорт замполиту майору Кузевому, рапорт о своем решении вести себя по-коммунистически. Он написал десять обязательств. Последнее — «чаще посылать письма домой» — звучало не очень солидно, но без него пунктов было бы всего девять. Круглая цифра лучше!

Замполит вызвал его. Подошел начальник, и оба они, Кузевов и Чаушев, похвалили Тишкова за достойное стремление. К себе надо быть строже, чем другие, — так сказал начальник. Строже товарища, строже командира.

Как это верно! И в рапорте один пункт прибавился. Зато отпал пункт третий — беречь обмундирование. Это и так требуется от каждого.

Грош цена была бы всем пунктам, если бы Тишков покривил душой.

Однако тогда, ночью, докладывая старшему лейтенанту Бояринову, он был счастлив, что уловил световые точки и тире, строчившие в далекой черноте, за рекой. Он прочел их, недаром учился на курсах радистов. Два, семь и семь... Старший лейтенант расспросил его и подтвердил худшие опасения Тишкова. Да, скорее всего лишь конец передачи.

Счастье открытия померкло. Тишков стал припоминать и впал в отчаяние. Итальянец! Не нарочно ли он запиликал на гармошке как раз в тот момент...

Утром старший лейтенант был у начальника и принес новость — Тишков с завтрашнего дня старший в наряде. А Тишкова уже томило созревшее признание, подступало к горлу. Он тут же повинился. Он все взвесил: сигналили на «Вильгельмину», и итальянец коварно отвел ему глаза. Он — Тишков — поддался на эту хит-

рость и заслуживает не повышения, а, наоборот, наказания.

— Насчет итальянца вопрос открытый,— сказал Бояринов.— А за то, что ты отвлекся без необходимости...

Тишков получил выговор.

Бояринов немедленно доложил Чаушеву. Проштрафился отличник! В трубке раздалось:

— Пришли его, Иван Степаныч, ко мне. После обеда. Пусть поест, успокоится немного.

Лейтенант Стецких, дежурный, оглядел Тишкова с головы до ног и сразу почувал неладное:

— Подождите тут... Что у вас?

Тишков уважал лейтенанта за начитанность, за знание двух языков — английского и французского.

— «Чепе» у нас,— начал он.

Слушая, лейтенант поправлял повязку на рукаве. Укололся булавкой, ругнулся, быстро отсосал кровь из ранки.

— Ясно,— бросил он с раздражением.— Музыка вас пленила. Ловят и на это...

Хваленый Тишков! Стецких не забыл вчерашнее столкновение с начальником из-за Тишкова. Да, пора в отставку, распустил подчиненных. До чего дошло — солдат сам выпросил себе взыскание!

— Старшим идти мне теперь нельзя,— молвил Тишков.— Верно, товарищ лейтенант?

К этому простодушному вопросу Стецких не был готов. Он повел плечом:

— Подсказывать начальнику мы не будем.

Для Стецких военная жизнь исчерпывалась понятиями приказа и повиновения. Как поступит Чаушев — неизвестно. Ответить солдату искренне — значило, по мнению Стецких, в какой-то мере предвосхищать приказ начальника.

Натянутое молчание прервал приход Чаушева. Он позвал Тишкова в кабинет, велел сесть. Не торопил, позволил выговориться.

— Наказание вы заслужили,— сказал он.

Правда, никто не отмерил Тишкову ни шаги по причалу, ни время. Он мог задержаться, беседуя по делу со старшим. Но в данном случае Тишков действительно отвлекся без необходимости. Заиграл итальянец в ту

минуту, должно быть, случайно, но это не умаляет вину Тишкова. Да, Бояринов решил правильно.

— Вы сами обещали быть строже к себе. Раз так, то и от нас не ждите скидок.

— Точно,— отозвался Тишков.

Чаушев достал из папки замполита Кузимова, ушедшего в отпуск, рапорт Тишкова. Прекрасные обязательства, и трудные! Но облегчать путь не следует. Чаушев вообще против скидок за прежние заслуги. Это портит людей. Кто покрепче, с того и спрашивать следует больше.

— А старшим наряда вы все-таки пойдете,— услышал Тишков.— Это не награда, а доверие...

И вот он на причале, у борта «Франконии». Сегодня он еще младший. Последний раз...

Теплоход огромный, высокий,—задерешь голову, и кажется, он опрокидывается на тебя. Там наверху, на палубе у ходовой рубки, капитан в белом. На руке искрятся золотые часы. Капитан спускается, Тишков видит толстые подошвы башмаков с подковами на каблуках. Все видится очень четко сегодня.

Бывает, когда проснешься очень рано, свет непривычно ярк. Так и сейчас. Кажется, это не вечер, а утро нового дня, начало новой, более трудной, но все-таки солнечной жизни.

Капитан «Франконии» уже на нижней палубе. Она запружена туристами,—зеленые и серые плащи, хрусткие, надуваемые ветром. Береты, блеск биноклей, фотокамер. Капитану уступают дорогу, его спрашивают о чем-то. Верно, хотят на берег. А он кивает,—скоро, стало быть. Ему улыбаются.

Люди веселые, добродушные Тишкову нравятся. Но теперь, после того случая с итальянцем...

В салоне в косых лучах вечернего солнца нет-нет да и блеснет пуговицами фигура подполковника. Там заканчивают проверку паспортов. У самого окна сидит лейтенант Стецких. Тишкову видно, как он вручает иностранцам документы,—с легким, вежливым поклоном головы. Тишков немного завидует лейтенанту.

Стецких только что отдежурил, но от законного отдыха отказался. И Чаушев взял его с собой,—ведь туристов около трехсот, отпустить их надо побыстрей. К тому же Стецких прямо-таки незаменим на теплоходе.

Чаушев иногда любит: так непринужденно и тактично держится лейтенант перед толпой нетерпеливых туристов, напирających на столик с паспортами.

Один столик накрыт скатертью, буфетчик там расставляет бокалы, бутылки с разноцветными напитками. «В прошлый раз был другой», — думает Чаушев, глядя на буфетчика, рослого, с выправкой бывшего военного.

Парень уходит, плотно прижав к бедру поднос. На палубе он сталкивается с капитаном. Чаушев не видит их, пассажиры тоже не видят, — они навалились на поручни, все взгляды обращены на берег. Видит Тишков. Он ждет, что буфетчик сейчас прижмется к стенке и даст капитану пройти. Но нет! Капитан покорно остановился, он как будто пригвожден к месту, а буфетчик шепнул ему что-то — похоже, не очень любезное — и пошел дальше.

Покачиваются, скрипят сходни. Пестрый, разноплеменный поток туристов покидает теплоход.

8

«Франкония» опустела. Безмолвным костром пылает она в вечерних сумерках, засматривая в окно кабинета Чаушева. Подполковник еще здесь. У него посетитель.

— Аристократия нынешняя, — зло говорит Вадим. — Вазы, тарелки, полная квартира...

— Да ну! — улыбается Чаушев.

— Блюдо на стенке висит, тысяча шестьсот... Триста лет ему... Саксонское.

— Профессор Леснов, — говорит Чаушев, — многих людей спас. Он талантливый хирург. И человек он хороший. А коллекция его... Я сам, например, собираю книги.

— Это другое дело, — хмурится Вадим.

Он сбычился, коротко остриженная голова его опущена. Рассказывая, Вадим подается вперед и точно бодает своей жесткой щетиной.

— Дочка его... Сережек навешала... Люстра! И кофта заграничная... Ясно, тоже «Тип-топ».

— Это еще что? — смеется Чаушев.

— Фирма. Лондонская фирма. На тех, что я отнес, на всех написано «Тип-топ», вы это заметьте. Товарищ

подполковник, она-то, Леснова определенно знает, где Валька... Савичев то есть. С ней нечего церемониться.

— Так-таки нечего?

Перед Чаушевым на столе — деньги. Вадим, как вошел, так сразу, не вымолвив и двух слов, вывалил бумажки из кармана. И мрачно пояснил — получено за контрабанду.

Из того, что он сказал, самое важное, конечно, — это исчезновение его товарища. Савичев... Пропавший племянник тетки Натальи! Чаушев знает ее. Наталья — вдова механика с буксира «Кооперация».

На Крайнем Севере подобное происшествие вызвало бы тревогу — настоящую боевую тревогу. Все в ружье — и на розыски, в тундру! Как-то раз исчез продавец сельмага, уличенный в воровстве. Искали недели две. Нашли полумертвого от голода в охотничьей избушке на берегу безымянного озера. Нет, он не собирался бежать из тюрьмы за кордон. Решил переждать, отсидеться...

На что он рассчитывал? Авось, мол, забудут! Как глупо! Но мало ли люди делают глупостей, особенно под влиянием страха.

Здесь не тундра. Боевой тревоги не будет. Чаушев мог бы отослать студента в милицию, — с деньгами, со всеми его мучительными приключениями и догадками. И дать знать капитану Соколову. А затем спокойно отправиться домой. Ведь стрелка уже подошла к десяти, Чаушев устал, в голове не утихли голоса «Франконии», дыхание ее машин, хлопки полосатых тентов, играющих с ветром.

Соколову он уже позвонил. Но домой не спешит. Отчасти он отдыхает сейчас после напряженных часов на иностранном теплоходе, — ведь этот юноша, угловатый и наивный, какой-то очень свой. Чаушеву нравится его прямота, нравится брезгливость, с какой он выложил деньги, его «Тип-топ», произносимое с дрожью ярости.

— Скажите, Вадим, — спрашивает Чаушев, — почему вы обратились именно ко мне?

— Я запомнил вас... Вы выступали у нас на собрании. Я был в дружине...

— Были?

— Да... Я ушел из дружины, — говорит Вадим, смущаясь. — Так получилось, знаете...

— А все-таки?

— Имею я право носить узкие брюки? Имею! Кому какое дело?

Чаушев чуть-чуть отводит взгляд. Тот комсомолец в тельняшке, живущий в нем, напрасно ищет собрата по духу в нынешнем племени,— такого же спартамца. Но все равно Вадим все больше нравится Чаушеву.

Что же, однако, с Савичевым? Данных слишком мало, чтобы строить какие-нибудь предположения. Кажется, парень он в основе неплохой. Чутье вряд ли обманывает Вадима,— он жалеет друга.

Кто втянул? Вадим упрямо обвиняет девушку. Гета, дочка Леснова... Хорошенькая, очень заметная — природной смуглотой, необычной здесь, и монгольским разрезом глаз. Отец наполовину якут. Чаушев знал его еще до войны, не раз встречал и провожал Леснова, плававшего на большом двенадцатитонном «Семипалатинске». Потом судовой врач блестяще защитил диссертацию и пошел в гору.

— Вы не замечали, что у вашего друга появились средства? Он покупал себе вещи? Может, одеваться стал лучше?

— Одет он и так — будь здоров. Одет замечательно. Средства? На обед у ребят стреляет. Он на нее все... На принцессу...

В прошлом году Чаушев видел Лесновых в Сочи. «Готовится в институт», — сообщил о Гете отец. Он не сомневался, — выдержит, не может не выдержать, ведь в школе шла на пятерки.

Гета — и контрабанда... Но ведь есть еще Лапоногов. И другие, пока неизвестные лица...

Ясно одно — Савичев нуждался в деньгах. Для чего? На что он их тратил?

— Любовь!.. — усмехается Вадим. — Прекрасную даму нашел...

Усмешка горькая. Валька чересчур поэтическая натура, вот в чем беда.

— А вы любите, Вадим?

— Когда как... А вообще у нас век атомной энергии. Он нетерпеливо ерзает. Чаушев угадывает почему.

— У меня не простое любопытство, Вадим, — говорит он прямо. — Мне хочется узнать вас поближе, и вас и вашего Валентина.

Вадим развивает свою мысль. Взять стихи Блока, любимого Валькиного поэта. Стихи хорошие. Но Прекрасной дамы никогда не существовало, Блок ее выдумал. Подходить надо реально. Мало ли о чем поэт мог мечтать. Главное в наше время — реальный подход. А Валька вообразил себе невесть что.

— Он сам с барахлом пачкаться не будет... Никогда! — с жаром заверяет Вадим. — Он же блаженный, только хорошее видит!..

О роли поэзии Чаушеву хочется поспорить. При чем тут атомная энергия? Спорить, однако, некогда, надо не медля ни минуты решать, как быть с парнем.

— Лапоногов ждет вас?

— Он не говорил... — тянет Вадим.

— Безусловно ждет, — рубит Чаушев и показывает на деньги. — Он не назначал вам встречу, так как еще не вполне полагается на вас... Надо его успокоить.

Он открывает настольный блокнот и аккуратно записывает номера кредитных билетов. Потом подвигает деньги Вадиму.

— Сами влезли в эту историю, — мягко говорит Чаушев, заметив, как испуганно отшатнулся юноша. — Уверяете, что вышли из дружины, а сами влезли в самые недра спекулянтской берлоги. А теперь пасуете? Хотите спугнуть Лапоногова? Хотите испортить все дело?

Жаль Вадима. Притворяться, лгать, он, наверное, не умеет. Чудесное неумение!

— Назвался груздем... — улыбается Чаушев. — Другого выхода нет, дорогой товарищ. Вручаете Лапоногову. Если он вам выделит долю — не скандальте. Потом сдадите. Спросит, где Савичев, скажете... провел выходной день с девушкой, простудился, лежит у тетки своей. Запомнили? А тетю мы предупредим.

Вадим уже овладел собой. Да, он понял. Это очень неприятно, идти еще раз к Лапоногову, но коли нет иного выхода, значит, придется.

— Не сейчас. Повременить надо... — говорит Чаушев. — Посидите в соседней комнате.

Юноша рискует. По наивности он не сознает этого... Так или иначе отпускать его пока нельзя. Надо дожидаться Соколова.

Подойдя к окну, Чаушев видит Соколова, шагающего по причалу сдержанной, крепкой походкой.

— Я тут распорядился без вас...— сообщает Чаушев.— На свою ответственность.

Лицо капитана слегка порозовело. Он спешил. Но движения его размеренны. Он обстоятельно устраивается в кресле.

— Так,— слышится наконец.

Чаушев передает новости, доставленные Вадимом. Называет Лапоногова, Савичева. Знакомы ли капитану эти фамилии?

— Да,— кивает Соколов.

И опять короткое «да» стоит нескольких фраз. По интонации, по выражению очень светлых, как будто невозмутимых глаз ясно — фамилии не просто знакомы. Эти люди весьма занимают Соколова.

— А Абросимова?

— Тоже.

— Студента отпускаем?

— Да.

— Неужели за ним нет хвоста! — восклицает Чаушев.

Лапоногов очень быстро доверился Вадиму. Почему? Вадим вышел из дружины — это раз. Ему нужны деньги, он копит на мотоцикл — это два. Но важнее всего для дельца Лапоногова то, что Вадим сохранил в тайне свою находку — пакет с товаром. Не сдал в милицию, а пришел к Лапоногову... И все-таки Лапоногов не мог оставить Вадима без присмотра.

— Хвост был,— слышит Чаушев.

— Кто?

— Лапоногов.

Чаушев встревожен. Скверно! Как же тогда отпустить Вадима? Соколов улыбается.

— Порядок! — говорит Соколов.— Хвост был от Абросимовой до улицы Летчиков.

Ну, это меняет дело! Лапоногов решил на всякий случай проследить за Вадимом, но дошел только до улицы Летчиков.

— В отношении Савичева,— начинает Соколов.— Он был в гостинице. В субботу, когда взяли Носа.

Так вот откуда взялся пакет! Он был у Носа, а затем Савичев вынул его: выхватил товар и скрылся. «Бизнес», видать, глубоко засосал студента. Но дальше он ведет себя странно. Вместо того чтобы спрятать ули-

ку, бросает ее под койку в общежитии и уходит куда-то...

Чаушев рассуждает вслух. Глаза Соколова смотрят ободряюще. В них возникают и разгораются крохотные веселые искорки.

— Вы приняли меры,— говорит капитан.— Так вы и продолжайте в отношении Савичева.

Чаушев ликует. Славный мужик Соколов, с ним всегда можно договориться, даже если он скажет всего два-три слова. Даже когда молчит.

— Еще вот... Людей у меня мало.

— Понимаю,— откликается Чаушев.— У меня тоже мало, но... постараюсь вам выделить. Для «лягушатника»?

— Хотя бы...

— Сделаем.

«Пошло Бояринова,— думает Чаушев.— Стецких дежурил, ему отдых давно положен... Ну он, верно, сам не захочет домой. Особенно, если пойдет Бояринов...»

9

Вереница автобусов застыла у городского театра. Идет концерт ансамбля песни и пляски, устроенный для туристов с «Франконии».

Господин Ланг не поехал на концерт. Девушке из института, которая предложила ему билет, он сказал, что морское путешествие было утомительным. Хочется отдохнуть от шума, скоротать вечер в домашней обстановке, у родственницы.

— Нам, старикам, не до концертов,— прибавил он.— Окажите любезность заказать мне такси.

Ланг погрузил в машину чемодан — подарки для родственницы — и отбыл на окраину города, на улицу Кавалеристов. Сейчас господин Ланг пользуется желанным отдыхом. У Абросимовой он у себя дома.

Пиджак Ланга висит на спинке стула. Верхняя пуговица мятого, не очень свежего воротника сорочки растегнута, галстук ослаблен.

Абросимова потчует господина Ланга холодцом, водкой, чаем. От волнения она спотыкается об уют, представленный с кресла на пол, и поминутно приседает.

— Бог с вами, нет, нет, нет,— Ланг отодвигает бутылку «столичной».— С моим катаром...

По-русски он говорит довольно чисто.

Кроме Ланга у Абросимовой еще один гость — Лапоногов. Он уже выпил водки, выпил один, пробормотав «ну, будем здоровы», и теперь, сидя на корточках, потрошит чемодан с подарками. Шевеля губами, сопя, выгребает и кладет на стул нейлоновые блузки, трико, отрез легкой ткани, отрез шерстяной, костюмной. Господин Ланг пьет чай в одиночестве. У Абросимовой чай стынет, отрезы притянули ее, как магнит.

— Мужское,— шепчет она озабоченно, раскидывая рулон. Мужские вещи не ее специальность.

— Мышиный цвет,— наставительно говорит гоподии Ланг.— Последняя новость.

— Моему батю,— подает голос Лапоногов,— тридцать два года костюм служил. Выходной. Материал — железо. Эмиль Георгиевич, организуйте мне такой! Можете?

— Нет,— Ланг качает лысой головой.— Какой резон? Это не шик.

— Скажите лучше — не делают у вас. Разучились. На фу-фу все! На сезончик!

Лапоногов держится хозяином. Ланг обязан ему. Лангу требовалась в России родственница, и Лапоногов обеспечил. Абросимова артачилась, он долго уламывал ее, соблазнял барышами. Назваться двоюродной сестрой жены неведомого ей Ланга старуха все же побоялась. Слишком близкое родство! Сошлись на троюродной.

Под диктовку Лапоногова заучила необходимые данные о своей неожиданной родне. Господин Ланг уроженец Риги, где его отец был представителем заморской галантерейной фирмы. Окончил там русскую гимназию, женился на русской.

Лапоногов клялся, что Абросимова ничем не рискует, а выгода огромная. Да, будут посылки из-за границы. Вполне легально, по почте. Ну иногда и помимо почты, с оказией... Контрабанда? Э, зачем такое слово! В крайнем случае, если уж так страшно, этикетки на вещах можно почернить немного сажей, и тогда товар выглядит, как подержанный.

Абросимовой доставляется добро и в посылках, и из разных рук. Она уже привыкла к этому. Родственник

шлет, объясняет она всем. Поминает троюродную сестрицу — царство ей небесное... Не родная, а ближе родной была в молодые годы. И вот мужу завещала не забывать...

Одно огорчает — Лапоногов все меньше и меньше дает коммиссионных. Твердит свое — так рассчитал Старший. Абросимова никогда не видела Старшего и даже имени его не знает. «Старший» — это слово Лапоногов произносит после паузы, понизив голос.

И сейчас он заводит о нем разговор. Стоимость вещей из чемодана Ланга, плотного желтого чемодана с наклеями, уже известна, — Лапоногов отбрасывает карандаш, сломавшийся в его толстых пальцах. Жирный росчерк процарапан под суммой. Господин Ланг разглядывает цифру, и лицо его выражает разочарование.

— Да кабы я... У Старшего, — следует секунда почти-тельного молчания, — расходы же! Плата за страх, поняли? Условия для бизнеса у нас — сами представляете...

— Почему ваш шеф не может прийти? — Ланг со стуком опускает блюдо. — Почему? Я должен иметь с ним конвeрсацию... беседу, — поправляется он.

Лапоногов поводит плечом:

— Условия знаете... Старший сам мечтает...

Он спешит оставить эту тягостную для него тему и переходит к текущим делам. Недавно Вилли, кок с лесовоза «Альберт», просил закупить для господина Ланга фотоаппараты. Но он не сказал, какой марки, и вообще изложил поручение как-то несолидно. И Лапоногов воздержался.

— Тем лучше, — кивает Ланг. — Ничего не покупать, ни один предмет... Деньги!

— Рубли?

Да, оказывается, господину Лангу нужны были рубли. И срочно! Пока «Франкония» стоит здесь, должно быть реализовано товара как можно больше.

Лапоногов насторожен. С какой стати вдруг рубли? Ага, секрет простой — покупать решил лично. Он презрительно усмехается. Ох, крохобор!..

— Пожалуйста! Только не пожалеть бы вам... Думаете, очень свободно, прошвырнуться по магазинам — и порядок! Ну куда вы сунетесь, как вы тут будете ориентироваться? Зря вы... То, что я достаю, вы разве достанете?

Господин Ланг сокрушенно поднимает глаза к потолку, складывает пухлые руки. Нет же, он полностью доверяет партнеру. Но товар он не берет. Ни фотоаппараты, ни часы, ни икру, ни чай... Только рубли.

— Не с собой же вы повезете,— недоверчиво тянет Лапоногов.

Ланг не объясняет. Он настаивает,— рубли! Что ж, не ссориться же! Остается выторговать у него куш покрупнее...

— Воля ваша... А продать — тоже целая проблема,— начинает Лапоногов исподволь.— Взять эту тряпку,— он тычет в отрез мышиного цвета.— Модное! На шармачка всякий кинется, а как платить...

Он ссылается и на трудности: бизнесу ходу не дают, мало было милиции, еще дружины! А главное — товар так не идет, как раньше. Теперь советского товара завались!

— Шея под топором всегда,— Лапоногов драматически басит.— На днях дружка закатали.

Потеря Носа не велика беда. Нос сам за решетку пропился,— пил без меры, скандалил. Хорошо хоть достало ума не выдать Савичева. Лапоногов боялся этого, но приятель Вальки, тот салага, первокурсник, успокоил. Нашел-таки Вальку. У тетки он, лежит больной.

Лапоногов уверен в себе. Он тверд с Лангом, не приbedняется и тотчас глушит нотку жалобы,— в бизнесе надо быть сильным. Торгуясь, он чувствует некоторую гордость. Ланг — тертый калач, живет за границей, имеет свой магазин, в своем деле спец,— а Лапоногова не съест.

Надо выяснить, во-первых, когда нужны рубли. Наверно, срочно. А за срочность платят.

— Можно и завтра,— говорит Ланг.

Он предлагает встретиться здесь, у Абросимовой, после обеда.

Так поздно? Значит он уже не управится с покупками... Разве что в следующий раз... И вдруг у Лапоногова спирает дыхание.

— А может,— он искоса поглядывает на Ланга,— рубли вам не для барахла?

Господин Ланг очень спокоен. Ложечкой он старательно выбирает икринки на тарелке, по одной отправляет в рот.

— А вам это не все равно — для какой цели? — спрашивает он.

Лапоногов молчит. Он вспомнил газетное сообщение, попавшееся недавно. «У задержанного изъяты карты, оружие, советские деньги...» Там и для таких дел нужны рубли, особенно теперь, после реформы, новенькие...

— О цели я не хочу располагаться... рас... пространяться, — поправился Ланг.

Лапоногову страшно. Как быть? Отказаться от игры впотьмах? Но и настаивать, добиваться объяснений тоже страшно. Может, лучше не знать? Не знать — спокойнее.

Против Ланга поднимается раздражение. Ишь ты, распространяться ему неохота! А ты изволь загребай углы для него! Голову клади!

Ладно же! Такой бизнес недешево обойдется Лангу. Лапоногова треплет тревога, страх и злорадство, — вот когда Ланг попал ему в руки...

— Ладно, — бросает Лапоногов. — Об условиях поговорим, — произносит он и придвигается к Лангу, а мозг его лихорадочно работает, подсчитывая комиссионные.

Господин Ланг готов уступить. Лапоногова это и радует и пугает. Но остановиться он не может. Он атакует.

10

Вечер.

По окраинной улице идет высокий худощавый юноша. Ноги он едва переставляет, а длинные нервные руки раскидывает широко и часто.

Это Савичев, Валентин Савичев, которого безрезультатно ищут сегодня и милиция и товарищи по институту.

Улица угасает в черноте пустыря.

Снова и снова возникает в памяти Валентина субботнее происшествие. Нос, кинувшийся к нему в суматохе с пакетом, толпа туристов, рычащие автобусы и резкий голос немца... Он гнался за Носом, звал милицию. Валентин почти машинально схватил пакет, Нос исчез, а Валентин шмыгнул в ворота, дворами, переулками выбрался к институту.

Отдышался, попытался обдумать происшедшее и не сумел, погоня жгла его. Затолкал пакет под койку,

опасаясь расспросов Вадима. Стало легче, но усидеть дома он все-таки не смог.

Он нашел приют в пустом деревянном доме, назначенном на слом. Таких строений сохранилось немного — маленький островок, прижатый к ограде порта волной молодых деревьев. Притаившись у чердачного оконца, Валентин различал за полосой зелени ворота общежития, черный зев арки. Ветер раскачивал там фонарь над безлюдным тротуаром, над опустевшим книжным лотком. Валентин ждал — придут за ним из милиции или не придут...

Нет, люди в форме не вошли в ворота... Значит, спасся! Не заметили!

Но страх лишь на миг ослабил свою хватку. Пакет, проклятый пакет с вещами существует! Уж лучше бы сразу сдал его и повинился во всем... А он побоялся. Не простят, посадят в тюрьму. Свистки, топот погони еще не затихли для Валентина.

Пакет обнаружат, если не милиция, то Лапоногов. Уж он-то непременно! Если Нос на свободе, он скажет Лапоногову, кому передал товар, а Лапоногов явится в общежитие. Арестован Нос — тоже не легче... Лапоногов все равно узнает. Всполошится Абросимова, не получив товара.

Если Нос посажен, то они, чего доброго, сочтут виноватым его, Валентина. Очень просто! И тогда — смерть. «Форд», или, как его обычно называет Лапоногов, Старший, сам творит суд и расправу. Лапоногов не робкого десятка, но в его голосе испуг, когда он говорит о Старшем. «Форд» живет где-то в другом городе и сюда приезжает на день, на два. Он никогда не показывался ни Абросимовой, ни Носу. Нос, тот слышал как-то голос Старшего по телефону. Валентин не удостоился и такой чести. Видит его, и то очень редко, Лапоногов.

Слово в слово запомнился последний разговор с Лапоноговым. «Ты что-то кислый, салага», — сказал он. «А с чего мне быть веселым?» — ответил Валентин. «С кралей своей поцарапался?» Валентин покачал головой. «Нет? Так что? — проворчал Лапоногов. — Здоров, деньги есть... Или не нравится с нами? Так Старший таких капризных не любит, понял?» Валентин вспыхнул, бросил: «Где твой Старший?». Лапоногов усмехнулся: «Выдь на улицу, может, навстречу попадетсЯ. Только не

узнаешь! А он-то тебя ви-и-идел... Хочешь, полюбуюсь, как мне Старший будет семафорить с того берега, от лесного склада. Сегодня, в одиннадцатом часу...»

Это было в субботу, под вечер. Как раз перед тем как идти в гостиницу...

События приняли неожиданный оборот. Смотреть пришлось не на тот берег, а в другую сторону. Впрочем, какая разница! Важно одно — Старший приехал, на время «большого бизнеса» он здесь. Пока не уйдет «Франкония», он здесь...

Неизвестность — вот что самое ужасное! Какой он, этот «Форд»? Может, плюгавый человечиска, которого нелепо опасаться, — одним щелчком можно сбить... Или великан саженного роста, с кулаками боксера... Так или иначе, он хитер и опасен. В самом деле, какая дьявольская изобретательность! Быть невидимкой, быть неуловимой грозой! Кажется, о чем-то в этом роде Валентин слышал раньше. Ну да, ведь точно так ведут себя главари гангстеров в Америке, загадочные для рядовых членов банды...

Страх держал Валентина на чердаке всю ночь и весь день до вечера. Выгнал его голод.

В закускойной у вокзала наскоро поел, захотелось спать. На вокзале отыскал свободную скамейку, лег, положив под голову пиджак. Прибывали и уносились поезда, о них сообщал репродуктор голосом очень озабоченной девушки, боящейся как бы кто-нибудь не опоздал уехать или встретить друзей. Голосом, который не имел, не мог иметь никакого отношения к нему, Валентину. Он сознавал, что не уедет, не покинет этот город. Нет, не может покинуть.

Что бы ни было впереди — месть «Форда» или тюрьма, — судьба решится здесь. Еще один день скитаний, «Франкония» отчалит, Старший уберется из города... Тогда легче будет сделать необходимое, неизбежное. По крайней мере не достигнет его на пути удар ножом в спину...

«Трагическая гибель... Убитый был найден в нескольких шагах от отделения милиции, куда он направлялся с повинной, — мысленно читает Валентин газетную заметку. — При нем обнаружен пакет...» Жалея себя, он видит плачущую Гету. Только теперь она поняла, что любит его...

Нет, нет!.. Он хочет жить, учиться... Может быть, его все-таки простят...

Утром он подошел к кассе и взял билет. Не в Муром к родным, а на пригородный поезд. Вылез в дачном поселке. Тишина, заколоченные дома. Кое-где столбы дыма,— жгут сухие листья. Страх погнал дальше от людей, в лес.

Жаль, нечем надрезать кору березы. Подставить бы ладонь, выпить сока, как в детстве...

Он переносился в Муром, видел мать, пытался рассказать ей все... Про Лапоногова, про вещи и нечестные деньги, про Гету. Как далека Гета от этой грязи, и, однако, если бы не она...

...Началось все недавно, месяца три назад,— и вместе с тем очень-очень давно, когда он был свободен от стыда, от страха. Счастливая пора, теперь она лишь уголок в памяти, драгоценный уголок, словно освещенный незаходящим солнцем. Как детство...

В столовой института он столкнулся с Хайдуковым. Дружбы между ними не было,— ну, земляки, ну, немного знали друг друга в Муроме... Хайдуков к тому же старше — он на третьем курсе.

— Хочешь подрыгать ногами? — спросил Хайдуков, подразумевая танцы, и дал адрес. Валентин спросил, кто еще будет.

— Лапоногов — наш лаборант,— ответил Хайдуков,— два футболиста, еще кто-то и девочки.

Валентина влекло к новым людям. Большой город вселил в него томящее предвидение новых встреч, «бессонницу сердца», как сказал когда-то один поэт. Эти слова Валентин внес в свой дневник и утром за чаем прочел вслух Вадиму. «Что-то заумное», — фыркнул Вадим.

Лапоногов сперва понравился Валентину.

— Не принимает душа у человека, и не надо, неволишь грех.— Это было первое, что он услышал от лаборанта, кряжистого парня в плотном, грубошерстном пиджаке и в низеньких сапожках, как у деревенского щеголя. Футболисты сурово и молча наливали Валентину водку, он выпил стопку, чтобы не отстать от других, второпях забыл закусить, пригубил вторую и закашлялся. Хорошо, Лапоногов выручил. Валентин благодарно улыбнулся ему.

— Сам пью, а непьющих уважаю,— пробасил Лапо-

ногов. И футболисты, высокие парни с густыми бачками на белых, припудренных щеках, перестали обращать внимание на Валентина. У каждого повисла на плече девица.

Стул справа от Валентина оставался свободным. Ждали еще одну пару. Хозяйка дома, полная, немолодая женщина, масляно поглядывавшая на Лапоногова, уже который раз возглашала:

— Опаздывают, разбойники! Заставим выпить штрафную!

Гета поразила его сразу. Смуглая, с нерусским разрезом глаз, вся в сиянии пышного серебристого платья, она вошла сюда, в эту обыкновенную комнату, к столу уже с пятнами вина на скатерти, к блюдам с растерзанной телятиной, к уродливо испорченным консервным банкам,— вошла как создание из иного мира.

Она села рядом.

Руки его дрожали, когда он робко подавал ей закуски. Он стеснялся смотреть на нее в упор и поэтому не поднимал глаз, правая щека его горела.

— А вина! — услышал он. Смущение душило его. Он протянул руку к водке и отдернул — не станет же она пить водку.

— Я пью сухое,— опять услышал он тот же голос, ее голос. Девицы фыркнули. Он вдруг позабыл, какие вина — сухие. Спасибо Хайдукову,— пододвинул через стол, почти к самому прибору Валентина, бутылку саперави.

— А вы? — спросила она.

Только тут он осмелился взглянуть на нее, и вид у него, наверно, был жалкий, нелепый. Смысл ее слов доходил медленно.

— У вас же пустая рюмка,— сказала она с ноткой нетерпения.

Диана и Нелли по-прежнему хвастались своими победами, Лапоногов смешил хозяйку анекдотами. Хайдуков возглашал тосты и иногда окликал Валентина, но напрасно: Валентин не понимал его. Напротив сел спутник Геты. Валентин заметил его не сразу, а лишь когда справа раздалось:

— Ипполит! Помни, пожалуйста, тебе вести машину!

— Железно, крошка! — прозвучал ответ,— Со мной ты как у бога в кармане!

Валентина покорило. Обращаться так с ней! Ипполит держал рюмку, отставив мизинец. Нестерпимой самоуверенностью веяло от каждого завитка артистически уложенных, глянцево-черных волос, от галстука «бабочка», от длинных, холеных пальцев.

— Горючего-то маловато! — громыхнул Лапоногов. — Эй, нападающие! — бросил он футболистам. — Кто добежит до гастронома?

Встали оба, но Диана вцепилась в своего соседа и силой пригвоздила к стулу.

— Водочки? — Футболист обвел глазами сидящих.

Лапоногов качнулся от смеха.

— На, салага! — Он достал из кармана десятирублевку и помахал над столом. — Коньяку нам доставишь. Не меньше пяти звездочек, есть? Дуй без пересадки!

— Неприятный субъект, — тихо сказала Гета, повернувшись к Валентину. Сказала только ему. Он машинально кивнул, не вдумываясь, осчастливленный ее доверием.

После коньяка и кофе завели радиолу. Ипполит увлек танцевать Нелли. Валентин робко готовился пригласить Гету, готовился долго, пока она сама не пришла ему на помощь.

— Идемте, — сказала она просто.

Они прошли два тура подряд. Ее Ипполит прилип к Нелли. Было даже обидно за Гету!

Валентин признался: когда он ехал учиться сюда, ему казалось, в большом городе живут люди сплошь интеллигентные, интересные.

— Я первый раз в здешней компании, — сказала Гета. — И, надеюсь, последний, — проговорила она, поморщившись, так как в эту минуту завизжала Нелли — Ипполит тащил ее танцевать, а футболист схватил за шею и хмуρο тянул к себе.

— Ипполит разошелся, — шепнула Гета жестко. — Не кончилось бы потасовкой...

Нелли вырвалась и, визжа, упала на диван. Ипполит стоял перед футболистом, высокомерно кривя губы.

— Ну, мне пора домой, — проговорила Гета спокойно и не очень громко, даже не глядя на Ипполита. Она стала прощаться, а он любезничал с Нелли, отвечавшей ему смехом, похожим на икоту. Сердце у Валентина сжималось. Наконец Ипполит поднялся:

— Стартуем, крошка!

И она исчезла. Все-таки с Ипполитом! Валентина грызла зависть к красавцу, к футболистам. Они все настоящие мужчины.

С грустью, но без раскаяния он сообразил, что не попросил у нее ни адреса, ни номера телефона и вообще никак не закрепил знакомство. Даже не назвал себя... К чему! Что он для нее? Наверняка она изнывала от скуки с ним, неловким провинциалом, а танцевать пошла просто из жалости.

«Да, да, именно так!»

Тот вечер в воспоминаниях Валентина остался чистым, безоблачным — за теневой чертой, в прежней светлой поре его жизни. Ложь еще не была произнесена тогда...

Встретились они случайно, одиннадцать дней спустя, на улице. С Гетой была девушка постарше, тоненькая, голубоглазая. Золотистые волосы выбивались из-под меховой шапочки с белыми хвостиками.

— Моя мама,— сказала Гета, и Валентин раскрыл рот от удивления, что очень понравилось обоим. Мама, чудесная мама Геты ушла, сославшись на какое-то спешное дело. Было скользко. Валентин взял Гету под руку.

Гета вспомнила вечеринку:

— Ужасная публика, правда? Эти футболисты... Танцуют, не сгибая ноги. Точно в скафандрах.

Она не засмеялась над своей шуткой,— она помолчала немного, чтобы дать посмеяться Валентину.

— А глаза,— продолжала она,— глаза у этих нападающих... Ипполит говорит, как у заливных судаков.

— Он студент? — спросил Валентин.

— Ипполит? Он вундеркинд,— сказала она и перевела: — Он удивительный ребенок. Бывший юный виолончелист. С ним и сейчас цацкаются. Портят его,— печально молвила Гета и прибавила извиняющимся тоном: — Ипполит, правда же, лучше, чем ему хочется казаться... Иногда.

Валентин рассказал, где он учится, кем станет потом. Вообще-то ему больше хотелось в университет, на литературный, но так уж получилось...

— А я собираюсь в Институт киноинженеров,— сообщила Гета. Оказалось, что она тоже любит стихи, и

Валентин прочел ей Блока. Затем, расхрабрившись, он спросил Гету, видела ли она «Балладу о солдате». Да, картину Гета смотрела, сейчас в кино больше ничего примечательного нет, а вот в театре она давно не была. Когда у нее свободный вечер? Может быть, сегодня? Нет, сегодня не выйдет, по средам обычно приходит маникюрша.

— Тогда завтра,— предложил Валентин.

Он взял места во втором ряду партера. На это ушел остаток стипендии.

Гуляя в фойе, он снова услышал от Геты об Ипполите,— они были недавно в ресторане «Интурист», там играет превосходный джаз. Валентина кольнуло. А с ним она согласится пойти? Ни разу в жизни он не был в ресторане. Конечно, он ни за что не сознается ей в этом...

— Что ж, давайте сходим,— сказала Гета.— В субботу! Вы зайдите за мной.

Денег должно хватить... Отец прислал двенадцать рублей на ботинки. Валентин думал забрать половину, но положил в карман все. В квартире Лесновых его встретила мать Геты. Еще очень рано, Гета одевается...

Людмила Павловна, потчует конфетами, учинила мягкий допрос: откуда приехал в город, какую инженерную специальность избрал, успевает ли в учебе. Похвалила костюм Валентина — отлично шит!

— Свой портной, — произнес Валентин.

Этим было положено начало лжи. Он хотел прибавить, что портной — его отец, но что-то помешало ему.

После, наедине с собой, он отлично разобрался — помешал блеск старинных блюд и чаш на стеллажах, помешала маникюрша, проходящая на дом, машина, в которой Гета ездит на вечеринки...

Ему представилось маленькое ателье в Муроме, закопченное, с выцветшими обоями. Ножницы отца, футляр для очков... Валентин любит отца, но... Книги, которые Валентин читал с детских лет, газеты и радио прославляют сталеваров, комбайнеров на целине, строителей домен, мостов, жилых домов. Отец и сам завидует им, приговаривая: «Эх, выбирать ведь не приходилось нам!» В сыновнем чувстве Валентина есть любовь, есть жалость, но нет одного — уважения к труду отца.

В мраморном зале ресторана кружилась голова, сказочные огоньки горели на хрустале, а на эстраде взды-

мались золотые трубы,— и все было праздником, устроенным нарочно в честь Валентина и Геты. Он не заговорил бы о своем отце, но начала Гета. Она восхищалась своим отцом, его талантом, его операциями, известными и за пределами страны. Тогда и Валентин завел речь о своем отце, в тон Гете, но обиняками,— мол, о службе отца лучше не распространяться. Он очень видный знаток в своей области...

В тот вечер легко было потерять грань между реальностью и фантазией, и Валентин вообразил себе отца — выдающегося физика, проникающего в тайны атома или космических лучей. Выпив шампанского, Валентин уже почти поверил в свою выдумку.

А как бы ему самому хотелось обладать каким-нибудь ярким талантом! Наверное, Гете куда интереснее с Ипполитом,— ведь он музыкант, подает большие надежды. Валентин так и сказал Гете и в следующую минуту ощутил прилив счастья. Она сказала тихо, держа бокал у самых губ:

— Я рада, что вы не похожи на Ипполита... Я рада, что вы такой...

— Какой?

— Вот какой... Настоящий...

Он не понял и ответил лишь благодарным взглядом — ему стало невыразимо хорошо.

Гета держалась за столом хозяйкой. Шампанское надо пить с ананасом. И, разумеется, ужин будет завершен черным кофе с ликером... Она пожурела официанта,— очень уж бедна карточка напитков. Ну, так и быть, апельсиновый ликер!

Хорошо, что захватил тогда деньги на ботинки,— отдал за ужин почти все. А дальше...

Попросил денег у земляка — у Хайдукова. Тот направил к Лапоногову. И верно, Лапоногов дал деньги, дал даже больше, чем нужно было. Чтобы вернуть долг, Валентин грузил в порту пароходы. Но долг все рос.

— Нет денег — отработаешь,— бросил Лапоногов.

А потом...

Каждую неделю — ресторан, театр, загородная прогулка. Или день рождения у кого-нибудь из знакомых Геты. Изволь покупать подарок, и, конечно, дорогой. Лихорадочная, фальшивая, тягостная жизнь... Прекратить ее — значит потерять Гету...

«Вы настоящий!» — повторялось в мозгу. Если бы она знала!.. Она и не подозревает, как он добыл деньги на вечера, следовавшие за тем волшебным первым вечером. Верно, относил все за счет мифического физика, сочиненного папаши... А скорее всего, и вовсе не думала об этом.

...Уже утром, выйдя из вагона, Валентин зашел на почту написать Гете письмо. Рядом с ним опустился на табуретку могучий детина в расстегнутой рубашке, с волосатой грудью. Он пробовал перья и бормотал ругательства. «Старший!» — вдруг представилось Валентину. Писать он уже не мог.

Сейчас он опять в почтовом отделении дачного поселка, пахнущем смолистой сосной, заклеенном плакатами. Теперь опасаться некого как будто. Две старушки получают переводы, подросток-курьер сдает кипу бандеролей... Правда, девушка, колотившая по бандеролям печатью, как-то очень внимательно посмотрела на вошедшего Валентина...

Но подняться и сразу уйти не было сил. «Поздравляю, — написал он, — желаю всего самого лучшего...» А что дальше? Надо же объяснить! «Всем сердцем я был с тобой в день твоего рождения. Тяжело заболела тетя, и я не мог оставить ее...»

Он скомкал листок. Довольно лгать!

Но как написать правду, как доверить ее бумаге, как выразить эту постыдную правду! Он купил открытку, в отчаянии набросал: «Мы долго, может быть никогда, не увидимся. Я не достоин тебя. Любящий тебя В.»

Он поднял крышечку ящика, помедлил, потом сунул открытку в карман.

Он едва не заплакал от нового приступа жалости к самому себе. Расстаться? Нет!!

Вечером Валентин вернулся в город. Он решил увидеть Гету, открыть ей всю правду.

II

В парке Водников редеет толпа гуляющих. За деревьями, на площади, сверкает живыми огнями кинотеатр. Идет новый фильм с участием Лолиты Торрес.

На скамейке, против фонтана, сидит лейтенант Стецких. Он убежден, что напрасно потерял время туг, в «лягушатнике». Очередная фантазия Чаушева! Правда, нет худа без добра. Стецких купил билет на Лолиту и теперь ждет сеанса.

Мимо, топоча и поднимая пыль, проходит ватага мальчишек. Их голоса сливаются в один невнятный шум. Однако Стецких узнает: Юрка, нарушитель Юрка, неудавшийся юнга!

Юрка не послушал совета дяди Миши, он еще чаще стал бывать в «лягушатнике». И не только из-за значков. Слова пограничника он понял по-своему: раз в «лягушатнике» толкуются плохие люди, значит, ходить там здорово интересно! Еще, может, дядя Миша поблагодарит его когда-нибудь...

Юрка не заметил лейтенанта. Ребята сворачивают в аллею, и все разом, словно стайка воробьев, опускаются на скамейку. У них какие-то свои, верно очень увлекательные, дела. Принесло их! Стецких устал от бессонной ночи, от суматошного дня, и если бы не Лолита, он был бы дома, в постели.

— Покажи твои! — доносится из аллеи.

— У-у, немецкие!

— Дурак! Финские! Герб же ихний.

«Психоз,— думает Стецких.— Психоз, охвативший весь мир. Всюду, даже на маленьких станциях, ребята выпрашивают спичечные коробки».

Страсть собирательства чужда ему. Она и в детстве не коснулась его. Он никогда не был таким одержимым, как Юрка и его приятели. Стецких не раз видел их здесь, на площадке у фонтана, именуемой «лягушатником». Горящие глаза, грязная ручонка, сжимающая коробок, марку или значок... И тут же шныряют фарцовщики.

Куда смотрят родители!

Впрочем, Стецких нет дела до того, что происходит в «лягушатнике». Существует милиция. Если он и призывает сейчас на головы мальчишек родительский гнев, то лишь потому, что они слишком горласты.

Компания на скамейке притихла. Раздаются негромкие, но отнюдь не ласкающие слух скребущие звуки. Там пробуют спички — финские, немецкие, голландские.

— В-в-во!

— Ох, горит мирово!

— Давайте все по команде, как салют!

Этого еще не хватало! Стецких вскакивает и уходит.

Между тем ребята попрятали спички. Их волнует теперь приключение, случившееся с Котькой Лепневым. Толстощекий, круглолицый, рыженький, он так стиснут нетерпеливыми слушателями, что едва способен говорить.

Котька — завсегдатай «лягушатника». Его увлечение — значки. Их уже за две сотни у Котьки, в том числе один японский. С горой Фудзи, как объяснил один иностранный матрос, взявший в обмен наш значок с космической ракетой. Кроме того, у Котьки несколько кубинских значков: герб свободной Кубы, потом флаг и еще Фидель Кастро. На том берегу реки, в поселке лесозавода, где живет Котька, его сокровища известны и ребятам, и взрослым.

Но занят он не одними значками. Он станет моряком, когда вырастет большим. Устройство парохода он уже выучил назубок. Вряд ли кто лучше его знает, какая палуба главная, а какая шлюпочная или бот-дек, что такое форштевень, бак, полубак. В последнее время Котька не расстается с фонарем — осваивает морскую сигнализацию.

На прошлой неделе Котька явился в «лягушатник» с ворохом значков для обмена — сэкономил на завтраках и купил. Он показывал значки иностранцу, прищелкивая языком и повторяя «гут, гут, а?», когда подошел какой-то дядя, вмешался в разговор и отвел иностранца в сторону. Вот досада! Котька вертелся, подкарауливал матроса, но потерял его в толпе. Зато наткнулся на того дядьку. «А, орел!» — дружелюбно сказал он, поглядел Котькины значки, похвалил и дал свой, с Эйфелевой башней, французский. Взамен ничего не захотел — подарил, значит. Потом обратил внимание на Котькин фонарь, висевший на ремне. А фонарь и точно не простой — немецкий, трофейный, с цветными стеклами. Отец привез со Второго Украинского фронта старшему брату.

Узнав историю фонаря, а также то, что Котька — будущий моряк дальнего плавания, дядька стал подтрунивать. Небось, говорит, устарелая система, едва мер-

цает. Да и точно ли Котька так хорошо вызубрил световую азбуку...

Котька возмутился. Эх, светло еще, а то он бы доказал! Да через реку запросто... Дядька не поверил. И тогда Котька предложил пари. Вот попозднее, как стемнеет, он просигналит с того берега. «Ладно,— согласился дядька.— На плитку шоколада!»

У Котьки губа не дура, он решил выяснить размер плитки. Дядька обещал стограммовую, «Золотой ярлык». Ого! Так и условились. Котька после одиннадцати влезет на крышу коттеджа, чтобы не мешали штабеля на складе леса, впереди, и даст передачу. Любые слова или цифры. «Тебя же спать уложат часов в десять, салага!» — усмехнулся дядька. «Меня!» — воскликнул Котька, подбоченившись.

— Ну и что? — прервал рассказ Юрка.— И ты сигналил?

— Ага.

— Шоколад получил?

Увы, нет! Котька на другой вечер пришел в парк к назначенному месту, возле тира, а дядьки не было. Так Котька и не видел его больше.

— Может, шпион,— тихо, но со зловещей внятностью произнес Юрка.

У ребят захватило дух.

— Иди-ка ты! — огрызнулся Котька.— Шпио-о-о-он! Я же свое передавал, из головы. Он говорит, передавай, что хочешь! Был бы шпион, так..

— А ты что ему семафорил? — строго спросил Юрка, общепризнанный знаток шпионажа. Во-первых, никто не прочел такой массы приключенческих книг, как Юрка. Во-вторых, его часто видели вместе с офицером, начальником всех пограничников порта. Это вызывало уважение к Юркиной персоне.

— Отработал сперва привет, потом числа.. Два, потом семь и еще семь.

— Двести семьдесят семь... А почему?

— А так. Из головы.

Юрка задумался.

Он жалел, что затеял этот разговор. Действительно, шпион непременно задал бы Котьке зашифрованный текст. Иначе какой смысл!

Котька уже и нос задрал. Ребята взяли его сторону

и еще, чего доброго, начнут смеяться... В эту минуту все шпионы, известные Юрке, вереницей пронеслись перед ним.

— А зачем он значок подарил? — заявил Юрка. — И шоколад сулил? Добрый, да? — Юрка пренебрежительно фыркнул. — Дитя малое, неразумное!

— Кто дитя?

— Папа римский, — небрежно бросил Юрка.

Котька крутанул винт фонаря, — в окошечке замигали, дребезжа, цветные стекла: синее, красное, зеленое, — и положил на колени соседу, маленькому смуглому Леньке Шустову.

— Подержи, — сказал Котька и сжал кулаки.

— Драка, ребята, драка! — возликовал Ленька, ярый болельщик при всех потасовках. Но тут вмешался Пека, Ленькин старший брат, склонный, напротив, мирить младших.

— Цыц, кролики! Вон же лейтенант, пошли к нему... Ой, он же сидел там!

— Где? Где?

— Айда догоним!

Стецких, внезапно окруженный мальчишками, несканзанно удивился. Выслушав Юрку — его права изложить происшествие пограничнику никто не решился оспаривать, — лейтенант потрепал мальчугана за ухо и засмеялся:

— Замечательно, братцы! Замечательно!

Погладил вихры Котьки, прорвал кольцо и зашагал прочь, покинув ребят в растерянности. Что это — похвала? Похвала всерьез или шутка?

А Стецких, давась от счастливого смеха, спешил в порт. Великолепно! Лучше быть не может! Он чувствовал, что эти световые сигналы с того берега выведенного яйца не стоят. Столько было шуму из-за чепухи! Вспомнил пуговицу на шинели Бояринова, повисшую на ниточке, расхохотался во все горло. Парочка, шедшая навстречу, отпрянула. «Долго ли вы будете у нас новичком?» — повторил он — который уж раз за эти сутки — суровый вопрос Чаушева. Посмотрим, что он сейчас скажет! Эх, как бы было здорово застать в кабинете и Бояринова. Но нет, несбыточная мечта... Чаушев давно дома, а Бояринов в подразделении или тоже дома.

Докладывать, верно, придется по телефону. Досадно, но ничего не попишешь.

В кино уже не успеть. Билет надо было отдать Юрке...

Ладно, не возвращаться же!

В воротах порта Стецких сталкивается с Чаушевым.

— Товарищ подполковник,— задыхается Стецких.— Анекдот... Анекдот с теми сигналами...

Теперь Чаушев не назовет его новичком. Теперь начальнику придется признать, что и лейтенант Стецких знает службу. Не хуже, а может быть, и лучше Бояринова.

Странно, Чаушев не смеется. Юмор этой истории почему-то не дошел до него.

— На пари с каким-то взрослым? — слышит Стецких.— Что за человек? Как был одет?

Стецких поводит плечом:

— Юрка его не видел... Другой мальчик... Они все там, в парке...

— Разыщите их,— говорит Чаушев.— Уточните все... Зайдите потом ко мне домой. И обязательно сообщите Соколову.

— Слушаю.— Язык лейтенанта вдруг стал каким-то непослушным.— Вы считаете...

— Пока я еще ничего не считаю... Просто есть одна идея.

Стецких кинулся исполнять приказание.

Чаушев продолжает свой путь. Объяснять свои догадки было некогда, да и не хотелось. Стецких опять продемонстрирует вежливое внимание, но, пожалуй, не поймет.

Всю дорогу до ворот порта Чаушев думал о пропавшем студенте Савичеве, и торжествующее «анекдот!», слетевшее с уст лейтенанта, не расстроило эти мысли, а, напротив, дало им новую пищу. Только в первый миг Чаушев почувствовал облегчение: вот и разрешилась одна задача, лопнула как мыльный пузырь, и осталось, следовательно, две — судьба Савичева и личность вожака шайки.

«Нет,— сказал себе Чаушев в следующую минуту.— Не анекдот! И задач снова три. Но поведение Савичева стало как будто яснее...»

Опыт подсказывал Чаушеву — несколько загадок, возникших одновременно и в тесной близости одна от другой, должны иметь какую-то связь.

Он миновал здание института, достиг поворота и тотчас ощутил, спиной ощутил, как исчезли позади огни порта, закрылась даль речного устья, замер ветер. Чаушева приняла ночная улица, гулкая, глубокая, с одиноко белеющей табличкой над остановкой трамвая, почти опустевшей. Он шел, невольно вглядываясь в редких прохожих.

Михаил Николаевич никогда не встречался с Савичевым и тем не менее видел его теперь после рассказа Вадима, отчетливо видел этого почитателя Блока, влюбленного в «принцессу», не способного ни к чему подойти реально...

Запугать такого нетрудно. Достаточно намекать, туманной угрозы — воображение дорисует ему остальное. Да, «Форд», главарь шайки, недурной психолог... Окутанный тайной, недоступный, он тем и силен. Мальчишку с фонарем приспособили ловко. Нет, не анекдот! «Форду» нужно было подать знак, напомнить кому-то о себе, поддать страху.

Кому? Весьма вероятно, именно Савичеву. Он вряд ли считался особенно надежным — этот юноша, по натуре, видимо, совершенно чуждый «бизнесу».

Что же с ним? Он скрылся, его нет ни в «лягушатнике», ни у гостиницы «Интурист», ни у Абросимовой. В эту пору «большого бизнеса» Савичев порвал связи с шайкой, насколько можно судить по имеющимся данным. Мотивы? Контрабандное добро, оставленное в обществе, — свидетельство растерянности, паники. Савичев слабovolен, такие не сразу находят в себе мужество отречься открыто.

Возможно, Савичев надеется выйти сухим из воды. Но не сможет он долго быть в бегах. Не хватит умения, выдержки.

Чаушев ускорил шаг. Идти до дома уже недолго, каких-нибудь пять минут. Но подполковник поворачивает влево. Короткий переулок ведет к новому району города, пылающему высокими созвездиями огней. Там, на шестом этаже, в квартире с балконом, где в ящиках зеленеют салат, редиска, лук, живет Наталья, вдова судового механика.

Валентин идет к Гете.

Улица темнеет, гаснут окна. Вон там сверкают только два окна — два глаза, наблюдающие за ним с угрозой.

Мысленно он беседует с Гетой. Сперва ему казалось: он поздравит ее, попросит прощения, в нескольких словах выскажет самое главное и уйдет, не дожидаясь ответа. Она, может быть, кинется за ним. Он не обернется. Но чем ближе дом Геты, тем яснее Валентину — не сможет он так уйти. Гета будет спрашивать. Она захочет узнать, от кого он прячется сейчас, кого боится? Как объяснить ей? Объяснить так, чтобы не оказаться трусом в ее глазах, жалким трусом...

Когда он приблизился к подъезду, стало еще труднее. Нет, сказать ей «я боюсь» просто невозможно!.. Все же он поднялся. Прислушался. Загадал — если он услышит за дверью ее голос, ее шаги, тогда позвонит.

Он стоял на площадке полчаса или час. Квартира точно вымерла. «Нет дома», — подумал Валентин с каким-то неясным чувством, в котором смешались и облегчение, и досада, и даже вспыхнувшее вдруг озлобление против Геты.

В глубине этой тишины, этого невозмутимого покоя, сгустившегося за дверью, пробудился телефон. Подошла мать Геты.

— Анечка!

Снова тишина, — должно быть, неведомая Анечка что-то говорила там, на другом конце провода.

— Ни в коем случае! Боже тебя сохрани!

Тишина.

— Там же негде купаться! Там же рынка фактически нет! Нет, нет, ты сошла с ума!

Голос еще долго убеждал Анечку не ехать куда-то, где нет ни рынка, ни купанья, нет грибов, ягод, — одни комары. Голос звучал из другого, беспечного мира, и Валентина вновь стало томить ощущение, возникшее еще на вокзале, а может быть и раньше. Ощущение решетки, невидимой решетки, отделяющей его от жизни, бушующей вокруг, просторной и привольной.

Речь шла теперь о каком-то артисте, видимо очень понравившемся неугомонной Анечке, так как мать Геты сказала:

— А мне не очень... Гета говорит, он переигрывает. Она права, по-моему. Знаешь, она ведь у нас авторитет по искусству.

Смех. Опять тишина.

— У нее?.. Ничего, все по-прежнему.

Рычажок звякнул. Тишина затопила все. «Геты нет дома»,— повторил себе Валентин.

А впрочем, все равно... Решетка, за которой он метался сейчас, беспощадна, как никогда. Она перед ним, и медная дощечка с именем профессора Леснова, по которой Валентин провел ногтем и тотчас отдернул руку,— это осязаемое звено решетки.

У Геты все по-прежнему... Да, конечно! Ах, актер переигрывает! Какие еще у нее заботы?

А какой актер? Валентин перебирал в памяти виденные спектакли. Кто переигрывал? Мысли его путались, он не мог вспомнить даже названия пьес, все слилось в пестрый, крутящийся сгусток лиц, декораций. Он оборвал эти назойливые поиски, упрямо сказал себе, что Гета вчера была в театре. Да, вчера, когда он лежал, закрыв платком глаза, на скамье в зале ожидания.

Кто-нибудь из хлыщей, увивавшихся около Геты в субботу, в день ее рождения, пригласил ее. Ну ясно! Ипполит или еще какой-нибудь вундеркинд...

Теперь даже безмолвие за дверью злило Валентина. Там все по-прежнему, им там нет никакого дела до него... Он медленно спустился, вышел на улицу. Огромный грузовик пронесся, грохоча, рядом с тротуаром. Валентин отскочил, потом печально улыбнулся. Эх, пусть бы наехал! Тут, под ее окном...

Затем все стало гаснуть в вязкой, удушающей усталости. Все — и гнев, и боль, и мысль о Старшем, о мстителе за спиной.

До сих пор самая мысль явиться ночевать в общежитие или к тете Наталье пугала его,— ведь эти его адреса слишком хорошо известны. Теперь он взвешивает, где все-таки безопаснее, и делает при этом мучительное умственное усилие. Пожалуй, лучше к тете...

Найдут?.. Все равно!

— ...Пришел,— тихо говорит Наталья, впуская Чаушева.— Спит... Ой, будить жалко!

— Не надо пока.

Они улыбаются друг другу — Чаушев и Наталья, когда-то красивая, отчаянно бойкая, теперь расплывшаяся, присмирившая. В глазах не огонь молодости — спокойный свет доброты.

Чаушев доволен. Он рад за Савичева: нашелся, цел и невредим. Мало ли что могло случиться, пока «Форд», Лапоногов и прочие на свободе. Кроме того, Михаил Николаевич испытывал и профессиональную гордость: гипотеза его начинала оправдываться.

В столовой чисто. Шуруется румяная матрешка на чайнике, белеют кружевные покрывала на швейной машине, на полочках с вазочками. На столике под приемником шитье самой хозяйки. Портрет механика Кондратовича — скуластого, с лихо закрученными вверх усами. Человек, который был примером честности, сердечного внимания к товарищам...

Чаушев понял сразу: Наталья и не подозревает, какая беда постигла ее племянника. Здесь, в этой семье, ни на ком не было пятна.

— Спрашивали его?

— Мужчина какой-то... Я ему, как вы велели, болен, говорю, не встает. Рывкнул по-медвежьи: «Ладно!» И трубку повесил.

— Отлично,— кивнул Чаушев.

— А Валя... Едва вошел — меня, говорит, ни для кого нет дома, тетя Наташа. Сказать ничего не могу, говорит. После... Шатается, вроде и вправду больной. Замучили вы его.

Так и есть! Решила, что он выполнял какое-нибудь задание. И не удивилась, ведь Савичев бывает в порту, на пароходах со студенческой бригадой грузчиков. Пока все ясно в честной голове Натальи. Это очень, очень тяжелая обязанность войти вот в такой дом и сказать: близкий вам человек совершил преступление.

Но что делать? Чаушев смотрит на часы. Верно, дома уже дожидается Стецких. Пора будить парня.

— Прочитайте-ка! — слышит Чаушев. — Заглянула я, а он спит на диванчике своем, одетый.

Два клочка, разорванная почтовая открытка: «Мы долго, может быть, никогда не увидимся. Я недостоин тебя. Любящий тебя В.».

— Леснова, профессора дочка... Невеста с форсом. Куда ему! Он ведь телочек... И в кармане пусто. Не в свои сани полез, бедняжка.

«Э, да разве в этом только дело!» — хочется сказать Чаушеву. Он отодвинул клочки и молчит. Ему жалъ Наталью. Однако надолго ли можно сохранить ее иллюзии, ее чистого, честного Валью! Ну, еще на несколько минут...

Почему он разорвал открытку? Не стало духу проститься с девушкой или понадобились другие, более суровые слова?.. Людям слабохарактерным свойственно бывает возлагать вину за свои несчастья на других. Оправдывать себя, ссылаясь на условия, на вмешательство со стороны. А Гете, как видно из послания, неведома вторая, темная жизнь юноши. Он никого не допускал туда, — из стыда и страха. Если Гета и виновата, то лишь в том, что не сумела разглядеть...

Ведь она могла бы спасти его! Неплохая девушка, неглупая, прямая, начитанная, но что можно требовать от нее, привыкшей только пользоваться, брать. Что в основе основ воспитания трудовой коллектив — истина старая, но мы не всегда замечаем все последствия дурного, потребительского воспитания. Бьем тревогу, когда поступки вступают в противоречие с законом, а Гету судить не за что... Она-то честная! Для себя...

Такой человек всем хорош: как будто и правил не нарушает, и не обижает никого. Одно отнято у него, съедено себялюбием — это способность давать счастье другому, а следовательно, и самому быть по-настоящему счастливым.

Чаушев встал.

В соседней комнате ничком, словно подстреленный в спину, лежал Савичев. Правая рука, давно немытая, почти черная, свесилась, и пальцы, касаясь пола, чуть вздрагивали.

Следом за Чаушевым тихо, затаив дыхание, вошла Наталья.

Подполковник нагнулся и потрепал всклокоченные волосы спящего.

Валентин перевернулся, вскочил.

— Что?.. — Он задохнулся, увидев пограничника в форме. — Вы... Вы за мной... Да, да, все понятно...

Он сел и нелепо выбросил вверх руки, потом поднялся, нетвердо встал, а руки его, ослабевшие от сна, словно надламывались.

— Я все... все... расскажу...

Он бормотал — испуганно, еле внятно, не спуская с Чаушева воспаленных глаз.

Глухой, тяжелый звук заставил Чаушева обернуться. Наташа!.. Эх, не предостерег!.. Он кинулся к ней, нащупал пульс. Счастье, что упала на ковер. Чаушев обхватил ее за плечи, голова, туго стянутая темной косой с искорками седины, откинулась.

— Какого черта вы стоите! — крикнул он Савичеву. — Воды скорей!

Он побрызгал на нее, она пошевелилась. Вдвоем перенесли на диван.

— Ну вот... уже и в обморок! Эх, Наташа, ну как не совестно! Не арестован твой племянник, успокойся! Не затем я пришел вовсе. У меня и права такого нет — арестовать его. Без ордера разве положено...

Он приговаривал, утешая ее, как девочку. Она не слышала, но он говорил, чтобы дать исход волнению.

Он повторил все это, когда она очнулась, прибавил, что история с Валентином не ахти какая ужасная, запутался парень по молодости лет. До тюрьмы дело не дойдет. Во всяком случае, он, Чаушев, позаботится...

— Лежите! — приказал он ей и увел Валентина в столовую.

— От вас нужна полная откровенность, — заявил Чаушев. — Учтите, нас не обманете. Вас видели у гостиницы. Вы сбежали с вещами, а ваш напарник по кличке Нос задержан. Вещи вы бросили под свою койку... Верно?

— Да, — выдавил Валентин.

— Не сегодня-завтра вас вызовут, и вам придется дать подробные показания. Все начистоту, ясно?

— Да, да... Клянусь вам!

— Я верю, — просто сказал Чаушев. — Сейчас у меня несколько вопросов. Во-первых, вы принимали какие-нибудь сигналы от вожака шайки, от вашего «Форда»? В субботу ночью, световые, с того берега?

— Нет... Я не успел...

— А вас предупредили?

— Да.

— Кто?

Полчаса спустя Чаушев ушел, велел юноше до завтрашнего дня не отлучаться из дому. Беседой Чаушев остался доволен.

Шагая к дому, он подводит итоги. Нужно ли искать еще какого-то «Форда», вожака шайки? Пора кончать, пора стягивать петлю, — ведь все указывает на то, что вожак — Лапоногов, а «Форд», Старший — призрак, созданный Лапоноговым. Он сам устроил световую депешу от Старшего, сам! Это-то и разоблачает его. Недурно сварила его башка! Именем Старшего эксплуатировать своих подручных, держать в страхе...

Капитан Соколов, — тот уже высказал как-то сомнение в существовании «Форда». Очень уж неуловим, безлик, никому не ведом! Прямо-таки сверхъестественно!

Чаушев сводит воедино все, что ему известно о Лапоногове, «составляет портрет». Отец его состоял на советской службе, был помощником начальника небольшой станции на железной дороге, — но только ради зарплаты и общественного положения. Главное — собственный дом, участок земли. Недавно отец умер. Хозяйство ведет мать Лапоногова. Она сдает комнаты дачникам, торгует на базаре овощами. Нередко у нее на огороде работают нанятые люди, конечно под видом «родни», пожелавшей безвозмездно помочь... Еще три года назад пограничники задержали иностранного моряка, сбывавшего Лапоногову партию галстуков. В институте был товарищеский суд, решили взять на поруки.

Чего доброго, и сейчас в институте найдутся люди, готовые оставить хоряка в курятнике.

После суда Лапоногов очень редко показывался в «лягушатнике», перестал встречаться с иностранцами в открытую. Завербовал подручных, молодежь, большей частью бездельников, падких до заграничного барахла, жаждущих легких доходов. Сам Лапоногов не гонится за модой. Одевается подчеркнуто просто — играет своего в доску парня, братишку-моряка...

Чаушев спешит. Ему не терпится выслушать доклад Стецких. Вдруг не совпадут приметы! И вся цепь умозаключений рухнет.

Ощущение проверки, экзамена всегда нравилось Чаушеву еще со школьных лет. Курьезно, что в роли проверяющего невольно выступит Стецких. Стецких, который, наверное, сейчас сидит в гостиной с обиженным видом человека, сбитого с толку, сделавшегося лишним. Стецких, посчитавший всю историю с фонариком анекдотом. Что ж, пусть пеняет на себя! Он отстранился с самого начала. Зато теперь ему будет урок.

Так и оказалось, Стецких печально листал старый журнал. Екатерина Павловна, жена Чаушева, дала ему чаю с коржиками и вернулась к себе, к стопке ученических тетрадок по естествознанию.

— Ваше приказание выполнено...

Котьку лейтенант разыскал. Незнакомец, заказавший сигналы, говорит грубым голосом, коренаст, называл Котьку «салагой». Серый пиджак, расшитая рубашка. Котьке она понравилась, и узор на вороте и на груди, красный с синим, он запомнил.

— Отлично! — крикнул Чаушев. — Отлично! — Он благодарно улыбнулся лейтенанту. — А Соколов?..

— Обещал приехать.

— Ладно... Ну вот, а вы сразу — анекдот!

Таким же тоном прошлой ночью — да, всего сутки тому назад — Чаушев сказал ему: «А вы сразу — взыскание!» Это по поводу сигналов, принятых Тишковым. Стецких потупился. Сутки сплошных неудач!

— Садитесь. — Рука Чаушева мягко легла на плечо. — Пока нет Соколова...

Гостиная располагает к беседе. Сколько перебивало здесь людей! Одни — это большей частью родители школьников — идут к Екатерине Павловне. Другим нужен совет Чаушева, своего друга.

Стецких слышит поразительную новость. Человек в сером пиджаке, заключивший с Котькой пари, казалось шуточное, — опасный преступник, главарь спекулянтской банды.

— Да, на первый взгляд невинная шутка! Расчет был довольно тонкий. Но Лапоногов не знал, что он и вся его компания на прицеле у нас, давно на прицеле. И что Савичев с нами...

Стецких подавлен. Он уважает логику, она неизменно покоряет его. Логика Чаушева безупречна. Возразить решительно нечего.

— Видите, как полезно бывает выходить за ограду порта, да и вообще... Вообще знать жизнь.

Стецких испытывает стыд и острое желание исправить свой промах, исправить сейчас же, не медля ни минуты. Пускай с опозданием, но присоединиться к операции. Вступить в последнюю, решающую схватку с бандой. Что-то совершить... Чаушев безжалостно разбивает его мечты.

— Вам поручение,— слышит Стецких.— Наведайтесь в районный Дом пионеров. Соберут ребят, и вы... поговорите с ними. Расскажите им про «лягушатник», это очень важно. Ведь фарцовщики используют детвору.

И Чаушев пояснил, как спекулянты примечают мальчишек, завязывающих обмен значками, марками, затем вmeshиваются в разговор. «Марки? Могу вам достать целую серию... А что еще интересует?»

Старинные часы в гостиной вздыхают, хрипят — собираются бить полночь. Раздается звонок в передней.

Это Соколов.

Чаушев, ликуя, выложил ему плоды поиска. Удивления на лице капитана не отразилось,— оно стало лишь немного мягче, спокойнее.

— Все соответствует,— промолвил он.— За Лапоновым глаз все время, так что...

Он мог бы пояснить: человека в сером пиджаке видели в субботу в «лягушатнике», видели, как он толковал о чем-то с мальчиком. Глаз за этим человеком давно... Но Чаушев не нуждался в пояснении.

Соколов отставил стакан, аккуратно, без стука опустил в него ложечку, закрыл портсигар с головой Руслана на крышке, и во всех этих движениях была красноречивая для Чаушева спокойная завершенность. А породить ее могло лишь полное совпадение данных, полученных из разных источников, касающихся и личности человека в сером пиджаке, и его поведения в субботу в «лягушатнике».

— Пограничники тоже не лыком шиты, а? — посмеивается Чаушев.— Мы хоть и не следователи, а все-таки соображаем немного.

— Никто не отнимает,— раздельно отвечает Соколов, и его озабоченный тон мешает Чаушеву насладиться в полной мере своим успехом. Что смущает капи-

тана? Разве не пора стягивать петлю, захлестнуть всю компанию вместе со Старшим?

— Нет,— качает головой Соколов.— Подождать придется. Еще денек.

— До ухода «Франконии»?

— Да.

— Что-нибудь насчет буфетчика?..

— Большой бизнес,— пожимает плечами Соколов. А подполковник мысленно досказывает: надо присмотреться к этому «большому бизнесу», недаром на борту «Франконии» разведчик, маскирующийся официантом в буфете.

— Станный бизнес. — Капитан переводит дух, словно готовясь произнести длинную речь.— Ничего не покупают здесь. Продают пока только. Собирают деньги.

14

Утро. Чаушев отправляется на службу.

— Дядя Ми-и-ша! — тоненько, на одной ноте тянет Юрка, догоняя подполковника. Гулко хлопают по асфальту большие Юркины сандалии, купленные на рост.

— А, Юнга! — улыбается Чаушев.— Что, каникулы скоро? Радуетесь?

— Скоро, дядя Миша.

— Табель выдали?

— Нет еще, дядя Миша... Дядя Миша, а племянник тетки Натальи нашелся. Пропадал который.

— Вот и хорошо,— кивает Чаушев.

— Дядя Миша, вы тогда верно сказали,— тараторил Юрка.— Вы сказали: давай обождем, искать не будем пока... Вот если бы не пришел... Тогда тревога, дядя Миша, да?

«Положим, тревога была,— думает Чаушев.— Когда-нибудь Юрка узнает. Сейчас, пожалуй, рано ему, многого не поймет».

Только позавчера, тотчас после ухода «Франконии», закончила свое существование шайка «Форда», и лица, события все еще перед глазами.

Грузный, с глазами навывкате, щекастый Ланг похож в своем зеленом плаще на большую лягушку... Возвращаясь на теплоход, он нес в чемодане пуховое одея-

ло. Подарок родственницы, объяснял он, посмеиваясь. Трогательная старушка воображает, что в каюте холодно! Скрывая беспокойство, господин Ланг следил за пальцами таможенника, ощупывающего одеяло.

Двенадцать тысяч рублей извлекли из одеяла. Их зашила Абросимова по приказу Лапоногова,— все деньги, причитавшиеся господину Лангу за проданные блузки, галстуки, отрезы, белье. Двенадцать тысяч новенькими советскими бумажками, как видно срочно нужными кому-то за рубежом для снаряжения какой-либо тайной вылазки на нашу землю. Оружие, карты, рацию изготовили, а вот новых советских денег не хватило.

Господин Ланг вряд ли остался в накладе. Недаром на борту «Франконии» находился тот, с военной выправкой, в сюртучке буфетчика... Он не сходил на берег,— это и не требовалось. Разведка наверняка оплатила хлопоты господина Ланга. Он убрался отсюда, целый и невредимый, но у него уже нет партнеров: «родственницы» Абросимовой, двуликого «Форда» — Лапоногова.

Раза два, любопытства ради, Чаушев присутствовал на допросе главаря шайки. Он все отрицал сперва. Однако среди кредиток, найденных в одеяле, оказались те, что попали от Абросимовой к Вадиму. Номера сошлись... Кроме того, на квартире у Лапоногова было обнаружено денег — советских и иностранных — и разных ценностей на девяносто семь тысяч рублей.

— Эх, стал бы я скоро стотысячником, кабы не вы! — признался Лапоногов капитану Соколову.

— И что же? Остановились бы?

— Вы не поверите, гражданин начальник, — потупился Лапоногов. — А на что мне больше!

— Не поверю, — отрезал Соколов. — Ведь Форд — миллионер.

— Так то настоящий... Опротивел мне бизнес, гражданин начальник. Ну их, деньги! Морально тяжело.

Нет, стяжатель не остановится! Жадность его безгранична. Чаушев с брезгливостью вспоминает спекулянта, изображавшего душевный перелом и раскаяние.

Недели через две будет суд над шайкой. Дело о ней завершено, папки с бумагами лягут на полки архива. Да, в юридическом смысле это конец, точка. А по-человечески... Ставит ли точку жизнь и когда?

Вчера Чаушев зашел к Лесновым.

Леснов молодцом, уже три тысячи операций на счету. Вышел из печати объемистый труд по хирургии. Член научных обществ Лондона, Рима, Стокгольма. И что хорошо — он так же прост, скромен, как прежний Леснов, судовой врач на грузовом пароходе. Я, мол, чернорабочий, камни из печенок вынимаю... Вот у пограничников всегда интересные новости! И все за чайным столом умолкли, глядя на Чаушева. Бывало, он рассказывал такие интересные истории!

Рассказал и на этот раз. Про шайку Лапоногова, про Валентина, про Гету, — конечно, не называя имен. Гета сидела против Чаушева, и он увидел, как она побледнела. Жестоко, может быть? Нет, он не мог, не должен был умолчать...

Старшие Лесновы — те ничего не заметили. Им и в голову не пришло, что эпизод из мира преступления и сыска, из мира, столь же далекого от них, как льды Антарктики, может иметь хотя бы малейшее отношение к дочери.

— Насчет студента я имел беседу с директором института и в комитете комсомола, — сказал Чаушев. — Парня оставят на учебе.

Он осторожно выбирал слова и поэтому выражался суше, чем обычно.

— А как с девицей? — воскликнула мать Геты. — С нее как с гуся вода! Ух, я бы эту бесчувственную!..

Каштановые волосы Геты все ниже, ниже опускаются над чашкой, вот-вот упадут в чай.

— В уголовном кодексе, — ответил Чаушев, — нет статей, карающих за нечуткость, за эгоизм, так что органы правосудия в данном случае...

— Вы хоть внушили ей? — перебила мать. — Или она пребывает в святом неведении, эта...

— Теперь ей уже известно, — дипломатично, стараясь не глядеть на Гету, молвил Чаушев.

— И как? Дошло до нее? Воспитывают вот таких белоручек, держат как в оранжерее, а потом...

Несмотря на всю серьезность положения, Чаушева начал разбирать смех. Он, наверно, расхохотался бы и придумал объяснение, но в эту минуту Гета вдруг вскочила и, не то охнув, не то всхлипнув, выбежала из столовой.

— Гета! Что с ней?

Леснова вопросительно обернулась к мужу, потом к Чаушеву.

Чаушев пожал плечами.

— Она вообще не в своей тарелке последнее время,— подал голос Леснов.— Ты не находишь, мамочка? Возрастное явление, по всей вероятности.

Когда Чаушев уходил, Гета окликнула его на лестнице. Он услышал быстрый, задыхающийся шепот:

— Михаил Николаевич, где он?.. В общежитии, да? Хорошо, я побегу к нему...

— Беги, конечно, беги,— обрадовался Чаушев. — Беги, девочка,— прибавил он тихо, почти про себя, провожая ее взглядом.

Как сложатся их отношения, гадать не стоит. Ложь многое испортила. Ясно одно — такое не забывается. Сейчас Гета уже не та, что прежде, она стала старше.

Как раз теперь Савичев нуждается в поддержке. Ему очень трудно. Правда, Чаушев предложил не давать делу широкой огласки в институте, обойтись без публичного суда. Юноше и без того стыдно. Вчера вечером он собрал свои вещи и заявил Вадиму, что уезжает домой, в Муром. Бросает учиться, не смеет называться студентом.

Вадим и тут не сплеховал, взял да и запер своего друга в комнате. И позвал комсорга. Вдвоем они до полуночи «обрабатывали» Савичева. Отняли билет на поезд...

Все эти события и лица теснятся сейчас в голове Чаушева, шагающего на службу.

В кабинете все по-прежнему — пучок острых, тщательно очиненных карандашей на столе, безмолвие сейфа. Ни следа недавних волнений, раздумий. Все та же старая, потускневшая от времени панорама порта на стене. Снять, непременно снять! И опять появляются мысли о близкой отставке...

— Происшествий никаких не случилось,— докладывает дежурный офицер.— «Донья Селеста» ожидается часам к четырнадцати.

«Ах да, с Кубы, с грузом сахара. Скоро идти встречать...»



**СОЛОМЕННАЯ
СУМКА**



Мне хочется прежде всего назвать хотя бы главных действующих лиц этой истории — причудливой и вместе с тем обыкновенной. Ведь наше время настойчиво сплетает судьбы людей, населяющих маленькую, тесную планету Земля.

Йосивара Кацуми родился в Йокогаме. Кацуми — значит «Побеждающий себя». Сын капитана японской императорской армии, он с детства зазубрил правило: лишь способный побеждать самого себя, владеть всеми своими помыслами и поступками может побеждать других. Как увидим, эта истина оказалась весьма заметное влияние на жизненный путь Йосивары Кацуми.

Аскольд Ревякин — москвич, юноша без определенных занятий и целей — прибыл в портовый город в один день с Кацуми. Аскольд сыграл в событиях нечаянную, но все же довольно видную роль.

Столь же случайно соприкоснулся с этой историей Пино Лесерда, аргентинец, матрос торгового судна, плавающего под греческим флагом.

Михаилу Чаушеву, пограничнику, довелось подвести итог всему случившемуся.

Я изложил здесь то, что узнал от него.



Понедельник. Восемь часов.

Когда человек хорошо провел выходной день, то аппетит у него утром зверский. Аппетит ко всему — и к работе, и к чашке кофе с гренками.

А воскресенье вчера выдалось редкое. Ни одного звонка со службы, ни одного срочного пакета на дом. Чаушев до обеда читал скопившиеся за месяц журналы, под вечер совершил обход книжных магазинов. Правда, его коллекция первых изданий не пополнилась, но домой он пришел все же не с пустыми руками, — нашумевший роман молодого автора, три тома военных мемуаров, репортаж о шпионских центрах в Западной Германии... Жена давно жалуется, что книги скоро вытеснят из квартиры людей, но что делать? Ждать, пока новинки попадут в библиотеку? Немыслимо!

О прославленном молодом авторе сразу же разгорелся спор с Алешкой. В тихий выходной только и поговоришь с сыном. Жаль, что это бывает не часто. Очень жаль! Потолковать есть о чем.

Вот и сейчас...

— Па-ап! — тянет Алешка с набитым ртом. — Я бы отработал потом, а па-ап!

Начал сын разговор еще вчера: «Подкинул бы мне, пап, на мягкость». Скоро у Алешки отпуск. Очень хочется ему поехать в Сочи в мягком вагоне. «Но ведь ты же сам решил отдыхать на собственные деньги, — возразил Чаушев. — Слово дал, верно? А коли дал слово — крепись!»

Сегодня Чаушев колеблется. В сущности, поблажка не испортит парня. Но уступить ему сейчас, уступить лишь потому, что ты отлично отдохнул вчера... Нет, настроения не смеют вмешиваться в дела!

— Скромность! — говорит Чаушев шутливо. — Побольше скромности, молодой человек! Жесткая плацкарта ему, видите, не по чину! Ему мягкость подавай! Слышишь, мать?

Екатерина Петровна не ответила. Она уже стояла одетая, с портфелем, туго набитым ученическими тетрадками.

— Мужчины! — сказала она. — Не забудьте вымыть посуду!

— Сделаем, — протянул Алешка, и его недовольный тон кольнул Чаушева.

— Ну, знаешь что! — проговорил он, согнав улыбку. — Я до тридцати лет понятия не имел, что такое мягкий вагон, а ты...

Алешка упрямо повел плечом.

— И куда ты спешишь? — возмутился Чаушев. — Экий зуд у вас, у молодежи! Все бы вам получить авансом!

Может быть, и эти слова не убедят Алешку. Даже наверное не убедят. Придется еще вернуться к вопросу о мягкости. А пока хватит об этом.

Чаушев допил кофе, потом оба, отец и сын, отнесли посуду на кухню и вымыли — старательно и молча.

Пора идти.

Дорога измерена давно — четырнадцать минут спокойным шагом до ворот порта и еще четыре минуты до желтого, исхлестанного всеми ветрами здания окнами на причал.

В кабинете Чаушева ждали новости, накопившиеся за сутки. Он пробежал бумаги залпом. Э, нет, нельзя сказать, что воскресенье было тихим!

«Рядовой Можаяв будучи в городе по увольнительной заметил возле порта подозрительного субъекта. Похоже, выискивал лазейку... Можаяв указал на него дружинникам, но в эту минуту неизвестный исчез».

Чаушев перечитал. Что за формулировки! Лейтенант Мячин опять упражнялся в беллетристике на дежурстве. И когда он научится заполнять журнал как положено! Толково, по-военному оформлять документы...

«Неизвестный исчез»... Как прикажете понять? Сквозь землю провалился, что ли?..

Искал лазейку? В воскресенье, под вечер, когда на улице полно народу... Вообще солдату первого года службы многие кажутся подозрительными. Очень многие.

Но Можаяв... Сияние пуговиц, запах чистоты, пристальные серые глаза — вот что представилось Чаушеву. Юноша из интеллигентной семьи, очень аккуратный, страшно боящийся прослыть белоручкой или наивным фантазером. Иногда кажется, что он играет многоопытного взрослого.

Конечно, никуда он не денется от своих восемнадцати лет. И ему могло померещиться...

Незнакомец исчез. А что дальше?

Ладно, разберем...

Второе происшествие занесено в журнал вечером. Лейтенант Мячин уже сдал дежурство. Его преемник — пожилой служака — записывает обстоятельно, четким

каллиграфическим почерком, с лихими завитушками. Тут все ясно. С парохода «Орион» кто-то бросил к ногам часовому пачку американских сигарет «Кемэл». Часовой не отвлекся и продолжал нести службу у трапа.

Очевидно, кому-то нужно было испытать нашего солдата. Авось забудет устав, кинется на приманку...

Эх, «Орион»! Не тот он, что был прежде! Для Чаушева суда, как люди, — у каждого свой характер. Есть пароходы — друзья, а есть неприятные, недобрые гости, которых приходится терпеть, стиснув зубы. «Орион», приписанный к порту Пирей, был одним из любимцев Чаушева. Славные были ребята на «Орионе»! Ни драк, ни пьянок на берегу. И ни одного замечания... Прекрасный был у них хозяин — старый грек, отец знаменитого партизана...

Флаг на судне по-прежнему греческий. И капитан тот же. Но порядки изменились. Капитан теперь фактически не у дел, бедняга. Другие верховодят...

Да, испортился «Орион»! Наблюдение за ним придется усилить.

Подполковник вспоминает встречу с «Орионом» на морской границе неделю назад. Пароход зафрахтован западногерманской фирмой. Можно побиться об заклад, в команде явные гитлеровцы. Ловишь откровенно враждебные взгляды. А новый помощник капитана... Черт его ведает, что за человек!

Чаушев смотрит в окно. «Орион» там, за крышей пакгауза, мокрой от дождя. Флаг виднеется крохотным голубым комочком. Он — словно кусочек чистого неба в тяжелой, серой толще облаков.

Подполковник нажимает кнопку звонка.

— Вызовите ко мне рядового Можаяева, — говорит он дежурному офицеру.

2

Ночью онемевшими от волнения пальцами Харитон Петрович затискивал в чемодан смену белья, несессер, банку сгущенного молока, резиновую грелку — постоянную спутницу в разъездах. Неровен час, опять расшалится печень.

Настасье он сообщил, что взял отпуск. Так оно и

было. Он давно скопил десяток дней для отгула, и если тратил иногда этот запас — ради рыбалки или охотничьей вылазки, — то неизменно возобновлял. «Отпустить», — написал директор, понимая улыбнувшись. Конечно, опять потянуло в тайгу!

Директор раздобылся и подкинул еще пять дней. Да и почему не отпустить, коли остается помощник — Семен Утчугашев, смысленный, дотошный хакас, собаку съевший на ремонте сепараторов. Недаром Харитон Петрович обучал его. Предусмотрено все!

Настасье можно было ничего не объяснять. Очень часто он уезжал, даже не простившись. С ней ему здорово повезло. Спят в разных комнатах — одно название, что женаты. Детей, слава богу, нет.

Вообще он все предусмотрел. Другой бы перестал ждать. А он ждал вестей с той стороны, ждал терпеливо, ждал до седых волос...

И вот — дождался!

Сейчас и зеркало не огорчает Харитона Петровича. При тусклом свете настольной лампы он молод, совсем молод, — ни морщин, ни мешков под глазами. Или они в самом деле исчезли? Он готов поверить в это. Ведь лучшее средство против старости — это деятельность. О, старость бежит от звука боевой трубы! Эта фраза попала Харитону Петровичу в какой-то книжке. Он не раз повторял ее про себя, глядя в зеркало.

Да, он ждал сигнала...

Зеркала кругом, на всех стенах. У Настасьи странная, прямо-таки патологическая страсть к ним. Зеркаломания, что ли... Колченогая мебель давно просит замены, так нет, к каждому празднику Настасья покупает зеркало. Обязательно зеркало... Что ж, это и к лучшему. Майор Сато советовал почаще смотреться в зеркало. Видеть себя, следить за собой.

Харитон Петрович вынимает из кармана паспорт, деньги, телеграмму от Лапшина и, проверив, кладет обратно. И десятки Харитонов Петровичей, отраженных зеркалами, делают то же самое. В строю таких же, как он, Харитон Петрович идет к двери, поднимает руку к выключателю.

Тотчас протягиваются еще десятки рук. Это его руки и в то же время не его... Они нетерпеливы. Они послушны команде и не позволяют медлить.

Вот и все...

Харитон Петрович не думал, что так легко уйти из дома, в котором прожил двенадцать лет. «Все! Все!» — твердит он про себя, шагая по безлюдной улице.

До вокзала ходу четверть часа. Мимо школы, где Настасья преподает алгебру. Мимо поликлиники, где Харитона Петровича недавно обследовали и велели соблюдать диету.

В поезде Харитон Петрович курит, он заказывает в вагоне-ресторане солянку и свиную отбивную. Пес с ней, с диетой!

Однако болезнь мстит ему. Тысячи иголок впиваются в печень. Грелка лишь на время облегчает боль. Вечером он извивается на своей полке, кусает губы, чтобы не стонать, не вызывать участливых расспросов.

Эту ночь он почти не спит. Мешает не только боль. Мешает все — и подушка, свалывшаяся жестким комком, и тряска, и синеватый ночной свет. И даже лицо соседа. Вдруг вообразилось, что он притворяется спящим... Харитон Петрович отгонял эту мысль. Он возненавидел это лицо — широкие скулы, плоский нос, жухлые, странно дрожащие веки.

«Нанаец или нивх, — думает Харитон Петрович. — Брат по расе, черт бы его побрал!»

Глупости! Бояться абсолютно нечего. За годы своего существования в Сибири Харитон Петрович ничем не выдал себя. Он не сделал этой стране ничего дурного. Он чинил сепараторы, маслобойки. И ждал.

Майор Сато отказал ему даже в праве ненавидеть, хотя бы и молча, про себя. Ненависть — слишком неудобное чувство для того, кому велено ждать. Ненависть сожгла бы его изнутри, если бы все это время он питал ее...

Что ж, русские неплохо приняли его — человека с желтым лицом. Женщины не отворачивались от него. Работа, кров находились всюду. Теперь требуется еще одно, последнее, — дать ему вернуться на родину.

На родину! На покой...

Проклятая печень! Еще утром он был силен, молод. Два десятилетия как будто слились в один день. Сейчас боль твердит ему: ушла твоя молодость! Ушла! Писать мемуары, выращивать цветы, глазеть в толпе на храмовые праздники — вот и все, на что ты способен,

Или они там забыли, сколько прошло лет?.. Позавчерашняя встреча рисуется, как странный сон.

В ресторан вокзала он заходил два раза в месяц, в дни получки. Он уже устал ждать кого-нибудь. Явки постепенно утрачивали привкус тревоги. Ему подавали винегрет, пятьдесят граммов водки, небольшое отступление от жестких норм, указанных врачом. Однажды он забылся и начал отхлебывать водку маленькими глотками, словно перед ним поставили подогретое сакэ. Стало противно.

Грохот промчавшегося скорого, порывы воздуха с улицы, из захлебнувшихся дверей, вторжение ватаги пассажиров, звон посуды... Играя вилкой, он разглядывал людей из Москвы, из Свердловска, скорее с любопытством провинциала, чем с надеждой.

Позавчера к столику подсел молодой человек в прорезиненной курточке на молниях. И что-то еще неуловимо шоферское было в нем, — казалось, он не с поезда, а из машины. Только что оставил баранку.

«Желаете?» — спросил он, раскрыв пачку сигарет.

Харитон Петрович ответил, что сигарет не признает, курит только папиросы.

«А вы попробуйте, — сказал тот. — У болгар табак мировой, не солома».

Харитон Петрович застыл. На лбу выступили капли пота. На мгновение он потерял власть над собой. Он мог бы закричать от страха или от счастья, убежать, — все что угодно...

Большого труда стоило ему поднять взгляд на человека в шоферской курточке. Он потягивал пиво, посмеивался, но не отводил цепких, сторожких глаз.

«Иной раз куришь неизвестно что, — заговорил он наконец. — Мусор, траву, искромсанную тупым ножом».

Так услышал Харитон Петрович слова пароя — «нож» и «солома».

Потом человек в шоферской курточке зажег спичку, дал Харитону Петровичу огня, а коробок положил на стол. И глазами велел взять коробок.

Харитон Петрович дернулся и обмяк, — приказ, ясно высказанный глазами, гласил: не хватай! Обожди!

Придя домой, он высыпал из коробка несколько спичек, мешочек с землей и мелко исписанную бумажку. Поднес увеличительное стекло. Обозначились иерогли-

фы попережку со знаками «катакана» — слоговой азбуки.

И вот, стучат колеса...

Напрасно он хранил в укромном месте шифр. Инструкцию написали открытым текстом. Сперва это удивило Харитона Петровича, потом обрадовало. Значит, обстановка спокойная. Очень спокойная.

Записка превращена в щепотку пепла. Пройдет недели две, прежде чем его вздумают искать. Тогда он будет уже далеко.

Если все сойдет гладко...

Когда хватятся, он, возможно, будет вдыхать воздух своей родины. Ведь случается же то, что кажется почти несбыточным! Но неужели удел его — только покой? Сейчас эта мысль огорчает Кацуми. Боль в печени под утро утихла, и призрак старости, угнетавший его, отдалился. Он снова ощутил силу в мышцах. Неужели ему, верному слуге императора, позволят прозябать в бездействии?

Именно теперь, когда трон расшатан, когда людей будоражат идеи, занесенные из-за моря... Чудовищно! Нет, не для того зовут его, чтобы вручить пенсионный аттестат. Майор Сато жив, и он...

Впрочем, почему не полковник Сато? И не он один, в штабах немало других офицеров, отлично знающих, на что пригоден Йосивара Кацуми.

Унылая равнина за окном кончилась. Показались пригорки — предвестники Урала, заросшие острыми пихтами, колючие, как ежи. Путешествие поездом томительно, не лучше ли было бы воспользоваться самолетом? Ладно, бравировать ни к чему. Пассажир на суше, в вагоне, все же не столь заметен.

Сосед по купе, добродушный лысый учитель, едущий в отпуск из Магадана, предлагает партию в шахматы. Кацуми соглашается, но играет вяло, рассеянно. На память приходит осень сорок пятого, прощание с майором Сато — у границы, взломанной советскими танками.

«Слова пароля будут поддерживать ваш дух, — сказал майор. — Поверьте, вас ценят по заслугам, и вы ни при каких обстоятельствах не будете забыты».

Да, «солома» и «нож»... Учитель Хасимото носил книги в соломенной сумке, что крайне забавляло ма-

ленького Кацуми. Простая деревенская сумка! Хасимото выделялся в городской толпе, на него оглядывались. Это, однако, ничуть не смущало учителя. Кацуми вырос, завершил курс учения, поступил на службу, а учитель все ходил в своем дешевом, потертом черном кимоно и с сумкой.

Кацуми бывал в его доме. Смышленный Кацуми нравился учителю, и он часто высказывался откровенно. Слишком откровенно. Хасимото осмеливался порицать императора и самураев, осуждал войну, начатую тогда на Тихом океане. Что ж, своим дерзким языком он ужалил самого себя. Выполняя приказ, Кацуми следил за смутьяном и его друзьями. Оказалось, соломенная сумка содержала не только тетради учеников и книги классических поэтов, но и зловердные прокламации...

Учителя арестовали. Приговор над ним вынесли тайно, без суда. Ведь рассчитывать на раскаяние преступника не приходилось, он и на суде постарался бы отравить воздух своими речами. Приговор дали прочесть Кацуми и спросили его, не желает ли он навестить своего учителя в тюремной камере. Кацуми понял, что настал его час доказать верность императору. Он ответил утвердительно.

Он вошел в камеру под видом друга, с ножом, спрятанным в кимоно. Вспомнил школу, уроки литературы, читал наизусть стихи. Не прекращая чтения, не согнав с лица улыбки восторга, он нащупал в кармане нож, быстрым движением вытащил его и ударил.

Узоры пестрые на ряби волн
От тени, брошенной зеленой ивой,
Чьи ветви тонкие
Сплелись красиво, —
Как будто выткали узоры на воде.

Кацуми воздал должное учителю — перед смертью он услышал строки Кино Цураюки, любимого поэта.

Затем Кацуми повторил их начальнику, который принял рапорт и хотел узнать все подробности. Начальник остался доволен хладнокровием Кацуми, и карьера его упрочилась. Он еще несколько раз доказал верность императору, — пока судьба благоволила к нему.

Конечно, он не угодил бы в Сибирь, если бы не досадный случай... В Осака его движения были недоста-

точно проворны, — убить лидера забастовщиков не удалось. Рабочие схватили Кацуми, отняли нож, и дело получило огласку.

Такова судьба.

Ох, до чего медленно движется поезд! Кацуми прозевал королеву и смешал фигуры на доске. И начал следующую партию с магаданцем, за игрой все же легче скоротать время.

3

Понедельник. Девять часов двадцать минут.

Чаушев с удовольствием оглядывает ладную фигуру рядового Можаяева. Пуговицы — как зеркало, воротничок свеж прямо-таки стерильно.

Вообще Можаяева можно было бы «поднять», как выражается комсомольский секретарь сержант Корниенко. Поместить на Доске почета, поставить всем в пример. Одно удерживает Чаушева. Рановато! Он против поспешной раздачи лавров.

— Значит, Комелькова? — спрашивает Чаушев.

— Так точно, — отвечает Можаяев. — Комелькова говорит, что он вздрогнул...

Подполковник улыбается. Забавно слышать, как настойчиво Можаяев называет свою девушку по фамилии. Должно быть, для пущей деловитости. Чаушев однажды видел ее. Остроносая, быстрая, немножко сутулая...

— Вы считаете, ей показалось?

— Она утверждает, — он пожал плечами. — У гражданских людей другие понятия.

— Какие же?

— Они книжки читают, — он скривил плотно сжатые губы. — Про шпионов.

Чаушев засмеялся и положил карандаш. По привычке он рисовал, слушая Можаяева. Улица Космонавтов, ведущая к порту, витрина антикварного книжного магазина, хорошо знакомого Чаушеву. Здесь они остановились — Можаяев и его девушка. Там уже стоял этот загадочный неизвестный. На вид лет пятидесяти с лишним, в черном пальто, в черной кепке. Заметил солдата-пограничника рядом и вздрогнул. Сам Можаяев не видел, это Комелькова утверждает. Потом, приблизительно полчаса спустя, тот же человек оказался у во-

рот порта. Комелькова сказала — опять же она! — что он как-то нервно прохаживается... Можаяев посмеялся, но на всякий случай обратил внимание дружинников. Как раз встретил знакомых ребят с повязками. Тем временем человек этот выпал из поля зрения...

— Зашел в парадную, я так рассуждаю, — говорит Можаяев. — Иначе никак...

Чаушев ставит крестик и двумя жирными тире намечает парадную.

— Комелькова расстроилась, — и солдат осторожно, негромко фыркает. — Упустили нарушителя!

— А по имени как?

— Ее? — Можаяев растерянно смотрит на начальника. — Александра.

— Шура, следовательно.

— Так точно... Нет, Алла...

— Это ее интересует антикварный магазин?

— Да... Там альбомы в витрине... Разные репродукции, живопись, графика. Она всю стипендию отдать готова...

— Вам это смешно?

— Я реально смотрю, товарищ подполковник.

— То есть?

— В наше время решают точные знания, а не фантазия. С какой стати я буду что-то воображать...

— Например?

— Насчет нарушителей, например. Все равно, такое счастье одному из ста улыбнется — поймать нарушителя. Смотреть надо трезво.

— Я не совсем уловил вашу мысль, товарищ Можаяев, — сказал начальник мягко. — Вы что же, отрицаете мечту?

Можаяев повел плечом:

— В нашем деле факты играют. У меня, товарищ подполковник, не мечта, а цель.

— Какая же, если не секрет?

Можаяев потупился, запахнул полу шинели, погладил ладонью колено.

— Мое намерение, товарищ подполковник... Конечно, надо заслужить, я это чувствую... Моя цель, товарищ подполковник, быть офицером.

— Что же, очень хорошо. Добивайтесь! Но вы напрасно отбрасываете фантазию. Да, наш век техниче-

ский, атомный, все это верно. Но иногда, я вам по своему опыту, такое случается, чего никакими расчетами не предскажешь. Именно в нашем деле, товарищ Можаяев. Так что дополнять знания воображением бывает очень и очень нужно.

Можаяев молчал. Он не решался возражать начальнику. А Чаушев сдерживал желание спорить.

Своеобразный юноша! Что это за противопоставление — мечта и цель? Такой философии слышать еще не приходилось. Или мечта кажется ему чем-то иллюзорным, оторванным от жизни? Да, он играет взрослого. Но тут не только игра. Он, пожалуй, слишком деловит для своего возраста. Несколько обкарнал, обесцветил собственную юность.

— Мы еще побеседуем на эту тему, — говорит Чаушев, отпуская солдата. — В более свободное время.

4

Пино Лесерда отстоял вахту в трюме, у котла, и вылез на палубу. Он ежился в своей полотняной куртке. Матросы, сдравшие ржавчину с лебедки, заулыбались при виде весельчака Пино, и один из них крикнул:

— Ты спляши! Живо согреешься.

— Иди к черту, — бросил Пино. — И так устал. Там что за земля, ребята? Русская?

— Нет, шведская.

— Бр-р-р! Того гляди, снег повалит, — засмеялся Пино и выкинул несколько коленец замысловатой пляски собственного сочинения.

— А ты видел когда-нибудь снег, Пино?

Да, однажды на отрогах Анд, в июле, когда в Аргентине зима. Но Пино только собрался ответить, на его плечо легла мягкая, крупная, пахнущая тестом рука кока Анастаса.

— Ступай к капитану!

Пино оторопел:

— Зачем?

— Не знаю. Ему скучно, наверно. Изобразишь ему что-нибудь забавное.

— Будто бы за этим?

— Увидишь.

Что ж, прекрасно! Давно хочется потолковать с капитаном по душам, если такое вообще возможно с капитаном.

Много странного на «Орионе». Флаг на судне греческий, а греков всего трое — капитан Тивериадис, кок Анастас да боцман Геракл. Остальные — со всего света.

Хорошо, что Пино плавал на американских судах, возивших фрукты из Мексики в Штаты, и научился по-английски, не то быть бы ему на судне немым. Больше всего здесь западных немцев, англичан, датчан. Командует всеми мистер Мартин, четвертый помощник. Что же касается капитана...

О, капитан тут особенный. Пино видел его лишь мельком, — ведь капитану восемьдесят четыре года, он слаб ногами, на мостике бывает редко. И, однако, фирма держит такого! Матросы объяснили Пино: у капитана был сын, герой Сопротивления, храбро колотивший фашистов. Память о нем чтит вся Греция. Он оставил семью, которой надо помогать. У капитана есть еще дети и внуки. А приличный заработок у него одного. С работой в Греции туго.

Если уж очень нужно, капитана берут под руки и помогают подняться на мостик. Зачем? Ну, чтобы принять лоцмана, портовых чиновников. Словом, для вида. Фирма, конечно, знает это, но смотрит сквозь пальцы. Старик дорог грекам, уволить его не так-то просто...

Капитан и четвертый помощник мистер Мартин не ладят между собой. Не мудрено. Этот мистер держится так, как будто он купил судно. Нет, он не обругает вас, не накричит. Он вас и по спине потреплет, и сигаретой угостит, но только мало приятны его любезности. Даже совсем неприятны. Чувствуйте, мол, какой я добрый!

Говорят, Мартина назначили недавно, а прежде на его месте был грек, друживший с капитаном...

Радист Курт Шольц — тот фашист. Ничуть не скрывает, даже хвастает, как он служил Гитлеру. Курт был во время войны на Восточном фронте, то есть в России, и выполнял какие-то важные поручения. Послушать его — лучше войны и быть ничего не может. В окопах не мерз, как другие. Уцелел, гладкий вышел из заварухи, без царапины.

Да, диковинное судно! Пино застегнул куртку, выплюнул жвачку и постучал.

Он едва расслышал слабый голос, позвавший его. В сумрачной каюте пахло лекарствами. Капитан лежал в кровати, лысая голова его белела на взбитых подушках.

— Подними штору, — произнес он. — Вот так... Я хочу посмотреть на тебя.

— Я весь тут, сэр, — ответил Пино.

— Что-то мне рассказывали про тебя... Ах да, на счет какого-то значка.

— Было дело, сэр, — сказал Пино.

Пустяковое, в сущности, дело. В Лондоне матрос-кубинец подарил ему значок. Голова Фиделя Кастро, вырезанная из металла. Мистер Мартин, набравший команду, заметил значок.

— Ты коммунист?

— Нет, — ответил Пино.

— А ты знаешь, кто это?

— Понятия не имею, — притворился Пино. — Этот бородатый джентльмен, должно быть, святой.

Мартин засмеялся.

— Давай меняться, — сказал он, отнял Фиделя и дал Пино другой значок, с крестом.

Все это Пино сейчас вспомнил и смутился. К чему же капитан ведет речь?

— Ты, мальчик, в самом деле не знаешь, кто такой Фидель Кастро?

— Откровенно сказать, сэр... Тогда, в Лондоне, хлестал дождь, а обогреться было не на что. Один ваш «Орион» нанимал людей. Выбирать не приходилось.

— Ты не бойся меня, мальчик.

— Очень хорошо, сэр, — обрадовался Пино. — Понятно, мне не хотелось отдавать подарок. Тем более — такой подарок. Но как прикажете поступить? Дом мой далеко, пешком не дойти.

— Где твой дом?

— В Мар-дель-Плата, сэр.

— Да, далеко... Все равно, они-то пришли бы и туда... Если бы не русские... Добрались бы и до твоего дома, можешь не сомневаться.

— Кто, сэр?

— Фашисты. Я разве не сказал?

— Нет. Или я не расслышал, сэр. Говорят, вы дрались с фашистами. Это правда?

— Правда, мальчик.

Как он воевал? С винтовкой? С пулеметом? Или, может быть, взрывал мосты, как норвежские партизаны, которых Пино видел однажды в кино? Только в кино он и видел войну и охотно расспросил бы капитана подробнее, но побоялся быть назойливым.

— Ты давно морячишь?

Что ж, пусть узнает все. Пино вдруг потянуло излить свою душу. Да, морячит давно, но не совсем по своей воле. По-настоящему он с морем не сдружился. Одно неплохо — повидал разные края. А так в Мар-дель-Плата, в котельной при мельнице, куда спокойнее, чем на судне. Виновата жестокая сеньорита Роса...

Как он ни старался тронуть ее сердце, сколько ни пел по ночам под ее окнами, она и улыбки не бросила ему. Даром, что дочь грузчика, — горда так, словно у папаши весь город в кармане. Наконец Пино не вытерпел, сгоряча поклялся уйти из родного Мар-дель-Плата, уйти навсегда. Не услышит больше сеньорита его песен... Пино произнес клятву громко, на всю улицу, и при этом сердито, сухо щелкал по гитаре костяшками пальцев. Не помогло! Сеньорита осталась холодной как лед, а он, не зная как сорвать досаду, нагрубил управляющему. И пришлось волей-неволей выполнить клятву.

— Не беда, мальчик. На свете не одна сеньорита.

— Разумеется, сэр.

Что еще рассказать? Увы, жизнь Пино не очень-то богата событиями. Глаза капитана ласковые и голубые, как у ребенка, словно спрашивали еще о чем-то.

— Я просто бродяга, — вздохнул Пино.

— Ты — человек, — сказал капитан, приподняв голову. — Это и мало и много... Зависит от каждого.

— Да, сэр. Люди есть разные. Вот, например, мистер Мартин... — И Пино выложил то, что жгло ему язык: — Он разве главный на судне? Что ему надо?

Веки капитана закрылись. Он точно вдруг забыл о присутствии Пино.

— А Шольц фашист, — проговорил Пино громко, чуть не крикнул. Не хотелось обрывать разговор на таком месте. Пусть капитан ответит. Хотя что-нибудь!..

Но капитан молчал, а Пино почувствовал укол стыда. Не подумал ли капитан, что он — Пино — ябедник? Вовсе нет! Тут же не ябеда! Тут совсем другое...

— Ты же видишь, мальчик, — заговорил наконец капитан, и его голова беспокойно задвигалась на подушке. — Ты же видишь. Если бы я мог... Разве я впустил бы к себе фашиста? Судно для моряка — его дом... Духу бы фашистского не было здесь.

— Да, сэр, — бормотал Пино. — Конечно, сэр... Вы не виноваты.

В глазах Пино, в его молодых глазах капитан выглядел таким дряхлым, таким слабым, что, казалось, жизнь в нем вот-вот погаснет. Достаточно пустяка... Одного резкого порыва ветра... Или одного неосторожного слова...

— Хорошо, хорошо, мальчик. Дело не во мне. Они опять лезут, вот главное... У них уже нет Гитлера, слава богу, но они все-таки лезут опять.

Рука капитана тронула колено Пино и теперь лежала на нем, почти невесомая.

— Да, сэр. Верно, сэр. Шольц показывал нам карточку... До чего же brave вид у него был! Штурмфюрер или шарфюрер, что ли... Мистер Мартин, и тот потешается над Шольцем, эх ты, мол, такой-сякой фюрер! А Шольц злится. Странное дело, сэр, при матросах они чуть не ссорятся, а между собой втихомолку шепчутся, будто о чем-то сговариваются. Кок Анастас замечал, да и я тоже. Станный этот Мартин, убей меня бог, сэр!

Губы капитана зашевелились, но он ничего не сказал.

«Да и что он может сказать! — подумал Пино с горечью. — Ему же не видно отсюда, из каюты. Пора уходить. Капитан, наверно, утомлен беседой».

— Постой, — услышал Пино. — Налей сюда немного воды, — худые, восковой желтизны пальцы старика коснулись стакана, — и десять капель вон из того пузырька. С синей наклейкой.

— Да, сэр.

Он отмерил десять капель. При этом Пино чувствовал пристальный взгляд капитана.

— У тебя хорошая рука, мальчик. Имей в виду, если ты хочешь узнать человека, смотри не только в лицо ему. И на руки смотри...

— Да, сэр.

— Ступай, мальчик.

Что-то екнуло в груди Пино. Еще немного — и он

поцеловал бы руку капитану, как отцу. Но он постеснялся сделать это.

Весь остаток дня Пино был задумчив и не потешал товарищей своими шутками и шаловливыми выходками, даже не играл на своей губной гармонике.

Беседу свою с капитаном он передал коку Анастасу слово в слово.

— Черт их ведает, что у них на уме, у Шольца и у Мартина, — сказал кок. — Если они выкинут какую-нибудь пакость в советском порту, тогда скверно... Капитан этого не перенесет.

— Господи, конечно! — воскликнул Пино.

Наутро из тумана выплыл советский берег — плоский, низменный, лесистый. Он разочаровал Пино, в воображении рисовалось что-то другое. Впрочем, он не мог бы объяснить точно, чего он ждал. «Орион» вошел в устье широкой реки. Слева блестели крыши пакгаузов, мокрые от моросившего дождя. Пакгаузы, краны порта и каменные дома города, рассыпанные на правом берегу, — все это такое же, как во многих других странах.

Скорее бы на сушу! Но нет, сперва надо прибрать котельную, а на это уйдет весь вечер.

5

Понедельник. Девять часов тридцать минут.

Ветер переменился и смел тучи, в кабинет Чаушева полилось солнце. Сейчас оно щедро освещает стройную, ладную фигуру лейтенанта Мячина.

Чаушев слышит продолжение воскресного происшествия. Мячин не ограничился регистрацией и не только дал знать чекистам города. Слова «незнакомец исчез», записанные собственной рукой в журнале, беспокоили его. Он разыскал дружинников, которые выпустили этого человека из вида. Да, он, вероятно, зашел в дом. И вот что любопытно, вскоре в ту же парадную вошел иностранный моряк, хорошо знакомый и дружинникам и пограничникам. Невозможно было не узнать этого верзилу с плоским, серым, испитым лицом, в зеленой курточке-коротышке. Курт Шольц, радист с парохода «Орион», известный кутила и скандалист...

— Шольц минут через десять вышел, — докладывал Мячин. — А затем, немного погодя, и тот...

— Номер дома?

— Восемнадцать, товарищ подполковник.

Чаушев посмотрел на свой набросок. Да, так и есть. Крестик на месте. Дом восемнадцать, семиэтажный, с верхних площадок лестницы порт просматривается довольно хорошо.

— Кстати, — и Чаушев провел карандашом стрелку, — оттуда и «Орион» виден.

Мячин наклонился, его щека с серебристым пушком залита кумачовым румянцем. Чаушев еще не похвалил его. Но Мячин чуток, одобрение начальника он улавливает без слов и всегда при этом краснеет.

«Вот ему воображение как раз помогает, — подумал Чаушев. — Хотя и не всегда...»

Смутные подозрения, отдельные и, казалось, не связанные между собой факты, и люди вдруг соединились, и обозначился след...

Но если за всем этим кроется что-то действительно серьезное, тогда они уж очень беспечны — и Шольц, и другой... На диво беспечны!

6

Пино орудовал шваброй и тряпкой, поднимая облака пыли. Мистер Мартин, спустившийся в котельный отсек, долго чихал, прежде чем заговорил.

— Вот мы у большевиков, — сказал он. — Тебе ведь хотелось побывать тут? Верно?

— Любопытно, — ответил Пино простодушно. — Про них столько болтают всякого...

— Что же, например?

— Будто тут птицы на лету замерзают, до того холодно. И еще... Семьи у них будто нет. Детей отнимают у родителей и посылают в Сибирь.

— Зачем же?

Мистер Мартин забавлялся, слушая Пино. Его пухлое, холеное, розовое лицо подрагивало от удовольствия.

— И я думаю, — ответил Пино и почесал за ухом, — для чего это нужно? А вы как считаете?

Надо же подбить Мартина на откровенность. Для того Пино и повторил то, что сказала ему в Мар-дель-Плата тетушка Сульпиция, напутствуя его в плавание. Когда-то давно, должно быть еще в молодые свои годы, на скотоводческом ранчо, она подхватила эти глупые сказки насчет Сибири и с тех пор повторяет.

— Ерунда, Пино! — бросил Мартин и заходил по котельной, выталкивая из себя короткие, хрипловатые смешки. Что-то блеснуло на груди Мартина. Пино взгляделся. О! Это же Фидель Кастро, отнятый у него — Пино!

— Вам нравится этот святой джентльмен? — спросил Пино и застенчиво протянул руку к значку.

— Почему бы и нет! — расхохотался Мартин. — А ты набожный, а? Учти, здесь не признают святых. Большевики, милый мой, безбожники.

— Господи! — воскликнул Пино.

— Впрочем, нас с тобой не касается, — и мистер Мартин перестал смеяться. — Это их дело. Наша фирма торгует с Россией. Ясно? Значит, ссориться с русскими ни в коем случае нельзя.

— Я не намерен ссориться, сэр.

— Речь не о тебе, божья дудка! — строго произнес мистер Мартин. — У нас же на судне полно фашистов. Положим, для тебя это пустой звук. Ты не жил в Европе...

— Я читал про них, сэр. А кто у нас фашист?

— Шольц хотя бы... Ты уж очень наивен, Пино! Не по возрасту.

— Нет, сэр, я тоже так думал. Шольц в самом деле фашист. Он и не скрывает.

— Да, да... Так вот, фашисты только и ждут, чтобы сделать пакость русским. Ты понял? А нашей фирме от этого одни убытки.

— Пакость? Какую, сэр?

Мартин бросил смешок и опять принялся ходить по котельной. В закоулке между котлами стоял ящик с замасленным тряпьем и инструментами. Мартин поднял крышку.

— Фашисты возьмут да и спрячут здесь какого-нибудь нелегального пассажира.

— Ой, да что вы! — Пино расширил от ужаса глаза. Строить рожи он умел, и это получалось вполне нату-

рально. К тому же слова Мартина действительно поразили его.

— Я шучу, — сказал Мартин. — Не бойся, никто не влезет. Тут взрослому мужчине не поместиться.

— Отчего же? — возразил Пино. — В самый раз.

Мартин заспорил. Пино стоял на своем, и тогда Мартин предложил пари.

— На сколько? — спросил Пино.

— Пять долларов, — объявил Мартин. И Пино не заставил себя упрашивать. Он выгреб часть тряпья и улегся в ящике. Мартин опустил крышку, она закрылась плотно.

Пино вылез, и Мартин, смеясь, протянул ему бумажку. Потом он посоветовал Пино отведать завтра на берегу русской водки. Но не советовал налегать на нее.

Что это с Мартином? Никогда он не спускался в котельную, а на Пино и внимания не обращал. Просто не замечал его, бывало. Неспроста все... И тут Пино вспомнил совет старого капитана и посмотрел на руки Мартина. Он то рывком засовывал руки в карманы пиджака, то резко вынимал их и вертел пальцами за спиной. Мартин смеется, шутит, но нет в его движениях ни доброты, ни веселости...

Однако вскоре Пино перестал думать о Мартине. Закончив уборку, он вышел на палубу. Вокруг сомкнулся загадочный, невиданный советский город. Он звал Пино, подмигивал ему своими огнями.

На берег Пино сошел утром, с двумя матросами — датчанином и голландцем.

Все время томило Пино ожидание чего-то необычайного. Город как город... Рекламы вот маловато. Одеты все хорошо, тепло, нищих нет. Датчанин спросил Пино, не болит ли у него что-нибудь.

— Здесь выечат бесплатно, — сказал он.

— Да ну?!

— У меня в Лондоне зуб как заныл, хоть в воду кидайся! Так ведь там с тебя сдерут... У нас ребята, коли стоянка в советском порту предстоит, мучаются, но терпят.

— Эх, досада! — воскликнул Пино и скорчил гримасу. — Не болит нигде.

Вечером матросы повели Пино в Клуб моряков. По

дороге он набил карманы сигаретами да еще купил бутылку водки. В карман она не лезла, и Пино помахал ею, держа за горлышко.

В шумном вестибюле все трое застенчиво озирались, ища своих, с «Ориона». Датчанин толкнул Пино и показал куда-то вверх. Э, вот встреча! Сам мистер Мартин!

Четвертый помощник стоял на лестнице, украшенной у подножия статуями, и беседовал с незнакомым седым мужчиной.

Следует ли попадаться начальству в таком месте? Почти не задумываясь, Пино шагнул к статуе, опустил на плитчатый пол бутылку, и начал, истово крестясь, отбивать поклоны мраморной женщине в ниспадающих одеждах.

Кругом загрохотал такой смех, что Пино чуть не оглох. Хохотал и мистер Мартин. Его круглая румяная физиономия стала пунцовой. Потом он поманил пальцем Пино и сказал седому:

— Полюбуйтесь, господин директор, это наш первый комик. Мертвого развеселит.

Седой сказал:

— Превосходно! Мы попросим его выступить на концерте сегодня.

— О, Пино не откажется!

Баритон мистера Мартина сладко журчал. Мистер Мартин явно заискивал перед директором советского клуба.

— Простите, сэр, — сказал Пино, разыгрывая крайнее смущение. — Я не собирался никого смешить. Эта каменная сеньора разве не дева Мария?

И все кругом опять покатились, а мистер Мартин сказал директору:

— Да, таков наш матрос! Дикарь наших цивилизованных джунглей.

Выступил Пино с триумфом. Он плясал, пел «Кукарачу», изображал звуки городской улицы, современный джаз и утро в скотоводческом ранчо. Все это коронные номера Пино, но редко у него бывало столько слушателей. Наверно, больше двухсот человек собралось в зале. И все корчились, поджав животы.

Пино вернулся на судно, опьяненный успехом. Он столкнулся в коридоре с коком Анастасом, которому

думал рассказать про мистера Мартина, но, не узнав грека, пробежал мимо.

Долго ворочался Пино на своей койке. Вот ведь, город как город, и люди с виду обыкновенные... И все-таки правду говорил тот кубинец в Лондоне, здесь другой мир. Родись тут Пино, на здешней земле, он смог бы учиться и, наверное, был бы знаменитым артистом.

И Пино вообразил себя знаменитым артистом — на огромной сцене, в необъятном зале, под лучами прожекторов — режущие-яркие, до боли, до слез.

7

Понедельник. Одиннадцать часов сорок минут.

Солнце отпечатаło два золотых квадрата на стене кабинета Чаушева. В одном — его подполковничья шинель, охваченная теплым сиянием; в другом — старый, выгоревший план порта и учебный плакат, показывающий морское судно в разрезе. Пожалуй, можно подумать, что лето еще не кончилось. Но нет, вода за окном осенняя, темная, студеной ветер срывает белые гребешки.

На столе перед Чаушевым — список экипажа «Ориона». Фамилии датчан, немцев, греков. Один аргентинец. Чаушев видел его на судне и запомнил — губастый, со сросшимися клочками бровей.

Очень уж часто на «Орионе» меняют команду. Греков почти не осталось...

Старый капитан — не хозяин на судне. Чаушев пожегся, — вчера он пожал руку старику и едва не отдернул свою. Пальцы точно стеклянные. Холодные, хрупкие... В прошлый раз четвертый помощник был грек. Симпатичный парень, бывший партизан. А теперь на его месте вот этот...

Ричард Мартин по документам англичанин. Но он мог бы быть и Рихардом, судя по тому, как он говорит по-немецки, — Чаушев слышал его случайно... И вот что любопытно, четвертый-то помощник едва ли не главное лицо на судне. Его явно побаиваются.

Данных о Мартине немного. Пять лет назад состоял в экипаже судна «Кентукки», прибывшего во Владивосток. Пытался сойти на берег по чужому пропуску.

Свой будто бы засунул куда-то. Спешил на берег. Матросы отзывались о Мартине неважно. Не моряк, мол. Пассажир вроде, хоть и на должности электрика. Впоследствии с парохода «Кентукки» был списан, в советских портах не появлялся. Все это написано в шифровке, только что полученной, и Чаушев читает ее вслух.

— Ваш приятель, — улыбаясь говорит он лейтенанту Мячину.

Мячин сидит у стены, голова и грудь его — в солнечном квадрате. Сейчас он выглядит еще моложе. Губы лейтенанта — красивые, полные губы, — огорченно сжаты. Тень сомнения бродит по его лицу.

— С чем вы несогласны? — спрашивает Чаушев.

— Я был на «Орионе», — говорит Мячин. — У меня впечатление сложилось э... благоприятное.

Да, Мячин вместе с Чаушевым ходил встречать «Орион» в открытом море. Обычный пограничный контроль, осмотр судна, проверка документов. Мартин держался приветливо, расспрашивал, какие достопримечательности в городе, что хорошего сейчас в кино, в театре...

— В Клубе моряков Мартина хвалят, — сообщил Мячин. — На экскурсиях, в читальне, на концерте — всюду Мартин.

— К тому же, — улыбнулся Чаушев, — он, кажется, одобрил ваше английское произношение?!

Мячин покраснел.

— Я пошутил, — признался Чаушев добродушно.

Мячину везде хочется видеть друзей. Что ж, это естественно для молодого человека. Жаль лишать его иллюзий, но пограничная служба сурова.

Лейтенант нравится Чаушеву. Он немного стыдится этого личного чувства, прячет за колкой шуткой, а потом раскаивается — не обидел ли?..

Нравится жадность к делу, юношеское, лишенное карьеризма честолюбие. Правда, иногда раздражает апломб Мячина. Очень уж охота ему составить собственное мнение — и поскорее! Но сердиться на это всерьез не стоит. Тогда и молодость — грех...

— Вот у Шольца, у радиста, я немедленно отобрал бы пропуск, — говорит Мячин задиристо. — Фашист, хулиган...

— Не велено, — говорит Чаушев.

У него только что был капитан Соколов. Читал список, интересовался всеми данными об «Орионе». Нет, даже у Шольца не следует отнимать пропуск. Пускай ходит на берег, а мы посмотрим, что он за птица.

— А ваш Мартин... Трудно сказать, конечно, но он как-никак начальник Шольца. Появились они на судне в одно время. Я хочу, чтобы вы не забывали об этом. Особенно теперь...

Мячин вытянул шею.

— А что, есть новости? Извините мое любопытство, товарищ подполковник.

— Извиняю. Есть новости. Узнаете через час, я собираю офицеров. А пока — небольшое дело... На улице Космонавтов есть антикварный книжный магазин.

— Точно.

— Так вот, набросайте мне, какие книги, как расположены в витрине.

Мячин, потрясенный загадочностью поручения, вышел из кабинета чуть ли не на цыпочках.

Чаушев сам собирался выйти в город. Но теперь не вырваться... Правда, кое-какие книги он запомнил. Немецкая энциклопедия живописи в яркой суперобложке, альбом венгерских национальных костюмов, альбом японских кустарных изделий... На всякий случай план витрины с названиями надо иметь под рукой. Что-то там привлекло того субъекта в черном пальто. Привлекло очень сильно... Или он настолько пуглив, что вздрагивает каждый раз при виде пограничника? Нет, солдат, наверно, оказался рядом в такой именно момент, когда... В общем, гадать бесполезно, но уточнить не мешает. Особенно сегодня...

Хорошо, что тот субъект не скрылся из вида... Наблюдение за ним не прекращается. Одно то, что он, возможно, имел контакт с Шольцем тогда, в доме восемнадцать, заставило чекистов обратить внимание... А сегодня стало известно, кто он такой. В комитете получили фотографию Салова Харитона Петровича — таково во всяком случае его паспортное имя. Объявлен всесоюзный розыск этого человека. Проживал за Уралом, выехал на запад после встречи с сотрудником иностранного посольства. Очевидно, он уже был на примете у органов безопасности.

Подробностей о нем пока не сообщают. Поручено не спускать с него глаз, изучить его намерения и связи.

Все это Чаушев передаст офицерам контрольно-пускового пункта. И надо будет подумать, как лучше помочь чекистам города.

8

Пино на цыпочках подошел к двери капитанской каюты и осторожно постучал.

Что-то слышалось в ответ, но Пино не смог понять, ветер ли, влетев в окно, дернул тяжелую портьеру на кольцах, или то голос капитана. Очень уж слабый был ответ. Пино постоял в нерешительности и толкнул дверь.

— Входи, входи, мальчик! — донеслось до него.

Он увидел голову капитана на подушке, большую, белую, почти такого же цвета, как полотно наволочки. Только темные, резко очерченные глаза выделялись на бескровном лице. Сердце у Пино екнуло от жалости. «Плох наш капитан», — подумал он.

— Меня скрутило днем, сильно скрутило... Сейчас ничего... Рассказывай, мальчик!

По правилам вежливости следовало сказать капитану, что он выглядит совсем недурно, даже хорошо. Пино подумал об этом, но подходящие слова не шли с языка. Он сел на краешек стула и стал выкладывать новости.

— На судне что творится! Мартина вроде околдовали — с русскими дружит! Чудеса! На радиста и не смотрит...

— Ты веришь Мартину, мальчик?

— Не знаю, сэр. Похоже на притворство...

— Мартин и Курт — одного поля ягода, мальчик. Не надо им верить.

— Я тоже считаю, сэр. Стою я на вахте, сэр, и вдруг Мартин шаст ко мне в кочегарку...

И Пино начал вспоминать вслух, каким непривычно любезным и ласковым был Мартин в тот вечер и какое странное пари он предложил. И как Пино выиграл пари, повалявшись в ящике с тряпьем, примерив его к себе...

— А я смотрел на руки, как вы советовали, — прибавил Пино.

— И что же, мальчик?

— Нехорошие у него руки, лживые, сэр. Он вертит пальцами за спиной, вертит и вертит, сэр, точно исподтишка показывает какие-то фокусы.

Капитан тихо, очень тихо засмеялся, потом все его тело затряслось от глухого кашля.

— Не закрыть ли окно, сэр? — спросил Пино.

— И так душно, мальчик. Ты лучше погаси верхнюю лампу. Режет глаза.

Пино повернул выключатель. Каюту залил полумрак, — остался гореть только ночник на тумбочке, закрытый стеклянным цилиндром. Сейчас на стекле ясно обозначились быстрые, пенистые водопады среди черных скал. Они наполняли каюту кружением теней. Но лицо капитана на подушке было по-прежнему белым. Оно словно светилось тоже.

— Занятная игрушка, мальчик?

— Да, сэр!

— Я так и не удосужился заглянуть, что за механизм у нее внутри. Так ты говоришь, нехорошие руки у Мартина?

— Именно, сэр.

— Он на судне?

— Нет, сэр. И Шольц на берегу. Он в городе, сэр, в ресторане. У боцмана сегодня день рождения, и он повел туда целую компанию.

— Отлично, мальчик! Им вовсе не нужно знать, что ты бываешь у меня.

— Конечно, сэр. Вот еще какое дело: боцман, уходя, велел оставить за бортом штормовой трап. А старший механик уже купался, и трап-то вроде никому не нужен. Но боцман получил приказ от Мартина.

Голова капитана приподнялась.

— Это интересно, мальчик... Они затеяли что-то, Мартин и Курт.

— Похоже, сэр!

— Послушай, мальчик... Я лежу здесь, я ничего не могу... Но все равно, пока я здесь, у нас должно быть чисто... Ты понимаешь меня? Тот, кто враг русским, тот и мне враг... Я поклялся в этом, мальчик! Очень давно, в Греции, в горах... Ты понимаешь меня, мальчик?

— Да, сэр, да!

— Перестань звать меня «сэр!» — сердито произнес капитан.

Что-то оборвалось в груди у Пино. Он наклонился и поцеловал пальцы старика, холодные, белые, как полотно, пальцы, лежащие поверх одеяла.

— Да, отец, — сказал Пино.

— Так-то лучше, сынок, — услышал он. Пальцы капитана коснулись его волос.

Сердце у Пино колотилось, в глазах стало солоно. Он отвернулся и начал следить за водопадами, бегущими по стеклу.

— Любопытная вещица, правда? — заговорил капитан. — Это подарок, мальчик. Мне оставила на память одна женщина... Я помог ей спастись. Она... Ее отец был справедливый человек, он стоял за мир... Его убили, и ей тоже пришлось бы худо... Это было еще до войны, мальчик. Ты тогда бегал в коротких штанишках...

— Она была гречанка?

— Нет, японка. Но какая разница, мальчик? Бедняжка, ей не хотелось расставаться с родиной.

— Еще бы, капитан!

— Мне бы дожить... Это мой последний рейс, мальчик... Добраться бы до Греции...

— Вы поправитесь, — пролепетал Пино с болью. — Вы поправитесь дома...

— Ладно, мальчик. Постараюсь.

Пино повеселел. И водопады на стекле запрыгали веселее. Потом бег воды как будто затих, стекло потускнело, — грустная мысль явилась у Пино.

— Я вот здоровый, — произнес он в тягостном раздумье. — А что я сделал важного? Ничего! Вы воевали... Многие люди, как бы выразиться... Ну, как вода. Текут, мчатся куда-то, и следа нет...

— Ты не прав, мальчик. Каждый человек оставляет след в жизни, плохой или хороший...

— Каждый?

— Можешь не сомневаться, мальчик. Каждый!

Пино поднялся. Он охотно посидел бы у капитана еще, но, наверное, капитан устал.

— Спокойной ночи, — сказал Пино.

— Я уверен, что она будет спокойна, — ответил капитан. — Ступай, мальчик!

Аскольд Ревякин, он же Кольди, ехал в портовый город с целью начать жить по-новому.

Москву он покинул без сожаления. «Кольди — дурак», «Кольди — ушибленный», «Кольди — треснутый пыльным мешком» — ничего, кроме подобных эпитетов и еще более крепких, он не слышал от своих приятелей. Это отзывалось на нервах. Кольди с детства нервный, раздражать его нельзя. И вот результат — два раза он сглупил, не сумел проворно обстряпать сделку и чуть не попался. С галстуками, с нейлоновыми рубашками, купленными у иностранцев в гостинице «Националь». От дружинников спасенья не стало...

Словом, коммерсант из него не получился. Впрочем, он всегда подозревал, что бизнес — не его призвание. Ему суждено что-то поважнее.

— Задатки у тебя блестящие, — говаривала тетя Аня, единственный человек, который верит в Аскольда. — Ты же все-таки Ревякин!

Тетя Аня вспоминает при этом Ревякина-деда, знаменитого путешественника, дружившего с Пржевальским.

Летом, когда Аскольд окончил — правда, с тройками — среднюю школу, тетя подарила ему книгу деда и написала на ней: «Милому моему мальчику, надежде нашего рода». Как стать достойным славного деда Игнатия, тетя Аня не уточняет. Вопрос неясный. Отчим, тот знай твердит: «Ступай на производство». Вкалывать за станком? Ну, нет! Засмеют. Вся бражка! Да и тетя Аня тоже не советует. «Ах, если бы был жив твой родитель!» — восклицает она и подносит к заплаканным глазам платок.

И что за будущность — на заводе!

Отчим только попрекает. Послушать его — Аскольд и лодырь, и ранний алкоголик. И компания у него дурная... Да, мелкие фарцовщики, погрязшие в копеечных расчетах. Однако одеться умеют, фасон давят железно, этого у них не отнимешь. У нас, конечно, еще не понимают, а за границей это первое условие успеха.

Взять Антони Идена, английского министра. Соображает, какой галстук выбрать...

Недавно у Аскольда нашли сходство с Жераром Фи-

липпом — французским киноартистом. Все девчонки признали. Да что девчонки — даже один иностранец из Бельгии, который продал Аскольду сорочку и «бабочку», и тот заметил... Жерар Филипп, кстати, умер, так что...

Но найти свое призвание — дело серьезное, спешить тут нельзя. Тетя Аня тоже так считает. Она говорит, что за границей родители отправляют детей, окончивших гимназию, в разные страны. Отдыхать, изучать языки, и мало ли что еще... Житуха! А отчим... Э, и думать о нем не хочется!

В поездке Аскольд не скучал. Старушка, — правильная такая старушка сельского типа, — доставала из корзинки колобки, угощала Аскольда и называла его красавчиком. В купе были еще мамаша и дочка. Они возвращались к себе в какую-то глушь. Дочка — ничего девчонка, глазастая, рыжая. Аскольд отчаянно врал, учился-де на курсах дипломатов. Потом выдал новость про Антони Идена.

— У него сорок слуг, чувствуете? И вот, нужно ему выбрать галстук. Покупает сразу сорок и еще один. Зовет горничную, лакеев, шоферов, поваров, всю бражку. Хватайте, говорит... Ну, они и рады. Остается один галстук, чувствуете? Значит, для него, для хозяина. Аристократия, высший фасон, чувствуете?

Спал Аскольд, наевшись колобков, крепко, и когда проснулся, за окном уже мелькали окраинные улицы приморского города. Старушка попросила его вынести вещи, он обещал и тотчас забыл об этом, выскочил из вагона первым. Не терпелось поскорее увидеть город. Здания приличные, имеется троллейбус. Не деревня, жить можно.

Весь день он осматривал город, — разъезжал в троллейбусах, в трамваях и такси, гулял в сквере близ театра, дразнил лебедей, плававших в пруду. Купил в киоске две газеты — немецкую и французскую. Для вида. Город нравился ему все больше. Попутно, завязав разговор в фойе кинотеатра со сверстниками, выяснил, что самая шикарная гостиница, посещаемая иностранцами, — «Аврора», а самый популярный ресторан, с музыкой, с танцами, — «Балтика». Посмотрел заграничный фильм, а затем направил свои стопы в ресторан.

Э, какой же здесь модерн? Мебель времен дедушки

Игнатия. И джаз неважнецкий. Аскольду подумалось, что он может кое-чему поучить здешних.

— Кровавую Мери! — сказал он официанту.

Так и есть, они тут и понятия не имеют о Кровавой Мери. Ишь вылупил глаза! Громко, чтобы слышали за соседними столиками, Аскольд объяснил: двести граммов водки, сто томатного сока да еще столовую ложку ликера, лучше всего лимонного. Все как следует смешать. И соломинку!

Официант пожал плечами и записал. Аскольд сиял. Не кто иной, как он, введет сюда, в этот отсталый город, Кровавую Мери. Спohватившись, заказал еду — две порции бифштекса. На десерт, разумеется, черный кофе.

Хотя его томил голод, он начал с коктейля. Горло сводила спазма. Кровавую Мери постигаешь не сразу. К ней надо привыкнуть. Все настоящие мальчики в Москве, на улице Горького, пьют Кровавую Мери.

А славно тут, тепло и уютно! Кровавая Мери не обидит человека. Она отлично понимает, что требуется. Она совсем своя. С ней весело и безопасно. Вообще тут мило, в самом деле мило. Кругом смотрят и улыбаются. Наверно, видят, до чего он — Аскольд — похож на Жерара Филиппа.

— Эй, битте, — произнес Аскольд. — Еще одну Мери! Пускай смотрят!

Волны джаза то нарастают, то опадают. Лица кругом расплываются, они словно за стеклом, мокрым от дождя. Мери, крошка Мери... Аскольду хочется петь, но в эту минуту в зал гурьбой входят парни диковинного вида. Один сверкает молниями, они так и змеятся на его зеленой куртке. У другого на галстуке какая-то кинозвезда в купальнике.

Иностранцы! Аскольд широким жестом показывает им большой стол рядом со своим. Кровавая Мери придала ему смелости. Парни садятся. Дружно, как по команде. Аскольд подзывает для них официанта. Иностранцы вежливо благодарят, чем до крайности умиляют Аскольда.

— Мери, — говорит он, болтая соломинкой в бокале.

Вот странно! Сдается — они не знают Кровавой Мери. Вот бедняги...

— Коктейль, — говорит Аскольд. — Водка, томат.

— Томат! — откликается тот, что с молниями. — Томат! — подхватывают остальные и смеются.

Несколько минут спустя Аскольд уже в кругу новых друзей.

— Шип, — слышит он. Шип — значит морское судно. Они моряки — эти иностранцы. Подумать только, пришли из Аргентины.

— Аргентина! — восклицает Аскольд. — Рио-де-Жанейро!

Моряки хохочут.

— Буэнос-Айрес, — слышит Аскольд.

Ах да, верно! Ерунда, разница небольшая. Буэнос-Айрес тоже красота. Вери быутифул.

— Вери, вери, — подтверждают моряки.

До чего легко говорить по-английски, особенно когда немного выпьешь. В школе за английский Аскольд неизменно получал тройку, а тут английские слова прямо-таки сами летят с языка.

Тот, что с молниями, — сосед Аскольда.

— Гамбург, — говорит он и хлопает себя по груди, по лоснящейся зеленоватой коже, изрезанной блестящими карманами и карманчиками.

— Лондон, — сообщает моряк, сидящий напротив, и прижимает руку к галстуку. Сейчас видна только кудрявая голова девицы в купальнике. Мировой галстук!

— Лондон! — откликается Аскольд. — Антони Иден — министр. — Он мнет в кулаке собственный галстук, потом поднимает большой палец. Галстук, чувствуете? Йес? Вери быутифул Антони Иден галстук носит. Йес? Правда.

Еще какие-то слова слетают с языка Аскольда — английские, а может быть, и не английские. Все равно, он положительно убежден, что рассказывает про Идена. О том, как Иден выбирает себе галстук. С помощью поваров, шоферов и прочей бражки.

Сосед кладет ему на плечо руку. От куртки пахнет незнакомым табаком и еще чем-то не нашим. Класный запах! Заиметь бы такую одежонку! Зеленая с желтизной, самая модная. Болотная зелень, как говорят девчонки. Ну да, наверно, она самая!

— Ай эм Ревякин, — говорит Аскольд. — Ай эм Кольди, йес, мистер!

Моряк смеется.

— Кольди? — спрашивает он.— Разве у вас есть такое имя? Я не слышал.

— Йес, йес,— кивает Аскольд. Не сразу доходит до него, что сосед говорит по-русски.

Что же, тем лучше! Он щупает рукав куртки. Немец придвигается к Аскольду, распахнутая куртка дышит прямо в лицо своими редкостными запахами.

— Вам нравится? — спрашивает немец.

Ну, стесняться нечего.

— О'кей! — отвечает Аскольд. Ему жаль расставаться с английским языком.

— Мне она надоела,— слышит он.— Я собираюсь ее... выбрасывать. Пам! В море...

Такую вещь! Аскольд в ужасе схватил немца за локоть. Тот дернулся, должно быть вздрогнул от неожиданности.

— Но если вам нравится...

— Вам же пригодятся рубли,— шепнул Аскольд скороговоркой, подмигнул и огляделся. Опасности как будто нет. Никто не слышит его. Военный за тем столом занят едой. Да и кому какое дело тут, в ресторане...

Нет ли у немца еще чего-нибудь? Мировой подвертывается бизнес! Только бы не упустить... Аскольд еще раз украдкой посмотрел на военного. Тот с аппетитом жевал бифштекс. Обстановка спокойная. Все же лучше не рисковать.

— У меня есть рубли,— сказал Аскольд.— Но тут неудобно, понимаете?

Немец понял. Он первый встал из-за стола. Аскольду пришлось посидеть еще десять минут. Ровно десять, ни минутой меньше! Так сказал ему немец тоном приказа. Видать, не новичок в таких делах.

Аскольд ерзал и почти не спускал глаз с минутной стрелки. Потом ринулся к выходу. Он даже не попросился с моряками, так томило его нетерпение. На улице моросил дождь, желтый свет фонарей расплывался на мокром пустынном тротуаре масляными лужицами.

Вдруг обманул немчура? Натрепался и удрал! От этой мысли Аскольд даже отрезвел немного. Неужели рухнет такой великолепный бизнес?

Ведь за эту куртку... Да нет, суть не в цене! Загнать куртку можно в любой момент, с ногтями оторвут. Сперва он уж покрасует в ней!

Если только не сбежал немец...

Моряк ждал в боковой аллейке, в самой чаще. Кожаная куртка слабо блеснула в полумраке,— немец шагнул навстречу Аскольду, который уже начал впадать в отчаяние.

— Что просите? — произнес он, сдерживая радость.

— Рублей не нужно.

— Как? — из Аскольда вылетели остатки винного духа.— Тогда что же?..

— Я не могу вернуться так... На пароход, раздетый — это нехорошо. Это нельзя. Я возьму у вас пиджак.

— Меняться? С великим удовольствием! — Аскольд тотчас спустил с плеч свой пиджачок, но немец удержал его.

Вдали быстрым шагом пересек аллейку одинокий прохожий в плаще. И где-то еще дальше сонно бубнили два пьяных голоса. Они умолкли, и сквер затих совершенно. Аскольд слышал только свое дыхание, расправившее грудь.

Немец толкнул его на тропинку, и они побежали, пригнувшись, под холодными каплями, падавшими с потревоженных веток.

Минуту спустя Аскольд забыл обо всем на свете. Куртка на нем! Он затискивал круглые толстые пуговицы в узкие, непослушные петли и шарил взглядом по серой, потрескавшейся стене уборной,— невольно искал зеркало.

— Э, ваш пиджак... — донеслось до него, — извините, он не есть лучший качество...

Немец комкал толстую, в мелкую крапинку ткань, и складки не сглаживались.

Аскольд, сопя, застегнул последнюю пуговицу. Бизнес сделан! Что ему еще надо? Пиджак, конечно, не люкс, из дешевых. Ну, пускай берет рубли в придачу.

Но немец и на этот раз отказался от денег. Он нагнулся, ущипнул брюки Аскольда, неопределенно хмыкнул, потом ухватил воротник его рубашки.

— У вас такой же самый рост,— тихо сказал немец и потянул воротник к себе.

Ишь чего! Кукиш! Поди-ка, достань, вторую такую гавайку! Аскольд вырвался.

— Тс-с-с! — прошипел немец.

Он повесил пиджак на крюк, проворно стянул с себя рубашку и развернул перед Аскольдом. Колыхаясь в тусклом свете запыленной лампочки, рубашка немца становилась то зеленой, то рыжей. Ого, с переливом! Аскольд смягчился. Что ж, коли так — ладно...

Все же он медлил. Жаль было расставаться с пальмами и парусами, отпечатанными хоть и на простом поплине, но не где-нибудь, а в Маниле.

— Быстро! — выдохнул немец.

Подпрыгивая на грязном полу, он сдергивал брюки. Тотчас запрыгал и Аскольд. Порыв ветра проник в уборную. Кольди судорожно схватил брюки немца.

— Быстро! — повторил тот.

— Йес, — машинально выдавил Аскольд. Колени его дрожали, от холода или от волнения. Хотелось поскорее убраться отсюда. На свежий воздух.

Они вышли вместе. Было по-прежнему тихо. Моряк ударил себя по ляжкам.

— Русский материал, — сказал он, крикнув. — Крепкий русский материал.

Луч фонаря коснулся его лица, и Аскольд заметил, что немец смеется. Но как-то странно смеется, беззвучно и совсем не весело.

А Кольди ликовал. Удачный бизнес наполнил его гордостью. С брюками немец обмишулился. Крепкий! Много он понимает! Были когда-то крепкие... За два года вытерлись, отслужили срок. А эти почти новые, кажется, а главное — модерн, без манжет.

— Гут! — произнес Аскольд, но никто не отозвался. Он поднял глаза. Моряк исчез.

И ладно! Черт с ним!

Сейчас Аскольд слишком занят собой, чтобы думать о чем-нибудь еще. На нем сейчас все-все иностранное. Эта зеленая куртка с молниями, — его куртка. От него пахнет незнакомым табаком. Надо было выманить у немца пачку сигарет. Как-то неудобно теперь курить «Беломор». Голова Аскольда кружится от ощущения острой, неожиданной перемены, наступившей в его жизни. В сущности, он уже не прежний Аскольд Ревякин. Он вроде моряк с заграничного парохода.

Правда, куртка немного широка в плечах, брюки висят сзади мешком, но это чепуха, мелочь. Бражка в Москве умрет, как увидит... Умрет и не встанет!

И ведь до чего ловко... Ни копейки не стоил бизнес. Аскольд распустил молнию на груди, нащупал в кармане бумажник; моряк сам отдал бумажник, вечное перо, ключи от квартиры. Аскольд обшарил все карманы. Нет, и своего не оставил. Аккуратный немец! Чего он испугался, однако?.. Взял да и смылся.

Стало чуточку тревожно. Аскольд в нерешительности поглядел на неоновую вывеску, пылавшую за воротами сквера, высоко над слипшимися комьями мокрых деревьев. Идти в тот же ресторан вдруг расхотелось. Да и поздно... Он повернул за угол и вошел в подъезд гостиницы.

— Девушка! — он небрежно привалился к окошечку администратора. — Не откажите приезжему, имейте сердце!

— Только люксы, — слышит он.

— Люкс? — Аскольд колеблется недолго. — Прелестно, девушка! Люкс!

Девушка смотрит на него настороженно, с суровым любопытством.

— Эх, де-евушка! — тянет Кольди. — Если такая жизнь... По морям, по волнам... Зато уж когда дорвешься до родного берега...

— Вы плаваете?

— Так точно. То есть вообще... — Кольди вспоминает, что у моряка должна быть мореходная книжка. — Вообще связан с морем. Куда прикажут...

Здорово! Куртка словно подсказывает ему, что говорить о себе. Конечно же, он не прежний Кольди. У него новая биография. Она как нельзя лучше соответствует и куртке на молниях, и рубашке с необыкновенными переливами. Правда, не все в этой биографии ясно самому Кольди. Не беда! Таинственность производит впечатление.

Он вынимает бумажник, щедрым жестом взмахивает бумажкой в двадцать пять рублей.

Девушка берет бумажку, но взгляд ее все тот же, и Аскольд наконец не выдерживает. Опустив голову, он роется в бумажнике.

Где же паспорт? Сперва у Аскольда леденеет затылок, потом спина. Паспорта нет. Ни в бумажнике, ни в кармане... Ни в одном из множества тесных, чужих, непривычных карманов нет паспорта.

Не чуя пальцев, он распускает и стягивает тугие молнии. Нет, паспорт был в бумажнике. Да, определенно в бумажнике! Так значит...

Аскольд повернулся и, стараясь не бежать, двинулся прочь от окошка администратора. Едва просвистела за ним вертящаяся дверь, как он бросился бежать по безлюдной, исхлестанной дождем улице, которая — как ему представлялось — должна была привести его к порту.

Задыхаясь, сжимая от злости кулаки, он силился отыскать в памяти хотя бы имя немца. Кажется, Курт... А может, Вильгельм? С какого парохода? «Шип» — вот и все, что он слышал там, за столом...

Эх, беда! Хоть плачь!

10

Солнечные квадраты на стене в кабинете Чаушева давно погасли. Подполковник дольше обычного задержался на службе.

Наблюдение за Саловым продолжается. Он ночевал в пригороде. Снял там комнату на две недели, дал задаток. Ему, видите ли, врачи советуют дышать морским воздухом. Даже осенью... Отдал хозяйке паспорт. Он очень неуклюже замечает свой след, этот так называемый Салов. Прячет голову, а ноги торчат. Вместо того чтобы дышать морским воздухом, сидит дома, словно выжидает...

Между тем о Салове получены новые данные. Это старый, давно заброшенный к нам агент. Кому он теперь понадобился и зачем? Чаушев задал этот вопрос капитану Соколову. Тот ответил пожатием плеч.

Чаушев уже привык к Соколову, к его языку жестов. Говорит он очень мало. Два-три слова — это уже странное рассуждение. В данном случае Чаушев не требовал пояснений, он понял капитана.

Соколов не знает, зачем потревожили Салова. Стало быть, и наверху известно не больше. Ответ может быть получен только здесь в ходе поиска. Именно таков смысл указаний, присланных Москвой.

«Действовать по обстановке» — так звучат эти указания в лаконичной передаче Соколова.

Чаушев расшифровал их сам. Капитану оставалось

только в знак согласия одобрительно молчать, двигая желтоватыми бровями и заодно веснушками на висках и на лбу.

Задержать Салова сейчас — проще простого. Но велик ли толк? Выждать, разгадать ход противника — вот что желательно. Понятно, это рискованно. Можно и прогадать, погнавшись за двумя зайцами...

Соколов вопросительно смотрит на Чаушева, мягко барабанив по столу пальцами.

— Вам решать, — произнес капитан.

Чаушев медлил, взвешивая шансы. Допустим, Салов прибыл сюда в качестве связного. Можно предполагать, что он имел свидание с Шольцем, передал ему почту, если она была... Но он не уехал после этого, остался в городе. Почему? Надеется уйти за кордон? Порт велик, в нем два десятка судов, флаги дюжины государств. Допустим, Салова возьмут на «Орион». Но что если Салов в последний момент выпадет из поля зрения, проскользнет. Правда, охрана границы усилена...

Да, проскользнет, если кордон замкнут неплотно. Если не все лазейки просматриваются. Можно ли поручиться? Ответственность велика, и никто не навязывает ее. Москва не приказывает. Действовать по обстановке, вот и все.

Есть лишь один человек, который может приказать. Это он, Чаушев. Самому себе.

— Пожалуй, попробуем, — говорит он.

Соколов выпрямился на стуле. Он весь потеплел, глаза улыбались, веснушки пылали на его бронзовом лице.

— Попытаемся, — сказал Чаушев тверже.

Трудное решение нуждается не только в доводах логики. Дорого и единомыслие друга. Даже его молчание, такое хорошее, такое понятное...

Соколов ушел, коротко пожав Чаушеву руку. Морщась, подполковник расправил пальцы.

В дверь постучали. Вошел лейтенант Мячин, красный, запыхавшийся, положил перед начальником паспорт. Ревякин Аскольд Леонидович, год рождения тысяча девятьсот сорок четвертый. Штамп с места работы слепой, сплошная клякса. Видимо, не работает...

— Удалось выручить документ, — проговорил Мячин. — Со скандалом...

Мячин очень спешил доложить начальнику о происшествии и от волнения растерял слова.

Курт Шольц, радист парохода «Орион»,— вот кто учинил скандал. Вообще опасный тип... Остальные, хоть и выпили, вернулись на судно тихо, без шума, предъявили часовому свои пропуска... А Шольц, во-первых, явился переодетый. Он обменялся одеждой с фарцовщиком. Мало того, приобрел у этого фарцовщика паспорт. Или у кого-то другого... Пропуска часовому не показал, совал ему деньги, орал, ругался по-русски. Вел себя так, как будто допиллся до чертиков. Хорошо, вышел Мартин, помог усмирить.

Мартина он, видать, боится. Сразу прекратил безобразие, вытащил пропуск. Его увели спать и, должно быть, раздели. Так или иначе, это Мартин вынес паспорт.

— Пропуск у Шольца отнят,— закончил Мячин.

— Правильно,— кивнул Чаушев.

— Пускай посидит без берега,— сказал Мячин.— Охотник за советскими паспортами...

Мячин сказал это потому, что все еще кипел от возмущения. И, кроме того, начальник почему-то слишком спокойно отнесся к событию.

— Охотник? — Чаушев резко вскинул глаза на лейтенанта, как будто оторвавшись от размышлений.— Станный охотник... Добыл паспорт и вопит на весь порт.

Мячин молчал. Он собирался похвалить Мартина, но иронический тон начальника смутил лейтенанта. Начальник, видимо, не в настроении...

Лейтенант поверил Мартину с первой встречи. И теперь Мартин оправдал доверие. Еще бы! Что стоило ему спрятать паспорт? Так нет, он же выдал члена экипажа, вывел на свежую воду этого Шольца, заядлого гитлеровца. А подполковник... Он, кажется, даже не обратил ни малейшего внимания на благородный поступок Мартина.

— Мартин очень извинялся,— сухо и несколько обиженно произнес лейтенант.

— Извиняться они умеют,— услышал он.

Непостижимо! Мячин вздохнул. Нет, начальник явно не в духе. Ну, разумеется, человек старой школы! Их ведь учили возводить недоверие в принцип. Изволь не-

сколько раз доказать, что ты не сукин сын,— иначе ни в какую...

Мартин не только извинялся. Он сказал Мячину полусерьезно: «Фашисты и так ненавидят меня... Не пришлось бы просить у вас защиты... Они же головорезы, Шольц и его дружки». Конечно, это не шутка. Мартину могут отомстить. Об этом-то надо предупредить начальника, какое бы ни было у него настроение.

Мячин не успел начать, как зазвонил телефон.

— Из проходной,— сообщил Чаушев.— Распорядитесь, пускай приведут задержанного.

II

Сидя в проходной порта, Аскольд вытирал кулаками слезы. Как убедить, что он не продал паспорт? Вот он прибежал сюда, заявил о пропаже сам, но вахтеры не жалеют его. Ничуть! Смотрят, как на преступника.

В тюрьме, наверно, такой же бетонный пол, такое же маленькое окошко. Только с решеткой.

— Догулялся, молодой человек,— сказал толстый вахтер, поговорив с кем-то по телефону.— Я в твои годы кирпичи таскал. Кир-пи-чики,— добавил он нараспев.

Вскоре вошел, строго стуча каблуками, солдат с автоматом, низенький, коренастый, очень вежливый.

— Прошу вас,— сказал он тенорком.

«А вдруг расстреляют,— подумал Кольди, глядя на автомат.— А что? Очень просто! Может, новый закон издали...»

Он нервно всхлипнул, солдат, не расслышав, произнес:

— Будьте здоровы!

— На том свете! — отозвался Кольди.

Очутившись в кабинете Чаушева, он меньше всего ожидал увидеть свой паспорт. Он как ни в чем не бывало лежал на столе перед подполковником. От радости, от удивления Аскольд онемел, и Чаушеву пришлось повторить вопрос.

— Имя? Фамилия?

Аскольд сказал,

— Адрес?

Кольди запнулся, но сказал. Номер дома на миг выскочил из головы.

— Место работы?

— Нет, — произнес Кольди.

— А это как понимать? Что тут наляпано? Недавно получили паспорт и измазали...

— Так... Баловались.

— Паспорт, значит, для баловства выдается? Зачем сюда приехали?

— Особенного ничего... Прошвырнуться, — выдавливает Аскольд.

Он уже оправился от страха. Паспорт спасен — это главное. Мрачное видение тюрьмы улетучилось.

— И бизнес устроить?

— Товарищ... Гражданин полковник! — взмолился Аскольд. — Я ни гроша... Мы поменялись просто... Он мне свое, я ему свое...

— И паспорт в придачу.

От взгляда подполковника Аскольду стало холодно. Страхи мгновенно вернулись.

— Ей же богу! Ну вот честное слово!.. Забыл паспорт в кармане, а он... Он и обрадовался, гад! А я не в себе был, выпил, знаете... За это же не судят, я считаю...

— По головке не гладят.

— А что я сделал? — встрепнулся Аскольд. — Ладно, сажайте! Мой отчим так не оставит... Мой отчим в министерстве, так что имейте в виду...

— Ах, вот что!

До сих пор юнец был жалок, даже смешон. Чаушев был склонен пожалеть его. Несчастный мальчик с неразвитым умом, выращенный как-то вне труда, — на меже, сорнячком. И вдруг — «мой отчим в министерстве». Он выложил свой последний козырь и сразу скис, но угроза в его словах была слишком ясна. Тунеядец попытался укусь.

Попробуй перевоспитать такого! Увы, не каждый обладает талантом Макаренко. В тюрьму этого хлюста покамест не посадят. Но трудиться заставят!

— Вас даже не интересуется, кто позаботился отыскать ваш паспорт! — говорит Чаушев. — Кого вы должны благодарить.

— Вас, надо думать...

— Блестящая сообразительность!

В старину таких оболтусов пороли. Снимали штаны и пороли. Розгами или ремнем. В некоторых случаях и сейчас помогло бы такое лекарство. Сдерживая раздражение, Чаушев велит Ревякину рассказать все как было, по порядку.

Потом Чаушев выясняет, в каких условиях живет Аскольд, что за семья, чем занимаются. Далеко не все войдет в протокол этого допроса. Но подполковник хочет знать больше, как можно больше.

Аскольду восемнадцать лет, он ровесник сыну Чаушева Алешке. Нелепо, конечно, сравнивать их. Алешка умница, кончил школу с пятерками, работает на заводе, строит телевизоры, поступает на заочный электротехнический. Да, к счастью, непохож на этого...

Но раз ты отец, отношение твое к восемнадцатилетним, к однокласскам сына, не замкнешь в рамки служебного. Вот и сейчас... Вспомнился утренний разговор с сыном за завтраком. «Подкинул бы мне, папка,— просил Алешка.— На мягкость».

Алешка сам решил отдыхать на собственные деньги. Слово дал не брать у отца...

Чаушев еще раз оглядывает Аскольда Ревякина. Сидит, раскинув колени, нескладно. Лицо испуганное и вместе с тем злое. Экий недоросль! Видно, с детских лет не было ему запретов. Все разрешалось. Правда, отец не родной... Что ж, иногда пасынка балуют еще пуще, опасаясь попреков со стороны разных кумушек.

Подполковник нажал кнопку. Ревякина, дрожащего и побледневшего, увели.

Чаушев придвинул блокнот, написал официальное письмо в Москву, в прокуратуру. Вызвал дежурного офицера, приказал немедленно отпечатать и послать.

И снова — хоть ничем не похож Ревякин на Алешку — мысли вернулись к сыну. Никаких поблажек! Пусть жена считает тираном, самодуром, кем угодно... Рано Алешке ездить в мягком. Молод еще!

— Пакет, товарищ подполковник,— раздается голос дежурного.— От Соколова.

— Что там?

— Печально, товарищ подполковник. Салова потеряли. Ускользнул от наблюдения в двадцать два сорок, в Ивановке.

Чаушев взглянул на часы. «Пятьдесят четыре минуты назад»,— подсчитал он машинально и представил себе Ивановку, заброшенный хутор, территорию будущей стройки. Пустыри, прохудившиеся сараюшки, штабеля леса, кирпичей, а дальше, к морю,— кустарники, болотца, волны камышей. Он догадывался, как это случилось. Старый разведчик, до сих пор особенно не затруднявший своих преследователей, вдруг взял да и сбил их со следа. Припомнил, чему его обучали...

Скверно! Теперь все зависит от пограничников. Чаушев подумал об этом спокойно, он всегда приучал себя готовиться к самому трудному.

Салов еще доставит хлопот!

12

В это же время Йосивара Кацуми— по паспорту Харитон Петрович Салов— сошел с топкого, травянистого берега и погрузился в студеную сентябрьскую воду.

До сих пор все складывалось как нельзя лучше. Правда, вчера он порядком перетрусил. Сдали нервы...

На улице, ведущей к порту, в витрине книжного магазина ему бросилась в глаза соломенная сумочка. Японская сумка— почти такая же, как у учителя Хасимото,— на обложке альбома. Кацуми смотрел на нее и терялся в догадках: как понять это предзнаменование? Он вдруг почувствовал себя в преддверии родины. И уже уносился к ней мысленно... Как вдруг увидел совсем рядом, у самого плеча зеленый погон пограничника. Это было слишком неожиданно. И Кацуми вздрогнул. А затем похолодел от страха. Конечно, выдал себя! Солдат заметил...

Нет, Кацуми не суеверен. Он не признает ни амулетов, ни примет. Майор Сато отвергал их. По его мнению, эта дребедень только мешает разведчику. И, однако, Кацуми не мог забыть соломенную сумку. Быть может, боги, которых он почти забыл, подали ему некий знак...

На мосту, над темной водой, свистит ветер. Кацуми ежится. Соломенная сумка вспоминается, как диковинный сон. Может, ее и не было...

Длинная, неяркая улица, оглашаемая лязгом трам-

ваев, повела его к окраине. Переулки, спускавшиеся к реке, словно вбирали темную, осеннюю воду и огни порта, сверкавшего на той стороне. Где-то там должен быть «Орион». Кацуми еще не видит его. Тревога томит его, он почти бежит. Наконец улица вывела на набережную. «Орион» там, напротив. Кацуми перевел дух. Вон зеленый огонек, зажженный для него в иллюминаторе, третьем от носа...

Броситься туда! Нет, здесь нельзя.

За чертой города, в густом кустарнике, Кацуми разделся, достал из чемоданчика снаряжение и закрепил на себе. Зубы от холода стучали. Отхлебнул спирту из фляжки. Сделалось теплее. «Орион» мерцал теперь издалека, но зеленый огонек по-прежнему звал Кацуми.

Неужели он скоро будет там, в безопасности! И вернется на родину! Соломенная сумка, неожиданная, удивительная весть! Она как будто обещает: да, земля предков готова принять тебя, Йосивара Кацуми!

В созвездии огней на «Орионе» вдруг прорезался провал. Свет на палубе выключен. Пора! И тут Кацуми охнул, — схватило печень. Как назло! Но выбора нет, надо пересилить боль. Бранясь, он тер правый бок, тер с яростью, хотя сознавал, что это бесполезно. Придется терпеть. Сдерживая стон, он тихо оттолкнулся от берега и поплыл. Ледяная вода усилила боль, и теперь не один зеленый огонь, а множество их замигало, закачалось перед глазами.

Прошла вечность, прежде чем он схватился за штормтрап. Отыскал ногой скользкую ступеньку, подтянулся. Расставшись с водой, он вдруг стал тяжелым, Кацуми чуть не упал навзничь. Последним усилием удержался, полез, одолевая страшную тяжесть своего очень постаревшего, истерзанного болью тела.

Чьи-то руки подняли его, он повис, потерял сознание. Очнулся на палубе.

Его куда-то повели. С невероятным трудом он поднял ногу, чтобы переступить через высокий, непомерно высокий порог. В душном полумраке каюты он опять впал в забытие. Затем почувствовал, что сидит на койке голый. Ему разжимают рот, суют горлышко бутылки.

По телу вместе с теплом разлилась отупляющая сонливость. Тянуло лечь, но чья-то рука — жесткая, сильная — мешала ему.

— Вставайте! — услышал он.

— Нет, — бормотал Кацуми. — Нет... Не могу...

Тогда человек, державший Кацуми, вяло ударил его по щеке.

— Встаньте! — услышал Кацуми. — Одевайтесь! Ну, живо!

— Хорошо... Сейчас...

Еще удар. Во рту стало солоно. «Кровь», — догадался Кацуми. За что его бьют? Он закрыл лицо ладонями.

— А ну, скажи по-японски!

Ах, вот в чем дело! Этот моряк, который бьет его, говорит по-японски. А он, Кацуми? Только русские слова приходят на память, а японские... Он почти в Японии и может, даже обязан отвечать по-японски. А то подумают бог знает что...

Кацуми мычит. Неужели он забыл свой язык? Он же повторял про себя пароль.

Сказать хотя бы пароль...

— Соломенная сумка, — выдавливает он, глотая соленую слюну. — Нож.

— Простите, господин Йосивара, — слышит он. — Вам необходима была встряска.

— Да, да...

— Одевайтесь... Скорее...

Пальцы одеревенели. Застегнуть пуговицу — исполинская задача. От усилия кружится голова. Холщовые матросские брюки слишком велики. Высокий грубо, рывком затягивает на Кацуми ремень.

— Меня зовут Курт, — слышит Кацуми. — Я знал вашего начальника, майора... майора...

— Сато, — говорит Кацуми.

— Да, покойный майор Сато. К сожалению, он был скрытен. О вас мы узнали только после его смерти.

Майор Сато умер? Эта весть не сразу проникает в сознание. Вместо того чтобы выразить сожаление, Кацуми спрашивает:

— Когда мы отплываем?

Даже эта простая японская фраза дается ему не без труда.

— Завтра, — слышит Кацуми.

Курт ведет его по коридору, затем вниз по лестнице, потом еще ниже, по другой лестнице, гулкой, железной. Тепло машинного трюма обдает Кацуми. Теперь оба

в котельной. Большой ящик стоит между котлами. Курт поднимает тяжелую дощатую крышку.

Кацуми смотрит на комки пакли, на грязные тряпки с желтыми пятнами смазочного масла. Оно еще местами не высохло. И туда надо лечь ему, Кацуми, самураю по крови! И зачем? Разве за ним погоня?

Все равно... Лишь бы лечь.

Курт ушел, велел лежать тихо, откликаться только на его голос. Кацуми вытягивается. Промасленные тряпки охватывают его, как компресс. «Здесь по крайней мере тепло,— думает он.— Но неужели погоня?..» В следующую минуту Кацуми извивается от нового приступа боли.

Проклятье! Это все Настасья. Она приучила его к жирной пище. Пельмени, сало,— убийственная русская еда. И вот — испорченная печень... Надо было попросить лекарства у этого немца. Впрочем, откуда у него... Драться-то он умеет... Как было бы чудесно сейчас в своей постели.

Настасья дала бы ему капель. У нее всегда было наготове все, что нужно.

Боль долго не утихает. Мысль о погоне, угрозы Курта — все захлестнуто, затоплено болью. Кацуми не испытывает сейчас страха ни перед Куртом, ни перед русскими. Пускай приходят. Ему все равно.

Сквозь горячую пелену боли смутно доносятся чьи-то шаги. Странно, Кацуми никого не заметил тут... Должно быть, вахтенный кочегар. Он тихо напевает и скребет напильником по металлу.

— Палома миа-а-а,— поет кочегар.

Кацуми невольно напрягает слух. Боль немного разжала свою хватку. Присутствие незнакомого человека тревожит Кацуми, не дает пошевелиться, вздохнуть полной грудью.

— Ла кукарача, ла кукарача,— поет кочегар.

Песню обрывает лязг железа. Кацуми переводит дух. Он успокаивает себя. Здесь он у своих. Курт уже позаботился, надо полагать...

Кацуми заставляет себя думать о майоре Сато. Необходимо хотя бы в мыслях воздать должное бывшему начальнику. Ведь не кто иной, как Сато, поставил его на след учителя Хасимото, благословил для карьеры, так успешно начавшейся. Весьма прискорбно, что господина

майора Сато нет в живых. Кто же там еще помнит его, Кацуми?

Э, там видно будет. Пока что он лежит в ящике, под крышкой, как в гробу. На грязных тряпках. «Орион» отчалит завтра. Только завтра...

13

В кабинете Чаушева стрелка часов приблизилась к двадцати четырем. Это старые судовые часы. На деревянном корпусе, на листке жести надпись с твердым знаком — «Ретвизанъ». Давным-давно собирался Чаушев спросить, что это был за корабль — «Ретвизан». И что означает название. И постоянно забывал.

— Донесение, товарищ подполковник, — слышит Чаушев. — Насчет «Ориона».

— Что там?

— Затемнение, — усмехается офицер.

Погасли огни на главной палубе. В двадцать три сорок семь. Заметил один из часовых.

Чаушев встает:

— Пойду погляжу.

Нет ничего хуже ожидания. В четырех стенах, у молчащих телефонов.

Он с наслаждением вдыхает прохладный воздух. Темно, ветрено. Редкие звезды тонут в бегущих облаках. Часто, словно задыхаясь, бьют о стенку невидимые волны. Раскачивается топовый огонек буксира. В открытом море, верно, штормит.

Затемнение! Что ж, возможно, экономят аккумуляторы. Команда вся в сборе, к чему лишняя иллюминация. «Да, да, представьте, и на «Орионе» экономят энергию, как и всюду», — мысленно говорит Чаушев, стараясь сохранить хладнокровие. И все же ускоряет шаг.

На причале ветер сильнее. Море, буйное, осеннее море грохочет совсем близко. Устье реки, скованное бетоном, наполнилось гулками отзвуками шторма, разыгравшегося за волнорезом. Флаги на мачтах взрываются, как хлопушки. Где-то в темноте скрипит, раскачиваясь, якорная цепь. «Шесть баллов», — возникает в памяти Чаушева. Это из сводки погоды. Да, кажется, из сегодняшней...

Шесть баллов — не очень много. Выходить в море допускается.

— Ой, извините!..

Лейтенант Мячин, вынырнувший из-за пакгауза, едва не столкнулся с начальником.

— Еще что-нибудь?

— На «Орионе»...

Эх, до чего же лейтенант мямлит! Когда же он научится докладывать коротко, четко? Самую суть!

— На палубе? — переспросил Чаушев и почувствовал, что почти бежит рядом с Мячиным. — Но ведь на палубе темно.

— Темно, товарищ подполковник. Часовой хорошо не разглядел. Говорит, мелькнуло что-то. Будто кошка хвостом...

— Кошка?

Чаушев любил меткие солдатские словечки. В другое время он посмеялся бы, сейчас недовольно отмахнулся. Если бы он мог разобраться в себе, он понял бы, усилилось впечатление от какой-то нереальности, нарочитости происходящего. Тень на палубе!.. Кажется, был такой фильм? Нет, «Тень у пирса».

Ходят же по палубе! А часовому почудилось, влез кто-то... По штурмтрапу! Мало ли что мерещится в темноте. А света нет потому, что берегут аккумуляторы. «Вот и вся история», — жестко сказал он про себя. А вслух, Мячину, бросил на ходу:

— Кто заметил? Павлюков?

— Да.

— Он мастер фантазировать.

В действительности Чаушев вел бой с собственным воображением.

«Нет, — твердил он себе, — нечего надеяться, что Салов на «Орионе». Так бывает только в фильмах. Наскандалили, устроили кутерьму с переодеванием, с паспортом... Да еще пассажира взяли на борт! Выходит, сами указали, где его искать... Нет, такие дела делаются тихо. Если Салов и вправду на «Орионе», то странные у него хозяева...»

— Мигом узнаем, — весело говорит Мячин.

Он составляет в уме английские фразы. «Нам очень жаль, мистер Мартин. К сожалению, мы вынуждены вас потревожить. Вы, вероятно, спали?»

Встреча с Мартином радует лейтенанта. Сейчас начальник увидит, какой славный парень Мартин. Как он приветливо встречает пограничников, как старается помочь... Чаушев поймет в конце концов! Работники Клуба моряков, те прямо очарованы Мартином. Естественно! Он и какой-нибудь Шольц — это же два полюса.

Вообще приятно найти такого человека среди заурядных морячков, у которых на уме выпивка да девчонки. Мартин интеллигентен. Это весьма существенно для Мячина. С Мартином можно побеседовать о литературе, о живописи, о самых прекрасных вещах.

Фашисты угрожают ему. Шольц и другие... Еще бы! И снова рисуется Мячину волнующая картина: Мартин, раненый, бежит по сходням на советский берег. Падает на руки к нему — Мячину...

Сейчас, ночью, Мячин видит это еще отчетливей. Ночной порт фантастичен. Проулки между пакгаузами исчезают в темноте, порт раскинулся гигантским лабиринтом. Краны вонзаются в черное, облачное небо, они тоже как будто выросли.

«Орион» дремлет, привалившись к бетонной стенке. На палубе ни души.

Офицеров встречает заспанный боцман — дюжий голландец в мохнатом свитере. Потертый ворс торчит колючками, пахнет овчиной. Боцман сообщает, что капитан нездоров. За него мистер Мартин.

— О, здравствуй-те!

Мартин громко, по слогам произносит русское слово. Это доставляет ему явное удовольствие.

— Разбудили вас? — спрашивает Мячин.

Мартин не ложился. До сна ли тут, с таким народом! Дорвались до водки и наглупили. Мартин просит прощения, — некрасиво получилось с тем молодым франтиком.

— Причинили вам беспокойство, — вздыхает Мартин. — Жаль, очень жаль!

Мячин переводит.

Ему хочется блеснуть перед начальником. Подполковник хорошо говорит по-английски, оценить сумеет.

Узнав о цели визита советских офицеров, Мартин недоумевает. Нет, насколько ему известно, никого на борт не принимали. Однако он был в своей каюте...

— Ручаться не могу... Того и гляди матросня выкинет что-нибудь.

Разговаривая, все трое обходят пустынную палубу. Чаушев на судне как дома. Дальше морской границы не плавал, а изучил торговые суда до мелочей, словно бывалый моряк, просоленный на всех широтах.

На палубе лежит штормтрап. Мячин нагибается и чуть трогает пальцами дощечку. «Белоручка,— думает Чаушев.— Не догадался, что дерево сохнет быстро...» Он опускается на колени и ощупывает тросы, на которых держатся ступеньки.

Трап мокрый! Чаушев объявляет это вслух, и Мячин переводит.

Мартин в испуге падает на колени. Он встревожен, руки его нервно мнут трос.

— Да, да, вы правы... Черт их дери! Покоя нет с ними, господа!

— Почему на палубе нет света? — спрашивает Чаушев.

— Приказ второго помощника. Слабоваты аккумуляторы. Хотя... Да, я не удивлюсь... Второй помощник,— Мартин понижает голос до шепота.— он немец из Гамбурга, с запада, закоренелый гитлеровец. Радист — той же масти. Я прошу, господа... Я настоятельно прошу вас осмотреть судно.

— Придется,— говорит Чаушев.

— Пожалуйста! Представьте себе мое положение. Фирма требует, никаких конфликтов в советских портах! Фирма надеется развивать торговлю с вами, пустить еще суда на линию... Мне фирма специально поручила следить за порядком. Я бы выгнал нацистов, будь моя воля. С греками лучше, но тоже... Глаз и за ними нужен...

Мячин переводит и поглядывает на Чаушева с торжеством. Каков Мартин!

— Я не коммунист, о нет! — продолжает четвертый помощник.— Но я за... со-существование...

— Очень приятно,— кивает Чаушев.

— Очень, очень приятно,— переводит Мячин.— Все бы так рассуждали, как вы!

— Начнете сейчас же?

— Да.

— Отлично, господа. Прошу вас!

Всего несколько минут требуется лейтенанту, чтобы сбегать на берег, вызвать солдат. Приказ надо выполнять быстро, это он усвоил еще в училище. Сейчас Мячин ног под собой не чувствует. Мокрый штормтрап заинтриговал его.

То, что для Чаушева — дело обычное, для новичка Мячина — событие. Досмотров в его служебной биографии еще немного. Задача до сих пор кажется ему огромной, почти неразрешимой. «Орион» возвышается у причала, словно четырехэтажный дом. Но в доме все куда проще! Мячин назубок выучил устройство морского судна, в любое время — хоть ночью подними — ответит на пятерку. И каждый раз его удручают бесконечные коридоры, трапы, каюты, кладовые и всякие закоулки, — то ли для матросских роб, пожарных шлангов, инструментов, то ли для контрабанды...

Досмотр — это всегда вызов смекалке. Стенные шкафы, каморки в боцманском хозяйстве, размещающиеся в носу, или, скажем, проходы и пустоты между тюками, ящиками, кипами груза в трюмах, — какой учебный плакат укажет все это!

«Орион» — судно не новое. Простой грузовоз, морской работяга, исхлестанный штормами. Красотой убранства он не блещет, заплат не стыдится. Не заботился он и о том, чтобы аккуратно закрасить следы перестроек, а их было, видать, немало. Лейтенанту приходит на память большой деревенский дом на Ярославщине, где он в детстве проводил лето с родителями и, бывало, отправлялся на поиски неведомого по скрипучим деревянным лестницам, по чердакам и мезонинам летней половины и зимней. Запах мяты, ромашки, печной гари, сухих дощатых перегородок...

Здесь, на «Орионе», пахнет машинным маслом, морем. Но и тут путешествие в неизвестность. В каюткомпании, увешанной фотографиями судов-собратьев, принадлежащих фирме, Мячин поднял ковровую дорожку. Однажды на чистом, добротном пароходе, приписанном к Бремену, пузатом, как немецкий бюргер, под ковром скрывали тайник, набитый женскими сорочками, чулками...

Досмотр длился всю ночь. Неотступно сопровождал пограничников Мартин. Он открывал все двери, лучом карманного фонаря шарил и в недрах трюма, застав-

ленного тюками льна, бутылками с рыбьим жиром, машинами.

В котельную вошли под утро.

Пино Лесерда еще не сдал вахту. Его разморило, и он, чтобы не заснуть, напевал «Кукарачу». Увидев пограничников, он перестал петь и с веселым любопытством уставился на них.

Мартин заметно устал. Он уже не упрашивал офицеров смотреть как можно внимательнее, не сетовал на нацистов, с которыми трудно, ох как трудно плавать! Но в котельной Мартин оживился.

— Вот наш артист,— сказал он, потрепав по плечу Пино.— Вы не знакомы? Концерты дает в клубе... Слушай, Пино, ты никого не прячешь тут?

— Бог с вами, мистер Мартин!

— И ничего не заметил подозрительного?

Пино всплеснул руками.

— Дева Мария! Что-нибудь стряслось?

При этом Пино изобразил такое блаженное неведение, что Мячин, несмотря на серьезность положения, засмеялся. А Чаушев улыбнулся, встретившись с угольно-черными глазами Пино, лукавыми и умными.

— Стряслось? — Пино подбежал к Мартину.— Да? Я не спал, мистер Мартин, клянусь богом! Разве что одну минутку... У меня тут все в порядке, мистер Мартин. Пусть меня разорвет на части...

Мячину стало тревожно. Где же еще искать? Пино, конечно, не врет. Что же, начинать досмотр сначала? Но через несколько часов «Орион» должен покинуть порт. Задержать судно — значит расплачиваться валютой. За это не похвалят...

Лейтенант обернулся к Чаушеву. Подполковник не двигался. Он смотрел то на Пино, то на Мартина.

Мартин расхаживал по котельной. Он нетерпеливо помахивал маленькой верткой головой. Охваченная шлемом прилизанных, плотных, блестящих волос, она неистово сверкала. Руки мистера Мартина, закинутые по обыкновению за спину, тоже находились в движении. Пальцы выделяли замысловатые вензеля, и Пино следил за ними.

Следил пристально...

Мячин напрягся, он смутно почувствовал, что каждый из этих трех людей к чему-то готовится.

— Ума не приложу, мистер Мартин,— снова зазвонел голос Пино.— Тут и не спрячешься... Разве что здесь,— он пнул ногой ящик, чернеющий в закоулке между котлами.— И зачем только радист Курт повесил замок? Чудеса, мистер Мартин! Ящик никогда не запирался, насколько я помню...

Мячин увидел большой замок вроде тех, что висят на деревянных амбарах. Замок качался на скобе, чуть поскрипывая, словно поддакивал кочегару, и чувство ожидания, томившее Мячина, стало еще острее. Он сорвался с места, подбежал к ящику и потрогал замок.

— Это интересно, Пино,— раздался сзади голос Мартина.— Надо открыть. Ну-ка!..

— Ключ у радиста, сэр.

— Как, он не дал тебе?.. Что за чертовщина! Сбегай, быстро!

Пино опрометью кинулся из котельной. Мартин сказал, что Пино парень талантливый, но с придурью, как многие артисты.

Мячин машинально перевел.

Чаушев рассеянно кивнул.

«Пино не вернется,— подумалось вдруг Мячину.— Чем бы взломать ящик?» Он отогнал нелепую мысль, но все-таки огляделся и заметил железный брус, мерцавший в углу. Мячин шагнул туда, поднял брус и взвесил его рукой, и в этот момент брызнули по трапу каблуки Пино.

— Отпирай! — приказал Мартин.

Взвизгнули ржавые петли, и Мартин отскочил. Что-то шуршащее, мягкое посыпалось из ящика на пол, к ногам Мартина. Остальное мешала видеть его спина.

Мячин тоже застыл на месте, глядя на рассыпавшиеся тряпки. Потом он поднял глаза и вздрогнул.

В затхлом, удушливом жару котельной вдруг всплыло мертвенное, бескровное лицо. Человек медленно поднял руки. Похоже, кто-то сверху, за невидимые нити вытягивает его — дрожащего, дряблого, с колючей щетиной на обвисших щеках. Ветхой, захватанной куклой показался он Мячину. Куклой в странном, зловещем спектакле...

Ощущение спектакля возникало у Мячина и раньше. Слушая Мартина и Пино, он улавливал иной раз некую

искусственность,— как будто они не просто разговаривали между собой, а подавали заученные или нарочно придуманные реплики. И вот опять все сделалось нереальным, зыбким. Нет, такого Мячин не мог себе представить, хотя и ждал, мучительно ждал чего-то...

Голос Чаушева, громкий и повелительный, вернул Мячина к действительности.

— Отведите нарушителя... И положите это...

Так как Мячин не понял, что именно надо положить, Чаушев отнял у него железный брус и спокойно поставил на прежнее место, в угол.

Нарушитель все еще топтался в ящике. Он попытался выйти, запнулся о стенку и пошатнулся. Наверное, он упал бы, если бы его не подхватили солдаты.

Мартин охрип от негодования. Он метался, сжимая ладонями виски:

— Позор! Я вне себя, господа офицеры! Чудовищно! Я говорил вам, шайка нацистов!

И тотчас зазвенел тенорок Пино:

— Кто же это, мистер Мартин? Святая дева Мария! Ах да, ведь вы предупреждали меня... Вы даже заставили меня лечь в ящик, чтобы проверить, можно ли здесь спрятаться. Значит, Шольц запер пассажира, да? — Пино нервно засмеялся. — А зачем же вы...

— Ты что там мелешь? — Мартин сжал кулаки и шагнул к Пино.

Чаушев подался вперед. Еще мгновение — и он встал бы между ними. Мячин почувствовал это. Но Мартин разжал кулаки.

— Я не возьму в толк, мистер Мартин, — опять слышался настойчивый тенорок. — Вы же сами велели опустить штормовой трап. Я своими ушами слышал. Вы сами приказали боцману...

Наступило мгновение полной, оглушающей тишины. В ней слабо, как будто издалека, поднялся другой голос — Мартина:

— Актер, господа! Чего вы хотите, вечно выдумывает!

Солдаты уже вывели нарушителя. Мячин задержался в дверях.

— По-моему, господин Мартин, — отчеканил Чаушев довольно чисто по-английски, — вы сами неплохой актер.

В ту же ночь Иосивара Кацуми, сопровождаемый конвойными, вошел в кабинет Чаушева.

Кацуми не испытывал ни тревоги, ни страха. Он пребывал в оцепенелом безразличии. Печень уgomонилась.

Кончилось и сердцебиение, донимавшее его там, в ящике. Внутри у Кацуми все как-то непривычно онемело, как будто и нет больше сердца и печени. Как будто тряпье из котельной — с пятнами сажи и машинного масла — в нем самом...

Спокойно смотрел Кацуми на Чаушева. Советский подполковник, в котором воплотилась неумолимая судьба, даже нравился Кацуми. Подполковник во всяком случае поступает честно, не то что те, на пароходе... Низкие обманщики!

Сейчас нет у Кацуми злобы и против тех, кто его заманил в ловушку и выдал. В конце концов они — тоже судьба. От нее не уйдешь.

И Чаушев видит судьбу Иосивара Кацуми, вглядываясь в лицо нарушителя, освещенное настольной лампой. Старый убийца, давно отслуживший свой срок!

На что он рассчитывал? Там, за Уралом, в своей многолетней засаде... Неужели мечта о карьере не угасла в нем? Этот человек, — изглоданный болезнью, — тянулся к ножу...

— Вы понимаете теперь, как с вами поступили? — спрашивал Чаушев. — Вами решили пожертвовать, как пешкой... Как пешкой в игре.

— Понимаю, — отвечает Кацуми.

Губы его едва шевелятся. Да, он, вероятно, усвоил. Однако трудно определить, какое впечатление произвела на него эта истина.

Чаушев не обязан объяснять нарушителю, кто и с какой целью выдал его.

Параграфы предварительного допроса как будто исчерпаны. Но Чаушеву почему-то всегда бывает тесно в этих официальных рамках.

— Точно, точно, — кивает Кацуми.

Чаушеву странно слышать неторопливую сибирскую

речь, слегка на «о». Можно подумать, говорит кто-то другой, а Кацуми только вяло шевелит бескровными губами.

Когда Курт ввел его в каюту, чей-то голос окликнул немца и он ответил «яволь», стало быть — да. По-военному, как отвечают начальнику. Теперь Кацуми может сказать точно, — за дверью был Мартин. Его был голос...

Для Чаушева это лишь новое звено в цепи событий и без того достаточно ясных.

На миг возникло перед ним растерянное лицо Мячина.

«Вы знали? — спросит он. — С самого начала?» Вот когда можно предстать в глазах подчиненного таким чудо-разведчиком, всеведущим и вездесущим! Чаушев улыбнулся. Уж этого он никогда не жаждал. Правда, ему еще утром приходило в голову, что Мартин маскируется и, следовательно, предпочтет действовать чужими руками.

И вскоре они обнаружились — эти чужие руки. Курт, известный всем в экипаже как заядлый нацист, выступал в открытую.

Две роли в одной игре...

Смысл ее не сразу открылся Чаушеву, хотя он и ломал голову: для чего мог понадобиться Кацуми, битая фигура? Когда Чаушев спешил к «Ориону», разгадка уже складывалась в уме, но он — противник поспешных выводов — разрушал ее без сожаления. Пока не наступил на штормтрап...

Он мог бы висеть за бортом. Так нет, вытащили, бросили на палубу, прямо под ноги советским пограничникам.

Извольте, пощупайте! Мокрый!

Штормтрап, оставленный так небрежно в проходе, поперек палубы, — это же позор для судна! Непозволительное упущение! Тут Мартин переиграл свою роль. Мячин, милый, прекраснодушный Мячин, еще непривычный к человеческой подлости, не заметил нарочитости.

Мячин восхищался: Мартин сам просит пограничников обыскать судно. Сам!

А нарочитость была в глаза. В ней уже нельзя было сомневаться.

И еще один промах допустил Мартин, роковой промах,— решил использовать Пино, казавшегося таким простачком. Но Пино раскусил и Мартина, и Курта, всю их затею.

Пять лет прошло с тех пор, как Мартин попался с чужим пропуском.

Тогда он, вероятно, просто хотел проверить, хорошо ли у нас охраняется граница. Проштрафился,— и вот пожаловал опять. Небось подучили его. Пять лет, как видно, не пропали даром. Операция задумана не глупо. Даже очень не глупо...

Милый, доверчивый Мячин поддался. Сердиться на него нельзя. В сущности, своим сияющим видом он помогал Чаушеву, подтверждал его догадки. Мартин и добивался доверия.

Доверия на нашей земле! Мало ли какую дверь может открыть золотой ключ — доверие!

Начальство Мартина не пожалело затрат. Хотя, впрочем, Кацуми, агент, вышедший в тираж,— не ахти какая большая ценность.

Да, пешка, ступень для другого, помоложе. Для новой шахматной фигуры, выдвигаемой на намеченный квадрат. На какой — нет смысла гадать. Кацуми этого не расскажет.

Чаушев мысленно оценивает план противника. Предусмотрено многое. То, что Кацуми нам известен, там допускали. И также то, что нас заинтересует его странная миссия и мы позволим ему добраться до порта. Если бы Кацуми и не попал на «Орион», Мартин не огорчился бы. Только тогда трап болтался бы за бортом. И Мартин показал бы его,— полюбуйтеся, мол, Шольц и компания готовы принять кого-то... Это совпало бы с показаниями Кацуми, направленного на «Орион». И в этом случае Мартин — герой, друг нашей страны.

Но, конечно, самое эффектное — выдать Кацуми живьем! Мартин из кожи лез... Чего доброго, сочинил бы, что его преследуют, запросил бы политического убежища... Да мало ли...

Игра требовалась тонкая. Надо было и привлечь нас к «Ориону», и в то же время отводить наше внимание от Кацуми, облегчить ему путь к судну. Тут и пригодился Аскольд Ревякин. Шольц ловко использовал его,—

переоделся и устроил дебош у сходней. Оказался кстати и паспорт Ревякина, лишний козырь для Мартина.

Все это проносится сейчас в уме Чаушева. Он вправе подводить итоги, — Кацуми выложил, вероятно, все. Чаушев дал ему время подумать, — авось припомнит еще какую-нибудь подробность.

Кацуми сидит прямо, без вдоха, без жалоб, чуть опустив голову, как будто ждет нового удара судьбы. Что у него в душе? Чего доброго, воображает себя доблестным воином, пострадавшим за императора.

Кацуми улавливает нетерпеливое движение Чаушева. Сухие губы разжались.

— Гражданин подполковник, — опять слышит Чаушев степенную сибирскую речь. — Тут, в этой стране, я ни в чем худом не замешан, однако. Я служил... Проживал безобидно... Перед вами я невинный.

— Вы уверены? — сказал Чаушев.

— Будьте любезны, запросите нашу организацию... Сепараторы по моей вине не стояли.

— Сепараторы?

— На молокозаводах.

— Ах да... Что же дальше?

— Здоровья у меня почти не осталось. Здоровья, по существу, в наличии ноль. Как вы мыслите, отпустят меня к своим?

— На родину? Решать буду не я. А как я думаю? Что ж, могу сказать. Мы знаем все ваши дела. И каждый ваш шаг здесь, в этом городе, тоже известен. Вы встретились в доме номер восемнадцать с Шольцем. Так? И вручили ему...

Кацуми закашлялся.

— О-о-х! — простонал он. — Ничего я не вручал... Он отнял у меня ладанку с родной землей... На пароходе отнял.

— Бросьте! Шольц нам все рассказал. Ваша ладанка у нас, земля там не японская, а советская. Проба земли, нужная тому, кто интересуется нашим атомным вооружением. А ваши прежние дела в Японии, думаете, они нас не касаются? Ошибаетесь! Взять сегодняшнее... Тот кочегар на пароходе, он ведь не русский, он первый раз у нас. Какое ему дело до вас, до Шольца, до Мартина? Нет, как видите, и его касается...

Чаушев видит, как все ниже опускается голова Иосивара Кацуми, убийцы, одряхлевшего в засаде.

— Мое отвращение к таким, как вы... оно не только мое, поймите вы!

Чаушеву хочется сказать как можно яснее, что гнев против убийц не ограничен рубежами государства, не зависит ни от языка, ни от цвета кожи.

Разумеется, и это не для протокола. Но есть на свете истины, святые истины, которые и не нуждаются в бумаге. Они запечатлены в сердцах.



КРАСАВЕЦ

Тео





Подполковник Чаушев стоял на стремянке и снимал с верхней полки ветхие, пропылившиеся фолианты. Я не сразу заметил его в полумраке на фоне тусклых корешков, над воскресной толкотней в магазине старой книги.

— А! — откликнулся он. — И вы сюда заходите?

Меня привлекли сюда не только книги. Я знал, где можно застать Чаушева в выходной день.

Некоторое время мы вместе рылись в букинистических залежах. Я ничего не выбрал себе, а возле Чаушева выросла порядочная стопка находок.

Сборник стихотворений Жуковского, напечатанный в 1835 году, не удивил меня, — ведь Михаил Николаевич собирает первые издания. Но вот каталог французского фарфора. Это-то зачем ему? Вот еще «Гербы городов» — тяжеленный немецкий том...

— Люблю всякие справочники, — сказал Чаушев. — Вдруг пользу извлечешь... А впрочем, коллекционера не спрашивайте, он и сам понять не может, что за страсть его грызет.

Мы вышли вместе. Я спросил его, что нового у пограничников порта.

— Ничего особенного, — ответил он. — Вы заходите... Эх, написали бы вы про сержанта Хохлова! Контрабанду он ловит, — ну, поразительно! И вообще...

Он кивнул мне и втиснулся в автобус, крепко, любовно обнимая одной рукой связку книг.

Я не сразу собрался навестить Чаушева. Прошло недели две, прежде чем я увидел знакомое здание у причала, — старое, приземистое, похожее на сточенную прибоем скалу.

Чаще всего это здание вставало передо мной на фоне судна, пришвартованного к стенке, и выглядело то большим, то маленьким, — в зависимости от роста посудыны. Бывали тут и великаны-лайнеры, и утлые скорлупки каботажного плавания. В этот раз причал был свободен, за чертой его — осеннее море, и только снежная вьюга чаек оживляла холодный пейзаж.

Часовой вызвал дежурного, я объяснил, кто я и по какому делу.

— Подполковник занят очень...

Уже по тому, как смутился дежурный, как растерянно посмотрел на меня, я догадался — приход мой некстати. Что-то случилось...

Атмосфера «чепе» неодолима, скрыть ее невозможно. Казалось, она просачивалась сквозь могучие стены дома-ветерана. Чайки, носившиеся над причалом, закричали резче, как будто тоже почувствовали неладное. Дежурный офицер топтался на месте, раздумывая, как со мной поступить. В этот момент сам Чаушев сбежал с лестницы.

— Вы не спешите? — спросил он, задыхаясь. — Тогда подождите меня, ладно?

— Хорошо, — сказал я.

— Час самое большее, — крикнул он и рванул дверцу газика. — В больницу надо... Там матрос, раненый, с «Матильды Гейст».

Газик исчез в теснине между пакгаузами.

1

Чаушеву дали белый халат. Он натянул его на себя с силой, и ткань где-то треснула. Чаушев брезгливо поморщился. В халате — очень коротком, едва достававшем до колен, — он чувствовал себя нелепо.

— Дело серьезное, — сказал баском молодой врач. — Большая потеря крови.

Врач старался держаться как можно солиднее. Бас давался ему с трудом и часто обрывался на жалобной, совсем мальчишеской нотке.

— Представляю себе, — сказал Чаушев.

Матроса подобрали в час ночи, в парке, в кустах, недалеко от «лягушатника» — так прозвали центральную площадку с фонтаном, украшенным четырьмя боль-

шеротыми, глазастыми гранитными лягушками. Прохожие услышали слабый стон и нашли юношу в кожаной куртке явно иностранного вида. Он лежал, закрыв глаза, на груди запеклась кровь. Кто-то нанес три ножевые раны. Вызвали скорую помощь. Когда санитары уложили его на носилки, он приподнял и несколько раз вытянул правую руку, — как будто отталкивал противника. Но не очнулся.

Кто же пострадавший?

В кармане куртки нашли удостоверение на имя Теодора Райнера, один английский фунт и тридцать два рубля.

— Он все еще без сознания, — предупредил врач. — И мне, собственно, непонятно...

— Не беспокойтесь, — ответил Чаушев. — Я только погляжу на него.

— И все?

Лицо врача сделалось от удивления очень юным. Чаушев улыбнулся:

— Обещаю!

Они вошли в палату, маленькую, с одной койкой. Высокое окно гудело от порывов ветра, налетавших с моря. Чаушев увидел спину медсестры, склонившейся над изголовьем.

Блеск черных волос на подушке, мертвенно бледный лоб. Волосы гладкие, аккуратно причесанные. Чаушев перевел взгляд на сестру. Она держала гребень.

— Мальчик, — произнесла она ласково.

Чаушев подошел к койке, раскрыл удостоверение. Струйка крови перечеркнула печать. На фотографии Теодор Райнер здоров, беспечен. Узкий модный галстук на фоне белоснежной рубашки. Юноша, лежащий на койке, кажется обесцветенным слепком с этого франта, восковой фигурой. Но сомнений нет, — те же длинные ресницы, ровным, тонким козырьком; те же бархатистые брови; тот же нос, чуточку приплюснутый, с мягко закругленными ноздрями.

«Должно быть, боксер», — думает Чаушев. Новичок в боксе, задиристый новичок, который пока что еще не умеет как следует дать сдачи...

— За что его, а? — шепотом спросила сестра. — Моло-оденький, — протянула она жалостливо. — Ему еще игрушки-побрякушки нужны. Вот!

На ладони у сестры медный кружок с крученым красно-белым шнурком, продетым в ушко. Чаушев несколько минут разглядывал странное изображение, выбитое на кружке. Что-то похожее на ствол дерева с сучьями в обе стороны.

— На поясе у него болталось, — сказала сестра. — К чему оно, как вы думаете?

— Не знаю, — ответил Чаушев.

— Наверно, талисман, — промолвил врач и усмехнулся.

— Еще ключик был... Да где же, господи?.. Вот, пожалуйста!

Чаушев взял, повертел, потом отдал сестре вместе с подвеской.

Обыкновенный ключ от английского замка. Вряд ли он годится на судне, на «Матильде Гейст». Скорее всего ключ от квартиры.

От какой же квартиры? Там, на родине этого красавчика, или здесь, на нашем берегу...

Чаушев ощутил укол подозрения и смутился, ему не хотелось думать о Теодоре Райнере плохо. А впрочем, много ли о нем известно? Пострадавший всегда вызывает сочувствие, особенно такой молодой.

Да, ничего не известно пока. Ясно одно, не грабители напали на матроса. Те не оставили бы деньги... Разве только спугнул кто-нибудь, не успели обыскать! Нет, была драка, вот самое вероятное. С кем же? Из-за чего? Свои, с «Матильды Гейст», разделались с парнем или...

— Вы видите, — сказал врач. — Он не скоро начнет рассказывать.

— Значит, надеетесь?

— Да, надежда есть. Если, конечно, не возникнут осложнения...

Он выговорил длинное латинское слово. Чаушев из вежливости выслушал объяснения до конца. «Доктор не намного старше пациента, — подумал он. — Гордится своей ученостью, упивается ею».

— Мы делаем все, — сказал врач. — Профессор Вагрямян наблюдает сам, так что...

— Отлично, — сказал Чаушев. — Спасибо.

В машине, на пути в порт, Чаушев приказал себе не гадать, не ломать голову зря. Милиция уже поставлена

на ноги. Но вот на «Матильду Гейст» пока визит следовало бы сделать пограничнику.

Чаушев не раз бывал на «Матильде Гейст». Встречал ее в море, следом за портовым врачом проворно карабкался по вихляющему трапу на высокий борт. Что ж, документы там в порядке, наличие членов команды соответствует списку, так называемой судовой роли. Это и понятно. «Матильда Гейст» — грузовоз рейсовый, прибывает к нам в порт регулярно по расписанию, каждые полтора месяца. Фирма старается не портить отношения с советскими властями. Капитан Ганс Вальдо бывалый моряк, плавал под разными флагами. Что он таит внутри — черт его знает, но он прежде всего служащий фирмы...

Чаушеву видится худощавая, плоская фигура капитана, его вдавленные щеки, нервные, вздрагивающие складки на лбу. У Вальдо больной желудок, он угощает тминными сухарями, фруктовыми соками. На «Матильде Гейст» нет тяжелого, навязчивого гостеприимства, но отсутствует и скупость. Разноцветный набор бутылочек с соками, — веселые этикетки: гроздья винограда, смородины, рубиновые вишни, малина с матовым пушком. Нет, капитан никогда не пытался подпоить официального посетителя. Ганс Вальдо ведет себя корректно. Команда тоже неплохая. Правда, был один случай контрабанды в прошлом году...

Газик везет Чаушева мимо пакгаузов, мимо грузов, сложенных на асфальте и накрытых брезентами, образующих как бы палаточные города.

«Матильда Гейст» принимает большие, продолговатые ящики. В них запасные части наших автомобилей. Черный борт привалился к причалу. Рядом стоит обшарпанный, с помятой носовой скулой «Морской бродяга». Удивительно, до чего подошло название! Бродяга выглядит оборванцем в соседстве с чистенькой, кокетливой «Матильдой». Ее рубка недавно выбелена и блещет, как накрахмаленный передник, а узор на трубе — белый с розовым — ни дать ни взять наколка опрятной, нарядной экономки в богатом доме.

Чаушев застал капитана за ленчем.

— Прошу, прошу, — Вальдо подвинул стул. — Не желаете ли разделить со мной диету? Впрочем, можно заказать бифштекс.

Вальдо помешал ложкой овсянку, густо посыпанную сахаром, и вздохнул.

— Благодарю вас, — ответил Чаушев. — Подвергать вас такому испытанию нет надобности.

Сложная английская фраза далась ему против ожидания легко. Капитан засмеялся. Ложка с овсянкой прыгала в его руке.

Неужели он ничего не знает? Чаушев спокойно ждал, когда Вальдо кончит смеяться и отправит кашу в рот. Странно! Вальдо держится так, как будто ничего не случилось. Он не спешит узнать, зачем прибыл советский офицер.

— Вам уже несомненно доложили, — начал Чаушев, — Теодор Райнер, ваш матрос, ранен.

Вальдо со стуком опустил ложку:

— Райнер! Этот пьяница!..

Теперь Вальдо как будто взволнован. Он даже отставил свою кашу.

— Его три раза ударили ножом, — сказал Чаушев. — Раны серьезные.

Пока он говорил, капитан кивал и смахивал со стола крошки. Потом он выпрямился, складки на его лбу мелко дрожали.

— Несчастье, — произнес он сухо, не повышая голоса. — Несчастье с ними. Нам нужен был матрос в палубную команду, мы и взяли на стоянке первого попавшегося...

Капитан смотрел не на Чаушева, а на скатерть. Отыскал еще крошку и сбил ее щелчком.

— Мальчишка испорченный, избалованный... Мне очень жаль, он и вам доставил хлопоты.

— Ничего не поделаешь, — сказал Чаушев. — Идет расследование. По-видимому, драка. Не ограбление, а драка. Деньги при нем. Вчера была суббота, матросов на берегу гуляло много...

— Он обвиняет кого-нибудь?

— Нет, он еще не пришел в себя. Вы дня через три отбываете, так ведь?

— Да, уйдем без него, — Вальдо нетерпеливо двинул рукой. — Иначе никак... Я доказывал Гейсту, пора перестать набирать матросню в чужих портах. Ставил в пример вашу систему. Нет, бесполезно. Гейст человек старого закала. У него по старинке все. Вот и по-

лучается... А кому краснеть потом? Капитану, кому же еще!

— Меня удивляет, господин Вальдо, — сказал Чаушев. — Ваш матрос при смерти. И, по-вашему, он же и виноват... Вы уверены?

— Несносный субъект, драчун, лентяй. Молодежь теперь... Понятно, он заслуживает милосердия, но... Хвала создателю, он в хороших руках, его лечат бесплатно... Опять же, — Вальдо шарил по скатерти в поисках крошек, — преимущество вашей страны.

Чаушев промолчал.

— Факт прискорбный... Гейст будет вне себя. Ему подавай на судне благочестивое семейство моряков во главе с отцом-капитаном, — и Вальдо фыркнул, прикрыв рот ладонью. — Наш милый Гейст живет в прошлом веке.

Гейста матросы прозвали блаженным. Анекдоты про Гейста часто доходили до ушей Чаушева. Семейство торговых теплоходов у Гейста, что и говорить, не маленькое. «Карл Гейст» — флагман, носящий имя хозяина, «Матильда Гейст» — его супруга, их дети — «Эрик Гейст», «Герда Гейст», затем... Всего, кажется, семь или восемь.

Сейчас Чаушев почти не слышит капитана. Мысли заняты другим. А Вальдо жалуются. Было бы у него здоровье, тогда, куда ни шло, можно вытерпеть и чудачества владельца и распушенность матросни. Одна мечта — дожить до пенсии.

Буфетчик, дюжий, сонный детина, убрал остывшую овсянку и поставил перед капитаном горячую.

Чаушев поднялся.

— Приятного аппетита, — сказал он.

Больше ничего не вытянешь из Вальдо. Да, на этом точка.

Чаушев возвращается к себе расстроенный. Ох, капитан Вальдо! За что же вы так напали на беднягу Райнера? В сущности, вы так и не ответили мне. Что это, неприязнь, предубеждение или... Да, капитан Вальдо — не из добрых душ. И все же слишком резкая враждебность, почти злорадство. Вы словно торопитесь уйти, покинуть наш порт без Райнера. Нет, я чувствую, вы знали о происшествии. Не я вам принес новость, вы получили ее раньше.

А впрочем... Чаушев усилием воли остановил поток предположений. Как обычно, заработали тормоза осторожности, трезвого анализа. В конце концов нет твердых оснований упрекать капитана Вальдо. «Копченая салака» — вот его прозвище. Матросы — они всех окрестили по-своему. Сердечность — понятие, несовместимое с капитаном Вальдо.

В кабинете Чаушева просторно, так как нет ничего лишнего, и прохладно — форточка в любую погоду распахнута. Старинные стоячие часы показывают без четверти одиннадцать. День начался недавно, времени впереди еще много. Однако и дел предстоит немало...

Чаушев уже обдумал план действий. Но сперва ему хочется еще раз посмотреть на Теодора Райнера. Быть может, в этом нет большой необходимости. Но Чаушев все-таки достает из кармана моряцкое удостоверение и раскрывает его. Бархатистые брови, нежные, округлые щеки.

Быть красивым трудно. Тебя ласкают, тебе потакают, твои желания не встречают сопротивления у твоих близких. Красивому мальчику, наверно, легко стать эгоистом, стать жадным и злым. Но этот... Нет, он не злой. Дебошир, пьяница? Странно слышать такое! Взгляд у мальчика доверчивый, взгляд, который как будто тянется к людям... Возможно, ему не хватает скромности. Да, очень может быть! Он откровенный франт. Но и это выходит у него как-то по-детски. Модным галстуком он хвастается, как новой игрушкой. Может, купил на первый заработок...

Чаушев прячет удостоверение в стол, снимает трубку телефона и набирает номер.

— Ал-ло! — размеренно, двумя слогами откликается капитан Соколов.

— Доброе утро, — говорит Чаушев. — Я насчет нашего «чепе».

— Он живой? — спрашивает капитан Соколов быстро, оживившись.

— Живой.

Лаконический стиль речи Соколова действует на Чаушева, он и сам переходит на телеграфный язык. К тому же служебные разговоры по телефону могут быть только краткими.

— Я приеду, — слышит Чаушев. — Через полчаса.

Спор между интуицией и логикой не прекратился в мозгу Чаушева. Непреложных фактов мало, простор для догадок большой. Но подождем, подождем! Приедет капитан Соколов из КГБ. Какие-нибудь данные у него, вероятно, есть.

Да, наверняка есть, — уж очень охотно, решительно он согласился приехать.

2

— Как Вальдо? — спрашивает Соколов.

Веснушки, прочные веснушки на его лице не исчезают и осенью. С холодами они точно примерзли.

— Никак, — откликается Чаушев.

— Значит, никак? — говорит Соколов. Веснушки чуть дрогнули от легкой, почти неприметной усмешки.

Больше ничего не требуется объяснять. Соколову ясно, что визит к капитану «Матильды Гейст» не дал существенных результатов.

— Райнер им не ко двору, — говорит Чаушев. — Драчун, пьяница — такова характеристика.

— Ясно, — говорит Соколов.

— Вообще капитану наплевать на него.

— Волчий закон, — говорит Соколов.

Когда-то Чаушева сердили стертые фразы, фразы-ярлычки, летающие иногда с губ Соколова. Сердили, пока не разглядел в нем серьезного, мыслящего человека.

Удостоверение с портретом Райнера Соколов держит перед собой долго и, разумеется, молча. Тем временем Чаушев раскладывает на столе еще фотографии. Команду «Матильды Гейст» снимал фотограф Клуба моряков для щита под рубрикой «Наши гости». Моряки в читальне, моряки у автобуса, перед экскурсией за город.

Вот боцман с «Матильды Гейст», рулевой, два матроса из палубной команды, два из машинной. Они тоже были вчера на берегу.

— Слабенький еще, а лезет, — говорит Соколов с укоризной, заметив приплюснутый нос Райнера.

Потом он смотрит на остальных.

— Драка по пьяной лавочке, — произносит он задумчиво. — Они что, здорово пьют?

Нет, на «Матильде Гейст» пьют весьма умеренно. То ли выделяют моряки с некоторых других судов! Случается, спускают с себя все до рубахи, ночуют в вытрезвителе. Нет, эти больше за девушками...

— По-моему тоже, — говорит Соколов.

Э, похоже он приготовил сюрприз! Он ведь ни за что не выложит сразу.

— На подбор! — Соколов перебирает карточки на столе, поворачивает к свету. — Один к одному, а?

Он прав, Чаушев и сам обратил внимание, команда на «Матильде Гейст» словно для киносъемки.

— Владелец у них, Гейст, первой марки чудак, — улыбается Чаушев.

От Гейста всего можно ждать. Удивляться нечего! Как знать, не вздумал ли Гейст таким путем сотворить вывеску, живую вывеску «свободного мира»!

Соколов не спеша, сосредоточенно раскрыл молнию портфеля и вынул пакет. Из пакета появилась фотография и легла на стол. Большая глянцевая фотография. Под ней исчезли почти все моряки с «Матильды Гейст».

— Привет из-за границы, — веснушки опять дрогнули. — Опять распространяют среди молодежи...

В комнате, на тахте, в пятне света сидит девушка. Ее фигура очерчена ретушью. Может быть, поэтому поза несколько натянутая. Обе руки на коленях, голова откинута назад, будто ищет опоры. На шее искорки бус.

— Узнаете?

— Да, — говорит Чаушев. — Зойка.

Комната обставлена щедро. Над тахтой на полочках разномастные и, видно, не дешевые безделушки. Толстый Будда, угловатая, тощая индонезийская танцовщица, босая, на облаке. Мебель современная, блестит свежей полировкой. Почти во всю стену сервант, набитый посудой и винами.

— Магазин, — говорит Чаушев, глядя на витрину серванта.

Окно комнаты выходит на улицу. Сквозь прозрачную кружевную занавеску видна неоновая вывеска на той стороне — «Атлантик-бар».

— Все удовольствия, — говорит Соколов.

— Именно.

На обороте чисто, никаких пояснений. Впрочем, они

и не нужны, соображает Чаушев. В городе многие знали Зойку Колесову. Дочь Саввы Колесова, старого однокашника, знаменитого когда-то бригадира грузчиков. Вместе школу кончали. Чаушев пошел потом в военное училище, а Савва работать в порт.

Единственная дочка... Нет, с ней не очень-то цацкались. Напротив... Отец погиб в самом конце войны, за несколько дней до праздника Победы, — подорвался где-то в Германии на mine. Мать умерла, когда Зойке было шесть лет. Растила ее бабушка Антониды Сергеевна, бывшая комсомолка-активистка двадцатых годов. Строгая бабушка, неуступчивая и вместе с тем наивная, заклятый враг всякого «дурачества» — то есть высоких каблуков, модных причесок, новых танцев.

Чаушев изредка навещал Колесовых. Однажды он застал Зойку у ворот. Она с нервной поспешностью распутывала волосы, вынимала шпильки и совала в кармашки пальто. Тогда и заметил Чаушев, что Зойка ведет двойную жизнь. Он пробовал урезонить бабушку: Зойка, мол, боится вас, а страх — плохой воспитатель. Нелепо проклинать моду, да и не в одежде, не в прическе главное... «Меня большие люди учили, — ответила бабушка в сердцах, — а ты молод лекции мне читать».

Зойка не отличалась ни умом, ни волей. Дома лицемерила перед бабкой, за воротами всецело была во власти подруг — иногда самых отпетых пустышек. В школе выезжала на шпаргалках, к наукам тяги не испытывала, зато с увлечением занималась шитьем. Бабушку это вначале радовало, потом стало огорчать, — Зойка усердно воплощала «дурачества» из журналов мод. «Не для себя, — оправдывалась она. — Для одной девочки...» Из дома выходила в затрапезном платье, а в клубе переодевалась.

После школы Зойка работала в лесной гавани счетоводом, затем знакомые моряки соблазнили перспективой дальних плаваний. Друзья отца помогли устроиться на пассажирский теплоход, классной горничной. Затвердила Зойка полсотни фраз английских и немецких, недостаток слов возмещала кокетливой улыбкой, вручала туристам ключи, убирала каюты. Плавала Зойка год, плавала другой — и вдруг пропала...

Чаушев думает об этом с болью, с невольным стыдом. Хотя что он мог сделать? Пропала Зойка в ино-

странном портовом городе, не вернулась на теплоход, к родному флагу. «Прости меня, бабуля, — написала она. — Грегор меня любит, ты за меня не беспокойся». Никто слыхом не слыхал ни о каком Грегоре.

Да, это она, Зойка, на снимке, в пятне света. В луче света, брошенном прямо на нее. Если бы она могла сейчас заговорить со снимка, сказать о себе... Чаушев не впервые видит ее на глянцевой фотобумаге. На прежних снимках Зойка стояла в длинном вечернем платье об руку с долговязым белобрысым мужчиной в смокинге. Они позировали, как на новогодней открытке. Здесь Зойка в комнате, напоминающей магазин. Безделушек на полках, мебели — всего больше, чем нужно. Больше, чем требует нормальный вкус. Эх, Зойка, докатилась ты!

Кто-то явно нарочно соорудил обстановку, приукрасил для съемки. Коньяк «мартель» в серванте, дорогая мебель, бар напротив, через улицу, — сколько помещено приманок! Эх, Зойка, что заставило тебя играть роль в этой дурной пьеске, в этом боевике чужой пропаганды?

Чаушев, погруженный в свои мысли, забывает о присутствии Соколова. Тот выжидательно молчит.

— Скверная история, — говорит Чаушев. — Но я не вижу связи с вчерашним.

— Картинки всплывали у нас в июне, потом в августе, — деловито сообщает Соколов. — Оба раза, когда в порту стояла «Матильда». Последний раз только она и была из того государства...

Да, прямой связи нет пока. Чаушев про себя дополняет то, что сказал Соколов. Сейчас имеет значение все, что касается «Матильды Гейст». Связь может открыться. Соколов — новый человек в городе. Ему труднее. Ничего не попишешь, придется выйти из служебных рамок, помочь Соколову.

— Колесова, я думаю, тоже получила карточку, — говорит Соколов. — Ее-то не обошли, я думаю.

— Я зайду к Колесовой, — отвечает Чаушев.

Да, и там могли быть гости с «Матильды Гейст», коли она возит к нам и такой товар.

— У меня нет оснований вызывать старушку, — слышит Чаушев.

Чаушеву понятно, что кроется за этими словами. Со-

колов дотошно, с точностью прямо-таки аптекарской взвешивает данные, прежде чем вызвать кого-нибудь к себе, в серый, облицованный мрамором дом на главной улице. И, хотя Соколов проработал здесь уже немало лет, он не потерял еще чувства новичка, который испытывает первые радости от доверенного ему дела. Поэтому он трогательно деликатен, этот человек, на вид такой сухой и как будто нелюдимый. Нет, не может он без достаточной надобности беспокоить честных людей...

Соколов кладет снимок в портфель. Теперь остается одно — позвонить в больницу. Может быть, Райнер очнулся, заговорил... Чаушев снимает трубку.

Нет, Райнер в беспамятстве. Состояние его внушает опасения.

3

Чаушев давно не был у Антонины Сергеевны, в пригороде Ольховке, в маленьком домике за вековыми, высоченными воротами, — вот-вот упадут и раздавят утлый домишко.

Только здесь, в Ольховке, и увидишь теперь деревянные тротуары, резные ворота и наличники, узорчатые флюгера над дощатыми, позеленевшими крышами, только здесь поют свою скрипучую песенку рычаги водоразборных колонок. Город стал каменным, выстрелил в свинцовый, набухший дождями небосвод высотными зданиями, а Ольховка застыла в чащах сирени, яблонь и вишен, стыдливо прячет за ними свой лик русской старины. На улицах Ольховки, летом заполненных дачниками, а в другое время почти безлюдных, Чаушев неизменно вспоминал пушкинские строки:

...Вижу, как теперь,
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

Это из «Домика в Коломне». Чаушев любит эту поэму. Бережет у себя, в коллекции первоизданий, альманах «Новоселье» 1833 года, где поэма была опубликована. Развернешь мягкие, чуть влажные страницы — и поэзия Пушкина идет к тебе вместе с ароматом эпохи...

Стоят ворота, время еще не свалило их. Чаушев нажал рычаг щеколды — железную собачью голову — и в памяти внезапно, резко очертилась Зойка, в весеннем пальтишке, угловатая и неловкая тогда, в свои шестнадцать лет. Она теряет заколки, нагибается, подбирает их, каштановая копенка волос рушится, свисает. Зойка кое-как, пыхтя и кусая губы, стягивает свою голову потертой, невзрачной бабьей косынкой.

— Ой, Миша!

Только стукнула щеколда, а Антонида Сергеевна уже на крыльце, широко распахивает дверь гостю. Отличный слух у Зойкиной бабушки! Все та же она, худенькая, проворная. Руку сжимает цепко, жестко и, не выпуская, по-свойски ведет через темные сени в горницу.

— Ну, каково наш-то прыгнул!

Бабушка смотрит на Чаушева скрестив руки, с вызовом, и круглое личико ее, в паутинке мелких морщин, сияет торжеством.

Чаушев не сразу понял. Ах да, затяжной прыжок с парашютом, европейский рекорд. Утром передавали по радио... Бабушка, конечно, не пропускает «Последние известия», уж она-то в курсе событий.

— Чайку, Миша?

Подполковник садится к столу. Отказываться бесполезно, — бабушка не выпустит из дома, пока не напоит чаем. Самовар как раз вскипел. Чаушев чувствует щекой его уютное, горьковатое тепло. Теперь редко увидишь самовар. Скоро он станет музейным экспонатом. И мало сохранилось людей, которые называют тебя Мишей.

— Я вчера на фабрике была, — слышит он. — Молодым девчатам рассказывала, как мы санитарками на фронт пошли, против Юденича. Рты разинули, как рыбы! От кого им узнать, как не от меня...

На стене, на выцветавших обоях, — грамоты в рамках, завоеванные бабушкой, знатной ткачихой. Сорок пять лет трудилась на фабрике, успевала и ткань мастерить, и участвовать в фабкоме, во множестве комиссий, обществ, кружков. Но что-то изменилось в горнице. Чаушев никак не уловит, что же?

Надо, однако, перейти к делу. Чаушев медлит, обдумывает, как начать, — не хочется причинять бабушке

боль, а придется. Но она опередила его. Личико бабушки потемнело и сделалось как будто еще меньше, когда она быстро, отрывистым полупшепотом спросила:

— От нее ничего не слышать?

— Снимают ее, — сказал Чаушев. — Сидит нарядная, свет бьет в глаза. В комнате мебели и всякого добра нагромождено...

Бабушка сурово кивнула, поднялась и достала из комода фотографию.

— Эта и есть, — сказал Чаушев.

Бабушка вздохнула.

— Ну, как с ней быть, с паскудой? Миша, милый мой, ведь продалась она! Я палец дам отсечь, — бабушка крепко стукнула ребром ладони по пальцу, — не хозяйка она там. Чужое все это... Хозяйка разве сядет на краешек, Миша? На свою вещь полным грузом садятся.

Чаушев спросил, кто доставил снимок. Оказывается, зашли позавчера три девушки, приятельницы Зойки. Три вертихвостки! Они и дали фотографию. От кого получили? Мекали, мычали, будто каши в рот набили. От знакомых каких-то.

— Ох, попалась бы она мне!..

Ложка бабушки колотилась о край чашки, сахар сыпался мимо, на блюдо.

— Я и сам виноват отчасти, — глухо промолвил Чаушев. — Пока гром не грянет, знаете...

Вспомнилось, как однажды взмолилась Зойка: «Дядя Миша! Ну не всем же быть идейными, не всем же быть учеными или там космонавтами!» — «А ты бы хотела?» — спросил Чаушев. Зойка со злостью буркнула: «Сбежать отсюда, вот бы я что хотела! Дядя Миша, а не поехать ли мне на Енисей! Очень там холодно, да?»

Чаушев допил чай, перевернул чашку, как делал когда-то в детстве. Поглядел на ходики, деловито махавшие помятым медным маятником.

— Ты погоди, — сказала бабушка.

Снова визгнул ящик комода. Бабушка рылась в нем минуты две, потом извлекла с самого дна небольшой круглый предмет, по-видимому очень неприятный ей. Бабушка держала его брезгливо, кончиками пальцев.

— Вот еще... Браслетку мне прислали..

Крохотные кроваво-красные камешки искрились на серебряном ободке. На внутренней стороне вырезали надпись: «Милой бабушке от Зои». Гравёр сделал ошибку — в букве «ш» одну палочку не дописал.

— Мне, старой, браслетку цыганскую... Тут уж не она сама, Миша, не она... Дура она, дура набитая, а все же нет, Миша, не могла она сама...

И верно, нелепый подарок. Все что угодно можно было преподнести бабушке, только не браслет.

Принесли его в позапрошлом месяце. Кто? Бабушка скривила губы. Мальчишка, сопляк... Подал коробочку, поклонился, шаркнул, и ни гу-гу...

— То есть как ни гу-гу? — спросил Чаушев.

— Очень просто, — сказала бабушка. — Придурок! Гутен таг, говорит. Будто по-русски не умеет.

— Что ж, может, и не умеет, — ответил Чаушев.

Он отставил чашку, сахарницу и выложил на стол карточки моряков с «Матильды Гейст». Бабушка брала их одну за другой.

— Этот приходил, — сказала она.

— Вот, значит, как! — вырвалось у Чаушева. — Спасибо, Антонина Сергеевна!

В садике возле клуба, в компании, беспечно курил сигарету Теодор Райнер, чернобровый красавчик. Чаушев поведал бабушке, кто был у нее, и она заволновалась:

— Матрос? Да неужели, Миша! Такой шкет! Я думала из жоржиков наших окаянных. Иностранный!

Она тревожно, растерянно огляделась, словно стремилась отыскать какой-нибудь след незваного посетителя, потом хлопнула себя по коленям.

— Мазурик! Ох, мазурик!

— Не знаю, — задумчиво произнес Чаушев. — Что он из себя представляет — пока вопрос.

Ходики тихо, заикаясь, вздохнули два раза. Пора идти.

За воротами он остановился. Что-то собирался спросить, да так и не успел... Ах да! Что же изменилось в горнице бабушки Антонины, увешанной почетными грамотами, видами Смольного и «Авроры»? Ну ясно, исчез рабочий столик Зои, заваленный выкройками и журналами мод. Исчезло все, что принадлежало Зое, что могло бы напомнить о ней.

Потом мысли Чаушева вернулись к Теодору. Значит, и он причастен к рекламной шумихе. За что же его?.. В чем же и перед кем он провинился?

4

Санитарка все чаще подходит к койке Теодора Райнера. Его движения стали резче, иногда он силится сбросить с себя одеяло. Рука то комкает простыню, то повисает плетью. Крепко сомкнутые веки вот-вот разожмутся.

Смутные звуки достигают слуха Теодора. Сперва они едва касаются сознания. Они возникают из пустоты и замирают, поглощенные ею. Никаких зрительных образов не вызывают эти мерные, приглушенные удары.

Постепенно Теодору становится ясно, что это шаги. Кто-то ходит по комнате, рядом с ним.

Его мать...

Стоит открыть глаза, и он увидит ее... Впрочем, он видит ее и так... Она держит большой фарфоровый кувшин. Сейчас утро, мама встала раньше всех и поливает герань, растущую на балконе в ящиках.

Странно, Теодор еще лежит, но в то же время он тоже на балконе, с матерью. Внизу черной асфальтовой лентой, порхая с холма на холм, летит дорога. Она едва проступает сквозь утренний туман и как будто висит в воздухе.

Ветер теребит лиловый передник матери, сдувает на лоб ее темные волосы. Мать молчит, она чем-то недовольна. Ну, ясно же чем! Туристы, едущие по шоссе в машинах, на мотоциклах, на велосипедах, не заметят дом Райнеров в таком тумане... Проклятый туман! Даже красная герань, ярко-красная полоса герани через весь фасад, и та не видна с дороги. Комната, отведенная для постояльца, пустует. Плохое, никуда не годное лето — туманы, дожди...

Губы матери быстро-быстро шевелятся. Теодор не слышит, но угадывает, что она говорит. Помогли бог, сколько нанесло тумана с перевала Ферн! Что там герань, поди и доску с объявлением о сдаче комнаты не различишь сегодня, хоть и торчит она всего в двадцати шагах от дороги...

Вдруг туман — густой, вязкий — заливает все кругом. Теодор идет куда-то. Под его ногами не упругость половиц старого дома, а какие-то палки, тычки, и кто-то зовет его.

Это Валя. Она ищет его, зовет и ускользает. Во всем виноват туман. И мачта, судовая мачта, лежащая на пути. С судном что-то случилось. Бухты троса, крепления люковых крышек валяются где попало. Теодор натыкается на них. Валя где-то близко, очень близко. Он должен ответить ей, и тогда они найдут друг друга. Но какая-то злая сила сковала его рот. А Валя смеется... Что тут смешного? Ах да, Валя хохочет, потому что он никак не может выговорить ее имя. Получается Ва-ля, а надо...

Да, в этом все дело! Надо произнести правильно, и тогда все будет в порядке. Валя откликнется, и все будет хорошо...

Медсестра поправляет сбившееся одеяло, трогает лоб Теодора.

Она наклоняется. Раненый бредит, и как-то необычно — отдельными слогами, словно заучивает слова. Разобрать невозможно... Если бы она и знала язык, все равно не поняла бы, наверно. Только одно слово кажется знакомым. Русское имя.

Ваня... Или Валя...

5

Чаушев обедает дома один. Жена ждала его до часу и ушла, оставив записку:

«Голубцы в духовке. Разогрей сам».

Подполковник покорно вздыхает. Разогреть не трудно, но он не любит есть один. Спешить, не замечаешь вкуса... У жены опять аврал. Сослуживцы болеют гриппом, постоянно приходится заменять кого-нибудь на работе.

Поев, Чаушев пустил в раковину горячую воду, вымыл тарелки, аккуратно поставил в сушилку. Теперь можно позволить себе минут десять отдыха. Разумеется, он проводит их — эти драгоценные минутки — возле своей коллекции. Развернет наудачу какой-нибудь томик, чуть попахивающий книжной прелью, запахом ста-

ринных библиотек и архивов, где ученые ведут поиск, находят неведомые миру сокровища, — и вберет в себя несколько строк. Глоток мудрости или поэзии... Но нет, сейчас рука Чаушева тянется к стеллажу с другой целью. Первоиздания поэтов, прозаиков, философов он оставил в покое, ему нужен толстый немецкий справочник, купленный недавно.

Положив книгу на стол, он достает из кармана круглый металлический предмет. Это бляшка, висевшая на поясе у Теодора Райнера, медный щиток со странным изображением, похожим на ствол дерева с прямыми сучьями, торчащими в разные стороны.

Гербы многих городов мира, тысячи гербов... Однако фантазия их создателей невелика, — то и дело повторяются одни и те же геральдические фигуры: башни крепостей, мечи, копыя, орлы, медведи, львы. Ничего похожего на бляшку Райнера! Но Чаушев листает дальше. Такие бляшки обычно носят за границей туристы на память о пройденном маршруте. А для Райнера, для желторотого юнца, не так давно покинувшего отчий дом, это, наверно, частица родины, что-то вроде ладанки с щепоткой земли.

Ага, вот!.. Чаушев не ошибся, на медном кружочке действительно герб. Инсбрук! Тотчас же вспоминается картинка в журнале, помещенная в дни зимней Олимпиады: узкие фасады домов-ветеранов, обтекающих невысокий обелиск, высоченная стена гор, в которую улица как бы вонзается с разбегу. Инсбрук, старинный город в Западной Австрии, в горной стране Тироль. Так вот он откуда, Теодор Райнер! Говорят, тирольцы неохотно бросают родные места. Это племя горцев, дети альпийских высот. Море далеко от Инсбрука. По тамошним, по западноевропейским масштабам, — очень далеко...

То, что выглядит, как ствол дерева на гербе, — это, оказывается, мост, деревянный мост через реку Инн. Город возник у моста, у переправы...

Чаушев захлопнул книгу. Пора идти! И хватит домыслов! Вот ведь, стоило дать волю воображению, как оно уже нарисовало романтического юношу, выросшего среди гор с мечтой о далеком, о синих просторах. Неизвестно! Что если не романтик, а мелкий авантюрист, из молодых, да ранний!

Верно, это аромат старых книг, первоизданий Пушкина, Лермонтова, Байрона нарушил трезвость мыслей, необходимую Чаушеву. Он почти с возмущением взглянул на корешки, мерцающие блестками истертого серебра.

Полчаса спустя Чаушев вошел в ворота торгового порта. Ветер гнал редкие, сухие, колющие лицо снежинки, в проулках, между пакгаузами, гулко хлопал брезент, закутанные им автомобили, станки, бочонки с икрой словно тряслись от холода.

Стужа пробралась и в кабинет Чаушева. Печь с утра вытопили, но почти все тепло улетучилось в открытую настежь форточку, остался лишь горьковатый запах печи, ее обожженных, покрытых сажей кирпичей.

Чаушев снял шинель, потом накинул ее на плечи. Вошел дежурный офицер — лейтенант Мячин. Он вздрогнул от холода, и Чаушев недовольно бросил:

— Что, пробирает? Однако никто почему-то не догадался закрыть форточку.

Мячин покраснел от смущения.

— Вы, товарищ подполковник, — произнес он. — Вы прежде не велели...

Рука Мячина, поднявшаяся к фуражке, застыла, будто прилипла к козырьку.

— Прежде! — сказал Чаушев укоризненно. — Прежде теплее было, а сейчас вон как задуло! Опустите руку!

Мячин смутился еще больше. Недоразумение с форточкой расстроило его, — ведь он твердо решил провести дежурство образцово, не нажить ни единого упрека в рассеянности.

Мячин сменил на дежурстве старшего лейтенанта Бояринова, опытного служаку, прошедшего всю лесенку званий от рядового на заставе. Чаушев всегда ставит Бояринова в пример молодым офицерам. Бояринов не упустит ни одной мелочи. К тому же он чувствует себя хозяином в здании КПП, домовитым хозяином. Он не выстудит комнаты и не перегреет: огонь в печах, и тот слушается Бояринова! Что ж, понятно, Бояринов лет пять был старшиной роты. И вообще кем он только не был!

Мячин расстроен, и Чаушев видит это.

— Ладно, — говорит он. — В больницу звонили?

— Так точно! Матрос приходит в себя, бормочет что-то. Пока ничего толкового...

Мячин докладывает взхлеб, — хочется окончательно, бесповоротно замять инцидент с форточкой.

— Есть данные из другого источника, — продолжает лейтенант. — Стычка получилась из-за девушки. Милицейские землю руют, Шерлоки Холмсы!

Мячин снисходительно улыбается. Чаушеву не нравится эта улыбка. Без году неделя, как окончил училище, не успел и пары офицерских ботинок износить!

— Извините, товарищ подполковник, я так... Они в самом деле молодцы. Установлена личность девушки.

— Кто же?

— Некто Печерникова.

— Некто? — откликается Чаушев. — Имя Печерниковой тоже установлено?

— Так точно. — Мячин опускает глаза. — Валентина.

— Ясно, товарищ Мячин, — говорит Чаушев. — Значит, та самая Валентина?

— Так точно.

Мячин произносит эти два слова нервно и как будто с досадой. Для чего же переспрашивать, коли ясно?

— Что еще установлено?

Тон Мячина понятен начальнику, но сейчас некогда отвлекаться в область личных переживаний. Прежде всего — факты! Если только Мячин способен быть в данном случае беспристрастным...

— Установлено все, товарищ подполковник. Они сами его порезали, его же товарищи, с «Матильды». Обычный случай, на почве выпивки. Это точно, что с «Матильды». Их видели, как они вместе вышли из кафе и...

— При чем все-таки Печерникова?

— Есть свидетель, товарищ подполковник. Шофер, некто Трохов... Он как раз находился в кафе и слышал, как они ругались.

— Вы сами говорили с ним?

— Никак нет.

Мячин старается отвечать деловито, строго по-уставному. К тому же он ввертывает слова, вовсе не свойственные ему, — «некто», «установлено»... Все это для того, чтобы скрыть волнение, показать себя человеком вполне объективным.

Уходя, Мячин громко, с силой щелкает каблуками. Он как бы ставит точку, резкую, оглушительную точку. Все, что требовалось, он сообщил. Остальное доскажет свидетель. Трудно Мячину говорить о Вале Печерниковой.

Это понятно Чаушеву.

Нет, он ни о чем не расспрашивал Мячина. Верно сказал один польский писатель, нехорошо входить в душу ближнего в галошах, даже если они вымыты. Мячин сам приоткрывал свою душу. «Товарищ подполковник, — начал он однажды, — надо ли показывать женщине свои чувства?» Чаушеву стало весело, он вспомнил первые школьные увлечения. Однако ответить постарался серьезно, — схоластика все это! Будьте искренни, будьте сами собой, чуткая девушка всегда раскусит притворство. «За ней многие гоняются, она наслушалась признаний», — вздохнул Мячин. Ну и что же? Отличиться среди прочих чем-нибудь выдуманным, играть какую-нибудь роль? Искusstвенно, фальшиво! Мячин не называл своей избранницы, но ему хотелось говорить о ней, он словно просил, чтобы Чаушев угадал сам. А Чаушев не поддавался, не проявлял любопытства. С какой стати!

Мячин крепился недолго, его сердечная тайна жгла ему язык. Он выдавал ее постепенно, частями. Студентка, зовут Валей. Дочь доцента Печерникова из кораблестроительного института. Глаза удивительные... И умница! С мальчишками ей неинтересно...

Последнюю фразу Мячин произнес с апломбом многоопытного мужчины. Он-то не мальчишка! Валя в конце концов поймет, оценит его!

Чаушев слышал о существовании Вали Печерниковой не впервые. Она и ее подруги бывали в Клубе моряков. Веселье сочеталось с пользой, — студенткам требовалась практика в иностранных языках.

Как-то раз Чаушев купил билеты в театр, но помешала срочная работа. Он предложил билеты Мячину. «Мне не с кем», — сказал тот мрачно. И вдруг разбушевался. Куда исчез деликатный, застенчивый Мячин! Как он только не честил «девок», «размалеванных кукол», которые увиваются за иностранцами, «трясут подолами», «позабыли всякий стыд»! Очевидно, в это число попала и Валя Печерникова. Обида сквозила слишком явно, и Чаушева корбило.

Жалоб на поведение Вали Печерниковой не было. Единственная ее вина — не оценила лейтенанта Мячина, пренебрегла его чувствами. Ах, скажите!

Но вот, оказывается, Валя как-то замешана в истории с Райнером. Что ж, посмотрим!

6

Семен Трохов, шофер грузовой машины, действительно провел субботний вечер в кафе «Волна», чья новая вывеска бросает оранжевые отсветы на деревья приморского парка.

Парк этот — неширокая полоска насаждений, отделяющая каменный городской массив от порта. Вывеска «Волны» видна крановщикам, видна диспетчерам с вышки из бетона и стекла, видна и с мостика торгового судна, входящего в гавань. От ворот порта до «Волны» — рукой подать. Густо толчется в «Волне» матросня, грузчики, разный морской народ.

Именно это и привлекает в «Волну» Семена Трохова.

Человек он в настоящее время сухопутный, но родства с моряками не утратил. А родство давнее, овейное порохом. Война застала Трохова «салажонком», новичком-матросом на торговом пароходе, потом сбросила на сушу, в пехоту. В сорок третьем, под Курском, Трохов, оглушенный взрывом, полузасыпанный землей и обломками блиндажа, угодил в плен, а затем в батраки к померанскому свиноводу. Оттуда его в конце войны и вызволили. Однако вольным гражданином он стал не сразу...

На пути в «Волну» Трохов обыкновенно заходит в гастроном и делит с кем-нибудь четвертинку, — для настроения. В «Волне» он чувствует себя легко и непринужденно. Очутившись за одним столом с молодежью, он изображает бывалого морского волка, пытается даже экзаменовать «салаг», что нередко весьма забавляет их.

Вчера, субботним вечером, он едва отыскал свободный стул. Вообще не повезло Трохову! «Салаги» пили кофе с ликером — вот до чего избаловались нынче — и не обращали на Трохова ни малейшего внимания. Заело Трохова! Уловив из разговора, что они из трюм-

ной команды, подчиняются «старика», то есть старшему механику, Трохов презрительно хмыкнул и ворчливо заявил:

— А уголек вы нюхали хоть раз, а? Ишачили с угольком? Лопатой вкалывали?

— Папаша! — сказал один из «салаг». — Уголь забудьте, он свое отжил.

Юнец лишь бегло взглянул на Трохова и повернулся к товарищам.

— То-то и оно! — откликнулся Трохов. — Не кочегары вы и не плотники! Не работа — курорт!

Ответом его не удостоили. Скандальить он, однако, не стал. Выпил рюмку коньяка, крикнул и оглядел соседние столики. Рядом, в углу, тесным кольцом расположились иностранцы. Один, постарше других, что-то говорил низким, хрипловатым голосом, иногда срывавшимся почти до шепота.

«Простудился», — подумал Трохов. До этой минуты он сидел спиной к иностранцам, и голос этот словно долбил его в затылок. Теперь Трохов посмотрел на немца в упор.

Маленькая голова, острый маленький нос, тонкие, вытянутые вперед губы... Лицо определенно знакомое! Трохов взгляделся пристальнее, но тут немец поднял руку и закрыл половину лица.

Рука двигалась то вверх, то вниз, покуда не задержалась у подбородка, и Трохов рассмеялся, — очень уж неуклюжей, пьяной показалась ему эта рука. И налился же немец! Почесывая подбородок, он теперь слушал парнишку в кожаной курточке, чернобрового, дерзкого. Да, парень наверняка дерзил старшему, сердито упрямился, поводя плечами, и блики от люстры так и плескались на курточке.

Трохова кольнуло любопытство, но, увы, — он ничего не смог разобрать в быстрой, негромкой речи молодого. Потом старший рывком подтянул галстук на рубашке из нейлона, мерцавшей в тени синеватым огоньком, и заговорил опять. Его язык был доступнее для Трохова, так как меньше отличался от говора жителей Померании. Долетели слова «фантастическая глупость», «сумасшествие», «свинство». Парнишка чем-то обозлил старшего. Потом раздалось — «Печерникова». Старший произнес русскую фамилию без труда. Должно быть,

немного знает по-нашему. Затем выяснилось, что Печерникову зовут Валей.

Раздор из-за девчонки, из-за чего же еще! Так сказал себе Трохов и перестал слушать, — история обычная, да и надоело вытягивать шею. Позвонки заболели.

Вышел Трохов из кафе в числе последних.

На холодке Трохов немного протрезвел. Вдруг вернулось первое впечатление от того немца, старшего, вырядившегося как на праздник. Да, морда знакомая! Стоя на площадке трамвая, на ветру, он старался вспомнить. Ворошил давнее, постылое, в самые недра памяти загнанное прошлое.

Перед рождеством это было... Ну да! Хозяин послал в рощу, в помещичью рощу, срубить тайком елку. Денег у скотовода куры не клевали, а покупать елку не хотел, жадничал. Когда Трохов внес елку во двор, мимо него, скрипя ботинками военного образца, прошагал в дом высокий мужчина с портфелем. Было уже темно, лицо пришельца блеснуло при свете фонаря холеной городской белизной. Трохов обрубил нижние ветки елки, внес ее в дом, показал фрау Леонтине — жене хозяина. Вскоре после этого хозяин стал вызывать батраков в мезонин, где он устроил себе кабинет. Там, за конторкой с зеленым сукном, сидели они оба — хозяин и гость.

Странный гость! Хозяин лебезил перед ним, поминутно величал «господином обер-лейтенантом». Однако, кроме ботинок, да, пожалуй, выправки, ничего военного Трохов не заметил. Штатское пальто, шляпа...

Шляпа лежала на самом краешке конторки, обер-лейтенант то теребил ее, то почесывал подбородок. Точь-в-точь как тот, в кафе...

— Возьмите себе табуретку, господин Трохов, — сказал обер-лейтенант по-русски. — Пожалуйста, не угодно ли вам курить.

Занятно у него получалось, словно урок отвечал. Трохов сигарету взял.

— Как вам поживается у нас, в Германии, господин Трохов?

— Живется как? — ответил Трохов. — День да ночь, сутки прочь.

Обер-лейтенант пожевал губами, видно, не понравилось, что его поправили.

— О, я понимаю, — сказал он, — тут чужой земля... Но тут культурный, чистый земля, господин Трохов. Не как Россия! Это правда?

— Каждому свое, — сказал Трохов.

Да, и разговор был странный. Потом оказалось, обер-лейтенант угощал сигаретами и других русских батраков, а батрачкам предлагал леденцы. И задавал все одни и те же вопросы, приготовленные заранее, словно заученные наизусть. Похоже, никто не приглянулся ему, и карты свои он так до конца и не раскрыл. Все же догадаться можно было, — субчик этот разъезжал по фермам, чтобы нанимать предателей...

Так неужели сейчас, в «Волне», тот самый?.. Поручиться нельзя, ведь двадцать лет прошло. Но губы, воронкой вперед, — его, обер-лейтенанта. Тот тоже подбородок царапал... Хотя Бурлаченко, автомеханик в гараже, таким же манером царапает, особенно когда перед ним покоренная машина. Тепленькая, только что из аварии...

Трамвай кривился, грохотал, — хоть бы вытряхнул все сомнения, и тогда ясно будет, как поступить! Конечно, если этот моряк — тот обер-лейтенант, то надо об этом сообщить. Может, и здесь затевает что-либо против нас, гад! Однако черт его ведает... Может, да, а может, и нет! Может, вовсе и не он! Наболтаешь зря!

Сомнения мучили Трохова еще и потому, что он вообще не любил распространяться о своем пребывании в плену, как и о последующей опале, а про обер-лейтенанта и слова не проронил никому. Ни одной живой душе! Ведь факт же, вербовал! Доказывай, что не завербовал тебя! Кто может проверить?

Все эти мысли привели Трохова в смятение, и алкогольный дух покинул его окончательно. Домой он прибыл необычно трезвый для выходного вечера, что не укрылось от жены — разбитной, горластой Ньюши, командирши в семье.

— Какая заноза засела? — спросила она властно. — Давай вытаскивай!

Трохов безропотно повиновался.

— Лучше помолчать, — решительно подвела итог Ньюша. — Кабы ты точно знал, а то... Ведь ты был выпивши.

— Правильно, — кивнул Трохов, повеселев.

Именно выпивши! Это снимало всякие обязательства. Что можно требовать, раз человек выпивши!

— Языком натрепleshь, только себе хуже, — продолжала Нюша. — Взбрело в башку, почудилось...

— Вот и я думаю, — сказал Трохов.

Обознался скорее всего... Счетоводу Лисохину, который на пенсию вышел, даже черти мерещатся. Вот какое оно зелье! Трохов успокоился. Он с удовольствием погладил горячий бок пирога, только что вынутого Нюшей из духовки.

— Страшного, конечно, ничего нет. — Нюша проворно, щедро резала пирог широкими, сочными ломтями. — Нынче зря не сажают, не как раньше. А все-таки неудобно... Спросят, говорил ли ты на допросе про оберлейтенанта? Нет, утаил. А по какой причине?

— То-то и оно, — сказал Трохов.

— А главное, выпил ты... Не пил бы — тогда другой коленкор. На, ешь!

Вкусный пирог — Нюша мастерица печь — задавил остатки сомнений Трохова.

На другой день его вызвали в милицию. Там он рассказал только о ссоре в кафе «Волна» и припомнил обрывки фраз, достигшие его слуха.

То же самое он рассказал и Чаушеву.

— Сосунок-то зубастый, — выкладывал Трохов. — Огрызается, характер свой кажет. А старший ихний, помощник капитана, вроде смотрит на сосунка, ну... как бог на черепаху.

Чаушев понравился Трохову больше, чем строгий, не улыбочивый офицер милиции. Семен чувствовал себя непринужденно с приветливым подполковником. С ним проще! Беседа по-свойски, без протоколов...

Бойкая речь Трохова, однако, временами замедлялась, становилась осторожней, будто поток его слов наталкивался на некое препятствие. Чаушев улавливал это.

— Вам известно, — спросил он, — чем закончилась у них перебранка?

— Чем? — отозвался Трохов. — Я направо повернул, домой значит, а они прямо...

Сотрудник милиции, следовательно, не открыл Трохову, что произошло дальше. Не счел нужным. Чаушев

решил ввести Трохова в курс событий. Скрывать от него нет никаких разумных оснований. Чаушев убежден, нельзя отказывать человеку в правде. Тем более в данном случае. Откровенность завоевывается откровенностью.

— Райнер, тот матрос молоденький, в больнице лежит, — сказал Чаушев. — Три ножевых раны. Его утром подобрали в парке. Неизвестно еще, выживет ли.

— Да что вы!

Трохов расстроился. Бедный «салага», за что же его? Что он им сделал? Дурак, нечего было лезть на рожон.

— Они там все против него были, — сказал Трохов, комкая шапку и вздыхая. — Особенно этот, старший...

Трохов коснулся пальцем фотографии. Они все лежали перед ним на столе, моряки с «Матильды Гейст». Да, он узнает тех, кто кутил вчера в «Волне».

— Старшего зовут Гуго Вилорис, — произнес Чаушев тихо, как бы про себя. — Вы угадали верно, он второй помощник капитана.

Трохов вдруг смущенно опустил глаза, к шапке, которую усердно мял.

— Так... Вы говорите, старший встал из-за стола, а Райнер еще сидел. И долго он там попивал?

— Кофе лакал, — хмыкнул Трохов. — С молочком. Полчаса проволынил с одной чашкой... Умора!

— Один?

— Нет, с товарищем. Тоже молокосос. Вот этот!

Он ткнул в фотографию.

— А те со старшим разом ушли, всей гурьбой, или как?

— Нет, разбрелись помалу. Там гражданочка одна вертелась, к ней двое причаляли...

Шапку свою Трохов терзал без устали.

— Порвете, — не выдержал Чаушев и мягко отнял рыжую бобриковую ушанку. — Между прочим, я любопытствую, где вы научились немецкому?

Тут он покривил душой, — офицер милиции не преминул доложить Чаушеву, что Трохов был в плену.

— Где? — Трохов помрачнел. — Поневоле научился...

— За колючей проволокой? — произнес Чаушев с участием.

— И за проволокой был, — нехотя, хмуро ответил Трохов. — А больше на скотном дворе, у хозяйских животных... Тоже не денешься никуда...

— Вспоминать, я вижу, не хочется.

— Точно! — Трохов кисло усмехнулся и заерзал. — Что за радость!

Неясное ощущение незавершенности осталось у Чаушева после встречи с Троховым. И вообще «чепе» пока что не разъяснялось. Появилось новое лицо, причастное к делу, — Валя Печерникова. Она, наверно, могла бы помочь, но ее нет в городе. Да, как назло! Дружинники очень горячо отнеслись, сразу узнали, кто такая Печерникова, где живет. Уехала на практику. А время дорого...

Чудно, девушка в отъезде, а из-за нее тут ссора, резня! Теперь ясно как будто, кто враг Райнера.

Стрелка часов подползла к пяти. Вот уже два часа, как не было известий из больницы.

Голос врача в телефонной трубке звучит бодро. Райнер приходит в себя. Каков прогноз? Надежда есть? Да, есть твердая надежда.

7

Ночь с ее видениями отступает. Райнер начинает сознавать, где он и что с ним случилось.

Женщина, которая ходила возле его кровати, а теперь ставит ему градусник, вовсе не его мать, а медицинская сестра. У нее хорошие, добрые глаза, добрые губы. Он почему-то понимает ее. Она велит лежать спокойно, не разговаривать. Надо подчиняться. Если не двигаешься, боль можно терпеть. Стоит шевельнуть одним мускулом, как чудовище, которое держит тебя в пасти, еще глубже вонзает свои зубы в грудь и в плечо.

Мать где-то близко... Должно быть, она вышла, чтобы полить цветы на балконе.

Нет, глупости, откуда ей быть здесь! Райнер силится шире открыть глаза, чтобы не соскользнуть обратно в жаркую, душную ночь. Он в госпитале. Здесь Россия. Отсюда никак не выйти на балкон с красной геранью.

Что за фантазия? В доме сейчас чужие, вот уже два года, как мать продала дом и перебралась в Инсбрук, к брату Леопольду.

Сколько придется лежать? Наверно, долго... Господи, как скверно! Надо было выйти из кафе всем вместе. Господин Вилорис предупреждал ведь... Да, шли бы вместе, никто не посмел бы напасть. Йенсен сбежал. Эх, друг называется!

Их двое было. Или трое... Темно было. Они как из земли выросли вдруг. Затопали сзади, налетели, а Йенсен сразу пустился наутек. Даже не обернулся.

Скорее бы поправиться. Говорят, в России хорошо лечат. И к тому же бесплатно. Мама, меня скоро вылечат и ничего не возьмут за это, ни одного шиллинга!

Нет, нет, об этом нельзя писать! Маме — ни слова! Вале непременно надо дать знать, она придет сюда, непременно придет. А маме нельзя! Она и так беспокоится. Она все спрашивает: «Тео, вы там не наскочите на айсберг?» Она видела в кино, как погиб пароход «Титаник».

Тео видит письмо, свое письмо к матери, начатое вчера. Оно осталось на столике, в каюте. Листок линованной бумаги под пепельницей, рядом с бутылкой водки, принадлежащей Йенсену. И что он находит в водке? Для него, кроме водки, ничего нет в России.

«Мама, айсберги теперь не опасны! На судне есть локатор, я писал тебе...

Ты все сердисься, мама. Что за блажь у Тео — идти в матросы! Что привлекательного в море? В роду Райнеров не было моряков. Да, мама, Райнеры были лесорубами, были каменщиками, я помню! Когда Андреас Хофер собирал тирольцев, чтобы прогнать солдат Наполеона, Райнеры не испугались. Все это я давно выучил, как молитвы в школе. Но я должен был поступить в матросы. Иначе, понимаешь, я никогда не встретил бы Валу...

Мама, познакомься с Вале! Это Валя, Ва-ля... Ты, наверно, тоже не сразу выразишь. А полное имя — Валентина. Да, Валентина, как моя двоюродная сестра, дочка дяди Рудольфа. Мама, куда ты уходишь?»

Перед глазами Тео белый, ослепительно белый шуршащий халат сиделки. Значит, он опять забылся! Хватит! Надо все припомнить. Спросит господин Вилорис,

спросит русская криминальная полиция, что сказать? Неужели так-таки никого не удалось разглядеть?

Нет, было темно... Тео устал напрягать память. Это, оказывается, очень трудно — вспоминать. Куда легче закрыть глаза и мысленно продолжать начатое письмо. Письмо, оставшееся на столике в каюте.

«Да, мама, в нашем роду все брали невест из соседних деревень. Только дедушка привез жену из Штирии, и новость грянула как гром в чистом небе. Ты рассказывала, как возмутились все Райнеры и как смеялись над бабушкой Адельгондой. Сбегались к ней, как в зоологическом саду к редкому зверю в клетке. Ну, теперь другое время!

Валя — самая лучшая девушка на свете! Я ни за что не откажусь от нее, ни за что! Райнеры никого не боялись, ты сама учила меня!..»

Странно, Тео еще не взял перо, не прикоснулся острием пера к бумаге, а строка растет, слова возникают и бегут вперед, будто цепочка альпинистов по горной тропе. По узкой горной тропе... Все дальше, дальше над облаками, по зубчатому хребту, где зажигаются костры...

Валя — рядом. Они лезут в гору, и большой праздничный костер, яркий, как фейерверк, словно плывет им навстречу. Да, ведь сегодня годовщина битвы с Наполеоном! Костры горят повсюду, на всех горах над Инсбруком. Но вот огни разливаются в темноте, образуют буквы, — это вывеска «Атлантик-бара» горит на темном, грузном здании, через улицу...

Медсестра выходит из палаты.

— Заснул мой матросик, — сообщает она врачу. — Легко спит, тихо... С уколом подождать можно, я думаю. Пускай спит.

8

Приблизительно в это же время Чаушев вызывал в памяти Зойку Колесову — в искорках бус, на тахте, среди полированной мебели, выставленной напоказ, как в магазине. Беспутную Зойку в далеком, чужом городе, в странной, чужой для нее квартире, в отсветах неона против «Атлантик-бара».

Что общего между Зойкой и Валею Печерниковой? Как будто ничего. Они вряд ли когда-нибудь встречались. Девушки из разных семей, совершенно разных. Колесовы — в Ольховке, Печерниковы — в другом конце города.

И, однако, чутье твердит Чаушеву — связующее звено есть, оно отыщется...

Входит дежурный, лейтенант Мячин:

— Вас срочно просят из милиции, товарищ подполковник.

По лицу Мячина видно, ему до смерти хочется знать, в чем дело.

— Соедините, — говорит Чаушев.

— Лейтенант Зорин, — раздается в трубке. И Чаушеву видится быстроглазый молодой человек, очень решительный и напористый.

Явился Трохов. Да, шофер Трохов, свидетель по делу о нападении на иностранного моряка.

— Исключительно с вами желает беседовать. Мне, говорит, батю, пограничника... Так и сказал — батю. Бывают же комики!

Зорин насмешливо фыркает. Это не нравится Чаушеву. Не смеяться, а плакать надо, коли не умеешь подойти к человеку, найти ключ к его сердцу.

— спрашивает, где вы находитесь. Я направил его. Вы не возражаете?

— Что вы! Напротив!

Трохов вошел четверть часа спустя. Он взял стул, предложенный Чаушевым, отнес его к стене и сел.

— Вы бы поближе сюда, — сказал Чаушев.

— Ничего... И тут ладно... Вы меня, конечно, простите, но я вам тогда не досказал...

Он начал быстро, спеша отделаться от своей давней и тягостной тайны. Сделал паузу, перевел дух и, отчаянно стиснув кулаками шапку, опять заговорил. Чаушев не вмешивался, поощрял лишь кивком, мягкой, понимающей улыбкой. Трохов покраснел, мышцы его напряглись, стул трещал под беспокойной тяжестью его тела. Признание давалось ему ценой не только нравственного, но и физического усилия. Он словно разгружал трехтонку, снимал с нее чугунные болванки, — сам, голыми руками.

— Вдруг умрет пацан! Я как услышал от вас, что его

подкололи, меня будто кипятком обдало... Если он своих режет, так какой подлец он из себя?

Трохов ни единым словом не открыл того, какая битва шла в его собственной душе, как росло и не давало покоя требование справедливости, как подавляло другие, мелкие чувства.

Чаушев угадывал это.

— Ну как я ошибся? Нет, не может быть! Берите его к ногтю, фашиста!

Так закончил свою исповедь Трохов, отдышался и обмяк, будто закончил изнурительную работу.

— Сразу и к ногтю! — откликнулся Чаушев. — Нет, не обещаю.

— Отчего? — Трохов растерялся, заерзал, руки разжались и едва не выронили шапку.

Чаушев понимал его состояние. Нельзя наказывать фашиста? Тогда зачем было мучиться! Пришел, высказал самое сокровенное, чтобы задержали гада, — ан, получается, зря все...

— На войне было бы просто, — терпеливо сказал Чаушев. — Он под охраной закона. Мы с вами видели, как он напал на матроса? Нет! Требуются веские доказательства.

— Свидетели нужны?

— Да, вообще твердые улики. Как положено... Тогда — на скамью подсудимых. Раз преступление на нашей территории, мы и судим по нашим законам.

— Так ведь фашист! Я свидетель!

— Этого недостаточно. Мало ли было фашистов! Сейчас вопрос так стоит: виновен ли он в преступлении? Неизвестно. Пока что у нас одни подозрения.

Трохов встал. Огорчение не сошло с его лица. Чаушев шагнул к нему, положил на плечо руку, чтобы утешить. И тут он понял, почему Трохов сидел у стенки и словно опасался приблизиться.

— Сто граммов хватил? — усмехнулся Чаушев. — Для храбрости, да?

— Сто пятьдесят, — потупился Трохов.

«Что он пережил, идучи сюда, с признанием? — думает Чаушев. — Чем дольше таишь такое, тем труднее открыться. Да и сейчас душа у него не на месте. Не оказалась бы излишней эта храбрость. Не повредила бы...»

— Вы... выбросьте из головы, — сказал Чаушев и крепко сжал плечи Трохова. — Что было с вами, то не повторится, клянусь вам! Это навсегда выметено!

— Спасибо! — Трохов повеселел, плотно натягивая ушанку.

— Вам спасибо за откровенность.

Оставшись один, Чаушев погрузился в размышления. Итак, Вилорис, второй помощник... Да, очевидно, начал карьеру во время войны, в разведке. Можно допустить, он и поныне в разведке, переменял только начальников. Что, если он, Вилорис, и стоит за кулисами спектакля с Зойкой в главной роли? Весьма вероятно. И все-таки это не приближает к разгадке. Да, Вилорис был недоволен Райнером. А дальше что? Это еще не улика...

«Матильда Гейст» спешит уйти из порта. Капитан Вальдо хочет поскорее отчалить, его безразличие к судьбе Райнера слишком ясное. Безразличие, за которым угадывается враждебность... А Райнер все еще не заговорил... «Матильда» кончит погрузку и послезавтра уйдет отсюда.

Правда нужна раньше.

Что ж, надо связаться с капитаном Соколовым. Пусть знает, что Вилорис, возможно, разведчик. Пусть и Зорин, следовательно милиции, наматает себе на ус.

Следствие ведет милиция. К пограничникам никаких претензий быть не может. Строго говоря, не их дело раскрывать уголовные преступления. Все, что можно, — сделано. Даже сверх положенного.

И все-таки Чаушеву не сидится в кабинете. Очутиться в тупике, обречь себя на ожидание — несносно! Сбросив шинель на кресло, он выходит в приемную.

Лейтенант Мячин встает.

— Устали? — спрашивает Чаушев.

На часах двенадцать минут шестого. Значит, через сорок восемь минут Мячин сдаст дежурство. Нет, он не устал. Вообще, по мнению Мячина, сон не должен отнимать треть жизни человека. Эдисон, например, спал всего четыре часа в сутки. Мячин тренирует себя. Он спит шесть часов. Разумеется, Чаушеву известно об этом достижении.

— Разрешите нескромный вопрос, вы знакомы с родителями Вали Печерниковой?

Мячин розовеет от смущения.

— Немного, товарищ подполковник, — выдавливает он. — Был у них как-то...

— А потом обиделись и перестали бывать, — улыбается Чаушев. — Гордо очистили территорию.

Мячин пожимает плечами.

— Ох, молодежь пошла! — произносит Чаушев поллушутливо. — До чего вы бережете себя, голубчики! До чего боитесь себя от всяких треволнений! Нет, чтобы бороться за свою любовь. И помучиться, если надо... Сколько метров готовы бежать за дамой сердца? Пятьдесят, сто? Не больше, наверно! Ну, ладно, речь не о том... В вашем возрасте это не последнее увлечение. Но дружеское чувство куда делось? Тоже сгорело, самолюбием съедено?

Мячин слушает, опутив голову. Куда клонит подполковник?

— Кому удобнее навестить Печерниковых, мне или вам? Мне представляется — вам!

— Ясно, — откликается Мячин.

— Постойте! Это не приказ, и по службе вы не обязаны. Но я на вашем месте... Говорят, матроса ранили из-за Вали. За Райнером врачи ухаживают, а вот Валя... Может быть, и она нуждается в помощи, а?

— В помощи?

Лицо Мячина выражает недоумение. Неужели и Вале грозит опасность?

— Вы помните, я читал офицерам один документ, перевод с английского. Инструкция о работе среди нашей молодежи. Помните? На молодежь — особый упор. Стараться приманить, увести за кордон, использовать для пропаганды. И вот вам пример — история с Колесовой. Допустим, теперь они нацелились на Печерникову. Ну, Райнер, похоже, не оправдал надежд, тут мы пока в потемках...

— Ясно, — повторил Мячин и решительно одернул гимнастерку. — Я схожу, товарищ подполковник.

— Еще раз говорю, это не приказ. Следовательно, конечно, в контакте с этой семьей. Если вы в качестве сыщика туда явитесь — не надо, лучше не ходите! Хватит одного! Вы просто друг, желаете добра. Следовательно — он задал все необходимые вопросы, но сердце человека шире уголовного кодекса. Вы поняли меня?

«Как будто понял, — сказал себе Чаушев, вернувшись в кабинет. — Он неплохой парень. Нетерпеливый, как многие нынче. Торопится сорвать плоды, а как растить дерево — невдомек ему. Пускай сходит. Его надо сгаликовать с жизнью. Только бы не вообразил себя всевидящим сыщиком! Сердце у него есть — это главное. Когда-нибудь не будет ни пограничников, ни милиции. Кто же тогда будет разбирать разные «чепе»? Хорошие люди, люди, желающие добра, — они и будут вступаться».

За окном темнеет. Море из свинцового стало черным. На причале, на судах зажигаются огни. В горсточках света — бочки, уложенные штабелем, морщины брезента, струйки подъездных путей, стальная паутина подъемного крана. А там — кусок палубы, свернутый пожарный кран на стенке, якорная лебедка. Из сумерек в круг света, блеснув автоматами, входят двое часовых и один занимает пост у трапа.

Тишина, повседневная рутина томят Чаушева. Где тот фонарь, который мог бы разогнать все тени?

9

Наблюдение за «Матильдой Гейст» приказано усилить, и поэтому у ее трапа стоит сержант Геннадий Хохлов — самый зоркий враг нарушителей.

Это высокий, худощавый, жилистый парень. У него узкие, пристальные глаза. На подбородке, на скулах, твердых щеках кустиками растет рыжеватая щетинка — юная, но колючая.

Свою славу Хохлов несет с неловкой стыдливостью, тем более что она многолика. Хохлов не только бдительнейший часовой, которому в Ленинской комнате посвящен отдельный стенд. Хохлов — чемпион округа по гребле на каноэ, то есть маленькой одновесельной остроносой лодочке. Длинноногие, брызжащие позолотой кубки молча свидетельствуют о том, как стремительно режет водную гладь каноэ Хохлова. Кроме того, он замечательный столяр. Шкаф, хранящий библиотечные книги, столик для радиолы в клубе, резная трибуна — все это подлинные шедевры.

Когда Хохлова хвалят, он не краснеет лишь потому, что смуглая его кожа, с детства выдубленная астра-

ханским солнцем, прячет надоедливо жаркий прилив крови.

Истинной пыткой была для него встреча с писателем, появившимся сегодня в порту. Писатель раскрыл блокнот и приготовился записать всю биографию Хохлова. А к чему это? Что в ней особенного? Просто он привык делать все как следует, за что бы ни взялся. А кубки, дипломы, грамоты достаются неожиданно-негаданно, он специально их не добивался. И куда их так много одному человеку! Даже, пожалуй, несправедливо! Честное слово, он охотно роздал бы большую часть то-варищам!

Взять, например, каню. Рекордов и в мыслях не было, просто надо же было на чем-то переправляться через рукав Волги на другой берег, в школу. Идти через мост, кружным путем, — время терять. Ну, сколотил лодочку. А сосед по дому, бывший мастер спорта, заметил однажды Хохлова, орудующего веслом, и сказал: «Противно глядеть на тебя, Генка. Сколько ты сил зря топишь!»

Разве не обидно слышать такое? Волей-неволей станешь тренироваться. А столярное дело перенял от отца. Не то чтобы призвание нашел в нем, — нет! Но уж коли взял в руки фуганок, долото, так не бросать же на полдороге, не оставаться же недоучкой. Не может Хохлов терпеть незавершенности, сдачи на тройку. В любом деле!

С писателем Хохлов говорил робко, нехотя, словно извинялся за массу полученных наград. Писатель был недоволен, — ему бы, в его блокнот, эпизодов позабористей!

Чем намерен заняться Хохлов, когда уволится? Отличаться в водном спорте, побивать рекорды? Писатель как раз и рассчитывал занести в блокнот такой ответ. Из среды пограничников выходит, дескать, выдающийся гребец. Трепещите все части света! Нет, для Хохлова спорт — не специальность. На всю жизнь не хватит. Пришлось писателю зафиксировать, что Хохлов мечтает быть учителем, преподавать математику. С этой целью он поступил в заочный педагогический институт...

Почему бы писателю не побеседовать с другими сержантами и с солдатами? Все Хохлов да Хохлов... Музейный экспонат сотворили...

Сержант был рад, когда писатель наконец захлопнул блокнот. Подошло время заступать в наряд. И вот Хохлов стоит на причале, у борта «Матильды Гейст».

В провале между судном и стенкой бьется, ухает вода. Это единственный звук, достигающий слуха сержанта. Потом вторгается другой звук — хлопает железная дверь.

Главная палуба судна почти вровень с причалом, и моряк, вышедший на свежий воздух, смотрит Хохлову прямо в лицо. Между ними не больше трех шагов.

Моряк навалился на фальшборт, и Хохлов различает даже родимое пятнышко близ уголка губ. Рот кажется оттянутым в одну сторону. Моряк напевает сквозь зубы и разглядывает какие-то картинки или снимки. Хохлов не обнаруживает излишнего любопытства. Он понимает, однако, моряк не случайно вышел на палубу именно здесь и встал тут, лицом к лицу с часовым.

— Эй, русс... Халло, фельдфебель!

Теперь одна фотография как бы невзначай повернута к Хохлову. Фельдфебель! Унтер-офицер!

Хохлов не отвечает. Свет фонаря льется на причал и на матроса, держащего фото. Улыбка его уродлива, рот уходит еще дальше в сторону.

— Халло! Хир Зойя! Русски фройляйн Зойя!

Это не новость для Хохлова, Да, знакомый снимок, — Зоя Колесова, сбежавшая с нашего теплохода. Декорация западного образа жизни — платье по последней моде, обстановка и даже «Атлантик-бар» за окном.

— Халло! Штабс-фельдфебель!

Хохлов подумал с усмешкой, какие еще воинские звания взбредут на ум матросу. В эту минуту фотография шлепнулась на асфальт у самых ног пограничника.

Хохлов не успел мысленно посоветоваться с уставом и наставлениями, он сделал то, что продиктовали ему гнев и брезгливость. Он наступил ногой на листок и спокойно встретил взгляд моряка.

— А-а! Ферфлюхте!

Немец стал ругаться. Подошел младший по наряду, Алеша Галкин, прозванный Галчонком. Он еще не избавился от привычки таращить глаза от любопытства, за что ему не раз попадало от старших, в том числе и от Хохлова. Но сейчас некогда пробирать его. Хохлов велел Галчонку вызвать офицера.

— Йенсен! — крикнул кто-то сверху, и матрос исчез, громыхнув ботинками по железу.

Хохлов передал фотографию офицеру и доложил, что произошло. «Матильда Гейст» между тем затихла. Из камбуза тянуло запахом съестного.

«Обедают, — подумал Хохлов. — После обеда, известно, хлынут на берег. Тут не зевай!»

Еще в самом начале службы на КПП Геннадий уловил одно курьезное явление, — тот, кто боится тебя, скрывает что-то, неизбежно себя выдает. Если ты достаточно внимателен, ты наверняка заметишь такого человека, выделишь его среди других. Нет, он необязательно отводит глаза. Иногда он, напротив, уставится на тебя не мигая. Не всегда он спешит проскользнуть мимо или нервно запахивает на ходу свой плащ. Все это — повадки новичков. Есть птицы стреляные, они стараются ничем не вызвать подозрений...

Недавно Хохлов прочел книжку, написанную доктором медицинских наук, о передаче мыслей на расстояние. Интересная книжка! Конечно, что-то передается от человека к человеку... Вот бы встретиться с этим профессором, узнать его мнение по поводу некоторых происшествий у трапа!

Моряк, который показался на трапе в хвосте компании из пяти человек, как-то сразу заявил о своем присутствии. На часового он почти не глядел. Он шел нахохлившись, втискивая руки в карманы своей черной куртки из синтетической кожи с пушистым воротником — хлипкой нейлоновой имитацией меха. Двумя большими, живыми желваками топырились эти два кармана. Похоже, моряк вышел из теплого камбуза и его обдало холодом. Кок ихний, что ли?..

Моряк с гримасой нетерпения вытащил руку из кармана, показал пропуск, зажатый в кулаке, потом, сутулясь, вздрагивая от студеного ветра, зашагал прочь. Хохлов на миг скосил глаза, только на миг, так как к нему тянулись еще два пропуска. Куртка у моряка сзади чуть задралась кверху, задний брючный карман торчал козырьком, — он чем-то до отказа набит или что-то скрытое находится под ним...

— Момент! — сказал Хохлов и слегка дотронулся до спины моряка. Подходящие к случаю английские слова выскочили из головы. Моряк резко обернулся,

будто ждал этого. Он послушно отошел в сторону и встал у трапа, у самого края причала.

«Видно, не первый раз попадаетесь», — пронеслось в мозгу Хохлова.

Задержанный не спорил, не пытался бежать. Он по-прежнему зябко поводил плечами, притопывал, поглядывая на часового из-под желтоватых, редких бровей, словно обкуренных табачным дымом.

Он хмуро извлек из заднего кармашка две пачки сигарет. Обе были надорваны, в каждой не хватало двух-трех штук. Но почему две пачки? По рассеянности, что ли? Иностранцы, а тем более западные, — народ расчетливый, пока одну пачку не израсходуют, другую не тронут. Значит, взял пачку у товарища. Зачем? Вся цепочка соображений заняла не больше секунды, да и не помешала тем временем еще раз оглядеть моряка спереди и сзади. Кармашек опустел, но выпуклость, хоть и не очень явная, осталась.

Хохлов уже сталкивался с такой уловкой. Психологический прием, — попытка сбить со следа, смутить часового, убедившегося в бесплодности подозрений, и на этом успокоить, пресечь всякие подозрения.

Уже не от холода, от досады побелел моряк, когда его обыскали таможенники. К концу личного досмотра он стал тощим и жалким, отчаянно лебезил, хныкал, просил прощения. Женское белье, которым он обернул себя, носки новейших расцветок, лифчики, — как раз лифчик и пузырился предательски под задним карманом, — громоздились кучкой на столе.

Старший лейтенант Бояринов записывал данные: Ральф Хаубицер, кок теплохода «Матильда Гейст», двадцать восемь лет... Пропуск Хаубицера лежал тут же, и кок смотрел на него жадно, с тоской. Конфискация контрабанды не угнетала его так, как потеря пропуска, и значит, права бывать на берегу.

Не избежала досмотра и куртка Хаубицера. В ней в боковом верхнем кармане, застегнутом «молнией», оказались три серебряных браслета. «Дорогой подруге на память от Зои», — читалось на внутренней стороне. Три подарка, трем подругам... С браслетами вместе лежала бумажка, сложенная вчетверо. Три адреса...

Бояринов спросил кока, от кого он получил браслеты, и тот назвал Вилориса, второго помощника капита-

на. Кок все еще не спускал глаз с пропуска. О, он готов на все, только бы вернули его!

— А дамские вещи откуда? — спросил Бояринов.

— Купил сам, господин обер-лейтенант. Я не для продажи, нет! Знакомым барышням, сувенир...

— Много же у вас знакомых, — сказал Бояринов, безглаголиво оглядел груды белья, с иголки новенького и тем не менее как будто нечистого. — Вилорис знает, что у вас такой груз?

— Нет, — выдавил Хаубицер.

Вошел Чаушев и за ним Мячин, только что сдавший дежурство. Бояринов встал. Хаубицер оглянулся, вскочил и ошарашенно заморгал.

Бояринов доложил о случившемся. При этом он невзначай коснулся белья, отдернул руку и поморщился.

— Жаждет пропуск получить обратно, — прибавил Бояринов. — Еще бы, вся коммерция рушится! А торговля тут, видите, обширная...

Он подал начальнику браслеты.

Чаушев кивнул. Он уже видел похожий подарок — в Ольховке, у Зойкиной бабушки. Тот был подороже. Но и эти не из самых дешевых. Значит, кампания продолжается...

— Пожадничал коммерсант, — произнес Чаушев. — Набрал и того, и сего...

— Сувенир, — сказал Хаубицер истово, вытянув руки по швам.

Чаушев спросил его, известно ли ему о несчастье с матросом Райнером.

— Да, господин подполковник, — ответил кок, не меняя позы. — Говорят, его чуть не убили русские парни из-за какой-то женщины.

Голос Хаубицера звучал искренне.

10

— Владимир Юрьевич! Милый Владимир Юрьевич! Он в больнице, правда? Расскажите, умоляю! Следователь воды в рот набрал. Юмор! Будто я вытягиваю военную тайну!

Мячин еще не успел раздеться в прихожей, а Тая Селиверстовна, мать Вали, забросала его вопросами.

По имени-отчеству Мячина называют редко. Слышать «Владимир Юрьевич», да еще из уст красивой женщины, и такой молодой на вид, ему лестно. А главное, приятно чувствовать себя гостем, хоть и незваным, но желанным и даже нужным.

— Чепуха! — солидно, негромко посмеивается Мячин. — Какая же военная тайна!

Через минуту он — на диване, за круглым столиком, накрытым клеенкой. Яркая, аппетитная клеенка, на ней напечатана вкусная, сочная пестрота закусок и бутылочек с французскими винами. Несмотря на важность миссии, Мячину захотелось есть. Тая Селиверстовна кинулась на кухню, чтобы поставить чай, вбежала, молниеносно расставила вазочки с печеньем, с конфетами, с вареньем. Заметив, что гость разглядывает клеенку, сказала:

— Он мне преподнес. Валин жених...

Жених? Вот до чего дошло! Но она скривила полные губы, красные от природы, отвернулась, и Мячин растерялся. То ли не существует настоящего жениховства, то ли не признает она его...

— Вы поели бы, — спохватилась она. — Чего-нибудь существенного...

— Нет, нет, не надо, — соврал Мячин. — Спасибо, я сыт.

Еда может помешать делу. Дорогой он обдумал вопросы — очень остроумные, тонкие, нисколько не навязчивые — и расположил их в точнейшем порядке. Он нес сюда эту ажурную конструкцию и с трудом удерживал ее в уме.

— Он вчера был у нас, — слышит Мячин. — Днем, я только пришла с базара, привинтила мясорубку. Вдруг звонок, робкий, будто кошка лапкой. Он, думаю, горе наше... И верно — он, заикается даже, до того влюблен. «Валья дома?» Никак ему не произнести — Валя. Юмор! Объясняю ему, уехала, ист вег, на два месяца. Практика! Ферштеен зи? Он чуть не заплакал. Жених! Юмор, а не жених! Этакий младенец!

Набор вопросов сиротливо таял в голове Мячина. Хозяйка сняла с него немалую тяжесть. Ему оставалось только слушать.

— Просит адрес Вальки. Я говорю, нет адреса, она еще не писала. Адрес-то есть, конечно, я бога молю,

чтобы отвязался. Боже мой, ну не было печали!.. Владимир Юрьевич, я счастлива была, когда Валька с вами хороводилась. Вы или он — какое может быть сравнение!

«Значит, она меня в женихи записала», — подумал Мячин с внезапной неприязнью.

— Вы мужчина, вы уже офицер! А это что? Во-первых, я не дам утащить девчонку за границу.

Последнее Мячин мог только поддержать, но досада не заглохла. Кто-то за его спиной решает его судьбу, планирует свадьбу. Гнусно! Уже офицер! Выгодный жених, так, что ли?

— Следовательно вы сообщили, где Валя? — спросил он, вертя в пальцах ложечку.

— А то нет? Он уж тут трудился, скатерть чернилами закапал. Все выспросил, решительно все. Когда они познакомились, как Валька ему условие поставила, прошлый раз...

— Какое условие?

— Да вы кушайте, что вы как на именинах? Условие такое, к нему в Австрию она не поедет, чтоб и думать не смел. Нашим гражданином станет — тогда пожалуйста... Дура ведь! Никуда он от своей мамы не денется. цыпленок! Ой, теперь уладилось, кажется! Не скоро выйдет из больницы, правда ведь? А Валька на практике, вот и славно! Я бы ее все равно услала куда-нибудь.

Глаза Таи Селиверстовны смеялись, но в глубине их в расширенных зрачках Мячин вдруг увидел страх. Потом ему показалось, что всю комнату наполняет атмосфера страха, паники. Даже варенье, будто расплескавшееся по вазочкам, детскими порциями, брошенными торопливо, впопыхах, выдавало состояние духа хозяйки.

Чего она боится? Ведь Валя хорошо решила — не хочет она покидать родину. Так чего же?..

На стене, почти прямо против Мячина, портрет Вали карандашом. Работа самодеятельного художника. Все же что-то схвачено, — четкий рисунок губ, внимательные глаза, тонкая, непокорная складочка над переносицей. Нет, Валя все решает сама, власть Таи Селиверстовны над дочерью лишь воображаемая!

— Валя любит его? — спросил Мячин прямо, слегка дрогнувшим голосом. В заготовленных вопросах лю-

бовь не предусматривалась. Это слово вторглось неожиданно для него самого.

— Дурость, идиотство! — Тая Селиверстовна вдруг взорвалась. — Из пеленок едва вылезли!.. — Она умолкла, заметив, как насупился Мячин, потом прибавила: — Ой, Владимир Юрьевич, вот будет у вас дочь... Будет у вас дочь, тогда вы поймете меня.

«Я понимаю, — упрямо думал Мячин. В свои двадцать три года он был беспощаден. — Пошлая мешанка! Чего боится? Боится привидения! Сама же создала его... Ах, караул, не тот жених оказался у Вальки! Молод, необеспечен, — вот страх какой! Иностранец, еще страшнее! Панический испуг, не достойный советского человека...»

Все более тяжелые обвинения против хозяйки рождались в горячей голове Мячина. Она между тем вспоминала вслух вопросы следователя, снова и снова возвращалась к Райнеру.

— Он прямо заках, когда я сказала, что Вальки нет. Стоит и вздыхает. Мне даже жалко стало его. Потом слышу, твердит: Пирогов, Пирогов... Оказывается, ему улица Пирогова нужна. Не знает, как проехать от нас...

— Улица Пирогова? — встрепнулся Мячин. — Значит, он от вас туда направился?

— Бог его ведает... Вполне возможно.

Мячину тотчас представилась бумажка, сложенная вчетверо, из куртки кока Хаубицера. Да, одна из подруг Зои Колесовой живет там, на улице Пирогова.

II

Тео провел ночь хорошо, в глубоком и целительном сне, и проснулся с ясной головой. За окном ветер разгонял тучи, небо голубело. Так же стремительно, как клочковатые, истрепанные штормом тучи, неслись и мысли Тео. Из глубин памяти возникали события, лица, теснили друг друга, и в этом круговороте тонула, пряталась какая-то тайна...

Полгода назад, когда он поступил на судно, он был так счастлив! Его мечта о море, о дальних плаваниях осуществилась удивительно легко и быстро. Взрослые, бывалые моряки, толпившиеся в конторе по найму, за-

видовали, а один спросил, обдав его пивным духом, какой благодетель радеет ему. Смешно! Откуда взяться благодетелю? Он приехал в портовый город вчера вечером, переночевал в гостинице для молодых христиан и вот дело в шляпе — принят, зачислен в команду!

На «Матильду Гейст», — сказали ему. Она в порту у восемнадцатого причала. Он готов был сейчас же, бегом кинуться туда с чемоданчиком. Нет, явка в пять часов вечера. Прежде необходимо зайти к шефу, господину Кларенсу. Он имеет обыкновение беседовать с новичками. Нет, ничего страшного! Господин Кларенс обожает молодежь.

Господин Кларенс оказался маленьким румяным старичком. Бархатная шапочка на темени делала его похожим на гнома. Он занимал лишь один уголок широкого, квадратного кресла. Его будто бросили в кресло, как куклу.

Опасения Тео тотчас развеялись, — господин Кларенс был очень ласков. Он предложил сигарету и, узнав, что Тео не курит, достал из ящика стола конфеты.

— Отлично, мой милый! — сказал он. — Я сам не курю. Ты и не пьешь?

— Бог спас, — ответил Тео.

— Ты из Тироля? Очаровательный край! Альпы, скалочная прелесть! И люди превосходные у вас в Тироле, богобоязненные люди. Так ты решил стать матросом? Кто же тебя надоумил?

— Никто, — сказал Тео. — В наше время, милостивый господин, нельзя прозябать целый век в одной долине.

— Ах, нас тянет путешествовать! — господин Кларенс смачно сосал конфету. — Похвально, похвально! Я сам в твоём возрасте... Коралловые острова в тропиках, да? Храмы Бирмы, крытые золотом, а? Египетские пирамиды?

— О, милостивый господин, — вздохнул Тео. — Неужели я это увижу? Не верится!

Гном добродушно кивал.

— А ты красивый мальчик... Я вообще считаю, что на суда надо принимать самых лучших парней... Лучших германских парней...

Тут Тео вскинул брови. Он-то прежде всего тиролец! Правда, был один Райнер, тирольский стрелок, кото-

рый кричал «хайль» Гитлеру, пока не сложил голову в России. Но, кроме этого Райнера, никто из Райнеров не звал себе на шею ни Наполеона, ни австрийских императоров, ни Гитлера...

— Нет, нет, мальчик, я не нацист, — сказал гном, будто угадав мысли Тео. — Я вот о чем. Такая мордочка, как у тебя, — это вывеска для фирмы. Хорошая вывеска, ты понял? Но девушки! — господин Кларенс закатил глаза. — Девушки будут бегать за тобой вереницей во всех портах. Смотри, как бы тебя не украли! — И господин Кларенс весело захихикал. — Хотя у тебя, наверно, есть невеста, там, в Тироле. Уютная девочка в передничке, в шляпке с перышком. Я забыл, как он называется, ваш тирольский костюм... Ди...

— Дирндл, — пробормотал Тео.

Ему стало неловко. Нет у него невесты! Теперь, по крайней мере, нет... Лиза любила другого, задаваку Эрика, который вечно тычет всем в нос своего дядю. Ах, у дяди в Вене собственный коттедж! Дядя купил моторную лодку!.. Да, с Лизой все кончено. А ведь когда-то она писала ему записки и передавала тайком, даже в церкви. И однажды подарила поцелуй...

— У тебя все впереди, мальчик. И девочки, и все на свете... Ты много увидишь всякого... Ты побываешь у большевиков... Да, «Матильда Гейст» направится прямехонько на восток... Интересно, неправда ли?

— Там безбожники! — воскликнул Тео и поежился.

Тут затрезвонил телефон.

— Господин Вальдо? — произнес Кларенс. — Да... Одобряю выбор... Да, да...

Господин Кларенс рассмеялся, потом словно вспомнил о делах, кинул коробку с конфетами обратно в ящик и задвинул его с резким стуком.

Тео понял, что надо прощаться.

Позднее, на «Матильде Гейст», Вилорис — второй помощник капитана — пожелал узнать, о чем шел разговор с господином Кларенсом. Тео не находил слов от восхищения. Он как родной отец — господин Кларенс! Угостил конфетами, обо всем расспрашивал.

— Ты, малыш, и в самом деле не брал в рот спиртного? — спросил Вилорис.

— Нет, как же, пробовал! — возразил Тео. — Вино, красное и светлое...

— Вода! — бросил Вилорис. — А покрепче? Например, виски или бренди?

Тео потупился. Один раз, в тот самый день... Он вышел из конторы господина Кларенса, и было так радостно на душе. А там, прямо напротив, — бар. И Тео подумал, что он Теодор Райнер — матрос, первый матрос в роду Райнеров, и ему надо попробовать виски. Он читал, что матросы пьют виски. И бармен налил ему из бутылки с белой лошадью на этикетке... Странно, причем тут белая лошадь? Тео думал спросить Вилориса, но постеснялся.

Когда Тео попала на глаза фотография русской девушки по имени Зоя, он сразу вспомнил бар, где впервые отведал виски. Вспомнил потому, что то был тоже «Атлантик-бар».

Признаться честно, Тео так и не разобрался, в чем прелесть виски. Невкусно, отдает аптекой! И что за удовольствие — пить! Очень скоро Тео зарекся тратить деньги попусту. Нельзя же, надо копить, откладывать каждый день хоть монетку, иначе он не сможет жениться на Вале.

Валя, наверно, наморщила бы нос и прыснула, если бы узнала, что он даже чашку кофе не выпьет на берегу — так строго экономит. Она опять сказала бы: «Да ты с другой планеты, Тео!» Валя объясняла: в России никто не боится потерять работу. Она права. В России вообще не бояться очутиться без средств. Но за будущее разве можно поручиться?

Товарищи и те подтрунивают. Они удивились, когда Тео пришел в кафе, в субботу вечером. Ну, на то были особые причины...

Еще и Зоя вмешалась...

Карточки с Зоей он увидел у Йенсена, сокаютника. Русская, сбежала с советского парохода, вышла замуж, живет в портовом городе, том самом, где Тео стал моряком. Занятно, тот же «Атлантик-бар». Значит, квартира Зои этажом ниже конторы господина Кларенса. Что ж, совпадений сколько угодно! В мире столько удивительного, что разумный человек ничему не должен удивляться. Но зачем Йенсену столько карточек? Оказывается, их надо отдать на берегу, прежним подругам Зои. Небольшое поручение... Разве Йенсен знаком с Зоей? Нет, это Вилорис знаком, да и то не с ней, а с

ее мужем. Вилорис и попросил раздать фотографии. Что ж, доброе дело!

У Зои, кроме того, осталась в России бабушка. Не забыли и ее. Тео охотно взялся передать ей подарок. К сожалению, браслет старушке не подошел. Она даже рассердилась... Что ж, ее можно понять. К чему ей браслет?

Тео был в Клубе моряков, и Йенсен как раз при нем отдал фотографии Зоиным подругам. Он скоро оставил Йенсена с девушками одного, так как в танцевальном зале, в толпе, появилась Валя. Ради Вали он и пошел на танцы. Он вообще не очень-то ловкий танцор, но когда он с Вале... С ней так легко, как ни с кем!

Потом Тео не раз встречал в клубе подруг Зои. Катерина, Антонина и Елена... Они всегда вместе, стайкой. Однажды он им сказал, что бывал в том городе, где живет Зоя. «Матильда Гейст» заходит туда с каждым рейсом. И тогда они попросили его разыскать Зою. Да, узнать, как она живет. Фотография странная, Зоя снята будто нарочно. А самое странное — это то, что от Зои давно нет писем.

Тео посмеялся, с какой стати снимать нарочно! Однако почему бы не выяснить... Адрес известен, — тот же дом, где контора господина Кларенса. Тео обо всем рассказал Вале. Она не стала отговаривать, напротив. Выяснить следует!

И еще с одним человеком поделился Тео. Нет, не с Йенсеном. Он просто сокаутник, но не друг. Йенсен называет Тео «младенцем», «котенком», и хотя бросает эти слова без злобы, но все-таки обидно. Йенсен ничего не говорит Тео о своих делах. И Тео платит ему тем же. На «Матильде Гейст» не так-то просто найти друга, — народ все взрослый, много гамбуржцев, ганноверцев. Некоторые смотрят на Тео свысока, издеваются над его тирольским диалектом... Кроме того, есть голландцы, есть датчане. Йенсен, например, датчанин из Шлезвига. Над ним, однако, не смеются, как он ни шепелявит по-своему...

Есть только один человек на судне, от которого у Тео нет тайн, — электрик Лютгард Сван. Ему уже двадцать семь лет. Он силач, кулаки у него как гири. А главное, он много читал и очень много знает. Дружбой с Лютти можно гордиться...

Если тебя обидели, то самое лучшее — выйти на палубу и поглядеть на море. Море — это такая красота, что выразить невозможно. Море всегда успокоит. Море — оно мудрое, как волшебник. Как-то раз Тео стоял, опершись о фальшборт, грустный, и подошел Лютти.

Так и началась дружба.

Лютти тоже видел Зою на фотографии. Лютти тоже кажется странным, что от нее самой ни строчки родным и знакомым. А Вилорис, почему он так хлопочет, почему возит пачками эти фотографии и так старается их распространять?

— Его же просили, — сказал Тео. — Муж Зои, его приятель. Простая любезность...

— Ладно, любезность. Не будем думать о людях плохо, Тео. Но вытащить на свет божий правду всегда полезно. Ты согласен?

— Конечно! Правда — выше всего!

— Дай мне слово, что ты пойдешь туда, к Зое, один! Никому ни звука! Ни Вилорису, никому! Видишь ли, правда далеко не всем нравится. — Мы поговорим потом как-нибудь, — сказал Лютти: он торопился на вахту. — Я выберу время... Сам выберу, а то... Наша дружба кое-кому не по вкусу...

Ну ясно, над Лютти тоже смеются. За то, что он водится с «младенцем», с «котенком»...

Тео сказал себе, что он непременно разыщет Зою. Теперь это уже приключение. И точно, на пути, как и полагается в приключениях, возникли препятствия. В знакомом доме на первом этаже, под конторой господина Кларенса, никакой Зои не оказалось. Тео и звонить не стал, — на парадной двери, на медной дощечке написано «Транспортное бюро».

Как же быть? Верно, в городе не один «Атлантик-бар»! Тео вдруг осенило, он кинулся в телефонную будку, раскрыл книгу. Нет, «Атлантик-бар» только один... Тео подумал и сказал себе: Зоя с мужем, должно быть, переменили квартиру, и «Транспортное бюро» поместилось тут недавно. Он подбежал к дворнику, который мыл тротуар шваброй, и спросил, давно ли въехали транспортники.

— Года три, пожалуй, — ответил дворник. — А тебе что, молодой человек?

— Ничего... Не тот адрес дали...

Теперь Тео твердил себе, что он не успокоится, пока не найдет Зою.

Отступать немислимо! Уж коли он взялся... Райнеры всякое дело доводят до конца. Да, ему и здесь казалось, что и мать, и старший брат — словом, все Райнеры смотрят на него с одобрением.

Улица Францисканцев, прямая как струна, уходила в туман, серый и тоскливый. Тео потоптался возле жаровни на углу, глотнул горячий, пряный дух ракушек, варившихся в огромной кастрюле. Нелепые вкусы у жителей приморья! Как ни кипяти, моллюски все равно жесткие, будто резина! Потом внимание Тео привлекла витрина торговца собаками. За стеклом возились, хватали друг друга за уши, катались крохотные щенята. Тео медлил покинуть улицу Францисканцев. На что он рассчитывал? Этого он не смог бы объяснить. На счастливую встречу, на случай...

Нет, напрасно... Он с досадой завернул за угол и зашагал к порту. На автобус тратиться незачем, — еще одна монета прибавится к сбережениям. Да и времени девать некуда... Открылась маленькая площадь, за облетевшими деревьями мелькнула вывеска букиниста. Ветер листал старые журналы на щитке у входа. Да, случай все-таки помог! Тео вспомнил, один из матросов, длинноносый Петер из Кельна, кинул вскользь, что фотография Зои, та самая, попала ему на обложке иллюстрированного еженедельника.

— Вам что, молодой господин?

В темных недрах лавки слышался шорох, вздохи, там кто-то словно тяжело пробудился. Сгорбленный старик в длинном пальто из шинельного сукна шел оттуда, шаркая ногами, зажигая слабые, пыльные лампочки. Осветились полки, узкий коридор из полок, забитых всяким печатным добром.

— Мне «Объектив». Так, кажется...

Тео почесывал затылок, прислонившись плечом к косяку. Да, Петер сказал «Объектив». Он не читал, что там было написано. Заметил обложку в киоске — и только.

— «Объектив»! — отозвался старик. — Ты занимаешься политикой, парень?

Голос старика звучал мягче. Но Тео покачал головой. Политикой? Нет, боже сохрани! Ну ее, политику.

Райнеры всегда держались в стороне от нее! Ложь, обман — вот что такое политика, как говаривал отец.

— Бери, милый, бери! — старик протянул к полке костлявую руку, потянул за веревку. — «Объектив» выпускают красные, да будет тебе известно.

— Меня не касается, — сказал Тео. — Мне последние номера... Октябрьские, наверно...

Он сам снял связку, к большому облегчению старика. Лицо военного в фуражке... Девушка в яхте под парусом... Слон тянет свой длинный хоботище...

Тео с полчаса перебирал журналы и наконец нашел. Пальцами, черными от пыли, он держал перед собой знакомую картинку. Да, все на месте! Безделушки, тахта, «Атлантик-бар» напротив. Крупная, бросающаяся в глаза фотографияй словно хлестнула Тео — «Очередная фальшивка пресловутого „Транспортного бюро“».

Он перевернул несколько страниц и прочел остальное. Вывеска «Транспортного бюро» скрывает много всяких нечестных махинаций. Сейчас обнаружилась еще одна. Фотография, помещенная на обложке, печатается для распространения в Советском Союзе. Однако барышне Колесовой живет далеко не весело. Ее «жених» Грегор Вандейзен, которому, видимо, было поручено сманить ее, исчез, и девушка дошла бы до крайности, если бы не сердобольная женщина, акушерка фрау Брунгильда Хольборн, живущая в переулке Жестяников...

Новость оглушила Тео. Он дал старику деньги, не глядя сунул в карман сдачу. Какой подлец этот Грегор! Девушка дошла бы до крайности... Как понять? В памяти вдруг обрисовались угрюмые кирпичные здания, красноватые лампочки, женщина за окном — толстая, в розовой сорочке. Йенсен подталкивал его туда, к лампочке, мерцавшей кровавой точкой, к женщине. Тео стало страшно, он вырвался. Йенсен захохотал, отпустил Тео и какой-то из тех грязных, противных подъездов принял Йенсена...

Узкий, кривой переулок Жестяников вел к древнему собору, и на низеньких, подслеповатых домах было множество дощечек, вывесок, эмблем торговли и ремесла. К акушерке госпоже Хольборн Тео поднялся по наружной лестнице, накрытой жестким, голым сплетением дикого винограда.

Госпожа Хольборн впустила Тео, кутаясь в шерстяной платок, защищая горло от холодного воздуха. Тео спросил, может ли он видеть Зою. Госпожа Хольборн не могла ответить сразу, так как закашлялась.

— Зои нет, — услышал он. — Зоя не живет здесь. А вам зачем?

Тон был неприветливый. Тео помялся и рассказал, кто он и зачем ему нужна Зоя. Тогда госпожа Хольборн улыбнулась. Улыбка совершенно изменила ее.

— Зоя уехала... Бедное дитя, она была вынуждена... После того как она дала интервью корреспонденту «Объектива», для нее житья не стало... Угрозы, анонимки... Терпи и не смей жаловаться, вот как у нас! И меня записали в красные... Я не хотела расставаться с девочкой, она славная и очень старательно вела хозяйство, но... Эта история чуть не распугала мою клиентуру. Я устроила девочку, нашла ей место у одной знакомой...

Где же Зоя теперь? В Люствалле, километрах в пятидесяти отсюда. Туда можно на электричке. Тео поблагодарил. Нет он не успеет, скоро вахта. Надо возвращаться на судно.

— Моряк, — ласково сказала госпожа Хольборн. — Мой сын очень хотел быть моряком. Он не успел... Вам сколько лет, господин Теодор?

— Девятнадцать.

— Моему было семнадцать... Его взяли в сорок пятом году, увезли на фронт...

«Было семнадцать», — отдавалось в сознании Тео. Значит, он погиб.

— Он не доехал до фронта, — сказала она. — Он заснул в грузовике и выпал... И попал под заднюю машину...

Тео молчал. Он не знал, что сказать госпоже Хольборн. Она провела рукой по лицу, будто смахнула что-то. Потом она спросила, куда идет «Матильда Гейст». В Россию? Опять в Россию? Тогда он мог бы сделать доброе дело...

— Бедная девочка с ума сходит здесь. Она говорит, что босиком побежала бы домой, на родину... Но ей стыдно. Ее же сфотографировали эти жулики в «Транспортном бюро». Ее пригласили туда, обещали заработок. Она сидела в гостиной, ждала приема... Она понятия не имела, для чего ее снимают. Ей сказали, для

рекламы мебельной фирмы, заплатили немного. Потом послали на товарную станцию уборщицей. На один месяц! А вышло так, будто она с этими проходимцами заодно...

Госпожа Хольборн еще долго рассказывала. Тео вышел на улицу, когда до вахты осталось двадцать минут. Пришлось взять такси. Чудовищный расход, но надо же было выслушать до конца! Он не мог прервать госпожу Хольборн. Зато теперь он добыл правду о русской девушке. Надо прежде всего сообщить Вилорису.

Нет, сперва Лютгарду, другу Лютти. Ни звука Вилорису, предупредил Лютти. Тео дал слово, хотя и неохотно. Ему и сейчас неясно, зачем нужно скрывать от Вилориса. Пусть там, в «Транспортном бюро», жулики стряпают пропаганду. Но Вилорис, второй помощник капитана, моряк... Нет, он не похож на жулика. Он — жертва недоразумения, вот и все.

Однако раз слово дано, его надо держать. Все Райнеры свято держат слово.

Не чуя под собой ног, Тео взошел на палубу. До вахты еще семь минут, авось удастся поговорить с Лютти! Невмоготу нести жгучую новость!

Увы, пока Тео был в городе, его разлучили с другом. Лютгард покинул судно. Его уволили.

Капитан заявил, что электрик Лютгард Сван нерадиво относился к своим обязанностям. Странно, до сих пор он был на хорошем счету! Тео встревожился. Это была смутная тревога, и Тео гнал ее, пытался избавиться, но все-таки решил не нарушать слово, данное Лютгарду. А номер журнала, купленный у старика букиниста, надежно спрятал.

Хоть и трудно, ой как трудно хранить правду про себя, но это, пожалуй, необходимо.

Тео считал часы и дни. Он представлял себе во всех подробностях, как передаст эту драгоценную правду подругам Зои, поможет несчастной русской девушке.

12

— Разрешите! — гаркнул лейтенант Мячин, нетерпеливо приоткрыв дверь.

Голос не слушался его. Мячин вряд ли когда-нибудь

заявлял о себе так громко. Он тут же смутился, встретив удивленный взгляд Чаушева.

Мячин был словно во сне. Он не ожидал такой удачи. Он только что видел Людмилу Алексееву, подругу Зои. Следовательно из милиции до нее еще не добрался. Ловко получилось. Люся работала в ночной смене, и вот, сегодня утром, Мячин был у нее. Он испытывал мальчишескую радость оттого, что опередил милицию. А главное, получены важные факты. Матрос Райнер заходил к Алексеевой в субботу вечером, не застал дома, но оставил номер журнала... Это грандиозно! Разгром всей шайки!

Чаушев погрузился в чтение. Мячин был так взволнован, что не заметил этого, не подарил начальнику и минуты тишины.

— Люся... Алексеева спрашивает, кому написать, в правительство. Они хотят заявление подать, подруги Зои... Алексеева говорит, мы ее возьмем на воспитание, всем коллективом, пусть ей разрешат вернуться...

Чаушев улыбнулся и, чтобы прервать излияния Мячина, продолжал чтение вслух:

— «Режиссеры буффонады не поскупились на рекламу и о советской девушке, якобы нашедшей любовь и счастье в западном мире, трубили на все лады. Усердие понятное, так как у провокаторов забот прибавилось. До сих пор они имели одно поручение — смущать умы советской молодежи. В настоящее время потребовалось укреплять престиж «западной цивилизации» у себя дома, так как многие молодые люди и девушки уходят из ФРГ в ГДР и не раскаиваются в этом.

Месяц ажиотажа вокруг Зои и проходимца Грегора кончился, так как средства, отпущенные «Транспортному бюро» на цветы и подарки, видимо, израсходованы. От фейерверка остался лишь дурной запах».

Мячин топтался на месте и вздыхал. Он уже прочел статью несколько раз, и слушать ему было трудно, ему хотелось говорить.

— Бедная девчонка, — сказал Чаушев. — Попала в переплет... Ей, конечно, разрешат вернуться, я не сомневаюсь...

— Я тоже, — подхватил Мячин. — Я тоже не сомневаюсь, товарищ подполковник. Райнер молодец, верно? Теперь все ясно... Ясно ведь, за что его...

Для Мячина все просто. Можно отправиться на «Матильду Гейст» и арестовать Вилориса. Странно, почему начальник не соглашается? Райнер разоблачил аферу, ему отомстили, — просто, как дважды два...

— Ну, ну! — Чаушев поднял руку. — Журнал и без Райнера доходит. Обыкновенной почтой. — Чаушев усмехнулся. — Нет, повод наверняка более серьезный. Райнер знает больше, чем напечатано, или...

Зазвонил телефон.

Мячин увидел, как оживилось лицо начальника.

— Это из больницы, — сказал Чаушев, кладя трубку. — Райнер заговорил.

13

Позавчера, в субботу утром, Тео скоблил ржавчину, выступившую кровавыми пятнами на якорной лебедке. Подошел Вилорис и несколько минут смотрел на Тео.

— Малыш, — сказал Вилорис, — как у тебя подвигаются дела с твоей красоткой?

Тео чуть не выронил инструмент. Правда, его отношения с Валею не были тайной, и Вилорис, бывало, подтрунивал, называл Тео «женихом», советовал остерегаться русских парней, — девушка, мол, хорошенькая, добром могут не отдать. Но сейчас... Очень уж прямо спросил Вилорис.

— Она... уехала, — пробормотал Тео.

— Куда?

— У нее практика...

— Надолго?

— Я не знаю.

— Эх ты, теленок!

Тео нахмурился. Он не любил, когда его называли теленком. Иногда ему бросали — «тирольский теленок» и при этом показывали на шею, где у скотины висит колокольчик.

— Я не зря с тобой болтаю, — услышал Тео. — Время не ждет, еще один рейс в Россию, и мы, наверно, встанем на ремонт, так что... Мы поможем тебе, малыш, но ты сам должен быть энергичнее.

Тео знал, что имеет в виду Вилорис. Он давно твердит, что фирма очень добра к матросам, которые обза-

водятся семьей. Это укрепляет мораль экипажа. Господин Кларенс, акционер фирмы, — тот души не чает в молодежи, окажет молодой паре щедрую поддержку.

Но не ошибается ли Вилорис? Моряки ведь не всегда представляют себе, что происходит на берегу. В последние дни Тео глодал червь сомнения.

— Господин Вилорис, — сказал Тео, — что если господин Кларенс занимается пропагандой?

Вилорис покачулся. Он прищурил свои узкие глаза, лицо его ожесточилось. Тео никогда не замечал у второго помощника такого выражения лица. Но через секунду-две он стал прежним, обычным Вилорисом.

— Глупости, малыш, — сказал он и засмеялся. — А впрочем, нас не касается. Мы моряки! Моряки, а не политики. Нам с тобой плевать на сухопутных, малыш! Но ты же не откажешься от круглой суммы денег? Ты возьмешь ее, а они... Они пусть занимаются чем угодно.

Ласковый тон Вилориса покорила Тео. Да, мы моряки, политика нам ни к чему. Тео и сам так считает. В семье Райнеров это были бранные слова — «политика», «пропаганда». Однако вряд ли удастся воспользоваться добротой фирмы.

— Валя не хочет уезжать, господин Вилорис. И ее мать не хочет.

Это вырвалось как-то само собой. Тео давно жаждал с кем-нибудь поделиться.

Вилорис свистнул.

— Скверно, малыш! И что же ты решил?

Теперь взгляд Вилориса опять неласков. Тео пожал плечами.

— Ты не падай духом, малыш, — услышал Тео. — Сходи к ней, может, она приехала... Потом заходи в кафе, расскажешь. Мы придумаем что-нибудь.

— Хорошо, — сказал Тео.

Что-то помешало выложить Вилорису все без остатка. В действительности Тео еще на пути в советский порт решил, как ему поступить. Он женится на Вале и останется в России, раз другого выхода нет. Валю понять можно, — она учится, будет учительницей немецкого языка. Тео тоже сможет учиться, это ведь здесь бесплатно. Еще стипендию будут платить. Он станет геологом, специалистом по вулканам. И потом они

вдвоем, он и Валя, поедут в Японию или в Индонезию, исследовать вулканы. Снимут фильм. Весь мир будет смотреть этот фильм и поражаться, какие храбрецы! Одно плохо, он долго не увидит маму. Но что же делать? Мама простит. Мама будет рада за него потом...

Рано или поздно надо будет сообщить Вилорису, товарищам-морякам. Возражений Тео не предвидел. Увезят же тирольских девушек в Португалию и даже в Аргентину! Вообще границы стираются в современном мире. Какая разница — увезти Валью к себе или остаться с ней в России? Политиканы — тем это против шерсти. Так им и надо! С него-то политиканам нечего взять!

В тот же вечер он зашел к Вале. Нет, она не вернулась. Мать Вали встретила его не слишком приветливо. Тео объяснил бы ей, если бы знал необходимые русские слова: ей нечего бояться, он не отнимет у нее дочь! Потом он поехал на улицу Пирогова, оставил там журнал. Конечно, он не переставал думать о Вале. Желание увидеть ее стало нестерпимым. Э, да зачем откладывать? Вдруг этот рейс в Россию последний! Фирма прикажет встать на ремонт раньше... Тео похолодел. Да, пора действовать. В каком городе Валя, он знает. Это не очень далеко, четыре часа поездом.

Значит, так. Сперва в кафе, сказать всем, потом на судно, за вещами...

В кафе он застал целую компанию. Ему налили в кофе коньяку, он выпил — очень немного, голова оставалась свежей. И он при всех сказал Вилорису, что решил остаться в России. Хладнокровно объяснил, почему. Не забыл упомянуть, что фирма должна ему один фунт и пять шиллингов.

Говоря о деньгах, Тео смотрел на скатерть, и тут что-то грохнулось о стол. Тео подумал, что упала ваза с цветами. Но нет, это Вилорис стукнул кулаком.

— Дурак! — выдохнул Вилорис. — Паршивый дурак!

Тео не собирался ссориться. Он даже не обиделся. Ярость Вилориса удивила его.

Между тем Вилорис перестал ругаться. Он перевел дух и заговорил другим тоном. Тео губит себя, сует свою наивную, глупую башку в петлю. Русские не разрешат! Русские запрячут его в тюрьму, скажут, что он

подослан в качестве шпиона, — словом, найдут что придумать.

— Не может быть, — сказал Тео. — Валя бы меня предупредила, господин Вилорис.

Тео старался быть вежливым. Но тут влез в разговор рулевой Санбом, первый задира. Тео не терпел Санбома.

— Тирольский теленок, — протянул Санбом. — Бам-бам-бам, на весь приход...

И он изобразил руками колокольчик. Медный альпийский колокольчик.

— А ты... — Тео, задыхаясь, искал слова. — Ты проклятый агитатор!

Удержаться он уже не мог. На шею агитаторам надо вешать колокола, да потяжелее! Что они сделали с Зоей, эти политики!

— Это все вранье, что она счастлива, — Тео обратился к Вилорису. — Не верьте!

Тут все примолкли. Тео стал рассказывать, как он искал Зою, и как добрался до госпожи Хольборн, и какие новости услышал от нее.

— Вот как, — тихо произнес Вилорис. — Все это очень интересно.

Задира Санбом все порывался что-то вставить, но Вилорис остановил его жестом.

— Интересно, — повторил Вилорис. — Что ж, раз ты все обдумал, делай по-своему. Я тебя предупредил, дальше сам отвечай. Не воображай, что это так просто. Вот сейчас тут, за твоей спиной, толклись русские парни и ловили каждое твое слово. Если они попытаются убрать тебя с дороги, я не удивлюсь. Ну, пошли, ребята! Пусть посидит! Еще, может, остынет, возьмется за ум...

Один Йенсен остался сидеть с Тео. Они выпили кофе, потом направились к воротам порта, через парк. Было темно. Быстрые шаги сзади, удар...

Тео очнулся в больнице.

14

Наговорившись, Тео уснул. Сон сморил его на полуслове. Чаушев встал и нежно прикоснулся к пружинистым, иссиня-черным волосам юноши. Офицеры тихо вышли из палаты.

Теперь нужна свободная комната. Надо обсудить, принять какое-то решение.

Молодой врач сконфужен, — он может предложить только зубо врачебный кабинет. Прием начнется через час. Но там вряд ли удобно...

Чаушев взгромоздился в кресло, поморщился от неприятных воспоминаний и отвел от себя шланг бормашины.

Капитан Соколов опустился на жесткий диванчик и открыл портфель. Зорин — следователь милиции — попытался оседлать вертящуюся табуретку, не по росту высокую. Табуретка сбрасывала его, как норовистая лошадь.

Зорин не в духе. Показания Райнера разочаровали его. Нетерпеливый молодой следователь жаждет прямых улик. Он мучительно переживает всякое препятствие, всякую неясность.

Что до Чаушева, то он не возлагал на Тео больших надежд. Тео оказался таким, каким он виделся Чаушеву. Мальчик из горной глуши, честный, но бесконечно наивный. Он еще не умеет отличить врага от друга. Особенно, если враг действует исподтишка, в темноте...

Разумеется, это Вилорис. Он сам всадил нож или кто-нибудь из компании — утверждать невозможно. Во всяком случае, без Вилориса не обошлось. Кто такой Вилорис? Средний разведчик, большой карьеры так и не сделал, со времени войны на вторых ролях. И тут вместо живой добычи на нашей земле — разгром, потеря в собственном войске. Катастрофа для него!

Соколов собирается что-то сказать. Веснушки на его лбу двигаются, он роется в своем портфеле. Зорин соскальзывает с табуретки и принимает позу человека, готового ринуться в бой.

— Имеются данные, — говорит Соколов.

Гуго Вилорис, правда, нигде не учтен, но Гуго Шульца кое-кто помнит.

Да, сигнал, поступивший от Трохова, помог делу, навел на след. Гуго Шульц — в числе непойманных военных преступников. Он служил в гитлеровской комендатуре в Барановичах. Служил недолго, всего месяц, но память по себе оставил.

Лейтенант Шульц застрелил десятилетнюю девочку,

Галю Колешук, которая собирала грибы и зашла в запретную зону, возле моста. Впрочем, любимым оружием лейтенанта был нож. Лейтенант Шульц, будучи пьяным, ни за что ни про что кидался с ножом на крестьян, пугал их, царапал, а иногда наносил раны...

— Из комендатуры выбыл, — произносит Соколов, — так как заболел корью.

Зорин нервно смеется. Бандита корь свалила! Что же еще известно о Шульце? В сорок четвертом году он в Померании, в рабочем лагере для военнопленных. Опять с ножом. Тычет ножом в провинившихся, истязает пленного Большакова, собиравшегося бежать из лагеря. Постоянно играет своим ножом. Деталь очень важная. Трохов тоже запомнил нож. Красивый, с красной рукояткой, из янтаря или пластмассы...

Но вот незадача, Вилорис был Шульцем. Была бы другая фамилия, более редкая, а то — Шульц! Фу, черт! Шульцев — что Ивановых... Гуго — тоже очень распространенное имя. Конечно, проверить нетрудно. Отыскать лиц, знавших Шульца, показать им портрет Вилориса... Процедура длительная. «Матильда Гейст» завтра уйдет.

Вилорис выскальзывает...

Никто не говорит вслух, но это очевидно каждому. Зорин страдает. Он с досады крутанул бархатное сиденье табуретки и тотчас придержал, так как Соколов поглядел осуждающе.

Подавленное молчание гнетет и Чаушева. Но он не считает, что положение безнадежно. Да, арестовать Вилориса пока нельзя. Все же правда о нем есть. Пусть не вся правда...

Зорин выслушал Чаушева с недоверчивой улыбкой, Соколов — сосредоточенно. Замысел Чаушева состоит в том, чтобы выпустить правду на волю — из портфелей, из папок, из кабинетов. На волю, к людям...

За порогом больницы, у рифленых колонн, офицеры расстались. Газик Чаушева покати к порту и затормозил, не доезжая до ворот, у приземистого кирпичного здания с частоколом антенн на крыше. Вальдо — капитан «Матильды Гейст» — должен быть здесь, в управлении пароходства.

Тощая фигура Вальдо в шумном, людном коридоре словно стремилась исчезнуть, раствориться в облаках

табачного дыма. Чаушев пожал вялую, холодную руку, осведомился о здоровье. Вальдо только простонал в ответ. Чаушев понимал, невеселые заботы одолели капитана. Судовой кок пойман на контрабанде, надо платить штраф.

— Суровые у вас законы, господин офицер... Что ж, ваше право... Опять мне краснеть перед хозяином. Старик Гейст не любит таких штук. А мое положение... Мне навязывают всяких проходимцев, всякую шушеру... Блаженный Гейст понятия об этом не имеет...

Он запнулся и умолк. Похоже, сказал слишком много и спохватился.

— К сожалению, неприятности для вас не кончились, — произнес Чаушев. — Райнер пришел в себя.

Вальдо как будто не расслышал. Он шагал рядом с Чаушевым, шагал деревянно, почти не сгибая колен, и смотрел прямо вперед. Кругом стучали крепкие моряцкие ботинки, похрустывали плащи, тлели сигареты, голоса в теснине коридора спрессовались в слитный, волнами накатывающийся гул.

— Райнер пришел в себя, — повторил Чаушев громче. — Он смог ответить на некоторые вопросы и помочь следствию. Мотив покушения теперь установлен. Райнер не пожелал стать орудием в руках шайки провокаторов.

Чаушев говорит спокойно, с частыми паузами. Он старается подбирать самые точные слова. Коридор повернул, сутолока схлынула. В этом отростке коридора тихо, светло, на матовых стеклах старинных дверей возникают отважные парусники, плывут навстречу, безмолвно палят из пушек. Вальдо шагает, вобрав голову в плечи, ссутулившись, его плащ обвис на острых, костистых плечах.

— До сих пор у нас были только отдельные факты, — говорит Чаушев. — Отдельные факты, нуждавшиеся в проверке. Теперь мы вынуждены предъявить вам и вашей фирме претензию. Политический шантаж на торговом судне...

Теперь они в конце коридора, у большого окна. Слепящий свет льется из серо-голубого простора. Голубеет небо, освобождаясь от легких, быстро летящих облаков, а вода в бетонной подкове причалов еще серая, иссеченная крупной, беспокойной рябью. Вальдо устало

притулился к подоконнику, лицо у капитана мертвенное, бескровное.

Когда Чаушев назвал Вилориса, капитан резко запахнул полу плаща.

Сейчас он сидит на подоконнике, опустив голову, как подсудимый.

Чаушев продолжает. Вилорис — главарь шайки. Участие Вилориса в покушении на матроса Райнера бесспорно. Кроме того, открылись другие дела Вилориса.

— В прошлом он был Шульцем, носил гитлеровскую форму. Тогда он тоже действовал ножом...

Капитан Вальдо с усилием встает.

— Вы не поверите мне, — начинает он. — Все равно... Я скажу вам... Как мужчина мужчине... Меня заставили взять Вилориса и других... Райнера тоже... Но для чего — я не знал, честное слово, не знал! И хозяин не подозревает ничего подобного. Старик Гейст — он стремится только торговать, он деловой человек. Понимаете, деловой человек старого закала. У меня тоже, господин офицер, тоже нет иных намерений. Гейсту не понравится это, ох не понравится!

Вальдо как будто искренен. Чаушеву видится накрахмаленная скатерть в кают-компании, каша, диетическая каша, густо посыпанная сахаром. Действительно, какие основания не верить капитану Вальдо? Он слаб здоровьем, он мечтает о пенсии и как огня боится ссоры с хозяином, ибо многое в будущем Вальдо зависит от него — блаженного Гейста.

— Я верю вам, — говорит Чаушев.

— Спасибо! — Вальдо крепко, с неожиданной силой жмет руку Чаушева. — Так значит... Скажите, господин офицер, что я должен сделать?

— Я хотел предупредить вас, только и всего. Об официальном визите представителей власти.

Последняя фраза дается Чаушеву с огромным трудом, его английский словарь истощен до предела.

Оба медленно идут назад по коридору, под бесшумным огнем корветов на матовых стеклах, утомленные разговором, потрясенные беспощадностью правды.

«Конечно, он сам захочет проверить, — думает Чаушев. — Начнет собственное следствие. Это уж как пить дать! И тут подсказки не требуется. Правду он не

удержит. Нет, ни за что не удержит, даже если бы захотел. Посмотрим, что победит — холодная война или коммерция. При данных обстоятельствах у коммерции шансов больше».

Толпа, бурлящая у касс, у финансового отдела, у отдела кадров, голосит, толкает, обдаёт дымом сигарет. Ароматы многих стран мира, крепкая, удушливая смесь. Чаушева нестерпимо тянет вырваться из закопченных стен, глотнуть свежего воздуха.

* * *

Пока «Матильда Гейст» находилась в порту, я почти не видел Чаушева. Он был страшно занят. Мне лишь изредка, на ходу, удавалось перекинуться с ним несколькими фразами.

Часовые на причале все время зорко наблюдали за судном.

Поздно вечером они услышали легкий всплеск. Что-то упало в воду.

Три часа спустя, глубокой ночью, в недрах спящего судна глухо ударил выстрел.

Вилорис, он же Шульц, покончил с собой. Перед этим он выбросил из иллюминатора свой нож.

Чаушев выдвинул ящик стола и протянул мне этот нож, поднятый со дна водолазом. Тонкий, из отличной стали, с рубиново-красной янтарной рукояткой.

— Вот и орудие преступления, — сказал подполковник. — И не одного, а многих... Вилорис думал спрятаться на судне, отсидеться. Понял, что не выйдет. Капитан от него отступился. Да, Вальдо решил выдать его. На многое смотрел сквозь пальцы, но тут... Укрывать избобличенного преступника — не расчет...

Потом голос Чаушева потеплел, он заговорил о Тео. Парень поправляется, скоро встанет на ноги.

— В палате у него чего только нет — цветы, альбомы, апельсины, марки... Клуб моряков заботится, от туда книжки приносят на немецком языке. Валя навещает. Ну, о женитьбе наш герой мечтает по-прежнему, но сперва хочет домой, к маме. Еще бы, после такой передрыги!

Месяца через два Тео уехал. Началась новая навигация. Тео не появился у нас. Он написал, что пробо-

вал устроиться на судно, но безуспешно. Не берут его в матросы...

— Я часто вспоминаю его, — признался мне Чаушев. — Жаль его! Мальчик из горной долины, доверчивый, наивный, столкнулся с самым подлым, с самым жестоким в жизни... Что делать, век наивной романтики недолог в наше серьезное время! Лишь бы не сдался парень. Будем надеяться, он выдержит.

Да, Тео, мы верим в тебя!




КОРВЕТ
"БРИЛЬ"

Стекло рубки дрогнуло, на нем веером расплылись шалые брызги. Потом водяная пелена сползла, впереди снова обозначилась палуба, вся занятая огромным, черным штабелем стальных труб. Под их тяжестью нос «Воронежа» глубоко уходит вниз. Да, море и сегодня не даст передышки!

Капитан Алимпиев смотрит на трубы. Сейчас они словно риф, обдаваемый волнами. Не вздумал бы кто-нибудь сунуться туда! Наверно, все слышали приказ...

— Сказки эфира!— раздается за спиной басок радиста Бори.

Лицо у него усталое, побелевшее от духоты. Семь потов согнал Боря, сидя в раскаленной рубке. И все-таки не может он просто так подать депешу, не ввернуть при этом какое-нибудь свое словечко.

— Ну-ка, что за сказки?

Тощее тело Бори обтянуто намокшей майкой. Откинув голову, он снисходительно пофыркивает:

— От богов погоды... Обещают восемь баллов...

— Девять получено,— смеется Алимпиев.— Можем выдать расписку.

На вид он не намного старше Бори, особенно когда смеется. Волосы и сейчас не слушаются гребенки. Светло-русовая шелковистая прядь закрывает лоб. Задумавшись, капитан оттопыривает пухлые губы, потом вдруг спохватывается, вскидывает правую руку. Как будто в руке мел, а он курсант у классной доски...

— Девять баллов — это еще цветочки,— говорит капитан.— А с хамсином вы знакомы?

— Нет... Читал только...

Тревоги в Бориных глазах нет, одно любопытство, жадное любопытство новичка, первогодка.

— Похоже, что познакомитесь.

Очертания берега, еще недавно четкие, начали таять. На зубах захрустел песок. Море, выцветшее от непогоды, темнело.

А в ясный день вода здесь синяя, ярчайшей синевы. И на ней острова. Одни желтые, почти золотые, и сверкают, как брошенные на счастье монеты, а другие кирпично-красные. Голые холмы на африканском берегу пылают, точно головни. Иной ничего не видит здесь красивого, — жара, сушь, голодная нагота барханов и скал. Так что ж! Зато песок чист и все краски чистые. Земля первобытной, наивной простоты, пустыня, где все надо затевать сначала.

Такой видел эту землю Алимпиев в прошлом году, когда был старпомом на «Радищеве».

А нынешний год выдался трудный. Новое судно, новые люди. Конец опалы, снова капитанская должность, от которой уже успел отвыкнуть...

В окулярах бинокля — маяк. Он играет в прятки, дразнит. Вдруг почудилось несколько маяков, мелькающих в песчаной дымке.

— Ворота слез, — слышит Алимпиев.

То Лавада — первый помощник. От его плотной фигуры, как всегда, веет спокойной завершенностью. Рубашка застегнута на все пуговицы, и сильно пахнет одеколоном. Штилеты старательно начищены. Ни одна песчинка не села на них. Даже хамсин ничего не может поделаться с Лавадой.

Алимпиев хмурится. В мореходке первокурсникам и то известно, что этот пролив арабы называли воротами слез.

— Есть новости посвежее, — говорит капитан громко, почти сердито. — Сносит с курса.

Летучий песок уже поглотил берег, стер все ориентиры. Перед Алимпиевым матово теплится стеклянный экран, на нем рождаются острова. Лишь электрический глаз локатора различает их сквозь хмарь, сквозь тучи песка.

Снос пока небольшой. Достаточно взять курс на градус влево... Рулевой Черныш поворачивает штурвал. На

лице его и жалоба, и злость. Великана-кубанца донимает качка, он негодует на море и на самого себя.

— Так держать! — бросает Алимпиев.

Опять появляется радист Боря. Что с ним? Он на себя не похож, — сгорбился, щеки как-то странно вздрагивают. Ах вот что! Он принял сигнал бедствия. «Фудзи мару» штормует у Африканского Рога, потеряно управление... Алимпиев отрывается от депеши и встречается с глазами Бори. Глаза ждут, умоляют.

— Очень далеко, Боря, — говорит капитан.

Парня легко понять. Сигнал бедствия, первый раз в жизни... Ему страшно. Страшно за других. Картины кораблекрушения, одна ужаснее другой. Тонут люди...

— Там же кругом полно судов, — говорит капитан. — Это же не где-нибудь, а на большой дороге...

Ему хочется утешить радиста.

До японца далеко, очень далеко, а ускорить ход нельзя. Острова, банки, мгла.

Пролив сузился, а ветер крепчает, упрямо стаскивает с курса. Еще градус влево... Круглое стекло локатора — теперь главная реальность, приковавшая все внимание Алимпиева. Остальное где-то на краешке сознания.

Снизу нарастает набатный гул. Волны пляшут на палубе, на штабеле труб. Там то и дело опадает, стекая каскадами, шапка пены. Когда нос «Воронежа» идет вниз, Алимпиев ощущает тяжесть груза физически. Он словно привязан к подошвам.

Кто там на трубах? Кого понесло? Видна спина человека, пробирающегося по штабелю к носу.

Это боцман Искандеров. Что ему нужно? Ходить по палубе запрещено. Так какого черта!..

На миг боцман исчез. Его закрыла завеса воды. У Алимпиева перехватило дыхание. Нет, не свалило боцмана! Он шагает теперь не по мосткам, а левее, прямо по трубе. Прямо по скользкой трубе. Но его короткие, крепкие ноги словно ввинчиваются в сталь.

— Одерживай! — крикнул Алимпиев. Черныш только что переложил руль, но надо замедлить поворот. Дать боцману пройти, прежде чем судно встанет бортом к волне.

Большая волна фонтаном взлетела и рухнула. Боцман уже соскочил со штабеля, рванул дверь носовой рубки.

«Обратно пойдет», — с досадой подумал Алимпиев. Течение норовит посадить «Воронеж» на мель. Надо взять еще влево, и нельзя круто подставлять борт, иначе, пожалуй, опасно для боцмана.

— Одерживай, одерживай, — повторяет Алимпиев. На лбу его выступил пот.

Искандеров тем временем нашел в носовой рубке, в своем боцманском хозяйстве, то, что ему нужно. Он спешит назад. На плече его обручем висит тяжелый трос.

— Молодцом! — слышится баритон Лавады.

— У борта вырос новый вал. Уходи, боцман! Уходи, дьявол тебя возьми!

Алимпиев выругался и обтер рукавом лоб. В чем дело? Зачем понадобился трос?

— Здоров боцман!

Это опять Лавада. Чем он, собственно, восхищается? Что случилось? Зачем трос?

Алимпиев оборачивается, но Лавады уже нет. Матрос, посланный разузнать, докладывает: все в порядке, груз ведет себя нормально. Боцман ходил за тросом на всякий случай. Просто, чтобы иметь под рукой лишнее крепление. Неровен час — двинутся трубы...

Не дай бог! Страшно и вообразить многотонные трубы без креплений, на свободе. Катаются по палубе, громят фальшборт. Судно кренится. Бр-р-р! Но ведь груз уложен хорошо. С какой же стати было боцману?..

Выяснить, однако, некогда. Хамсин зашумел во весь голос. Песок набивается за ворот, колет затылок, ежом сползает по спине. От него болят и слезятся глаза. Песок туманит стекла, струится во все щели. Утром и кофе и макароны — все будет с песком.

В рубке радиста, в наушниках снова пробудился сигнал бедствия — слабый, захлебывающийся шепот — и утонул в пучинах эфира. Боря ловил, вслушивался, ждал.

Наконец-то!

«Фудзи мару» вне опасности. Он на буксире у «Королевы Христины». Швед ведет японца в Суэц.

На лице Бори засохший ручеек крови — от глубокой ссадины на лбу. Кровь и на майке, потемневшей от песка и пота.

— Поцелуй хамсина, — усмехается Боря.

Он бежал в радиорубку, боясь пропустить сигнал с «Фудзи мару». Качнуло, стукнулся о косяк.

— Товарищ Пáпорков, — ласково говорит капитан, — есть же аптечка.

Кровавый ручеек ломается. Улыбка дается Боре не без усилия. Она светит наперекор всему.

Царапина! О чем разговор! Да, аптечка близко, но до нее ли было! Он ловил сигнал бедствия, а кровь капала прямо на стол, на аппарат.

— Горим на вахте, — произносит Боря.

При этом он открывает дверь радиорубки, — пусть капитан увидит пятна крови.

— Горите? — спрашивает Алимпиев шутливо. — Ладно! Поменьше копотит.

Бору сменяет Стерневой — отличник, старше Бори и годами, и опытом. Он розовый, чистый, хорошо выспавшийся. Он брезгливо оглядывает столик, закапанный Борькиной кровью.

— Это еще что за детектив?..

Утихло лишь к утру. Стихия летучего песка осталась за кормой. «Воронеж» вышел на простор океана.

— Шабаш! — вымолвил Алимпиев. Вдруг мучительно, до боли в висках потянуло спать. Пускай теперь командует вахтенный штурман.

На палубе — обсыхающей, пахнувшей солью, в мысочках нанесенного песка — хлопочет Искандеров.

Капитан окликнул его.

Татарские глаза боцмана лукаво сузились. Чего ради бегал за тросом? Шторм ведь! Надобно все иметь наготове. Зачем же все-таки? Сдвинулась хоть одна труба? Нет, трубы прикручены как следует, хаять укладку грех. Да ведь всякое бывает! Ну, чтобы никто не беспокоился...

Глаза боцмана теперь почти закрыты. Два черных тире. Едва заметно мерцает хитринка.

— Трубы — они золотые, — тянет он.

Слова не его — Лавады. Это Лавада твердит — золотые трубы, дороже золота.

— Ясно, — говорит Алимпиев. — Ясно, кто беспокоился.

Искандеров молчит.

— Ступай отдыхать, боцман! — бросает Алимпиев резко, в тоне выговора.

Лавада, конечно, не вмешивался. Он же слышал приказ — на палубу не выходить. Лавада, однако, беспокоился, причем весьма явно. Настолько явно, что... Возможно, даже намекнул боцману. Искандеров из тех, что с морем запанибрата, а с людьми осторожны. Если даже и намекнул Лавада, посоветовал пойти за тросом, не скажет боцман, не захочет встать между капитаном и первым помощником.

Идя к себе, Алимпиев глянул на дверь каюты Лавады, замедлил шаг.

Спите, Федор Андреевич, спите! Интересно, если бы смыло боцмана, как бы вы спали тогда...

Алимпиев открывает иллюминатор. Мерное, утомленное дыхание океана вливается в спальню.

С тумбочки, из круглой резной рамки, на Алимпиева смотрит женщина в сарафане. Худенькая, с острыми ключицами, темная от загара, вся в солнечных бликах, в узоре листвы, нависшей сверху.

— Порядок, — говорит он, глядя на портрет. — Пора спать.

Бывало, в прежние годы в рейсе Алимпиев вел долгие беседы с портретом. Выкладывал события за день, даже просил совета. Но вот уже второй год, как Лера вытолкнула его из своей жизни. Теперь ей и подавно нет дела до его забот.

Не раз он убирал портрет, прятал в ящик тумбочки, в чемодан. Но при этом в каюте вдруг распахивалась необъятная, кричащая пустота. Вынести ее нет сил.

Разумеется, это нелепо — до сих пор держать у постели фотографию бывшей жены. Лавада, тот чуть не подскочил от удивления, увидав портрет. Уже год, как состоялся суд. Оттиснут штамп — «разведен». Точка!

Коммунист не сумел построить семейную жизнь... А разве есть чертежи, есть точно выверенные расчеты? Как будто он мог знать все заранее, пятнадцать лет назад!

2

Курсант Алимпиев очень спешил. В общежитии ждали конспекты. Завтра экзамен по навигации. И, как нарочно, в булочной у кассы задержка. Нет сдачи.

— Ерунда, — бросил он, беря чек.

— Ой, что вы! — воскликнул в очереди, сзади, чей-то голос. — Открытку возьмите хотя.

Хрусткий плащик, бледное, четко очерченное личико... Игорь послушался, взял открытку вместо сдачи, отошел к прилавку, забрал кулек с фруктовым сахаром и полбуханки ржаного.

Открытка теперь мешала ему. Он неловко прижимал ее пальцем к теплomu срезу хлеба. А та девушка в зеленом плащике оказалась рядом.

— Хотите, вам подарю, — сказал он.

Они вышли из булочной вместе. Она держала открытку, и они разглядывали ее. Красный паровоз мчался по гладкой, безлюдной равнине, неся на щите праздничный, первомайский листок отрывного календаря.

— Пошлите кому-нибудь, — предложил он.

Она засмеялась. Послать? Кому нужно поздравление, запоздавшее на полмесяца!

— Тогда на будущее, — сказал он.

Через несколько дней он столкнулся с ней на улице. Навигацию он сдал на пятерку, предстояла практика, первое плавание. Он сообщил ей это, притопывая от радости. Они прошли по Гаванской. Он шагал, разбрызгивая лужи, она отскакивала и нагоняла его, в ее голубых глазах не гасло чуть насмешливое, но ободряющее любопытство.

Зовут ее Лера, учится на биологическом, кончает первый курс. Интересуется споровыми, то есть грибами. Игорь не любил грибов. И собирать их не трудно. Но он великодушно поддерживал Леру, — что ж, споровые — это наверняка интересно!

Третья их встреча была уже не случайной. В этот вечер выяснилось, что открытка, — та памятная открытка из булочной, — вообще не будет брошена в почтовый ящик. Ее надо сохранить, как память о знакомстве.

Влюбился ли он? Нет еще. «Мы дружим просто», — сообщил он приятелю, Савке Клюкину. «Она бежит за тобой», — фыркнул Савка, обычно рубивший сплеча. Игорь обозлился. Ничуть не бежит! А если она посмотрела ему в магазине прорезиненную куртку и дала знать запиской, то это по дружбе. Лера молодчина! Куртка — мечта! Синяя, вся на молниях.

В семье Игоря не баловали. Мать еще в эвакуации вышла замуж. Отчим с ней был хорош, а Игоря попро-

сту не замечал. Впрочем, Игорь не тяготился, жил по-своему. В Ленинграде он, к ужасу матери и старшего брата-инженера, бросил школу, поступил на завод, стал слесарем. А год спустя Игорь опять удивил свою родню, — оставил завод, поступил в мореходное училище. Отчим — тот отнесся безучастно, но зато не забывал по-прежнему, в день получки, отсчитывать прибавку к стипендии.

С Лерой не всегда было легко. То виделись чуть ли не каждый день, то она вдруг таинственно исчезала на неделю, на две, и голос Лериной мамы, низкий, почти мужской, гудел в телефонной трубке: «Валерия очень занята». Чем? Своими споровыми? Конечно, это ведь не игрушки — быть круглой пятерочницей. Впрочем, один вечер она позволила себе отдохнуть, — пригласили в театр. Кто? Неважно кто, один знакомый.

Знакомых у нее тьма. Он убедился в этом, когда сам после получки отчима повел Леру в театр, — понятно, на пьесу о морях. В антрактах он познал муки одиночества. «Мать божия, это же Алла Захаровна!» — восклицала она, вскакивая. «Додик, Додька, походи сюда, милый!» Лера исчезала, буравя толпу. И нарядная, веселая толпа смыкалась вокруг Игоря и словно высмеивала его. «Додик, собака, не звонил сто лет!» — доносилось до него. Лера держала за пуговицу толстого, рыхлого дядю, старше ее по крайней мере раза в полтора. Игорь назвал бы его Додиком разве что под страхом казни. Лера сыпала на толстяка град вопросов, а он отбивался и отнимал пуговицу.

Где сшил костюм? Материал — чудо со сливками, но шитье... У кого шил? Чудак, кто же там шьет? Вот мама знает одного закройщика... Что, откручу пуговицу? Так и надо, их все долой, и приделать новые. Эти же из другой оперы. Что смотрит Тася? Ах, она в Сочи! Что так рано?

Не дослушав, Лера бросила Додика, — из ложи спустилась Алла Захаровна.

Как здоровье мужа? Привет ему... Что же, дадут ему хоть немного посидеть дома? Ай, ай, опять в Мурманск? Варварство! А как с обменом? Нет, нет, пятый этаж, конечно, не для вас. Обещают лифт? Мало ли что, улита едет... Правильно, не спешите! Ведь ваша квартира неплохая, совсем неплохая, а комната — фонарик просто

чудо... Пускай бы соседи съехали. Для них бы подыскать что-нибудь!

Игорь не мог взять в толк, какое дело Лере. В лифтах он не нуждался, проблема подбора пуговиц никогда не посещала его голову. Вообще ему бы в жизни не придумать и малой доли вопросов, которые Лера разбрасывала с таким усердием.

— Тебя действительно касается? — спросил он как-то.

— Мы вращаемся в обществе, — ответила она.

— Ты вертисься, — отпарировал Игорь.

Она рассмеялась и почему-то не обиделась.

Удивительно, со всеми она на короткой ноге. Переступив порог ее «молекулы» — как называла она свою комнату, очень чистую, с аквариумом, с портретами Дарвина, Сеченова, — Игорь очутился в компании невиданно пестрой. Он и не воображал, что у него есть такие курьезные сверстники, такие непохожие на него, на Савку Клюкина, на других ребят из мореходки. И такие разные...

Тусклый парень — серые, редкие волосы, песочного цвета пиджак на угловатых плечах, крупное кольцо с вензелем на костлявом пальце. Собиратель патефонных пластинок. Ставя пластинку, обтирает замшей и сообщает, сколько заплатил за нее, — на толкучке, конечно. Весь какой-то старообразный. Заводит и фокстроты, и цыганские романсы, и Шаляпина. Что он сам предпочитает, не угадаешь.

Студент Толя — однокурсник Леры. Черный, губастый. Здорово изображает радиоприемник, — свистит, шелкает, частит на иностранных языках.

Девушка — скуластая, с челочкой, простая, вроде славная, своя девчонка. И вдруг — попадья. Игорь рот разинул. Да, муж кончает духовную семинарию. Такой верующий? Ничего подобного, ни в бога, ни в черта... Расчет у него такой, накопить денег на «победу», на дачу и тогда — адё. Попадья с задором поглядывает на всех, — ведь ловкач, согласитесь! Игорю стало неловко. Неужели всерьез это?..

— Стерва она, — буркнул Игорю Савка. — Кабы не Толя, я бы с тоски подох.

Леру он не решался осуждать, — аквариум с полосатыми тропическими рыбами, полки с книгами по био-

логии произвели впечатление на Савку. Он уважал науку.

Впоследствии Игорь спрашивал себя: они друзья Леры, эти люди? Нет. Ухажеров она собирает, блистать ей надо перед всеми? Тоже нет. Так что же ей нужно?

Что ни вечер являлись новые лица. Игорь смотрел широко раскрытыми глазами, силился понять каждого — по-своему, по-доброму.

Тогда он запоем читал Александра Грина. Алые паруса, поднятые влюбленным, как исполнение легенды, как весть о счастье, трогали Игоря до слез. Благородство, храбрость, самоотверженность — эти слова Игорю хотелось писать с большой буквы. Он убеждал Савку, что люди гораздо лучше, чем они кажутся. Бывает, что хороший человек просто играет пустую, невзрачную роль. До случая...

— До какого?

— Война, например. Или любовь.

— Чаще наоборот бывает, — отвечал скептик Савка. — Ты известно... У тебя всегда на градус теплее.

Однажды в кабинете физики ставили опыт. Одному Игорю термометр показал на градус больше тепла.

Но даже Савку покорила мать Леры. Мировая мамаша! Болельщица футбола, теннисистка. Каждое утро — гимнастика, обтирания.

— Бедлам, — так определяла она бархатным баритоном вечеринки у дочери. — Валерия воспитана на шумовых эффектах. Дитя города.

Доставалось же от Тамары Дориановны гостям Леры! Особенно тому старообразному юноше, скупавшему пластинки. Вареная глиста, хлюпик!

При этом, однако, выяснилось: его отец физиолог, профессор университета. Нет, Тамара Дориановна не преклонялась перед званиями. Зато у нее есть титул, который ей очень льстит, — машинистка класса элита. Она демонстрировала Игорю сафьяновые папки — диссертации, кандидатские и докторские. Не очень-то веселая материя всякие там членистоногие и холоднокровные, — но просят же, умоляют! Надо же, чтобы было грамотно напечатано, абсолютно грамотно. И красиво.

Игорю и Савке она оказывает особые знаки внимания. Прощаясь, сунет пакет с домашним печеньем. Мо-

ряки ведь! Вот это профессия, настоящая мужская! О, она сама не чужда морю. Бывало, в молодые годы, в Евпатории уходила с рыбаками далеко-далеко... Вместе с Игорем восхищается Грином, — волшебные книги, открывают другой мир.

Минул год со дня встречи в булочной, но Игорь и Лера еще не сказали друг другу ни одного нежного слова. «Мы дружны», — повторял он Савке.

Однажды летом Игорь утащил Леру в яхт-клуб. Залив сверкал тысячью солнечных чешуек. Лера стояла на палубе в красном купальнике, легкая, — сестра тех нимф, что украшали форштевни древних каравелл. Бегущая по волнам!

Курс держали на Петродворец, к пляжу. Якорь бросили не доходя до берега, — киль коснулся дна. Одежду оставили в кубрике. «Бегущую по волнам» укачало, хотя был полнейший штиль. Игорь нес ее, побледневшую, слабую, нес, все крепче прижимая к себе. Один с Лерой в солнечном мире, вдруг обезлюдевшем, вдруг затихшем.

— Не сюда, тут муравейник, — услышал он ее голос.

Он опустил ее, сел рядом, очень близко. Она отодвинулась. Мир опять заголосил кругом. Будто включили звук после заминки, как в кино.

Вскоре после этого Тамара Дориановна праздновала день рождения. Явилась родня. Дядя Леры — директор книжного магазина, высокий, крикливый, маленькая голова, черные, ломкие, нервно подергивающиеся брови. Игорь подумал, что стремянка ему не требуется, — дотянется до самой верхней полки стеллажа. Еще один дядя — майор милиции. И две тети — толстые и прожорливые. Одна выхватила чуть ли не из пальцев у Игоря пирожное эклер — его любимое. Вообще родня как-то стесняла Игоря. И к вящему его конфузу Тамара Дориановна сказала, представляя его:

— Жених Валерии, насколько я понимаю.

Сказала с усмешкой и как бы не веря, но Игорю стало жарко. Он не знал, куда девать себя. А гости вздумали еще пить за него!

После ужина Лера увела его к себе.

— Мать заговаривается. Не кисни, Игошка! Мы же разумные особи. Склероз у матери.

Идеальный моряк, рисовавшийся Игорю, не связан семьей. Мелкие заботы обитателей суши чужды ему. И что за радость быть женой моряка, который нынче здесь, завтра там.

Лера давно слышала это от Игоря и не перечила. Да, да, она сама не намерена посвящать свою жизнь пеленкам. Либо дети, либо наука, споры, — так стоит вопрос.

Игорь не сразу успокоился. Жених! Слово-то какое, будто из учебника истории. А дядя-майор до того многозначительно посмотрел на Игоря... Словно занес его приметы в протокол.

Некоторое время все шло по-прежнему. На исходе лета он, поднимаясь к Лере, столкнулся с ней на лестнице. Куда? За Невскую заставу, в дядину квартиру. Нет, не майора-дяди, а завмага... Он уехал с семьей, и надо проверить, все ли там в порядке, и голубей покормить — тетиных подшефных. Игорь тоже может прогуляться, если хочет.

На трамвае они доехали до Фарфорового завода. Хлынул дождь. Они не успели добежать, как промокли насквозь. Пустая, холодная квартира с таинственными закоулками, низкий потолок. Очень низкий, так что дядя, верно, упирается в него. Носит кружочек штукатурки на своей маленькой, черной голове. Игорь сказал это Лере. Ей трудно было смеяться, у нее стучали зубы.

— Ты же простудишься, — испугался он.

Скорее согреться! Голуби — потом, не умрут голуби, подождут. Да и нет их. Какие к черту голуби, коли дождь хлещет. Сидят под карнизом, как миленькие. Он стаскивал с нее блузку.

— Я сама, — тихо произнесла Лера, но его руки уже не могли остановиться.

Они остались в дядиной квартире до вечера. Дождь не переставал. Он хлестал, как прибой, хлестал с упоением, точно прорвал плотину.

Это был самый счастливый, самый удивительный дождь в жизни Игоря.

Выгнала их темнота. Провести ночь вместе не решились: мама встревожится, и вообще... Нет, Лера решительно воспротивилась:

— Это лишнее, Игошка.

Они долго искали клипс — стальной кленовый листочек, усеянный блестками. Двигали кровать, стулья.
— Скандал, Игошка! Тетя Мура увидит, тогда всё...

У него было для нее множество хороших, горячих слов, и он не успел высказать и половины.

— Надо найти, Игошка. Язычок у тети — дай боже!

Он ворочал мебель, шарил по полу. Неужели правда, сейчас самое важное — клипс и длинный, кошмарно длинный язык тети Муры!

Лера пожалела его, прильнула, растрепала волосы.

Месяц спустя они расписались в загсе. Тетя Мура как-то почуяла, вернувшись из Сочи, и вообще... Разумные особи не нуждаются в бумажках с печатями, но приходится делать уступки. Увы, презренные бумажки с печатями еще требуются, без них иногда просто не обойтись.

Игорь сам убедился в этом, когда хмурый работник отдела кадров в пароме спросил:

— Все еще холост?

— Нет.

— Отношения оформил? Заполняй, — и работник сунул Игорю анкету.

Был ли он счастлив? Да, и довольно долго. Он называл ее «бегущей по волнам», мысленно и в глаза. Месяцами, в дальних рейсах, он грезил о ней, томился — до боли в висках, до крика. Затем — свидание, короткое, как вспышка солнца, брызнувшего сквозь тучи. «Мы, моряки, вечные молодожены,» — говаривал Игорь.

Он гордился ею. Дилемма — пленки или наука — решена твердо, торжествуют споровые. Жена умница, добила своего, — она заведует лабораторией. Ее ценит сам... Ну, фамилии светил биологии не держатся в голове Игоря, хотя некоторых видел мельком на вечерах у Леры.

Это была все та же странная толчея разных людей, в общем-то совершенно безразличных друг другу. За столом с домашней едой — Тамара Дориановна готовит мастерски — они все чувствовали себя уютно и развязывали языки. Лера наблюдала за гостями с поощряющим любопытством экспериментатора, занятого культурой бактерий. «Особии выявляются», — бросила она как-то.

Справляли новоселье. Алимпиеву дали квартиру в новом доме, — в «капитанском» доме, хотя он был еще на пути к капитанству. Устроились быстро, Додик обещал по благу чешский гарнитур, Антон Романович прислал полотера, Алла Захаровна отыскала где-то в Новой Деревне, в маленьком, никому не известном магазине, финский линолеум. И кто-то достал без очереди холодильник.

Среди гостей Леры одно время часто бывал биолог с холеной бородкой, с золотыми запонками, — ее научный руководитель. Потом зачастил профессор с забавной фамилией Батечка, лысый, широколицый, с большими, по-детски наивными глазами навывкате.

Игорь верил жене. Хотел верить и не мог не верить. Батечка ухажор? Смешно! Он астрофизик, он нужен Лере, так как она вступила в новую область — биологии космической. Труды Леры понадобятся космонавтам!

И, однако, именно Батечка...

Разлад начался года три назад. Не довольно ли Игорю плавать? Она советовалась кое с кем, зондировала почву, — для Игоря в пароходстве есть прекрасная должность.

Под Игорем треснула земля. Что это? Она ли это, его Лера, его «бегущая по волнам»?

Полетели упреки, — он эгоцентрик, он думает только о себе. Ее семейная жизнь — фикция, мираж. Он невнимателен даже в мелочах. Замечает ли он, как она одета, например? Все эти капитанши в нейлоновых шубках смотрят на нее, как на золушку. Что он привозит ей? Дикарские украшения, открытки, шоколадки...

— Дочь моя, — гудела Тамара Дориановна. — Купи себе хоть королевские одежды... Ты же все равно не умеешь носить. Не слушай, Игорь!

Все же ему стало стыдно.

Он купил ей нейлоновую шубку, самую лучшую, — модель парижской фирмы Левассэр, цвет нежно-розовый, на зависть всем капитаншам. Воцарилось перемирие. Он готов был сделать для нее все, — но пожертвовать морем!..

Как же она не понимает! Море — в нем самом...

Наконец настало решающее объяснение. Так дольше нельзя. Ей нужен настоящий дом. Хватит жить по-

студенчески, на птичьих правах. Есть человек, который бросит к ее ногам все...

Заявление о разводе подала она, что смягчало его участь. Однако его капитанство кончилось. Его перевели на другое судно, на «Радищева», — старпомом. «Не сумел построить семейную жизнь», — так сказали ему на заседании парткома. Утверждали еще, что Алимпиев в последнее время и не старался наладить отношения с женой. «Встал на путь легкомысленных связей», — заметил кто-то.

Дали слово Игорю. Он говорил, плохо сдерживая обиду. Он пытался наладить. Не вышло! Есть такая малость, о которой никто из выступавших не упоминал, — любовь. Любовь кончилась, и построить ничего нельзя. Он мог бы прибавить, — нет больше «бегущей по волнам».

Но кому какое дело до «бегущей по волнам»? Его просто не стали бы слушать.

А он пробовал удержать Леру.

Как-то раз, бродя по Антверпену, он зашел в антикварный магазин. Там среди свирепых божков из Конго, среди фарфоровых вельмож красовался корабль. Расплескивая в стороны худосочный блеск дешевых безделушек, он словно летел, неся на мачте лихо вздыбленный парус, а на носу распятую медную нимфу. «Бриль», — гласили готические буквы на корме, острые, расщепленные на концах. Алимпиев не смог отвести восхищенного взгляда от нимфы. «Бегущая по волнам», — подумал он.

Да, он сделал еще одну глупость, — купил корабль. Вместо ковров, вместо нейлона... На что он рассчитывал? На чудо, должно быть. «Сколько ты отдал за эту ерунду?» — спросила Лера, едва взглянув на подарок. Он сказал. Корвет стоил недешево — двенадцать фунтов. «Ты никогда не станешь взрослым», — проговорила она как бы через силу, с усталым озлоблением...

Хватит тешить себя иллюзиями! Совсем чужая женщина охорашивается в капитанской каюте, в резной рамочке, и только боязнь пустоты мешает Алимпиеву убрать ее. Она стоит там, под яблоней, смеется другому, а он — Игорь — и теперь, входя в каюту, по привычке ищет ее глазами, а иногда бросает ей несколько слов. Спрашивает ее, ждет какого-то ответа.

Наутро заштормило снова. Индийский океан потускнел, зарокотала гроза. Полыхало по всему горизонту. Как выразился старпом Рауд, атмосферное электричество было включено на полную мощность. «Воронез» двигался как бы в кольце непрерывно пляшущих молний.

В порт пришли усталые, измотанные болтанкой.

Солнце жжет, палубы курятся легким баннным парком. Пышут жаром даже деревянные поручни. Тарахтит старенький кран, стаскивая с судна тяжелые трубы, одну за другой. Освобождает от беспокойного груза.

— Видите, Федор Андреевич, — говорит Алимпиев. — Довезли в сохранности.

Лавада наслаждается покоем. Сразу после кофе он сойдет на берег. По причалу шагает полицейский, огромный, обросший детина в белом. Плетенка черных косичек обрамляет его лицо. Он кивнул советским морякам. Лавада приосанился и помахал.

Лишь потом Лавада повернулся к капитану.

— Боцмана отметить бы надо, — говорит он. — Отлично проявил себя.

— Лихачество, — отвечает Алимпиев глухо, сдерживаясь. — За лихачество штрафуют, Федор Андреевич.

Задрав голову, Лавада наблюдает за разгрузкой. Кран бережно несет трубу к стене пакгауза, в густую тень.

Алимпиева самого тянет смотреть туда. Она прохладная и уютная — эта тень. На ней отдыхают глаза. Неопалимая черная полоска, укрытие посреди пылающего мира.

— Большое дело делаем, — говорит Лавада с расстановкой, следя за трубой.

Еще в начале рейса он созвал команду и растолковал, как Советский Союз помогает бывшим колониям, которые вступили на путь независимости. И как важно сдать в срок трубы и другое оборудование длястроек.

— Никто не сомневается, Федор Андреевич. Но какой бы ни был груз, хоть золотой...

Лучезарное настроение Лавады не поколебалось. Он добродушно перебил:

— Не будем мы... Не будем мы создавать «чепе», Игорь Степанович.

Трубы вспыхивают на солнце, опускаются и гаснут в глубокой, зовущей тени. Штабель тает, вздох облегчения пробегает по телу судна. Инцидент как будто исчерпан. Груз доставлен, пострадавших нет.

— Боцман у нас герой... — произносит Лавада.

Три раза тонул боцман Искандеров. Во время войны, когда ходил в Америку. Это все знают, Искандеров охотно рассказывает за чаем, ночью, после смены вахт, в час морской «травли». Иных такое купанье испугало на всю жизнь, заставило уйти на сушу, а Искандеров, напротив, обнаглел. Решил, что море ему теперь по колено. Что Нептун ему свояк.

— Морской волк, как говорится.

«Он что, в самом деле не понимает меня?» — думает Алимпиев, стискивая поручни. Он собрался ответить, но в эту минуту на палубу выскочила буфетчица Изабелла.

— Ой! Ой! — смеясь, она закрыла пухлой ладонью глаза. — Как кипятком ошпарило.

— Завтрак стынет? — спросил ее Лавада и мягко взял капитана под руку.

— Стынет, дядя Федя.

«Очень кстати, — думает Алимпиев. — Если бы не ты, Изабелла, я бы, пожалуй, не сдержался, наговорил помполиту лишнего».

Они сели рядом на постоянные свои места, — Алимпиев во главе стола, а Лавада справа, на фоне бури, бушующей на полотне. Такие бури, нарочито зловещие и словно копирующие некий привычный образец, настигали Алимпиева чуть ли не на каждом судне. Море за иллюминатором, подлинное море куда красивее.

Обычно Алимпиев вышучивал картину. Сейчас она досаждала ему. Ловя ножом растаявшее масло, он говорит, что ее пора снять. Вечный шторм в кают-компании! Хватит! Два радиста, допивавшие кофе на другом конце стола, сочувственно оживились.

— Живопись колоссальная, — говорит Боря.

Лавада хмурится. И у него картина не вызывает одобрения, больно уж мрачная. Но Борька издевается, откидывая назад колючую, неумело, лесенкой, подстриженную голову. Это всегда бесит Лаваду.

— Я предпочел бы вид на айсберги, — говорит Стерневой, сосредоточенно глядя в тарелку.

Лавада смеется. Боря безучастен, он даже не улыбается, пока смеется Лавада. Только слушает с вежливым, подчеркнуто вежливым вниманием.

«Бедный Борька, — думает Алимбиев. — За каждую мелочь ему достается».

Начальник рации — дотошный старик. Обнаружил в радиорубке после Бориной вахты пятна крови и щетки, валявшиеся на столике. Борька чистил аппарат, замечтался и забыл убрать щетки. Это с ним, увы, случается!

Попало ему, конечно, за дело. Но он не ленив, вместе с опытом придут и аккуратность, и выдержка. Вот если бы он перестал раздражать Лаваду своей усмешкой!..

Не забыл Лавада, как с этой своей усмешкой Борька произнес:

«Это же Ив Монтан!»

Неужели, мол, не узнали? Лавада и знать не хочет заграничных эстрадных певцов, а Борька упрямо, словно назло, записывает их на магнитофонную ленту и пускает по трансляции. И сообщает Лаваде, не моргнув глазом: Монтан, Бени Гудман, Эдит Пиаф...

Да, Папорков еще в первые дни рейса впал в немилость. Стерневого Лавада ставит в пример. Все лално в нем! Правда, этот румяный увалень, с явственным — несмотря на свои двадцать пять лет — брюшком, работает лучше Борьки. Немыслимо и вообразить, чтобы он позабыл щетки, или посадил кляксу в вахтенном журнале, или торопливо, невнятно отстукал передачу. Иногда Алимбиеву самому трудно понять, почему все-таки не к Стерневому, а к Борьке лежит душа.

Вбегает Изабелла. «Славная Изабелла, до чего ты нам нужна, — думает Алимбиев. — Как много нам не хватало бы, не будь здесь тебя. Твоих песенок в буфетной».

— И попадет же вам как-нибудь от меня, — говорит она радистам. — Берегитесь!

Она сгребает корки со стола, хлебные шарики. Жестом грозит высыпать все это на Борьку.

— Правильно! — встрепенулся Лавада. — Учи их, учи, Изабелла!

Пританцовывая, она исчезает. Борька не смотрит ей вслед, хотя ему и хочется, наверно. Глаза у него делаются тревожными. Радисты допили кофе, ушли. И Лавада дает волю своему недовольству:

— Уборщицу для них нанимай специально... Срам!

«Сейчас сядет на своего конька», — сказал себе Алимпиев, но без всякого протеста. Корки, мятая скатерть действительно не радуют взор.

— Барчуков растят у нас, нянчатся, — вымолвил Лавада с горечью. — Отсюда всё...

Он мог бы еще добавить: «Я в их годы, знаете...» Алимпиев, конечно, знал. Лавада отправился на фронт с ополчением. Старые винтовки, бутылки с горючей смесью против танков.

Толчок воспоминаниям часто дает Изабелла. Ведь командовал ротой не кто иной, как отец ее, Мартирос Григорян. Это он поджег танк — Мартошка, друг Лавады с техникумских лет.

Вот была молодежь! А как брели через топи, пробинаясь к своим, жевали мох, дикий щавель! Один сухарь делили на пятерых...

Входит старпом Рауд. Он всегда завтракает последним. Не покажется в кают-компании прежде, чем не уложит свои мягкие, золотистые волосы.

Лаваду новый слушатель не стесняет.

— Фразы бросаю, — говорит он, отставив стакан. — Мы такой-сякой экипаж... Коммунистические обязательства! А ручки запачкать боимся.

Борька выбил-таки его из колеи. Возможно, Лавада в каком-то смысле подразумевает и историю с Искандеровым. Что ж, последнее слово за Лавадой?

Рауд молча вопрошает капитана: в чем дело? Алимпиев озабоченно, стараясь не замечать, жует бутерброд с сыром.

— А Искандеров орел. — Лавада теперь призывает в свидетели Рауда. — Стерневой уже развернулся, заметку послал в «Волну». От собственного корреспондента.

— Так, так... — Алимпиев встает. — Значит, подвиг боцмана...

Спорить с Лавадой, как видно, бесполезно.

Вернувшись в каюту, капитан рывком закрывает за собой дверь.

«Ты видишь, Лера? Честное слово, оставили бы меня на «Радищеве» старпомом...» Тут же Игорь спохватывается. Зачем это? Какое ей дело до него, пускай она смеется там, другому, в чужом саду!

Значит, Стерневой развернулся. Легко представить себе, как он расписал. Боцман Искандеров в минуту грозной опасности... Да, опасности для судна и для груза, рискуя жизнью... Ну и прочее и прочее. Эх, черт поberi, хоть посылай вдогонку опровержение!

Тут Алимпиев представил себе знакомые комнатухи «Волны» — тесные, прокуренные, увешанные гранками, расписаниями, фотоэтюдами. Секретарь редакции Оксана Званская бросает опровержение в корзину. Алимпиев ясно видит удивление в ее веселых глазах: с ума, что ли, спятили там, на «Воронеже»?

Стерневой уж постарался. Звонких фраз ему не занимать. Впрочем, с него-то спрос небольшой.

Лавада посоветовал, верно...

С юных лет Алимпиев мечтал о морском братстве, о союзе простых, обветренных, честных. Судно представлялось ему святым местом, где не может быть обид, ссор, косых взглядов. И сейчас он бережет этот идеал, укрывает от разочарований. Немало их было. А здесь, на «Воронеже»... Никому не пожелаешь такого капитанства, как здесь.

Игорь был рад вполне искренне, когда Лаваду, служившего на берегу, в пароходстве, назначили сюда. От Лавады веяло силой, доброй прямоотой. Невзгоды ослабили Алимпиева, тем больше хотелось твердой опоры. Лавада всего на четыре года старше, но он, Лавада, ветеран войны.

Игорь не был на войне, не успел. Один раз пропела ему сирена воздушной тревоги, последняя в Ленинграде. Игорю было тогда шестнадцать лет, мать привезла его с Урала, из эвакуации. Город еще выглядел фронтовиком. Борозды на граните набережной, пробитая вывеска над заколоченной витриной кафе, коробка разбомбленного дома и горький запах беды, которым дышало оттуда. И надпись на стене, заставлявшая невольно ускорять шаг: «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна».

Война отняла у Игоря отца. Семья получила посмертную награду Степана Алимпиева — орден Красной

Звезды. Отец ушел с ополченцами. Институт пытался отозвать его, вернуть в лабораторию, доцент Алимпиев отказался. Он говорил, что не может покинуть траншею на Пулковской высоте. Чем он хуже других? В письме-треугольничке он просил только об одном — прислать очки. Посылка не была вручена адресату. Прямое попадание в землянку...

Сейчас в Ленинграде, у старшего брата-инженера, в тяжелых шкафах, под стеклом стоят отцовские книги по физике — в переплетах с монограммами. Но они как-то ничего не говорят Игорю об отце. Память об отце — это письмо-треугольник, написанное чернильным карандашом, крупным почерком солдата; это орден Красной Звезды — кровавый его блеск.

Все воевавшие, все поколение, принявшее жребий великой войны, внушали Игорю чувство сыновнего почтения. И Лавада тоже. Как нужно, как хочется познать его!..

И снова возникает перед Игорем боцман, шагающий по трубам, в вымпелах колеблющегося света, в тучах песка, в пене, достоящей до колен.

«Герой боцман! Орел боцман!» Зачем тут эта словесная шелуха? Ведь Лавада воевал. Он был под огнем, он видел смерть близких, товарищей, как же он должен после этого ценить, оберегать человеческую жизнь!

В дверь постучали.

— Игорь Степанович, — раздался голос Лавады, — вы идете на берег?

— Нет пока.

Алимпиев потянулся к полочке с любимыми книгами. Снял томик стихов, лег на диван.

4

Лавада мужественно обливался потом. Он усердно начистил башмаки, туго завязал галстук и долго разглядывал себя в зеркало. Даже Рауд собрался раньше и ушел на берег, не дождавшись Лавады.

— Можно я с вами, дядя Федя?

На палубе Изабелла в легком, пожалуй, чересчур легком платьице. Он с сомнением оглядел ее.

— Ты бы с молодежью лучше...

— Ребята убежали. — Изабелла надула губки. — Я с бельем провозилась, дядя Федя.

— Значит, оба мы с тобой брошенные, — вырвалось у Лавады. — Ладно, Зяблик.

В ответ Лавада получает улыбку благодарности. Здесь он редко называет ее Зябликом. Зяблик — это домашнее имя, ласковое, милое, как игрушка детства. Хорошо, когда ты хоть изредка слышишь — «Зяблик». Так далеко от дома!

Зяблик рада, что спутник ее — дядя Федя. Он ведь свой, очень свой. Он крестный. Борька Папорков хотел, как сумасшедший, узнав, что помполит — крестный. А что смешного? Не могла она выговорить «Изабелла», махонькая была. Получалось «Зя-бя». Дядя Федя и подхватил — «Зяблик». И стала она Зябликом. Но все равно больше она никому не скажет, что дядя Федя — ее крестный. Раз смеются...

Индия! Подумать только! Первый раз она попала в такую даль. Во время жестокой качки чуть слышно, а чаще про себя пела: «Бродяга я — а-а-а...» И еще пела: «Не счесть алмазов в каменных пещерах...» Океан кипел, а внутри у Зяблика словно крутилась пластинка, снова и снова. И как-то помогала пересилить тошноту и слабость, держаться на ногах, мыть посуду, подавать на стол.

Волосатый полицейский кивнул Лаваде и Зяблику, как старым знакомым, и показал дорогу в город — теснину в сером бетоне пакгаузов. Зяблик оглянулась на индийца и тихонько фыркнула.

— Страх какой, дядя Федя.

— Сикхи не стригутся, — говорит Лавада.

— Ага, — кивает Зяблик.

Про сикхов ей рассказывал Борька. Он массу всего знает вообще, Борька. У сикхов обычай такой. Их предки дали торжественное обещание — давно, полтысячи лет назад, при чьей-то оккупации.

— При монгольской, — уточняет Лавада.

— Ага. Не снимать волосы, покуда в Индии враги. Надо же, дядя Федя! Не стричься!

Лавада тоже читал про сикхов. Он солидно готовился к беседе с матросами. Но говорил он об индийской пятилетке, о значении грузов на «Воронеже». Ма-

териал менее актуальный за недостатком времени отпал.

Ворота порта позади.

— Ой, дядя Федя! — Зяблик смотрит на здание из красного кирпича. — Совсем как наше управление паромного хозяйства, правда? А что у них тут?

Лаваду забавляет детское любопытство Зяблика. Смеясь, он пожимает плечами:

— Не про нас писано.

— А Борька умеет по-английски.

Ах, Борька! Лавада хмурится. Опять Борька на языке! Радист Папорков отнюдь не идеал для девушки. Хотя он и умеет по-английски... Лавада все собирается завести речь с Зябликом по душам, но не находит удобного повода.

Открылась и запылала красками, ошеломила индийская улица — дома в кружеве резного дерева, пестрый товар ларьков, гомон чайной, хруст вальцов, выжимающих сок из обрубков сахарного тростника. А это что? Кокосовые орехи? Ну, конечно, они. А те желтые, вроде персиков?

— Манго, — сообщает Лавада и покупает Зяблику манго. Вкусно, похоже на персик и еще на что-то.

Будда! Многорукий Будда, белолицый, в золотом халате. Он глядит прямо на Зяблика сквозь стекло витрины. Зяблик виснет на рукаве Лавады. Вот где чудеса Индии!

Пропеллеры под потолком размешивают липкую духоту, сумрак пронизан серебряными, золотыми искорками, блеском меди, перламутра, лака...

По совету дяди Феди Зяблик обменяла совсем много валюты — в первый день новичку не следует тратить деньги. Сначала надо освоиться. Все же несколько рупий у Зяблика есть. Десятки будд и других богов обступили Зяблика, сжимающую в кулачке свои рупии. У нее пересыхает во рту. Боги ждут, боги требуют жертвы.

Купить Будду? На самого маленького рупий, пожалуй, хватит. Но большие лучше. А это что? Здание с куполом, ряд минаретов... Тадж-Махал, знаменитый Тадж-Махал. Да, да, Зяблик помнит этот знаменитый храм, помнит по картинкам.

— Из мраморной крошки, — сообщает Лавада.

Ну и пусть! Все-таки красиво. Мысленно Зяблик уже привезла Тадж-Махал к себе, водрузила на столике в углу, рядом с швейной машиной.

— Ты не спеши, — говорит Лавада. — Сувениров тут полно, не беспокойся.

Со вздохом она дала себя увести. Но ведь надо же сохранить память об Индии! Дядя Федя не возражает. Выберешь с толком, будет и память, и польза. Они у ларька с посудой, тут лоснится пузатый фарфоровый чайник, белый с голубым ободком.

— Чайник! — умиляется Зяблик. — Наш совсем! Дядя Федя! Скажите, взять его, да? Мне никто и не поверит, что я в Индии была.

Лавада уже устал, узел галстука взмок и воротник сжимает, как петля. Спят волны красных, зеленых, сиреневых сари, донимают колокольчики торговцев.

Зяблик тянет его к другому прилавку. Черный человек в трусах выбрасывает перед ней ткани. Вот забавная расцветка, с пальмами. Но дяде Феде, наверно, не понравится. А главное, ничто не может затмить Тадж-Махал, даром что он из обыкновенной мраморной крошки.

Не хочет ли мисс солнечные очки? Может быть, мисс купит веер или сандалии? Не подойдут ли мисс эти узорчатые полуобручи, держать прическу?

— Дядя Федя, пошли обратно!

— Куда? — стонет Лавада.

— Тадж-Махал, — виновато шепчет Зяблик, потупив взор.

Та улица, с буддами, с чудесами Индии далеко позади. Тут, на площади, на овальном зеленом поле, отороченном пальмами, Лаваде дышится легче. Обратно? Но это же глупость...

Они входят в кино.

На самом видном месте, над кассой, скалит длинные зубы бородатый витязь в латах, в пернатом шлеме.

— Историческая картина, — решает Лавада и берет билеты.

В зале шумно, сосед Зяблика справа смачно жует что-то. На экране скачут всадники. Ни лат, ни перьев, — широкие шляпы, синие брюки, простроченные белым, вроде тех, что видишь иногда на Невском. Джинсы, что ли...

— Ковбой, — шепчет Зяблик.

Скачут, палят из револьверов. Догоняют бандитов, которые похитили девушку. Вот-вот поймают... Зяблик стонет. Откуда ни возьмись — стадо коров пересекает дорогу.

Теперь не догнать. Эх, досада какая! Улизнули негодяи...

Зяблик охнула. Охнул и дядя Федя, он схватил ее руку и до боли сжал.

Девушку играет певица, очень хорошенькая, в вечернем платье. Она так и болтается, привязанная к седлу, — во всем вечернем, с бусами. Не очень это реально. Но поет она хорошо. Последнюю арию она, — уже спасенная, уже невеста ковбоя, — исполняет в ванне. Показывает голые плечи в мыльной пене. Публику это смешит. Верно, тут не принято сниматься в ванне. Или показывать плечи.

После кино Лавада и Зяблик гуляют по центральным улицам. Жара спадает.

— Спасибо, дядя Федя! — говорит Зяблик.

До чего он хороший, дядя Федя! Ребята не знают, ребята понятия не имеют, какой он хороший!

— Ну, как? — спрашивает Лавада.

— Тот ковбой, с усиками, симпатяга, верно?

— Развлекательная картина, — осторожно формулирует Лавада.

На набережной, на веранде, обращенной к океану, Лавада и Зяблик тянут через соломинки фруктовый сок. Зяблик чмокает, как малышка. Острова темнеют, уплывают к горизонту, вода делается оранжевой, потом лиловой. Зяблик умолкла. Она играет соломинкой, свистит в нее. На Зяблика смотрят. Лавада отнимает соломинку.

Город зажигает огни, когда они возвращаются на судно.

— Дядя Федя, — вдруг говорит Зяблик. — Вот вам Борька не нравится. А почему?

Хорошее настроение — оно как одеяло. Не хочется Лаваде из него вылезать.

— Опять Борька! — ворчит он.

— Почему, а?

— Сто тысяч почему! — стонет Лавада.

— Ну, дядя Федя!!

— Ладно. Ты говоришь, не нравится... У меня, знаешь, любимчиков нет, я подхожу объективно.

— Вы скажите объективно.

— Фу, дался тебе Борька! Ну, что он тебе дался, не понимаю! Ну, есть у него сумма знаний. Да, сумма знаний... Так это же не все...

Лавада промямлил еще несколько слов и умолк. Кому угодно он мог бы в два счета объяснить, что еще надо требовать от Папоркова, а вот Зяблику это трудно сказать. Чертовски трудно, почему-то. Наверно, нужны другие слова, подходящие к возрасту, что ли.

Еще один поворот, еще один проулок между пакгаузами — и «Воронеж». Лавада ускоряет шаг.

— Мы вернемся к этому вопросу, — говорит он чуть-чуть смущенно. — Разговор не на пять минут...

Он упрекает себя. Неловко получилось. Следовало лучше использовать прогулку.

— Ужин обеспечивай, — говорит Лавада, ступив на трап. — Ужин, Изабелла!

5

Газета научила Оксану делать несколько дел зараз: отвечать на звонки, на вопросы сотрудников, не отнимая трубки, составлять макет номера и тут же, последним заходом, пробежать корреспонденции — там исправить, тут сократить, дать другой заголовок.

— Да, сдаем в набор, — отвечает она в трубку редактору.

Редактор — существо почти условное. Сейчас он говорит из Смольного, там какой-то очень важный семинар. Оттуда он поедет на встречу с польскими гостями, потом ему надлежит приветствовать знатного крановщика, справляющего юбилей.

— На первой полосе у нас итоги соревнования, — сообщает Оксана. — Внизу, на три колонки, контрабанда. Есть броский кусок с «Воронежа». Вы завтра будете?

Неясный звук перекачивается в мембране — вздох или, может быть, стон. Это значит — все в руках начальства. Верно, и завтра такая же карусель.

Что ж, Оксане не привыкать работать за двоих. Вот

уже семь лет, как она здесь, в редакции, у окна, выходящего прямо на причалы, за обширным, древним столом, под аншлагом, приколотым к обоям,— «Номер не резиновый, отправка в набор прекращена». Крупная молодая женщина с короной рыжеватых кос, в плотно облегающем свитерочке, пожалуй, красивая,— но красотой, не бьющей в глаза, сдержанной и как бы обращенной внутрь.

С морячкой многотиражкой, с флотом родство у Оксаны самое близкое. Отец ее — капитан спасательного судна — погиб за штурвалом, в сорок первом. Сама она буквально выросла в порту. В годы блокады домом Оксаны был пассажирский теплоход, неподвижный теплоход у стенки. Моряки старшего поколения говорят Оксане «ты».

Положив трубку, она придвигает заметку Стерневого. Строк пять надо срезать. «Выл девятибалльный шторм, гигантские валы швыряли судно, как скорлупку». Не слишком ли сильно! «Воронеж» — посудина не маленькая, двенадцать тысяч тонн. «Одна мысль владельца удалцом-боцманом: сберечь драгоценный груз, спасти от аварии судно». Удалец! Ветхое словечко, лубочное какое-то! Заметка крикливая и холодная, несмотря на обилие восклицательных знаков. Выходит, плохо закрепили груз. Так плохо, что он и при девяти баллах мог пойти. Нет, что-то непохоже это на правду. Алимпиев не новичок. Да и сам боцман...

Долой гигантские валы, скорлупку, спасение груза. Остается тринадцать строк. Как раз столько и требуется.

В жизни редакции есть приливы и отливы. Телефон молчит, макет первой полосы готов. Ничто не прерывает мыслей, пробудившихся у Оксаны.

Интересно, как они ладят там, на «Воронеже», — Алимпиев и его помполит. Категорический товарищ этот Лавада. С места не сдвинешь. Лавада вряд ли в восторге от капитана. Разные люди, очень разные. Команда у них из резерва, многие с «Комсомольца Сельера», вставшего на капитальный ремонт. С того самого...

Не нравится Оксане Алимпиев. Нет, решительно не нравится теперь. Зачем он зашел в редакцию тогда, перед выходом в рейс? Поболтать по душам, как обычно?

Так нет же! Тяжело человеку, видно ведь, что тяжело, не может он забыть свою Леру, а признаться вслух не хочет. Откуда-то взялся фальшивый, залихватский тон. Была, мол, пробоина в корпусе. Небольшая девиация компаса. Фу! Жаргон опереточного братишки в тельняшке. «Не притворяйтесь циником,— сказала ему Оксана.— Вам не идет».

Петушится, до смешного петушится. И тем заметнее, как он растерян. Вероятно, Игорь не так крепок, как казалось. А на «Воронеже», с Лавадой, с новой командой, распускать себя нельзя. Могут быть сюрпризы...

На макете резко чернеет заголовок — «Контрабандистов под суд!». Последние номера «Волны» рвут из рук. Событие произошло сенсационное. В воротах порта задержали матроса Грибова, в такси, с тюками заграничного добра. Ковры, нейлоновые блузки... Грибов плавал на «Комсомольце Севера», потом перешел на лесовоз «Кама». На «Комсомольце» у него были дружки, он не отрицает этого, называет имена, не верить Грибову нельзя. Он сбивает с толку следствие. Послушать его, на «Комсомольце Севера» не было ни одного честного человека. Весь экипаж — шайка лоботрясов и спекулянтов!

Судно было на хорошем счету. А теперь пригляделись — передовик-то оказался дутый. Дисциплина упала, в чести была водка.

На «Воронеже» об этом не знают. Газеты придут к ним недели через три, в Лондоне. А Грибов между тем усердствует, готов припутать всех, с кем плавал...

Затишье в редакции оборвалось, начался прилив. Влетел с опровержением настойчивый, голосистый моряк.

— Я не принял мер? — грохотал он. — Как бы вы сами сэкономили горячее в такой обстановке! Бискайский залив что — ванна?! Не мне вам говорить...

Оксана злилась на крикуна, не терпящего критики, и в то же время ей, как всегда, было приятно слушать такое. Как будто и она извела все повадки Бискайского залива.

Пачка писем легла на стол. Посетитель еще бушевал, а Оксана, чтобы не терять и минуты, вскрывала конверты,

После шумного визита стало восхитительно тихо. Оксана пробегала письма. Стихи на конкурс. Пока примечательного мало,— «море» и «в дозоре», «ветер лобовой» и, разумеется, «рулевой». Отклики на историю с контрабандой. Требуют строгого наказания. Просят расследовать дело до конца.

«Будучи соседкой радиста Папоркова, то есть живя в той же квартире...»

Это как понять? Да, Грибов на допросе упоминал и Папоркова. Но ведь газета не сообщала... Значит, просочилось, подхвачено сарафанным радио.

«Папорков из той же шайки, в чем не может быть сомнения. Внешний облик Папоркова далеко не наш, не говоря уже о других порочных тенденциях этого субъекта, присвоившего себе высокий титул советского моряка. Наличие лишних денег, которые тратятся на прихоти и на предметы, чуждые нам по характеру...» Оксана перевернула страницу, не анонимка ли? Нет, В. М. Ковязина, педагог двести восемьдесят шестой школы. Аккуратно, крупными буквами, проставлены адреса — служебный и домашний.

«Я прошу дать мне возможность выступить на суде, дабы...» — читает Оксана пропущенное. Злости через край, и ни одного конкретного факта.

— Анна Ермолаевна! — Оксана вышла в соседнюю комнату.— Посмотрите-ка!

Там дребезжит разболтанный «Ремингтон». Юный литсотрудник Славик — репортер, очеркист, фельетонист — диктует. Диктует «из головы», что разрешается ему одному, как признанному вундеркинду в журналистике. Анна Ермолаевна терпеливо фиксирует его импровизацию.

Анна Ермолаевна — вдова челюскинца — не просто машинистка. О, нет! Она — бабушка редакции. Она печатала материалы для первого номера «Волны» тридцать два года назад. Моряков знает чуть ли не наперечет.

— Посиди, Слава, подумай,— ласково говорит она и берет письмо.

— Что, грозная особа?

Папорков Анне Ермолаевне неведом. А письмо неприятное, пахнет квартирной склокой.

— Вот и я считаю,— говорит Оксана.— Я поеду.

Можно было бы послать кого-нибудь другого. Того же Славика, например. Оксана самой не вполне ясно, почему она вдруг решила познакомиться с Ковязиной. Папоркова она видела мельком, на «Воронеже», накануне ухода. Парень непростой, с фасоном.

На улице ветрено, солнечно. Весенний запах моря, отстоявшийся за зиму, густой, терпкий.

В автобусе Оксана перечитывает письмо. Строки ровные, по линейке. «Предметы, чуждые нам по характеру...» Какие же это?

Полчаса спустя она вошла в квартиру, большую, темную, облезлую. Похоже, тут взорвалась бомба, начиненная велосипедами, шкафами, рогатыми вешалками, коробами, и все это разметалось, прорвав дощатые перегородки и кирпичные стены, и осело, где попало.

— Я от газеты,— сказала Оксана женщине, открывшей дверь, плечистой коротышке в синем бостоновом костюме, двубортном, почти мужского покроя. На высокой груди, словно орден на подушке, горделиво мёрцал университетский знак.

— Нравится у нас?

Смущенная внезапностью вопроса, Оксана рассмеялась:

— Не дворец.

Она не видела лица женщины, скрытого старомодной шляпкой из черной соломки, но могла бы поручиться: шутка не понравилась.

— Вы Ковязина? — спросила Оксана.

— Совершенно точно. К сожалению, я опаздываю в театр... Сегодня вы поговорите с другими жильцами. Ко мне милости просим в школу.

Лицо по-прежнему пряталось под полями шляпы, только университетский знак смотрел на Оксану пристально и холодно.

— Хорошо,— ответила она знаку.

Должно быть, он — этот знак — недоволен. Шутки он, конечно, не любит. Вероятно, он осуждает мохнатое летнее пальто гостыи, сшитое по последней моде и небрежно расстегнутое. И тугой джемперок, и керамиковую брошку. Таким ли должен быть солидный представитель печати!

За Ковязиной сухо щелкнул замок. Оксана увидела другую женщину. Она вытирала о фартук руки. На тон-

ких запястьях — синие, нежные жилки, а пальцы узловатые, огрубевшие, в трещинах от стирки. И до того темные, что можно подумать — на руках перчатки.

— Вы уж простите,— шепнула она.— Ковязиха и на вас рычит? Не совестно ей...

Она ведет Оксану к себе, в комнату блеклых тонов, небогатую, с запахом чего-то пригоревшего.

— Простите,— повторяет она.— И что она бесится? Ведь никому покоя не дает.

На стене — похвальные грамоты сына, на комод — портреты мальчика в коляске, мальчика на салазках, мальчика в школьной форме. Все тот же мальчик, Боря Папорков, хорошенький, с капризными губками, единственный сын.

Отца, пропавшего без вести в первый год войны, он не помнит. Клавдия Дорофеевна одна растила его. И вот — выучился, плавает... В голосе матери трогательное удивление. Ей не верится, что это у нее такой сын, — у нее, простой крестьянки родом из глухой деревни на Псковщине, умеющей лишь утюжить брюки и пиджаки, на углу проспекта Маклина, в ателье бытового обслуживания.

Оксане чуточку неловко, сейчас она кажется самой себе чересчур нарядной, слишком благополучной. Как будто такие вот женщины — возраста неопределимого и невыразительной внешности, отвергнувшие себя ради своих детей, — пестовали и ее, Оксану. И ее берегли, отказывая себе во всем.

Оксана еще раз оглядывает комнату. Над кроватью зеленеет ковер, непомерно длинная гончая догоняет на нем ушастого зайчонка. Бархатный заморский ковер.

— Если и покупает что, так не на продажу, господи! Для себя же... Костюм себе справил, мне кофту, пальто демисезонное. Так ведь на то и деньги даются. Эта, как ее... валюта, что ли.

Да, она знает. Грибов приплел и Борю. И Ковязина тоже наговаривает.

— И что она лютует?

«Как понять злость человеческую?» — скорбно, без слов, вопрошает Клавдия Дорофеевна. Ее сын, ее Боря, — спекулянт! Обвинение настолько нелепое, чудовищное, что матери больно и говорить об этом.

Узкая дверь ведет в комнатушку Бори — крохотную, с половинкой окна, отрезанного перегородкой.

Оксана зажмурилась. На обоях — буйная россыпь наклеек.

Обертки от жевательной резинки, и конфетные бумажки, и этикетки, снятые с банки шпрот, с банки венгерского компота, с пачки цейлонского чая. На полках, на столе, на подоконнике — книги и журналы, разноязычные, словно в нестройном споре.

— Тут и писано не по-нашему, — Клавдия Дорофеевна бережно подала томик Хемингуэя на английском языке.

Книги по радиотехнике и романы, альбом с видами Афин, сборники шахматных этюдов.

— Он и шахматист у вас?

— Как сказать вам... И шахматы, и волейбол, и пластинки — все ему надо.

Что ж, не мудрено. Такой возраст. Жадный возраст — всего хочется отведать, и все мало... Теперь Оксана несколько яснее представляет себе Борю. Спекулят? Нет, непохоже.

На кровати блестит одеяло, протертое чуть не до дыр. Хозяин такой комнаты вряд ли отягощен меркантильными заботами.

Однако надо выслушать и Ковязину.

Разговор с ней состоялся на другой день в школе, в чистенькой, солнечной учительской, в безмолвном кругу классиков, смотревших со стен. Здесь Оксана лучше разглядела Ковязину.

Она вошла деревянным шагом, — очевидно, туфли на высоченных, толстых каблуках она надевает только на работу, чтобы быть выше своего отмеренного природой роста. Курносое личико. Тонкие губы, ровные зубки. Могла бы быть хорошенькой, подумалось Оксане. Лет тридцать с небольшим, наверно. Да, была бы милой, уютной женщиной, вынь из нее самомнение и злое недоверие к людям.

— Папорков — растленная личность.

Губы исчезли, вобрались внутрь — так плотно она стиснула их.

— Факты, — сказала Оксана.

— Как мы живем, видели? — Ковязина подняла маленький, крепкий подбородок. — Мы бы давно все в но-

вых квартирах были... Вы попробуйте заставьте их кирпичи класть, жоржиков проклятых.

Оксана напомнила, что у Папоркова свое дело, — он радист, в дальнем плавании.

— Подальше от работы, — отрезала та. — Для какой цели им плавания? В свой карман.

— Факты, — повторила Оксана.

— Один ковер Клавдия продала, это точно. Это вам жильцы подтвердят.

— Еще не криминал.

— Мальчишка сорит деньгами. Вы его-то лицезрели? Любовались, что за хлюст? Брюки обтягивают ноги, будто кальсоны, простите меня, — она оглянулась на старенького, сивоусого математика, дремавшего в уголке исполнинского кожаного дивана. — Рубашку привез — страх! И приятели такие же... У них знаете что?

Она обвела взглядом учительскую, призывая в свидетели Льва Толстого, Чехова, Гоголя.

— Что? — спросила Оксана.

— Рок-н-ролл, — зловеще тихо отчеканила Ковязина. Это должно было доконать собеседницу. То был сюрприз Ковязиной, ее последний удар.

— Даже! — улыбнулась Оксана.

Ковязина отступила на шаг. Университетский знак гневно блеснул.

— Если у вас нет более убедительных данных, — произнесла Оксана, — я вам не советую выступать на суде.

— Простите, — слышит Оксана, — вы кем работаете в редакции?

— Неважно.

— Нет, мне важно.

— Пожалуйста. Я секретарь редакции. До свиданья.

«Бедные школьники!» — думала Оксана на обратном пути.

Ковязина рисовалась ей в классе, с указкой в руке. Бедные ребята, как им тоскливо, должно быть, на уроках русского языка!

Оксану долго, весь остаток дня преследовал блеск университетского знака, лежащего на высокой, словно взбитой груди, как на подушке или на алтаре. И холодный взгляд заостренной ханжи, знакомый и пуще всех напастей ненавистный Оксане, храброй газетчице, дочери флота.

— Братцы, слышали? — Боря весь сиял лукавой иронией. — Помполиту понравилась ковбойская картина. Честное железобетонное! Куда катимся, а?

— Враки, — сказал Вахоличев.

— Изабелла, подтверди!

— Чудак! — откликнулась та. — Что тут такого?

— Покажи синяк. Слез уже? Э, жалко! Чернильным карандашом обвела бы это место хотя. Сам первый помощник изволил сжать руку. Едва не прыгнул на экран, порядок навести потянуло.

— Среди ковбоев, — подхватил Вахоличев.

— Ребята, — голос Изабеллы зазвенел, — будете издеваться над дядей Федей, я уйду.

Обычно ей забавно наблюдать их вместе — Борьку и Вахоличева. На память приходит детская игра в зеркало. Костя Вахоличев ужас как старается быть похожим на Борьку, — и голову откидывает и пофыркивает. Только не идет это рыжему курносому Косте, веснушчатому, с маленькими подслеповатыми глазками.

— Костя, закрой дверь, — командует Борис. — Девочка, не надо истерики.

— Садись! — возглашает Степаненко, разливая водку.

Добродушный великан Степаненко — третий механик, Вахоличев — четвертый. Это их каюта, и собрались тут друзья по случаю семейного торжества. У Вахоличева родилась в Ленинграде дочка. Да, как ни странно Изабелле, — Костя уже женат, уже папаша.

— Ты только не приучай себя пить, Костя, — говорит она наставительно.

Костя осушил стакан залпом, не поморщившись, и с гордым видом нюхает корочку хлеба. А Борька — тот закашлялся. Изабелла нежно похлопала его по спине.

Бутылка пуста. Это никого не огорчает, ведь сошлись не кутить, а поздравить Костю и помочь ему. Дочка еще просто дочка, неясное существо без имени.

— Изабелла! — предложил Боря и умолк, смутившись.

— Что-нибудь наше, — молвил Степаненко. — Галя... Галочка... Галинка.

— Нет, — Изабелла ковыряет вилкой осетрину в то-

мате. — Витюшка, мой племянник, говорит, у них в детском садике чуть не все девчонки — Галочки.

— Отставить. — соглашается Боря.

— Тогда Аленушка, — говорит Степаненко.

Все ждут, что скажет отец. Но Костя молчит. Для него все имена звучат сегодня прекрасно. Он переживает свое торжество. Ему немного неловко оттого, что все пришли сюда ради него и вот ломают головы, выбирают имя. Даже сам Боря — кладезь всяческих познаний...

— Аленушка, Аленушка! — кричит Изабелла.

Ее распирает радость. Как здорово! Костины родичи так и не смогли найти имя. Перессорились, сказано в радиограмме. Слово, значит, за Костей. На судне, в Индийском океане, вот где дают имя девочке! Надо будет все подробно записать в дневник, чтобы никогда-никогда не забыть.

Океан за иллюминатором серый, он хмурится и швыряет пену. Воспоминания об Индии словно крутящийся комок разноцветных сари, относимый вдаль. Может, никакой Индии и не было? Но, конечно, была. Сейчас смена муссонов, сказал капитан, в это время океан всегда такой беспокойный. Это все-таки Индийский океан. Индийский!!

— В Японии имя дают на седьмой день.

Костя замирает, — эрудиция Папоркова поразительна! Изабелла хохочет, глядя на Костю.

— Ключнула, — объявляет Степаненко.

Называют еще имена, но они не могут затмить Аленушку. Теперь дочка Кости — нечто конкретное. Она Аленушка. Аленушка в платочке, в березняке, с корзиной грибов. Аленушка на камушке над речкой. Изабелла расхохоталась еще пуще. Нет, она вовсе не ключнула, ну вот нисколько, что они там болтают! Просто смешно, Аленушка с огненными волосами, как у Кости.

Рыжая Аленушка!

— Помполит, братцы, адски зол на Папоркова, — слышит Изабелла. Смех еще держит ее, трясет, щекочет. Фу, опять они про дядю Федю!

— И сегодня, товарищ Папорков, — продолжает Степаненко, — мы не имели «Последних известий».

Он подражает дяде Феде, и это бесит Изабеллу. Впрочем, ничуть не похоже!

— Атмосферные помехи,— величественно улыбается Боря.— Требовать надо от господ бога.

Он мог бы сказать еще, что Лавада вечно недоволен. Поймает Боря «Последние известия», запишет на пленку — все равно ворчит Лавада. Звук нечистый, свист, треск.

И музыку Боря дает неподходящую, всё джазы, оперетки, ничего серьезного... Зато Стерневой всегда хорош. Вчера он тоже не смог принять «Последние известия». И ничего, ему прощается.

— Ссылаетесь, Папорков, на объективные причины? — говорит Степаненко голосом помполита, и Костя покатывается. Только Изабелле не до смеха.

— Ой, ну вас, ребята!

Боря не успел удержать ее,— она уже выскочила из каюты, побежала на палубу. Упругий ветер встретил ее у выхода, толкнул назад, она схватилась за поручни. Океан открылся ей тревожный и пустой, только черная спина одинокого, наверно заблудившегося, дельфина обнажалась в толчее волн, в сумятице пены.

Ее потянуло назад, в тепло. Сзади грохнула дверь. Борька, подумала Изабелла и зажмурилась. Он или нет? Если Борька... Она так и не решила, что ей загадать,— он уже рядом. Это его дыхание, его плечо коснулось ее. Она открывает глаза. Боря стоит невеселый, бледный, зябко поводит плечами. Он вдруг показался Изабелле несчастным.

— Боря,— ее палец уперся ему в грудь,— брось ты, Боря... Вот увидишь... Дядя Федя...

Ветер раздувал ее волосы, они коснулись его щеки, и его потянуло поцеловать ее. Он тотчас смутился, и охота пропала, но он все-таки поцеловал ее. Он слышал, что девушки сами подставляют губы, ждут. А над робкими смеются. Боре представилось вдруг, что Изабелла тоже будет смеяться потом, и он чмокнул ее куда-то мимо губ. Она отшатнулась. Он удержал ее, поцеловал еще, и снова мимо — в правую бровь.

— Уйди, Борька,— сказала она.— С тобой серьезно, а ты...

— Что я?

— С ума сошел!

Лавада в это время был на мостике. Он поднялся туда без всякой надобности. Ему нравилось быть на

командном пункте. Изабеллу и Папоркова он не заметил, так как беседовал с Стерневым. Радист просил указаний от помполита, надо ли записывать первомайский концерт из Москвы.

— Милуются,— сказал Стерневой.

Лавада обернулся. Внизу, на палубе, качался, держась за поручни, один Папорков.

— Сбежала,— доложил Стерневой.

— Не весь концерт,— мрачно отрезал Лавада.— По твоему выбору.

Он спустился по трапу и постучал к капитану.

Папорков между тем бродил по палубам без цели, взбудораженный, потрясенный. Изабелла сперва подалась к нему, потом вдруг оттолкнула. Как понять женщин?

Он глянул на часы и полез по трапу вверх: скоро вахта.

Нежное сияние вдруг легло на море. Через минуту Папорков забыл обо всем, даже Изабелла перестала существовать.

Море сказочно светится. Кажется, этот серебряный фейерверк, зажженный где-то в его недрах, вот-вот разгорится еще ярче, и тогда море станет прозрачным до самого дна. И откроются подводные просторы — многоцветные камни, заросли кораллов, стаи пестрых рыб, открытые зевы раковин-хищниц, терпеливо подстерегающих добычу.

Словно искорки взлетают брызги за бортом. Вон там выскакивает из воды расшалившийся дельфин, — должно быть, оторвался от хоровода морских существ, крутящегося в честь Нептуна. Или то была акула? Светится и рыбина, она вся в жидком огне. Боря вспоминает вдруг огни святого Витта, картинку из старой хрестоматии, — и задирает голову. Нет, такелаж и мечты черны, исчезают в ночном небе. Горит только море, вызывая у Бори странную тревогу. Кругом разлито смутное, трепещущее ожидание.

— Компас опять задурит, — раздастся сзади.

Боря вздрагивает. Фантазия унесла его очень далеко от радиорубки, от Стерневого, только что принявшего вахту. Дверь рубки распахнута, мерцает электрическими зрачками рация, распираемая бурями эфира. Наплывает голос московского диктора. Его перебивает то

пулеметная очередь морзянки, то всплески далеких струн, неведомо с какого берега.

В рубку залетает легкий, теплый ветерок, тербит расстегнутый ворот рубашки Стерневого, обвеивает его большую голову в наушниках.

— Белая ночь,— усмехается Боря.

— В индийском варианте,— лениво урчит Стерневой.

Три дельфина появились на поверхности. Они перемещаются разом, как по команде.

— Ансамбль пляски,— говорит Боря.

То был авангард, за ним всплыл целый косяк дельфинов. Папорков следит за ними, обмирая от восторга. Дельфины плещутся в расплавленном серебре.

Показать бы Изабелле!.. Он побежал бы к ней, привел сюда,— ведь отсюда так хорошо видно... Но она, наверное, рассердилась. Странный испуг удерживает Папоркова. Испуг, от которого слабеют ноги.

— Лавада пыль поднимает,— слышит Боря.

— Из-за чего?

— Ты спрашиваешь! Два голубка там ворковали на носу. Крестница его и один юноша...

— Пускай,— бросает Боря.

— Ты не афишируй! Окрутят же тебя, чудак! Эх, я бы на твоём месте!..

Боря отходит на шаг. Ничуть не интересно знать, что сделал бы Стерневой.

Море между тем гаснет. Мерцают только гребешки. Злясь на Стерневого, Боря провожает взглядом последние сполохи иллюминации, исчезающей в ночи.

— Резвись, мальчик,— вздыхает Стерневой.— Поплаваешь с мое...

Теперь уже не досада у Бори, тоска, жестокая тоска, до зевоты, до боли в скулах. Вот так всегда обрывается разговор со Стерневым. До чего же он скучный!

А ведь на первых порах казалось, с напарником завяжется дружба. Тогда Боря мог бы составить список достоинств Стерневого: любитель шахмат, любитель театра, не лишен чувства юмора. Людей без юмора Боря попросту не признавал.

— Ты радикулит не заработал еще? — доносится до Папоркова.— Подожди, схватит тебя...

Да, да, это всем известно. У Стерневого радикулит.

Как-то раз в ответ на жалобы и вздохи Боря предложил подменить его на вахте. Стерневой отказался. Видно, не так уж он страдает. Говорит он о своем радикулите с явным удовольствием, по всякому поводу. «Кому прелести природы, кому радикулит», — бурчит он тоном многоопытного ветерана, утомленного суровой морской службой.

На пути в Индию, в Средиземном море, Степаненко — судовой комсомольский секретарь — устроил диспут на тему «Есть ли морская романтика?». Тут Стерневой еще раз всем напомнил о своем радикулите. Романтика, мол, кончается вместе с юностью, после первых рейсов, когда море поколотит человека как следует да сырость проберет до костей... А работа моряцкая такая же, как всякая другая.

И тут Стерневой, повысив голос, произнес несколько гладких фраз, взятых из газетной передовой. Советский, мол, человек на любом посту обязан...

Степаненко — тот отстаивал романтику. И «мастер» тоже. Боря заучил некогда, с энтузиазмом новичка, судовые звания на морском жаргоне: капитан — «мастер», старпом — «чиф», старший механик — «дед». Теперь он и мысленно не называет их иначе. Да, Алимпиев хорошо сказал о романтике. Море в любую минуту может потребовать таких качеств, как мужество, самоотверженность, стойкость. Это почти как на фронте... Боря слушал и сам обдумывал речь. Но слово «романтика», затрепанное слово, не шло с языка. Без него речь второпях не складывалась, и Боря промолчал.

Лавада, конечно, согласился со Стерневым. Дискуссия вообще нервировала помполита. Какая такая морская романтика! Чего доброго, будем провозглашать специфику, обособляться начнем. А там и грешки свои пожелаем списать...

До вахты еще семь минут. Боря спустился на шлюпочную палубу — там кто-то стукнул дверь. Томит неотвязная, безрассудная надежда увидеть Изабеллу. Хотя бы на минутку! Выяснить, сердится она или нет.

Под шлюпками пусто. Мглистая ночь окутывает судно, океан и небо слились.

Боря спускается еще на один пролет, заглядывает в коридор. Очень грустно так отправляться на вахту, с грузом неизвестности.

Стерневой охает и стонет еще пуще. Он только что передал метеосводку. Девяносто семь процентов влажности! Это же убийство! Одно спасение — теплая каюта. Стерневой с облегчением поднимается, освобождая место Боре, подвигает ему вахтенный журнал.

— Если в Александрии так заламает... Ты будь другом, — Стерневой задержался за порогом, — если я не сойду на берег, ты купишь мне там кой-чего.

— Ладно, — ответил Боря машинально, думая о своем.

— Стоящего там мало, разве что сумочки. О-ох! Сумочки еще ничего, подходящие.

— Ладно, — повторил Боря.

7

— Я насчет Папоркова, — сказал Лавада, входя в каюту капитана.

Алимпиев соскочил с койки, отбросил книгу. Он ковылял — одна тапочка не наделась, ускользала от него. Впускать Лаваду в спальню не хотелось, из-за Леры. Она все еще охарашивалась там, в резной рамке, у постели. Игорю стыдно своей слабости.

— Произошло что-нибудь?

Лавада не сел, а стал ходить по гостиной следом за Алимпиевым, гнавшим свою непослушную тапочку.

— От Папоркова мы должны избавиться.

Ого, вот до чего дошло! Но в чем же дело, однако?

Они сели у круглого стола. Лавада щелчком оттолкнул фарфоровую пепельницу с рекламой голландского пива «Анкер». В каютах, в кают-компании — всюду такие, с тех пор как «Воронеж» побывал у голландцев в ремонте.

— Попал к капиталистам — ну все!.. Непременно пролезут и насуют всякой дряни!

Лавада давал выход избытку гнева.

— Так же вот, не поймешь как, в какие щели, проникает на судно разная шушера, — он свирепо смотрел на пепельницу. — Не моряки, а попутчики...

— Вы Папоркова имеете в виду?

— Что хорошего в нем, Игорь Степанович, объясните мне, пожалуйста?

Теперь пепельница перешла к Алимпиеву, он вертел ее, обдумывая вопрос. Что хорошего? Сначала вспомнилось почему-то незначительное, случайное. В Немецком море, еще в начале рейса, на мостике... «Чайки прямо в бинокль летят», — произнес Боря, без улыбки, без ужимочек своих. С милым мальчишеским удивлением. И тогда Алимпиев по-новому увидел Борю, ощутил что-то близкое себе... Бывало, ведь и к нему — Алимпиеву — чайки летели прямо в бинокль.

Конечно, Лаваде этого не расскажешь.

— Мне Папорков нравится, — коротко говорит Алимпиев. — Он неплохой парень. Молод еще...

Лавада гулко переводит дух. От возмущения его сдавила одышка, голос срывается.

— Неплохой? Папорков же тянет весь коллектив назад...

— Да что же он натворил?

Лавада, наверно, что-то принес. Какую-то новость. Недаром захватил с собой папку. Прислонил ее к подлокотнику кресла и поглаживает корешок, собирается с духом.

— Есть сигнал, Игорь Степанович. Историю с Грибовым, с фарцовщиком, помните?

Еще бы! На стоянке в Гавре «Волну» — моряцкую газету — рвали из рук.

Но при чем тут Папорков?

— Похоже, из той же шайки-лейки... Грибов его назвал, в протоколе записано.

— Грибов на многих накапал.

У Лавады что-то еще в запасе. Да, так и есть. Он достает из папки бумагу, кладет на стол и разглаживает ладонью:

— Пожалуйста, Игорь Степанович!

«Будучи соседкой радиста Папоркова, то есть живя в той же квартире...»

Алимпиев читает, а Лавада ждет, ничем не выдавая своего нетерпения. Он преувеличенно спокойно разглядывает свои ногти. Все, что он находил нужным, он в разное время сказал капитану. Теперь пусть говорит документ.

Капитан морщится. Он молча отдает письмо Лаваде. Тот не выдерживает:

— Ваше впечатление?

— Пахнет квартирной склокой. А копий-то сколько! — Алимпиев усмехается. — Копия в редакцию, копия нам, копия в суд, копия...

— И что ж такого?.. Пишет учительница, человек с понятием. Какая ей корысть? Письмо честное.

— Думаете? А факты где? Ни одного! Корысть какая? А знаете, есть люди... Не терпят просто, когда кто-то живет иначе... Нет, ты живи по-моему! И одевайся, как я, и мебель ставь, как у меня, и зубы изволь той же пастой чистить...

— Ну, это, вы простите меня, Игорь Степанович, беллетристика.

Алимпиев промолчал. Да, для Лавады — беллетристика. Не так надо было сказать ему.

— Ладно, возьмем поведение Папоркова в целом, — произнес Лавада жестко.

Что ж, возьмем! В голове Алимпиева вихрем проносятся все прегрешения Бори.

— Что он на политзанятии молот? — слышит Алимпиев. — Насчет труда в нашем обществе. Помните?

Да, было такое. «Моя мать прачка, — сказал Боря. — Разве про нее напишут в газете? Никогда! Про комбайнера — с радостью, а вот про нее...» Лавада мог бы ответить просто: напишут, дойдет очередь, если отличилась. А вообще-то мы еще не в коммунизме, каждому по труду — и денег и иной раз почета... Так нет, Лавада начал навешивать ярлыки. А Борька уперся и спросил: «Если у нас сегодня все совершенно, то какое может быть движение вперед? Тогда и стремиться некуда». Это вконец обозлило Лаваду. Он твердил свое, ставшее рефреном: «Я в вашем возрасте...»

— Ходит героем, — слышит Алимпиев. — Фальшивый ореол ему построили. И Вахоличев ему дружок. А Черныш? Тоже субъект! Тридцать лет мужику, а учиться — ни в какую! Вечный матрос.

Досталось от Лавады и комсомольскому секретарю. Слабоват Степаненко, не занял твердой позиции. Вообще незавидное наследство получил «Воронеж» от «Комсомольца Севера». Избаловались там... На линии Ленинград — Лондон служба известно какая, что ни день, то стоянка.

Все выложил Лавада, кроме одного... «Милуются», — сказал Стерневой, подсмотревший Папоркова с Зябли-

ком. С Зябликом! Не дает покоя Лаваде это словцо, просится на язык, вот-вот слетит невзначай...

— Федор Андреевич,— начинает Алимпиев.— Вы ветеран войны... Мне странно, нет у вас доверия к людям. А мы ведь воспитатели. Без доверия что можно?.. Только наказывать...

Он старается говорить проще, без беллетристики. Лавада брезгливо машет:

— Таких жоржиков воспитывать... Ох, Игорь Степанович! Добрый вы человек, чересчур добрый. А вот грянет решение суда, и какой вид мы с вами будем иметь? Кислый вид, Игорь Степанович! Хорош экипаж коммунистического труда! Вот я и предлагаю... Судить Грибова будут еще не скоро, мы домой раньше вернемся. И сплать Папоркова сразу же — адъё, до свиданья!

Ах так, значит! До свиданья! Уходи, а то, упаси бог, испортишь нам вывеску! Алимпиев, однако, не сказал этого, сдержался. Теперь уже не беллетристика шла на ум. Ругаться хотелось. Он отвернулся, поглядел в иллюминатор. Сухой волнорез, желтый, как раскаленная пустыня, разрезал круг синевы. Там, за преградой, море волновалось, расцветало одуванчиками пены, а здесь, на рейде, лежало спокойное; прирученное, едва лизало борт.

Нет, ругаться нельзя! На своей бы суше — другое дело, а здесь не место. Хорошо смотреть на море, это помогает. Тут не столкнешься один на один, всегда присутствует третий. Море!

— Еще неизвестно, как постановит суд,— сказал Алимпиев.— Прогоним Папоркова зря, тоже взыщут с нас. Плавает второй год, а с нами первый рейс. Спросят, почему не воспитали.

Лавада вскочил, крикнул.

— Ну, навряд ли...

— Придем в Ленинград — там виднее будет. К египтянам же мы не спишем Бориса!

На это Лавада ничего не мог возразить. Разумеется, до возвращения домой никто и знать не должен об этом разговоре. И о сигнале педагога Ковязиной. Немного охладила ярость, клекотавшая в Лаваде,— и то победа.

Однако и этой малой победой Алимпиеву не довелось насладиться, он добыл ее не так, как ему желалось. Он

поймал себя на том, что подыграл Лаваде, пустил в ход фразу из его арсенала. Взыщут с нас... Как будто боязнь нареканий свыше должна определять наше отношение к людям!

Кончать разговор не хотелось.

— Вы им все насчет возраста, Федор Андреевич... Я, мол, в ваши годы... Они же не виноваты, что не были на фронте. Чем попрекаем? Молодостью! Нет, так сердце не завоевать!

Лавада шагнул к двери, обернулся:

— Ну, сердечный вопрос...— он порозовел от усилия, подбирая ответ,— вопрос не по моей части.

Это прозвучало, как выстрел.

И много раз повторилось для Алимпиева после того, как Лавада ушел.

— А что по его части? — сказал Алимпиев в иллюминатор, обращаясь к морю.— Вывеску малевать, вот что. Герой-боцман нужен для вывески, Папорков не годится...

За ужином, в кают-компании, Лавада сидел, как всегда, под жалкой, искусственной бурей, театрально ярившейся на полотне. Он как ни в чем не бывало смеялся грубоватым шуткам Стерневого, а капитан не мог заставить себя поддержать беседу за столом. Только что он был на грани ссоры с Лавадой. А ссора между капитаном и помполитом — это беда на судне, это аварийное «чепе».

Старпом Рауд рассказывал что-то потешное про эстонских хуторян, а Стерневой вставлял какие-то замечания. До Алимпиева долетал лишь гомон, лишенный смысла. Он еще спорил с Лавадой.

И после ужина, на мостике, наблюдая за новичком-штурманом, прокладывавшим курс, Алимпиев продолжал спор с Лавадой.

На руле стоял Черныш. Борясь с качкой, он держался по-военному прямо, как часовой, и лицо его от усилия обтянулось, затвердело. «Вечный матрос», — вспомнилось тотчас же. Алимпиев подумал, что вот уже месяц минул в рейсе, а он как-то не удосужился побеседовать с Чернышом по поводу учебы.

— После вахты зайдете ко мне, — сказал Алимпиев, и Черныш отозвался тихо, сдавленно. Всю энергию силача-кубанца отнимало безжалостное море.

По тому, как Черныш опустился в кресло, упоенно прикрыв глаза, смог Алимпиев оценить еще раз богатейское упорство Черныша, который, стиснув зубы, решил преодолеть свою сухопутную натуру.

Начал капитан без обиняков, с прямого вопроса. Черныш встретил его взгляд.

— Коли все ученые будут,— произнес он с широкой улыбкой,— кто станет палубу швабрить и прочее всякое?.. Круглое катать, длинное таскать.

— Я серьезно, товарищ Черныш,— сказал Алимпиев.— Видимо, вы намерены посвятить себя флоту...

Матрос виновато потупился, словно прося извинения за шутку, и Алимпиев пояснил свою мысль. С такой выдержкой, как у Черныша, многого можно добиться.

— На флоте я не останусь,— ответил Черныш.— Поплаваю еще с год, и уйду.

— Да что вы! — вывалось у Алимпиева.

Он ушам своим не верил. Ради чего же тогда эти мучения? Зачем пришел Черныш на судно? «Попутчики»,— услышал он слова. Может, не так уж неправ Лавада?

— Бывает,— сказал Алимпиев.— Ждет человек невесть чего. Валюты, горы золотые...

Да, нечего строить иллюзии. Далеко не все вокруг — твои товарищи по призванию, влюбленные в море. Втянутый в поток размышлений, Алимпиев не заметил, как потемнело лицо Черныша, от огорчения, от обиды.

— Напрасно вы, Игорь Степанович... Много ли мне нужно, одному...

Да, он в тридцать лет еще не женат. Алимпиев узнал об этом из личного дела и тогда мысленно одобрил Черныша. Что еще запомнилось? После школы пустился бродить по стране. Был чернорабочим на заводе, был возчиком при молочной ферме, плотником на стройке. Нигде подолгу не задерживался.

— Образование у вас ведь среднее?

Алимпиев еще не решался спросить прямо, чего хочет от жизни этот здоровый, ладно скроенный, несловохотливый парень, какие таит мечты.

— Мы гадаем,— мягко, чуть посмеиваясь, произнес капитан,— мы тут гадаем и в толк не возьмем, что за вечный матрос у нас в экипаже... Значит, вас и море не влечет?

— Я охотиться люблю,— ответил Черныш, помолчав.— Старпом тоже вот, тоже кровь следопыта... Я шлюпочку мастерю, или как ее назвать лучше — тузик, что ли... На нас двоих, за утками пойти, когда дома будем стоять.

Он явно ускользнул от вопроса. Алимпиев смешался. Надо возобновить разговор. Но как?

Тем временем Черныш разглядывал книги. Они занимали три полки над письменным столом,— часть библиотеки Алимпиева, перевезенной из квартиры на судно.

— У вас стихов много,— промолвил Черныш.

— Много,— сказал Алимпиев с невольной хозяйской гордостью.— Вы признаете поэзию?

— Де юре и де факто,— отозвался Черныш, тщательно выговаривая.— Стишков красивых тьма,— он наклонил тяжелую, лобастую голову и хмыкнул.— Ура, ура, пахать пора!

— Ну, не все такие,— возразил Алимпиев, и они заспорили.

Черныш заявил, что народу сейчас нужна прежде всего проза. Он оживился, и Алимпиев сразу ощутил острую, интимную заинтересованность. «Ого, да он массу читает!» — подумал капитан, слушая Черныша, свободно, с юмором разбиравшего по косточкам новинки прозы.

— Хотя, конечно,— заметил матрос,— в учителя берешь кого-нибудь одного.

— Так вы и сами пишете?

Матрос умолк, пойманный на слове. Алимпиеву тоже стало неловко. Откровенности вынужденной он не желал.

— От благих намерений до выполнения, знаете... Я оттого и не говорю никому... Ребята спросят, а что ты написал?

Оказывается, в учителя он взял Горького. Давно, еще в последнем классе школы. Над книгой поклялся начать так, как начинал Горький. Не искать ни больших денег, ни должностей спокойных и сытных, семью не заводить и не гнушаться самой простой работы. Да, разумеется, для писательства необходим еще и талант. В журнале «Дон» его юношеские рассказы похвалили, наметили в номер, но поручили доработать. Черныш

забрал рукопись, прочел замечания рецензента — уважаемого донского писателя — и не вернул в редакцию. Как ни соблазнительно увидеть себя в печати, Черныш пересилил себя. Он и сейчас считает, что ему рано отдавать свои сочинения на суд публики. Иногда он, правда, показывает их кое-кому...

— Я тут из морского быта набросал... Вы согласны почитать? Почерк, правда, неважнецкий.

— Ерунда! — воскликнул Алимпиев. — Тащите сюда! — Он ощущал ликование, поднявшееся из глубин его существа. — Не беспокойтесь, это все между нами!

8

Стерневой не сошел на берег в Александрии. Вопреки заверениям судового врача, сухой африканский воздух облегчения не принес. Ковыляя по палубе, радист потирал поясницу и тихо, сквозь зубы ругался.

На причале, у самого трапа, пестрят коробки фиников и халвы, косынки с видами пирамид. На кожаных сумочках таинственно улыбается царица Нефертити, струятся древние иероглифы. Вокруг носятся вихорьки горячей пыли, обильно посыпают все, путаются в широких галабиях торговцев-арабов.

— Может, сам купишь? — спросил Папорков.

Он сунул руку в карман, чтобы вернуть Стерневому деньги. Вот они, сумки! Пускай бы и выбрал по своему вкусу.

— Здесь же дороже, — удивился Стерневой. — Ты уж не сочти за труд, а то видишь...

— Мне не трудно, — сказал Боря.

В спутники он взял Вахоличева. С ним хорошо, — ходить не ленился, а когда надо, молчит, не мешает смотреть. У ворот порта их нагнал Степаненко.

Узкая улица, пропахшая перцем и жареной рыбой, вывела их на набережную. Голая, ветреная, без единого пятна зелени, она гигантским полукружием белого камня охватывает синюю бухту. Кафе малолюдны в этот ранний час. Хлопки полосатых тентов над столиками словно аплодисменты в гулком, почти пустом зале.

Борька предложил пойти в музей. Смешавшись с нетерпеливой, суматошной толпой туристов, моряки долго

бродили по Александрии, давно угасшей, среди богов ее и героев, обратившихся в мрамор. Боря читал английские надписи и давал объяснения.

— Богатый музей, — сказал Степаненко. — Ты бы кинул мысль, когда завтракали. Культпоход толкнули бы.

— Есть начальство, — ответил Боря. — Начальство в мыслях радиста Папоркова не нуждается.

— Брось. Не лезь в бутылку.

Боря ответил усмешкой. Вахоличев громко фыркнул. Степаненко отмахнулся:

— Ох, горе с вами... Ну, теперь куда?

Они стояли на ступенях под сенью портала, жмурились от солнца, заливавшего площадь. Разморенные жарой, мирно дремали извозчицьи лошадки, в щегольской сбруе, густо усеянной пылающими медными бляшками.

— К Римской колонне, — уверенно сказал Боря.

Прославленный обелиск не оправдал ожиданий.

— Надо же было отгрохать рядом шестиэтажные дома! — возмущался Степаненко. — У нас бы ни за что...

— Затюкали памятник истории, — сказал Боря.

Раскрыв путеводитель, он соображал, как лучше выбраться к центру города, к Хлопковой бирже.

Зачастили магазины. Борю забавляла разноголосица имен на вывесках: арабские, греческие, итальянские, даже французские... Интернационал купцов! Взгляд его упал на сумочки в витрине галантерейщика, и тут Боря вспомнил поручение Стерневого. Купил ему три штуки, как было условлено. И еще одну — Изабелле.

На обратном пути столкнулись с Лавадой. Он гулял в компании — начальник рации, ядовитый усач Озеров, жилистый, тощий, высокий, как жердь, Зарецкий — старший механик.

Лавада остановился, завидев Папоркова.

— Куда это столько? — спросил Лавада, оглядев радиста, увешанного сумками.

— Семья большая, — откликнулся Боря.

Вахоличев прыснул. Лавада нахмурился, пожевал губами и отвернулся.

— Федор Андреевич, — сказал Степаненко. — Папорков может провести экскурсию.

Он сообщил о посещении музея. Оказывается, сюда

приезжают из многих стран, чтобы посмотреть греко-римский музей и побывать у колонны Помпея.

— Подумаем, — сказал Лавада.

— Стоянку сокращаем, я слышал, — вставил Озеров. — Грузят по-скоростному.

«Воронеж» принимал тюки хлопка — фрахт для Лондона. Белые хлопья вьюгой кружились над судном. Ветер посвежел.

В кают-компании звонко распевала Изабелла. Боря и на минуту не задержался в каюте, только бросил на койку Стерневого покупку.

Последнее время Боре никак не удавалось побыть с Изабеллой наедине. Выяснить наконец, сердится она или простила... Вернее всего, еще сердита. Очень уж явно она избегает его.

Подавляя робость, Боря открыл дверь кают-компаний. Изабелла накрывала к ужину. Оглянувшись на Борю, она перестала петь. Он поставил на стол сумку.

— Нравится?

— Убери, убери со скатерти! Чистая же скатерть, Борька! Разве можно...

— Нет, ты скажи, нравится? — Он послушно снял сумку и держал ее вытянутой рукой. — Кто это? Не знаешь? Жена фараона, царица Нефертити, да было бы тебе известно. А Озириса тоже не знаешь? Ставлю двойку, девочка.

Болтая, он становился смелее. Изабелла схватила сумку, водила по ней пальчиком, упоенно слушала Борьку.

— Ой, без четверти уже, — спохватилась она. — У меня ни-че-го не готово. На!

— Это тебе.

— Ну зачем? — Изабелла густо покраснела.

— Просто так.

— Ну, ладно, Боря... Ну, спасибо...

— Так ты не сердись больше?

Ответа он не получил. Изабелла, совсем пунцовая, выбежала в буфетную. На столе, на чистой скатерти, осиротело лежала сумка. Царица Нефертити наблюдала за Борькой с выражением, которое невозможно разгадать.

Боря потоптался на месте, переложил сумку на стул и вышел, сиюсь понять сложность женской натуры.

В каюте пыхтел Стерневой. Елозя коленками по полу, он затискивал в чемодан сумки. Царицы Нефертити, задавленные, сплюсненные, задыхались под крышкой, их подведенные глаза молили Борьку о помощи.

— Падаем на экзотику? — произнес Боря.

— Черта ли тут, кроме... — огрызнулся Стерневой. — Ладно! Не с пустыми руками к родным пенатам...

Боря не просил объяснений, мысленно он еще не расстался с Изабеллой.

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Вот каждому и надо привезти. На рубль хотя бы, — хмыкнул Стерневой.

— Резонно, — сказал Боря.

— Эскулап не ошибся, все-таки полегче стало, — Стерневой отдувался, сидя на чемодане. — Торговлишка унылая. Ты почему платил?

— Пятьдесят, — сказал Боря.

— Порядок, — кивнул Стерневой. — Я тоже по пятьдесят. Тут одна фирма, наверно.

Боря хотел рассказать Стерневому про музей, но передумал. Опять пахло скукой.

— На, держи, — Стерневой протянул шариковую ручку. — Сувенир от меня.

— С какой стати?..

— О чем разговор! Не золотая...

Боря смущенно взял ручку, клюквенно-красную, с блестящим наконечником.

В кармане Стерневого звякало с полдюжины таких ручек — очень дешевых, ярких и хрупких.

Снаружи заскрипел трап, то возвращался к ужину Лавада со спутниками. Лавада возглавлял шествие. Он поднимался, как и другие, размеренно, молча, глубоко дыша. Стерневой выскочил из каюты, прислушался, и как бы нечаянно встретил помполита в коридоре.

— Гуляли? — осведомился Стерневой.

— Пылища, — сказал Лавада. — Метет в порту.

— Не желаете ли сувенир? — молвил Стерневой после сочувственной паузы.

Лавада с сомнением повертел ручку.

— У меня их полно, — он оттянул карман форменки Стерневого и аккуратно вставил ручку. — Ты девушке, девушке нашей лучше... Ей сделай сюрприз.

— У нее свой кавалер есть.

Стерневой попятился — так потемнел Лавада, так сердито зашагал прочь.

Изабелла подлила масла в огонь, вздумала похвастаться перед дядей Федей Бориным подарком. Дядя Федя огорчил ее, — сказал, что у Папоркова таких зазноб, как она, в Ленинграде, поди, десяток. Изабелла чуть не расплакалась. Откуда дядя Федя может знать? За что не любит Борьку? За что?..

Лавада сидел за ужином туча тучей. Однако Степаненко все же возобновил речь об экскурсии по городу — с гидом Папорковым.

— Под твою ответственность, — хмуро бросил Лавада. — Мероприятие комсомольское. Смотри, чтобы все в ажуре!

Наутро молодежь отправилась в город. Изабелла упросила пекаря Ксюшу управиться с посудой и присоединилась к походу. Слушая Борьку, она гордилась им. Он почти не заглядывал в книжку, даже когда отвечал на вопросы.

Видел бы дядя Федя!

Стерневой написал заметку об экскурсии, но не послал, Лавада отсоветовал. Культурно расти, конечно, похвально, но Папоркова поднимать не следует...

Неделю спустя «Воронеж» бросил якорь в Лондоне. После южных стран здесь, у закопченных пакгаузов, под низким серым небом было холодно и неудобно. Стерневого опять схватил радикулит.

— Будь другом, — сказал он Боре. — Купи для меня пару ковриков.

Боря купил.

— Держи пока у себя, — сказал Стерневой. — Мне некуда, видишь. Потом придумаю что-нибудь.

В Борином чемодане места было довольно, — легкий плащик, подарок маме, висел в шкафу. Остаток денег ушел на театры, на кино, на альбом с видами Лондона да еще на бутылку кальвадоса, выпитую вместе с Вахоличевым. Отдать за нее пришлось немало. Кальвадос оказался выдержанный, лучшей марки, ну как же было не отведать напитка, которым угощались персонажи Ремарка!

— Вкусно? — спрашивал Стерневой.

— С ног валит, — сочинял Боря. — Жидкость классическая.

— Вас и ситро уложит, — ухмыльнулся Стерневой. — А роман я читал. Сентиментальщина! Связался же, дурак, с этой Пат, с чахоточной.

Ну что за человек Стерневой! Читал те же книги, знает те же пьесы, те же фильмы, а говорить с ним невозможно.

«Воронеж» из Лондона взял курс на восток, и моряков охватило томительное нетерпение. Вот когда намяла плечи тяжесть полуторамесячного плавания! Борька радовался тому, что на ходу он почти не видит Стерневого, — вахты не позволяют им и полчаса побыть вместе. Иначе наверняка поссорились бы, разругались окончательно.

Изабелла огорчала Борю непонятной сменой настроений. Ей невольно вспоминались иногда слова дяди Феди. Ну, не десяток зазноб у Борьки в Ленинграде, но одна, пожалуй, есть. Не без того!

Томился ночами Алимпиев. Капитанская каюта стала огромной и холодной. Лера в резной рамке дразнила, мучила, прозрачное кружево теней лежало на ее голых плечах. Запах ее тела шел от фотографии. То даже и не Лера, не бывшая, разведенная жена, — просто женщина, способная утолить его голод. Да, он не перестал желать ее, печать загса не властна и в этом. Напрасно Игоря обвиняли тогда, на собрании, в легкомысленных связях. Правда, его видели с машинисткой из управления, с чертежницей из картографии. Он ухаживал, он щедро угощал, он с упоением танцевал — ему очень нужно было отвыкнуть от Леры.

В пустыне каюты так одиноко, что против Леры рождается ярость.

Он снимает портрет со столика, прячет в ящик, подальше, под бумаги...

В Антверпене перед самым отходом «Воронеж» получил письма из дома, газеты. Алимпиева дожидалась лишь весть от Савки, друга Савки, штормующего в Охотском море. Все равно Ленинград сразу придвинулся, дохнул в лицо родным теплом. Уже близко! Рукой подать, кажется!

Всех взбудоражила новая статья о деле Грибова. «Волну» затрепали до дыр. Заметку «Отважный боцман» едва заметили, — только и разговоров было, что о Грибове. Многие плавали с ним.

Лаваду, и без того мрачного в последнее время, газета повергла в самые печальные размышления.

— Откликнется и у нас, будьте уверены, — сказал он Алимпиеву. — Ваш Папорков сумок набрал в Александрии...

Вечером Лавада собрал экипаж. Папоркова он не называл, упомянул лишь некоего моряка, украшенного египетскими сумками, словно елка игрушками. Тон у Лавады был угрожающий. Разошлись молча, как побитые.

После ужина в каюту к Боре постучал Вахоличев. Он волновался, огненные веснушки горели.

— Наш Стерневой странно ведет себя... Он вправду больной или прикидывается? Ребят за коврами посылает... Я ему два ковра купил и Черныш тоже.

— И я, — сказал Боря.

Он выхватил из-под койки чемодан, достал ковры. Раскатал на коленях, примял кулаком ядовито-зеленую воду, по которой плыли жирные, грудастые лебеди.

— Красота, не оторвешься, — фыркнул Боря.

— Антик с кисточкой, — поддержал Вахоличев.

— Налетай, кто с деньгами, — сказал Боря и отдернул руку. Ковер показался грязным, краска линючей, пачкающей.

— Бизнес, — бросил Вахоличев.

— Не являться же домой без товара! — сказал Боря. — Шутишь ты, что ли, Константин!

Он встал. Теперь он знает, что надо делать. Боря бросил ковры на кровать Стерневого.

— Тащи и ты! — велит он другу.

— Ясно!

Вахоличев в восторге. Впрочем, смысл задуманного ему вовсе не ясен.

— И другим ребятам передай... Он пока на вахте, двадцать три минуты у нас... Значит, живо!

Боря ходит по каюте, поправляет одеяла, смотрит на стрелку часов, она двигается страшно быстро, необычайно быстро. Никогда она так не мчалась, черт бы ее побрал! Успеть бы, пока Стерневой на вахте... Эх, жаль, не удастся поглядеть, какотреагирует Стерневой. Как он будет метаться тут...

А что дальше? Позвать Степаненко, показать ему... Да, конечно! Магазин Стерневого... Купца Стерневого...

Фамилия, наверное, писалась через ять. А впрочем, черт ее ведаёт, может и без ятя. Мистер Стерневой, неплохо сработала у вас голова — чужими руками загребать ба-рыши...

Дверь распахнулась без стука, влетел Вахоличев с рулоном. За ним Черныш. У него рулон толще — три ковра, и все крупные.

— Первым делом пускай сам казнится, — молвил Черныш, «философ» Черныш, как прозвали его на судне.

Он привел еще двух матросов с коврами Стерневого. Потом, пригнув черную голову, вошел боцман Искандеров, швырнул ковер, похлопал ладонями по холщовым штанам. Боком втиснулся судовой эскулап Кашин, застенчивый, немного заикающийся.

— Н-некрасиво! — сказал эскулап и осторожно, кончиками пальцев водрузил сверток.

— Степаненко знает? — спрашивал Боря.

Нет, пока не знает. Степаненко у машины, нельзя его отвлекать. Не бросит он сейчас машину. Через двенадцать минут, нет через одиннадцать Степаненко вылезет из трюма. Тогда и Стерневой явится сюда, увидит...

Боря решил ничего не говорить напарнику. Но, принимая вахту, глядя в лицо Стерневого — круглое, сытое и опять капризно-недовольное, — не удержался.

— Там ребята ковры твои сложили, — сказал Боря как бы между прочим. — Пятнадцать штук.

Стерневой сорвался с места. Вахтенный журнал шлепнулся на пол.

— Зачем? — губы радиста побелели. — Кто просил?..

— Держать негде.

Боря усмехался, откидывая голову, и Стерневой затрясся от бешенства.

— Врешь! — просипел он. — Ладно... Друзья-товарищи...

Сжался весь и метнулся прочь из рубки, резко, больно оттолкнув Борю плечом.

Боря не вдруг уразумел, что ему надо сесть к рации, принять настойчиво колотящуюся морзянку. Он еще стоял, почесывая ушибленное место, когда рубка затенилась. У входа возник Озеров. Колючие усы его, желтые от табака, мерно шевелились.

— Журнал... — донеслось до Бори. — Журнал вам вместо тряпки? На чем вы стоите? — крикнул Озеров.

— А? — откликнулся Боря.

— Отлично мы принимаем вахту! Отлично, Папорков!

Боря ни слова не сказал Озерову. То, что открылось ему, нахлынуло на него сейчас, — бесконечно важнее журнала, попавшего под ноги.

Не ведал Борька, что язык его, несдержанный, неугомонный язык испортил все дело.

Стерневой успел обдумать свое положение. Выход для него остался один, трудный выход, но судьба Грибова, нависшая теперь и над ним, не позволяла колебаться, не давала и минуты срока.

Одна только Изабелла, убиравшая каюту старшего механика, видела, как мелькнула на палубе фигура Стерневого. Он прижимал к груди что-то темное, сложное наспех, мотавшееся на ветру.

И что-то ухнуло, плеснуло вниз, за бортом.

9

Хороша белая ночь! Кораблем плывет город в океане странного света, ночного света, роняющего тысячи улыбок на бессонные окна.

Кружатся, кувыркаются в воздухе над набережной голуби. Их хозяин — невидимка. Бог весть откуда гоняет он этих белых, празднично-белых птиц, не дает им сесть, не разрешает отдохнуть. Голуби мягко хлопают крыльями, исчезают где-то в сиянии невероятной ночи.

С минуту следит за птицами Изабелла. Ей вспомнилась весна прошлого года, выпускной школьный бал, платья девочек — такие же белые.

— Ты любишь голубей, Борька?

Он уже устал отвечать, — она засыпает его вопроса-ми. Как она успела придумать их столько!

— Голуби — это типичное не то, Изабелла, — говорит Боря. — Занятие сухопутное.

Ей надо знать о нем все, решительно все. Так советует Ксюша, судовой пекарь, тридцатилетняя молодка, бросившая мужа. Брак в юности — глупее глупого, форменный блин комом. Но Ксюша согласилась с Изабеллой, — Боря не такой, как все. Боря на «Воронеже», из молодежи, самый интересный. Как знать, рассуждала Ксюша, может, это счастье пришло к Изабелле! Надо

только разглядеть парня получше. До свадьбы мужика хоть паси, он как теленок. Зато после... Эх, жаль нет луча такого, вроде рентгена, чтобы их, мерзавцев, насквозь просветить. Изобрести бы...

Ксюша считает, с одной стороны, неплохо иметь мужа-моряка, свободного от супохутных привычек. Баба и одета с новейшим шиком, и вольготно ей. Это с одной стороны. А с другой... Наставлений Ксюша надавала много, все не упомнишь.

— Я собак люблю, — говорит Изабелла. — А ты? У меня непременно будет овчарка. Кто животных не любит, тот злой человек. Правда? Борька! Какой-то ты сегодня...

— Конкретнее?

— Не такой какой-то.

И вдруг всплеснула руками, сбежала по гранитным ступеням к воде, нагнулась, потрогала:

— Холодная!

Сейчас Изабелла может уйти совсем, оставить его одного. Ничуть не жалко! Неужели она не понимает, что произошло?

Как можно прыгать, брызгаться, болтать о собаках, о голубях, о всякой чепухе, если есть на свете Стерневой? Чистенький, благополучный, такой на вид положительный и честный. И надо жить с ним в одной каюте, есть за одним столом, — ведь не пойман, не вор. Судить его нельзя. И виноват он, Папорков. «Партизанщина!» — сказал Степаненко. Э! Партизаны — те были героями...

Стерневой вывернулся. Цепкий подлец! На комсомольском собрании заявил, что ковров было всего шесть. Не на продажу, конечно! Для себя и для родных. Да, попросил помочь товарищей, а то в порту заметят большой тюк, придрататься могут. Досадно, вообразили ребята невесть что, напуганные историей с Грибовым. Обидно, конечно. Очень обидно, когда тебя принимают за спекулянта. Не вытерпел, нервы сдали, ну и выкинул ковры за борт. Стерневой прямо рубашку рвал на себе. Что ковры? Честь советского моряка дороже! Слова отшлифованные, специально для Лавады. И Лавада клюнул. Даже выговора не заработал Стерневой.

Изабелле непривычно и тревожно. «Он как будто и не рад, что мы вместе», — думает она. На судне все

уладится, расстраиваться нечего. Стерневой сам уйдет. Его стыд заест.

Боря постукивает кулаком по парапету. Ну как объяснить Изабелле! Стерневой не краснеет, не та порода. «Ты не съел кусок, другой съест» — вот его девиз. «Важно то, что у тебя в животе да что на тебе», — сказал он без всякого стеснения и пощупал свой добротный джемпер шоколадного цвета. «Остальное — вода!». После собрания он стал еще откровеннее, — с глазу на глаз, разумеется.

— У него теория есть... Он базу подвел под спекуляцию... Говорит, был обычай, смертнику перед казнью разрешалось последнее желание. Книги, что ли, требовали? Жратву, конечно, и тому подобное. Так вот теперь все человечество, может, перед казнью. Как ахнет водородная...

— Ну, как и верно ахнет? — откликнулась Изабелла.

— У нас тоже есть. Это во-первых. А главное, человек всегда должен быть человеком.

«Он умный, ужасно умный, — говорит себе Изабелла. — На все у него готовые ответы. Надо же успеть надумать столько!»

— В школе было проще, — слышит Изабелла. — Поссоримся, надаем тумаков, и все, инцидент исчерпан. А тут и ссоры нет как будто. Лучше бы злился, ругался бы... Нет, разводит свои копеечные теории. Издевается: «Ну, что за мальчики! Институт благородных парней!» Выходит, силу чувствует... Так кто же сильнее? Для Стерневого товарищи существуют? Нет! Мы все для него... Ну все равно что мухи.

Изабелле немного жалко Боря. Но как утешить его, чтобы он опять шутил, как всегда, стал прежним Борькой?

— Возьми да и скажи дяде Феде, — выпаливает Изабелла, едва поспевая за широким Бориным шагом.

— Дешевая ябеда, — фыркает Боря. — Тут иначе надо... В конце концов мы-то все знаем, ковров было пятнадцать.

И еще слышит Изабелла:

— Твой дядя Федя доволен, что ковры в воде. У него-то нет настроения разбираться. Нет, и слава богоматери. Стерневой чист — и дядя Федя твой не замаран,

Тоже слова Степаненко. Изабелла морщит лоб. Борька никогда не был таким злым. Пожалуй, на него следует рассердиться. В самом деле! Собиралась пригласить Борьку в гости, показать маме. Теперь как же быть? Нет, не заслужил Борька! Нет, нисколько.

— Пока, Борис! — она ринулась к подошедшему автобусу. Вскочила на подножку, помахала, и Боря — удивленный, обиженный — не окликнул ее.

Через две остановки она соскочила и чуть не бегом кинулась обратно к Борьке.

Где он?

Она не найдет его в эту ночь. Холодок белой ночи, строгой и пристальной, скоро проберется к Боре сквозь пиджачок, но не загонит в тепло. Он еще долго будет бродить по городу, терзаясь и в то же время немного любуясь собственным одиночеством. И не найдет он покоя в эту ночь, которая все видит и все обнажает. Когда-нибудь он вновь переживет ее, когда ему захочется вспомнить, как он становился взрослым.

...Нелегка эта ночь и для Лавады.

Все его домочадцы спят. Закинув под голову белые, располневшие руки, спит жена. Задремал с надутыми губами сын, двенадцатилетний Гоша. Ему здорово влетело от отца за тройки в табеле. Спит пятнадцатилетняя Алевтина, папина любимица, тихонько попискивает во сне — румяная, бровастая, вся в мать. Из-под подушки торчит учебник по истории, закапанный чернилами.

Лавада, в очках и пижаме, сидит у окна с книгой. Пытается читать.

Совсем не так рисовалось ему возвращение. Хорошо, сойдя на берег, войти в здание, где ты служил четыре года, себя показать, по-свойски потолковать с начальством, — чего требуют нынче из центра, за что жалуют, а за что не жалуют. А потом явиться домой и безмятежно отдыхать, чувствуя, что суша под тобой прочна, что дебет и кредит в бухгалтерии твоей жизни сбалансирован четко, недостатч и просчетов нет.

«Обеспеченный тыл», — так привык он говорить о своей семье. Носит в бумажнике карточки жены и детей, охотно демонстрирует их — так, как предъявляют удостоверение. Вот, мол, и у меня есть то, что положено. Детьми позволял себе иногда шумно хвастаться, особенно когда они были в младенческом возрасте, исправ-

но сосали молоко и набирали вес. О жене отзывается сдержанно: «мамаша их» или «моя старуха», хотя Вере нет и сорока. «Красивая она у вас», — слышал он, слышал часто, и на душе у него теплело. Но в ответ он лишь деловито сообщал: «Инженер». И называл должность и фабрику.

И еще сообщал Лавада: «Для вашей супруги чулочки выпускает, прозрачные, со швом».

А мог бы Лавада иначе сказать о своей жене: «Да, и красивая, и умница! Замечательная у меня Веруня!» Но это уже слишком... Нет, в его годы уже неприлична такая откровенность.

К большой радости Лавады, долгое время ничего не менялось ни в домашнем тылу, ни на служебном фронте. Но полгода назад Федора Андреевича лишили назначенного места, опять отправили плавать. Назойливые перемены не кончились, он и сегодня убедился в этом.

В здание пароходства, пахнущее ремонтом, свежими обоями, открытое ветру, он вошел с тайной надеждой. Встанет из стола Красухин, старый корешок, жиманет пальцы и — «Отработай еще рейс, Федор, а там, может, и довольно. Тут для тебя маячит кое-что». Увы, все получилось иначе! Красухина нет, в его кабинете товарищ Шаповал, присланный из Москвы. Правда, он не назначен официально, а Красухин числится в отпуске, но... На вопрос Лавады, когда вернется Красухин и будет ли он в пароходстве, секретарша только пожала плечами.

Будь на месте Красухин, Лавада ругнул бы команду. С бору да с сосенки! Похвалил бы Озерова, побранил бы Степаненко. Не скрыл бы историю со Стерневым, — брошена тень на парня и выдвигать его в секретари рано, надо переждать. А капитан на «Воронеже» мягкотелый. Вместо того чтобы помочь помполиту бороться с нездоровыми настроениями, капитан мирволит, берет под защиту...

Красухина нет. Все спуталось в голове Лавады. Приемная вдруг потемнела. Неприятно кольнул узор на обоях.

— Налепили уродство, — сказал он секретарше. — Лучше-то неужели не нашлось для управления!

Затем он проследовал в кабинет и увидел за столом Красухина незнакомого мужчину, седого, в новенькой форме.

— Шаповал, — энергично представился новый товарищ. Он предложил Лаваде сесть, а сам стоял, пока Лавада не опустился в кожаное кресло. Насколько милее была небрежная грубоватость Красухина, как удобно было при нем в этом кресле!

— Вы с «Воронежа»? — спросил Шаповал.

— Точно, — по-военному отозвался Лавада и замолчал. По выражению лица Шаповала он старался определить, известна ли его фамилия товарищу из центра.

— В военном флоте служили?

— Никак нет.

Лавада опять ответил по-военному, ответил истово, так как Шаповал ему невольно польстил.

Судоверфь, где некогда работал Лавада сперва в комсомольском комитете, а затем в парткоме, была в тесном родстве с военным флотом. Лаваду всегда восхищала дисциплина, чистота на боевом корабле. Не чета торговому!

«Однако что это я отвечаю, как юнец в строю?» — подумал Лавада.

Он вручил Шаповалу бумаги отчетного свойства, и тот, даже не полистав, отложил их в сторону. Интересует Шаповала прежде всего не число проведенных мероприятий, а жизнь на судне вообще, — как плавалось, каков балл настроения.

Лавада решил про себя, что разговор будет легкий, ни к чему не обязывающий. Новый начальник попросту еще не вошел в курс дела и не знает, чего надо требовать.

— Книгами вас аккуратно снабжают? — спросил Шаповал. — Читать же нечего на многих судах!

— Читаем, — сказал Лавада.

— От скуки и отрывной календарь пересчитывать станешь, — усмехнулся Шаповал полными, яркими губами.

— Активные читатели имеются, — сказал Лавада.

Однако Шаповал пожелал узнать, каковы запросы читателей, какие именно книги в почете.

— «Петр Первый», — сказал Лавада, — «Василий Теркин», ну, Шолохов, конечно, — прибавил он, глядя в сторону. Есть ли эти книги в судовой библиотеке, он не знал. Должны быть, вероятно...

— А на стоянке, в иностранном порту, — допрашивал Шаповал, — как вы проводите время?

— Организованно, — ответил Лавада.

— То есть?

— В Александрии, вот... Посещение музея имело место... Один наш радист, владеющий английским языком, провел экскурсию... По линии комсомола.

— Хорошо, — сказал Шаповал.

Никак не угадаешь, что ему еще понадобится! Но больше он не спрашивал. Откинулся и, набивая трубку, заговорил о нововведениях на танкере «Шанхай». Там есть чему поучиться! Свой университет культуры.

— Мы не располагаем силами, — заметил Лавада.

— Вы уверены?

Ушел Лавада от Шаповала с облегчением. А когда очутился на улице, вдруг потянуло назад, что-то объяснить, в чем-то оправдаться. В чем? Ведь никаких упреков он не слышал. Неловко было Лаваде и оттого, что он сказал о той злополучной экскурсии в Александрии. Как-то само сорвалось с языка... Выходит, поставил себе в заслугу, покривил душой. Правда, Папоркова он не назвал. В бумагах, лежащих на столе у Шаповала, о нем написано достаточно ясно...

«Настоящий Шаповал!» — подумал Лавада. С него как будто сбили фуражку. Он ищет ее, ветер лохматит волосы, а прохожие смотрят на него и тычут пальцами.

И дома, в «тылу», не все по-старому. Алевтина подала странный обед: томатный сок вместо супа, котлеты с чесноком, с массой перца.

— Творчество дочери, — сказала Вера. — Болгарский рецепт. Я не успеваю готовить.

И прибавила: часы работы передвинулись, она теперь главный технолог фабрики.

— Ого! — воскликнул Лавада. — Что же ты не поделилась! Я-то плаваю и ведаю не ведаю.

— Завертелась, знаешь...

— Еще бы! Ну, поздравляю.

Но радости не было в его голосе. Ишь ты, как вышло! Жена в гору пошла, а он скатился... Ведь его понизили, послав помполитом на судно. пышные, уважительные формулировки приказа скрыть этого не могут.

— Был я у нового начальника, — сказал Лавада. — Точнее, у будущего.

Зазвонил телефон. Вера долго втолковывала кому-то свойства улучшенной капроновой нити.

— Мужик культурный, — продолжал Лавада, когда жена вернулась к столу. — Интересовался опытом работы. Меня давно знает, — приврал Лавада. — Заочно, через министерство.

Сюда, в «глубокий тыл», имели доступ лишь хорошие новости.

Дочь положила еще котлету.

— Нравится, папа?

— Есть можно, — ответил он и вдруг обозлился: — Мотаешься в рейсе, мотаешься, как черт, и дома не поешь нормально!

Нет, не удалось обмануть Веру. После обеда она спросила его прямо, что стряслось на работе...

И вот теперь они мирно спят — жена и дети, — а он сидит у окна с книгой, раскрытой все на той же странице.

Сперва нехотя, а потом воодушевившись, он выложил Вере все события трудного плавания. С капитаном нет общего языка, вот в чем беда! Алимпиеву милее юнцы, желторотые юнцы, набитые всякими модными веяниями. А что прикажете делать помполиту? Ведь если распустить вожжи, гладить «салаг» по шерстке — они же на голову сядут! Аплодисментов ждать от них? Ну, он не балерина, не тенор, он поставлен партией.

— Твое счастье, Федя, — сказала жена. — Твое счастье, что тебя назначили. Или, может, несчастье.

Его передернуло.

— А представь себе, твоя должность выборная, — сказала жена. — Тайное голосование. Как, по-твоему, прошел бы ты, Федя, тайным голосованием?

— Ну, пока, по инструкции...

— Нет, ты представь! У нас одна работница очень умно сказала...

— Бабью болтовню мне можешь не пересказывать, — рассердился Лавада.

И они дулись друг на друга целый час, а потом поздно вечером опять завязался спор, какого никогда не было в этой квартире, в семейном эшелоне Лавады, обычно спокойном.

— Возможно, я в чем-то неправ, — горячился Лавада. — Но перевоспитывать меня поздно. Поздно!

И, как это обычно бывает между мужем и женой, их спор перекинулся от служебного к личному. Вера не мо-

гла не вспомнить прежнего Федю — лихого танцора, альпиниста. Иная супруга, опасаясь конкуренток, нежно подталкивает мужа к старости. Но Федя сам!.. Он сразу постарел после свадьбы. Кончились вечеринки, веселые походы. Исчез подвесной мотор, приготовленный для путешествия по северным рекам с друзьями. Зато появился и охватил половину комнаты десятипудовый зеркальный шкаф.

Почему он так обокрал себя? Почему так высушил жизнь, и себе и близким?

Вера вспоминала все это вслух, и они поссорились. И вот он сидит у окна, открытого в белую ночь. Что за черт, все словно сговорилось против него: и Шаповал, и капитан Алимпиев, и еще жена — главный технолог!

А город все плывет и плывет сквозь белую ночь, штилевую и ясную.

10

— Я вас уведу, — сказал Алимпиев Оксане. — Я вас утащу куда-нибудь, ладно?

— Попробуйте, — засмеялась она.

Оксана боялась, что он опять — как тогда, перед уходом в рейс, — заговорит о своей «личной аварии». Наигранным, фальшивым тоном, недозволительным между друзьями. Нет, рейс пошел ему на пользу. Игорь держался просто, очаровал и старушку машинистку и даже скептического Славика — вундеркинда журналистики.

— Подвиг боцмана! — возмущался Алимпиев. — Липа, чистейшая липа! Продукт перестраховки!

Затем Игорь ругнул чиновников. До чего нелепые строчат распоряжения! Извольте радировать, сколько осталось к концу месяца съестных припасов. С ума сойти! Да ведь депеша обойдется дороже, чем эти остатки!

— Отменили, — объявил Игорь. — Я прямо в министерство послал протест.

— Жаль, — вырвалось у вундеркинда Славика, уже раскрывшего блокнот.

Алимпиев поздоровел, душевно окреп. Это обрадовало Оксану, и она не только согласилась быть похищенной, — она пригласила Игоря в Летний театр, на острова.

— Спасибо, — сказал он с жаром.

— Играет Зубкова, — сообщила Оксана. — Пьеса не ах. А Зубкова — новое дарование.

Игорь знает, ему оказана немалая честь. Свято преданная театру, Оксана сама выбирает и спектакль, и понимающего спутника.

Студенткой она обожала актера Арсеньева. Взирая на сцену, она едва дышала. Арсеньев играл Сирано де Бержерака. За кулисами его ждал неизменный букет цветов от Оксаны и анонимное поздравление. В стае психопаток, кидавшихся к Арсеньеву у подъезда, ее, разумеется, не было. Артист наконец заинтересовался таинственной поклонницей, и однажды швейцар, приняв очередной букет, попросил ее пройти наверх.

Она убежала. Почему? Девушка, пережившая блокаду, гасившая в лесной гавани зажигательные бомбы, не была ни застенчивой, ни наивной. Она просто решила сберечь свой идеал. Опасалась проверки.

Теперь — и это тоже знает Алимпиев — она носит цветы на могилу Арсеньева. Она оказалась самой верной, эта поклонница, видевшая артиста только на сцене...

— Не опаздывать! — напомнила Оксана строго.

Они встретились у Елагина моста. Заговорили с жадностью, наперебой, — новостей накопилось у каждого. Оксана рассказала о своем походе в защиту Папоркова.

— Новый подшефный, — улыбнулся Игорь.

Первым был Жора Калесник — из студии при Доме культуры моряков. Он ударился в левую живопись, его прорабатывали, собирались выгнать. Парень чуть не плакал, развертывая в редакции свои акварели. Диковинная голова на фоне синего, в звездных точечках неба, — вернее, контуры головы, пожалуй, не человеческой, нет, но существа несомненно разумного. Темные глазницы, и ощущение упорного взгляда, устремленного в вас. Оксана спросила, что это. «Не знаю», — ответил Жора. «А я знаю, — возгласила она. — Смотрите, это же гость из космоса, с другой планеты!» Картина долго висела в редакции, над столом Оксаны, приводя в бешенство ханжей. Теперь Жора — студент Академии художеств. Редакция помогла ему найти себя. Он посвятил себя научной фантастике, его рисунки уже печатаются...

— Я из-за Папоркова воюю с Лавадой, — сказал Игорь. — Да, категорический товарищ.

— Ага! Раскусили его?

— Нет, еще не до конца...

И опять они вернулись к Папоркову. Им нравилось говорить о нем, он оказался звеном между ними и словно закреплял их дружбу.

— Я тоже защищала мальчика. Сразилась с одной особой. Бр-р-р! Этакая надутая серость. С дипломом университета... А мальчик просто отличается от своих соседей, вся и беда. Не в масть, понимаете. Серость ведь к своему цвету тянется, ничего другого не терпит.

— Верно! Верно!

Хорошо шагалось Алимпиеву рядом с Оксаной, в ногу с ней по звонкому мосту, хорошо говорилось. Он всегда ценил дружбу с Оксаной, но, кажется, никогда так не радовала его эта дружба, как сегодня.

Судьба отняла у него дом. Но она не совсем изменила ему, у него есть дружба Оксаны. Дружба, которую он словно держит в руках, как дар родного берега.

К театру их вынесло в потоке гуляющих из парковой аллеи, уже зазеленевшей, уже источавшей первые ароматы лета. Недавно пронесся быстрый дождик, ему было некогда, он спешил обежать весь город и не налил лужи, а только прибил пыль. Воздух стал густым, вкусным, как родниковая вода, аллея звала дальше, и Алимпиев не без сожаления покинул ее ради душного зала.

Пьеса принадлежала перу именитого и явно бесцеремонного автора. Он повторил сюжет, давно прижившийся и на сцене и в книгах о молодежи. Фрезеровщик Коля, передовой работник, нравится двум девушкам — токарю Фросе, дурнушке с добрым сердцем, и кокетливой красотке-нормировщице, которая переделала свое русское имя Ирина на заграничное — Ирэн. Неосторожный Коля увлекся опасной Ирэн, но вскоре, убедившись в ошибке, предложил руку и сердце Фросе.

И обрел счастье. Так, по крайней мере, было задумано автором. Однако невзрачная Фрося, усердно выполнявшая план в первом акте и исподтишка вздыхавшая о Коле, не тронула сердца зрителей. Оксана страдала. Ее мучил и невыразительный текст, и игра артистки, ученическая, прилизанная, без единой живинки.

Но вот появилась Ирина. Она еще не произнесла и слова, только прошла по галерее над станками, и весь зал проводил ее глазами.

— Зубкова! — шепнула Оксана.

Алимпиев кивнул. Да, хороша! Луч софита упал на артистку, облил ее светом с головы до ног.

— На вас похожа, — шепнул Игорь.

— Ну вот еще! — тихо засмеялась Оксана.

В антракте они кружились вокруг клумбы с пальмой, и Алимпиеву это напомнило елку — в школе, в годы эвакуации на Урале. Он сказал это Оксане и прибавил, что праздники вообще не часты в его жизни.

— От самих зависит, — ответила она уверенно. — Надо, чтобы каждый день был праздником.

Игорю стало неловко, против желания сорвалась с языка жалоба. И как некстати... Было тепло, Оксана отдала Игорю плащ и шла рядом, иногда касаясь плечом, — нарядная, обтянутая платьем, какого Игорь никогда не видел на ней. С ручейками серебра, сбегавшими по груди.

— Научите, — отозвался он бойко, спеша переменить тон.

Она засмеялась и сказала что-то. Он не слышал, пораженный тем, что вдруг открылось ему.

— Сейчас вы опять как она.

— Зубкова?

— Да.

— Глупости, Игорь. Она же очень красивая, очень, — произнесла Оксана убежденно.

Игорь промолчал. Compliments он говорить не умел. Зубкова действительно красивая, и все-таки...

Во втором акте он лучше разглядел Зубкову — Ирэн. Что за странное, летучее какое-то сходство!

— Прелесть, талант, — шептала Оксана. — Ей же нечего играть тут, вот горе!

«Нижняя губа выпячена, как у меня, — думает Оксана. — Вот и все. А волосы... Пожалуй, и цвет волос вроде моего». Невольно Оксана представила себя на месте Зубковой. «Хорошо, что я не артистка, — сказала она себе. — А то пришлось бы участвовать в такой белиберде».

— Бедная девушка! — шепнула она Алимпиеву.

Протискиваясь к выходу, Игорь принялся ругать автора. Трижды лауреат, а пишет все хуже, от пьесы к пьесе. Критики и не пикнут.

— Вылепили себе кумир и кланяются, чтоб их...

Распалившись, он не утруждал себя выбором слов, но получалось все-таки не грубо, а как-то по-юношески непосредственно. И Оксана не оборвала его.

Ночь он провел на судне, в каюте, чтобы избежать пустоты и пыли своей заброшенной квартиры в капитанском доме. «Воронеж» опустел, машина молчала, не слышно было песенок Изабеллы. Злая настигла бы Игоря тоска, если бы не Оксана, не ее ласковое «до завтра».

Пока «Воронеж» сдавал и принимал груз, они встречались часто, почти каждый вечер. Оксана водила Алимпиева смотреть новинки кино, — она и его объявила своим подшефным. После сеанса они долго гуляли и говорили, говорили обо всем на свете. Белая ночь не гнала их от себя ни дождем, ни ветрами, она распахивала перед ними звонкие улицы, розовые в недвижимом, на часы затянувшемся мгновении восхода. И слушала их речи.

Когда-то Оксана, студентка Оксана, счастливая, влюбленная, бродила со своим сокурсником здесь же, под тополями, осенявшими канал, мимо крылатых позлащенных сфинксов. Лабиринтами дворов, выводящими к другому каналу, а может быть, к тому же самому... Спутник ее стал мужем и из славного увальня, добродушного мудреца, сылавшего афоризмами и поражавшего весь курс необычайной усидчивостью и памятью, превратился в беспощадного тирана. Брак был, к счастью, короткий, — Оксана ушла, отвергла удел безгласной служанки при юном честолюбце.

— Не надоело одной?

Смеясь, она ответила, что не умеет скучать. Да, он знал это, — живет холостячкой и не тяготится этим. Она не из тех, что ради замужества уступают себя, идут на компромисс. И не из тех, кому звание жены — титул, вывеска, защита от сплетен или ордер на владение. Алимпиева восхищает независимость Оксаны. Сплетня и зависть усердно множат ее романы, она отбивается смехом и дерзкой шуткой.

— Вы бы видели, как меня сватают... Я ведь непременно должна выйти за моряка!

Седые капитаны, морские волки, предлагают ей своих сыновей. Зовут в гости, на смотрины или под каким-нибудь предлогом посылают жениха в редакцию.

— У меня невозможный характер, Игорь... Мне даже не смешно, когда меня так знакомят, нарочно... Парень мне прямо-таки ненавистным делается.

— Бедняга! — вздохнул Алимпиев. — Одним словом, не сумели вы построить семью.

— Увы!

— Ай, ай, Оксана Владимировна! — пожурил он и резко переменял тон. — Умница! Так и надо...

Он тоже испытал разочарование. И жизнь учит его, нет лучше дома для моряка, чем каюта, холостая каюта на судне. Мечта юношеских лет...

— Помню, я первый раз плавал. Стою на мостике, запах... Палуба на мостике деревянная, только что вымытая. Сохнет она на солнце, и дух от нее... как в избе после уборки, когда вымытый пол накроют половиками. На Урале, в детстве, я жил в такой избе, и тут, на судне, опять тот же запах... Будто меня мать приласкала. И чувствую, тут мой дом, тут навсегда...

Оксана понимающе сжала его руку.

— Однако дом не очень-то спокойный.

— Куда там!

Они вышли на Садовую.

— Игорь, где же трамвай?

— Спать уехали.

— Непутевые же мы!

— И отлично!

Остывшие рельсы текли студеными ручейками. Дворничиха подметала тротуар, шумно, широкими мужицкими взмахами косаря. Пыли не видно. Белая ночь потускнела, словно решила передохнуть перед тем, как открыть город новому дню. Но Адмиралтейская игла не гаснет. Она — семафор, зажженный у ворот в завтра.

— Поздно сейчас или рано? Неизвестно! Зачем же тогда спешить, — шутит Игорь.

Они идут мимо запертых наглухо железных ворот, величавых, как рыцарские щиты. Мимо манекенов, замурованных в витрине. Какие они печальные ночью!

На углу переуллка Крылова за стеклом лежали, свернувшись, фарфоровые псы, дремал фарфоровый филин, чуть качнулась от грохота пролетевшего грузовика разлапистая люстра. Алимпиев вдруг остановился, Оксану кольнул его жесткий, одеревеневший локоть.

Теперь и она заметила корабль. Старинная модель

из потемневшего дерева, она стоит в глубине, в тени, четок лишь серый холщовый парус с крестом и надпись на борту готическими буквами.

— «Бриль», — прочла Оксана.

II

В вагоне электрички носятся солнечные блики, гудит шалый ветер, бьет в лицо, нагло ерошит волосы Алимпиева. Он сидит, прикрыв воспаленные от бессонницы глаза.

Иногда он спрашивает себя, зачем он едет. В эти минуты сомнений бешеная скорость поезда, уже отбросившего город назад, кажется бессмысленной, нелепой.

Авоська, набитая булками, пачками чая, макарон, огромная авоська покачивается напротив — на коленях пожилого, небритого мужчины в пыльнике. Он везет на дачу продукты. А та девушка — в платке и ватничке, с лопатой, с лейкой — она тоже знает, зачем она едет. За волной леса, отбежавшей назад, встали опрятные одинаковые домики. Палисаднички, сторожевые собаки, черные пятна вывороченной земли, ожидающей семян. Крылечки, качели, гребешки антенн. Мир гладких, укатанных дорог, разлинованный проводами, где каждый сознает свою цель.

А он, Игорь, мечется, постыдно мечется в этом мире. «Зачем, зачем», — стучат колеса...

Как удивилась бы Оксана!

Хорошо, он не сказал ей... Впрочем, он и не знал тогда, что поедет. Он проводил ее на работу, направился было в порт, — и тут словно кто-то взял да и втолкнул его в трамвай, идущий к вокзалу.

Оксана тоже не спала, бедняжка. И, верно, ругает его сейчас, в редакции. Они ходили, ходили, пока белая почь не превратилась в червонное утро.

Они кружили по какой-то площади, потом вышли к какому-то каналу, и там, в первом луче, обозначились на воде их неприкаянные тени.

Игорь не хотел жаловаться, клялся про себя говорить о другом, но напрасно. Оксана, терпеливая, встревоженная Оксана выслушала всю историю корвета —

злополучного подарка, который должен был вернуть Игорю «бегущую по волнам».

— Она не виновата, — уверяла Оксана. — Не виновата же она, что вы ее придумали.

И еще говорила Оксана:

— Вы же расстались, Игорь. Для чего ей хранить воспоминания, вы подумайте!

Так и этак утешала Оксана:

— Без расставаний нет и встреч, Игорь. Что же вы предпочитаете, завязнуть в иллюзиях? Ошибка не становится краше оттого, что она ваша собственная.

И еще, сердито:

— В море, скорее в море! Одно лекарство для вас.

Он покорно соглашался. И все-таки... Любую вещь, любой из его подарков Лера могла отдать, но этот... Корвет «Бриль», корвет Тиля Уленшпигеля! Снесли в магазин, как поношенную рухлядь. Корвет «Бриль» среди тарелочек, собачек, слоников, среди дурацкой белиберды. С этикеткой, оскорбительной этикеткой из серого картона. Цена тридцать рублей всего... Ах, до чего им не хватает этих денег, ей и профессору!

Вода в канале дышала холодом, Оксана озябла. Игорь грел ее руки, просил прощения, хотел отвести ее домой. Она отказывалась, притихшая и почему-то грустная.

Конечно, он выглядел жалким, слабым. Не следовало так распускать себя...

Простившись с Оксаной, он почувствовал, что на судно не пойдет, ведь все равно не уснуть. Виски ломило от множества вопросов, упреков, догадок, и все они соединялись в один вопрос. Выразить этот вопрос словами ему было бы трудно, но тяжесть его, — требовательная, беспощадная тяжесть, — все росла и искала выхода.

Подкатил трамвай, Игорь вскочил в него, едва прочитав на дощечке название вокзала.

Надо ехать. Покоя не будет, пока он не увидит Леру...

Что он скажет Лере? Еще в присутствии Батечки... Надо придумать какой-то предлог...

Минут через сорок он сошел с поезда, так ничего и не придумав. Гудели машины, ныряя под виадук. Спешили люди с авоськами, с заступами, с пучками зеленых ве-

ток. Пахло дымом — кое-где еще жгли прошлогодние листья.

Дача Батечки открылась ему за поворотом вся сразу, бревенчатый терем-теремок, облитый солнцем, на темном, грозовом фоне леса. Игорь свернул с большака на тропинку, в чащу кустарника, чтобы подойти к даче незаметно. Может быть, Лера в саду. Авось удастся поговорить наедине...

Терем молчал, его башенки спокойно уходили ввысь, у заднего крылечка спала мохнатая рыжая овчарка. За цветными стеклами веранды чернели пустые стулья вокруг длинного пустого стола. Солнце золотило капли смолы, кружево паутинок в пазах.

Ждал Игорь долго. Засаду его обнаружили комары, он отбивался от них, бранясь шепотом, сквозь зубы.

Когда дверь наконец скрипнула, Игорь вздрогнул. Вышли две женщины. Одна — толстуха в шерстяном платке — помахивала, ковыляя, садовыми ножницами. другая тоже показалась Игорю незнакомой. Она подошла к самой ограде — сквозной, из колышков, окрашенных в горький цвет фиолетовых чернил, — и тут Игорь с удивлением узнал Леру.

Лера — и в то же время не она... Не та Лера, которая рисовалась ему в каюте жаркими ночами. Не та, что охорашивалась на фотографии в бликах света, падавших на голые плечи. На голые плечи, стянутые бретельками сарафана. Что изменило ее? Нет, не только одежда...

Впрочем, сейчас он узнал и платье. Оно просто выгорело, это старое платье с наивными оборочками и фестончиками, в астрах, рассеянных по серому фону, — когда-то выходное.

До чего непохожей на прежнюю Леру стала женщина в этом платье, как будто надела чужое. Что же, что изменило Леру? Она как будто пополнила немногое. И выражение лица... Да, странное выражение, такого он никогда не видел. Или, может быть, не замечал...

— Лия плодородная, — слышит Игорь.

Это голос толстухи.

— Короче режьте, Таисия Евдокимовна.

«Ж-жик, ж-жик» — лязгают ножницы. Звенят и хищно щелкают. Ветки смородины, ветки Лии плодородной, торчавшие сквозь палисадник, падают в пыль.

Не все звуки оттуда доходят до Игоря, иногда их застигает то, что бьется, гудит в нем самом. Таисия спорит с хозяйкой о чем-то. Лера идет к калитке. По грядам, в резиновых сапожках, утопающих в вязкой земле.

Теперь Лера вышла за ограду. Она сует руку между колышками-копьями.

— Вот, пожалуйста! — слышит Игорь. — Несомненно достанут, Таисия Евдокимовна.

Голос Леры, а лицо... Сейчас оно пугающе незнакомое. Или, может быть, он не замечал?..

Как это вообще могло случиться, — двенадцать лет она была его женой, а он едва узнал!.. Острая боль впивается в щеки, в лоб. Комары! Он бьет их, ощущая на коже тепло собственной крови. Лера могла бы заметить его. Но нет, она слишком занята...

— Верно что... — речь толстухи прерывается одышкой. — Какой интерес... Для чужих растить...

Трезвон ножниц прекратился. Толстуха уже обстригла Лию плодородную и стоит, отдуваясь, под яблоней. Цветы ее почти все облетели. Она стоит в углу сада, крепенькая, раскидистая яблонька, перенесшая зимнюю стужу: Доверчиво тянет поверх ограды свои ломкие ветки.

— Ребяшня проклятая, — говорит Таисия. — У каждого ведь свои ягоды есть. Так нет, мазурики!.. У соседа слаще, вишь...

Вот в чем дело! Вот для чего надо было обкарнать кусты! Чтобы не достали...

— Она тут тоже ни к чему, — сипит толстуха и стучит ножницами по яблоне.

Голос Леры — резкий и словно далекий — откликается:

— Абсолютно не на месте.

— Выдирать будем или как? — Таисия тяжело дышит. — Стоит ли пересаживать кислятину эту?.. Я бы под топор ее...

Рубить яблоню! Игорь выпрямился. Теперь Лера непременно увидела бы, стоило ей взглянуть в его сторону.

Игорь повернулся и, не скрываясь, во весь рост зашагал обратно к шоссе.

Позади заухал топор, но, наверно, не в саду Ба-

течки, а в глубине леса, так как удары были глухие, словно крик одинокого филина. «Еще не срубили яблоню», — подумал Игорь. Все его мучения вдруг перехлестнула жалость к яблоне, виновной лишь в том, что она перегнулась через ограду и ветви свои — с завязью первых плодов — протянула всем людям.

Он шел, глядя с ненавистью на дачки с резными крылечками, с хрустальным холодком веранд, с гребешками телевизорных антенн. Лазоревые и изумрудные, кофейные и апельсиновые, с башенками и без башенок, опоясанные заборами. «Осторожно, злая собака», — предупреждали дощечки на калитках и оскаленные собачьи морды, намалеванные для пущей убедительности. А дорога, размытая, ухабистая дорога бежала мимо дачек, мимо заборов, бежала вольно и своенравно, одолевая зеленые пригорки, прозрачные перелески, насквозь пронизанные солнцем.

Всеми помыслами, всем телом он ощущал освобождение от тяжести, давившей его. Лера как будто исчезла, смешалась с толпой, слилась с другими женщинами, которые в садах, за оградами жгли прошлогодние листья, окапывали деревья, рыхлили жирную весеннюю землю, свою землю... А ограды всех дачек соединились в одну ограду, отделившую его, Игоря, мир от чужого мира.

12

Помполит Лавада с хозяйским радушием подал Оксане большую теплую руку и помог сделать последний шаг на судно — с верхней ступеньки на палубу.

— Милости просим, — приговаривал он. — «Волне» всегда рады, всегда...

— Капитан здесь?

— Сейчас должен прибыть, — докладывал Лавада. — Утром уходим, так что все налицо будут скоро.

Палуба гудит. Высоченный кран, небоскребом вздымающийся над «Воронежем», опускает пучки стального проката. Маленькие судовые краны вытянули шеи, заваленные, стиснутые нашествием металла. И все-таки «Воронеж» не подурнел от этого груза, развалившегося по всей ширине, до белоснежных преград фальшборта. Напротив. «Есть суда, как и люди, невысказанные в без-

действии, чуждые ему», — думала Оксана. Таков и «Воронеж», ветеран морей. Неказистый, крепко сколоченный, он создан для шторма, для битвы со стихией. Следы этих битв ничем не забелишь, не сотрешь, — он и не пытается их скрыть.

Сейчас «Воронеж» еще принадлежит суше. Телефонный шнур вьется по трапу. Аппарат на стуле, возле вахтенного матроса. И грифельная доска с надписью мелом: «Сбор команды к 21 ч.». Мел крошится в крупных пальцах Черныша. Он записывает входящих, и в его карих, пронзительных глазах горят искорки любопытства.

Моряков провожают озабоченные, молчаливые жены и девушки, разряженные, как на бал. Им трудно лезть по трапу на каблучках-гвоздиках. Девушки хватаются за что попало, пачкают руки и от страха громко хохочут.

— Кончаем погрузку, — настагает Оксану баритон Лавады. — Что еще могу вам сказать? Люди все новые, кто лучший — не назову вам пока. Искандерова мы отмечали...

Он назвал бы Стерневого, не будь истории с коврами. Вдобавок радист перевелся на другое судно, и это вконец сбило Лаваду с толку. Теперь он не знает, что подумать о своем любимце. Стерневой изображает себя жертвой зависти и ничем не оправданного недоверия, но факт остается фактом, — он малодушно сбежал.

— Да, Искандерова отмечали, — рассеянно откликается Оксана. На причале показался Игорь.

Размашистая походка, смешная и милая. Одну ногу выставляет далеко вперед, словно шагает через лужи. И волосы на лбу, упрямая прядь, которую никак не запрятать под фуражку...

— Желаете ознакомиться?

О чем это?.. Ах да, Лавада хочет показать ей план мероприятий.

До чего он любезен сегодня! Причина понятна Оксане, — про Стерневого она слышала. Лаваде нанесен урон, и теперь он ищет случая отыгаться. Что ж, пусть показывает план мероприятий. Но не здесь, на главной палубе, — Игорь сейчас взбежит по трапу и увидит ее.

Встретиться с ним Оксана не спешит. Игорь, пожалуй, вообразит, что она явилась на «Воронеж» ради

него. Ничего подобного! Может быть, ей надо было по-видать Лаваду или... Да мало ли найдется дел! А с Игорем она уже простилась. Пожелала ему по телефону семь футов воды под киль совершенно дружеским тоном.

— Прошу вас, — Лавада, почтительно изогнувшись, открывает дверь.

«Такой и должна быть каюта Лавады, — думает Оксана. — Ничего лишнего. Голландскую пепельницу он, конечно, выбросил, поставил отечественную. Ну уж и выбрал! Самую что ни на есть безвкусную, из зеленой пластмассы».

— На очереди у нас, — Лавада, посплюнув пальцы, листает бумаги на столе, — собеседование для команды. Поведение советского моряка.

— Опять! — вырвалось у Оксаны.

В этой скучной каюте, похожей больше на служебный кабинет в затхлом, давно не обновляющемся учреждении, Оксану с первой минуты донимает дух противоречия. Теперь он взорвался в ней. Сколько раз были матросы на таких собеседованиях? Десять раз, двадцать раз!

— Повторить не мешает, — осторожно, чуточку обиженно отвечает Лавада.

— Нет, Федор Андреевич, по-моему, мешает. Твердить человеку постоянно о его обязанностях, не давать ни отдыху ни сроку, твердить и твердить одно и то же... Да это же неуважение к людям, вы меня простите!

Лавада вздохнул и собрал бумаги.

— Разве других тем нет? — Оксана воодушевилась. — Да вот, например... У вас тоже будет экипаж коммунистического труда, верно? На танкере «Шанхай» устроили диспут — «Как я представляю себе коммунизм».

Дался тут всем танкер «Шанхай»! Лавада в смятении. Конечно, не следует отмахиваться от опыта, который, видимо, признан передовым. Напротив, надо подхватить. Но диспут...

— Целесообразно ли именно диспут? — Лавада медленно, морща лоб, рассуждает вслух. — Тема ответственная, требует солидной подготовки. А если так, с кондачка, могут быть необдуманные высказывания.

— Поймите меня правильно, — говорит Лавада. — С нашей командой...

— На «Шанхае» команда такая же, — прерывает Оксана. — Там очень живо прошло... Жаль, от нас никто не был. Мы бы целую полосу дали.

— Если вы считаете...

Полоса в газете, целая полоса, посвященная «Ворожеу»... У Лавады нет сил сопротивляться. Только слово «диспут» по-прежнему колет его.

— Скажем беседа, — говорит он.

— Как хотите, — смеется Оксана.

— Сделаем, — тон Лавады деловой, твердый. — В двадцать два часа соберутся люди...

«Ловок!» — думает Оксана. Такого поворота она не ожидала. Лавада смутил ее. Выходит, кинула приманку. Ладно, зато будет хороший материал для газеты. Несомненно будет! Лавада уже не успеет натаскать выступающих, дать им шпаргалки. Оксана смотрит на часы, ее уже томит нетерпение журналистки.

На беседу пришли не только матросы. Оксана увидела старпома Рауда и старшего механика. За стол президиума рядом с Лавадой сел Алимпиев. Он кивнул Оксане, улыбка блеснула на его лице и долго не гасла.

Первым встал Черныш. Заговорил он не сразу, сжал кулак и, не торопясь, поднял его к подбородку. И свел в раздумье брови. Оксана раскрыла блокнот. У этого ладного, основательного парня, наверное, есть свои мысли, не взятые напрокат.

— Коммунизм, — произнес Черныш в наступившей тишине. — Вопрос вроде и простой... Сел в автобус без кондуктора и поезжай. Прямоком в коммунизм.

Пробежал смешок. Лавада сердито постучал карандашиком и рывком повернулся к Чернышу.

— Или съел ты полкило мяса в день... Само собой, коммунизм есть полный достаток. Так ведь больше сыта не съешь. Ну, умял полкило, а дальше что? Килограмм не проглотить.

Кругом смеялись. Лавада демонстративно ерзал на стуле. Черныш продолжал так же серьезно:

— Я вот к чему, это практическая задача, а не идеал. Идеал — он всегда выше.

Ого, неплохо сказано! Оксана записывает каждое слово. В столовой очень-очень тихо.

— Товарищ Черныш, — голос Лавады прозвучал так резко, что Оксана вздрогнула и на страничке расплы-

лась клякса. — Партия нас нацеливает на конкретные задачи.

— Знаю, — невозмутимо отозвался Черныш. — Материальная база — дело первое. А дальше? Ну, например, сейчас, чтобы в институт попасть, конкурсные экзамены надо сдавать... А при коммунизме, я считаю, будет проще с высшим образованием...

Чернышу дружно хлопали. Взял слово Папорков. Оксана с любопытством оглядела его тощую, долговязую фигуру.

— Оратор я никакой, увы! — начал он и примял ладонью короткие волосы. — Формулировок нет.

— Давай! — ободрил кто-то.

Алимпиев тоже не сводит глаз с Бори. «Смешно, — подумала Оксана. — Мы точно родственники юного музыканта. На его первом концерте».

— Мудрец сказал — не человек для субботы, а суббота для человека... У нас был на судне Стерневой...

— Ближе к теме!

Это голос Лавады. Боря молчит. У Оксаны остановилось дыхание. Ну же, говори!

— В общем так, для коммунизма такие типы не годятся, — выпалил он с неожиданной злостью. — Такие только для себя, другие им служить должны. Формулировки, конечно, у меня бледные.

— Точно! — бросил Лавада.

Оксана не вытерпела, погрозила ему пальцем. Лавада сжался. Оксана покраснела, выругала себя за дерзость. Но надо же было выручить Папоркова.

— Я еще хотел сказать... — Он помялся и продолжал увереннее: — Копейки считать мы при коммунизме не будем. Кошелек — в музей.

Иногда Боря запинаясь, умолкал, чтобы обойти какое-нибудь стершееся слово, отыскать свое. «Цена человека», — записала Оксана своей скорописью газетчика. Одолевая словесные барьеры, Боря продирался именно к этой мысли. Человек не станет размениваться на мелочи, он станет выше, славен и счастлив будет в любом деле. Сейчас у нас не всякий труд одинаково почетен.

— Иная гражданка, — сказал Боря, потупился и продолжал тише, — моя мать, хотя... Всю жизнь утюгом возит...

Лавада побагровел. Сейчас он проклинает себя, — пустил беседу на самотек. Вот и результаты! Папорков опять вылез со своей теорией.

Встал Алимпиев.

— Федор Андреевич, конечно, согласится, — начал он, пытаясь внести примирение. — Все меняется, то, что сегодня необходимо, завтра, смотришь, отпадет.

Лавада не шелохнулся. От его окаменевшей фигуры веяло холодом, как от глыбы льда.

— Мы сошлись помечтать, — сказал Игорь. — Папорков ведь прав. Будь все идеально, зачем тогда стремиться вперед? Но человек уж такое беспокойное существо, чего бы он ни достиг, ни за что и никогда не остановится.

— Мечтать надо реально, — кинул Лавада.

— Что значит реально? — Алимпиев упрямо потрянул золотисто-русой прядью, упавшей на лоб. — Когда мечтал Циолковский, кто мог построить ракету-спутник? Никто!

— Правильно, — прошептала Оксана. Она с трудом выполняла обещание, данное самой себе, — не вмешиваться.

Слушая Игоря, она невольно кивала. Он как будто высказывал ей собственные мысли. Да, необходимость в жизни людей уступит место желанию. Польза станет равнозначной радости. Сейчас мы еще вынуждены экономить, — недаром сказал Ленин, что социализм — это учет. Но мы разбогатеет...

— И когда-нибудь вычеркнем расходы на оборону, при полном, мировом коммунизме. Зато на борьбу с болезнями, на долголетие, на красоту жизни, на радость — на это усилий не пожалеем.

Лавада, подводя итоги, обрушился на Папоркова, на Черныша.

— Выскиваете темные пятна, бросаете тень на нашу действительность, — гремел Лавада. — Все с позиций нигилизма... Вы докатитесь!

Деликатно пожурил и Алимпиева. В столовой поднялся гул. Лавада повысил голос, он скрупулезно, хмуро исправлял каждого оратора. Оксана завинтила перо, положила в сумочку блокнот. Чтобы не прервать Лаваду какой-нибудь колкостью, она закусил губу. Поразительно, с каким упорством, можно сказать даже

со страстью, ополчается он против каждой живой мысли и либо отсекает ее, либо втискивает в прокрустово ложе привычного шаблона.

Как только Лавада закрыл собрание, столовая быстро опустела. Остались только Оксана, Лавада и Алимпиев.

— Очень интересно, — сказала Оксана. — Молодежь прекрасно выступала. Да, и Папорков, — прибавила она с вызовом. — И Черныш тоже.

Она ожидала гневной отповеди, приготовилась спорить. Лавада смотрел на нее с досадой. Он закипал. И вдруг обмяк, успокоился.

— Что ж, коли вам понравилось... Вам виднее, товарищ корреспондент.

Оксана опешила.

— Будем следить за газетой, — произнес Лавада покорно.

Как это понять? Во что же он сам-то верит? Вопрос тревожил Оксану, и она выложила его Игорю, позже, в его каюте.

Он только вздохнул.

— Я поговорю с Шаповалом насчет него. — Оксана прошла по кабинету взад-вперед, закусив губу. — Новый работник в политотделе, понимающий, интеллигентный...

— Не надо, — услышала она.

— Как — не надо? Да вы наплачетесь с Лавадой! Это же черт знает что!

— Снять? Так поступил бы сам Лавада. — Игорь улыбнулся, любуясь возмущенной Оксаной. — Зачем же нам теми же методами?.. Он, видите, один за нас всех отвечает, а мы за него — нет. Я не согласен с такой односторонней ответственностью. Я тоже член партии. И я тоже отвечаю, и вы, и все мы — хотя нас и не назначили для этого дела, не провели приказом свыше.

— Перевоспитать надеетесь?

— Не знаю... Он ведь член экипажа...

— Морское братство?

— Да.

— Понимаю. — Перед Оксаной вдруг возник корвет «Бриль», многопушечный корвет Тиля Уленшпигеля, за стеклом витрины, под разлапистыми люстрами. — Я поняла вас, Игорь. Попробуйте, если так. Какой вы...

Она хотела сказать — хороший. И непохожий на многих.. Но помешал ей тот же корвет, возникший в ту ночь, бессонную и жестокую.

— Хватит про Лаваду, — сказал Игорь.

Наконец-то Оксана опять рядом! Последние дни они не встречались. Она, наверное, была очень занята в редакции. Было бы чудовищно, уйти в рейс, не повидав Оксану.

Она смотрит, как он ставит тарелки с милой, медвежеватой неуклюжестью. Две тарелки — и весь стол занят... Толстенными ломтями кромсает хлеб. А руки у него красивые... Пальцы музыканта...

— Занятно, — говорит Игорь. — Скоро ли мой корвет найдет покупателя? Чудаки — народ безденежный большей частью. А нормальный человек не купит.

Лучше бы он не вспоминал... Легкость, с какой Игорь заговорил об этом, кажется Оксане фальшивой.

Пауза затягивается. Оксана жаждет переменить тему разговора.

— Вы прямо в Швецию? — спрашивает она, хотя маршрут «Воронежа» ей известен.

— Да, в Гетеборг, а оттуда в Южнобалтийск. И домой. Рейс короткий.

Игорь сияет. Хорошо, что короткий!

— Значит, праздник в Южнобалтийске?

— Какой?

— Игорь! Вы в самом деле чудак. Ваш день рождения.

Ах да! Он и забыл... Не мудрено, день рождения всегда настигал его в море, праздновать он отвык. Да и нужно ли? Экая радость, стал старше! По-настоящему, и знать-то ее не надо — эту дату. Тем более, не сам же себя породил! Чем тут гордиться?

Оксану развлекает болтовня Игоря. И в то же время ей не по себе. Действительно ему так легко на душе? Или он притворяется...

— По крайней мере, наденьте хоть чистый воротничок в этот день, — велит она. — Эх, некому присмотреть за мальчиком! Давайте-ка я займусь!

Она проворно режет полотно, складывает полоски, сшивает. Ей хочется быть полезной ему. Это ведь допустимо. Это — в пределах дружбы.

У Игоря кружится голова — до того близкая сейчас

Оксана. Она во всем красива... И в редакции, и тогда, в театре, когда его поразило ее сходство с артисткой. Теперь открывается какая-то новая, еще невиданная красота Оксаны. Она влечет еще сильнее... А может быть, не надо сдерживать себя? Сказать ей: вы моя пленница, я вас не выпущу, никогда не выпущу...

Проворно сверкает острая иголка. Есть что-то в Оксане, охлаждающее его порыв.

— Десять штук, — сказала она, пересчитав воротнички. — Хватит вам на рейс. Ну, мне пора.

Прохладной белой ночью возвращалась Оксана из порта, грустная и вместе с тем довольная собой. Возвращалась полководцем, выигравшим сражение.

Кому-нибудь другому она могла бы уступить. Такое бывало, и она не осуждает себя. Но с Игорем? Нет, нет!

13

Когда Изабелла собиралась в свое первое плавание, ей виделось множество бед — бури и тайфуны, зловещие подводные рифы, даже встреча с осьминогом. Давно, еще в детстве, она слышала от дяди Феди, как осьминог закинул лапу на палубу танкера, нащупал там спящего матроса и едва не уволок. Изабелла запаслась и пилюлями от качки и хиной от малярии, раздобыла мазь против москитов.

Борьку она тогда не знала. Куда кануло то беззаботное время? Из-за Борьки она и страдает теперь.

Борьку напоили. Его привели на судно, чуть ли не внесли. И случилось это в два часа ночи!

Изабелла и Ксюша не спали больше. Ксюша приносила все новые подробности. Поляки просят капитана не наказывать Борьку строго. Ну да, те самые поляки с парохода «Лодзь», где он чинил радиолокатор. А Борька лыка не вяжет.

Ужас!

— Порет несусветицу всякую. Кальвадос какой-то ему подавай, — рассказывала Ксюша.

— Это из романа, — объясняла Изабелла. — В романе пьют кальвадос.

— Придуманый, значит.

— Нет, Борька пил в Лондоне будто... А может, и придуманный. Не знаю, Ксюшенька, не знаю... Что же будет теперь, а?

Утром Изабелла помчалась к радистам. В какие жужжала электробритва. Новый Борькин напарник, одессит Мазур, снимал с подбородка мальчишеский пушок.

— Красив, жаба, — сказал он Изабелле и показал на койку.

Борька лежал неподвижно, но не спал. Изабелла вздрогнула, — глаза открыты, а не здороваются. Ей стало почему-то жутко.

— Переживает, — сказал Мазур.

Молчала и Изабелла, переминаясь с ноги на ногу, слушая несносное шмелиное жужжанье бритвы. «Фасонит, — думала она с тоской. — Брить-то нечего!» Наконец Мазур ушел на вахту.

— Ой, Борька, Борька! — вздохнула Изабелла.

— Плохо, — отозвался он.

— Что же будет, Борька? — Она опустилась на край постели. — Тебя же выгонят.

— Так и надо.

— Не дури, Борька. А я?..

Она прикусила язык. Не следовало так прямо... Не теряйте головы, вы оба, советовала Ксюша. Что еще советовала Ксюша? Ах да... Борька должен лежать, как можно дольше лежать. Лучше пока не попадаться начальству.

— Мне все равно, — сказал Боря.

— Ну и дурак.

Она намочила платок, положила Борьке на лоб. Предложила сходить за кофе. Боря отказался.

— Ты, Борька, слабохарактерный, вот ты кто, — произнесла она слова Ксюши.

— Понимаешь, сладкое вино, легкое, — Боря вспоминал вслух. — Вот виски... Фу, спирт с зубным порошком.

— Друзья называется...

— Нет, нет, они мировые ребята. — Борька приподнялся. — Особенно Станя. Шахматист — сила! Они не хотели виски. Я сам заказал виски. И выпил-то пустяки, одну рюмочку. И крышка.

Она стала ругать этого неведомого ей Станю, — да-

вала выход горечи, а он упрямо возражал. Нет, во всем виноват он сам.

Познакомились они еще в первый день стоянки. Боря сидел на бочке у пакгауза, расположил свои карманные шахматы на другой бочке и решал задачу. Подошел невысокий, толстенький паренек и, забавно подмигивая глазками-живчиками, спросил, не знает ли товарищ, чем кончилась последняя схватка на международном турнире.

Мешая русские слова с польскими, паренек дал понять, что он поймал начало партии, всего десятков ходов.

Боря сам ждал новостей с турнира. Последнюю передачу на «Воронеже» прозевали, новый напарник, заменивший Стерневого, еще входит в курс и к тому же шахматами не интересуется. Так какое же начало? Поляк подсел и показал ходы, а затем они стали доигрывать матч чемпионов.

Партнеру Папорков был рад. Идти еще раз в город не хотелось, — Гетеборг не нравится ему. Прилизанная чистота, сытая скука.

Станя применил опасный способ наступления — «мельницу», которая некогда принесла юному Торре победу над седым Ласкером. Ладьи поляка, их неожиданные обратные ходы взламывали защиту Бори. Парируя шах, он каждый раз жертвовал фигурой и в поте лица свел партию вничью.

За второй игрой выяснилось, что на «Лодзи» капризничает радиолокатор. Станя не просил помощи, Боря вызвался сам.

Локатор задал Боре жару! На экране упорно не желала показываться развертка, как именуется в просторечье луч, который возникает при включении и, подобно часовой стрелке, обегает экран. Борька настроил датчик частот, развертка появилась. Но где изображение? Экран ничего не показывал. Стали проверять лампы. В порядке! Тогда что же?

Работа не кончилась и на другой день. Отступить Боря не мог. Кому же и справиться с локатором советской марки!

На «Лодзи» все верили Боре, начиная с добродушного старого капитана, угостившего Папоркова вином необычайной сладости.

Иногда Боря впадал в отчаяние, — слепоту локатора он ощущал почти физически. Наверно, где-то обрыв провода, в каком-нибудь конденсаторе. А их много!..

Довести дело до конца удалось лишь на четвертый день, накануне ухода «Воронежа». Поляки решили отблагодарить, потащили Борю в маленький припортовый кабачок.

Столик заняли вчетвером. Боре улыбались друзья. Боря хвалил вино, друзья подливали ему, и он беспечно осушал стакан за стаканом.

Время летело быстро. Вот уже одиннадцать, пора быть на судне. Но как покинуть друзей? Сердце Бори переполнялось любовью, благодарностью. Нет, будь что будет, нельзя покинуть их сейчас.

— Я угощаю, — произнес он. — Кальвадос!

Равнодушное лицо лысого бармена, бутылка с прозрачным питьем, мерзким, горьким питьем... Удушливый жар, треск оторвавшейся пуговицы — это он рвал на себе ворот... И требовал кальвадоса.

Он очнулся в каюте. В иллюминаторе чернели крапы, блестели мокрые от дождя крыши. Мазур брился. Потом вошла Изабелла. Все возникло, как на экране телевизора, — близкое и вместе с тем далекое...

— Не умеешь ты пить, Борька, — молвила Изабелла, выслушав его сбивчивый рассказ.

— Нет.

— И не пей никогда. Ой, Борька! Ребенок ты.

Она отжала платок, разогревшийся на Борькином лбу, намочила. Опять велела лежать как можно дольше. Поцеловала его, храбро поцеловала, несмотря на сивушный перегар. Поцеловала, чтобы сломить всякое сопротивление, заставить слушаться.

Потом она посмотрела на часы. Время убирать в каютах.

Правда, сегодня очередь Ксюши. Но надо же узнать, что там, наверху, решили насчет Бори! Подстеречь капитана и дядю Федю, спрятаться за портьерой... Изабелле немного стыдно. Так делали горничные в старинных комедиях... Все равно, узнать необходимо. Ясно же, что грозит Боре. И ей самой. Борьку выгонят, и тогда...

Нет, они не расстанутся, конечно. Но Ксюша сказала, и короткая разлука может стать роковой.

Дверь капитанской каюты Изабелла толкнула с раз-

бегу, наудачу. Опоздала! Капитан и дядя Федя ходили по гостиной в облаках табачного дыма.

— В иностранном порту... — донеслось до нее, и дядя Федя тотчас оборвал фразу. — Стучать надо! — бросил он хмуро, едва взглянув на Изабеллу.

«Что делать? Приложиться к замочной скважине? Не хорошо, заметят еще... Да и не разберешь ничего, — подумала она. — Мы же отчалили».

Она только сейчас ощутила биение машины. Изабелла стала убирать соседнюю каюту, старпомовскую. Полетела на пол, разбилась на острые кусочки пепельница с рекламой пива «Анкер».

«К счастью! — обрадовалась Изабелла. — Не выгонят Борьку, не выгонят...»

«В иностранном порту», — повторились в уме слова дяди Феди, тяжелые слова, с укором.

Конечно, они говорят о Борьке. Изабелла подмела, сменила воду в кувшине, привела в порядок постель, письменный стол, а в каюте капитана все еще длилась беседа.

Наконец-то! Изабелла пулей вылетела в коридор. Она едва не столкнулась с Лавадой, но он и сейчас не посмотрел на нее, прошел мимо, красный, злой.

— Дядя Федя! — Она в отчаянии побежала за ним.

Он не обернулся, не ответил. Изабелла наступала ему на пятки. В каюте она повисла на его плече:

— Дядя Федя, миленький! Простите Борьку! Он же не нарочно, дядя Федя...

Дядя Федя снял руку Изабеллы с плеча, снял мягко, почти ласково. Это ободрило ее.

— Дядя Федя! — она доверчиво льнула к нему. Он же всегда уступал ей!

— Перестань, Зяблик, — услышала она. — Не канючь.

Так он говорил ей, когда она, бывало, клянчила игрушку. Не канючь... Слова домашние, слова детства всегда были ей милы. Но сейчас ее точно хлестнуло это «не канючь».

— Вот твой Борька, — услышала она. — Видишь, как отличился твой Борька.

«Ты поласковей с твоим дядей Федей», — сказала Ксюша. Господи, почему так трудно быть ласковой! Просто невозможно, дядя Федя стал вдруг чужим.

— Опозорил нас твой Борька.

Можно не спрашивать, и так все понятно. Нечего надеяться на хорошее. Никогда он не был таким чужим, дядя Федя.

— Займись делом, Изабелла, — сказал он и отвернулся.

Она машинально послушалась. Ее руки начали привычную работу. Они что-то вытирают на столе, что-то передвигают. Все потеряно, Борьку не простят.

Только не плакать! Вещи дрожат, расплываются, они как будто за стеклом, заливаемым потоками дождя. Папки, карандаши, перекидной календарь, вид Смольного — все тонет в соленых слезах, больно режущих глаза.

В слезах маячит спина дяди Феди, его широкий застылок. Он как ни в чем не бывало снимает ботинки, достает из-под дивана тапочки. Изабелла сдерживается, чтобы не зареветь громко, и с силой тычет в щеки грязной тряпкой.

— Дурочка! — дядя Федя отнимает тряпку.

Он объясняет ей, чем провинился Папорков. Напиться, да еще в чужом порту... С иностранцами... Дядя Федя говорит долго, но Изабелле кажется, он твердит одно и то же, нудно, безжалостно, — списать Борьку, списать, долой с судна.

— А в другой раз он совсем загуляет, — слышит Изабелла. — Нет, довольно мы терпели.

И еще слышит Изабелла:

— Я двадцать один год в партии... Ни одного взыскания пока что...

Изабелла вскочила. Ее будто пружиной вытолкнуло из кресла. Дядя Федя шевелит губами, но она не слышит его больше.

— За себя боитесь! — кричит она. — Вам на Борьку наплевать! И на меня тоже, и на всех... Для себя только стараетесь...

Она видит, как багровеет Лавада. Он сжимает кулак, готовый ударить ее. Пусть посмеет! Она все видит отлично, слезы высохли.

— Да, да, я не дурочка, не думайте!.. Вы о себе только... Ребята правду говорят, о себе все заботы... Ах, пылинка бы на вас не упала! А мы для вас... Мы для вас все равно что мухи...

Это Боря сказал, «все равно что мухи». Сказал про Стерневого. Изабелла не смутилась. Замолчать она не может. Она не властна над новой Изабеллой, которая родилась в ней и наступает на Лаваду.

— Вы трус, трус!

Она вскрикнула, — Лавада схватил ее за локоть и сжал, как тисками.

— Буду говорить, буду! — она вырвалась. — Все пускай узнают!.. — Она отскочила к двери и рванула ее: — Вы пожалеете. Я без Борьки...

В ней росла, неудержимо росла решимость сделать что-то очень дерзкое, отомстить Лаваде, отомстить без пощады и... немедленно.

Первой мыслью Лавады было закрыть дверь. Девчонка взбесилась, орет на все судно. Потом Лавада сообразил, что в каюте уже тихо и за порогом, в туалском коридоре, тоже тихо.

— Изабелла! — позвал он, выбежав в пустой коридор.

«Воронеж» уже бороздит залив. Портовые краны за кормой сомкнулись, — черная стальная чаша, обычно напоминавшая Лаваде горелый фронтовой лес. Прохладный ветер растормошил волосы, потек за ворот.

Все спокойно на палубе.

Матросы скоблят ржавчину, кладут мазки сурика. При виде Лавады — в тапочках, в майке — матросы удивленно переглянулись.

Изабелла выбежала к другому борту. Она зашнуровалась о высокий порог — никак не привыкнуть к этим уродским порогам, — упала и почти не почувствовала боли. Ярость понесла ее дальше.

Прыгая через две ступеньки, она взвилась на мостик. До чего кстати! Игорь Степанович у секстана, один...

Алимпиев вглядывался в серую муть, клубившуюся на горизонте. Маяки сливаются со щетиной леса, их почти не отличить.

— Извините, — он услышал под самым ухом шепот Изабеллы. — У меня просьба... Очень важная, очень... Пожалуйста, запишите нас с Борисом.

— Куда записать?

— Мы поженимся, — выдохнула она. — В вахтенный журнал запишите. Это ведь можно? Да?

Не понимая, он смотрел на побледневшее личико Изабеллы. Брови и глаза стали еще чернее, а на руке кровавая ссадина.

— Что у вас с рукой?

— Ерунда, Игорь Степанович! Так вы запишете нас? Да?

14

Парус корвета забелел издали, и Оксана невольно ускорила шаг.

Под лапами люстр, в тени, он словно в дыму невидимой битвы. Беззвучно палят пушки корвета, ванты натянуты, отважно встречает бурю медная нимфа, раскинувшая руки на высоком бушприте,— бегущая по волнам.

Значит, не нашелся еще чудак...

Оксана захватила деньги, почти всё, что осталось от получки. «На всякий случай,— уверяла она себя.— Чем черт не шутит, вдруг надумаю и куплю». На самом деле она уже решила. И боялась — не опоздала ли?

Какие странные чары в этой игрушке! Ну, что ты скажешь, Игорь, я все-таки теряю голову из-за тебя...

У кассы, открывая сумочку, она выругала себя. Дура, на что жить десять дней? Придется занимать... Впереди топтался плечистый мужчина в дорогом пальто. «За коверкот», — сказал он кассирше. Оксана испугалась. Ей послышалось — «корвет».

Домой она летела не чуя ног «Дура, дура», — твердила она, но без досады, с веселым озорством. И хорошо, что дура! Да здравствуют чудaki!

Игорь если и узнает, то не сразу... Конечно, она и словом не обмолвится. Но и прятать от него не станет. Когда все уляжется, когда снова восторжествует ясная, спокойная дружба, она позовет Игоря в гости, и он увидит...

Оксана долго искала место для корвета. Сперва водрузила на туалетный столик. Но стало жаль любимых безделушек, они сразу поблекли от такого соседства. На горку? Но там ваза с цветами. Оксана не представляет себе своей комнаты без цветов, они живут здесь и летом и зимой. Наконец корабль бросил якорь на книжном стеллаже, под самым потолком.

Оксана сняла с полки книгу, долго листала, наконец прочла:

«Корвет «Бриль», на котором находятся Ламме и Уленшпигель, вместе с «Иоганной», «Лебедем» и «Гезом» захватили четыре корабля...»

Да, корвет Тиля Уленшпигеля.

Однако вскоре радость Оксаны померкла. Корвет слишком отчетливо напоминал ей ту недобрую ночь... Когда надежды поднялись и тотчас разбились. В сущности, корабль не принадлежит ей.

Не самозванка ли она?

Корвет стал раздражать. Ей хотелось думать об Игоре без волнения, а корвет мешал.

Несколько дней спустя Оксана вложила свою попку в посылочный ящик с ватой и отправила в Южнобалтийск, Алимпиеву. И написала письмо.

Она поздравила Игора с днем рождения и пожелала не падать духом, найти «бегущую по волнам».

15

— Сказки эфира.

То не Борькин ломающийся басок, это Мазур, новый радист. По-одесски чуточку гнусавит, для шика.

«Ишь ты, уже подхватил Борькино словцо», — думает Алимпиев и улыбается радисту, беря депеши.

Человек может исчезнуть из вида, затеряться, а словечко, брошенное им, смотришь — не уходит, живет. Так часто бывает. Удивительная это штука — слово! Сказки эфира... Значит, Борька, злополучный Борька не покинет судно совсем. Если его все-таки придется списать...

«Живи веселей и помни друзей», — читает Алимпиев. Савка! С чего это он? Ах да! День рождения...

Другая радиограмма, от Оксаны. «В Южнобалтийске вас ждет подарок», — так заканчиваются строки привет.

Была бы она сама здесь! Вот это был бы подарок, самый замечательный... Правда, эгоистично с его стороны звать ее сюда. Качает. Барометр падает. Да, не хватает только шторма. А ему советуют жить веселей. Интересно, как? Все до того скверно...

Воображаемые беседы с Оксаной — единственная отрада теперь, когда все так скверно, когда на судне «чепе».

«Смотрите на море, Игорь, — слышится ему. — Вы же говорили мне, если на душе тяжело, надо смотреть на море с любовью, с доверием. Оно помогает».

Бесполезно, Оксана! Море и не желает никого утешать.

Жаль, однако, что она не видит его отсюда, с ходового мостика. За кормой стена непроницаемых черных облаков. Туда уходит оловянно-тусклый эсминец, сигналив кому-то. Вот уже он проглочен глубокой, слитной чернотой неба и воды, только резкие, слепящие вспышки буравят грозовую темень. Там, за кормой, как будто ночь, а впереди — день. Судно движется по серебряной дорожке, проложенной для него солнцем.

У бортов вода голубая, дальше по носу — серебряная. Еще дальше, у горизонта, растет новая гроза. Возможно, там главные силы циклона.

— Метеосводка скучная, — докладывает Мазур.

Да, ожидаются ветры ураганной силы.

«А Мазур тоже не даст покоя Лаваде», — вдруг мелькает у Игоря злорадная мысль.

Лавада не показывается на мостике. Он заперся у себя как медведь в берлоге. В кают-компании помполит и капитан не встречаются. Лавада приходит есть раньше либо позднее.

Конечно, Борьку надо наказать. Строгий выговор — на этом сошлись оба, капитан и помполит. Алимпиев предложил дать Папоркову испытательный срок, и тут Лавада встал на дыбы. Никаких поблажек, вон с судна!

— Рейс еще не кончился, — сказал Алимпиев. — Все равно ему еще неделю плавать с нами. Время терпит. Решать судьбу человека надо на свежую голову.

Тут бы и разойтись с миром.

— Документ вы не взяли от поляков? — вдруг спросил Лавада. — Нет? Зря!

Не сразу уразумел Алимпиев, какой ему понадобился документ. Письменная благодарность — вот что, оказывается, могло бы облегчить положение Папоркова.

— Иначе голословно, — сказал Лавада. — На какой почве пирушка...

— А без бумажки не поверят? — прервал Алим-

пиев. — Он чинил у них локатор. Три дня чинил. С моего разрешения. Вам прекрасно известно... Не поверят нам? Чего я тогда стою, как капитан, вообще...

— Я ответственность не возьму на себя, — сказал Лавада. — Мое личное дело чистое пока...

Тут Игорь взорвался. Чистое! А кому-нибудь есть радость от того, что оно такое чистое? Много людям пользы, счастья от этой святой чистоты?

Да, крупный вышел разговор.

Легко понять, как взбешен Лавада. Ему еще Изабелла поддала жару. Потом девушка чуть не час сидела у Алимпиева, выплакивала свои тревоги. Он едва убедил ее не делать глупостей. Ох, горячая голова! Ведь что затеяла: выйти за Борьку назло Лаваде!

Не слышно стало песенок Изабеллы. Сколько ни твердил капитан, что с Борькой еще не решено, она осталась при своем — Борьку выгонят.

Конечно, отстаивать его трудно. Алимпиева гнетет чувство поражения. Нет, не только из-за Борьки. Таков итог первых месяцев капитанства на «Воронеже» — поражение. Где оно — морское братство, союз благородных, сильных и прекрасных духом? Не наивность ли цепляться за юношескую фантазию! Пытаться примирить Лаваду и Борьку, людей разного возраста, разных по натуре, по взглядам на жизнь...

Может быть, на «Воронеж» надо было назначить другого, не его, Алимпиева. Другой сумел бы...

А впрочем, мыслимое ли дело всех примирить? Разумеется, нет! Алимпиеву вспомнилось, как проучили Стерневого. Дружно, без чьей-либо указки, хотя и не очень умело... Все равно молодцы! Стало легче на душе. «Потерять можно все, кроме веры в людей», — повторил он про себя изречение, где-то вычитанное.

И Лаваде придется худо, если он будет упорствовать. Ему, видите, неясно, чинил Борька локатор или нет. Не берется утверждать, раз нет бумажки с печатью. Чистенький! Без бумажки за правду голос не подаст, осторожно промолчит.

А ведь он воевал — Лавада!

Он атаки фашистских танков встречал, и с чем? Страшно подумать! Против танка, стального чудовища, — бутылка с горючей смесью.

Тот же Лавада!

Иногда, против воли, тянет спорить с Лавадой. Как будто не все еще сказано между ними. Как будто забыто что-то очень важное, необходимое... Но к Лаваде, верно, не подступиться теперь, да и времени нет. С мостика не уйти, погода все хуже.

Ветер крепчает, но он не в силах разбросать облака, закутавшие солнце. Оно все реже прожигает плотные, серые свивальники. Не может ветер очистить горизонт, смести дымку, открыть лесистые откосы берега, маяки на песчаных косах.

Старпом отдыхает, на вахте новичок — штурман Святковский, аккуратный, послушный. Один минус у него — до того боится ошибиться, что того и гляди напутает, наврет с прокладкой.

Чья-то рука кладет на карту депеши — очередную метеосводку да приказ из пароходства изменить курс, так как идут учения военных кораблей. Алимпиев оборачивается. Он ожидал увидеть Борьку...

Нет — Мазур. Он один не унывает на печальном судне. Все точно пришибленные. Как нарочно, и музыка сегодня из репродукторов — стон и плач. Бах. Словно по заказу первого помощника.

Велико же было изумление Мазура, когда в телефонной трубке раздался голос Лавады:

— Ох, и завел!.. Ох, завел тягомотину!

— Фуга Баха, — доложил Мазур.

— Баха... Гм... Дай поживей что-нибудь.

Мазур не заставил долго ждать, через минуту по всему судну застонал, защелкал джаз.

Лаваде и это не понравилось, он приглушил динамик и снова повалился на кровать.

Для Лавады последние дни прошли в бесплодных попытках восстановить утраченное равновесие. До сих пор это ему всегда удавалось.

Он доказывает себе, что на Зяблика обижаться нечего, она ведь ребенок. Ее настроили. Она, как неоперившийся птенчик, попала в сети хитроумно расставленные Папорковым и его компанией. Вот откуда все дурное на судне!

Да, Лавада нашел виноватого. И все же он не в ладу с самим собой.

В течение долгих лет возмнения, навыки, представления, усвоенные Лавадой, образовали как бы здание,

в котором ему было привычно и удобно обитать. Он оберегал это здание от толчков, старательно заделывал трещину, рассчитывал остаться в нем до конца своих дней. Сейчас по всем этажам, по всем комнатам разносится сигнал тревоги, и Лавада напрасно ищет закоулок, где можно было бы укрыться от него, забаррикадироваться, перестать слышать.

«Трус!» — крикнула Изабелла. Его никто не называл трусом. Его, кавалера боевых орденов!

Тогда и пробудилась тревога. Однако нет, наверное раньше, в управлении пароходства. Тревога вошла в Лаваду вместе с запахом свежей краски и новых обоев в политотделе, где вместо старого корешка Красухина сидит Шаповал. А возможно, еще раньше...

Завтракает Лавада и сегодня после всех. Подает Ксюша, быстро и небрежно. Стакан с чаем не донесет как следует, непременно выплеснет на блюдце.

— Изабелла где? — хмуро спрашивает Лавада.

Лицо у Ксюши усталое. С Лавадой она не кокетничает, как с другими мужчинами, особенно неженатыми, не улыбается ему, не строит глазки. Лавада ее не интересуется. В присутствии Лавады она дурнеет и потому не любит его. С первого взгляда невзлюбила, как только поступила на судно.

— Болеет Изабелла, — слышит Лавада.

— Что с ней?

— Рука, — говорит Ксюша.

Как это понять, рука? Не может ответить по-человечески! Ксюша уже скрылась в буфетной, не дождавшись расспросов Лавады, и оттуда несется свирепый грохот посуды.

Лавада отставил недопитый чай. Встал, чтобы идти к Зяблику, но удержался, решил выдержать характер. Спустился в санчасть, к судовому эскулапу.

— Н-нагноение, — сообщил эскулап. — В результате небольшой травмы.

— Что еще за травма?

— Упала, содрала кожу немного...

— До свадьбы заживет, говоря по-русски?

— У нас на кожном покрове, понимаете, и всюду такое количество б-бактерий... При своевременном вмешательстве разумеется...

— Нарыв, что ли?

— В сущности, да.

— Так бы и сказал, — бросил Лавада, вконец потеряв терпение.

И опять он прошел мимо каюты Изабеллы. Пусть знает, что дядя Федя на нее обиделся, всерьез обиделся. Урок будет девчонке. Распустилась!

Изабелла лежала на верхней койке и морщилась от боли. Одолеть боль она пробовала сперва чтением, потом усилием воли. Сжав зубы, повторяла: не болит, не болит, не болит. По способу йогов, о которых рассказывал Борька. Нет, не помогло. Ой, если бы можно было уйти от боли. Вынуть ее, оставить на простыне или сбросить на пол, растоптать и уйти.

Боль разбудила ее среди ночи. Следовало послушаться капитана, сбегать в санчасть. Изабелла ограничилась тем, что обмыла ссадины водой из крана. Она была страшно зла тогда. И к тому же какой пустяк эти жалкие царапины по сравнению с тем, что стряслось с Борькой!

Кровавый рубец на ноге, от порога, скоро зажил, а рука разболелась. Сегодня совсем не вмоготу, руку раздуло, даже пальцами пошевелить нельзя.

Судовой врач, докладывая о болезни Изабеллы, неизменно сохранял деловой, невозмутимый тон и придерживался научной терминологии, лишенной всяких эмоций. Это он считал признаком хорошего тона.

— Все напасти обрушились, — сказал Алимпиев с горькой усмешкой эскулапу, бледному от качки.

Несколько часов спустя, под вечер, врач опять поднялся к Алимпиеву. Теперь эскулапа терзала не только морская хворь.

Изабелле стало хуже, гораздо хуже.

Удары волн перебивали речь эскулапа. Бортовой ветер сносил с курса, все судно гудело, как огромный набатный колокол. Высокая температура... Необходим глубокий разрез... Прочистить, удалить некротическую ткань... Кашин объяснял нестерпимо обстоятельно.

— На берег? — спросил Алимпиев.

Кашин смущенно кивнул.

— Это очень серьезно?

— Да, чрезвычайно... Сепсис не шутка.

— Заражение?

— Да.

— Хорошенькая история! А вы знаете, что в Южно-балтийск нам нельзя?

Кашин и без того был бел, как бумага, но тут, показалось Алимпиеву, он стал еще бледнее.

— Нельзя! — крикнул Алимпиев. — В канал не войти! Понятно вам?

Даже губы побелели у Кашина. Алимпиев с яростью глядел на врача, перепуганного, бесконечно несчастного.

На трапе его настигла волна, ко лбу прилипли мелкие завитки волос, с намокшего брезентового плаща падала беззвучная капель.

— Ступайте к больной! Не стойте тут! — В эту минуту Алимпиев презирал его. До чего отвратительна слабость! Какого черта он стоит и молчит? Лучше бы обиделся, заорал, выругался в ответ. Ведь он же не виноват.

И тотчас гнев Алимпиева утих. Вид Кашина яснее всяких слов говорил, что положение Изабеллы опасно, очень опасно.

— Простите меня, — сказал Алимпиев. Он нагнал врача и схватил его за плечо, за холодный, покоробившийся брезент. Волна, фонтаном взвившаяся над мостиком, обдала их обоих.

Кашин махнул рукой и стал спускаться, зябко сутулясь. Ему, бедняге, тоже худо. Да, он не виноват, такие операции делают только на берегу. А капитан тоже не бог! Штормит, девять баллов. Сулят ураган. Все равно и при девяти баллах, даже при восьми суда не входят в порт, штормуют в открытом море.

Алимпиев влетел в штурманскую. Там стоял, склонившись над картой, старпом Рауд.

— Вы слышали? — спросил Алимпиев, и Рауд сосредоточенно кивнул, не оборачиваясь, не выпуская линейки и карандаша.

— Ветер сюда, — сказал он, аккуратно провел черту, нарисовал наконец стрелы.

Капитан встал рядом. Хладнокровие Рауда действует благотворно.

На карте Южнобалтийск — скопление серых квадратов возле бухты, похожей на колбу в разрезе. Горлышко колбы — морской канал, полоска воды в насыпных валах, поросших густой зеленью, где привольно всякой водяной птице. Оно узкое, это горлышко, в том-то и беда. Вокруг мелководье, другого пути нет. А стрелка,

нанесенная Раудом, предупреждает — ветер сегодня нехороший, враждебный. Ударит в правый борт и в корму и не только оттащит в сторону, не даст войти в канал, но еще толкнет на прибрежные рифы.

— Самым полным, — сказал Рауд.

— Иначе никак...

Совсем немного слов требуется им, Рауду и Алимпиеву. Да, самым полным ходом, мощными рывками, только так надо рубить тугую силу ветра и течения. Впрочем, до входа в канал еще шестьдесят миль, пока идешь, обстановка может измениться. Повернет ветер. Или, чего доброго, оправдаются опасения богов погоды и задует ураган.

Вскоре необходимость, вставшая перед капитаном, перед Раудом, стала необходимостью для всего экипажа, неоспоримой и непреложной.

Случилось так, что Лавада узнал об этом в числе последних.

Замкнувшись в своей каюте, он несколько раз принимался составлять докладную или рапорт, как он — поклонник воинского порядка — про себя любил именовать свои бумаги, адресованные начальству.

У него предовольно было формулировок — строгих, выверенных, испытанных — для характеристики Папоркова, для оценки поведения капитана Алимпиева. Если бы там, в пароходстве, сидел на прежнем месте Красухин, старый корешок, Лаваде не пришлось бы комкать и швырять в корзину недописанные, перечеркнутые листки. Все было бы проще тогда...

Лавада трудился до позднего вечера, так и не продвинувшись дальше первых, вступительных фраз. Обругав непогоду, нагонявшую, как всегда, необычайную сонливость, он собрался было лечь, но тут задребезжал телефон.

— Есть одно дело, Федор Андреевич, — сказал Алимпиев. — Без вас не хотелось бы...

То, что узнал Лавада минуты три спустя, в холодной рубке, исхлестанной морем, отрезало как пожом то, чем он был занят до сих пор.

Стараясь сдерживать волнение, Лавада спросил, насколько серьезно положение больной, и капитан ответил не отрывая взгляда от огней берега, звездившихся впереди:

— Вопрос жизни.

— Ясно, — сказал Лавада.

Как ни привык Лавада сдерживать свои личные чувства — они для него нечто вроде дьявола-искусителя, — он произнес это свое «ясно» надтреснуто-тихо. У него вдруг не хватило голоса.

Первым его побуждением было пойти к Зяблику, положить руку на ее лоб, поговорить с ней, понянчить, как когда-то в годы ее детства. Но что-то опять властно помешало ему. На этот раз уже не самолюбие, а скорее стыд, смутное чувство вины.

Лавада не ушел с мостика. Он встал в сторонке, чтобы не мешать.

На стекло рубки на миг горячей веточкой легла молния, погасив огни берега, невидимого, но уже близкого. Заливаемые потоками воды, они качаются, чертят по стеклу, чертят, не оставляя следа. Из них два огонька обозначают вход в канал, страшно узкий, вечно пропадающий за пеленой дождя. Крохотный интервал между двумя светящимися точками, кусочек тьмы, ворота спасения.

Нос «Воронежа» нацелен совсем не туда, гораздо правее. Двигаться в канал по прямой нечего и думать. Лавада понимает, расчет капитана включает величину сноса. Две силы — двигатели «Воронежа», действующие сейчас на полную мощность, и ветер, упершийся в правый борт и в корму, — должны подвести судно к самому входу. К порогу желанного и почти немыслимого мира тишины, где нет шторма, нет смертельной тревоги.

Ошибки быть не должно, это тоже понятно Лаваде. Ошибка — гибель. Если ветер и волны отнесут судно дальше, повторить попытку не удастся. Там, в тесном пространстве среди каменных банок, «Воронеж» не развернуться, он окажется в ловушке, станет жертвой рифов и шторма.

Алимпиев не видит Лаваду. В поле зрения капитана черная стрелка на белом квадрате — указатель положения руля, укрепленный над стеклом рубки. И цепочка огней впереди, с разрывом, куда должен втиснуться «Воронеж».

Спиной ощущает Алимпиев, как стремительно повинуется команде рулевой Черныш. Трезвонит машинный

телеграф. Сейчас всё на пределе — и мышцы людей, и дизельное сердце судна.

Не только море, не только ветер противоборствуют «Воронежу». Наступил момент, когда сопротивляется само время. Когда короткие слова приказа рулевому кажутся громоздкими, длинными. Когда пределы времени хочется раздвинуть, сломать.

— Шестой причал, — слышит Алимпиев. — Швартуйтесь левым бортом.

Читать депешу некогда, Боря прокричал ее чуть ли не в самое ухо. Лишь на долю секунды возникает фигура Бори. Он смотрит на капитана без улыбки, с надеждой, глубоко запавшими глазами. Что-то новое в Борьке, более взрослое, что ли...

Легко сказать, швартуйтесь! До него еще надо добраться, до шестого причала!

И все-таки есть что-то обнадеживающее в этой ответной депеше, как будто там, на суше, не сомневаются в победе «Воронежа».

Лавады уже нет в рубке. Алимпиев осознает это внезапно, хотя Лавада, должно быть, вышел очень тихо, каблуки его не шелкали, как бывало прежде.

У постели Зяблика дежурит эскулап Кашин. При появлении Лавады он выпрямился, вздохнул и ничего не сказал. На койке, в ногах у больной, сидела Ксюша и тихонько скулила. Лавада цыкнул на нее и подошел ближе.

Больная лежала с закрытыми глазами, лицо ее было покрыто неровной краснотой. На Лаваду пахнуло жаром.

— Дядя Федя! — услышал он.

— Что тебе? — он взял ее руку. — Здесь я... Ну, что, девочка?

— Лампу уберите, — произнесла она. — Унесите пеструю лампу. Горячая лампа...

— Какую лампу? — Лавада невольно оглядел каюту, в которой мерцал лишь настольный ночничок.

— Она не узнает никого, — сказал Кашин.

— Девочка, девочка, — повторял Лавада, глядя руку Зяблика. — Подожди, скоро придем... Порядок будет... Скоро, девочка...

— Как скоро? — спросил Кашин.

— Часа два еще...

Врач встретил вопросительный взгляд Лавады, но ничего не сказал, снова погрузился в молчание.

— Дотянет? — глухо, с трудом выговорил Лавада.

Врач расправил плечи, его давила скорбная духота каюты.

— Будем надеяться.

Лавада возвращался на мостик, не замечая соленых ливней, низвергавшихся на трап. «Скоро придем, девочка», — повторял он мысленно, успокаивая себя, стараясь хоть немного облегчить тяжесть, упавшую ему на плечи.

Дойдем! Быть не может иначе...

В дверях рубки он столкнулся с Раудом. Старпом спешил куда-то. Вновь коснулся Лавады ритм борющегося судна. Вокруг сновали люди, которым он — Лавада — по-видимому, совсем не нужен сейчас.

Если бы Лавада вспомнил, как он отзывался об этих людях, какие баллы ставил им за поведение, это показалось бы ему наверно маловажным, мелким теперь, в час испытания, выпавшего на долю судна. Но память погасла, существовало лишь настоящее. И в нем — суровом, неумолимом настоящем — Лавада оказался как бы на острове.

Всякие неожиданности преподносила ему жизнь, но никогда она не лишала его места в своем потоке. Во всяком случае он-то всегда верил, что он необходим. Нет, он не переоценивал себя. Он считал себя рядовым работником партии, ее порученцем, скромным исполнителем, которому вроде и по штату не положена такая радость, как любовь или благодарность сограждан.

И вот, впервые в жизни, он ощутил себя лишним...

Он мог бы вспомнить, если бы не потухла память, как рота ополченцев выбивалась из вражеского окружения. Рота, где командиром был Мартирос Григорян, друг Мартошка — отец Зяблика. А политруком был он — Лавада. И какой твердой была тогда вера в товарищей, твердой и неколебимой, как земля.

Нет, память ничего не говорила Лаваде. Он жадно смотрел на созвездия берега, приближавшиеся нестерпимо медленно. Дождь прекратился, скупно проглядывала полоска суши, прерывистая, местами затопленная, с вихрами леса, растрепанными ветром. Короткая летняя ночь уходила, обнажая узоры пены на буграх воды, взрывы волн у борта и мчащиеся по палубе ручьи.

Два человека в брезентовых плащах шли по люковой крышке — старпом Рауд и боцман Искандеров. Отбиваясь от налетевшей волны, они схватились за стальной ствол крана.

Внезапный импульс, пробудившийся в Лаваде, повелел ему идти к ним. Он чуть ли не бегом достиг скользкой, укатанной штормом палубы. Когда старпом и боцман встали на баке, держась за якорную цепь, Лавада уже спрыгнул с люковой крышки и едва не упал.

Рауд протянул ему руку.

— Лишняя пара глаз не помешает, — сказал Лавада, улыбаясь и бодрясь.

Рауд не расслышал, и Лавада понял это. Но все равно ему надо было что-то сказать.

— Я тоже, — произнес он, — к вам, впередсмотрящим.

Сам того не сознавая, он выговорил слова, почти забытые. Когда-то давно из рассказов военных моряков он узнал, что в трудном и опасном рейсе среди минных полей на нос корабля ставят впередсмотрящего.

Но все прошлое сейчас исчезло. Да, он был человеком без памяти, словно заново, на ощупь познающим мир. Чувствовал он лишь душевную боль и потребность оставить свой одинокий островок, сойти к людям, вернуться в поток жизни.

Кроме того, он догадался, зачем именно здесь, на носу, понадобилась вахта. С мостика не все видно. Чем черт не шутит, вдруг какое-нибудь рыбацкое суденышко, замешкавшееся в открытом море, спешит укрыться и невзначай попадет на пути... Недаром в руке Рауда мегафон. Да мало ли какие могут встретиться неожиданности! И Лавада смотрит на зыбкую поверхность моря, смотрит, держась правой рукой за якорную цепь, а левой прикрыв глаза от косого соленого ливня.

Нос «Воронежа» взлетал и падал, как гигантский топор, и обрубленная волна, извиваясь, умирала на палубе, истекая реками пены. Вода свинцовым градом била Лаваду по спине, по плечам. Промокший до нитки, стуча зубами от холода, он стоял, словно принимая казнь, и испытывал при этом странное удовлетворение.

А ночь уже скрылась, и следом за ней улетали, таяли облачка тумана, спешили очистить море до появления солнца. Все отчетливее выступали среди воли ка-

менные желваки — вершинки отмелей, стеснивших фарватер здесь, у самого входа в канал. Близкий берег и звал к себе, и угрожал бесчисленными препятствиями. Здесь, как никогда, надо глядеть в оба! И точно, маленький рыбацкий ботик, словно родившийся сейчас из морской пены, очутился под самым форштевнем «Воронежа»...

Первым заметил его Искандеров, а Рауд, приложив к губам мегафон, сообщил на мостик. Судно замедлило маневр, ботик юркнул в сторону и пропал за стенкой канала. В следующую минуту Лавада увидел стенку по правому борту, а слева потянулась такая же ограда, и стало тихо, удивительно, необыкновенно тихо.

Полчаса спустя больную приняла санитарная машина, высланная навстречу. С ней уехал и Кашин. Его счастливый вид ясно говорил всем — больную доставили вовремя...

«Воронеж» еще часа полтора двигался к порту по спокойной воде. Впереди просыпалось утро. Юное солнце поднималось на бой с грузными, низкими тучами.

В канале густо скопились рыбацьи суда, и «Воронеж» сигнализировал им громкими, торжествующими гудками. С плавника, с плотов на приколе, с песчаного мыса взлетали белоперые стаи чаек.

Алимпиев невольно отвел от глаз бинокль. Чайки мягко двигали бархатными крыльями и переговаривались мирными, сонными голосами. Они летели прямо в бинокль к Алимпиеву, как давным-давно, в дни его первого плавания.

* * *

Резвый прохладный ветерок залетает в каюту Алимпиева, шевелит комки бумаги и ваты, разбросанные вокруг посылочного ящика, и надувает маленький, жесткий, чуть потемневший от времени парус.

Игорь трогает бронзовые пушки, перебирает струны такелажа, гладит борта, которые, кажется, пахнут порохом и солью морей. Надо же уверить себя, что это не сон, что корабль действительно вернулся...

«Поздравляю с днем рождения, — пишет Оксана. — Желаю найти „бегущую по волнам“».

Ах да, день рождения! Он опять забыл о нем...

Игорь видит витрину на Садовой, фарфоровых пастушков, обступивших корвет «Бриль». В мерцании белой ночи лица пастушков мертвенны, равнодушны. Вокруг корвета, выброшенного на эту убогую отмель, толпятся слоники, мопсы, маркизы в кринолинах, а сверху нависли мишурные стекляшки люстр. Серый, обидный ярлык с ценой привязан к мачте...

Не застряла ли бечевка от ярлыка? Нет, Оксана позаботилась. Ничего, никаких следов магазина.

Что-то заставило его перечитать записку. От двух неровных строчек странно веяло грустью. «Желаю найти»... Оксана как будто прощается...

Видение витрины не погасло, только теперь возникла и Оксана. Они вместе у витрины. Они идут дальше по Садовой, мимо уснувших домов, и он говорит Оксане, говорит ей все — про корвет, про Леру. Оксана слушает. Она вдруг притихла, глаза ее сделались печальными. Для Игоря это лишь знак хорошего, дружеского участия. Ничего другого он не уловил тогда.

Наверно, он слишком горячо говорил о Лере. Оксана поняла по-своему. «Желаю найти»... Нет, если так, Оксана, то я не приму твой подарок.

Игорь смутился, он первый раз перешел с ней на «ты», даже мысленно.

Оксана, ты... ты... Оно волшебное, это крошечное слово «ты». Сейчас Оксана совсем близко, но смотрит она холодно. Игорь почему-то никак не может представить себе ее улыбку.

Нет, Оксана, я не приму твой подарок. Я не возьму его себе, слышишь! Иначе он будет мешать тебе... Да, хорошая моя, мне теперь все ясно. Эх, какой же я был глупый!

С корветом я знаю, как поступить. С какой стати ему быть у меня? Корвет «Бриль», корабль Тиля Уленшпигеля, не должен, не может быть чьей-то собственностью. Он принадлежит всем, во всяком случае тем, кто готов плавать на нем и сражаться. Ты слышишь меня, Оксана? Мы сделаем так, я сегодня же вызову Черныша. Наш рулевой — ты, наверно, видела его, когда была у нас, — он у нас мастер, он сколотит полочку для «Бриля», и мы водрузим его в салоне. Снимем эту жуткую «Бурю на море». Ты правильно сказала, что это полотно, залитое чернилами. Пусть вместо него красуется

«Бриль». Ты согласна? А когда наш «Воронеж» окончит свою бродячую жизнь и его где-нибудь на приколе облепят кораллы, тогда корвет «Бриль» достанется другому экипажу. Ведь «Бриль» — вечный корабль.

Алимпиев долго беседовал с Оксаной в тиши своей каюты. Потом взял записку Оксаны, сел к столу, написал поперек, размашисто; «Я нашел тебя». Подумал, отбросил бумажку. Нет, надо самому. Вышел, почти бегом спустился по трапу на берег, к телефонной будке. Вызвал аэропорт, справочную. Затем поднялся на судно и постучал к старпому Рауду.

— Лечу в Ленинград, на один день, — сказал Игорь. — Командуйте тут.

— О, — удивился Рауд. — Так срочно нужно? Мы через неделю будем дома.

— Неделя! — отозвался Алимпиев весело. — Это же целая вечность!

СОДЕРЖАНИЕ

До свидания, Джезирэ	5
Янтарная комната	77
Завтра будет поздно	189
Два и две семерки	265
Соломенная сумка	335
Красавец Тео	395
Корвет «Бриль»	461

**Владимир Николаевич
Дружинин
«КОРВЕТ „БРИЛЬ“»**

Редактор

А. А. Девель

Художник

Н. Н. Ковалев

Художник-редактор

О. И. Маслаков

Технический-редактор

А. И. Сергеева

Корректор

И. Е. Блиндер

Слано в набор 7/VI 1965 г. Подписано к печати 21/X 1965 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 17,75. Усл. печ. л. 23,82
Уч.-изд. л. 30,88. Тираж 65 000 экз. М-48185. Заказ № 927
Работа объявлена в Т. п. 1965 г., № 110

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59
Типография имени Володарского Лениздата, Фонтанка, 57

Цена 1 р. 08 к.

**ПРОЧТИТЕ
НАШИ КНИГИ:**

Ю. Клименченко
„ЧУЖОЙ ВЕТЕР“

Е. Воеводин
„НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ“

И. Глинская
„СМИРНЪ, СЕРДЦЕ!“

А. Кони
„ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ“

З. Дичаров
„СНОВА ФЕВРАЛЬ“

А. Стороженко
„ХОЗЯИН ЗЕЛЕННОГО КЛАДА“

1 р. 08 к.